



ЛЕОНИД  
АНДРЕЕВ



4



Леонид Андреев



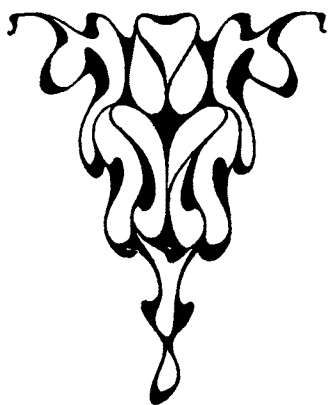
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

*Собрание сочинений  
в шести томах*



ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

*Собрание сочинений в шести томах*



*Москва*

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·

1994

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

*Собрание сочинений. Том четвертый*



РАССКАЗЫ  
САШКА ЖЕГУЛЕВ  
ПЬЕСЫ  
1911-1913

*Москва*

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •

1994

**ББК 84(2Рос-Рус)1  
А65**

**Издание выпущено в счет дотации, выделенной  
Комитетом РФ по печати**

**Составление и подготовка текста  
И. Г. АНДРЕЕВОЙ**

**Комментарии  
М. В. КОЗЬМЕНКО  
и В. Н. ЧУВАКОВА ("Сашка Жегулев")**

**Оформление художника  
Г. КОТЛЯРОВОЙ**

**4702010106-104  
А  $\frac{028(01)-94}{028(01)-94}$  Подписное**

**ISBN 5-280-01529-6 (Т. 4)  
ISBN 5-280-00978-4**

**© Издательство "Художественная  
литература", 1994 г.**



РАССКАЗЫ  
·  
САШКА ЖЕГУЛЕВ  
РОМАН  
1911-1913







## ПОКОЙ

Умирал важный, старый сановник, большой барин, любивший жизнь. Умирать ему было трудно: в Бога он не верил, зачем умирает — не понимал, и ужасался ужасом безумным. Было страшно смотреть на него, как он мучился.

Позади умирающего сановника была большая, богатая, интересная жизнь, в которой не оставались праздными сердце и мысль и получали свое удовлетворение. И устали сердце и мысль, устало все пожившее, тихо холодеющее тело. Глаза устали смотреть даже на прекрасное — насытилось зрение; и ухо стало слышать, и сама радость сделалась тяжелой для утомленного сердца. И пока был сановник на ногах, о смерти он помышлял даже с некоторым удовольствием: отдохну, по крайней мере, — думал он; перестанут целовать, уважать и ходить с докладами, — думал он с удовольствием. Да, думал... а вот когда свалился он на смертный одр, то стало невыносимо больно и ужасно до последнего ужаса.

Хотелось пожить еще, — хоть немного, хоть до будущего понедельника или, еще лучше, до среды или до четверга. Однако настоящего дня, в который он умер, он так и не узнал, хотя их всего только семь в неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Тут-то, в этот самый неизвестный день, и пришел к сановнику черт, обыкновенный черт, каких много. В дом он вошел под видом священника, ладана и свечей, но умершему предстал во всей своей святой правде. Сановник сразу догадался, что черт пришел неспроста, и обрадовался: раз существует черт, то смерти настоящей нет, а есть какое-то бессмертие. В крайнем же случае, если нет бессмертия, то можно продлить и эту жизнь, продав душу на выгодных условиях. Это было очевидно, а от испуга совсем ясно.

Но черт имел вид усталый и недовольный, долго не начал разговора и оглядывался брезгливо и кисло, как будто не туда попал. Это обеспокоило сановника, и он поскорее предложил черту сесть; но, и усевшись, черт продолжал глядеть все так же кисло и молчал.

«Вот они какие,— думал сановник, потихоньку разглядывая чуждое, более чем иностранное лицо посетителя.— Ну и противная же харя, Господи! Я думаю, что и там он не считается красивым».

А вслух сказал:

— А я вас не таким представлял.

— Что? — недовольно спросил черт и кисло сморщился.

— Не таким вас представлял.

— Пустяки.

Ему все это говорили при первом знакомстве, и надоело слышать одно и то же. А сановник думал:

«Не предлагать же ему чаю или вина,— у него и пасть такая, что пить он не может».

— Вот вы и умерли...— начал черт лениво и скучно.

— Ну что вы! — возмутился и испугался сановник.— Я вовсе еще не умирал.

— Другому скажите,— равнодушно огрызнулся черт и продолжал: — Вот вы и умерли... так что же нам теперь делать? Дело серьезное, и вообще надо же этот вопрос решить.

— Но неужели это — правда: я уже умер? — ужасался сановник.— Ведь мы же... разговариваем.

— Ну, а когда вы едете на ревизию, вы сразу попадаете в вагон? Вы еще сидите на станции.

— Так, значит, это — станция.

— Ну да. А то что же?

— Понимаю, понимаю. Значит, вот это уже не я. А где же я, то есть мое тело?

Черт неопределенно мотнул головой:

— Недалеко. Вас сейчас обмывают теплой водой.

Чиновнику стало стыдно; вспомнил некрасивые, жирные складки на поясице, и стало еще стыднее. Он знал, что покойников обмывают женщины.

— Глупый обычай,— сказал сановник сердито.

— Ну, уж это — ваше дело, а я тут ни при чем. Но, однако, я попросил бы вас перейти к вопросу, а то времени мало. Вы очень быстро портитесь.

— В каком смысле? — похолодел сановник.— В... в обыкновенном?

— Ну да. А то в каком же? — с горькой иронией пере-

дразнил его черт.— Мне, извините, ваши вопросы надоели. Извольте выслушать внимательно, что я вам изложу,— повторять не стану.

И в очень скучных выражениях, тягучим голосом повторяя то, что, видимо, самому ему надоело до последней степени, черт изложил следующее. Для старого, важного, уже скончавшегося сановника есть две возможности: или пойти в окончательную смерть, или же в особенную, несколько странную и даже подозрительную жизнь,— как он хочет, как он выберет. Если он выберет первое,— смерть,— то для него наступит вечное небытие, молчание, пустота...

«Господи, это и есть то самое ужасное, чего я так боялся»,— думал сановник.

— Ненарушимый покой...— продолжал черт, с некоторым любопытством разглядывая незнакомый потолок. — Вы исчезнете бесследно, ваше существование прекратится абсолютно, вы никогда не будете говорить, думать, желать, испытывать боль или радость, никогда больше не произнесете «я»,— вы исчезнете, погаснете, прекратитесь, понимаете, станете ничто...

— Нет, нет, не хочу! — крикнул сановник.

— Но зато покой,— наставительно сказал черт.— Это, знаете, тоже чего-нибудь стоит. Уж такой покой, что лучше придумать нельзя, сколько ни думайте.

— Не хочу покоя,— решительно сказал сановник, а усталость отозвалась в мертвом сердце мертвою мольбою: «Дайте покоя, покоя, покоя».

Черт пожал волосатыми плечами и утомленно продолжал, как приказчик в модном магазине к концу бойкого торгового дня:

— Но, с другой стороны, я имею вам предложить вечную жизнь...

— Вечную?

— Ну да. В аду. Ну, конечно, это не совсем то, чего бы вам хотелось, но тоже жизнь. У вас будут кое-какие развлечения, интересные знакомства, разговоры... а главное, вы сохраните навеки ваше «я». Вы будете жить вечно.

— И страдать? — пугливо спросил человек.

— Но что такое страдание? — брезгливо сморщился черт.— Это страшно, пока не привыкнешь. И я должен вам заметить, что если у нас и жалуются на что-нибудь, так именно на привычку.

— А у вас много народу?

Черт покосился:

— Есть-таки. Да, на привычку. На этой почве, знаете ли

у нас недавно вышли крупные беспорядки: требовали новых мучений. А где их взять? Кричат: шаблон, рутина...

— Ужасно глупо! — сказал сановник.

— Да, докажите-ка им. По счастью, наш...

Черт почтительно привстал и сделал подлое лицо; такое же лицо, на всякий случай, сделал и сановник.

— Наш маэстро предложил грешникам: пожалуйста, мучайте себя сами. Пожалуйста!

— Самоуправление, так сказать,— отозвался сановник с иронией.

Черт сел и засмеялся:

— Теперь они придумывают. Ну так как же, дорогой мой? Надо решать.

Сановник задумался и, уже веря черту как родному брату, несмотря на его гнусную рожу, нерешительно спросил:

— А как бы вы посоветовали?

Черт нахмурился:

— Нет, это вы оставьте. Я тут ни при чем.

— Ну так я не хочу в ад!

— Ну и не надо. Распишитесь.

Черт положил перед сановником бумажку, довольно грязную, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ.

— Вот тут,— показал он когтем.— Нет, нет, не там, это — если хотите в ад. А смерть вот здесь.

Сановник подержал перо и со вздохом положил.

— Вам легко,— сказал он укоризненно.— А каково мне? Скажите, пожалуйста, у вас чем мучат главным образом? Огнем?

— Да, и огнем,— равнодушно ответил черт.— У нас есть праздники.

— Да что вы! — обрадовался сановник.

— Да. По воскресеньям и табельным дням полный отдых; в субботу,— черт продолжительно зевнул,— занятия только от десяти до двенадцати.

— Так, так. Ну, а Рождество и вообще?..

— На Рождество и на Пасху по три дня свободных, да вот еще летом каникулы на месяц.

— Фу-ты! — радовался сановник.— Это даже гуманно. Вот не ожидал! Ну, а если... в крайнем, конечно, случае... подать рапорт о болезни?

Черт пристально посмотрел на сановника и сказал:

— Пустяки.

Сановнику сделалось стыдно; застыдился слегка и черт. Вздохнул и заволок глаза. Вообще видно было, что либо он

не доспал сегодня, либо все это смертельно ему надоело: умирающие сановники, небытие, вечная жизнь. На правой ноге к шерсти пристал кусочек сухой грязи.

«Откуда это? — подумал сановник. — И почиститься лень».

— Так. Значит, небытие, — задумчиво сказал человек.

— Небытие, — как эхо, не открывая глаз, отозвался черт.

— Или вечная жизнь.

— Или вечная жизнь.

Долго думал умерший. Там уже и панихиду отслужили, а он все думал. И те, кто видели на подушке его необыкновенно строгое, серьезное лицо, никак не предполагали, что за странные сны развеваются под холодным черепом. И черта не видели. Курился, растворяясь, последний ладан, пахло притушенными восковыми свечами и еще чем-то как будто пахло.

— Вечная жизнь, — не открывая глаз, задумчиво повторил черт. — Объясни ему получше, что значит вечная жизнь; ты плохо, говорит, объясняешь, — а разве он, дурак, когда-нибудь поймет...

— Это вы про меня? — с надеждой спросил сановник.

— Так, вообще. Мое дело маленькое, но как посмотришь на все на это...

Черт уныло замотал головой. Сановник также в знак сочувствия покачал головой и сказал:

— Вы, видимо, не удовлетворены, и если я, с своей стороны...

— Прошу вас не касаться моей личной жизни, — вспылал черт, — и вообще, скажите, пожалуйста, кто из нас черт: вы или я? Вас спрашивают, вы и отвечайте: жизнь или смерть?

И опять думал сановник. И все не знал, на что ему решиться. И оттого ли, что мозг его портился с каждой секундой, или от природной слабости, стал он склоняться на сторону вечной жизни. «Что такое страдание? — думал он. — Разве не страданием была вся его жизнь, а как хорошо было жить. Не страдания страшны, а страшно то, пожалуй, что сердце их не вмещает. Не вмещает их сердце и просит покоя, покоя, покоя...»

...В это время его уже везли на кладбище. И как раз около департамента, где он начальствовал, служили панихиду. Шел дождь, и все были под зонтиками, стекала с зонтиков вода и поливала мостовую. Блестела мостовая, а по лужам молчаливо топорились рябь, — был ветер при дожде.

«Но не вмещает сердце и радости, — думал сановник, уже

склоняясь на сторону небытия,— устает оно от радости и просит покоя, покоя, покоя. У меня ли одного такое тесное сердце, или же так и всем на роду написано, но только устал я, ах, как я устал». И вспомнил он недавний случай. Это было еще до болезни. И собрались у него гости, и было почетно, весело и дружелюбно. Очень много смеялись, а особенно он,— раз даже до слез рассмеялся. И не успел он тогда про себя подумать: «Какой я счастливый»,— как вдруг потянуло его в одиночество. И не в кабинет и не в спальню, а в самое одинокое место,— вот и спрятался он в то место, куда ходят только по нужде, спрятался как мальчик, избегающий наказания. И провел он в одиноком месте несколько минут, почти не дыша от усталости, предавая смерти дух и тело, общаясь с нею в молчании таком угрюмом, каким молчат только в гробу.

— А ведь надо поторопиться,— сказал черт угрюмо.— Соро и конец.

Лучше бы он и не говорил этого слова: конец. Совсем было отдался сановник смерти, а при этом слове воспрянула жизнь и завопила, требуя продолжения. И так все стало непонятно, так трудно для решения, что положился сановник на судьбу.

— Можно подписать с закрытыми глазами? — боязливо спросил он черта.

Черт искоса поглядел на него, качнул головой и сказал: — Пустяки.

Но, должно быть, надоело ему возиться,— подумал, вздохнул и снова разложил перед сановником смятую бумажку, больше похожую на носовой платок, чем на такой важный документ. Сановник взял перо, стряхнул чернила раз, другой, закрыл глаза, нащупал пальцем место и... Но в последний момент, когда уже делал росчерк, не вытерпел и взглянул одним глазом. И крикнул, отшвырнув перо:

— Ах, что же я наделал!

Как эхо, ответил ему черт:

— Ах!

И заахали стены и потолок, стали сдвигаться, ахая. И захохотал черт, уходя. И, чем дальше он уходил, тем шире становился его хохот, терял отдельность, раскатывался страшно.

...В это время сановника уже зарывали. Мокрые, слипшиеся комья тяжело грохались о крышку, и казалось, что гроб совсем пуст, и в нем нет никого, даже и покойника,— так широки и гулки были звуки.



## ПРАВИЛА ДОБРА

### I

Кто не любит добра?

Случилось так, что некий здоровенный пожилой черт, по тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе он был чертом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули его, и пакостничать уж больше не хотелось; склонность же к порядку — добродетель, весьма распространенная среди чертей, — твердый, положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и, наконец, неимение опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком, — постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки есть окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжелых сомнений, и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в качестве соблазнителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул душою; и тут же, по времени, было положено начало его новой подвижнической жизни.

Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, как-то: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и нашептывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он уклонялся, чувствуя скуку, серьезное же дело не наворачивалось. Молящиеся все были люди скромные, тихие и дьявольским наветам поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой

любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями высокого честолюбия, совершенно чуждого их неприятельской жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у черта ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискивание новых, тем более, что круг маленьких грехов весьма ограничен. Пытался он первоначально свергнуть в бездну соблазна самого попа, но и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый, наполовину впавший в детство — и, как дитя, невинный. Если черту и удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти необходимые слова и заменить их неподходящими и даже соблазнительными; если удавалось обкормить попику кашей или заставить проспать утреннюю мессу, — то и в этом был только внешний, формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и другим прекрасно чувствовал прирожденный черт. И мало-помалу в свои прямые обязанности соблазнителя он начал вносить равнодушие и холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот, плюнет раза два-три в угол, заставит попику каждый раз в одном и том же месте перепутать слова и поскорее усядется на свое излюбленное место в тени колонны — по украденному молитвеннику внимательно следить за службой.

Такое времяпрепровождение, хотя и приятное, было, однако, враждебно деятельной натуре пожилого черта; и, незаметно для себя, он втянулся в обиход церковный, разделит интересы домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа. По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы поправлял лампы и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру: «Ora pro nobis». И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все шло под благословение, то шел и он, слегка толкаясь, по своей грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда он являлся, как и все черти, с фальшивыми докладами, Носач все больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи и дикой неразберихе. Визгливые ведьмы, которым в свое время он отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством омерзения; и не одной из них с своею былою ловкостью он прищемил хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.

И так как все непрерывно лгали, и каждое слово каждого было ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то



начинала с непривычки болеть голова, и скорей хотелось на воздух.

После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием вернулся в тихую церковь и двое суток, как убитый, спал за колонной; проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попику в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедовались.

Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное выражение, благодаря огромному отвислому носу и резким складкам вокруг тонких губ, есть самый настоящий черт. Но, когда Носач клятвенно подтвердил свое заявление, стал с детским любопытством расспрашивать его об адских делах. Но черт только отмахивался рукой и угрюмо ворчал:

— Ах, и не говорите, святой отец, это — не жизнь, а чистый ад.

— А где же твои рога? — спрашивал поп.— И где же твои копыта? И ты зачем ко мне пришел: соблазнить меня хочешь или покаяться? Если соблазнить, то напрасно,— меня, сударь, соблазнить нельзя.

Попик засмеялся и похлопал его по плечу.

— А кашу помните? — угрюмо спросил черт.

— Какую кашу? — удивился попик.

— А на той неделе, в субботу, помните? Вы еще много съели, помните?

Попик заволновался:

— Так это ты мне?! Ай-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа позову.

— Я покаяться пришел, а вы меня гоните! — уныло сказал черт.— Аще, сказано, одну заблудную овцу...

— Так ты и Евангелие знаешь! — удивился старичок. Черт строго и гордо ответил:

— Прозкзаменуйте.

— Так, так, так! Ты, значит, серьезно,— а?

— Прозкзаменуйте.

— Ну и удивил же ты меня... не знаю, как тебя назвать, ах, как удивил. Пойдем же ко мне, я тебя прокзаменую: тут тебе пока не место. Скажите пожалуйста, черт, а Евангелие знает!.. Пойдем, пойдем!..

И целый вечер, у себя на дому, попик экзаменовал Носача и восторженно удивлялся:

— Да ты богослов! Ей-Богу, богослов. Ты занимался, что ли, этими вопросами?

— Занимался-таки,— скромно подтвердил черт. Вообще, хотя он держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не забегал вперед, и сразу видно было, что это — черт строгий и положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не кичился и все больше и больше нравился добродушному старому попику.

— Так чего же ты хочешь? — спросил поп.

Черт с размаху бухнул на колени и завопил:

— Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела! Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его творить, еще не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки: тьфу, тьфу, тьфу!

Когда волнение поулеглось, попик благодушно потрепал черта по плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не вдвое был выше ростом. От прикосновения черт устранился,— он не любил фамильярного обращения,— и с угрюмостью, составлявшей главную черту его характера, настойчиво спросил:

— Так как же, святой отец, научите?

— Добру-то? Можно. Это можно! Но только знаешь ли ты творения святых отцов? В Библии ты силен, но этого, дружок, пожалуй, маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечерком составлю списочек, что читать.

Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на его широкую спину, остановил его вопросом:

— Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..

— Одежду?

— Нет, все это,— попик неопределенно очертил рукою фигуру дьявола,— вот у тебя нос этакой грушей... у тебя всегда так? И лицо у тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя черная... Мне это нравится, но всегда у тебя так или же ты имеешь и другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а чертей еще никогда не видал.

Дьявол мрачно солгал:

— Другого вида не имею.

— Нет? Ну что ж поделаешь: нет так и нет. Иди же, погуляй, а я поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов, но ты еще мало...— попик значительно поднял палец,— очень еще мало знаешь. Да!

— А про добро узнаю? Мне, главное, про добро узнать.

Попик успокоительно сказал:

— Про все узнаешь. Столько книг прочесть да не узнать: какой ты, брат, мнительный!

Два года сидел черт над книгами и мучительно доиски-

вался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С древнееврейским языком черт и раньше был хорошо знаком, а теперь изучил еще и греческий: все читал в подлиннике, сверял, отыскивал ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что пошел к попу среди ночи и разбудил его: помогите!

— Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?

— Да то и случилось, что прочел я все ваши книги, а как допрежде не знал добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и тьма ночная пугает!

— Да все ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь.

— Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе: ум у меня дьявольский, тонкий, не терпящий противоречия; и раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!

Попик укоризненно покачал головою.

— Мудрствуешь?

— То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей, рассказывают, голос такой есть, внутренний, указывающий пути добра, а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол. А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни противоречия и вижу: и то можно, и другое можно, и того нельзя, и другого нельзя. Вот хотел я для начала земной моей жизни вступить с хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.

— Могий вместити...

— Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы, святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не хуже вас были, а жен имели даже по несколько. И не будь бы в браке святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дочери...

Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:

— Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно,— того и гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если неможетсяя.

— Да разве это ответ?

— А что же тебе надо, горделивый?

— А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все

времена и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких ошибок, — вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте. Даю вам семь дней сроку, а не позовете меня через семь дней, вернусь я в ад, — поминай как звали!

Даже рассвирепел черт: вот до чего захотелось ему добра! Понял это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно думал шесть дней, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:

— Черт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да. Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь, а? — торжествовал попик, — возлюби, — вот тебе и все.

Но измученный черт нимало не обрадовался и мрачно ответил:

— Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я благоденствия оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он не успеет.

— Экий ты, — не знаю, как тебя назвать, — раскоряка! Ну не можешь ты, как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь: узенькая будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, а никуда с нее не упадешь и ни в какую трясицу не ввалишься.

— Возлюби! — мрачно ухмыльнулся Носач, — возлюбить-то я и не могу. Какой же был бы я черт, если бы мог возлюбить?.. Не черт бы я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить добро, — вот вы этому самому меня и научите.

Сказал попик сокрушенно:

— Природа твоя гнусная.

— На что гнуснее! — согласился черт угрюмо, — вот потому-то и бороться с нею хочу, а не камнем на дно идти. Не для одних же ангелов небо, имею же и я право стремиться к небесам? — вот вы мне и помогите. Даю вам еще семь дней сроку, а не поможете, — махну на все рукою и провалюсь в тартарары!

Прошло еще семь дней, и, позвав мрачного черта, сказал ему попик следующее:

— По многом размышлении нашел я для тебя, несчастный, два весьма вразумительных правила: полагаю, что не

промахнешься. Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай. И еще того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и другую подставь. Делай так, как сказано, вот тебе и будет урок на первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто!

Черт подумал и радостно осклабился:

— Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец: теперь я знаю, что такое добро.

Но, оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели, и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему черт; и был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтеки и ссадины, а на плечах, по-верх голого и темного тела, трепалась совсем новенькая рубашка.

— Не выходит,— мрачно заявил он.

— Что не выходит? — встревожился попик.— Лицо у тебя такое неприятное,— ах, Боже ты мой,— и над глазом синяк... а нос-то, нос-то!.. Что же это ты, милейший: пошел добро творить, а вместо того — подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? — ничего я не понимаю.

— Нет, подрался.

— Да я же тебе говорил: аще кто ударит тебя по левой щеке, подставь правую. Помнишь?

— Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и все искал, чтобы меня по щеке ударили, но никто меня не ударил, и не мог я, святой отец, выполнить завета добра.

— А драка-то? А это что же такое?

— Это совсем другое дело. Заспорил я с одним гражданином, и он меня ударил тростью по голове, вот по этому месту,— черт указал на темя.— Тогда я его,— так мы и подрались; и скажу вам не хвастаясь: я ему два ребра сломал.

Попик отчаянно замотал головой:

— Ах, Господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по левой щеке...»

Но черт кричал еще громче:

— Говорю же я вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю, что, когда по щеке, нужно другую, а он по этому месту. Вот шишка,— попробуйте.

Руки опустились у несчастного попика. Отдышавшись, сколько следовало, сказал он с горечью:

— Ну и дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или как бы это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица больше тебя понимает. Как же ты не

понял, что святые слова сии имеют распространительное толкование. Дурень ты, дурень!

— Вы же сами говорили — толкований никаких не надо.

— Да, — горько усмехнулся попик, — толкований никаких не надо, ты так думаешь! Ну что я буду с тобой делать, сам ты сообрази, ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А что это за рубашка у тебя, — подарил кто-нибудь?

— Сам я хотел ее подарить, да никто так ни разу и не попросил. Две недели ходил я по городу среди самых бедных людей, и чего только у меня не просили, а рубашки так никто и не догадался попросить, — уныло вздохнул черт. — Видно, сами они не понимают, что такое добро.

— Ах, несчастный, — снова заволновался поп, — вижу я, что наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?

— Просили.

— И хлеба, например, просили?

— Просили.

— А ты ничего и не дал?

— Я все ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня, святой отец, я и сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра, подумайте, недаром же я покинул ад со всеми его удовольствиями, недаром же я от сатаны отрекся, недаром же я два года, как студент, сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.

— Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно пострадал, за это многое прощается. Черт развел руками.

— Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело. После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждою добра, присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротою. Раз он проплыл мимо меня, и другой, и третий...

— И четвертый?

— Да, и четвертый. И пока я размышлял, отчего он не тонет, приписывая это чудесное явление силе невидимых подводных течений, собрался на его крик народ, и тут, — теперь мне стыдно об этом рассказывать, — произошла эта самая скверная драка. Должен вам пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин, — меня и другие били.

Стоял черт, опустив длинные руки, бессильные творить добро, и отвислый нос его, пораненный ударом, выражал уныние и крайнюю тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, еще раз взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут еще заметил: на темени, у самого корня седых волос, запеклась кровь. Дьявол покорно принял поцелуй и шепотом сказал:

— Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то на вашей земле живут?

— Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут.

— И спасаются? — недоверчиво спросил черт.

— А это уж одному Богу известно, и нам с тобой в этот конец даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж тебя не оставлю, я тебя и еще поучу, у меня много времени свободного. Черт ты старательный, и все у тебя пойдет по-хорошему, только в уныние не впадай да ранку на голове промой холодной водой, как бы не разболелась.

Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни огорченный унылый дьявол, ни сам попик с благостной душой, когда он лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол, в свою очередь, жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка которого тщетно доискивались оба.

Так и разошлись, не зная: попик — к себе, приискивать новые правила добра для поучения, а дьявол к себе, в темноту запыленных углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать Бога об его грозных и непонятных веле-ниях.

## II

Вот и снова начал благостный поп обучать добру непокорную дьявольскую душу, — но тут-то и начались для обоих самые тяжкие мучения.

Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи совер-

шались в том самом виде и в том самом порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно. В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и вид тот, и слова те самые, но либо какого-нибудь слова черт не дослышит, либо не так поймет,— и опять ошибка, человеку обида, а добру поправление. Уже и у попаика начал мутиться разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешимых.

«И откуда все это берется? — думал попик, пока черт в углу зализывал новую рану или тяжело вздыхал от гнетущего бессилия.— То ничего не было, а то вдруг так все и полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и священнослужитель не разберется. Но как же я раньше разбирался? — удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь: надо попробовать распространительное толкование. Дам ему такие общие законы, а он их пусть распространяет... Только бы не вышло чего, о Господи!»

И на распространительное толкование черт покорно согласился: измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на всякие жертвы,— да не принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что и побои не только его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха. Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт научился, а раньше совсем как будто и слез не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие слезы и неутолимую тоску о добре мог бы попасть он в угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было в них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и надежды теперь оставалось что на распространительное толкование.

И совсем приободрился черт и даже с некоторою гордостью сказал попу:

— Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете толкование, я уж не собьюсь. Ум у меня положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не таяйтесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый первый



закон, по которому жить. Когда этот закон исполню, тогда вы и другие мне скажете.

Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик, взглянул и в душу к себе,— вздохнул радостно и не совсем решительно сказал:

— Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на все есть воля Божия, то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот смотри.

И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и таинственные слова:

*Не противься злу.*

Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные слова.

— Ох, боюсь,— сказал он тихо.— Ох, промахнусь я, святой отец!

Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг на друга черт и человек.

— Попробуй все-таки,— сказал наконец поп.— Тут, видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говори: прости им, Господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже очень важны.

Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца пропал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп. Наконец вернулся.

И увидел поп, что черт совсем исхудал,— одна широкая кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что черт голоден, жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под закосматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая тоска. Насилу отдышался черт, харкнул два раза кровью, точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и попик, еще не ведая, в чем дело, и наконец сказал:

— Ну, уж говори, чего наделал!

— Ничего я не наделал,— печально ответил черт.— И было все так, как и надо по закону, и не противился я злему.

— Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?

— От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его творящему. Ах, как тяжело мне, святой отец. Присядьте, я вам расскажу все по порядку, вы уж сами разберите, где тут добро,— я не знаю.

И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути случилось с ним следующее:

— Лежу я святой отец, отлеживаюсь за камнем, что при дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой стороны идет женщина и несет в руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители: отдай! — а она не отдает. И тогда поднял грабитель меч...

— Ну! — вскричал попик, прижимая руки к груди.

— И ударил ее мечом грабитель и рассек ей голову надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители, и один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорогою...

— Ну! — дрожал поп.

— Бросил и разбил его о камни, святой отец!

Поп закричал:

— Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой, палкой!

— Палку у меня раньше отняли.

— Ах, Боже мой! Ведь ты же черт, ведь у тебя же есть рога! — ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава Богу, черт!

— Не противься злему,— тихо сказал черт.

Было долгое молчание.

Побледневший попик как стоял, так и пал на колена и покорно сказал:

— Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка,— я, старый, убил женщину и ребенка. Отойди же в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий человеческий грех.

Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего черта и сказал ему:

— Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хо-

рошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.

— Тогда я пропал,— решительно и мрачно заявил черт.— Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

— А ты и опять промахнешься, и меня подведешь: нет, сударь, довольно! — Попик даже рассердился.— Нету правил. Нету и нету.

— А раз правил нет, так и добра никакого нет.

— Что? Добра нет? А что я с тобою, с чертом, разговариваю, что я тебя, черта, учу, это — не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!

Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния дошел,— уперся мрачно и ворчит:

— То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!

— Да разве черта научишь?

— А раз черта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего оно не стоит!

— Эй, прогоню!

— Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.

Помолчали. Черт спросил:

— Так как же, святой отец, идти мне в ад?

Даже прослезился попик: так жалобно спросил это черт; и поклонился низко, говоря:

— Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств, и много ты видел творений великих мастеров,— нравятся ли они тебе за красоту?

Черт подумал и ответил:

— Какие нравятся, а какие нет.

— А слышал ли ты, чтобы для красоты были правила?

— Какие-то, говорят, есть.

— Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то правила, сотворить красоту?

— Какой у меня талант? Нет, не могу.

— А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!..

Черт даже засвистал:

— Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и не понуждает, а добро, говорят, твори. Твори,— а правил не

дают; твори — а в чем дело, не объясняют, да за каждую промашку в потылицу!

— Талант нужен, миленький!

— А если его у меня нет, так в ад мне и идти?

Поп покачал головою и руками развел:

— Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобой потерял.

— Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не картинки писать хочу, а добро творить, — вот вы меня и учите, хоть сами выдумайте, а учите!

Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно сказал:

— Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда положил, вот, думал, приведу к Богу новую овцу, полюбил тебя, как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только от писанного не отступай ни на единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх, приютись где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то помогай звонарю, — он совсем у меня от старости ослабел и не в те веревки держат. Звони себе во славу Господню!

Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так помещение: четыре стены глухие, вместо двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной беседы, а в остальное время, никого не видя, черт бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его попик, говоря, что у дьявола его размышления есть действие, и притом вредное, — черт хоть и соглашался, но ничего поделаться с собою не мог. Трудно было не думать об испытанном, а как начнет думать, так и покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской водой, ви-

дится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не Богу, а сам Бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой руке у Него по правде, и на каждом пальце по правде, и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но где-то такое в своем противоречии странно примиряясь. Но где? — не может найти этого места несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, а и вздохнуть-то страшно.

— Ну как,— спрашивает попик,— соскучился? Ничего не поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко,— ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.

Черт еле слышно шепчет:

— Противоречия.

— Опять! — ужасается попик.— И где ты их только находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат, все течет согласно.

Черт криво усмехнулся:

— Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?

— Ну и дурень! Конечно, не бывает.

— А вы говорите, что бывает.

— Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?

Черт угрюмо вздохнул:

— Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?

— Муху-то? — засмеялся попик.— Муху можно! Постой... Ну вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет,— теперь уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об мухе,— знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно бил, а вот теперь...

— Живая она,— мрачно сказал черт.

— Да, да, живая! — огорчился попик.— Так и я, значит, живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!

Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое решение.

— Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.

— Мух-то? — недоумевает попик. — Ты про мух говоришь?

И до того, случилось, они договорятся, что оба впадут в полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у черта одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попика тихое и скоропреходящее: еще до своей келейки после разговоров не успеет прийти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьет, и даже не без злорадства.

Но что за муки для дьявола! Стоит он со своею непомерною дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо ползающей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изощренный в упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается пред ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит, забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щечочет мрачно стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и много ненавидел дьявол; много и многого он страшился, но так и не узнала его душа образа более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной мухи, ползающей по лицу.

Но все хуже здоровье попика, одолевает его белая старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три года томится заключенный в бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попика противоречиями, а только жалобно торопит:

— Ах, поскорей бы, святой отец!

— Не бойсь, миленький, не умру,— успокаивает его попик.— По моему расчету, мне еще с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А работа уже к концу подходит. Не пугайся, не волнуй себя. А я тебя сегодня как раз порадовать пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с тобою посмотрим, повеселимся.

«Сказано: не убий»,— мрачно подумал черт, глядя на улыбающегося попика, но вслух ничего не сказал и охотно

собрался в путь, так как очень соскучился от долгого заключения.

Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с тоскою на попаика: тот покачивается от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А попаик-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел очень от радости. Не выдержал черт и, накупившись, вступил в диспут:

— Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?

— А как же? Еретика сожгли! — отвечал попаик тихо и умильно.

— Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.

— Никто его не убивал, что ты, миленький!

— Да ведь сожгли же его или нет?

— Слава Богу, сожгли, сожгли, миленький!

Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести его все течет согласно? — думал дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб. — Ничего не понимаю! Видно, не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени притаюсь, пальцем не шевельну!»

И с того времени в одиночество свое уже не возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему пищу, убирал келейку и с дьявольской силой и упоением чистил старое попаиково платье, будучи уверен, что уж здесь-то, наверное, греха нет. Когда же, преодолевая слабость, садился поп за продолжение своего труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного черта: ведь последняя надежда.

Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки начертал лежа: неразборчивы они и кривы, но тем дороги, что последние. На коленях принял черт ве-

ликий дар и громко, с истинным наслаждением поцеловал сухую руку.

— Что, рад небось? — спросил попик. — Ну, радуйся, радуйся, давно пора. Только смотри, опять не промахнись!

— Теперь не промахнусь, — уверенно ответил черт. — Если только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.

— Черт ты старательный, это верно. И рукопись, смотри, не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты думаешь подвизаться?

— Пойду по всему миру! — самонадеянно ответил черт. — Эх, пожили бы вы еще с полгодика, — много тогда хорошего рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро, — черт сжал огромные кулаки и яростно потряс ими, — что это только видеть надо, как я начну работать!

Так и ушел черт в ликовании, но вот что дальше случилось. Вместо того чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к родным местам, — но только от попика прямою дорогой, нимало не колеблясь, полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже проповедуют, и даже еще с большей силой, так как свободно лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святыя слова, яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился проповедниками и святыми; и впереди всех, обрадованный новой потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка, — и больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное, — в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище, — горю и сте-



наниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный владыка!

Со всюю прытью, какая только доступна была его старым ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к старенькому попику, но — увы! — попик уже умирал.

— Да погодите же минутку! у меня рукопись порвали! — завопил черт, падая на колени.

### III

Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил черт, и жаловался, и требовал новой рукописи, взамен попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской постели. После долгого молчания разжал попик сухие, запавшие губы, бессильно пожевал ими и с трудом вымолвил:

— Опять промахнулся?

Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно солгал:

— Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду умираете или еще с полгодика поживете?

Попик ответил:

— Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть, да думаю: дай подожду денек — авось и ты придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе, дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне: хочу я последним взглядом проститься с дорогими местами.

Но в открытое окно только и видно было что угол крыши, крытой красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек... Или он на облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной Флоренции».

Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшею осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и Божьего мира.

— Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка, — сказал он с гордостью.

И оба стали смотреть и радоваться. А уж близилось к

закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило. На высоте же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы, расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя тень.

Попик тихо радовался и вспоминал.

— Вон за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и оставил для Бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.

Солнце заходило.

— А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил. И нет, дружок, более приятного чувства, как ощущать под ногою горячие, родные плиты,— как бы матерью становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду сейчас, будет еще лучше, дружок.

Черт вздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:

— Ты... не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.

Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный черт, взывал грубым голосом:

— А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните, умоляю вас!

Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а вниз несу мертвого!» И великая скорбь овладела душой дьявола; метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь, бился о стены,— не привык он к человеческому горю и не умел выражать его тихо. И до того дошел, что, схватив свое единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий,— изор-

ванную рукопись, — с яростью швырнул ее в угол как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!

---

Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно неразборчивых, старательных строк. И по мере того как читал, все больше тарачил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с последнею страницей весь не превратился в одно сплошное недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь.

Что это, — глумление? Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как в длинном, не по росту, платье? Но черт обманут, — черт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.

Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы, состояла из коротеньких, деловых рецептов, точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала, — даже самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное описание поступка), — и больше ничего. Что-то вроде нынешних поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в поваренных книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут — ничего.

И что особенно больно укололо черта: во всей книге не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы, ожидать, что старенький поп не поскупится на этот предмет, — недаром же он столько учился и так прекрасно чувствовал добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда тща-

тельно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии писавшего, — и все.

Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого черта — о, он был достаточно хитер, этот старый, невинный попик! И снова садится старый черт за работу и вглядывается в каждое слово сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка, — но что до того старательному черту, возлюбившему добро! Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и вычитает — вот-вот доберется до итогов, твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть и будут, установит неизменные начала добра. Черт не честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами овладевает им истома гордости: не для всех ли, ищущих добра, работает он так неутомимо, не ему ли некогда воздвигнется новый и великолепный храм?

Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а, наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги:

когда надо — не убий; а когда надо — убий;

когда надо — скажи правду; а когда надо — солги;

когда надо — отдай; а когда надо — сам возьми, даже отними;

когда надо — прелюбы не сотвори; а когда надо — то и прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!);

когда надо — жены ближнего не пожелай; а когда надо — то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.

И так до самого конца: когда надо... а когда надо — и наоборот. Не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком, которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно, и противоречий даже не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правила, — сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то, что, наряду с действиями положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми, — старый попик с блаженным спокойствием предписывал убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него

миг совершенного безумия — вдруг показалось, что старый попик есть не кто иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы пожелавший искутить черта.

Забившись в темный угол, черт горящими глазами глядел на дверь и думал:

«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся попом и даже Богом, как я оделся человеком,— и погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я вовеки».

И все ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся сатана, и, простив, позовет его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный старый черт:

«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда не зная, что я такое творю. Проклят я вовеки!»

Так и жил черт, старясь. Когда требовалось рукописью — спасал, а когда требовалось убивать — убивал. И было ли противоречие только в словах, а в действиях все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки, но настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре перестал думать. Но были для него и черные дни — обрывалась рукопись и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову ядовитые сомнения, и, как призрак манящий, звало в неведомую даль неведомое Добро.

Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, черный, подобный истукану; и были крепко сложены на груди жилистые руки, способные сокрушить горы и обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей, мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой, обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая колонна в храме, которой я раньше не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки неторопливо плели на нем свои тенета,— и время стояло неподвижно, как проклятое.

...Кто не любит добра?



## ИПАТОВ

Жил в Москве богатый купец — Ипатов, Николай Павлович, человек самый обыкновенный, ни грехами какими-нибудь особенными, ни добродетелью не отличался. Был только доверчив, да и то по-купчески, с оглядкой. Дело он вел большое и запутанное, допускал кредит и имел много должников. Была у него и семья, сыновья и дочери, какие-то племянницы и племянники, жившие при доме. Большая семья, а появилась незаметно, выросла как шерсть на коже: и тепло от нее, и страшно за нее. А она тоже себе живет.

И было все так обыкновенно, и вдруг произошло необыкновенное и поистине страшное, не имеющее разумного объяснения.

Разорился Ипатов. Сперва ему по нескольким векселям не заплатили и сильно его подвели, а потом он не заплатил, и дошло дело до судебного пристава. Но к тому времени Ипатов ослабел, впал в мрачное равнодушие и решил: пусть описывают, пусть продают, никого видеть не хочу. И уехал на два дня к Троице, где были у него знакомые монахи: не то отмолиться, не то просто отсидеться думал.

Но столичные адвокаты — народ хитрый. Было это под Рождество, и как раз в канун, в самый сочельник, приехал адвокат с судебным приставом и сказал:

— Мы его не по карману, а мы его по самолюбию купеческому ударим, — вот как!

И не стал разыскивать ни золотых брошек, ни толстых дутых купеческих браслетов, — охота трудиться и вступать в спор с женщинами! — а велел обвязать толстою веревкой рояль и наложить печать. Таким же образом обвязал и припечатал люстру, что над самым обеденным столом, и уехал, — оглянуться не успели. И всего пробыл пять минут, а

наделал такого, что вся купеческая семья от мала до велика ревом взревела. Стыд! Завтра Рождество, сколько народу будет, дочки танцевать собирались, а тут веревки да печати,— и веревки-то корявые, в узлах, от груза в сарае валялись.

Вернулся Николай Иванович из монастыря, взглянул на люстру и спрашивает, как будто не понял ничего:

— Это что?

А жена плачет и говорит:

— Нет, ты в залу поди и глянь, что с твоим роялем сделали.

Уже к полуночи разыскал Ипатов пристава,— а пристав с женою в церковь собирался,— и насилу, насилу-то умолил его деньги взять и поехать снять печати.

— Да вы сами их снимите,— возражал пристав, одетый по-праздничному.— Я вам удостоверение дам.

— Нет уж, Христом-Богом молю, поедemте со мною. Я теперь всего боюсь,— умолял Ипатов.

— Да я вам боюсь...

— Нет уж, не откажите. Я вас отблагодарю, не пожалее-те!

Поехал-таки пристав и сам в присутствии дворника снял печати и развязал корявые веревки.

Так вышел Ипатов из своего мрачного равнодушия; и еще целых два года после этого он суетился до истомы, подпирал плечом падающее, ловил пальцами воздух; как баба после пожара, копался на пожарище, угадывал, где что сгорело. И тут все еще не было ничего необыкновенного: в те тяжелые годы много народу поразорилось, и кто поправился, а кто и совсем обнищал,— таких, как Ипатов, в одной Москве насчитывалось десятки. Да и не так уже плохо обстояло у Ипатова: по окончании всех дел остался у него двухэтажный дом на Зацепе и тысяч пятнадцать чистого капитала,— при бодром расположении хоть снова дело начинай. Он и начал бы, так как при своих годах и седине телом был крепче сыновей и племянников,— не порази его душевная болезнь.

Вот эта болезнь и есть то необыкновенное, что отличило его от всех людей его положения, сделало его судьбу замечательною и поистине страшною. Есть мера греху и возмездию, и над жизнью всех людей и судьбою ихнею зрится дух справедливости, но от жизни Ипатова отошел дух справедливости, безмерность страданий кощунственно превысила меру греха, и стал человек как бы игрушкою в руках свирепого беззакония.

Началась болезнь с молчания и слез. То, что говорил Ипатов, не было неразумно и не обнаруживало больного ума; но все меньше он говорил, а молчать начал часами. И, оставаясь молчаливым, не жалуясь и не ропща, он вздыхал протяжно и так горестно, что как бы последним, как у умирающего, являлось каждое дыхание его. Но не было оно последним, как у умирающего, и, в себе самом черпая горькую силу, возрастало оно до степени воздушного крика, бессловесного стенания. Уже весь дом смолкал, внимая стенаниям, а они все продолжались и вдруг заглушались тишиною; и тогда можно было видеть, заглянув в щелку двери, что Ипатов сидит, склонившись над столом, положив руку на деревянные счеты, и горестно плачет, каплет слезы и на руку, и на счеты.

И в начале болезни своей Ипатов стеснялся не только плакать, но и молчать на людях: то ли улыбнется, то ли скажет пустяк, незаметно поднимется и уйдет к себе в комнату за своим горьким делом. Но уже вскоре пропали люди из глаз его, и везде стал он один; и уже случалось: ведет его жена по улице, а он плачет, лицо мокрое; утирается рукавом, словно малое дитя. И такую тоску стал он наводить на здоровых, что даже в церковь его допускали неохотно; а под конец и совсем запретили. Приходский батюшка, выслушав много жалоб, не совсем по совести порешил:

— Дом Божий — дом радости, а не стенаний, каким место только в аду. И если уж при виде святых угодников и Царицы Небесной не просветляется его дух, то и нет ему места перед ликом их чистым. Почему я знаю его грехи? Он уже три года не был у меня на исповеди.

— Нет у него грехов, я знаю, — возразила жена.

— А я знаю, что есть! Открой его грех, я тогда перед всем народом на поучение его поставлю, тебя не спрошу, а теперь от него один соблазн и тревога. Веди-ка его домой, а сама приходи молиться, — авось тебя Бог услышит.

Хоть и гордым голосом, но не по совести были сказаны эти слова: будучи уж весьма не молод, батюшка все еще не окреп в вере, страдал сомнениями, терзался тайно. Доходило даже до того, что, стоя в самом алтаре, на мысленной молитве, он вдруг впадал в отчаяние и шептал чужим голосом: «Несть Бог!» — и в безумном извращении видимого благолепный храм со всеми предстоящими казался ему домом для умалишенных. И, признай он, что Ипатов страдает безвинно, лишился бы он и последней веры, благостного сомнения в неверии своем.

Так кривдою слабого ума был отторгнут Ипатов от церк-



ви, но не почувствовал лишения, объятый несказанной и все растущей горестью. Допытывалась жена узнать, о чем его слезы и стенания, но не могла; допрашивали о том же и знакомые троицкие монахи, и приглашенные врачи, но не было и им ответа. Может быть, и хотел страдалец ответить, но не успевало первое слово родиться на устах его, как переходило оно в бессильное дрожание губ, срывалось дыхание, и в тесноте груди, сдавленной жерновами, замирала человеческая речь. Раз только на вопрос жены: «Тебе больно?» — он явственно сказал:

— Больно.

Но и только всего сказал он, ни слова не прибавил, так-таки и не открыл тайны страдающего сердца. Да и была ли тайна? Не вся ли жизнь его была доподлинно известна, и не было в ней сокрытого, не было тайного и в темноте своей порочного.

Около года провел в таком состоянии душевнобольной; и не было за год времени даже часа, когда отдохнул бы он от слез: не высыхали глаза и уже начали гноиться, предвещая слепоту. Но голос стенаний оставался чистым, и даже появилась в нем особая мягкость, как в голосе женщины или еще невинного подростка. Из дальней комнаты порою чудилось, что это ребенок плачет, а не пожилой, стареющий мужчина. И ночь не освобождала страдальца: лежал он, покорный, и во сне мучился так же безысходно, как и наяву, мочил седую бороду в неистощимых слезах. Придет жена со свечкою, постоит, посмотрит, — то ли это муж ее, с которым в согласии прожила двадцать лет, то ли совсем чужой, неведомый и страшный человек... Двоится в глазах, деваться некуда, только одно спасение и есть что смерть.

И другой от таких страданий давно наложил бы на себя руки, но либо потерял Ипатов соображение, либо перешли мучения ту грань, за которою не властен человек поднять руку даже на себя. Очертило его своим кругом страдание, и стал он всему миру чужд и как бы неприкосновенен. Так было год, а по прошествии года прибавилась некоторая новая черта, завершившая все еще незавершенное и придавшая жизни Ипатова последний и окончательный вид.

Существовал в доме под лестницей темный чуланчик, где спал один из племянников, незадолго перед тем умерший от чахотки. Вот в этот без света чуланчик на охолодавшую кровать и залег однажды Ипатов, чтобы не выходить уж больше и не видеть света. Вначале пробовала жена отвести его в спальню, на собственную роскошную, купеческую кровать, но снова и снова уходил Ипатов в чуланчик, — там его,

наконец, и оставили. Там он и жил, не видя свету, еще целых двенадцать лет.

И двенадцать лет, не смолкая, неслись из чуланчика стенания, и двенадцать лет, не осушая глаз, плакал от неведомого, ужасного горя несчастный купец. Вечный сумрак крыл его черты, и это было благом для людей, так как не мог бы человеческий взор вынести душепротивного зрелища столь ужасных страданий, не имеющих корня ни в божеской, ни в человеческой справедливости. Гнильем и затхлостью пахло из чуланчика, тяжелой человечиной пахло; как старый пень в сыром и темном овраге, медленно изгнивал купец, взбухший, тяжелый и трухлявый. Словно мох, расплзлась по всему лицу борода, полезла из ноздрей, застлала уши, подобралась к самым глазам, — а глаза-то вытекли, а глаза-то вытекли, а глаза-то вытекли у купца, вытекли! Но что же это за горе такое, которому нет конца и предела, которое не насыщается ни временем, ни слезами, которое не спит и не дремлет, а бодрствует в ночи, которое не приходит и не уходит, а стоит вечно, не имеет над собою закона, — что же это за страдание такое?

Волоклись годы, как грабли, и выгребали сорное; кто из детей Ипатова умер, кто поженился и завел свой дом; второй сын, Василий, открыл свое дело, стал твердо, приобрел немалую силу и совсем отошел от отца и матери. Переменились и соседи, другие фамилии стали у домов, и уже мало кто помнил и знал Ипатова. Умер и приходский батюшка, к концу дней своих обретший веру и успокоение, и только с несчастным купцом оставалось без перемены: как лежал в чуланчике, так и лежит, не живет и не умирает, а только стонет по-прежнему и прегорько рыдает.

Не изменила и верная жена, Настасья Григорьевна. Другая бы как поступила? Отдала бы старика в богадельню или в сумасшедший дом, а сама к женатому сыну пошла бы, внуков нянчила, пользовалась бы разными старушечьими радостями, — никто и не осудил бы ее. Была она к тому же привычна к роскошной жизни, избаловалась достатком, в молодости любила удовольствия: и танцы, и приятный разговор, и театр по праздникам. Но, против всякого ожидания, не оставила она больного мужа, несчастного старика своего, как верная подруга, добровольно разделила его горькую и необыкновенную судьбу. Помочь нельзя было, так она ухаживала за страдальцем: кормила его с ложки, как младенца, меняла белье, водила по нужде и в затхлый маленький чуланчик старалась напустить свежего воздуха, а в остальное время раскладывала пасьянс либо беспредметно

и молча по несколько раз обходила пустые комнаты, чистила, прибирала, сама подметала и мыла пол. Только нечего было и чистить, так как некому было и сорить. Напрасно и сын Василий увещевал ее, тянул к себе под разными предложениями.

— Папаша все равно человек конченный, — говорил он, — а у меня сынок-младенец без присмотра, большое хозяйство. Катя моя молода, любит удовольствия и за всем уследить не может. Прошу вас, мамаша, переезжайте ко мне, а папашу я устрою сообразно его положению.

Был у него при этом и свой расчет: продать ненужный дом и деньги пустить в оборот, но, кроме того, он и сердечно жалел измученную мать. Но и против сына отстояла свое право Настасья Григорьевна и лишь в утешение ему, понимая его тайные расчеты, вывесила на воротах билетик о продаже дома. Мало, однако, находилось покупателей, да и тех искусно отводила Настасья Григорьевна, назначая невыгодные условия, пока, наконец, разбогатевший Василий не решил оставить ее в покое: недолго уж и до смерти оставалось.

И года за два до смерти Настасьи Григорьевны, лишь на несколько дней опередившей кончину несчастного мужа, зашли как-то случайно покупатели: один был комиссионер и переводчик Никитин, другой — иностранец, по фамилии Гартмут, ничего не говоривший по-русски. Немало печального видел по своей профессии Никитин, но и тот расстроился, как увидел пустые комнаты, чистоту ветхой мебели, пожелтевшие кисейные занавески; страхами зимы, бесприюта и одиночества повеяло на него от блестящих крашенных полов, отражавших оконные переплеты и имевших такой вид, как будто по ним никогда не ступала человеческая нога. Иностранец же, который не ожидал ничего такого, совсем потерялся; а когда снизу, откуда-то из-под лестницы, донесся тихий, но явственный стон, — схватил Никитина за руку и почти что закричал на своем языке:

— Что здесь такое?

Но комиссионер и сам толком не знал. Тогда расспросила Настасью Григорьевну, и она совсем по виду как бы равнодушно рассказала о необыкновенной болезни Ипатова.

— И давно это продолжается? — спрашивал немец через переводчика: от волнения он был совсем красный и давно уж, забыв о покупке, хотел уйти, но не знал, как это сделать.

— Тринадцать лет, — ответила Настасья Григорьевна.

— И так он все время и плачет? А ночью он тоже плачет?

— Да, тоже и ночью.

Сама она как будто и не слышала неумолкавших стонов; стояла, покорно сложив руки, и смотрела покупателю прямо в глаза. Но вдруг ей стало совестно, что она обманывает продажей деловых людей, и предложила им чаю.

— Не откушаете ли чаю?

Отказаться от чаю показалось невозможным, и оба остались. Целый час возилась в кухне старуха, разводя самовар, и этот ужасный час показался полным годом чувствительному и добросердечному иностранцу. Он никак не мог примириться с тем, что далекие стоны не прекращаются, и сперва хотел заглушить их разговором о других продажных домах, а потом и Никитину велел замолчать и только слушал.

— Нет, это невозможно! — говорил немец и чуть не плакал, хотя был совсем посторонний человек и провел в несчастном доме не больше часу.

— Ужасно! — отвечал уже успокоившийся комиссионер, обдумывая новые планы.

Немец с ненавистью посмотрел на его равнодушное лицо и вдруг сердито сказал:

— И с вами то же будет.

— За что? — удивился и даже усмехнулся Никитин. — Я ничего такого не сделал.

— А он сделал?

Тут оба они, при этих простых словах, вдруг поняли и почувствовали, что не нужно человеку вины, чтобы на всю жизнь стать несчастным и без меры наказанным. И, поняв это, ощутили столь сильный страх за себя и своих близких, что не могли ни одной минуты долее оставаться в этом доме, и поднялись, чтобы уходить. Но уже вносила чай Настасья Григорьевна, и опять не хватило сил уйти. Когда же, слушая далекие стоны, пил немец горячий чай с вареньем, то думал, что нет на свете ничего страшнее, как вкус горячего чая и варенья из черной смородины.

С улицы они еще раз взглянули на дом Ипатова и поспешно разъехались по домам, так как каждому казалось, что дома без него произошло несчастье.



## ЦВЕТOK ПОД НОГОЮ

и

Имя его — Юра.

Ему было шесть лет от рождения, седьмой; и мир для него был огромным, живым и очаровательно неизвестным.

Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо: часто следил за ними, лежа на спине среди травы или на крыше. Но звезд полностью он не знал, так как рано ложился спать; и хорошо знал и помнил только одну звезду, зеленую, яркую и очень внимательную, что восходит на бледном небе перед самым сном и, по-видимому, на всем небе только одна такая большая.

Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, баркатистой горячей пыли и того изумительно разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста. И, засыпая, последним ярким образом от прожитого дня он уносил с собою кусок горячего, залитого солнцем стертю камня или толстый слой нежно жгущей, щекочущей пыли. Когда же с матерью он бывал в центре города, на его больших улицах, то по возвращении лучше всего помнил широкие, плоские каменные плиты, на которых и шаги, и самые ноги его кажутся ужасно маленькими, как две лодочки; и даже множество вертящихся колес и лошадиных морд не так оставалось в памяти, как этот новый и необыкновенно интересный вид земли.

И все было для него огромно: заборы, деревья, собаки и люди, но это нисколько не удивляло и не пугало его, а только делало все особенно интересным, превращало жизнь в не-

прерывное чудо. По его тогдашней мерке предметы выходили такими:

Отец — десять аршин.

Мама — три аршина.

Соседская злая собака — тридцать аршин.

Наша собака — десять аршин, как и папа.

Наш дом одноэтажный, но очень-очень высокий — верста.

Расстояние от одной стороны улицы до другой — две версты.

Наш сад и деревья в нашем саду — неизмеримы, высоки бесконечно.

Город — миллион, но чего — неизвестно.

И все остальное в таком же роде. Людей он знал много, огромных и маленьких, но лучше знал и ценил маленьких, с которыми можно говорить обо всем; большие же держали себя так глупо и расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, картавить и отвечать нелепости; и, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них. Но были над ним, и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих: это были отец и мама.

Наверное, они были очень хорошими людьми, иначе не могли бы быть отцом и мамой; во всяком случае, они были людьми очаровательными и единственными в своем роде. С полной уверенностью можно было сказать одно: что отец очень велик, страшно умен, обладает безграничным могуществом и от этого немного страшен; интересно бывает с ним поговорить о необыкновенных вещах, для безопасности вложивши свою руку в его большую, сильную, горячую ладонь. Мама же не так велика, а иногда бывает совсем маленькою; очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвою какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце неприятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такую светлую грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок. Нужно добавить, что мама необыкновенная красавица, и в нее все влюблены; это и хорошо, потому что чувствуешь гордость, но это и немножко плохо: ее могут отнять. И всякий раз, когда какой-нибудь мужчина, один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных

мужчин пристально и долго смотрит на маму, — становится скучно и беспокойно. Хочется стать между ним и мамой, и куда ни пойдешь по своим делам, отовсюду тянет назад.

Иногда мама произносит нехорошую, пугающую фразу:

— Что ты все вертишься тут? Иди играть к себе.

И тогда ничего не поделаешь, надо уходить.

Пробовал он приносить с собою книжку или садился рисовать, но и это не всегда помогало: то мама похвалит его, что он читает, то опять скажет:

— Иди лучше к себе, Юрочка. Видишь, опять на скатерти воду разлил, всегда ты со своим рисованием что-нибудь наделаешь.

А потом упрекает за капризы. Но хуже всего, когда опасный и подозрительный гость только что пришел, а Юре надобно уже ложиться спать; впрочем, когда он ложится в постель, является чувство спокойствия и такое впечатление, будто все уже кончилось: огни погашены, жизнь приостановилась, все засыпает, и подозрительный гость не то также уснул, не то ушел совсем.

Во всех этих случаях с подозрительными мужчинами Юра, хотя и смутно, но очень сильно, чувствует одно: что каким-то образом он заменяет собою отсутствующего отца. И это делает его немножко старым, как-то дурно, по-взрослому настроенным, но зато необыкновенно сообразительным, умным и важным. Конечно, он никому об этом не говорит, так как никто его не поймет, но в том, как он ласкается к явившемуся отцу и покровительственно садится к нему на колени, чувствуется человек, до конца выполнивший свой долг. Бывает, что отец не поймет его и просто-напросто прогонит играть или спать, — Юра обиды не чувствует и уходит с огромным удовольствием. В понимании он как-то не особенно нуждается и даже несколько боится его: иногда ни за что не скажет, почему он плакал, или притворится рассеянным, неслышащим, занятым своим делом, а сам все прекрасно слышит и понимает.

И уже есть у него одна страшная тайна: он заметил, что эти необыкновенные и очаровательные люди, отец и мама, бывают очень несчастны друг через друга и скрывают это ото всех. Поэтому и он сам скрывает свое открытие и делает передо всеми вид, что все обстоит прекрасно. Много раз он заставлял маму плачущей где-нибудь в уголке в гостиной или в спальне; детская его рядом со спальнею, и однажды ночью, почти на рассвете, он слышал страшно гневный и громкий голос отца и плачущий голос матери. Он долго лежал, притаив дыхание, но потом стало так страшно от этого необык-

новенного разговора среди ночи, что не выдержал и тихонько спросил няньку:

— Няня, что они говорят?

И няня быстро, испуганным шепотом ответила:

— Спи, спи. Ничего не говорят.

— Я к тебе пойду.

— Как не стыдно, такой большой, и с нянькой спать!

— Я к тебе пойду.

Так, сдерживая голос, страшно почему-то боясь, чтобы их не услышали, долго спорили они в темноте; и кончилось тем, что Юра перебрался-таки к няньке, на ее грубую, колючую, но уютную и теплую простыню.

Наутро папа и мама были очень веселы, и Юра притворился, что верит им, и даже, кажется, действительно поверил. Но в тот же вечер, а может быть, и не в тот, а совсем в другой, он увидел отца плачущим. Это было так: он проходил мимо отцова кабинета, и дверь была полураскрыта, и что-то там слышалось, и он тихонько заглянул — отец лежал необыкновенно, животом вниз, на своем диване и громко плакал. И никого не было. Юра ушел, повертелся в детской и снова вернулся: так же была полуоткрыта дверь, так же никого не было, и все так же громко плакал отец. Если бы он плакал тихо, это еще можно было бы понять; но он всхлипывал громко, стонал грубым голосом, и зубы у него страшно скрипели. Лежал такой большой, во весь диван, прятал голову под широкие плечи, густо сопел и шмурыгал влажным от слез носом, — и этого нельзя было понять. А на столе, на его большом, полном карандашей, бумаги и других богатств столе, красным огнем горела лампа и коптела: плоской черно-серой ленточкой выбегала копоть и изгибалась в разные стороны.

Вдруг отец громко, но как-то по-другому вздохнул и пошевелился; и Юра потихоньку ушел. А потом все было, как всегда, и так никто об этом и не узнал; но образ огромного, таинственного и очаровательного человека, который есть отец, а в то же время громко плачет, остался в памяти у Юры, как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. И если о другом просто не хотелось говорить, то об этом необходимо было молчать, как о святом и страшном, и в молчании еще больше любить отца. Но опять-таки любить его нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете очень весело.

И все это удалось Юре: отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на свете было действительно весело, так что не было надобности в притворстве.



Из души тянулись нити ко всему, к солнцу, к ножу и оструганной им палке, к тем прекрасным и загадочным далям, что видимы с высоты железной крыши; и еще трудно было отделить себя от всего, что не он. Когда сильно и душисто пахла трава, то казалось, что это он сам пахнет так хорошо, а когда он ложился в постель, то, как это ни странно, в маленькую постель вместе с ним укладывались огромный двор, улица, косые нити дождя и пенистые лужи и весь огромный, живой, очаровательно-неизвестный мир. Так все вместе с ним и засыпало, так и просыпалось вместе и вместе с ним открывало глаза. И был один поразительный факт, достойный глубочайших размышлений: если с вечера он втыкал палку где-нибудь в саду, то наутро она оказывалась там же; и спрятанные в ящике, в сарае бабки оставались такими же, хотя с тех пор было темно и он уходил к себе в детскую. Отсюда являлась и естественная потребность все самое ценное прятать под подушку: раз оно само стояло и лежало, так могло само и уйти. И вообще было удивительно и очень приятно, что и нянька, и дом, и солнце существуют не только вчера, но и каждый день; и от этого, проснувшись, хотелось смеяться и громко петь.

Когда его спрашивали об имени, он быстро отвечал:

— Юра.

Но некоторые не довольствовались этим и требовали, чтобы он продолжал,— и тогда с некоторым напряжением он отвечал:

— Юрий Михайлович.

И, подумавши еще, произносил полностью:

— Юрий Михайлович Пушкарев.

## II

Наступил необыкновенный день: мама именинница, к вечеру съедутся гости, будет военная музыка, а в саду и на террасе будут гореть разноцветные фонарики, и спать нужно ложиться не в девять часов, а когда сам захочешь.

Проснулся Юра, когда еще все спали, сам наскоро оделся и быстро выскочил в ожидании чудес. Но был неприятно удивлен: комнаты стояли неубранными, как всегда по утрам, кухарка и горничная спали, и дверь была заперта на крючок — трудно было поверить, что люди зашевелятся, забегают, а комнаты примут праздничный вид, и страшно становилось за судьбу праздника. В саду еще хуже: дорожки

не подметены, и не висит ни одного фонарика — стало совсем беспокойно. По счастью, на грязном дворе за сараем кучер Евмен мыл коляску; и хотя он делал это часто и вид имел самый обыкновенный, но теперь, в решительном плескании воды из ведра, в жилистых руках с засученными по локоть рукавами красной рубахи, явственно чувствовалось что-то праздничное.

Евмен только покосился на Юру, а Юра вдруг как бы впервые заметил его широкую черную волнистую бороду и подумал с почтением, что Евмен очень достойный человек. И сказал:

— Здравствуй, Евмен.

Ну, а потом пошло все очень быстро: вдруг появился дворник и начал мести дорожки, вдруг распахнулось окно в кухне и застрекотали чьи-то женские голоса, вдруг выскочила горничная с каким-то ковриком и начала бить палкой, как собаку. Все зашевелилось; и события, наступая одновременно и в разных концах, понеслись с такой бешеной стремительностью, что невозможно было за ними угнаться. Пока нянька поила Юру чаем, в саду уже начали протягивать проволоку для фонариков, а пока в саду протягивали проволоку, в гостиной переставили всю мебель, а пока в гостиной переставляли мебель, кучер Евмен уже запряг лошадь и выехал со двора с какой-то особенной таинственной, праздничной целью.

С крайним трудом Юре удалось на некоторое время сосредоточиться: вместе с отцом они стали развешивать фонарики. И отец был очарователен: смеялся, шутил, подсаживал Юру на лестницу, сам лазил по ее жиденьким, потрескивающим перекладинам, и под конец оба они вместе с лестницей свалились в траву, но не ушиблись. Юра вскочил, а отец так и остался лежать на траве, закинув руки под голову и вглядываясь прищуренными глазами в сияющую, бездонную синеву. Лежа в траве, с таким серьезным, далеким от игры видом, отец был страшно похож на Гулливера, тоскующего о своей стране больших, высоких людей. Что-то вспомнилось неприятное; с целью развеселить отца, Юра сел верхом на его сдвинутые колени и сказал:

— Помнишь, отец, когда я был маленький, я садился к тебе на колени, и ты подбрасывал меня, как лошадь?

Но не успел окончить, как уже лежал носом в самой траве, поднятый на воздух и опрокинутый чудесною силой, — это отец по-старому подбросил его коленами. Юра обиделся, а отец с полным пренебрежением к его гневу начал щекотать его под мышками, так что поневоле пришлось рас-

смеяться, а потом взял, как поросенка, за ноги и понес на террасу. И мама испугалась:

— Что ты делаешь, у него голова затечет.

После чего Юра оказался на ногах, красный, взъерошенный и не то очень несчастный, не то страшно счастливый.

День бежал так быстро, как кошка от собаки. Словно провозвестники грядущего великого торжества, стали появляться какие-то посланцы с записками, очаровательно вкусные торты, приехала портниха и спряталась с мамой в спальне, потом приехали два какие-то господина, потом еще господин, потом дама — очевидно, весь город находился в волнении. Юра рассматривал посыльных, — странных людей из того мира, и прохаживался перед ними с видом простым и важным как сын именинницы, встречал господ, провожал торты — и к полудню так изнемог, что вдруг возненавидел жизнь. Поругался с нянькой и лег на кровать лицом вниз, чтобы отомстить ей, но сразу заснул. Проснулся все с тем же недовольством жизнью и желанием мстить, но, взглядевшись промытыми холодною водою глазами, почувствовал, что и мир и жизнь очаровательны до смешного.

Когда же на Юру надели красную, шелковую, хрустящую рубашку, и уже явственно он приобщился к празднику, а на террасе его встретил длинный, снежно-белый, сверкающий стеклянною посудою стол, — Юра вновь закружился в водовороте набегающих событий.

— Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли! — кричал он, разыскивая отца, или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащею серьезностью.

Отец и мать сидели в саду, в беседке, густо завитой диким виноградом, и молчали; но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец, хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим скуку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала:

— Пусти. Мне надо идти.

— Так ты помни, — произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущею тревогой.

— Оставь. Как не стыдно, — засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить все тот же серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране.

Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепия наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым

столом, который только сейчас был пуст; зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного, каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться — по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой, — большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. У Митеньки была толстая кожаная, холодная, как змея, сабля, которая будто бы не вынималась, но это Митенька солгал: она была только перевязана возле ручки серебряным шнурком, а вынималась прекрасно; и так было обидно, что глупый Митенька, вместо того чтобы всегда носить саблю с собой, поставил ее в передней, в угол, как палку. Но и в углу сабля стояла совсем особенно, сразу было видно, что она — сабля. И еще неприятно было то, что с Митенькой пришел другой, уже знакомый офицер, которого, очевидно, для шутки, также называли Юрием Михайловичем. Этот ненастоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом, когда Юрочке нужно было ложиться спать. И Юрочка ложился, а ненастоящий Юрий Михайлович оставался с мамой, и это было тревожно и печально: мама могла обмануться. На настоящего Юрия Михайловича он не обращал никакого внимания; и теперь, идя рядом с Митенькой, он точно совсем не чувствовал своей вины, поправлял усы и молчал. Маме он поцеловал руку, и это было противно, но глупый Митенька сделал то же самое и этим привел все в порядок.

Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба. И некоторые падали за стол, а другие прямо в сад: вдруг на дорожке появилось несколько студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки — как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть, от гордости, — они все были очень гордые; а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки, но, конечно, плакать не стал, да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время

отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку:

— Ушибся?

Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума: стал визжать от восторга и вообще что-то выделывать. Если бы у него имелся большой, в целый город, колокол, то он ударил бы в колокол, а за неимением его влез на высокую липу, которая стояла у самой террасы, и начал красоваться. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке заложив палец в рот. Звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр — все остальное пропало. У некоторых труб от громкого рева даже расползлись и развернулись медные концы: интересно было бы сделать военную каску из трубы.

И вдруг Юре сделалось грустно. Музыка еще гремела, но уже где-то вдали и совсем снаружи, а внутри стало тихо — и делалось все тише, тише. Глубоко вздохнув, Юра поглядел на небо — оно совсем высоко — и тихими шагами направился в обход праздника, всех его смутных границ, возможностей и далее. И всюду он, оказывается, запоздал: он хотел видеть, как начнут расставлять столы для карточной игры, а столы были готовы, и за ними уже играли с очень давним видом. Потрогал около отца мелок и щетку, и отец немедленно прогнал его. Что ж, не все ли равно. Хотел видеть, как начнут танцевать, и был убежден, что это произойдет в зале, а они уж начали танцевать, и не в зале, а под липами. Хотел видеть, как начнут зажигать фонарики, а фонарики уже все горели, все до единого, до самого последнего из последних. Загорелись сами, как звезды.

Лучше всех танцевала мама.

### III

Ночь явилась в виде красных, зеленых и желтых фонариков. Пока их не было, не было и ночи, а теперь всюду легла она, заползла в кусты, прохладною темнотою, как водой, залила весь сад, и дом, и самое небо. Стало так прекрасно, как в самой лучшей сказке с раскрашенными картинками. В одном месте дом совсем пропал, осталось только четырех-

угольное окно, сделанное из красного света. А труба на доме видна, и на ней блестит какая-то искорка, смотрит вниз и думает о своих делах. Какие дела бывают у трубы? Разные.

От людей в саду остались одни голоса. Пока человек идет около фонариков, его видно, а как начинает отходить, так все тает, тает, тает, а голос сверху смеется, разговаривает, бесстрашно плавает в темноте. Но офицеров и студентов видно даже в темноте: белое пятно, а над ним маленький огонек папиросы и большой голос.

И тут началось для Юры самое радостное, — началась сказка. Люди, и праздник, и фонарики остались на земле, а он улетел, сделался воздухом, претворился и растаял в ночи, как пылинка. Великая тайна ночи стала его тайной; и захотело маленькое сердце еще более тайного, в одиночестве тела возжаждало оно нечеловеческих слияний жизни и смерти. Это было второе за тот вечер сумасшествие Юры: он сделался невидимкой. Хотя мог войти в кухню, как и все — вместо того с трудом влез на крышу подвала, над которой светилось кухонное окно, и стал подглядывать: там что-то жарили, и сутились, и не знали, что он на них смотрит, — а он все видит. Потом пошел и подглядел папину и мамину спальню: в спальне было пусто, но постели были уже открыты, и горела лампадка — это он подглядел. Потом подглядел в детской свою собственную кровать: также была открыта и ждала. Через комнату, где играли в карты, он прошел, как невидимка, затаив дыхание и ступая так легко, точно летел по воздуху. Уже только в саду, в темноте, как следует отдышался. Затем начал выслеживать. Подбирался к разговаривающим так близко, что мог коснуться их рукой, а они даже не знали, что он тут, и разговаривали себе спокойно. Долго следил за Ниночкой, пока не изучил всю ее жизнь, — чуть-чуть не попался. Ниночка даже крикнула:

— Юрочка, это ты?

Но он лег за куст и притаился — так Ниночка и обманулась. А уж совсем было поймала. Чтобы было еще таинственнее, он стал не ходить, а ползать: теперь дорожки казались опасными. Так прошло много времени — по его тогдашнему исчислению, десять лет, а он все прятался, и все дальше уходил от людей. И так далеко ушел, что начинало становиться страшно: между ним и тем прошлым, когда он разгуливал, как и все, раскрывалась такая пропасть, через которую, пожалуй, уж нельзя было перешагнуть. Теперь он и пошел бы на свет, но было страшно, было невозможно, было потеряно навсегда. А музыка все играет, и о нем все позабыли, даже мама. Один. От росистой травы веет холодом,

крыжовник царапается, темноту не разорвешь глазами, и нет ей конца. Господи!

Уже без всякого плана, совсем отчаявшись в спасении, Юра пополз куда-то напрямик — к загадочному, слабо мерцавшему свету. По счастью, оказалось — та самая беседка, завитая виноградом, где сидели сегодня отец и мама. А он и не узнал. Да, та самая беседка. Фонарики кругом уже погасли, и светились только два: один, зелененький, горел еще совсем ярко, а другой, желтенький, уже мигал. И хотя ветра не было, но от своего миганья он покачивался, и все кругом также слегка покачивалось. Юра хотел встать, чтобы войти в беседку и оттуда начать новую жизнь, с незаметным переходом от старой, как вдруг услышал в беседке голоса. Говорили мама и ненастоящий Юрий Михайлович, офицер. Настоящий же Юрий Михайлович замер на месте, и сердце у него замерло, и дыханье у него остановилось.

Мама сказала:

— Оставь. Ты с ума сошел. Сюда могут войти.

Юрий Михайлович сказал:

— А ты?

Мама сказала:

— Сегодня мне двадцать шесть лет. Я старая.

Юрий Михайлович сказал:

— Он ничего не знает. Неужели он ничего не знает? Он даже не догадывается. Послушай, он всем так крепко жмет руку?

Мама сказала:

— Что за вопрос? Конечно, всем. Нет, не всем.

Юрий Михайлович сказал:

— Мне его жаль.

Мама сказала:

— Его?

И странно засмеялась. Юрочка понял, что это говорили про него, про Юрочку, — но что же это такое, Господи! И за чем она смеется?

Юрий Михайлович сказал:

— Куда ты, я тебя не пущу.

Мама сказала:

— Ты меня оскорбляешь. Пусти. Нет, ты не смеешь меня целовать. Пусти.

Замолчали. Тут Юрочка посмотрел сквозь листья и увидел, что офицер обнял и целует маму. Дальше они еще что-то говорили, но он ничего не понял, не слышал, внезапно позабыл, что какое слово значит. И свои слова, какие раньше научился и умел говорить, также позабыл. Помнил одно

слово: «мама», и безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало так страшно, страшнее всего. И, чтобы не крикнуть его нечаянно Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую; и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки.

Когда Юра вошел в комнату где играли в карты, важный лысый старик за что то бранил отца, размахивал мелком и говорил и кричал, что отец поступил не так, что так нельзя делать, что так делают только нехорошие люди, что это нехорошо, что старик с ним больше играть не будет, и другое все такое же. А отец улыбался разводил рукою, хотел что то говорить, но старик не дал,— закричал еще громче. И старик был маленький, а отец высокий, красивый, большой, и улыбка у него была печальная, как у Гулливера, тоскующего по своей стране высоких, красивых людей. Конечно, от него нужно скрыть то, что было в беседке, и его нужно любить, и я его так люблю,— с диким визгом Юра бросился на лысого старика и начал изо всей силы гвоздить его кулаками:

— Не смей обижать, не смей обижать...

Господи, что тут было! Кто-то смеялся, кто-то тоже кричал. Отец схватил Юру на руки, до боли сжал губы его и тоже кричал:

— Где мать? Позовите мать!

Потом Юру унес с собою вихрь неистовых слез, отчаянных рыданий, смертельная истома. Но и в безумии слез он поглядывал на отца: не догадывается ли он, а когда вошла мать, стал кричать еще громче, чтоб отвлечь подозрения. Но на руки к ней не пошел, а только крепче прижался к отцу: так и пришлось отцу нести его в детскую. Но, видимо, ему и самому не хотелось расставаться с Юрой — как только вынес его из той комнаты, где были гости, то стал крепко его целовать и все повторял:

— Ах ты мой милый! Ах ты мой милый!

И сказал маме, которая шла сзади:

— Нет, ты посмотри, какой!

Мама сказала:

— Это все ваш винт. Вы так ругаетесь, что напугали ребенка.

Отец рассмеялся и ответил:

— Да, ругается он сильно. Но этот-то! Ах ты мой милый! В детской Юра потребовал, чтобы отец сам раздел его.

— Ну, начались капризы,— сказал отец.— Я ведь не умею, пусть мама разделет.

— А ты будь тут,— сказал Юра.

У мамы ловкие пальцы, и раздела она быстро, а пока



раздевала, Юра держал отца за руку. Нянюку выгнал. Но так как отец уже начинал сердиться и мог догадаться о том, что было в беседке, то Юра скрепя сердце решил отпустить его. Но, целуя, схитрил:

— А тебя он больше ругать не будет?

Папа обманулся. Засмеялся, еще раз уже сам крепко поцеловал Юру и сказал:

— Нет, нет. А если будет браниться, я его брошу через забор.

— Пожалуйста,— сказал Юра.— Ты это можешь. Ты ведь сильный.

— Да ничего себе. А ты спи-ка покрепче. Мама побудет с тобою.

Мама сказала:

— Я пошлю няню. Мне нужно готовить к ужину.

Отец крикнул:

— Успеется ваш ужин! Можешь побыть с ребенком.

Но мама настаивала:

— Там гости. Неудобно, если я их брошу.

Но отец пристально посмотрел на нее, и, пожав плечами, мама согласилась:

— Ну хорошо, я останусь. Посмотри только, чтобы Марья Ивановна вин не перепутала.

Всегда бывало так: если около засыпающего Юры сидела мама, то она держала его за руку до самой последней минуты,— всегда бывало так. А теперь она сидела так, как будто была совсем одна и не было тут никакого сына Юры, который засыпает,— сложила руки на коленях и смотрела куда-то. Чтобы привлечь ее внимание, Юра пошевелился, но мама коротко сказала:

— Спи.

И продолжала смотреть. Но, когда у Юры отяжелели глаза и со всею своею тоской и слезами он начал проваливаться в сон, вдруг мама стала перед кроватью на колени и начала часто-часто, крепко-крепко целовать Юру. Но поцелуи были мокрые, горячие и мокрые.

— Отчего у тебя мокрые, ты плачешь? — пробормотал Юра.

— Я плачу.

— Не надо плакать.

— Хорошо, я не буду,— покорно согласилась мама.

И снова целовала часто-часто, крепко-крепко.

Тяжело-сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекою к мокрой и холодной щеке — ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько!



РАССКАЗ ЗМЕИ О ТОМ,  
КАК У НЕЕ ПОЯВИЛИСЬ ЯДОВИТЫЕ ЗУБЫ

— *Тише, тише, тише. Подвинься ближе. Смотри в глаза.*

Я всегда была очаровательным существом, нежным, чувствительным и благодарным. И мудрым. И благородным. И таким гибким в извивах стройного тела, что тебе будет радостью взглянуть на тихую пляску мою: вот в кольца свернусь я, тускло блесну чешуею, сама обовью себя с нежностью и в нежно-холодных объятиях умножу стальное тело. Одна во множестве! Одна во множестве!

*Тише. Тише. Смотри в глаза.*

Тебе не нравятся покачивания мои и мой прямой, открытый взгляд? Ах, тяжела голова моя, и оттого покачиваюсь я тихо. Ах, тяжела голова моя, и оттого смотрю я прямо, покачиваясь. *Подвинься ближе. Дай мне тепла немного, погладь перстами мой мудрый лоб:* в его прекрасных очертаниях найдешь ты образ чаши, в которую стекает мудрость, роса ночных цветов. Когда извивами черчу я воздух, в нем остается след, узор тончайшей паутины, сплетенье сонных чар, очарование бесшумного движения, неслышный свист скользящих линий. Молчу и качаюсь, смотрю и качаюсь — что за странную тяжесть ношу я на шее?

Я люблю тебя.

Я всегда была очаровательным существом и любила нежно тех, кого любила. *Подвинься ближе.* Ты видишь мои беленькие, острые, очаровательные зубки? — целую, я кусала. Не больно, нет: немного. От нежности, лаская, кусала я немного, до первых светлых капелек, до крика, похожего на смех, когда щекочут. Это очень приятно, не думай: иначе не возвращались бы ко мне за поцелуями, кого я целовала. Это

теперь я могу поцеловать только раз — как печально: только раз. Один поцелуй на каждого... как мало для любящего сердца, чувствительной души, стремящейся к великому слиянию. Но это только я, печальная, целую раз и вновь должна искать любви — он другой любви уже не знает, для него нерасторжим и вечен мой брачный, нежный, единый поцелуй. Я говорю с тобой доверчиво; и когда кончу мой рассказ... я тебя поцелую.

Я люблю тебя.

*Смотри в глаза.* Не правда ли, какой великолепный, какой державный взор? И твердый. И прямой. И пристальный, как сталь, приставленная к сердцу... смотрю и качаюсь, смотрю и чарую, в зеленых глазах собираю твой страх, твою любовную, усталую, покорную тоску. *Подвинься ближе.* Это теперь я царица, и ты не смеешь не видеть моей красоты, а было странное время... Ах, какое странное время! При одном воспоминании я волнуюсь — ах, какое странное время! Меня не любили. Меня не чтили. С жестокою свирепостью меня преследовали, топтали в грязь и издевались — ах, какое странное время! Одна во множестве! Одна во множестве!

Я говорю тебе: *подвинься ближе.*

За что не любили меня? Ведь и тогда я была очаровательным существом, беззлобным, нежным, танцующим чудесно. Но меня мучили. Меня жгли огнем. Тяжелые и грубые звери топтали меня тупыми ступнями безумно тяжелых ног: холодные клыки кровавых ртов разрывали мое нежное тело — и в бессильной скорби я грызла песок, глотала пыль земли и умирала в отчаянии. Каждый день я умирала растоптанная. Каждый день я умирала в отчаянии. Ах, какое подлое время! Глупый лес все забыл и этого времени не помнит, но ты пожалей меня. *Подвинься ближе.* Пожалей меня, оскорбленную. Печальную. Любящую. Танцующую прекрасно.

Я люблю тебя.

Как могла я защищаться? У меня были только мои беленькие, чудные, острые зубки, — они пригодны лишь для поцелуев. Как могла я защищаться? — это теперь я ношу на шее эту страшную тяжесть головы и взор мой повелителен и прям, а тогда была легка голова моя и глаза смотрели кротко. Тогда у меня еще не было яда. Ах, тяжело голове моей, и держать ее мне трудно! Ах, я устала от моего взора, два камня во лбу моем, и это мои глаза. Пусть драгоценны сверкающие камни, но тяжело носить их вместо кротких глаз, они дают мозг... тяжело голове моей! Смотрю и ка-

чаюсь, в зеленом тумане вижу тебя — ты так далеко. *Подвинься ближе.*

Видишь: даже в печали я прекрасна, и томен мой взор от любви. Смотри в зрачок: я буду суживать его и расширять, и дам ему особый блеск, мерцание ночной звезды, игру всех драгоценных камней: алмазов, зеленых изумрудов, желтеющих топазов, рубинов кроваво-красных. Смотри в глаза: это я, царица, венчаюсь короною моею, а то, что сверкает, горит и падает, отнимает у меня разум, волю и жизнь — это яд. Это капелька моего яда.

Как это случилось? — я не знаю. Я не питала зла к живущему.

Я жила и страдала. Молчала. Таилась. Пряталась торопливо, когда могла спрятаться, уползала поспешно. Но плачущей не видели меня, я не умею плакать; и все быстрее и прекраснее становилась моя тихая пляска. Одна в тиши, одна в глуши с тоскою в сердце я танцевала — они ненавидели мой быстрый танец и охотно убили бы меня, танцующую. И вдруг стала тяжелеть моя голова — как это странно! — стала тяжелеть моя голова. Все такая же маленькая и прекрасная, мудрая и прекрасная, она вдруг потяжелела страшно, к земле пригнула шею, сделала мне больно. Это теперь я привыкла немного, а вначале было ужасно неловко и больно. Я думала, что я больна.

И вдруг... *Подвинься ближе. Смотри в глаза. Тише, тише, тише.*

И вдруг отяжелел мой взгляд, стал пристальным и странным... я даже испугалась! Хочу взглянуть и отвернуться — и не могу: смотрю все прямо, вонзаю взор все глубже, как будто каменею. *Смотри в глаза.* Как будто каменею, и каменеет все, на что смотрю. *Смотри в глаза.*

Я тебя люблю. Не смейся над моим доверчивым рассказом, я рассержусь. Каждый час я открываю мое чувствительное сердце, но все мои попытки тщетны, я одинока. Звенящую тоскою полон мой единый и последний поцелуй — и нет любимого, и вновь ищу любви, и тщетно повествую: не может обнажиться сердце, а яд томит, и тяжелеет голова. Не правда ли, как я прекрасна в моем отчаянии? *Подвинься ближе.*

Я люблю тебя.

Однажды я купалась в гнилом лесном болоте — я люблю быть чистой, это признак благородного рождения, и я купаюсь часто. И, купаясь, танцуя на воде, увидела свое изображение и, как всегда, влюбилась. Я так люблю красивое и мудрое! И вдруг увидела, на лбу, среди других природных

украшений, явился новый, странный знак... не от него ли тяжесть, окаменелость взора и этот сладкий вкус во рту? Вот здесь темнеет крест на лбу, вот здесь — смотри! *Подвинься ближе*. Не правда ли, как странно? Но я не поняла тогда, и мне понравилось: пусть будет украшением больше. А в тот же день, тот самый страшный день, когда явился крест, мой первый поцелуй стал и последним — смертельным стал мой поцелуй. Одна во множестве! Одна во множестве!

Ах!

Ты любишь драгоценные камни, но подумай, возлюбленный: насколько драгоценнее капелька моего яда. Она такая маленькая — ты видал когда-нибудь? Никогда, никогда. Но ты узнаешь. Помысли, возлюбленный: сколько страданий, тяжелых унижений, бессильной ярости, себя грызущей, должна была я пережить, чтобы родить вот эту капельку. Я царица! Я царица! В одной капельке, мною рожденной, я ношу смерть для всего живущего, и царство мое безгранично, как безгранична скорбь и безгранична смерть. Я царица! Мой взор непреклонен. Мой танец страшен. Я прекрасна! Одна во множестве! Одна во множестве!

Ах!

*Не падай. Я еще не кончила. Подвинься ближе. Смотри в глаза.*

И вот тогда вползла я в глупый лес, в мою зеленую державу. По-новому, по-страшному! Я была кротка, как царица; и милостиво, как царица, кланялась по сторонам: направо, налево. А они... убегали! Благосклонно, как царица, я кланялась: направо и налево, — а они, смешные, убегали. Как ты думаешь: отчего они убегали? Как ты думаешь? *Смотри в глаза*. Ты видишь там какое-то мерцанье и блеск? — это лучи моей короны слепят твой взор, ты каменеешь, ты погиб. Сейчас я протанцую мой последний танец — не падай. Вот в кольца свернусь я, тускло блесну чешуею, сама обовью себя с нежностью и в нежно-холодных объятиях умножу стальное тело. Вот я! Прими мой брачный единый поцелуй — в нем смертоносная тоска всех угнетенных жизней! Одна во множестве! Одна во множестве!

Склонись ко мне. Люблю тебя.

Умри.



## СКАЗОЧКИ НЕ СОВСЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

### ОРЕШЕК

Жила-была в зеленом лесу прехорошенькая белочка, и все ее любили. И летом белочка была рыженькая, а зимою, когда вокруг все белело, и она одевалась во все белое — такая модница и раскрасавица! И зубки у белочки были белянькие, остренькие, чудесные грызуночки, коловшие орехи, как щипцами. Но, к несчастью, белочка была благоразумна, — да, да, благоразумна! — и вот что из этого вышло, какое горе, какое несчастье: в зеленом лесу до сих пор все плачут, когда вспоминают эту печальную историю.

Пролетал над лесом ангел с белыми крылами и увидел он белочку своими зоркими глазами, и так она ангелу понравилась, что решил он сделать белочке подарок: полетел в райские сады и сорвал там золотой орешек, какие бывают только на Рождество на елке, и принес его белке-беляночке.

— Вот тебе орешек, милая беляночка, — сказал ангел, — скушай его, пожалуйста, он прямо из райского сада.

— Благодарю вас, — вежливо ответила белочка, — я его потом скушаю, когда вы улетите.

Ангел доверчиво улетел, а белочка стала размышлять, и вот что она придумала: «Ну хорошо, ну съем я орешек, а дальше что? Нет, лучше спрячу-ка я этот райский орешек, а когда придет в моей жизни черный день и трудно мне станет добывать пищу, тогда я орешек и скушаю: всегда нужно быть благоразумным, нерасточительным и бережливым».

Так прошло много лет и много зим, и не раз белочка соблазнялась золотым орешком и даже плакала от аппетита, но кушать все-таки не стала — да, да, не стала! Но вот наступили в белочкиной жизни и черные дни: состарилась она,

ножки скрючило от ревматизма, головка дрожит от слабости, и уж не греет беленькая шубка, потертая, облезлая, скверная-прескверная.

— Вот когда я орешек-то скушаю,— сказала старушка-белочка, томимая голодом, и достала из-под сухих листьев свое сокровище. Взяла в лапки и полюбовалась. Полюбовалась и в ротик положила, в ротик положила — а разгрызть-то и не могла: зубок-то уж не было у белочки — да, да, не было!

Пролетал над белым лесом ангел с белыми крылами и видит: лежит под деревом, лежит под большим деревом мертвая белочка-старушка в облезлой шубке, а в лапочках у нее золотой орешек, орешек из райского сада.

*Нравоучение.* Когда дадут тебе, Коля, орешек, то тут же ты его и кушай.

## НЕГОДЯЙ

У хорошего мальчика Пети была очень хорошая мама, которая постоянно его учила и образовывала. И жили они в большом доме, а во дворе гуляли гуси и куры: куры несли им яички, а гусей они кушали. И, кроме того, жил еще во дворе маленький теленок, которого все любили и в шутку звали Васенькой, и этот теленок рос для того, чтобы сделать из него для хорошего мальчика Пети котлетки.

Вот раз мама и повела Петю на скотный двор и стала его учить. Говорила так:

— Видишь, Петенька, какой хороший теленок,— погладь его.

И Петенька его погладил, а теленок-то и рад, думает: дай, кстати, молочка себе попрошу. Что ж! и молочка ему дали.

— Вот, смотри, Петенька,— учила мама,— теперь он молочко пьет, а потом мы из него котлетки тебе сделаем, если ты будешь хороший и послушный.

Петечка же шаркнул ножкой и сказал:

— Благодарю моих наставников и родителей за их неусыпные обо мне заботы. Но я хотел бы знать, дорогая мама, из какого места в теленочке делаются котлетки?

Тогда мама очень обрадовалась, что сын у нее такой любознательный и умный, и начала ручкой на теленке показывать:

— Смотри, Петенька, и запоминай: вот из этого места,

что под ребрышком, мы сделаем тебе котлетки с косточкой,— ты любишь котлетки с косточкой?

— Я люблю все то, дорогая мама, что ты даешь мне по твоей доброте,— ответил Петечка.

А глупый теленок слушал их и думал очень глупо, по-телячи: «Боже мой, что они такое говорят, ведь мне становится прямо-таки страшно».

Поцеловала мама своего Петечку и так продолжала его учить:

— А вот из этого местечка мы сделаем тебе рубленые котлеточки. А из его язычка,— покажи нам, теленочек, твой язычок,— мы сделаем холодное с хреном; а из мозгов и ножек мы сделаем заливное, а из...

Но Петя перебил ее и сказал:

— Я знаю, дорогая мама: из хвостика мы сделаем кнуртик.

Мама засмеялась и похвалила Петечку, что он так умен, и они пошли домой пить чай с коровкиным молочком. А глупый теленок Васенька так напугался от этого разговора, что весь трясется и думает глупо, по-телячи: «Боже мой, кажется, они хотят меня съесть, и это прямо-таки ужасно! Нет, лучше убегу я в лес и там спасусь».

Но тут проснулась в нем совесть и говорит ему твердым голосом:

— Какой же ты негодяй! Из тебя должны сделать для хорошего мальчика Пети котлеточки, а ты хочешь убежать: это прямо-таки подло.

Но не послушался Васенька голоса совести своей, порвал веревку и убежал в лес: спастись, дурачок, думал. А в лесу-то,— а в лесу-то волки-то его и съели! Ага! — волки-то его и съели. Рассчитывал, негодяй, спастись, а про волков-то и забыл!

*Нравоучение для телят.* Негодяй! Не бегай, тебя все равно съедят волки.

## ФАЛЬШИВЫЙ РУБЛЬ И ДОБРЫЙ ДЯДЯ

Это был ужасно добрый дядя: видеть не мог, когда кто-нибудь плачет или огорчается, или чего-нибудь хочет: сейчас же поможет. Такой был добрый дядя, что ни одна тетя не может быть добрее. Вот раз пошел он на пароходную пристань на Неве, чтобы переехать на другую сторону, стоит себе, ждет парохода и всех ласково рассматривает. И вдруг



видит маленького плачущего мальчика: стоит маленький мальчик и плачет, катятся слезы по лицу, и каждая слеза такой величины, что можно сразу наполнить ведро. Обеспокоился добрый дядя и спрашивает:

— О чем ты, мальчик, так горько плачешь?

И ответил мальчик, продолжая плакать:

— Вот о чем я плачу, добрый дядя: дал мне старший брат рубль, чтобы я на ту сторону домой поехал, а рубль-то оказался фальшивым. И никто его не берет, и должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете.

Подумал-подумал добрый дядя и сказал:

— Решил я тебя, мальчик, спасти, и вот тебе настоящий серебряный рубль, бери его, не бойся. Мне же отдай твой фальшивый рубль, каковой я постараюсь сбыть, если на то будет воля Провидения, видевшего мою доброту.

Так они и поменялись: мальчик взял настоящий рубль, а доброму дяде дал фальшивый. И поехал мальчик на ту сторону домой, а добрый дядя зашел в лавочку и сказал:

— Дайте мне, пожалуйста, десяток папирос в шесть копеек.

И дал ему лавочник десяток папирос, а дядя в обмен вручил фальшивый рубль, думая с некоторым опасением, что сейчас лавочник закричит «караул!» и позовет городского. Но лавочник был стар, глух и слеп и вообще совсем дурак: взял фальшивый рубль за настоящий и дал доброму дяде девяносто четыре копейки сдачи. И пошел дядя, куда ему надо было, и всю дорогу радовался своей доброте, и со слезами в душе благословлял мудрое Провидение.

*Нравоучение для фальшивомонетчиков.* Когда нужно сбыть фальшивый целковый, то не давайте его ребенку, а дайте доброму дяде: он сбудет.

## ЗЕМЛЯ

### I

Призвал Всеблагий ангела в белых одеждах и говорит ему:

— Преклони ухо твое к земле и послушай. И когда услышишь нечто, скажи.

Долго слушал ангел и отвечал:

— Слышу я как бы плач. Плачет земля. И слышал я как бы крик, вопли и стон, голоса детские. Страдает земля. И слышал я хохот глумливый, визги сладострастия и ворча-

ние убийц. Грешит земля. И страшно тому, кто на земле живет.

Сказал Всеблагий:

— Многих из белого стада Моего посылал Я на землю, и доселе никто еще не вернулся. Жду Я их напрасно и плачу от горести, а их все нет, а земля все стонет, и потускнели Мои звездные ночи. Жалко Мне тебя, но настал ныне твой черед: лети на землю, обернись человеком и, ходя меж людей, узнай, что им нужно. От болтунов бегай, но молчащих не оставляй, доколе не заговорят; и слова их храни бережно, как жемчуг. С веселыми детишками поиграй, но есть дети печальные, у которых личико мало и бледно, а глаза огромны и темны; которые не смеются и не играют, не знают забав, свойственных их возрасту; которые печалью своей устрашают даже Бога; и тем детям отдай твою любовь и милость ангельскую. А Я буду ждать тебя с волнением, задержу потемнение звезд и свет их светом надежды Моей умножу.

Принял ангел благословение и покорно низринулся на страшную и чуждую землю, сверкнув белыми одеждами. В ту ночь на земле была гроза и буря, и много людей погибло под развалинами домов, в морской пучине. И молнии сверкали...

## II

Вот и вернулся ангел, сверкнул белыми одеждами и стал покорно в ожидании вопросов. Обрадовался Всеблагий и для торжества повелел возгореться многим новым кометам: пусть сияют полукругием. И еще то понравилось Всеблагому, что так белы и светлы одежды ангельские. С этого и начал Он вопросы:

— Меня радует твой вид, воистину достойный неба; но скажи Мне, миленький,— или на земле совсем нет грязи? На одеждах твоих Я не вижу ни единого пятнышка.

Ангел ответил:

— Нет, Отец, на земле очень много грязи, но я избегал прикосновения к ней и оттого и не запачкался.

Нахмурился Всеблагий и спрашивает с сомнением:

— Но неужели на земле перестали лить красную кровь? — На твоих одеждах нет ни единого пятнышка, и белы они, как снег.

Ангел ответил:

— Нет, Отец, льется на земле красная кровь, но я избе-

гал соприкосновения с ней, и оттого я так чист. И так как нельзя, ходя меж людей, избежать грязи и крови ихней и не запачкать одежд, то на самую землю я не спускался, а летал на небольшой высоте, оттуда посылая улыбки, укор и благословения...

Сказал Всеблагий:

— Таким образом очень трудно узнать, что надо людям. Но, может быть, ты все-таки узнал?

Ангел ответил:

— Нет, Отец. Главным образом я сам им рассказывал, как надо жить, чтобы не было страданий, слез и грязи; но плохо они слушают. Отец, грязны они по-прежнему, как животные, и надо их всех истребить, по моему мнению.

— Ты так думаешь?

— Да, Отец. И не то еще плохо, что сами они денно и ночью, бранясь и плача, наравне клянясь Тобою и дьяволом, месят кровавую грязь, но то ужасно, возмутительно и недопустимо, что ангелов Твоих, Тобою посланных, чистых агнцев белого стада Твоего, запятнали они до неузнаваемости, грязью забрызгали и кровью залили, приобщили к грехам своим и преступлениям.

— Ты их видел?!

— Увы! — видел, Отец. Но не поклонился и даже сделал вид, что не узнал, ибо многие из них были даже не трезвы и вели буйные, соблазнительные речи, совершали неподходящие и даже зазорные поступки.

— Где же ты их видел, миленький?

— Даже сказать стыдно, Отец. Видел я их в кабаках и тюрьмах, где питаются они из общего котла с ворами и убийцами; видел я их среди прелюбодеев, журналистов и всякого рода грешников. Что с одеждami их случилось, рассказать невозможно: не только утрачен ангельский фасон, но в клочья изорвана материя, и цвет почти неразличим: стремясь к аккуратности, накладывают они латки других цветов, даже красные. Слышал я стороною, что многие из них тоскуют о небе и будто бы даже имеют рассказать нечто, но в таком виде страшатся возвращения. Однажды ночью, при дороге, увидел я спящего бродягу; был он пьян и бредил, и узнал я в нем ренегата, одного из посланных Тобой с доверием; и вот что я подслушал среди бессвязных и кощунственных выкриков его: «Горько мне без неба, которого я лишен, но не хочу быть ангелом среди людей, не хочу белых одежд, не хочу крыльев!» Буквально так и говорил, Отец: «Не хочу крыльев!»

Так рассказывал ангел, расправляя белоснежные перышки, и ждал великой похвалы за свою чистоту и мудрую осторожность. А вместо того великим и страшным гневом разгневался Отец и предал чистоплотного ненарушимому и вечному проклятию. Когда затихли громы слов Его и молнии очей смягчили мало-помалу свой ужасающий блеск, перешел Всеблагий к тихой речи и сказал:

— Ступай отсюда и не возвращайся, пока духом и телом твоим не приобщишься к страдающему человеку. Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательна для тех, кто никогда еще не покидал неба; но для тех, кто был на земле, такая вот чистенькая одежда, как у тебя — срам и позор! Себя, я вижу, ты берег в высокой мере, а людей, к которым послан, не берег, и противен ты Мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают к груди. И когда ты увидишь на земле тех, прежних посланцев Моих, что боятся возвращения, скажи им кротко и милостиво, ибо от Моего лица говорить будешь: «Возвращайтесь на небо, не страшитесь, Отец вас любит и ждет».

Горько и даже ядовито усмехнулся обиженный ангел, но сделал скромный вид и, потупив хитрые глаза, ответил:

— Я уж им говорил. Не хотят.

— Чего не хотят?

— Возвращаться на небо.

— Боятся? Скажи, что Я им дам новые одежды.

— Нет. Не хотят. Они так говорят, Отец: «Вот мы пойдем на небо и снова оденем белые одежды, а как же те, которые останутся? Если идти, так уж всем, а одни мы не пойдем».

Задумался Всеблагий и думал долго. Наконец сказал:

— Так вот какова земля. Вижу я бессилие Моих ангелов и начинаю думать так: не пойти ли Мне самому на землю?

Ангел сказал:

— Они все давно зовут Тебя и ждут. Но прости за дерзость, Отец: если Ты Сам пойдешь на землю, то Ты и Сам сюда не вернешься.

Воскликнул Всеблагий:

— Но как же тогда Мое небо?! Оно станет пусто

— Они говорят: тогда Твое небо будет на земле, и ни им, ни Тебе, ни людям страдающим не нужно будет иного неба. Так они говорят, и теперь я вижу, что они правы. Прощай, Отец, навсегда!

С этими словами вновь низринулся ангел на землю и навеки потерялся среди слез ее и крови. И в тяжелой думе оне-

мели небеса, пыливо смотря на маленькую и печальную землю — такую маленькую и такую страшную и непобедимую в своей печали. Тихо догорали праздничные кометы, и в красном свете их уже пустым и мертвым казался трон.

### ХРАБРЫЙ ВОЛК

Шел по улице волк и всех прохожих бил хвостом. Хвост у него был щетинистый, твердый, как палка: и то мальчика волк ударит, то девочку, а то одну старую старушку ударил так сильно, что она упала и расшибла себе нос до крови. Другие волки хвост поджимают к ногам, когда ходят, а этот держал свой хвост высоко. Храбрый был волк, но и глупый тоже.

Вот посмотрел на него городской, как он старушку свалил, и говорит:

— Смотри, волк, будешь ты людей хвостом бить, я тебе хвост отрублю саблею. Зачем ты старушку ударил?

А волк соврал и говорит:

— Это она сама за мой хвост зацепилась. Разве ты не видишь, что она слепая? Эх ты, а еще городской!

А старушка и вправду была слепая. И на этот раз поверил городской. А волк засмеялся, зубы оскалил и думает: «Вот как я его здорово обманул, черт побери». Это у него такая дурная привычка была ругаться: черт побери.

Ну, пошел волк дальше и опять всех хвостом бьет. Одно-го человека ударил, другого ударил. Увидел старого старика, и его ударил прямо под коленки. А в руках у старика была корзинка с яйцами; упал он и все яйца разбил, так они и потекли, и желток и белок. Стоит старик и плачет, а волк-то хохочет:

— Черт побери! Вот так яичница!

Но только теперь городской и сам хорошо все видел и рассердился страшно:

— Нет, волк, обманул ты меня раз, а теперь не обманешь, видел я, как ты старичка свалил. Давай-ка хвост!

Поточил свою саблю о камень — чирк! чирк! — и отрубил волку хвост, а чтобы кровь не текла, залепил английским пластырем. Заплакал волк и побежал домой, но хвоста у него нет, и такой он без хвоста смешной: смотрят все и смеются. А городской хвост спрятал и потом сделал из него щетку, чтобы чистить стекла у ламп.

Прибежал волк домой и думает, что жена его пожалеет. А жена как увидела, что у него хвоста нет, как закричит:

— Ты куда же это хвост свой девал?

А волчатки маленькие прыгают кругом и хохочут:

— Наш папа хвост потерял!

Они были маленькие и думали, что хвост можно потерять — чудачки. Видит волк, что дело плохо и никто его не жалеет, рассердился и стал кричать:

— Черт побери! Мой хвост, а не ваш, куда хочу, туда и дену. Вы почему знаете, может быть, я его нищему подарил? Я ведь добрый.

Он и тут хотел соврать — такой хитрый волк. Но только жена ему не поверила, хорошо знала, какой он, и рассердилась. Рассердилась и позвала лысого судью, пусть судья рассудит, имеет волк право отдавать свой хвост, кому захочет, или нет. Пришел лысый судья и спрашивает:

— А что, волк женатый человек или холостой?

— Женатый,— ответила волчиха.

— А на ком он женат?

— На мне.

— А дети у него есть?

Тут волчатки запрыгали и кричат:

— Мы его детки, а он наш папа.

Тогда начал лысый судья думать и, чтобы легче было думать, стал на голову вверх ногами. Он говорил, что, когда он так стоит, у него все мысли от ног притекают в голову. Оттого и лысый-то он был, что всегда на голове стоял и все волосы на голове повытер. Думал он, думал, стоял он, стоял, очень долго, два дня. Даже лицо сделалось красное, как арбуз. Потом встал, вытер лысину тряпкой и говорит:

— Так как волк человек женатый, то только одна половина хвоста принадлежит ему, а другая половина принадлежит жене его и детям. Покажи, волк, сколько у тебя от хвоста осталось.

Показал волк, и все так и ахнули: всего-то от хвоста осталось один вершочек, не больше. Покачал судья лысой головой и решил так:

— Должен ты, волк, пойти к доктору, и пусть он пришьет тебе новый хвост. А ты, волчиха, смотри, хороший ли будет хвост и крепко ли он будет пришит. Самое лучшее будет, если ты потом сама еще приколешь английской булавкой.

И все остались очень довольны, как решил лысый судья. Даже сам волк — и тот остался очень доволен. Ему, правда, без хвоста было очень неудобно: ни пыль подтереть нельзя, когда хочет сесть наземь, ни муху согнать. Да и так очень некрасиво без хвоста. Ну, побежал волк к доктору, запыхался даже; позвонился и ждет. Вышел доктор, надел большие очки и спрашивает:

— Что у вас болит, господин волк?

Так и так: рассказал ему волк, как было дело. Взял доктор трубку и говорит:

— Отверните немного шерсть на груди, я вас выслушаю.

— Черт побери! — сказал волк, — да чего же меня слушать, когда и так видно, что у меня хвоста нет. Разве у меня в животе музыка играет, что вы будете меня в трубку слушать?

Рассердился очень.

Но доктор покачал головою и говорит:

— Ах, какой вы, волк, нетерпеливый. Может быть, у вас в животе что-нибудь испортилось, надо же мне послушать.

Нечего делать: пришлось волку на спину лечь и лапки поднять, пока выслушивал его доктор. В животе у волка оказалось все хорошо. Потом взял доктор большой железный молоток и постучал по голове — и в голове у волка оказалось все в порядке.

— Теперь я вижу, волк, вам оттого нехорошо, что у вас хвоста нет, — сказал доктор.

— Черт побери! Я же давно прошу вас, доктор, пришлите мне хвост.

Стал доктор думать, в книгу посмотрел. И так как был он очень глупый человек, то и придумал такую вещь:

— Вот что, волк. Запасного хвоста у меня нет, а давайте я вам пришью утюг.

— Что? — закричал волк.

— Ну да, утюг. Большой, горячий утюг. Вам будет так очень удобно, можно будет даже белье гладить. И красиво очень.

Согласился волк: очень ему понравилось, что даже можно будет гладить белье. Но только, как пришел ему доктор утюг горячий, вышло совсем нехорошо: идет волк по улице, а утюг горячий ему ноги так и обжигает. Побежал волк, а утюг горячий по ногам его бьет и так по камням стучит, как будто целый полк солдат идет. И все, как увидят волка с утюгом вместо хвоста, так и начинают смеяться: городской смеется, лошади смеются, собаки смеются. И кошки, даже те повылезли на крышу и тут хохочут. Один маленький беленький котенок так хохотал, что даже закашлялся, насилиу его отпоили молоком.

«Вот так штука, черт побери! — думает волк про себя. — Был я молодец лучше всех, а теперь даже котятка, и те смеются надо мною».

Устал он — утюг-то был очень тяжелый, пять фунтов, —

и хотел сесть отдохнуть, да прямо на горячий утюг и сел. Как вскочит, как закричит:

— Ай, батюшки! Ай, матушки! Обжегся!

И опять побежал. А дома и того хуже. Волчатки хотели было папин новый хвост потрогать и тоже обожглись и заплакали. Волчиха даже завывла с горя и говорит:

— Ну и дурак же ты, волк. Да разве это хвост? Ступай опять, и до тех пор не приходи, пока хорошего хвоста не принесешь.

И волчатки, и те плачут от обжога и кричат:

— Наш папа дурак!

Рассердился волк и всех их в угол поставил, в каждый угол по одному волчонку, а пятого в пустую комнату запер. А потом нанял за 20 копеек извозчика и поехал к новому доктору. Но только и этот доктор был тоже очень глупый человек и придумал такую вещь:

— Вот что, волк. Утюг вам не годится, а давайте я вам пришью комод.

— Что? — закричал волк.

— Ну да, комод. Большой комод с пятью ящиками. Вам будет очень удобно, можно белье в него класть. И очень красиво.

И пришел ему доктор большой деревянный комод. Идет волк по улице и насилу комод тащит: такой он тяжелый. Запыхался волк, запотел и думает: «А хорошо было бы, если этот комод оторвался», но только доктор очень крепко пришел, — не отрывается. Тарахтит сзади него по мостовой, как будто целый воз едет. И стали все над волком смеяться: городской смеется, лошади смеются, собаки заливаются, хохочут. А дома жена его прогнала и даже не дала ничего поесть, а в тот день у них была манная каша, котлеты и желе — все очень вкусно. И думает волк про себя, сидит у дверей и думает:

«Что же я теперь делать буду? Ведь я так, не кушавши, и захворать могу. Хоть бы желе только покушать, одну ложечку, черт побери!»

Услыхал это один волчонок и взял на лапке принес ему желе.

— На, папочка, кушай, только не простудись, холодное очень, а ты запотел.

Съел волк желе, поцеловал своего милого волчоночка, нанял большую подводу, лег на нее вместе с комодом и поехал к новому доктору:

— Что же вам, волк, пришить? — спрашивает доктор. — Хотите, я вам самовар пришью? Удобно очень чай пить.



Испугался волк и кричит:

— Опять горячий! Нет, ничего я не хочу горячего, черт побери! Прийдите мне что-нибудь, но только такое, чтобы не было оно ни горячее, ни тяжелое, ни смешное.

Такую загадку доктору загадал. Но этот доктор был очень умный человек и придумал такую вещь:

— Давайте, волк, я вам зонтик пришью.

И пришил ему зонтик большой. Идет волк по улице, зонтик распустил, и такой важный, ни на кого смотреть не хочет. А в это время дождь был, и все мокрые, один только волк сухой. Смотрят на него все и удивляются:

— Какой волк-то умный. Все мы мокрые, а один он сухой.

Особенно кошки ему завидовали: они очень боятся воды и, когда идет дождь, должны сидеть дома, и погулять не приходится. Встретил волка лысый судья и тоже похвалил его:

— Молодец, волк, совсем теперь стал, как генерал.

А волк-то важничает, а волк-то важничает. Взял папиросу в зубы и говорит лысому судье:

— Нет ли у вас спички? Я курить хочу.

Но только на самом деле он не умел курить. И как только зажег папиросу, так начал кашлять, чихать, из глаз слезы идут,— смешно смотреть на него. Покачал головой лысый судья, засмеялся тихонько и говорит:

— Что же это вы, волк,— курить не умеете, а папиросу в рот берете.

Волк покраснел, но и тут сознаться не захотел, а взял и опять соврал:

— Черт побери! Это оттого, что я папиросу взял в рот не тем концом.

Ну и дома все очень обрадовались, что у волка такой хороший новый хвост. Волчиха, так та даже заплакала от радости: сидит, лапами морду утирает, а слезы так и льются, целая лужа на полу натекла, ноги промочить можно, если без калаш. А волчатки прыгают и кричат весело:

— Какой наш папа умный! Ни у кого такого хвоста нет, как у нашего папы.

Потом волчиха дала волку хорошо покушать. И так как был он очень голоден, то съел три тарелки каши и десять котлет. А желе ему не досталось: все его детки поели. И когда накушался волк, вытер салфеткою рот, волчиха и говорит ему:

— Пойдем, волк, в гости к тете Саше. Пусть все на улице видят, какой у тебя хороший хвост.

— Хорошо, пойдем,— ответил волк.— Теперь могу и в гости, черт побери!

Надела волчиха большую шляпу с лентами, а волчаткам надела на ноги глубокие калоши, потому что после дождя была грязь. Сами же они с волком всегда босые ходили, даже зимою.

Вот идут они по улице и важничают. Тут как раз солнышко из-за туч вышло, и так стало жарко, что просто невозможно. Все и собаки и волки языки повысунули до самой земли и жалуются.

— Вот как жарко! Мочи моей нету!

А храбрый волк взял и распустил зонтик, и все под ним спрятались от солнца — и волчиха, и волчатки, и стало им очень прохладно, как в лесу.

Смотрят на них все и нахвалиться не могут:

— Ведь вот говорили, что волк дурак, а он самый умный, его губернатором надо сделать. Хвост-то какой хороший.

А они-то важничают, а они-то величаются! И опять волк для красоты папиросу в зубы взял, но так как настоящей папиросы с огнем боялся, то взял шоколадную. Только вдруг откуда ни возьмись поднялась сильнейшая буря, прямо ураган, и такой подул ветер, что закружились по земле пыль, сухие листья и бумага. И как подул ветер под большой зонтик, так полетел зонтик вверх и волка за собой потащил через крышу, прямо к облакам.

Волк даже глаза вытаращил от удивления и думает:

«Вот так штука, черт побери! А я и не знал, что умею летать, только мне это совсем не нравится».

Волчиха задрала вверх голову и кричит:

— Волк, волк, куда же ты летишь?

— А я почему знаю? — ответил бедный волк.

Глупые же волчатки обрадовались, прыгают и кричат весело:

— Наш папа вороною стал! Наш папа летать умеет! Какой наш папа храбрый!

Так волк и улетел за облака, а куда — неизвестно. Вздохнула волчиха и говорит волчаткам:

— Молчите, детки. Это не от храбрости ваш папа полетел, а оттого, что хвост у него такой противный. И вы думайте почаще, чтобы поскорее вернулся к нам наш папа. А то без него очень будет скучно.

Так в гости к тете Саше они и не пошли. Вернулись домой и легли спать, и пока не заснули, все думали: «Куда-то полетел наш папа?»



## САШКА ЖЕГУЛЕВ

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

### ЧАСТЬ I

САША ПОГОДИН

#### 1. Золотая чаша

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа,— мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклание.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты они и смотрят в темноту покорно. Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?

Но мать жива, и мать зовет его:

— Мой нежный Саша.

#### 2. Детство Саши

Того, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бод-

рости, которое связано с началом жизни, не хранила его память. Казалось, не родился он, как другие, а проснулся: заснул старым, грешным, утомленным, а проснулся ребенком; и все позабыл он, что было раньше, но чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его. Давно, еще в Петербурге, когда был жив отец, подошел Саша к матери и странно-серьезным голосом пожаловался:

— Ах, мамочка, как я устал, если бы ты знала.

— Набегался, вот и устал,— сказала мать: она видела, как Саша с другими детьми только что носился дико по большому казенному двору и визжал от восторга,— поменьше шалить надо, тогда и не будешь уставать. Смотри, как измазался!

— Нет, я не от этого.

— А от чего же? — вот смешной!

— Так. Я так устал! Как же ты не понимаешь: просто так.

Тут Елена Петровна первый раз в жизни, как ей показалось, взглянула сыну в глаза и испугалась: «Умрет он от скарлатины!» — подумала она, так как в эту пору особенно боялась для детей скарлатины. Но эпидемия прошла мимо, и вообще Саша был совершенно здоров, рос крепко и хорошо, как и его младшая сестренка, нежный и крепкий цветочек на гибком стебельке,— а то темное в глазах, что так ее испугало, осталось навсегда и не уходило. Как и сестренка, Саша был отчаянно и неудержимо смешлив, и отец его, генерал, иногда нарочно пользовался слабостью: вдруг за чаем, когда у Саши полон рот, скажет что-нибудь смешное: Саша крепится, надует щеки, но не хватает сил — брызнет чаем на скатерть и бежит отсмеиваться в соседнюю комнату. Генерал хохочет и дразнит, а Елена Петровна всматривается в глаза вернувшегося Саши и думает: «Ну, конечно, он будет убит на войне» — в это время Сашу как раз отдали, по желанию отца, в кадетский корпус.

И, вероятно, от этого вечного страха, который угнетал ее, она не оставила Сашу в корпусе, когда генерал умер от паралича сердца, немедленно взяла его; подумав же недолго, распродала часть имущества и мебели и уехала на жительство в свой тихий губернский город Н., дорогой ей по воспоминаниям: первые три года замужества она провела здесь, в месте тогдашнего служения Погодина. Женщина она была твердая, умная, и ей казалось, что в мирной и наивной провинции она вернее сохранит сына, нежели в большом, торопливом и развращенном городе.

Приятный, нисколько не изменившийся Н. не обманул надежд и с готовностью покрыл их своей ненарушимой тишиной. Перестал быть страшным и Саша: в своей мирной гимназической одежде, без этих ужасных погон, он стал самым обыкновенным мальчуганом; и от души было приятно смотреть на его большой пузатый ранец и длинное до пяток ватное пальто. Как это ни странно, но, кажется, ни одна гадалка, ни один прорицатель не могли бы так успокоить Елену Петровну, как это длинное не по росту ватное, точно накрахмаленное пальто; взглянет из окна, как плетется Саша по немощеной улице, еле двигает глубокими галошами, подгибая ватные твердые фалды, и улыбнется:

«А я-то боялась... Какие же могут быть ужасы? Вот бы посмотрел генерал!»

Теперь ей казалось, будто и генерал — как она и после смерти называла мужа — разделял ее страхи, хотя в действительности он не дослушал ни одной ее фразы, которая начиналась словами: «Я боюсь, генерал...»

— А ты не бойся! — говорил он строго и отбивал охоту к тем смутным, женским излияниям, в которых страх и есть главное очарование и радость.

Были и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо и никакие ужасы не коснутся любимого сердца: это когда Саша и сестренка Линочка ссорились из-за переводных картинок или вопроса, большой дождь был или маленький, и бывают ли дожди больше этого. Слыша за перегородкой их взволнованные голоса, мать тихо улыбалась и молилась как будто не вполне в соответствии с моментом: «Господи, сделай, чтобы всегда было так!»

Но ссорились дети очень редко, были нежно влюблены друг в друга, целые дни проводили в тихой влюбленности. Когда-то сильная любовь отца и матери вторично переживала себя в них — но уже лишенная материальности, ставшая лишь отзвуком отдаленным, прекрасным и чистым. И так странно перемешались черты: Линочка всем внешним обликом своим и характером повторяла отца-генерала; крепкая, толстенькая, с румяным, круглым, весело-возбужденным лицом и сильным, командирским голосом — была она вспыльчива, добра, в страстях своих неудержима, в любви требовательна и ясна. Если она плакала, то это не были тихие слезы в уголке, а громкий на весь дом, победоносный рев; и умолкала сразу и сразу же переходила в тихую, но неудержимо-страстную лирику или в отчаянно-веселый смех. Была ли она радостна, гневна или печальна — об этом знали

все. Но у генерала, на которого она так походила, при всех его достоинствах, не было никаких талантов,— Линочка же вся была прожжена, как огнем, яркой и смелой талантливостью. Возьмет в толстенькие, короткие пальчики карандаш — бумага оживает и смеется; положит те же коротенькие пальчики на клавиши: старый рояль с пожелтевшими зубами вдруг помолодел, поет, весело завирается; а то сама выдумает страшную сказку, сочинит веселый анекдот.

Рядом с нею молчаливый Саша казался неприметным и даже бледным. Лицом своим он и действительно был бледен и смугл, этим, как и всем остальным, походя на Елену Петровну: по матери своей Елена Петровна была гречанкой, лицо имела смуглое и тонкое, глаза большие, темные, иконописные — точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом. Такие же глаза были и у Саши, а смуглостью своей он удивлял даже и мать: лицо еще терпимо, а начнет менять рубашку — смотреть смешно и странно, точно и не сын, а совсем чужой и далекий человек. Удивляло это; а что еще удивляло и даже до глубины души огорчало Елену Петровну — это полное, казалось, отсутствующие талантливости, прискорбное сходство с генералом. Первое время ихней жизни в Н., когда Елена Петровна всеми силами стремилась установить в своей жизни культ красоты, эта Сашина бездарность казалась ей ужасным горем, даже оскорбляла ее, точно ее самое лишили талантов или сказали, что она в своей талантливости ошибается и нет ее совсем.

— Ах, Саша, хоть бы у тебя слух был, а то и слуха нет! — несправедливо упрекала она сына и, чувствуя несправедливость, еще увеличивала ее: — Смотри, как играет Линочка.

А Линочка всплескивала руками и в бурном отчаянии стонала:

— Да и не говори же, родная моя мамочка! У него слуху, как у этой тумбы, нет на копейку. Учю я его, учю, а он даже собачьего вальса не знает!

— Собачий вальс я знаю,— серьезно говорил Саша, не поднимая темных, жутко обведенных глаз.

— Сашка! не зли меня, пожалуйста; под твой вальс ни одна собака танцевать не станет! — волновалась Линочка и вдруг все свое негодование и страсть переносила на мать.— Ты только напрасно, мама, ругаешь Сашеньку, это ужасно — он любит музыку, он только сам не может, а когда ты играешь эту твою тренди-бренди, он тебя слушает так, как будто ты ангельский хор! Мне даже смешно, а он слуша-

ет. Ты еще такого слушателя поищи! За такого слушателя ты Бога благодарить должна!

— Ну, понесла! — радовалась упрекам Елена Петровна, чуть-чуть краснея от удовольствия.

При всех своих талантах она сама была в музыке горестно бездарна и за всю свою жизнь только и научилась играть, что «тренди-бренди» — случайный, переиначенный отрывок из неведомой пьесы, коротенькую вещицу, наивную и трогательную, как детский первый сон. И то, что этот странный Саша так любит эту вещицу, постоянно требует ее, льстило ей, а в неприятзательности звуков заставляло угадывать какой-то новый смысл, непонятную значительность. А для обреченного Саши, когда вступил он в чреду страшных событий и познал ужас одиночества, эта пьеска стала как бы молитвой, источником чистой печали, тихой скорби о навеки утраченном.

Но, как видит глаз сперва то, что на солнце, а потом с изумлением и радостью обретает в тени сокровище и клад, — так и Линочкина яркая талантливость только при первом знакомстве и на первые часы делала Сашу неприметным. И менялось все с той именно минуты, как увидит человек Сашины глаза, — тогда вдруг и голос его услышит, а то и голоса не слышал, и почувствует особую значительность самых простых слов его, и вдруг неожиданно заключит: а что такое талант? — да и нужен ли талант? Но неохотно открывал Саша свой взгляд, как будто знал важность и святость хранящейся в нем тайны, обычно смотрел вниз, на стол или на руки. Эту его особенность хорошо знала Елена Петровна и в материнской гордости, чтобы не дать гостю несправедливо подумать о Саше, заставляла его взглянуть широко и прямо.

Вдруг неожиданно спрашивала:

— Голова не болит у тебя, Сашенька?

Знала, что после этого неожиданного и нелепого-таки вопроса Саша непременно взглянет широко открытыми глазами, несколько секунд будет смотреть удивленно, а потом открыто и ясно улыбнется:

— Отчего же ей болеть? — нет, не болит.

И знала, что после этого взгляда и улыбки гость обязательно подумает: «Какой у нее хороший сын!», а вскоре, уйдя из-под Линочкиных чар, подсядет к Саше, и начнет его допытывать, и не допытает ничего, и за это еще больше полюбит Сашу, и, уходя, уже в прихожей, непременно скажет Елене Петровне:

— Какие у вас хорошие дети, Елена Петровна!

— Да, славные ребятки! — спокойно ответит она и нарочно запустит сухую, но ласковую руку в Линочкины русые кудряшки, прижмет к себе ее горячую, красную щеку; и этим мнимым непониманием окончательно добьет провинившегося и жалкого гостя.

Но Линочка и сама разделяет чувство матери и, ласкаясь, смотрит на глупого гостя с явной насмешкой и страстно думает: «Вот дурак!» А потом, прощаясь с братом на ночь, шепчет ему громким на весь дом шепотом:

— Она тобою гордится! — И еще громче: — Я тоже!

«Она» между детьми называлась мать, а покойный и наполовину забытый отец назывался, по примеру матери, «генералом».

### 3. Наставник мудрый

Взаимной влюбленности детей, как и проявлению в них всего доброго, очень помогала та жизнь, которую с первых же дней пребывания в Н. устроила Елена Петровна. Труднее всего вначале было найти в городе хорошую квартиру, и целый год были неудачи, пока через знакомых не попало сокровище: особнячок в пять комнат в огромном, многодесятичном саду, чуть ли не парке: липы в петербургском Летнем саду вспоминались с иронией, когда над самой головой раскидывались мощные шатры такой зеленой глубины и непроницаемости, что невольно вспоминалась только что выученная история о патриархе Аврааме: как встречает под дубом Господа.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. Даже Линочка в такие ночи не сразу засыпала и, громко жалуясь на бессонницу, вздыхала, а Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое, чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится, плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и несобъятного счастья, и неизъяснимой печали, что обычный сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня казался утомлением и скукой.

Первое время петербургские дети боялись сада, не решались заходить в глубину; и особенно пугала их некая недоконченная постройка в саду, кирпичный остов, нустоглазый



покойник, который не то еще не жил совсем, не то давно умер, но не уходит. Весь он пророс бурьяном, крапивой и красными цветами, а в одной из беззащитных комнат, где должны были жить люди, спокойно зеленела березка — хоронила кого-то. Но прошло время, и к саду привыкли, полюбили его крепко, узнали каждый угол, глухую заросль, таинственную тень; но удивительно! — от того, что узнавали, не терялась таинственность и страх не проходил, только вместо боли стал радостью: страшно — значит хорошо. И у каждого из детей уже появилось свое любимое тихое местечко, недоступное и защищенное, как крепость; только у девочки Линочки ее крепости шли по низам, под кустами, а у мальчика Саши — по деревьям, на высоте, в уютных извивах толстых ветвей. Ходили друг к другу в гости, и Линочка ужасалась.

И о чем бы ни задумывались дети, какими бы волнениями ни волновались, — начала всех мыслей и всех волнений брались в саду, и там же терялись концы: точно наставник мудрый, источающий знание глубокими морщинами и многодумным взором, учил он детей молчанием и строгостью вида. Без него, пожалуй, не узнал бы Саша так хорошо, ни что такое Россия, ни что такое дорога с ее чудесным очарованием и манящей далью. И если Россию он почувствовал в ночном гуле мощных деревьев, то и к откровению дороги привел все тот же сад, привел неумышленно, играя, как делают мудрые: просто взлез однажды Саша на забор в дальнем углу, куда никогда еще не ходил, и вдруг увидел — дорогу. Две стены ветхого забора и свесившихся деревьев, а посередине две теплые, пыльные, пробитые в ползучей траве колеи идут далеко, зовут с собою. И никого живого — тишина в глухой улочке: то ли уже проехал, то ли еще проедет. И как Саша ни старался, так и не удалось ему поймать неведомого, который проезжает, оставляя две теплые колеи; когда ни взлезет на забор, — на улочке пусто, тишина, а колеи горят: то ли уже проехал, то ли еще проедет. Так и не увидал неведомого и оттого свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному.

Радовалась саду и Елена Петровна, но не умела по возрасту оценить его тайную силу и думала главным образом о пользе для здоровья детей; для души же ихней своими руками захотела создать красоту, которой так больно не хватало в прежней жизни с генералом. Начала с утвержде-

ния, что красота есть чистота, — и что же она делала для чистоты! Знала она, что все дети любят грязь, и прямо, как умная, с грешной страстью не боролась, но мыла детей немилосердно, шлифовала их, как алмазы, и таки приучила: самостоятельно, два раза, утром и вечером, вытираться холодной водой, — уже они и сами не могли без этого обходиться. И, не любя животных, кошку даже с котятками терпела только за то, что она всегда чиста и умывается. Говорила:

— Смотри, Линочка! — с Линочкой ей было много труда, — смотри: и где только сегодня она ни была, сейчас после дождя бежала по двору, а какая чистая! Оттого, что умывается.

А кошка с темным прошлым мерцала загадочно желтыми глазами, жила еще в прошлом; но вдруг опомнилась и начала свой длительный и приятный обряд.

И всю квартиру свою Елена Петровна привела к той же строжайшей чистоте, сделала ее первым законом новой жизни; и все радовалась, что нет денщиков, с которыми никакая чистота невозможна. Потом занялась красотой вещей. Со вкусом, составлявшим неразрешимую загадку для захолустного Н., вдруг изменила обычный облик всех предметов, словно надыхала в них красотой; нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык наткаться на стул, оставила радостную пустоту. Сама расшила занавеси на окнах и дверях, подобрала у окон цветы, протянула по стенам крашеную холстину — что-то зажелтело, как солнечный луч, а там ушло в мягкую синеву, прорвалось красным и радостно ослепило. Наружу зима, а в комнатках весна и осень, цветы цветут, и на блестящем полу, золотых пятнах солнечных, хочется играть как котенку.

И всем, кто видел, нравилось жилище Погодиных; для детей же оно было родное и оттого еще красивее, еще дороже. И если старый сад учил их Божьей мудрости, то в красоте окружающего прозревали они, начинающие жить, великую разгадку человеческой трудной жизни, далекую цель мучительных скитаний по пустыне. Так по-своему боролась с Богом Елена Петровна. Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети, проклянут чистоту и благополучие, и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти.

Было одно неудобство, немного портившее квартиру: ее отдаленность от центра и то, что в гимназию детям путь

лежал через грязную площадь, на которой по средам и пятницам раскидывался базар, наезжали мужики с сеном и лыками, пьянствовали по трактирам и безобразничали. Трактирами же была усажена площадь, как частоколом, а посередине гнила мутная сажалка, по которой испокон веку плавали запуганные утка и селезень с обгрызанным хвостом; и если развеенное сено и соломинки и давали вид некоторой домовитости, то от конской мочи и всяких нечистот щипало глаза в безветренный день. Линочка, в первый раз пройдя по площади, сразу возненавидела мужиков, Саша же отнесся с крайним любопытством, хотя и испугался немного и задышал чаще. Но скоро привык, и что-то даже понравилось: запах ли дегтя или даже конской мочи, окладистые ли бороды, полушубки, пьяные песни — он и сам не знал. Одно он видел: они были совсем другие, чем все, как будто из другого царства, и это и есть их главный и огромный интерес. Очень возможно, что тут была обычная романтика ребенка, много читавшего о путешествиях; но возможно и другое, более похожее на странного Сашу: тот старый и утомленный, который заснул крепко и беспамятно, чтобы проснуться ребенком Сашей, увидел свое и родное в загадочных мужиках и возвысил свой темный, глухой и грозный голос. Его и услышал Саша.

По воскресеньям Елена Петровна ходила с детьми в ближайшую кладбищенскую церковь Ивана Крестителя. И Линочка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом — черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек. И особенно блестела у Саши медная бляха пояса: по утрам перед церковью сам чистил толченым углем и зубным порошком.

Нищенки-старухи у кладбищенских белых ворот относились к Елене Петровне враждебно и звали ее между собой: «генеральша-то!». Но когда показывалась она с детьми, то высыпали ей навстречу и пели льстивыми голосами:

— Матушка! Деточки-то! И даст же Господь! Матушка!..

От знакомств Елена Петровна уклонялась: от своего круга отошла с умыслом, а с обывателями дружить не имела охоты, боялась пустяков и сплетен; да и горда была. Но те немногие, кто бывал у нее и видел, с каким упорством строит она красивую и чистую жизнь для своих детей, удивлялись ее характеру и молодой страстности, что вносит она в уже отходящие дни; смутно догадывались, что в прошлом не была она счастлива и свободна в желаниях.

Но даже и дети не знали, что задолго до их рождения, в первую пору своего замужества, она пережила тяжелую, страшную и не совсем обычную драму, и что сын Саша не есть ее первый и старший сын, каким себя считал. И уж никак не предполагали они, что город Н. дорог матери не по радостным воспоминаниям, а по той печали и страданию, что испытала она в безнадежности тогдашнего своего положения.

Это было за семь лет до Саши, и генерал тогда сильно и безобразно пил — даже до беспамятства и жестоких, совершенно бессмысленных поступков, не раз приводивших его на край уголовного; и случилось так, что, пьяный, он толкнул в живот Елену Петровну, бывшую тогда на седьмом месяце беременности, и она скинула мертвого ребенка, первенца, для которого уже и имя мысленно имела: Алексей. И хотя Погодин и уверял, что ударил нечаянно, — и, кажется, это была правда, — оскорбленная женщина решительно отказалась от детей и всякой близости с мужем, пока он совсем и навсегда не бросит пить. Целый год генерал выдерживал пытку и жил с женой в одном доме, но как посторонний; потом на три года разъехался с Еленой Петровной и все три года отчаянно пил и путался с женщинами. И снова поселился с женой, пробуя обмануть ее, и снова разъехался — пока, наконец, побледневший от злобы и неутолимой любви, не расплакался у ее ног и не дал страшной клятвы, обета трезвости.

И вторично стала женою его Елена Петровна, и родила ему Сашу, а через полтора года и Линочку; и даже не знали дети, что отец их пил когда-нибудь. Твердо держал свою клятву генерал, но уже незадолго до смерти, после одного из страшных своих сердечных припадков, вдруг прохрипел жене:

— Ты думаешь я для тебя не пью? Ну так знай же, что я тебя ненавижу и проклинаю... изверг! Убить тебя мало за то, что ты мне сделала.

Но тут поняла и она, что нет и у нее прощения и не будет никогда — и сама смерть не покроет оскорбления, нанесенного ее чистому, материнскому лону. И только Саша, мальчик ее, в одну эту минуту жестокого сознания возрос до степеней высочайшей, стал сокровищем воистину неоцененным и в мире единственным. «В нем прошу я отца», — подумала она, но мужу ничего не сказала.

С тем и умер генерал. И ничего не знали дети.

#### 4. Дети растут

Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первую в чреде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.

Но уже близилось страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», — подумала мать настоятельно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.

— Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?

— Устал.

— Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».

— Мы уже читали.

Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить замеченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:

— Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.

Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:

— Тебе четырнадцать лет! Этого слишком еще мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.

— Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.

— Саша!

Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пу-

гало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», — подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела передумать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Сашу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой... что ж, я очень рада».

Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с легкостью бессознательного предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.

Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая тень крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:

— Теперь в лесу волки.

— Что-то не хочется читать, — сказал Саша. — У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.

— Ну и сиди, грейся.

Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается

тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге — странно и приятно.

— Лина!

— Ну?

— Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.

— Да родной же мой Сашечка...

Крепко потерла резинкой и продолжала:

— Да родной же мой Сашечка! — отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами... а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.

— Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.

— Ну как хочешь! Русский так русский.

Снова помолчали. Саша сказал:

— Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.

— Я знаю, — ответила Линочка, хотя в первый раз услышала, что Байрон умер за свободу. — Не мешай, Сашечка, а то навру.

— А она похожа на гречанку.

— Мама?

Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.

— Нет, не похожа! — решила Линочка, вздыхая от натуги.

Саша улыбнулся в своей зеленой тени:

— А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает селедки, такая закутанная в платок.

— Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая... — Линочка искала слова, но не нашла, — такая... бабыня.

— Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.

— погоди, не мешай, я припоминаю.

Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот: и вдруг задохнулась и зловещим шепотом сказала:

— Сашенька! Я нашла!

И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шептала:

— В нашей церкви... знаешь? — есть на левой стороне картина... знаешь? — и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!

— Правда? — поверил Саша.

— Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!

Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, — и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: — Саша! Линочка! Дети!..

— Куда ты, Саша?

— Встречать маму.

— Иди, иди! Какой ветер!

— Она сказала, что зайдет к Добровым.

— А калоши?

— Я без калош.

В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.

— Где моя тужурка?

— Вот. Я держу. Иди, иди!

После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, — связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обращении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. Словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски служивал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты — почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз... Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиной страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимает жизнь, что идут от сер-



дца чистого и печального, плодоносно взрыхленного тяжелым плугом страдания.

Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народа, и все любили квартиру с ее красотой. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво — какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте даже разговорчивые ребята.

— Чего же они тогда молчат? — негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.

— Не знаю, боятся, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.

— Врут! — определяла Линочка. — Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.

— Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, — сказал Саша.

— Какой англичанин!

Но Елена Петровна уже примиряла:

— Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?.. И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие... Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!

И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор оконченным и только фыркает — точно за Сашиным тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину

Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подозревал.

## 5. Сны

...Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? — и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей — тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещие глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных деревьев навевает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?

Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.

Но зачем так яркие сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:

— Саша!

И откуда-то издалека Саша ответил:

— Мама!

Позвала еще:

— Иди сюда, ко мне... Саша!

Но уже не было ответа на этот зов.

Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услышала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», — подумала про свой дом Елена Петровна.

## 6. Трудное время

Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для

жатвы грядущего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?

Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом — до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни... а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, — или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Валтасара»:

Падут твердыни Вавилона,  
Неотразим судьбы удар...

Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.

А когда к ним перестали ходить, — когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен — как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.

Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка... где была Линочка? — да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:

— Что же это значит, Саша? Никого еще нет.

Саша положил брошюрку — да, это была брошюрка в красной обложке! — и как будто совсем равнодушно ответил:

— Они, вероятно, и не придут.

— Вероятно?

— Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.

— А почему же не у нас? Я ничего не понимаю... и ты меня даже не предупредил!

И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:

— Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.

— Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.

— Нельзя окурки на пол бросать?

И Саша строго, — да, именно строго, — ответил:

— Да. Нельзя окурки на пол бросать.

— Тимохин же все равно бросает на пол!

Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки — вольность, которой раньше он не позволял себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.

— Я говорю глупости, — сказала она и даже улыбнулась. — В чем же дело? Объясни мне, Саша!

— Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, — он повел плечом в сторону тех комнат, — она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни... Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.

— Красота никогда не может помешать.

— Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не помешает, но эта... Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, — ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота — я уж давно хотел поговорить с тобой, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай...

Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».

— Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого...

— Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!

— Когданибудь все равно вывалятся! Считаю: три, а то и пять минут

— Да зачем тебе так нужно время?

— Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой — как же, привык! — вот тебе еще пятнадцать — двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна — непременно докрасна! — растираю свое благородное тело. Потом...

И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много времени.

— Да на что вам время? — все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить зачехленные уроки рисования, не то музыки... Когда была брошена музыка?

Когда перестали дети ходить в церковь?

Когда было раньше, а когда было позже? Выскакивают дни без связи, а порядок утерян — точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и ревут бабы с детьми, и Елена Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, выскакивает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно несомненно, что времени между этими двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.

Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.

Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось,

что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода,— когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Линочке,— во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.

И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городской, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избивала на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных — Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни — до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?

Когда приделан железный засов к двери?

## 7. Отец

Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.

Утром за чаем — они еще пили чай! — Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:

— Телепнев... Телепнев... Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились...

— Да?

— Да как же! А я и забыла — стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!

Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папироса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал... или задумался и не замечает?

Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна поддвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поража-

ется всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое: вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.

Александр Николаевич!..

Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, примешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это,— где же прежний Саша?

Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок,— это видно, даже когда он сидит,— правда, немного худ и юношески узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в четко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувствуется сила и даже властность: эка, даже властности! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто давно не видала Саши: напоминает Елена Петровна его теперешний взгляд — да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго останется, забудет перевести глаза.

И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.

«Не надо говорить ему, что он красив», — думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза. Недолгое молчание — и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:

— А он у нас и в доме бывал?

Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:

- Да, бывал. Он часто бывал у папы.
- И вы были ему рады?
- Генерал любил его. Хочешь еще чаю?

— Спасибо,— говорит Саша и еще раз повторяет: — Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала...— Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку.— Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал... Как ты думаешь, мама?

Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом — о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:

— Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.

И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света,— скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки: «Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная,— как насмерть испуганная ночная птица.

— Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! — взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить,— запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.

Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, при-



давало рассказу особый смысл и значительность — о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:

— Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал... Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.

— Хорошо. Саша, Сашенька... Ну, а как же отец?

— Генерал? Генерал умер.

— Не называй его так.

— Это правда. Отец? Отец, да... Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?

Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.

— Я люблю его.

— А простить — нет?

Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаясь, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, за щекоталом — и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.

Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце — того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердо, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:

— Можно поцеловать тебя, Сашенька?

И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?

То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, — о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!

— Говори, говори, Сашечка!

— Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты...

— Говори, говори, Сашечка!

Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!

Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.

Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее — и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.

Да, это он, отец — этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, — в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его — громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю.

Это отец, да.

А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков — почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы — то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издали послышатся гулки приближающиеся шаги и

вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.

И она сказала, что любит его — не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, — любовь? — ненависть и гнев? — запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним... не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!

Однажды на смотру, на каком-то маленьком, не особенно важном смотре был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услышал хрипкое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна — ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:

— Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!

А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!

«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! — думал Саша, стискивая зубы. — Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете... Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»

Потом Саша думал, уже засыпая:

«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! — ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно... что свойственно русским? Ах, Боже мой — да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»

И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «...Не лобза-

ния Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя...»  
Хор запел: — Аминь!

И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко; без сновидений, уснул.

## 8. Бесталанные

Это было в марте, в воскресенье.

Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» — думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окаянная. «Ну и дом!» — подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит — как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».

— Что же вы стоите? — крикнула барышня. — Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!

Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.

— Погодин, гимназист, здесь живет?

— Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.

— Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.

— Знакомый? Очень рада. Пожалуйте!

Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю,— покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей,— я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожься». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знако-

мый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк,— только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»

— Мама! — сказала Линочка, зная мысли матери и не одобрявшая их.— Надо же показать, куда идти. Сюда идите... Саша, к тебе знакомый.

Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.

— У вас тут, того-этого, совсем Венеция,— сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке,— только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!

Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! — и ответила:

— Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотках.

— Пойдемте ко мне,— сказал Саша, вставая.

Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недо-еденный хлеб и сурово промолвила:

— Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.

— Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.

После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:

— Весна!

Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.

— Ваша мама меня боится, а сестра нет,— сказал Колесников и снова со вздохом повторил,— весна!

— Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.

— Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заметили. А я заметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша

меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.

Саша слегка покраснел:

— Где же это было? Я не помню.

— Там! — ответил Колесников, придвигая стакан чаю. — Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрат, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это ввали, они просто струсили.

Лицо Саши потемнело:

— Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.

— Меня зовут Василий Васильевич, — сказал Колесников, — я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.

— У меня тоже нет талантов, — сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.

И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:

— Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?

— Нет, сестры.

— Сестры? Молодец сестра!

Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:

— Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.

— Никакого. Я и говорить не умею.

— Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!

Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его,

видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.

— Боже ты мой! — гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. — Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, — вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!

Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:

— Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.

— Давайте стакан, я принесу горячего.

— Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.

— У меня свой есть, — сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.

У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.

— Да! — сказал он со вздохом, — времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.

— Повешена?

— Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.

Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.

— Славные у вас сапоги! — сказал он Саше и сам себя спросил: — Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.

Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял

погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и налепил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.

— Не всякий может,— сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша,— думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».

Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:

— Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?

— Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.

Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал — две пули, одна возле другой.

— И это не талант? — воодушевился Колесников, — подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.

— А они вот отказались,— сухо промолвил Саша, намекая на комитет.— Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!

Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.

— Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные,— сказал Колесников наставительно и вздохнул.

И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет дальше. Вдруг Колесников засмеялся:

— Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удив-



ляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знай я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!

— А откуда ж вы меня так хорошо знаете?

— Не знал бы, так и не пришел бы,— уже серьезно сказал Колесников.— Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили... в вас-то они не очень уж сомневались.

Саша вдруг смутился.

— Телепнева? — нерешительно переспросил он.— Я думаю, основания ясны. Впрочем... у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные...

И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое — вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах — собралось в единый образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджигающего леса,— ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и побежали вдаль кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:

— Вы русский?

Колесников, разглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечай его Саша, не сразу ответил:

— Русский. Не в этом важность, того-этого.

— У меня мать гречанка.

— Что ж!.. И это хорошо.

— Почему хорошо?

— Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.

Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал: «Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:

— Байрон умер за свободу греков.

— Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! — преподлейший вздор.

Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлюпали калоши.

— Вот я, видите? — гудел он в высоту, как телеграфный столб.— Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел — нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.

Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:

— Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержат его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!

Уже испуганное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:

— Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!

— Нет! — сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий.— Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!

Колесников угрюмо извинился:

— Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.

Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части»,

как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.

— А кто был ваш отец? — спросил Саша.

— Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстанавливает. И герб у нас теперь такой: на зеленом бильярдном поле наклоненная бутылка с девизом: «Свидания друзей»...

— Он жив?

— Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, — человек он честолюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня — тоже, того-этого, сволочь удивительная!

— Зачем вы так говорите! — поежился Саша.

— А что — густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи — не совершившемуся, меня давно уж повесили, — добродушно заключил Колесников.

Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и — что редко бывало с внимательным Сашей — не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.

Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки — точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик — посмотрел Саше в глаза и спросил:

— Газету читали?

— Нет, не успел.

— Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин.

А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?

Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:

— Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем... я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.

Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, приходившей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.

## 9. Весна

Во весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»... и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка — барышня, любящая танцы, а он — ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.

Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бесильным смехом:

— Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!

— А-а-а, толстая! — рычал он от зверской любви. — Полюбишь ты меня или нет? Сознавайся, пресловутая!

— Сашка, оставь... ой, упаду!

И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно

рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:

— Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.

Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:

— Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!

— А что? Ухаживателей не хватает?

Линочка кротко ответила:

— Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.

Саша в темноте покраснел и сердито сказал:

— Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.

— Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.

— Это мамыны слова?

— А если и мамыны? — упрямо сказала сестра.— Мама знает, что говорит.

— Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу сегодня ссориться.

Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватилась за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина,— по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошлостей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! — подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной,— там в университете будет по-другому».

На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки — маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:

— Пароход! Пароход!

По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.

— Свалишься, Тимохин, слезы! — уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:

— Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?

Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутовству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» — подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.

К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:

— Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!

Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:

— Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.

Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться,— так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.

Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:

— Сейчас прошел пароходик. Вы видели?

— Да, видел,— ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.

Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное — глаза, должно быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь — и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотой. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:

— На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!

Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:

— Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.

— Брось пить, противно.

— Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю,— не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу

Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучавшее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий голос Добровольского:

— Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу! Почему мы должны

довольствоваться обедами со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?

Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:

— Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея...

— Башмаков, Тимоша, а не сапог.

— Сам ты, Тимоша, сапог!

— Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!

— Слышишь, Саша?

Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На въезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:

— Читали газеты?

— Да. Шестнадцать.

После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:

— Да, ребята, придется нам сесть за учебу!

Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» — и кто-то назвал его за это Кассандрой и начался какой-то спор, — но Саша уже быстро шел по обезлюдившей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, — подумал Саша и прибавил: — Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».

Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:

— А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?

— Да нет, мама, — улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. — Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!

Темное лицо Елены Петровны осветилось:

— Правда?

— Да. Дай чаю, мамочка.

Уже от порога она, обернувшись, спросила:

— Этот, ну, Колесников — ничего плохого не сказал тебе?

— Только хорошее. Он чужак.

Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попро-



сил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню — легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благословляет крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает — родной сын Саша.

Когда простились, Саша поднял на мать глаза и спросил:

— Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца?

Подумай: я ни разу не видал его.

Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату — и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо, как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.

## 10. Колесников

На другой день Саша навел справки о Колесникове, и вот что узнал он: Колесников действительно был членом комитета и боевой организации, но с месяц назад вышел из партии по каким-то очень неясным причинам, до сих пор не разъясненным. Одни говорили, что виноват Колесников, уже давно начавший склоняться к большим крайностям, и партия сама предложила ему выйти; другие обвиняли партию в бездеятельности и дрызгах, о Колесникове же говорили, как о человеке огромной энергии, имеющем боевое прошлое и действительно приговоренном к смертной казни за убийство Н-ского губернатора: Колесникову удалось бежать из самого здания суда, и в свое время это отчаянно-смелое бегство вызвало разговоры по всей России. Рассказывали также, что Колесников — участник того знаменитого случая, когда трое революционеров почти десять часов отстреливались от полиции и войск, окруживших дом, и кончили тем, что все трое бежали из подожженного дома.

«Ну и фигура! — думал очень довольный Саша, вспоминая длинные ноги, велосипедную шапочку и круглые наив-

ные глаза нового знакомого, — я ведь предположил, что он не из важных, а он вот какой!» В одном, наиболее осведомленном месте к Колесникову отнеслись резко отрицательно, даже с явной враждебностью, и упомянули о каком-то чрезвычайно широком, но безумном и даже нелепом плане, который он предложил комитету; в чем, однако, заключался план, говоривший не знал, а может быть, и не хотел говорить. О том же плане и так же смутно, недоумевая, рассказал Саше присяжный поверенный Ш., сам не принадлежавший ни к какой партии, но бывший в дружбе и постоянных сношениях чуть ли не со всей подпольной Россией.

— Не знаю, не знаю, Господь с ним! — торопливо говорил Ш. и пальцами, которые у него постоянно дрожали, как у сильно пьющего или вконец измотанного человека, расправлял какие-то бумажки на столе. — Вероятно, что-нибудь этакое кошмарное, в духе, так сказать, времени. Но и то надо сказать, что Василий Васильевич последнее время в состоянии... прямо-таки отчаянном. Наши комитетчики...

Ш. улыбнулся и, скрывая улыбку, потер дрожащими пальцами свой длинный, утинообразный нос.

— Наши боевики... люди местные, мирные и, так сказать, уже отдали дань. Вы слышали, Александр Николаевич, что на днях из комитета вышли еще двое?

— Я мало осведомлен, — сказал Саша и покраснел.

— Да, да, ну, конечно! Да это и не важно, этого уже давно следовало ожидать. А скажите, Александр Николаевич, зачем собственно...

Но в эту минуту в прихожей раздался звонок, и уже пожилой, плешивый, наполовину седой адвокат вздрогнул так сильно, что Саше стало жалко его и неловко. И хотя был приемный час и по голосу прислуги слышно было, что это пришел клиент, Ш. на цыпочках подкрался к двери и долго прислушивался; потом, неискусно притворяясь, что ему понадобилась книга, постоял у книжного богатого шкапа и медленно вернулся на свое место. И пальцы у него дрожали сильнее.

— Ужасные времена! — сказал он, точно оправдываясь перед юношей. — Да, так что я хотел вас спросить? Кажется...

— О Колесникове — зачем мне понадобились справки, — предупредил Саша, с тоскою глядя на дрожащие, бледные пальцы с синеватыми шлифованными ногтями. — Меня просто заинтересовал этот человек.

— Да, да, ну, конечно, он человек интересный. Я, собственно, и не желаю вмешиваться... — Он виновато опустил

глаза и вдруг решительно сказал: — Я хочу только предупредить вас, Александр Николаевич, что во имя, так сказать, дружбы с Еленой Петровной и всей вашей милой семьей — будьте с ним осторожны! Он человек, безусловно, честный, но... увлекающийся.

И уже у двери, провожая Сашу, он сказал:

— Странное явление: я уже два месяца не имею известий от моего Франца. Положим, и вся ваша братия, студенты — ведь вы почти уже студент! — неохотно пишут родителям, но сегодня вдруг получаю обратно денежный перевод. Придется, пожалуй, самому отвезти, а? — Он неестественно засмеялся и закашлялся. И, откашлявшись, с хрипотью в голосе уже серьезно прошептал: — Да, все силы революции разбиты.

Несколько дней Саша напрасно поджидал Колесникова — сам идти не хотел, хотя узнал и адрес — и уже решил, что встреча и разговор их были чистою случайностью, когда на пятый день, вечером, показалась велосипедная шапочка. Выяснилось, что от промоченных ног Колесников простудился и два дня совсем не выходил из дома. К огорчению Саши, ни о своем загадочном плане и ни о чем важном и интимном Колесников говорить не стал, а вел себя как самый обыкновенный знакомый: расспрашивал Погодина о гимназии и подшучивал над гимназистами, которые недавно сели в лужу с неудавшейся забастовкой. Под конец даже заскучал и откровенно зевнул. «Успокою маму!» — подумал Саша и предложил ему пойти пить чай в столовую. Колесников оживился.

— С удовольствием, того-этого. Я и сам хотел попроситься, да знаю, как у вас в семье строго насчет знакомств. С удовольствием, с удовольствием!

«И откуда он все знает?» — нахмурился Саша и с некоторой тревогой повел гостя в столовую. Но с первых же слов, с неловкого, но почтительного поклона и вопроса о здоровье Елены Петровны гость повел себя так просто и даже душевно, как будто век был знаком и был лучшим другом семьи. Станным было то любопытство, с которым он оглядывал квартиру: не только в гостиной изучил каждую картинку, а для некоторых лазил даже на стул, но попросил показать все комнаты, забрел в кухню и заглянул в комнату прислуги. Впрочем, и все, первый раз бывавшие у Погодиных, также любопытствовали; и было неприятно только то, что свой инспекторский осмотр Колесников мог заключить какой-нибудь нетактичной фразой и даже упреком — бывало и это в последние года. И у всех отлегло от сердца,

когда, вернувшись в столовую и берясь за охолодавший чай, Колесников решительно и твердо заявил:

— Хорошо, того-этого, чудесно! Молодец вы, Елена Петровна. А это что? — шкап! То-то в вашей комнате и книг мало, а они здесь. Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, того-этого.

И со свечкой полез смотреть книги, а Елена Петровна и Линочка переглянулись с улыбкой.

— Так, так! — гудел он, — всегда надо знать, что люди читают. Здорово, того-этого. Ого! — а вы и по-французски читаете?

— Читаю, — ответил Саша.

— Вот что значит хорошее-то воспитание! Искренно завидую. А я пробовал в тюрьме учить итальянский...

— Почему итальянский? — улыбнулась Елена Петровна.

— Не знаю, того-этого, посоветовали, да все равно не выучил. Пока учу, ничего, как будто идет, а начну думать, так, батюшки мои: русские-то слова все итальянские и вышибли. Искал я, кроме того, как по-итальянски «того-этого», да так и не нашел, а без «того-этого» какой же, того-этого, разговор?

Все засмеялись, а Саша смотрел на мать, на ее темные, без блеска, теперь повеселевшие глаза, и думал: «А если бы ты знала про энского губернатора, смеялась бы ты?»

И то понравилось, что за ужином Колесников плотно покушал: Елена Петровна боялась людей, которые мало едят; и то было приятно, что он обратил внимание на Линочкины таланты и после ужина попросил ее поиграть на рояле.

— Ну, а меня извините, — сказал Саша, — я пойду займусь.

— А как же музыка, того-этого?

— Я ее не слышу. Говорил же я вам, Василий Васильевич, что у меня нет талантов.

Елена Петровна недовольно заметила:

— Зачем так говорить, Саша? Я не люблю, когда ты даешь о себе неверное представление.

И музыку Колесников слушал внимательно, хотя в его внимании было больше почтительности, чем настоящего восторга; а потом подсел к Елене Петровне и завел с нею продолжительный разговор о Саше. Уже и Линочка, зевая, ушла к себе, а из полутемной гостиной все неся гудящий бас Колесникова и тихий повествующий голос матери.

— Да, трудно с детьми, — скромничала Елена Петровна,

а глаза у нее светились, и в красной тени шелкового абажура лицо казалось молодым и прекрасным.

— Хороший мальчик! — убежденно гудел Колесников. — Главное, того-этого, чистый.

— Да, уж такой чистый! — вздохнула Елена Петровна. — Ах, если бы вы знали, Василий Васильевич!

И замолчала, задумавшись о муже. Колесников быстро, искоса взглянул на нее, но сейчас же сделал равнодушное лицо и даже засвистал потихоньку. Слышно было, как в своей комнатке ходит Саша. Еще раз искоса Колесников взглянул на задумавшуюся мать и почувствовал, что думы ее надолго, и внимательно начал оглядывать незнакомую квартиру. И, взгляни на него в эту минуту Елена Петровна, она поразилась и, пожалуй, испугалась бы того вида оценщика, с каким гость как бы вторыми гвоздями прибывал к стене своим взглядом каждую картинку, каждую, расшитую ее руками, портьеру. «А папашиного портрета нет», — подумал Колесников и улыбнулся в бороду. Вдруг Елена Петровна, продолжая что-то свое, спросила:

— Вы видели его глаза?

Колесников несколько замаялся.

— Хорошие глаза, того-этого.

— Нет, — а выражение?.. Ну да что, Василий Васильевич: видно, вам никогда не приходилось разговаривать с матерью, а то знали бы, что мать не переслушаешь. Ого, уже час, а Сашенька еще не спит. Учится, — улыбнулась она, — как он не скрытничает, а знаю я, до чего ему хочется в университет!

И с этого вечера, о котором впоследствии без ужаса не могла вспомнить Елена Петровна, началось нечто странное: Колесников стал чуть ли не ежедневным гостем, приходил и днем, в праздники, сидел и целые вечера; и по тому, как мало придавал он значения отсутствию Саши, казалось, что и ходит он совсем не для него. Первое время Елена Петровна была очень довольна, но уже скоро стала задумываться и тревожиться; и тревожило ее все то же ненасытное любопытство, с каким Колесников продолжал присматриваться к вещам и людям. «И чего он высматривает? И чего он ищет?» — волновалась Елена Петровна, и однажды пожаловалась даже Линочке.

— Ах, да мало ли кто к нам ходит, мамочка. Ты только вспомни, сколько у нас опять народу бывает.

— Народу бывает много! Но только почему он все спрашивает о Саше, а приходит тогда, когда Сашеньки и дома нет. Мне это не нравится.

— Очень просто: потому что Саша самый интересный человек. Вот и Женя Эгмонт...

— Бедная Женя!

— Бедная Женя.

Обе они улыбнулись, и в улыбке сестры было столько же гордости, как и в улыбке матери. Бедная Женя Эгмонт! Но хоть и засмеялась Линочка, а сама почувствовала беспокойство и также с тревогой начала приглядываться к Колесникову, — но, сколько ни глядела, ничего понять не могла. И временами успокаивалась, а минутами в прозрении сердца ощущала столь сильную тревогу, что к горлу поднимался крик — то ли о немедленном ответе, то ли о немедленной помощи. А Елена Петровна со стыдом и раскаянием думала о своем грехе: этому незнакомому и в конце концов подозрительному человеку, Колесникову, она рассказала о том, чего не знала и родная дочь — о своей жизни с генералом.

Смущало и то, что Колесников, человек, видимо, с большим революционным прошлым, не только не любил говорить о революции, но явно избегал всякого о ней напоминания. В то же время, по случайно оброненным словам, заметно было, что Колесников не только деятель, но и историк всех революционных движений — кажется, не было самого ничтожного факта, самого маленького имени, которые не были бы доподлинно, чуть ли не из первых рук ему известны. И раз только Колесников всех поразил.

Саша был дома, и все сидели в столовой, когда зашла речь о каком-то провокаторе, только что объявленном газетами. Елена Петровна кончала брезгливую фразу, когда Колесников вдруг вскочил и завертелся на четырех шагах.

— Как это можно? Как это можно? — неистово загудел он, как придорожный в поле столб, на который с размаху налетел бурный ветер. — Боже ты мой, какое, того-этого, наказание, глазам ведь смотреть стыдно. Какое наказание! А оттого, что народ забыли, руки не чисты, что все бабники, того-этого, сластены, приходы делят! А что такое революция? Кровь же народная, за нее ответ надо дать — да какой же ты ответ дашь, если ты не чист? Какой же в тебе, того-этого, смысл! Жизнью жертвуешь, да? А жандарм не жертвует? А сыщик не жертвует? А любой дурак на автомобиле не жертвует?

Саша хмуро смотрел вниз и вздрогнул, когда голос загудел прямо над его головою:

— Нет, ты будь чист, как агнец! Как стеклышко, чтобы насквозь, того-этого, светилось! Не на гульбище идешь, а на

жертву, на подвиг, того-этого, мученический, и должен же ты каждому открыто, без стыда, взглянуть в глаза!

Саша поднял глаза; и твердо приняли эти жуткие, обведенные самой смертью глаза суровый и жестокий взгляд круглых, почти безумно горящих глаз Колесникова. И уже говоря прямо в чистую глубину юношеского взора, забыв о побледневшей Елене Петровне, он испустиленно продолжал:

— Дай мне чистого человека, и я с ним на разбой пойду...

— Ох, Господи! — даже вскрикнула Елена Петровна и замахала руками. — Молчите вы — молчите!

— Да, на разбой, и самый разбой, того-этого, его чистотой освящу. Из кабака церковь сделаю, вот как, того-этого! А с пьяным попом и церковь — кабак!

— Да замолчите же вы! — задохнулась Елена Петровна. — Поймите, поймите же вы, сумасшедший же вы человек, что и дела, дела должны быть чисты!

Стихий Колесников угрюмо покосился на нее своим лошадиным глазом и проворчал:

— Дела? А дела, того-этого, кто же делает? Люди же. Вздор! Ну да ладно, увлекся, я человек увлекающийся, того-этого. Только вы меня извините, Елена Петровна, а мое мнение такое, что только на чистой крови вырастают цветы... будь бы я поэт, стихи бы на эту тему написал. Да что стихи! Вот вы засмеетесь, а я вам под видом шутки такие слова скажу: если террорист не повешен, так он, того-этого, только половину дела совершил, да и то худшую. Убить-то и дурак может, да и вообще дураку убивать сподручнее. Верно, Александр Николаевич?

Но тут удивил всех Саша. Вдруг громко рассмеялся и, подойдя к Колесникову, положил как будто нерешительным движением руку на его плечо. И, ласково глядя в суровые, еще не потухшие глаза, так же нерешительно сказал:

— Василий Васильевич!..

— Ну?

Глаза светились все ласковее и насмешливее, и что-то потерянное, одинокое, давно ждущее ласки испуганно метнулось в ответном взоре Колесникова.

— Василий Васильевич! А чай-то ваш опять остыл!

Елена Петровна укоризненно качнула головой, не зная, как принять Сашину выходку; Колесников же с обиженным, как ей показалось, видом встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Ну ладно: остыл, так и пить, того-этого, не стоит. Прощайте, пойду в свою одиночку.

И вдруг, чего не бывало никогда, неловко поцеловал руку у Елены Петровны; и пока она так же неловко искала губами его лоб среди колючих шершавых волос, тихо буркнул:

— За сына!

И что ей еще показалось: будто черные, круглые, еще недавно такие свирепые глаза были влажны от слезы. «А я в Сашеньке усомнилась,— подумала она благодарно,— нет, никогда мне, глупой, его не оценить».

— Я вас провожу, Василий Васильевич! — предложил Саша.— Вы ничего не имеете против?

— Пожалуйста. Буду рад.

В передней Елена Петровна хотела спросить сына, когда он вернется, но не решилась и вместо того заботливо сказала:

— А ты в весеннем пальто, Саша. Не было бы холодно.

— Ночь теплая. Одну минутку, Василий Васильевич, папиросу забыл.

Уже одевшийся Колесников стоял боком к выходной двери и, опустив голову, молча ждал. Что-то спросила Елена Петровна, но он не ответил, не слышал, должно быть; и так же молча, не оборачиваясь, вышел, как только показался Саша.

Все это было беспокойно, и до часу Елена Петровна не ложилась, поджидала сына; потом долго молилась перед иконой Божьей Матери Утоли Моя Печали и хотела уснуть, но не могла: вспоминался разговор и с каждой минутой пугал все больше. «Говорит, что теплая ночь, а как деревья шумят. Не могу я привыкнуть к ихнему шуму, и все кажется: идет что-то страшное. Это тогда меня черная сотня напугала. Какое время, Богородица, какое время! И как это можно, чтобы сын Саша один бродил где-то в темноте, один в темноте,— а деревья шумят...»

Уже сквозь тяжелую дрему услышала Сашины шаги и через дверь окликнула.

— Ты не спишь, мама?

— Приоткрой дверь. Нет, не сплю. Ты у него был?

— Нет. Мы ходили по улице.

— Ты не озяб? Молоко в столовой.

— Спасибо, я знаю. За рекой, на той стороне, огромное зарево, какая-то деревня, не то усадьба горит.

— Какая?

— Не знаю. Огромный пожар. Ты что говоришь?..



- Я сказала: Господи! Ну иди, я буду спать...
- Не слышу.
- Как деревья шумят! Деревья шумят. Спокойной ночи.

## 11. Ночами

...Когда Саша предложил себя для совершения террористического акта над губернатором, он и сам как-то не верил в возможность убийства и отказ комитета принял, как нечто заранее известное, такое, чего и следовало ожидать. И только на другой день, проснувшись и вспомнив о вчерашнем отказе, он понял значение того, что хотел сделать, и почувствовал ужас перед самим собою. И особенно испугала его та легкость, почти безумие, с каким пришел он к решению совершить убийство, полное отсутствие сомнений и колебаний.

Когда он решил убить Телепнева? Да в ту же, кажется, ночь, когда мать плакала в его комнате и рассказывала о генерале — чуть ли не в ту же самую минуту, как услышал слово: «отец»... И, решив, уже не думал о решенном, а только искал пути; и действовал так настойчиво, осторожно и умно, что добрался-таки до комитета — и только воля других, чуждых, почти незнакомых людей отклонила его от убийства и смерти: спастись Саша не думал и даже не хотел. И странно было то, и особенно страшно, как во сне: каждый день, видя мать, поцеловавшись с нею перед тем, как идти в комитет, он нисколько не думал о ней, упускал ее из виду просто, естественно и страшно.

Потрясение было так сильно, что на несколько дней Саша захворал, а поднявшись, решил во что бы то ни стало добыть аттестат: казалось, что все запутанные узлы, противоречия и неясности должен разрешить университет. И действительно, сел заниматься и с необыкновенным чувством удовольствия зажег в тот вечер лампу; но как только раскрыл он книгу и прочел первую строчку — ощутил чувство столь горькой утраты, что захотелось плакать: словно с отказом от убийства и смерти он терял мечту о неизъяснимом счастье. Словно именно в эти дни безумия и почти сна, странно спокойные, бодрые, полные живой энергии, он и был тем, каким рожден быть; а теперь, с этой лампой и книгой, стал чужим, ненужным, как-то печально-неинтересным: бесталанным Сашей... В характере его было не отказываться от раз принятого решения, пока не станет невозможно; и он упорно работал, но все безрадостнее и

фальшивее становился бесцельный, ненужный труд. Вдруг стало стыдно читать газеты, в которых говорилось о казнях, расстрелах, и из каждой строки глядела безумно-печальными глазами окровавленная, дымящаяся, горящая, истерзанная Россия. Дня по три и по четыре не разворачивал он газеты,— но те, кто прочитывал ее от строки до строки, не были мрачнее и сердцем осведомленнее, нежели несчастный юноша, в крови своей чувявший созвучья проливаемой крови.

И стало так: по утрам, проснувшись, Саша радостно думал об университете; ночью, засыпая — уже всем сердцем не верил в него и стыдился утренней радости и мучительно доискивался разгадки: что такое его отец-генерал? Что такое он сам, чувствующий в себе отца то как злейшего врага, то любимого, как только может быть любим отец, источник жизни и сердечного познания? Что такое Россия?

Но все меньше спал Саша, охваченный острым непреходящим волнением, от которого начиналось сердцебиение, как при болезни, и желтая тошнота, как тревога предчувствия, делала грудь мучительно и страшно пустою; и уже случалось, что по целым ночам Саша лежал в бессоннице и, как в детстве, слушал немолчный гул дерев. Давно уже смолк этот могучий, ровный, вещий гул, размененный на понятную человеческую речь, и с удивлением, покорностью и страхом слушал Саша забытый голос, звавший его в темную глубину неведомых, но когда-то испытанных снов. Гасли четкие мысли, такие твердые и общие в своей словесной скорлупе; теряли форму образы, умирало одно сознание, чтобы дать место другому. Обнаженный, как под ножом хирурга, лежал Саша навзничь и в темноте всем легким телом своим пил сладостную боль, томительные зовы, нежные призывы. Зовет глубина и ширь: открыла вещие глаза пустыня и зовет материнским, жутким голосом: Саша! Сын!

Осторожно, чтобы не разбудить кого-то, Саша раздвигает на груди ночную сорочку, все шире обнажает молоденькую, худую, еще не окрепшую грудь и подставляет ее под выстрелы ружей. Молчит и ждет. И плачет так тихо, что не услышала бы и мать, сказала бы, улыбаясь, что спит тихо сын ее Саша. Однажды в такую ночь Саша бесшумно спустился с кровати, стал на колени и долго молился, обратив лицо свое в темноте к изголовью постели, где привешен был матерью маленький образок Божьей Матери Утоли Моя Печали. Уже несколько лет не молился Саша, но по вернувшейся привычке крестился, стараясь захватывать плечи: звал Бога на помощь и предавал Ему жизнь свою и дух. Наутро Саше стало неловко, и больше он не молился; но

радостную и светлую память об этой ночной молитве он донес до самой своей ранней могилы.

В это сумеречное время, короткое по дням, но такое долгое по чувству, Саша пережил несколько почти счастливых мгновений: это когда он жертвовал своей любовью к Жене Эгмонт. «Будет такая пошлость, если я ее полюблю», — подумал он совсем неподходящими словами, а по острой боли сердца понял, что отдает драгоценное и тем искупает какую-то, все еще неясную вину. И эту острую боль, такую немудрую и солнечно-простую, он с радостью несколько дней носил в груди, пока ночью не придушила ее грубая и тяжелая мысль: а кому дело до того, что какой-то Саша Погодин отказывается любить какую-то Евгению Эгмонт? «Как купец, который накрал, а потом жертвует гривенник», — подумал Саша опять-таки неподходящими словами, чувствуя, как снова охватывает душная ночная хмара.

И только одно спасло его в эти дни от самоубийства: та желтая тошнота, тревога предчувствия, знак идущего, верная подруга незавершенной жизни, при появлении которой не верилось ни в университет, ни в свое лицо, ни в свои слова. Нужно только подождать, еще немного подождать: слишком грозен был зов взволнованной земли, чтобы отстаться ему гласом вопиющего в пустыне.

Тут и пришел Колесников...

## 12. Дальнейшее об отце

После ночной прогулки Елена Петровна с тревогой смотрела на Сашу и поджидала Колесникова; но Колесников три дня не приходил, а Саша все три дня сидел дома и был очень нежен, — все, что и требовалось для короткого спокойствия. Явился Колесников в субботу, когда у Погодиных собрались гимназисты и гимназистки, среди них и Женя Эгмонт. Бродили по подсохшему саду, когда среди голых кустов показалась велосипедная шапочка и черная борода неприятного гостя и загудел издалека его глухой, словно из-под земли, ворчащий бас; и сам Саша с видимой холодностью пожал ему руку.

— Чудесный закат! — сказал Колесников, спокойно усаживаясь на скамейке как раз посередине между Линочкой и Женей Эгмонт.

— К моему лицу идет, того-этого, как нельзя лучше! Небо между голыми сучьями было золотисто-желтое и

скорей походило на осеннее; и хотя все лица, обращенные к закату, отсвечивали теплым золотом и были красивы какой-то новой красотой,— улыбающееся лицо Колесникова резко выделялось неожиданной прозрачностью и как бы внутренним светом. Черная борода лежала как приклеенная, и даже несчастная велосипедная шапочка не так смущала глаз: и на нее пала крупница красоты от небесных огней.

— Да вы в зеркало смотрите! — крикнула Линочка, которой в эту минуту очень понравился Колесников.

— Смотрюсь, того-этого. Лицо — зеркало души.

— Глаза, а не лицо,— поправила гимназистка, и начался пустой, легкий и веселый разговор, в котором Колесников оказался не последним. Он беззаботно шутил, звал всех летом по грибы, и только знавший его Саша заметил два-три долгих взгляда, искоса брошенных на Женю Эгмонт. «Если бы я знал, о чем с ней говорить, я бы к ней подошел: пусть он не думает глупости»,— сердито, почти гневно подумал Саша и отправился в дом, куда уже звали пить чай. И еще раз взглянул на желтое небо, горевшее между неподвижными теперь и молчаливыми деревьями, и, подумав про сад, улыбнулся тихо: «Да, для вас он молчит!»

Вслед за ним и все тронулись к дому, к его приветно засветившимся окнам, когда Колесников остановил Лину:

— На два слова, дорогая. Что это за барышня, что сидела рядом со мною? Очень красивая, того-этого, девица.

— Еще бы не красивая! — сказала Линочка с гордостью.— Ее фамилия Эгмонт.

— Так, так, Эгмонт! Из каких же она?

— Отец ее директор банка. Да неужто же вы не знаете: Эгмонт? Их весь город знает.

— Как же, как же, теперь и я знаю. Строгая, того-этого, семья, в карете нашу грязь месит. Как же это они ее к вам пускают?

Линочка вспыхивает:

— Ну и глупости! Это вы забываете, что папа был генералом, а они прекрасно помнят. Все-таки ваша правда: препротивные они люди.

— И часто она у вас бывает?

«Чего он выпрашивает?» — подумала Линочка, и ее снова охватила та мучительная тревога за Сашу, от которой хотелось кричать. Покраснев, она отбросила ногой темневший на дорожке прошлогодний листок, хотела промолчать, но не выдержала и взглянула прямо в глаза Колесникову:

— Вы, Василий Васильевич, должно быть, ужасно злой человек! Ужасно!

Широкие плечи Колесникова съежились, как от неожиданного удара, в глазах его, устремленных на Линочку, снова метнулось что-то потерянное, одинокое, давно и напрасно ждущее ласки. И уже начала раскаиваться Линочка, когда Колесников грузно поднялся и сказал тихо и печально:

— Что ж, того-этого, может быть, вы и правы. Только, если это злость, то...

Он махнул рукой, не окончив фразы, и пошел к дому; и широкая спина его гнулась, как у тяжело больного или побитого. В столовой, однако, под светом лампы он оправился и стал спокоен и ровен, как всегда, но уже больше не шутил и явно избегал смотреть на Женю Эгмонт. Когда же все разошлись, попросился в комнату к Саше. «Ах, если бы я смела подслушивать!» — мелькнуло в голове у Елены Петровны.

— Мне не нравится, Василий Васильевич, — начал Саша прямо, — что вы шутите и вообще притворяетесь таким простаком. Этим вы вводите в заблуждение всех... всех наших. И значение ваших взглядов я понимаю: тоже нехорошо!

Колесников уныло подумал: «Боже ты мой! То сестра, а то этот: вот она, чистота!» — и покорно ответил:

— Что ж, того-этого, и это правда! Только я полагаю, Александр Николаевич, что негоже петлю раньше времени накидывать, успеют, того-этого, ваши-то намучиться. Что же касается моих поглядок, то я же вам откровенно объяснил причину: ведь я вас сватать пришел, и нужно же мне было повидать женихову, того-этого, родню.

Саша не ответил. Он сидел у стола в своей любимой позе: ногу положив на ногу и опустив глаза на кончики сложенных на колених пальцев, и красивое лицо его было спокойно, холодно и непроницаемо. Можно было сколько угодно смотреть на это холодное лицо, — и ни одна черта не дрогнет, не выразит того волнения, которое вызывает человеческий пристальный взгляд. «Так он и смерть встретит», — почувствовал Колесников и на одно мгновение в нерешимости остановился. Потер под бородою горло, и словно этот жест, облегчавший дыхание, успокоил его и обычную твердость придал слегка размякшим чертам. И холодно начал:

— Да, того-этого, родня... Вот и еще хотел я вас спросить, да случая не представлялось. Скажите, Александр Николаевич, как, собственно, звали вашего отца? — Николай...?

— Николай Евгеньевич.

— Эн Е, значит? Да, того-этого, так и тот офицер на-

зван: Н. Е. Погодин. Это я в одной старой газетке прочел про некий печальный случай: офицер Н. Е. Погодин зарубил шашкой какого-то студентика. Лет двадцать назад, того-этого, давно уж!

— Как это произошло?

— А так произошло, что стоял этот офицер в охране — особы, того-этого, проезжали, — ну, и, конечно, толпа, и студентик этот выразился довольно непочтительно, а он его шашкой. Насмерть, однако.

— Офицер был пьян?

— Нет, того-этого, не сказано. А студентик-то, действительно, был выпивши, трезвый-то кто ж на охрану полезет. А может, и дурак был, а его за пьяного приняли, не знаю, того-этого. Всяко бывает.

— Вы, наверное, помните его фамилию?

— Помню. Фамилия очень простая: Стеклов. Судя по вопросам вашим, не видно, чтобы вы этот случай помнили или знали... может быть, того-этого, тут просто совпадение? Всяко, говорю, бывает.

Саша взглянул на Колесникова и ответил со спокойной рассудительностью:

— Не думаю, чтобы совпадение. Да отчего же такому случаю и не быть? Офицера судили?

— Нет.

— Да и не все ли равно, отец это или кто-нибудь другой? Не вам, Василий Васильевич, удивляться таким случаям... да и не мне, пожалуй, хоть я на двадцать лет вас моложе. Вы что-то еще хотели мне рассказать.

Уже обманут был Колесников спокойствием голоса и холодом слов, и что-то воистину злобное уже шевельнулось в его душе, как вдруг заметил, что Саша медленно потирает рукой свою тонкую юношескую шею — тем самым жестом, освобождающим от петли, каким он сам недавно. И потухло злобное, и что-то очень похожее на любовь смутило жестокое сердце, одичавшее в одиночестве, омертвевшее в боли собственных ран: «Бедный ты мой мальчик, да за что же такое наказание! Боже ты мой, Боже ты мой!» Опустил голову, чтобы не видеть руки, медленно потирающей юношескую тонкую шею, и услышал, как в гостиной под неуверенными пальцами тихо запел рояль: что-то нежное, лепечущее, наивное и трогательное, как первый детский сон. Издалека донесся стук посуды: должно быть, в кухне перемывали на ночь после гостей тарелки — шла в доме своя жизнь.

Саша приоткрыл дверь и громко сказал:

— Не надо, мамочка. Потом!

Музыка смолкла.

— Саша, пойди сюда на минутку.

Извинился и вышел. Над постелью, крытой белым тканевым одеялом, поблескивал маленький золоченый образок, был привязан к железному пруту — сразу и не заметишь. В порядке лежали на столе книги в переплетах и тетради; на толстой, по-видимому, давнишней, оправленной в дерево резине было вырезано ножичком: «Александр Погодин, уч...» — дальше состругано. Так хорошо изучил дом Колесников, а теперь, казалось, что в первый раз попал.

— Так вот, Василий Васильевич, — сказал Саша, входя и закрывая дверь, — я хотел вас попросить продолжить наш разговор, что тогда на горе. Горела-то действительно усадьба, вы знаете?

Колесников поднялся и коротко простился с Сашей:

— Прощайте.

— Куда же вы? Вы хотели поговорить.

— А теперь, того-этого, домой захотел.

Саша вспомнил его «дом» — заходил раз: комнатку от сапожника, грязную, тухлую, воняющую кожей, заваленную газетами и старым заношенным платьем, пузырек с засохшими чернилами, комки весенней грязи на полу... Помолчали.

«Солгать бы ему, что фамилию офицера перепутал?.. Да нет, не стоит: от судьбы все равно не уйдешь».

«Пойти проводить его? — Ведь все равно не усну. Да нет, пускай: от судьбы не уйдешь. Но какая страшная будет ночь!»

— Прощайте.

— Прощайте.

### 13. Нельзя ждать

На Фоминой неделе, в воскресенье, в апрельский погожий и теплый, совсем летний день, Колесников и Саша, захватив еды, с утра ушли за город и возвращались только поздней ночью.

Уже стемнело, и шоссе, по которому они быстро шагали, едва светилось. Справа от дороги земля пропадала в неподвижной, теплой мгле, и нельзя было увидеть, что там: лес или поле; и только по душному, открытому, ночному запаху вспаханной земли да по особенной бархатной черноте чувствовалось поле. Но еще чернее, до слепоты, была левая сторона, над которой зеленел запад; и горизонт был так близок,

что, казалось, из самой линии его вырастают телеграфные столбы. Разогревшийся от быстрой ходьбы Саша расстегнул куртку и сорочку и голой грудью ловил нежную и мягкую свежесть чудесной ночи, и ему чудилось, будто свершается один из далеких, забытых, прекрасных снов — так властны были грезы и очарование невидимых полей. А, главное, почему было так хорошо, и ночь, даже не чувствуемая спящими людьми, была единственной и во всем мире, во все года его прекраснейшей — это главное было в Сашиной душе: исчез холодный стыд бесталанности и бесцельного житья, и закрыла свой беззубый зев пустота — Саша уже целых двадцать четыре часа был тем, каким он рожден быть. Легко идетя по земле, когда скоро умрешь за нее.

— Да, родной мой!.. — мягко-певучим голосом говорил Колесников, и только теперь, слушая его, можно было понять того дурака, который когда-то учил его пению.— Да, родной мой, очень виноват я перед вами. Хоть и поверил сразу, с первого же вашего взгляда, а все думаю, надо, того-этого, проверить. Много и жестоко меня били, и нет у меня настоящего доверия к людям, — две ноги ясно вижу, а дальше, того-этого, начинаются сомнения. Может, и сейчас — что вы думаете! — сомневался бы да гадал на гуще, не увидь я тогда при зареве ваши глаза. Хотите узнать человека? Соорудите, того-этого, пожарчик и посмотрите, как отразится огонь в его глазу.

— Обо мне не стоит. Говорите лучше о деле.

— Да как же не стоит? Вы же и есть самое главное. Дело — вздор. Вы же, того-этого, и есть дело. Ведь если из бельэтажа посмотреть, то что я вам предлагаю? Идти в лес, стать, того-этого, разбойником, убивать, жечь, грабить, — от такой, избави Бог, программы за версту сумасшедшим домом несет, ежели не хуже. А разве я сумасшедший или подлец?

Некоторое время шли молча. Заговорил Саша:

— Моя жизнь, Василий Васильевич, никогда не была особенно веселой. Конечно, главная причина — моя бесталанность, без таланта очень трудно быть веселым, но есть и другое что-то, пожалуй, поважнее. И вы подумайте, Василий Васильевич, этого важного я как раз и не помню! Как странно: самого главного, без чего и жизнь непонятна, и вдруг не помнит! Это все равно, что потерять ключ от своего дома. А знаю, что было оно, что это не сон мне представился; нет, скорее вроде того, как крикнуть или выстрелить над сонным человеком: он и выстрела не слышал, а про-



снулся весь в страхе или в слезах. Впрочем... я совсем не умею говорить.

— Говорите, того-этого.

— Может быть, это произошло тогда, когда я был совсем еще ребенком? И правда, когда я подумаю так, то начинает что-то припоминяться, но так смутно, отдаленно, неясно, точно за тысячу лет — так смутно! И насколько я знаю по словам... других людей, в детстве вокруг меня было темно и печально. Отец мой, Василий Васильевич, был очень тяжелый и даже страшный человек.

— Жестокий?

— Да, и жестокий. Но главное, тупой и ужасно тяжелый, и его ни в чем нельзя было убедить, и что бы он ни делал, всегда от этого страдали другие. И если б хоть когда-нибудь раскаивался, а то нет: или других обвинял, или судьбу, а про себя всегда писал, что он неудачник. Я читал его письма к матери... давнишние письма, еще до моего рождения.

Опять некоторое время молча шагали в темноте.

— Когда я так шагаю,— вдруг громко и густо загудел Колесников,— я ясно чувствую, что я мужик и что отец мой мужик. А когда бываю в комнате или, того-этого, еду на пролетке, то боюсь насмешек и все думаю о двери: как бы не забыть, того-этого, где дверь. А когда падаю или локтем ударюсь, то непременно обругаюсь по-матерну, хотя ругательство ненавижу. Уронил я раз Милля, толстенная, того-этого, книжища, и тоже обругался; и так, того-этого, стыдно стало: цивилизованный, думаю, англичанин, а я его такими словами!

Колесников засмеялся и продолжал:

— А раз в опере заснул, ей-Богу, правда! Длинная была какая-то, как поросычья, того-этого, кишка. А раз на выставку меня повели, так я три дня как очумелый деспот ходил: гляжу на небо да все думаю — как бы так его переукрасить, того-этого, не нравится оно мне в таком виде, того-этого!

Колесников остановился и неистово захохотал — точно телега по шоссе загрохотала. Засмеялся, глядя на него, и Саша. Внезапно Колесников стих и совершенно спокойным голосом сказал:

— Идем! Зря я вас своими анекдотами перебил. Говорите, того-этого. Ночь-то какая чудесная!

— Я про отца.

— Про отца так про отца. Я вас, Саша, без отчества буду звать.

— Завтра я, пожалуй, расскаю в том, что говорил се-

годня, но... иногда устаешь молчать и сдерживаться. И ночь, правда, такая чудесная, да и весь день, и вообще я очень рад, что мы не в городе. Прибавим ходу?

— Прибавим.

— Что я люблю и уважаю мать как ни одного в мире человека, это понятно...

— Понятно. Слушай, Саша... погоди, идем тише! Я тоже, брат, никогда этого не повторю. Она меня боится и, того-этого, не любит, а я... ее...

В голосе Колесникова что-то ухнуло — точно с большой высоты оборвался камень и покатился, прыгая по склону. Замолчали. Саша старался шагать осторожно и неслышно, чтобы не мешать; и когда смотрел на свои двигающиеся ноги, ему казалось, что они коротки и обрезаны по щиколотку: въелась в сапоги придорожная известковая пыль и делала невидимыми.

— Нет, того-этого, точка! Не могу сказать. Только вот что, Саша: когда буду я умирать, нет, того-этого, когда уже умру, наклонись ты к моему уху и скажи... Нет, не могу. Точка.

— Я...

— Молчи! — знаю. Молчи.

Снова молча шагали. Казалось, уж не может быть темнее, а погас зеленый запад, — и тьма так сгустилась, словно сейчас только пришла. И легче шагалось: видимо, шли под уклон. Повеяло сыростью.

— Но вот что мне удивительно, — заговорил Саша, — я люблю и отца. И смешно сказать, за что! Вспомню, что он любил щи — их у нас теперь не делают, — и вдруг полюблю и щи, и отца, смешно! И мне неприятно, что мама... ест баклажаны...

— Вздор! Нашел, чем упрекнуть, того-этого! Свинство!

— Конечно, вздор!.. Не стоит говорить. Или вот борода его тоже нравится. Борода у него была совсем мужицкая, четырехугольная, окладистая, русая, и почему-то помню, как он ее расчесывал; и когда вспомню эту бороду, то уж не могу ненавидеть его так, как хотел бы. Смешно!

Оба шли и мечтательно смотрели перед собою; круто поднималось шоссе, и в темноте чудилось, будто оно отвесно, как стена.

— Борода, конечно. У моего батьки борода тоже вроде дремучего леса, а подлец он, того-этого, преестественный. Вздор! Мистика!

— Нет, не мистика! — уже серьезно и даже строго сказал Саша, и почувствовал в темноте Колесников его нахму-

рившееся, вдруг похолодевшее лицо. — Если это мистика, то как же объяснить, что в детстве я был жесток? Этому трудно поверить, и этого не знает никто, даже мама, даже Лина, но я был жесток даже до зверства. Прятался, но не от стыда, а чтобы не помешали, и еще потому, что с глазу на глаз было приятнее, и уж никто не отнимет: он да я!

— Кто он?

— Кто-нибудь, мало ли на свете живого! Хотите, расскажу вам про кота? Был у нас кот — это еще при жизни отца в Петербурге, — и такой несчастный кот: старый, облезлый, его даже котята не уважали и когда играли, то били его по морде. Несчастный кот! И всего несчастнее был он через меня: мучил я его ежедневно, систематически, не давая отдыху ни на минуту — хожу, бывало, и все его ищу. На людях делаю вид, что даже не замечаю, а как одни, или во дворе за сараем поймаю, — был такой глухой угол, и он, дурак, ходил туда спасаться, — так или камнем его, или прижму поленом и начну волоски выдергивать. И вы подумайте, до чего дошел его страх: даже кричать перестал, точно не из живого, а из меха дергаю! И вот раз вечером вошел я в кухню, а там никого, и сидит на полу кот, опустил облезлую морду, дремлет, должно быть, в тепле. Увидел он меня — а я нарочно медленно подхожу и так улыбаюсь, руки расставил — и так испугался, что впал в столбняк: сидит и смотрит, и ни с места. И вдруг пришла мне бессовестная мысль: а что, если я его приласкаю? — что с ним будет? И вместо того чтобы ударить или щипать, сел на корточки, поглаживаю по голове и за ухом и самым сладким голосом: котенька, котик, миленький, красавец! — слов-то он и не понимает.

Саша замолчал, и губы его в темноте передернуло улыбкой.

— Ну? Что же кот?

— Кот? А кот сразу поверил... и раскис. Замурлыкал, как котенок, тычется головой, кружится, как пьяный, вот-вот заплачет или скажет что-нибудь. И с того вечера стал я для него единственной любовью, откровением, радостью, Богом, что ли, уж не знаю, как это на ихнем языке: ходит за мною по пятам, лезет на колена, его уж другие бьют, а он лезет, как слепой; а то ночью заберется на постель и так развязно, к самому лицу — даже неловко ему сказать, что он облезлый и что даже кухарка им гнушается!

— Больше его вы уж не били?

— Разве можно при таком доверии?

— Ну что же кот: подход, того-этого?

— Отец закончил: велел повесить за старость. И, по правде, я даже не особенно огорчился: положение для кота становилось невыносимым: он уже не только меня, а и себя мучил своею бессловесностью; и только оставалось ему, что превратиться в человека. Но только с тех пор перестал я мучить.

— То-то! Понял?

— Понял. Но ведь был же я жесток? Откуда это?

Саша мрачно задумался, и уж не так тепла казалась ночь, и потяжелела дорога, и земля словно отталкивала — недостойн, не люблю, чужой ты мне! И не чувствовал Саша, что Колесников улыбается не свойственной ему улыбкой: мягко, добродушно, по-стариковски.

— Вот так кот, того-этого! Профессор, а не кот.

Но Саша как будто не слышал и тихо промолвил:

— Кто я? Правда, мне девятнадцать лет, и у нас было воспитание такое, и я... до сих пор не знаю женщин, но разве это что-нибудь значит? Иногда я себя чувствую мальчиком, а то вдруг так стар, словно мне сто лет и у меня не черные глаза, а серые. Усталость какая-то... Откуда усталость, когда я еще не работал?

Уже серьезно и даже торжественно Колесников сказал:

— Народ, Саша, работал. Его трудом ты и утомился.

— А тоска, Василий?

— Его тоскою тоскуешь, мальчик! Я уже не говорю про теперешнее, ему еще будет суд! — а сколько позади-то печали, да слез, да муки, того-этого, мученической. Тоска, говоришь? Да увидь я в России воистину веселого человека, я ему в морду, того-этого, харкну. Ну и нечего харкать: нет в России веселого человека, не родился еще, время не довлеет веселости.

— Ах, Василий, Василий, сам ты хороший человек...

— Как же: и умница, и красавец!

— Молчи! Ты ошибаешься во мне: не чист я, как тебе нужно. Ничего я не сделал, правда, а чувствую иногда так, будто волочится за мною грех, хватает за ноги, присасывается к сердцу! Ничего еще не сделал, а совесть мучит.

— И грех не твой, того-этого. И грех позади.

— А если грех позади, то как же я могу быть чист! И не может, Василий, родиться теперь на земле такой человек, который был бы чист. Не может!

— Вздор! Ты чист. Недаром же я тебя как ягненок, того-этого, среди целого стада выбрал. Нет на тебе ни пятнышка. И что иконка у тебя над кроватью — молчи! — и это

хорошо. Сам не верю, а чтоб ты верил, хочу. А что грех на тебе отцов, так искупи! Искупи, Саша!

Они уже давно остановились и стояли посередь дороги, но не замечали этого. Исступленно кричал Колесников:

— Искупи, Саша!

Он широким взмахом обвел рукою тьму:

— Смотри, вот твоя земля, плачет она в темноте. Брось гордых, смирись, как я смирился, Саша, ее горьким хлебом покормись, ее грехом согреши, ее слезами, того-этого, омойся! Что ум! С умом надо ждать, да рассчитывать, да выгадывать, а разве мы можем ждать? Заставь меня ждать, так я завтра же, того-этого, сбешусь и на людей кидаться начну. В палачи пойду!

— Нельзя ждаты! — также крикнул Саша и не заметил, что он кричит.

— Ни минуты, ни секундочки! Пусть они, умные да талантливые, делают по-своему, а мы, бесталанные, двинем по низу, того-этого! Я мужик, а ты мальчишка, ну и ладно, ну и пойдем по-мужичьему да по-ребячьему! Мать ты моя, земля ты моя родная, страдалица моя вековечная — земно кланяюсь тебе, подлец, сын твой — подлец!

И он действительно стал на колени и с силою потянул за собою Сашу, крича, как в бреду:

— Сашка, на колени! Сашка, не гнушайся пылью. Смирись, Сашка,— а то убью!

Но и сила же была у мальчика: оттолкнув Колесникова, он повелительно и страшно крикнул:

— Встань!

— Гнушаешься, генеральский сын?

— Гнушаюсь. Встань!

— Смотри, убью!

Скорей почувствовал, чем увидел Саша, что Колесников полез в карман за револьвером. Зловеще молчала неподвижная тьма — точно ждала огня и выстрела; и призраки страха бесшумно реяли над темными полями. «Первый не буду стрелять», — подумал Саша, вынув браунинг и неслышно спуская предохранитель. Но прошли минута и другая, а выстрела не следовало, и все так же на коленях стоял Колесников. «Да что с ним?» Но вдруг поднялся Колесников и, колыхнув воздух около Саши, быстро и молча двинулся вперед по шоссе. Дав пройти ему шагов десять, двинулся и Саша; и так с версту молча шли они, и перед юношей, все на одном и том же расстоянии, смутно колыхалась высокая молчаливая фигура. Уже засветилось небо над далью шоссе — при-

ближался город, когда Колесников остановился, поджидая товарища, и сказал совершенно спокойно:

— Извини меня, Саша, я и впрямь, того-этого, начинаю на людей кидаться. Находит на меня, что ли... Ты не оби-делся, парень?

— Нет, — сдержанно ответил Саша, — на крик и даже на плохие слова я обидеться не могу. Только заметь, пожалуйста, Василий, что и сам я... с прахом мешаться никогда не буду, да и другим не позволю.

— Как ты повернул, того-этого: с прахом! — невесело улыбнулся Колесников и, вздохнув, добавил: — Но ты прав. Теперь понимаешь, Саша, почему я не мог стать в первую голову, а двигаю тебя?

— Понимаю, пожалуй.

— Зверь я, Саша. Пока с людьми, так, того-этого, со-блюдаю манеры, а попаду в лес, ну и ассимилируюсь, вер-нусь в первобытное состояние. На меня и темнота действует того-этого, очень подозрительно. Да как же и не действо-вать? У нас только в городах по ночам огонь, а по всей Рос-сии темнота, либо спят люди, либо если уж выходят, то не за добром. Когда будет моя воля, все деревни, того-этого, велью осветить электричеством!

Он засмеялся, но невесело.

— Ты мне про кота рассказал, а хочешь, я тебе про не-когого медведя расскажу? Добродетельный был медведь, знал все штуки и под конец, того-этого, проникся альтруиз-мом до высокой степени. Ну и случилось, что на вожака в ле-су волки напали и уж совсем было загрызли, да медведь как двинет, того-этого, всю стаю расшвырял. Расшвырял и да-вай вожаку по своей привычке раны зализывать — все от добродетели, не иначе как-нибудь. Лизнул раз — что за черт, того-этого, сладко! Он другой, да третий, да до самого станowego хребта и долизал! Съел, того-этого.

Рассказывал Колесников весело и даже как будто со смешком, но видно было, что ответа ждет беспокойно и возлагает на него какие-то свои надежды. И облегчен-но вздохнул, когда Саша промолвил со строгим упре-ком:

— Зачем ты чернишь себя, Василий? Эта сказка совсем к тебе не идет. И вообще ты напрасно весь день сегодня бросал слово «разбойник»: мы не в разбойники идем. У раз-бойника личное, а где оно у тебя? Что тебе нужно: богат-ство? — слава? — вино и любовь?

Колесников засмеялся так, будто сама душа его сме-ялась, и долго не мог успокоиться.

— Ну и сказал, того-этого! Вино, карты и любовь — хо-хо-хо!

Но Саша был серьезен и даже не улыкнулся на его неистовую веселость.

— Это вовсе не так смешно, Василий. И не знай я, что ты бескорыстнейший в мире человек и честнейший и самый нежный...

Колесников, вытиравший рукою глаза,— должно быть, от смеха слезились они,— коротко оборвал:

— Буде! Ходу!

Минут пять шли молча.

— Вот еще, Василий, чтобы не было недоразумений: мой отец... все-таки он был человек честный. По-своему, конечно, но очень честный, это я наверное знаю.

— Верю. А я, Саша, себе все-таки такие же сапоги куплю, как у тебя: в калошах по болотам не напрыгаешься. Можно бы, конечно, подешевле, ну да уж кутну напоследок, того-этого!

— Сегодня у нас воскресенье? Ну, так деньги я добуду не позже, как к четвергу. Эта тысяча положена отцом в банк до моего совершеннолетия, и я могу ею распоряжаться, но только трудно будет с векселем; надо узнать, как это делается. Ты знаешь?

— Нет.

— Все равно, деньги эти мне уже не понадобятся, так что можно дать большие проценты...

Было ли это юношеское, мало сознательное отношение к смерти, или то стойкое мужество, которое так отличило Сашу в его последние дни, но о смерти и говорил он и думал спокойно, как о необходимой составной части дела. Но так же, впрочем, относился к смерти и Колесников.

— Дело только за маузерами,— сказал он.— Карты и все, того-этого, сведения у меня есть. Да, Саша, а от винных-то лавок нам придется отказаться: трудно будет народ, того-этого, оторвать от пойла; а ежели жечь, деревню спалишь.

— Жалко! А когда ты меня с Андреем Ивановичем сведешь?

— С матросиком-то? Уж и не знаю, Саша. Берегу я его, как клад, того-этого, драгоценнейший, на улицу не выпускаю. Вот, Саша, чистота! Пожалуй, и тебе не уступит. Я б и тебя тревожить не стал, одним бы матросиком обошелся, да повелевать он, того-этого, не умеет. О, проклятое рабье племя — даже и тут без генеральского сына не обойдешься! Не сердись, Саша, за горькие слова.

Саша, краснея, согласился:

— Что ж, это отчасти правда.

— Проклятое племя! Ну долго ли мой отец был крепостным, а я всю жизнь, того-этого, послушанием страдаю. Ты вон давеча на меня крикнул, а я сейчас же за револьвером — от послушания, того-этого, оттого, что иначе возразить не умею, от стыда! Эх, Саша, много еще ты молиться должен, пока свой грех замолишь.

Молчали; и уже чувствовали, как немеют ноги от дальнего пути. Справа от шоссе то ли сгустилась, то ли посерела тьма, обрисовав кучу домишек; и в одном окне блестел яркий и острый, как гвоздь, огонь — один на всю необъятную темноту ночи. Колесников остановился и схватил Сашу за руку:

— Смотри, Саша! Ну не сразу ли видно, что рабий огонь. Воззрися в темноту, а сам, того-этого, дрожит и мигает, как подлец. Нет, будь ему пусто, пойду напугаю его. Много, думаешь, ему нужно? Попрошу воды, а он уж и готов...

Но Саша, смеясь, удержал его. Начинала томить усталость. Сели на краю канавки, лицом к далекому огоньку, уже расплывшемуся в желтизне окна; Саша закурил.

— Последняя,— сказал он про папиросу,— всю дорогу берег.

Остальной путь шли молча: устала душа от пережитого, и хотелось думать в одиночку. Только уже у шлагбаума Колесников поставил точку над своими размышлениями и грустно сказал:

— Да, того-этого, никакой дурак в трубе углем не пишет, а мелом. Так-то, Саша, мел ты мой белейший.

— Завтра придешь?

— Нет. Больше к вам я не приду.

Он сказал «к вам», а не «к тебе», и Саша понял это и одобрил. И вдруг, при мысли о матери, которой он с утра не видал и которая ждет его, сердце его сжалось невыносимой, почти физической болью: даже захватило дыханье. И на мгновенье все это показалось страшным сном: и ночь, и Колесников, и те чувства, что только что до краев наполняли его и теперь взметнулись дико, как стая потревоженного воронья. И особенно похоже было на сон полосатое бревно шлагбаума, скупое озаренное притушенным фонарем: что-то невыносимо ужасное, говорящее о смерти, о холоде, о беспощадности судьбы, заключали в себе смутные полосы черной и белой краски. Но это было только мгновение.

И по улице шли молча, торопясь дойти до перекрестка, где разветвлялись пути. Звякнула за углом в переулке под-



кова и вынырнули возле фонаря два стражника на тяжелых, ленивых лошадях. Хотели повернуть направо, но, увидев на пустынной улице двух прохожих, повернули молча в их сторону. Колесников засмеялся:

— Вот вздумают они нас, того-этого, обыскать, тут нашему громкому делу и конец. Смотри, как целятся.

Но, должно быть, этот смех успокоил стражников; все же один, подав коня к тротуару, наклонился и заглянул в лица, увидел блестящие пуговицы Сашиного гимназического пальто и, либо спросонок, либо по незнакомству с мундирами, принял его за офицера: выпрямился и крикнул сипловатым басом:

— Здравия желаю, ваше благородие!

Саша коротко и сухо бросил:

— Здорово!

#### 14. Господа гимназисты

Дома Сашу встретило нечто неожиданное: со двора он поразился тем, что окна в столовой, несмотря на позднюю ночь, ярко освещены, и уже с предчувствием чего-то недоброго ускорил шаг. А на пороге с ним почти столкнулась, видимо, поджидавшая его Линочка и торопливо сказала:

— Сашечка, родной мой, не волнуйся, случилось несчастье.

— Мама?..

— Ну что ты! Да нет же, Тимохин. Сегодня утром, то есть, должно быть, ночью, повесился Тимохин. Иди скорее, у нас Добровольский, Штемберг и другие, ждут тебя.

И вдруг охватила его шею руками, спряталась ему на грудь и заплакала: разрешалось отчаянными слезами какое-то волнение, более глубокое, чем могла вызвать смерть малознакомого Тимохина.

— Да родной же мой Сашечка!.. — всхлипывала она и судорожно цеплялась за шею и за руки, точно боялась, что он снова уйдет. — Мы так ждали тебя, отчего ты не приходил! Родной мой Сашечка...

— Ну что ты, Лина! — спокойно сказала подошедшая Елена Петровна и начала отцеплять от Сашиных пуговиц запутавшиеся в них русые волоски. — Успокойся, девочка. Там тебя ждут, Саша, иди.

И вдруг — и Саша даже не знал до сих пор, что это может быть у людей! — Елена Петровна раза три громко и четко лягнула зубами. «Как собака, которая ловит блох», —

дико подумал Саша, холодея от страха и чувствуя, как на губах его выдавливается такая же дикая, ни с чем не сопоставимая улыбка.

Тяжелая была ночь! До утра бледные гимназисты сидели у Погодиных и растерянно, новыми глазами, точно со страхом рассматривали друг друга и два раза пили чай; а утром вместе с Погодиными отправились в богоугодное заведение, куда отвезен был Тимохин, на первую панихиду.

Вздутое лицо покойника было закрыто кисеей, и только желтели две руки, уже заботливо сложенные кем-то наподобие крестного знамения — мать и отец Тимохина жили в уезде, и родных в городе у него не было. От усталости и бессонной ночи у Саши кружилась голова, и минутами все заплывало туманом, но мысли и чувства были ярки до болезненности.

Перед глазами двигалась черная с серебром треугольная спина священника, и было почему-то приятно, что она такая необыкновенная, и на мгновение открывался ясный смысл в том, что всегда было непонятно: в синих полосках ладана, в странности одежды, даже в том, что какой-то совсем незначительный человек с козлиной реденькой бородкой шепчет: «Раздавайте!», а сам, все так же на ходу, уверенно и громко отвечает священнику:

— Господу помолимся! Господу помолимся!

Саша думает, покорно принимая свечу: «Только сейчас он сидел дома и пил чай с женой, и борода у него козлиная, а теперь он необыкновенный, имеет власть и знание, и это понимает священник и ждет ответа — какая это правда!»

И все правда, и все делается именно так, как нужно. Открыто окно в маленький заведенский садик, где гуляют больные, и пахнет из окна тополем и распускающейся березкой — так и нужно, чтобы было открыто и чтобы пахло. И чтобы весна была, апрель, тоже нужно. Увидел в синем дыму лицо молящейся матери и сперва удивился: «Как она сюда попала?», — забыл, что всю дорогу шел с нею рядом, но сейчас же понял, что и это нужно, долго рассматривал ее строгое, как бы углубленное лицо и также одобрил: «Хорошая мама: скоро она так же будет молиться надо мною!» Потом все так же покорно Саша перевел глаза на то, что всего более занимало его и все более открывало тайн: на две желтые, мертвые, кем-то заботливо сложенные руки. И уверенно подумал, что и он так же будет лежать и так же будут сложены руки, и от тихой жалости к себе защипали в носу слезы: так нужно.

Что-то сдвинулось в мозгу: на несколько минут словно

затмилось сознание, и это уже не Тимохин лежит и не над ним служат, а лежит он, Саша, и эти руки его; так очевидно и так страшно было замещение одного другим, что Саша зашевелил пальцами и подумал, холодея: «Скорее, скорее надо убедиться, что это мои руки и шевелятся». И так же внезапно успокоился и задумался о Тимохине и в одно мгновение необыкновенно быстрыми мыслями понял всю его жизнь.

Какое-то волнение пробежало среди молящихся; послышался сдержанный шепот:

— Сумасшедший! Прогоните сумасшедшего!

Как и все, кто еще не видел, Саша быстро повернулся к раскрытому окну и вздрогнул: повисши руками на подоконнике, в часовенку заглядывал один из гулявших в садике сумасшедших, стриженный, темный, без шапки, — темная и жуткая голова. Он торопливо улыбался, стараясь поскорее выразить какое-то свое отношение, а глаза с сверкающим белком бегали по лицам и горели ненасытимым отчаянным любопытством. Часто крестясь, поспешно прошел Добровольский, и через минуту голова скрылась, а через несколько минут кончилась и панихида.

Но нерешительно медлил священник, то ли собираясь разоблачаться, то ли сделать что другое; по-видимому, ему хотелось сказать гимназистам слово, но не знал, насколько это будет прилично. Наконец обернулся и все так же нерешительно обвел присутствующих старческими, заплаканными, очень простыми, добрыми стариковскими глазами. Саша, привыкший видеть только своего гимназического о. Алексея и как-то забывший о существовании других священников, удивился, что это не о. Алексей, и с дружелюбным недоумением разглядывал незнакомое, растроганное, бледное стариковской бледностью лицо и красные от слез веки. И вдруг смутился, почувствовав в глазах старика не только страдание, но и робость, даже испуг. Были смущены и другие.

«Да скоро ли он?» — думал Погодин, мучась. Слегка расставив ноги в мягких, без каблуков, сапогах, — точно не смел стать спокойнее и тверже, — священник нерешительно касался рукою наперсного креста; вдруг заморгал часто выцветшими глазами и сказал добрым, дрожащим от доброты и желания убедить голосом:

— Господа гимназисты! Как же это можно? А как же родители-то ваши, господа гимназисты? Как же это так, да разве это можно? Ах, господа гимназисты, господа гимназисты!

Он еще что-то хотел прибавить, но не нашел слова, которое можно было бы добавить к тому огромному, что сказал, и только доверчиво и ласково улыбнулся. Некоторые также улыбнулись ему в ответ; и, выходя, ласково кланялись ему, вдруг сделав из поклона приятное для всех и обязательное правило. И он кланялся каждому в отдельности и каждого провожал добрыми, внимательными, заплаканными глазами; и стоял все в той же нерешительной позе и рукою часто касался наперсного креста.

А через несколько минут уже шли по садику, пугливо сторонясь гуляющих сумасшедших, и Тимохин со своим вздутым лицом и желтыми руками остался один. Дорогой Штемберг сердито говорил Саше:

— Этот Добровольский! Отдал его записку в младшие классы, чтобы списывали. Он мог сам сделать копию и вообще не имел на это права, так как записка принадлежит всему нашему классу. И что там списывать — так можно запомнить, если не дурак. Такое свинство!

Саша вспомнил эту коротенькую предсмертную записку: «Бороться против зла нет сил, а подлецом жить не хочу. Прощайте, милорды, приходите на панихиду». Было что-то тимохинское, слегка шутовское в этой ненужной добавке: «приходите на панихиду», и нужно было вспомнить кисею, желтые мертвые руки, заплаканного священника, чтобы поверить в ужас происшедшего и снова понять.

Домой пошел только Штемберг, а остальные отправились на обычное место, на Банную гору, и долго сидели там, утомленные бессонной ночью, зевающие, с серыми, внезапно похудевшими лицами. Черный буксирный пароходик волок пустую, высоко поднявшуюся над водой баржу, и, казалось, никогда не дойти ему до заворота: как ни взглянешь, а он все на месте.

— Славный поп! — сказал кто-то из гимназистов и тихо улыбнулся.

Ему не ответили, но та же тихая и ласковая улыбка пробежала и по всем молодым, утомленным лицам.

## 15. На распутье

К четвергу Саша действительно достал деньги: пятьсот рублей за тысячу, а на воскресенье ночью был назначен уход — приходился день на второе мая.

— А не лучше ли днем уйти? — усомнился Колесников. — Ночью, того-этого, еще хватятся.

— Нет. Если я уйду днем, мать узнает ночью... пусть

лучше утром узнает, тогда народ. Я в окно уйду, никто не услышит.

— Сестре письмо оставь.

Саша промолчал и с неудовольствием подумал: «Какой нетактичный, не понимает, что об этом не надо говорить и что я сам все знаю». Вообще, в эти последние дни, проведенные дома, он был крайне холоден с Колесниковым и ни разу прямо не взглянул на него, как-то слишком даже гордо обособился в своем горе и думах. И Колесников, не находивший себе места от бурного волнения и безысходных мыслей об Елене Петровне, уже со злобой поглядывал на его спокойно-замкнутое лицо и белые, спокойно положенные на колени руки: «Какой же ты, братец, гордый, недаром генеральский сынок!» Но прямо высказаться не смел и даже, наоборот, относился с особой предупредительностью и, чувствуя ее, еще больше возмущался Сашей и собой.

Что-то путаное появилось в его мыслях, поступках и даже желаниях, и насколько тверды были последние Сашины шаги, настолько у него все колебалось и прыгало лихорадочно. То без толку хохотал и сыпал «того-этого», то мрачно супился и свирепо косил своим круглым, лошадиным глазом; по несколько раз в день посылал Саше записки и вызывал его за каким-нибудь вздорным делом, и уже не только Елене Петровне, а и прислуге становились подозрительны его посланцы — оборванные городские мальчишки, вороватые и юркие, как мышата. Раз, блаженно улыбаясь, пошел к Саше в новых сапогах, чтобы показаться, но на полдороге плюнул и повернул назад: «Еще подумает, обрадовался деньгам,— о, чтоб черт всех вас побрал!» Перестал спать по ночам. А когда пробовал задуматься о дальнейшем или твердо установить смысл ухода, то оказывалось, что все прежние мысли забыты, остались какие-то кончики, обглоданные селедочные хвостики; и начиналась такая дикая неразбериха, что хоть в сумасшедший дом. Службу бросил и, рискуя подвести глубоко запрятанного Андрея Ивановича, матросика, почти каждый день шатался к нему.

— Беспокоит меня Погодин,— говорил он солидно,— не знаю, как и быть, того-этого.

— Что, боится?

— Ну вот, боится!.. Конечно нет. Не нашего он поля ягода, того-этого, вот что.

Андрей Иванович молчал и ждал. Был он среднего роста крепкий человек, одетый в хорошую пиджачную пару, до чрезвычайности по виду спокойный и сдержанный. И молодое лицо его с черными усиками — подбородок он брил —

было спокойное, и красивые глаза смотрели спокойно, почти не мигая, и походка у него была легкая, какая-то незаметная: точно и не идет, а всех обгоняет; и только всмотревшись пристально, можно было оценить точность, силу, быстроту и своеобразную ритмичность всех его плавных движений, на вид спокойных и чуть ли не ленивых. И стоял он так легко, будто не касался земли.

— Совсем вы интеллигент, Андрей Иванович! — мрачно сказал Колесников, с ненавистью оглядывая чистенькую, почти как у Саши, в порядке содержимую комнату.

Андрей Иванович улыбнулся, но ничего не ответил. И ждал более ясного. На рваных, подмоченных обоях стены висела чистенькая балалайка с раскрашенной декой: наляпал художник, свой брат матрос, зеленеющих листьев, посадил голубя или какую-то другую птицу и завершил плоской, точно раздавленной розой; покосился Колесников и спросил:

— Неужто и эту возьмете?

— Возьму-с.

— Оставьте, Андрей Иванович.

— Почему же, Василий Васильевич? Пронес, можно выразиться, сквозь огонь и медные трубы, а теперь чего же оставлять! Она же и не обидна, — спокойно ответил Андрей Иванович.

— Ну так сыграйте, того-этого.

— Что прикажете?

Колесников рассердился.

— Прикажете, того-этого, прикажете! И отчего у вас, Андрей Иванович, своих желаний нет, а все «прикажете»? Надо же и достоинство иметь.

— Я достоинство имею, и желания у меня есть, Василий Васильевич.

— Вот вы молчите всегда, тоже, того-этого, нехорошо. Человек, который себя уважает, любит обмениваться мыслями, а не молчит.

Андрей Иванович улыбнулся:

— Кому мои мысли интересны, тот и без слов их знает. Что прикажете сыграть, Василий Васильевич?

Но Колесников уже не хотел музыки: мутилась душа, и страшно было, что расплачется — от любви, от остро болючей жалости к Саше, к матросику с его балалайкой, ко всем живущим. Прощался и уходил — смутный, тревожный, мучительно ищущий путей, как сама народная совесть, страшная в вековечном плену своем.

## 16. Душа моя мрачна

Темнел впереди назначенный для ухода день и, вырстая, приближался с такой быстротой, словно оба шли друг к другу: и человек, и время, — решалась задача о пущенных навстречу поездах. Минутами Саше казалось, что не успеет надеть фуражки — так бежит время; и те же минуты тянулись бесконечно, растягиваясь страданиями и жутким беспокойством за Елену Петровну.

И одной из самых мучительных мыслей была та: как держать себя с матерью в последние дни. Чаще уходить из дому, чтобы привыкла к отсутствию? Да разве она привыкнет! Быть холоднее и суше, чтобы не так жалела, когда уйдет? Да разве она поверит! А если и поверит, то зачем же эта ненужная, оскорбительная боль, рожденная недоверием и к любви, и к силе: в ней есть неуважение и обида. А если быть таким, как хочется, и все сердце открыть для любви и нежности сыновней, — то как же она будет потом, когда он уйдет навсегда? Мать, мать! Одна ты и здесь можешь научить меня, когда о твоей душе состязаются жизнь и смерть. Мать, мать! На крови твоего сына созидается храм будущего — раскрой же мне сердце твоей чудесной властью и благослови на смерть. Мать, мать!

И ответила мать: «Ты же радовал меня, сын? Порадуй и теперь. А когда пойдешь на муку, пойду и я с тобою; и не смеешь ты крупинки горя отнять от меня — в ней твое прощение, в ней жизнь твоя и моя. Разве ты не знаешь: кого любит мать, того любит и Бог! Радуй же, пока не настала мука».

Так и было. Последние дни Саша провел так:

В четверг только на час уходил к Колесникову и передал ему деньги. Остальное время был дома возле матери; вечером в сумерки с ней и Линочкой ходил гулять за город. Ночью просматривал и жег письма; хотел сжечь свой ребяческий старый дневник, но подумал и оставил матери. Собирал вещи, выбрал одну книгу для чтения; сомневался относительно образка, но порешил захватить с собою — для матери.

В пятницу с утра был возле матери. Странно было то, что Елена Петровна, словно безумная или околдованная, ничего не подозревала и радовалась любви сына с такой полнотой и безмятежностью, как будто и всю жизнь он ни на шаг не отходил от нее. И даже то бросавшееся в глаза явление, что Линочка сидит в своей комнате и готовится к экзамену, а Саша ничего не делает, не остановило ее внимания. Уж

даже и Линочка начала что-то подозревать и раза два ловила Сашу с тревожным вопросом:

— Да когда же ты сядешь готовиться, Саша? В понедельник у тебя экзамен.

— Отстань. В понедельник русский язык.

— Ой, смотри, Сашка! Ой, провалишься в тартарары!

Так было до вечера. Вечером Линочка ушла к Жене Эгмонт вместе заниматься, а Саша читал матери любимого обоими Байрона; и было уже не меньше десяти часов, когда Саше прислуга подала записку от Колесникова: «Выйди сейчас же, очень важно».

— Опять мальчишка принес,— сказала горничная.— Просит ответ.

— Передайте, что сейчас.

Елена Петровна вдруг побледнела и встала:

— Кто это? Колесников?

Саша утвердительно кивнул головой.

— Почему он не идет сюда? Почему он шлет какие-то записочки?.. Саша! Ты идешь к нему?

— На час. Он какой-то странный эти дни,— хмуро ответил Саша.

— Скажи прямо: за ним следят?

Саша кивнул головой и сказал:

— Я приду через час. Не закрывай книгу, мамочка. И не бойся: я вернусь... через час.

Даже в темноте видно было, как взволнован Колесников — весь, всем своим большим телом. Дышал он хрипло и с жадностью схватил Сашину руку. Бормотал неразборчиво:

— Я рад. Погоди, сейчас, сейчас все скажу. Пойдем.

Полпереулка молча тащил его — и, вдруг остановившись, положил обе руки на Сашины плечи и с силою, очевидно, не сознавая, что делает, начал трясти его:

— Саша! Останься. Я тебе говорю. Все вздор! Ничего нет. Я обманул тебя, Саша! Меня следует убить. У-у-у, собака!

Саша освободил плечи — руки Колесникова отвалились с странною легкостью — и решительно сказал:

— Говори толком. У тебя бред!

От Сашиной строгости он точно совсем размяк. Вдруг скрипнул зубами, вспыхнул и припал к юноше, бормоча:

— Саша, это во сне пришло. Все мы спим, Саша. Боже ты мой, какое наказание. Сашечка, ты мне... как сын.

Он снова всхлипнул:

— У меня никого нет. Проснись, Саша! Проснись!



— Тише!.. Ты с ума сошел. Идем. Ну, ну, шагай...

— Саша...

— Шагай, тебе говорю!

Оба быстро зашагали, и с каждым шагом Колесников, видимо, успокаивался. Саша с ненавистью взглянул на его сгорбившуюся, сутулую фигуру и сухо начал отчитывать:

— Вы, Василий Васильевич...— поправился и продолжал,— ты, Василий, очевидно, не совсем ясно отдаешь себе отчет в происходящем. В воскресенье, как сказано, я ухожу. Слышишь?

«Не любит»,— покорно подумал Колесников и сгорбился еще больше.

— Ты, очевидно, думаешь, что я иду потому, что ты меня позвал. Так знай, что с тобой я бы не пошел и зовешь меня не ты,— у тебя и голоса такого нет,— а... народ, или ты это забыл? И если это сон, как ты говоришь, то не ты его наваял, а... народ. Я не буду становиться на колени, как ты...— Голос юноши звучал сухо и даже злобно:

— Но я отдам ему все, что имею: чистоту. С гордостью скажу тебе, Василий, что я чист — тогда я вздор говорил о каком-то грехе. Если и есть грех, то не мой, и с тем иду, чтобы его сложить. Что будет, я не знаю. Но я люблю тех, к кому иду, и верю... в правду. И если даже только то удастся мне сделать, чтобы честно умереть, то и тогда я буду счастлив. Не может быть, чтобы бесплодно осталась моя крестная смерть! Не может быть, клянусь тебе, Василий, всею правдой, какая есть на земле. Ах, Василий, Василий!..

Исчезли в голосе сухость и злость; мягко, почти молитвенно звучали слова:

— Только сейчас, сию минуту, я смотрел на чистое лицо моей матери, и совесть моя была спокойна. А кто с чистой совестью смотрит в лицо матери, тот не может совершить греха, хотя бы не только все люди, Василий, а сам Бог осудил его!

Долго шли молча. Колесников сказал:

— Значит, в воскресенье, того-этого.

— Да, как сказано.

Внезапно Колесников рассмеялся, правда, надтреснутым смехом, но весело и добродушно: даже детское что-то откликнулось в ночном неурочном смехе:

— Что ты?.. Какой ты... несуразный человек, Василий.

— А может, и я, того-этого, за тобой пройду? Бочком, того-этого? А?

— Куда?

— Да в правду? Ну ладно, не гневайся... генерал. Тó

подумай, что я сегодня, чего доброго, спать буду. Уж мой сапожник беспокоиться начал: уж вы, Василий Васильевич, не лунатик ли, того-этого? Ну и дурак, говорю; какой же лунатик без луны — солнцевик я, брат, солнцевик, это похуже. Прощай, Саша, до воскресенья не услышишь.

Уже один Саша вернулся домой, Колесников и провожать не пошел. Да Саша и рад был, что остался один — приятно шлось по темным, тихим улицам, где знаком был каждый забор и во мраке угадывались неровности и особенности пути. От нависших над тротуаром, облиствевших деревьев шел запах, такой ясный, многозначительный, зовущий, как будто он и есть весенняя жизнь; немой и неподвижный, он владел городом, полем, всею ширью и далью земли и всему давал свое новое весеннее имя. «Опоздаю на полчаса, надо же одуматься», — решил Саша, сворачивая в глухой переулок, в котором сама темнота и глушь казались запахом и весною.

Но не по совести решил Саша: не думать ему хотелось, а в одиночестве и тьме отдать душу тому тайному, о чем дома и стены могут догадаться. Эта потребность уйти из дому и блуждать по улицам являлась всякий раз, как сестра уходила к Жене Эгмонт — и так радостно и спокойно и волнующе чувствовалось отсутствие сестры, словно в ее лице сам Саша таинственно соприкасался с любовью своею. И как поздно Линочка ни возвращалась, Саша не ложился спать и ждал ее; а услышит звонок — непременно выглянет на минутку, но не спросит о Жене Эгмонт, а сделает такой хмурый и неприветливый вид, что у сестры пропадет всякое желание говорить, — и уйдет в свою комнату, радостный и горький, богатый и нищий.

И теперь, кружась по улочкам, Саша странным образом думал не о той, которую дышала ночь и весна, а о сестре: представлял, как сестра сидит там, догадывался о ее словах, обращенных к той, переживал ее взгляд, обращенный на ту, видел их руки на одной тетради; и мгновениями с волнующей остротой, задерживая дыхание, чувствовал всю ту не постижимую близость незаметных, деловых, рабочих прикосновений, которых не замечали и не ценили, и не понимали обе девушки. И если бы не человек, а Бог, которому нельзя солгать, спросил юношу, о чем он думает, он чистосердечно и уверенно ответил бы: думаю о Линочке — она очень милая, и я ее люблю, — и о Колесникове: он очень тяжелый, и я его не люблю. Ибо как черная мозаика в белый мрамор, так и во все думы и чувства Саши въедалось воспоминание о разговоре и связанные с ним образы; и как не знал Саша,

кому принадлежат его мысли, так не понимал и того, что именно черный Колесников принес ему в этот раз спокойствие и своей тревогой погасил его тревогу. Что-то очень важное, все объясняющее, сказано, и не только сказано, а и решено, и не только решено, а и сделано,— одно это твердо знал и чувствовал успокоившийся юноша.

Мать даже не упрекнула за опоздание — а опоздал он на целый час; и опять было хорошо, и опять читали, и яркие страницы книги слепили глаза после темноты, а буквы казались необыкновенно черны, четки и красивы.

...Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!  
Вот арфа золотая.  
Пускай персты твои, промчавшись по ней,  
Пробудят в струнах звуки рая.  
И если не навек надежды рок унес —  
Они в груди моей проснутся,  
И если есть в очах застывших капля слез —  
Они растают и прольются...

— Как ты хорошо читаешь, Сашенька! Если ты не устал...

— Нет, мамочка, не устал.

— Прочти мне «У вод вавилонских». Когда я слышу эту песнь, мне кажется, Сашенька, что все мы — бедные евреи, томимые печалью... Ты без книги?

— Я знаю так.

Саша читает, закрыв глаза, и гудят, как струны певучие, строфы:

...Повесили арфы свои мы на ивы,  
Свободное нам завещал песнопенье  
Солим, как его совершилось паденье;  
Так пусть же те арфы висят молчаливы:  
Вовек не сольете со звуками их,  
Гонители наши, вы песен своих!..

Около часу пришла Линочка; и, хотя сразу с ужасом заговорила о трудностях экзамена, но пахло от нее весною, и в глазах ее была Женя Эгмонт, глядела оттуда на Сашу. «И зачем она притворяется и ни слова не говорит о Эгмонт!.. Меня бережет?» — хмурился Саша, хотя Линочка и не думала притворяться и совершенно забыла и о самой Жене, и о той чудесной близости, которая только что соединяла их. Впрочем, вспомнила:

— А меня Женя провожала, до самой калитки довела. Велела тебе, мамочка, ландышки отдать, а я и забыла. Сейчас отколю.

«Так вот где она сейчас была!» — колыхнулся Саша.

— С кем же она пошла? — равнодушно спросила Елена Петровна, равнодушно нюхая ландыши.

— Нас ее брат провожал, двоюродный, из Петербурга, он у них гостит, гвардеец, с усами. Да, родная моя мамочка! — он прямо в ужасе: как вы здесь живете? Но до того вежлив, что мне, ей-Богу, за нашу улицу стыдно стало — хоть бы разъединный поганый фонаришко поставили!

Прощаясь и целуя Сашу, Линочка сонно шепнула что-то, и показалось ему, что это о Жене Эгмонт. Сурово переспросил:

— Что ты там шепчешь?

— Тише, Сашка! Я говорю, какая наша мама красавица! Такая молодая, и глаза у нее... ах, да родной же мой Сашечка, посмотри сам глазками, я спать хочу. У-ух, глазыньки мои... геометрические.

Несмотря на вежливого гвардейца, эту ночь Саша спал спокойно и крепко.

В субботу утром под весенним и радостным дождем ходил в аптекарский магазин Малчевского — купить иодоформу, бинтов и других перевязочных средств: знал Саша, что Колесников об этом не позаботится. Вечером гимназисты назначили маевку, но Саша от участия отказался под тем предлогом, — для матери, — что не хочет видеть пьяных. Но так как после дождя погода стала еще лучше, вдвоем с Еленой Петровной гулял по берегу реки до самой ночной черноты; и опять ни о чем не догадывалась и ничего не подозревала мать. Линочка была у Жени Эгмонт и по-вчерашнему вернулась около часу, но не смеялась, а была рассеяна, задумчива, как будто чем-то расстроена. Вздыхала.

— Ты веришь в предчувствия, мама? — спросила наконец Линочка, закинув голову и вздыхая.

— Да что с тобою, Линочка?.. Какие еще предчувствия? Ну, конечно, наверно, о Тимохине опять говорили; этот несчастный Тимохин скоро всех вас с ума сведет. Говорили?

— Говорили. Но какая глупая Женя Эгмонт, я никогда от нее этого не ожидала! Впрочем, мы обе с ней плакали.

— Еще о чем?

— Ах, мама: раз плакали, значит, нужно.

Закинула голову вверх и, не мигая, смотрела на светлый круг от лампы; и влажно блестели глаза. Елена Петровна знала, что теперь от нее ничего не добьешься, и коротко сказала:

— Иди-ка ты спать лучше.

— Пусть Саша меня проводит.

Мать улыбнулась:

— Проводи ее, Сашенька.

Все так же не глядя, Линочка подставила матери щеку и устало поплыла к двери, поддерживаемая улыбающимся Сашей; но только что закрылась дверь — схватила Сашу за руку и гневно зашептала:

— Сашка! Если ты... если ты, Сашка, то ты будешь такой!.. Вот письмо, да бери же!

— Какое письмо?

— От Жени.

— Это еще зачем?

— Если ты не возьмешь, Сашка, то клянусь Божьей Матерью... Ты такой дурак, Саша, что мне даже стыдно, что ты мой брат. Ах, родной мой Сашечка, если бы ты тоже мог поклясться...

— Давай письмо.

— И ответ?.. Скорее, а то мама.

— И ответ. Завтра вечером.

Линочка быстро и крепко поцеловала брата и поплыла, как актриса, по коридорчику.

В эту первомайскую ночь Саша не ложился до рассвета. Полночи, последней, которую он проводил дома, он решал: вскрывать ему письмо или нет — и не вскрыл; полночи он писал бесконечный ответ на письмо, которого не прочел, и кончил записочкой в два слова: «Не нужно. А. П.». И так и не заметил этой ночи, последней в этой жизни, не простился с нею, не обласкал глазами, не оплакал — вся она прошла в биении переполненного сердца, взрывах ненужных слов, разрывавших голову, в чуждой этому дому любви к чуждому и далекому человеку. И о матери ни разу не подумал, а что-то собирался думать о ней — изменил матери Саша; о Линочке не подумал и не дал ни любви, ни внимания своей чистой постели, знавшей очертания еще детского его, тепленького тела — для любви к чужой девушке изменил и дому и сестре. Только ужасной мечте своей не изменил Саша. Хоть бы на краешек, на одну линию поднялась завеса будущего — и в изумлении, подобном окаменению страха, увидел бы юноша обреченный, что смерть не есть еще самое страшное из всего страшного, приуроченного человеку.

Но не поднялась завеса, и вовеки темным стояло будущее, таинственно зачинаясь от последнего сказанного слова.

В воскресенье...

А в воскресенье происходило следующее. Шел уже третий час ночи; накрапывал дождь. В глухом малоезжем переулке с двумя колеями вместо дороги стояла запряженная телега, и двое ожидали Сашу: один, Колесников, беспокойно

топтался около забора, другой, еле видимый в темноте, сидел согнувшись на облучке и, казалось, дремал. Но вдруг также забеспокоился и певучим, молодым душевным тенорком спросил:

— Да то ли место, Василь Василич? Не прогадать бы.

— Да то самое, Петруша. Молчи, того-этого.

— Можно.

— Что можно?

— Помолчать можно. А вы бы часы поглядели, Василь Василич.

— Глядел уж. Сиди!

Место действительно было то самое, что условлено: та часть низенького, светившегося щелями забора, откуда в давние времена Саша смотрел на дорогу и ловил неведомого, который проезжает. Уже серьезно забеспокоился Колесников, когда зашуршало за оградой и, царапнув сапогами мокрые доски, на верхушку взвалился Саша.

— Держи! — шепнул он сдавленно, протягивая маленький чемоданчик и нащупывая в темноте поднятые руки Колесникова.

— Заждались! — сказал Колесников, принимая.

Саша не ответил и легко прыгнул, слегка задев его плечом.

— Здравствуй, Саша.

— Здравствуй. А это кто? — Андрей Иваныч?

— Как можно! Андрея Иваныча я вчера отправил. Это Петруша. Петруша, это ты?

Петруша засмеялся:

— Я!

— Все готово?

Когда расселись на телеге, Саша, касавшийся плеча Петруши, но все же не могший его рассмотреть, сказал:

— Ну здравствуйте, Петруша.

Колесников поправил:

— Не говори ему «вы», он не любит. Петруша! Вот тебе и атаман, того-этого. Знакомься.

— Очень рады. А как вас звать?

Саша покраснел и твердо ответил:

— Сашка Жегулев.

Петруша дернул вожжами: но, караковая! — и, подумав, сказал:

— Значит, Александр Иваныч. Ну здравствуйте, Александр Иванович!

## ЧАСТЬ II

САШКА ЖЕГУЛЕВ

### 1. Сеятель щедрый

Грозное было время.

Еще реки не вошли в берега, и полноводными, как озера, стояли пустынные болота и вязкие топи; еще не обсохли поля, и в лесных оврагах дотаивал закрупевший, прокаленный ночными морозами снег; еще не завершила круга своего весна — а уж вышел на волю огонь, полоненный зимою, и бросил в небо светочи ночных пожаров. Кто-то невидимый вызвал его раньше времени; кто-то невидимый бродил в потемках по русской земле и полной горстью, как сеятель щедрый, сеял тревогу, воскрешал мертвые надежды, тихим шепотом отворял замороженную кровь. Будто не через слово человеческое, как всегда, а иными, таинственнейшими путями двигались по народу вести и зловещие слухи, и стерлась грань между сущим и только что наступающим: еще не умер человек, а уже знали о его смерти и поминали за упокой. Еще только загоралась барская усадьба и еще зарева не приняло спокойное небо ночи, а уже за тридцать верст проснулась деревня и готовит телеги, торопливо грохочет за барским добром. Жестоким провидцем, могучим волхвом стал кто-то невидимый, облаченный во множественность: куда протянет палец, там и горит, куда метнет глазами, там и убивают — трещат выстрелы, льется отворенная кровь; или в безмолвии скользит нож по горлу, нащупывает жизнь.

Кто-то невидимый в потемках бродит по русской земле, и гордое слово бессильно гонится за ним, не может поймать, не может уличить. Кто он и чего он хочет? Чего он ищет? Дух ли это народный, разбуженный среди ночи и горько мстящий за украденное солнце? Дух ли это Божий, разгневанный беззаконием закон хранящих и в широком размахе десницы своей карающий невинных вместе с виновными? Чего он хочет? Чего он ищет?

Мертво грохочут в городе типографские машины и мертвый чеканят текст: о вчерашних по всей России убийствах, о вчерашних пожарах, о вчерашнем горе; и мечется испуганно городская, уже утомленная мысль, тщетно вперяя взоры за пределы светлых городских границ. Там темно. Там кто-то невидимый бродит в темноте. Там кто-то забытый воет звериным воем от непомерной обиды, и кружится в темноте, как слепой, и хоронится в лесах — только в за-

реве беспощадных пожаров являя свой искаженный лик. Перекликаются в испуге:

— Кто-то забыт. Все ли здесь?

— Все.

— Кто-то забыт. Кто-то бродит в темноте?

— Не знаю.

— Кто-то огромный бродит в темноте. Кто-то забыт.

Кто забыт?

— Не знаю.

Грозное и таинственное время.

## 2. Накануне

Вечерело в лесу.

К Погодину подошел Еремей Гнедых, мужик высокий и худой, туго подпоясанный поверх широкого армяка, насупил брови над провалившимися глазами и сурово доложил:

— Александр Иваныч! Построечку-то надо бы расширить, не вмещат, народу обидно.

— Ну и расширь.

— Федот работать не хочет. Я, говорит, сюда барином жить пришел, а не бревна таскать, пускай тебе медведь потаскает, а не я.

Около костра засмеялись. Петруша, смеясь, крикнул певучим, задушевым тенорком:

— Гоните-ка его, Александр Иваныч. Ему говорят, завтра соорудим шалаш, не лезть же на ночь за хворостом, глаза выколешь, а он страдать: построечку да построечку!

Еремей, не глядя в ту сторону, мрачно сказал:

— Холодно без прикрышки, сдохнешь.

— Привык с бабой-то на печке! — засмеялся Федот и уже сердито добавил: — Не сдохнешь, недохнут же люди.

— Да и врет он, Александр Иваныч!.. Какой холод, раз костер не угасат. А уж так, не может, чтобы знака своего не поставил землевладелец! Нынче только пришел, а уж построечку, — помещик!

Опять засмеялись у костра; ни разу не улыбнувшийся Еремей повернул прочь от Саши и привалился к огню. Еще синел уходящий день на острых скулах и широком, прямом носу, а вокруг глаз под козырьком уже собиралась ночь в красных отсветах пламени, чернела в бороде и под усами. Как замороженный, уставился он на огонь, смотрел не мигая; и все краснее становилось мрачное, будто из дуба резаное лицо по мере того, как погасал над деревьями долгий



майский вечер. И будто не слышал, как про него говорил слабым голосом заморенный, чуть живой бродяжка Мамон, от голоду еле добравшийся до становища:

— Сколько я видал на земле людей, все люди, братцы, глупые. Нашему брату, вольному человеку, крыша над головой все равно, что гроб, а они этого никогда не понимают, заживо хоронятся да тухнут.

Федот, молодой, по виду чахоточный парень, недоверчиво кашлянул:

— А зимой?.. То-то хорошо ты вчера пришел. Тут люди, брат, за делом собрались, а не ляды точить. Шел бы ты дальше, не проедался.

Петруша певуче поддержал:

— Равнодушный человек!.. Тут люди по всей России маются, за Бога-истину живот кладут, а он только и знает, что скулит: беспорядок, много-де стражников по дорогам скачут, моему-де хождению мешают...

И крикнул:

— Александр Иваныч, надо нам такой порядок установить, чтобы как только бродяга, так его в шею. Ненужный он зверь, вроде суслика.

Бродяга покраснел от обиды и непонимания; и, хотя собирался еще денек погостить и покормиться, обиженно пробормотал:

— Завтра проследую дальше. Господи, и с силой-то собратья не дадут, так и гонют, так и гонют. Много я вашего хлеба наел.

— Никто тебя не звал.

— Господи, слышу, молва идет: объявились лесные братья. Ну, а если братья, так не мимо же идти, а они, братья-то, на манер волков. И все гонют, все гонют.

Долго скулил голодный и обиженный бродяга. Под кручею шумел и дымился к ночи весенний ручей, потрескивал костер в сырых ветвях и крючил молодые водянистые листочки, и все, вместе с тихой и жалобной речью бродяги, певучими ответами Петруши, сливалось в одну бесконечную и заунывную песню. «Вот кого я люблю!» — думал Саша про Еремея, не отводя глаз от застывшего в огненном озарении сурового лица, равнодушного к шутке и разговору и так глубоко погруженного в думу, словно весь лес и вся земля думали вместе с ним. Только раз шевельнулись усы, и в Петрушину плавную речь, как камни в воду, упали громкие и словно равнодушные слова:

— Без меня меня женили, я на мельнице был.

Саша заинтересованно окликнул:

— Что ты говоришь, Еремей?

— А то и говорю: без меня меня женили.

— Это я про Государственную Думу рассказываю,— подхватил Петруша,— что решила Дума мужичкам землю дать... в газетах писали, Александр Иванович.

Петруша был грамотный, но не столько читал газеты, которые трудно было достать, сколько произвольно сочинял; сочинив же, немедленно сам верил, что это из газет. На слова его отзывался Федот, закричав громко и гневно:

— Врут, не дадут!.. Пока тонут, топор сулят, а вынырнут — и топорщица жаль. ...., один с ними разговор, мать их...

«И на что им земля? — думал с неодобрением бродяжка, — вот дадут им землю, а они первым делом забором огородятся, лазай тут. Нет, душно мне, завтра уйду».

И опять шумел в овраге ручей, и лесная глушь звенела тихими голосами: чудесный месяц май! — в нем и ночью не засыпает земля, гонит траву, толкает прошлогодний лист и живыми соками бродит по деревьям, шуршит, пришептывается, гукает по далям. Склонив голову на руки, сидел на пенечке Саша и не то думал, не то грезил — под стать текли образы, безболезненно и тихо меняя формы свои, как облака. Думал о том, как быстро ржавеет оружие от лесной сырости и какое лицо у Еремея Гнедых; тихо забеспокоился, отчего так долго не возвращаются с охоты Колесников и матрос, и сейчас же себе ответил: «Ничего, придут, я слышу их шаги», — хотя никаких шагов не слышал; вдруг заслушался ручья. Но, что бы ни приходило в голову его, одно чувствовалось неизменно: певучая радость и такой великий и благодостный покой, какой бывает только на Троицу, после обедни, когда идешь среди цветущих яблонь, а вдалеке у притвора церковного поют слепцы. Или и это представлялось Саше? — Минутами и сам удивлялся тихо: не пора ли беспокойства настала, откуда же покой и радость? Хорошо бы также найти какие-то совсем особые слова и так сказать их Еремею, чтоб осветилось его темное лицо и тоска отпала от сердца, — вот и костер его не греет, снаружи озаряет, а в глубину до сердца не идет. Погоди, Еремей.

Высоким голосом испуганно закричал Петруша:

— Кто идет? Откликайся, что прешь, как медведь!

Саша схватился за маузер, стоявший возле по совету Колесникова: даже солдат может свое оружие положить в сторону, а мы никогда, и ешь и спи с ним; не для других, так для себя понадобится. Но услышал как раз голос Василия и приветливо в темноте улыбнулся. Гудел Колесников:

— Свои, свои, Петруша.

В круг от костра вступило четверо: еще мужик Иван Гнедых, однофамилец Еремея, и Васька Соловьев, щеголь; и сразу стало шумно и весело. Даже Еремей повеселел, во все стороны заулыбался и вздернул на лоб картуз.

— Много настреляли? — спросил Саша, тоже улыбаясь и за руку здороваясь с Соловьевым, которого еще не видал.

— Никак нет, Александр Иванович, — ничего, — ответил Андрей Иваныч. — Да разве с пулей можно? У меня тетерка из-под ног ушла.

— Стрелять не умеете, Андрей Иваныч, — пошутил Колесников, так как матрос был лучшим стрелком в отряде и уступал только Погодину. — Но как, Саша, чудесно, того-этого, вот вовремя на дачу выбрались.

Федот захохотал и закашлялся; во всю бороду ухмыльнулся Еремей и сказал:

— Шутят.

— Иван хлеба да селедок купил. Вонючие, того-этого. Садись, Соловьев, иль ноги не отмахались? Потом, Саша, расскажу.

Соловьев, подбористый малый, с пронзительными, то слишком ласковыми и почтительными, то недоверчивыми глазами, по манере недавний солдат; откинул полы чистенькой поддевки и сел, поблагодарив:

— Покорно благодарю, Василь Василич.

Запел Петруша:

— Нет, вы вот что скажите, Василь Василич: опять ведь баба с яйцами приходила!

Мужики засмеялись.

— Вчерась одна, нынче другая, — и откуда они, сороки, проведали? Словно и впрямь дачники понаехали. Даром, говорят, бери, а бери, назад не понесу.

— Далеко молва идет, — отозвался слабо бродяга, — я еще где услышал! Так и говорят: у нас ничего нет, а иди, брат, к Жигалеву...

— Жегулеву, — поправил матрос.

— Жигулеву, Александру Иванычу, он тебя к делу приспособит и поесть даст. И за хлеб-соль, братцы, спасибо, а что касается дела, то уж не невольте, не по моей части кровь...

Нахмурились. Федот взмахнул кулаком и крикнул:

— Молчи, гусыня!

Бродяжка робко отстранился, бормоча:

— Меня и саратовские лесные братья уважили, меня и...

— Не тронь его, — приказал Саша, слегка покраснев-

ший, когда упомянулось его новое имя.— Завтра он уйдет.

Колесников смотрел с любовью на его окрепшее, в несколько дней на года вперед скакнувшее лицо и задумался внезапно об этой самой загадочной молве, что одновременно и сразу, казалось, во многих местах выпыхнула о Сашке Жегулеве, задолго опережая всякие события и прокладывая к становищу невидимую тропу. «Болтают, конечно,— думал он,— но не столько болтают, сколько ждут, носом по ветру чуют. Зарумянился мой черный Саша и глазами поблескивает, понял, что это значит: Сашка Жегулев! Отходи, Саша, отходи».

А там смеялись над рассказом Ивана Гнедых, как он в селе пищу покупал:

— Говорю ему, Идолу Иванычу: для лесных братьев получше отпуская, разбойник, знаешь, какой народ!

— Верно! — подтвердил Еремей.— Так ему и надо. А он что?

— Чтоб вы сдохли, говорит, анафемы, с вами я скоро от одного страху жизни лишусь. Да и обсчитал меня на гривенник, только в лесу я догадался, как считать стал.

Еремей молча качнул головой:

— Ах ты, поди ты — ну и сволочь же человек!

— Бесстрашный, дьявол!

— Нет, погоди!

— Надо б тебе вернуться да в морду ему плюнуть.

— Нет, погоди,— кричал Иван,— дальше-то слушай. Ка-а-к нюхну я селедку, это в лесу-то, да ка-а-к чкну: весь нос от вони разодрало! Ах ты, думаю...

Петруша забренчал балалайкой.

— Ах, душа Андрей Иваныч, матросик мой отставной — игранем?

И при смехе мужиков, знавших, что Петруша в деревне оставил невесту, зачастил:

Пали снега, снега белые,

Да растаяли,—

Лучше брата бы забрили,

Милого б оставили! А — юх, йух, йух, йух!..

Колесников поманил пальцем Соловьева, с ним и с Погодиным отошел к шалашу.

— Ну, Саша: завтра. Тезка тебе расскажет, он три дня, того-этого, на путях работал, все высмотрел. Расторопный он человек!

При слове «завтра» лицо Саши похолодело — точно теперь только ощутило свежесть ночи, а сердце, дрогнув, как

хороший конь, вступило в новый, сторожкий, твердый и четкий шаг. И, ловя своим открытым взглядом пронзительный, мерцающий взор Соловьева, рапортовавшего коротко, обстоятельно и точно, Погодин узнал все, что касалось завтрашнего нападения на станцию Раскосную. Сверился с картой и по рассказу Соловьева набросал план станционных жилищ.

— Я думаю, Саша...

— Не мешай, Василь Василич! Жандарм, говоришь, здесь...— Он незаметно перешел на ты.

— Так точно. И два стражника. А вот тут телеграф...— при свете огарка не совсем уверенно бродил по бумаге короткой с черным ногтем палец.

Погодин решил: до утра своим ничего не говорить, да и утром вести их, не объясняя цели, а уже недалеко от станции, в Красном логу, сделать остановку и указать места. Иван и Еремей Гнедых с телегами должны поджидать за станцией. Федота совсем не брать...

— Отчего же? — почтительно осведомился Соловьев.— Все не лишний для начала человек.

— Слабосилен и стрелять не умеет,— сказал Колесников.

— У него ярости много,— настаивал Соловьев,— пусть на случай около выхода орет: наши идут! Кто не бежал, так убежит, скажут, тридцать человек было. Воткинский Андрон таким-то способом сам-друг целую волость перевязал и старшину лозанами выдрал.

Колесников покосился:

— Да ты, того-этого, по правде говори: нигде раньше в делах не был? Чтой-то ты, дядя, много знаешь — нынче мне всю дорогу анекдоты рассказывал! Ну?

Соловьев усмехнулся и щеголевато козырнул глазами:

— Кабы где был, так уж наверняка б слышали! — Но встретил суровый взгляд Саши, съежился, точно выцвел, и заторопился.— Между прочим, можно Федота и не брать, человек они неопытный, это правда.

Решили, однако, Федота взять и даже дать ему маузер, но незаряженный: был один в партии испорченный, проглядел, когда принимал, Колесников. На том и покончили до завтра.

— Ну, ступай пока, Соловьев,— приказал Саша.

— Слушаю-сь, Александр Иванович, но, между прочим, позвольте присовокупить: с народом нашим надо поосторожнее. Слух идет... бабы эти разные... и вообще. Конечно, пока они за нас, так хоть весь базар говори, ну, а на случай

беды или каких других соображений... Народ они темный, Александр Иваныч!

— Ладно, ступай,— сухо приказал Саша, но встретил покорные, слегка испуганные, темные, как и у тех, глаза Соловьева и стыдливо добавил: — Иди, голубчик, я все сделаю. Нам поговорить надо.

### 3. Р я б и н у ш к а

— Неприятный человек! — сказал Колесников про ушедшего, но тотчас же и раскаялся.— А, впрочем, шут его знает, какой он. В городе, Саша, я каждого человека насквозь, того-этого, вижу, как бутылку с дистиллированной водой, а тут столько осадков, да и недоверчивы они: мы ему не верим, а он нам. Трудно, Саша, судить.

— Привыкнут! — уверенно ответил Погодин, прислушиваясь к веселому говору около костра и улыбаясь.— Ах, Вася, чудесный какой вечер! Постой, Петруша петь хочет...

Как Елена Петровна в то жестокое утро, когда зашла речь о губернаторе Телепневе, увидела вместо привычного Сашеньки новое и удивительное, в одно мгновение осознала и как бы сложила в сумму весь ряд незаметных перемен,— так и Колесников в эту минуту. Куда девалось все прежнее?.. Как меняется человек! Отяжелел подбородок, а лоб словно убавился,— или это костер играет тенями? Но вот что несомненно: резко очертился нос и выпуклость бровей, и четко изогнулась линия от носа к верхней губе — точно впервые появился у Саши профиль, а раньше и профиля не было. И еще: исчезла бесследно та бледная хрупкость, высокая и страшная одухотворенность, в которой чуткое сердце угадывало знамение судьбы и билось тревожно в предчувствии грядущих бед; на этом лице румянец, оно радостно радостью здоровья и крепкой жизни,— тот уже умер, а этот доживет до белой, крепкой старости. У того была мать, благородная и несчастная Елена Петровна, а этот словно никогда не знал матери и ее слезами не плакал — и как белеют зубы в легкой улыбке! Мысленно приделал Колесников бороду к Сашиному этому лицу — получился генерал Погодин, именно он, хотя даже карточки никогда не видал. Вздохнул с укором.

— Так вот, Саша,— значит, завтра.

— Да. Завтра. Но, Василий, милый, ты хотел о чем-то говорить — не надо! Не надо вообще говорить. Ты присматривался к Еремею, нет? — Присмотрись. Он все время молчит, и я целый вечер за ним слежу: он все мне открыл.

Я знаю, ты сейчас же спросишь, что открыл, а я тебе что-нибудь навру — не надо, Вася.

— Нет, не спрошу. Прости меня, Саша.

Погодин удивленно обернулся, сдвинув тени:

— За что?

— Так. За некоторые мысли, того-этого.

— Ну вот!.. Разве это не разговор? «Прости», «за мысли», — чтоб черт нас побрал, мы только и делаем, что друг у друга прощения просим. И этого не надо, Василий, уверяю тебя, никому до этого нет дела. Не обижайся, Вася, я, честное слово, люблю тебя... Постою, идем ближе, поют!

«Кость бросил, чтобы отвязаться: любит, да еще «честное слово!» — горько думал Колесников, идя за Сашей. И вдруг обозлился на себя: «Да я-то что? Разве не весело? — разве не поют? Эх, да и хорошо же на свете жить, пречудесно!»

Жить было пречудесно, и это знала вся ночь. Полыхал костер, и тени плясали, взвивались искры и гасли, и миллионы новых устремлялись в ту же небесную пропасть; и ручей полнозвучно шумел: если бросить теперь в него чурку, то донесет до самого далекого моря. Притихли мужики, пригревшись у огня, и, как нечто самое серьезное и важное, слушали подготовительные переборы струн и певучую речь радостно взволнованного Петруши. Веснушчатое, безусое лицо его раскраснелось, серые, почти ребячьи глаза сладко щурились; в обеих руках нежно, как пушинку, держал он матросикову балалайку с разрисованной деккой и стонал:

— Ах, ну и балалаечка! Ну и балалаечка! Это инструмент, эта уж до самой смерти заговорит, эта уж не выпустит, н-е-т!

Иван серьезно и с участием спросил:

— Завидно, Петруша?

— Ка-а-кая зависть!

Андрей Иванович протянул руку за балалайкой, но Еремей остановил его:

— Погоди, матрос! Дай подержаться. Не съест твоего инструменту.

Наконец сыгрались обе балалайки. В тихом переборе струн, в кроткой смиренности их однозвучия — что бы ни говорили слова — не пропадала чистая, почти молитвенная слеза: дали и шири земной кланялся человек, вечный путник по высям заоблачным, по низинам сумеречно-прекрасным. Как бы далеко ни уходили слова — дальше их уносила песня; как бы высоко ни взлетала мысль — выше ее подымалась песня; и только душа не отставала, парила и падала, стоном

звонящим откликалась, как перелетная птица... «Боже мой — и это не во сне? — думал Саша. — И это не церковь? И это музыка? Но ведь я же не понимаю музыки, я бесталанный Саша, но теперь я все понял!»

Сидел, склонив голову, обеими руками опершись на маузер, и в этой необычности и чудесной красоте ночного огня, леса и нежного зазыва струн самому себе казался новым, прекрасным, только что сошедшим с неба — только в песне познает себя и любит человек и теряет злую греховность свою. Радостно оглянулся на Колесникова — и у того преобразилось лицо, в глазах смешное удивление, а весь, как дитя, и не одинок уже, хотя близок к слезам и бороду держит беспомощно. А дальше Еремей — ест горящими глазами певцов и истово кланяется дали и шири земной; серьезен, как в смерти, не шевельнется, словно летит — для него это не шутки. А дальше...

— Рябинушку! — коротко кинул Андрей Иванович, — уже не матрос, а власть чудесную имеющий; перебрал пальцами, тронул душу балалайки и степенным, верующим баском начал:

— Ты, рябинушка, ты, зеленая...

По низу медлительно и тяжело плывут слова; оковала их земная тяга и долу влечет безмерная скорбь, — но еще не дан ответ, и ждет, раскрывшись, настороженная душа. Но ахает Петруша и в одной звонящей слезе раскрывает даль и ширь, высоким голосом покрывает низовый, точно смирившийся бас:

— Ах! — ты когда выросла, ах, когда выросла...

«Это я, рябинушка, — думает каждый. — Это я та рябинушка, та зеленая, и про меня это спрашивают: ты когда выросла, когда выросла».

— Ты, рябинушка...

Что это? — оглянулись все. А это Колесников запел. Свирепо нахмурился, злобно косит круглым глазом и на свой могучий голос перенял у матроса безмерную скорбь и тягу земли:

— Ты, рябинушка, ты, зеленая...

Что-то грозное пробежало по лицам, покраснелось в буйном пламени костра, взметнулось к небу в вечно восходящем потоке искр. Крепче сжали оружие холодные руки юноши, и вспомнилось на мгновение, как ночью раскрывал



он сорочку, обнажал молодую грудь под выстрелы. — Да, да! — закричала душа, в смерти утверждая жизнь. Но ахнул Петруша высоким голосом, и смирился мощный бас Колесникова, и смирился гнев, и чистая жалоба, великая печаль вновь раскрыла даль и ширь.

— Ах — да когда же ты, ах — да покраснелась?  
Ах, когда же ты покраснелась...

Подтягивает и бродяжка слабым тенорком, вместе с Петрушей отвечает Колесникову и словно борется с ним. Едва слышно его за сильным и высоким голосом Петруши, но все одобрительно улыбаются: это хорошо, что он подтягивает. И снова вступает точно осиливший бас, и смолкают покорно высокие голоса:

— Я, рябинushка, покраснелась...

«Обо мне! — думает каждый и, замирая, ждет ответа. И в звонкой печали отвечает задушевный голос, в последний раз смертельно ахнув:

— Ах! — да поздней осенью — ах, да под морозами.  
Ах, поздней осенью, под морозами.

Было долгое молчание, и только костер яростно шумел и ворочался, как бешеный. Луна всходила: никто и не заметил, как посветлело и засеребрились в лесу лесные чудеса. Еремей тряхнул головой и сказал окончательно:

— Хорошо у нас поют.

А Саша уволок в серебро ветвей распрямившегося Колесникова и в волнении, первый раз открыто выражая свой восторг, тряс его опущенную тяжелую руку и говорил:

— Да как же это, Василий!.. Ведь у тебя такой голос... или ты сам не знаешь, чудак!

Колесников, все еще свирепый, тяжело вода грудью, с гордостью ответил:

— Знаю. Так что?

— Да ведь с таким голосом... Боже мой, Вася! Ты мог бы... У тебя слава, чудак!

— Мог бы. Ну?

Подошел Андрей Иваныч и развел руками:

— Ну, Василь Василич, благодарю. Как рявкнули вы у меня над ухом — что такое, думаю, дерево завалилось? Да и свирепо же вы поете...

— Разболтались вы, Андрей Иваныч! — сердито сказал Колесников.

— Да всякий разболтается! Иван до чего додумался? Леший, говорит, с ним ночью страшно.

В несколько дней закосматевший Колесников, действительно похожий на лешего, вдруг закрутился на четырех шагах и загудел, как труба в ночную выюгу:

— Стыдно вам! Стыдно вам! Чему удивились, того-этого? Боже ты мой, какое непонимание! Как вдовица с лептой, того-этого, хоть какое-нибудь оправдание, а он в нос тычет: слава, того-этого! Преподлейший вздор, стыдно! Ну леший и леший, в этом хоть смысл есть... да ну вас к черту, Андрей Иваныч, говорил: оставьте балалайку. Нет, не может, того-этого, интеллигент!

Не зная, пугаться ему или смеяться, матрос тихо сбежал; а Саша поймал за руку кружившегося Колесникова и сказал:

— Нет уж, видно, никак нам не избавиться, чтобы не просить прощения. Прости меня, Вася.

И крепко, прямо в губы поцеловал его. Колесников, будто с неохотою принявший поцелуй и даже пытавшийся отвернуться, сжал до хруста в костях Сашину руку и прошептал в ухо:

— Саша! Завтра идти. Саша, знай одно: грудью перед тобою стану. Ладно, точка, молчи, тебе говорю! Айда к нашим — сейчас плясать будем! Ходу!

И гулко загоготал, пугая ночную птицу:

— Го-го-го!

Видимо, понравилось быть лешим; да и просила душа простору. На что широк был лес, а и он стал тесен после тех далей, что открылись взору душевному; взыгрались невыплаканные слезы, и сладкою отравкою, как вино, потекла по жилам крепкая печаль, тревожа тело. Вдруг жарок стал костер, и тяжестью повисла одежда на поширевших плечах: в сладкой и истомной тревоге шевелились мужики и поахивали. Кто лежал раньше, тот сел; а кто сидел — поднялся на ноги, расправляет спину, потягиваясь и неправдиво позевывая. Широко расставив ноги в блестящих сквозь грязь сапогах и заложив за спину под поддевкой руки, раздраженно поплеывает в огонь Васька Соловьев, томится той же жаждою. Обернулся на гиканье подходящего Колесникова и усмежается криво: жуткая душа у Васьки Соловьева.

Заахал восторженно Петруша:

— Ах, ну и голосок же у вас, Василь Василич; смола горящая!

Иван Гнедых, шутник, сморщил смешливо печеное свое лицо и поправил:

— Для грешников смола, а праведнику на многие лета. Поджарый ты, Василий, тебе бы в дьяконы идти, а не с нами

околачиваться, вот бы брюхо и отрастил, чудак человек, ей-Богу, на этом месте провалиться!

Еремей сурово крикнул:

— Пусти, бродяжка, что разлегся! Место ослобони для Александра Иваныча. Сюда иди, Александр Иваныч!

Бродяжка, после пения отошедший душою и заулыбавшийся, снова скис: «И все гонют, и все гонют...»

— Спасибо, Еремей, я постою. Ну-ка, Андрей Иваныч, плясовую. Вася, не ерепенься, Вася, не косись!

Мужики засмеялись дружелюбно: все еще словно не отошел Колесников и неуживчиво ворочал глазами, но при словах Саши и мгновенном блеске белых зубов его захохотал и топнул ногою:

— Пожарче, Андрей Иваныч!

Ошибался Колесников, когда боялся для себя леса: если и уподобился он лесу, то лишь в его свободной силе и дикой статности. На городских улицах, в своих вечно шлепающих калошах и узком пальто, стягивающем колени, он был неуклюж и смешон и порою жалок: другой он был здесь. От высоких сапог сузился низ, а плечи раздались, развернулась грудь; и широкий тугой пояс с патронами правильно делил его туловище на две половины: одну для ходу, другую для размаха и действия. И только одно было совсем уж не у места: полосатая велосипедная шапочка, — но ничего не поделаешь с заблуждением!

Но не две ли души у балалайки? Так удивительно, что на одних и тех же струнах может звучать столь разное. Еще слеза не высохла, а уж раскатывается смешок, тихим шепотом зовет веселье, воровской шутливою повадкою крадется к тому самому месту, где у каждого человека таится пляс. Как на ниточках, подергивается душа, а под коленом что-то сокращается, и чем больше дергает и чем резвее сокращается, тем степеннее бородатые и безбородые лица. Это не цыганский злой разгул, когда в страсти каменеет и стынет лицо, — тут хитрая усмешка, чудесная недоговоренность и тонкая граница: все дал, а могу и еще! Все тронул, а могу и еще! Глухой подумает, что вот и наступило когда настоящее горе, а слепой — тот и сам задрыгает ногами: так строги и степенны лица при ярко-звонком гуле струн.

Все чаще и круче коварный перебор; уж не успеваешь за ним тайный смех, и пламя костра, далеко брошенное позади, стелется медленно, как сонное, и радостно смотреть на две пары быстрых рук, отбрасывающих звуки. Не столь искусный Петруша еще медлителен: пальцы нет-нет, да и прилипнут, а матрос так отхватывает руку, словно под нею

огонь; и еще позволяет улыбнуться своим глазам неопытный Петруша, а Андрей Иваныч строг до важности, степенен, как жених на смотринах. И, только метнув в сторону точно случайный взгляд и поймав на лету горящий лукавством и весельем глаз, улыбнется коротко, отрывисто и с пониманием, и к небу поднимет свехравнодушное лицо: а луна-то и пляшет! — стыдно смотреть на ее отдаленное веселье.

«Да что же это? Вот я и опять понимаю!» — думает в восторге Саша и с легкостью, подобной чуду возрождения или смерти, сдвигает вдавившиеся тяжести, переоценивает и прошлое, и душу свою, вдруг убедительно чувствует несходство свое с матерью и роковую близость к отцу. Но не пугается и не жалеет, а в радости и любви к проклятому еще увеличивает сходство: круглит выпуклые, отяжелевшие глаза, пронзает ими безжалостно и гордо, дышит ровнее и глубже. И кричит атамански:

— Соловьев! Выходи.

Торопливые голоса подхватывают:

— Васька! Соловей, выходи. Оглох, что ли! Выходи, Васька!

Колесников, выдвинувший плечо и глухо притоптывающий с носка на каблук, подбоченился правой рукой и ждет: плясать он не может, тяжел, но сам бог пляса не явил бы в своей позе столько дикой выразительности. Кричит сви-репо:

— Выходи, Соловьев, девки ждут!

— Про девок вы напрасно, Василь Василич...— говорит Соловьев шеголевато и, не договорив, соколом вылетает в готовый круг, легко отбрасывает Ивана, старательно приминающего невысокую травку, и дает крутого плясу. Жуткая душа у Васьки Соловьева, а пляшет он легко и невинно, кружит, как птица, и, екнув, рассыпается в дробь, и снова плывет, не касаясь земли:

Д-эх, милашка моя-т,  
Распотешь-ка меня-т,  
У тебя широкий пояс,  
Подпояшь-ка меня-т!..  
Эх!..

И талантливо содействует вновь воскресший бродяга: засунул четыре пальца в рот и высвистывает пронзительно, режет воздух под ногами у пляшущего. Спуталось что-то в плывущих мыслях бродяги, и уже кажется, что не бродяга он мирный, чурющийся крови, а разбойник, как и эти, как и все люди в русской земле, жестокий и смелый человек с крутою грудью и огненным пепелящим взором. Встают

в обширной памяти его бесчисленные зарева далеких пожаров — близко не подходил к огню осторожный и робкий человек; дневные дымы, кроющие солнце, безвестные тела, пугающие в оврагах своей давней неподвижностью, — и чудится, будто всему оправданием и смыслом является этот его пронзительный свист. Совсем под конец запутался бродяга, смотрит на Погодина и думает наскоро: «Ах, да и хорош же у нас атаман, даром, что молод! — картина!»

Все чаще переборы струн, все неистовее пляс, уже теряющий невинность свою в сочетании с злым свистом, — и глубже раскрывается ночь в молчании и ненарушимой тайне. Пригасает забытый костер, и ложатся тревожные тени, уступая место черным, спокойным и вечным теням луны; взошла она в зените и смотрит без волнения. Отойдешь на шаг от пляшущих — и уже тихо; а на версту уйдешь — ничего, кроме леса, и не слышно. А на опушку далекую выйдешь, — томится у края земли еле видимое в луне зарево: не дождался кто-то Сашки Жегулева и на свой разум пустил огонь. Кто-то невидимый бродит по русской земле; кто-то невидимый полной горстью, как сеятель щедрый, сеет в потемках тревогу, тихим шепотом отворяет завороненную кровь.

В эту ночь, последнюю перед началом действия, долго гуляли, как новобранцы, и веселились лесные братья. Потом заснули у костра, и наступила в становище тишина и сонный покой, и громче зашумел ручей, дымясь и холодея в ожидании солнца. Но Колесников и Саша долго не могли заснуть, взволнованные вечером, и тихо беседовали в темноте шалашика; так странно было лежать рядом и совсем близко слышать голоса — казалось обоим, что не говорят обычно, а словно в душу заглядывают друг к другу.

— Да, Саша, — тихо повествовал Колесников, — голос у меня и тогда был славный, он так его и называл: американский, того-этого. Да и ученье у меня шло успешно, пустяки, в сущности, ну и авансы он мне предлагал, вообще готовился барышничать мной, как лошадью...

— А ты мне соврал, что и петь не умеешь, — улыбнулся голосом Саша.

— А то так надо было: «Сей колокол, того-этого, пожертвован ветеринарным врачом Василием Васильевым Колесниковым в лето...»

Оба засмеялись. Колесников продолжал:

— Раз я и то промахнулся, рассказал сдуру одному партийному, а он, партийный-то, оказалось, драмы, брат, писал, да и говорит мне: позвольте, я драму напишу... Др-р-раму,

того-этого! Так он и сгинул, превратился в пар и исчез. Да, голос... Но только с детства с самого тянуло меня к народу, сказано ведь: из земли вышел и в землю пойдешь...

Саша улыбнулся:

— Хоть и из другой оперы, а верно.

— И создал я себе такую, того-этого, горделивую мечту: человек я вольный, ноги у меня длинные — буду ходить по базарам, ярманкам, по селам и даже монастырям, ну везде, куда собирается народ в большом количестве, и буду ему петь по нотам. Год я целый, ты подумай, окрылялся этой мечтой, даже институт бросил... ну, да теперь можно сказать: днем в зеркало гляделся, а ночью плакал, как это говорится, в одинокую подушку. Как подумаю, как это я, того-этого, пою, а народ, того-этого, слушает...

Колесников замолк. В щель глянул диск луны и потянул к себе. Саша зажмурился и спросил:

— Ну?

— Ну — и с первого же базара меня повезли, того-этого, в участок и устроили триумф: если хотите, того-этого, петь по нотам, то вот вам императорский театр, пожалуйста! «А если без нот, того-этого?» А если без нот, то будет это нарушение тишины и порядка, и вообще вам надо вытрезвиться... Шучу, но в этом роде нечто было, сейчас стыдно вспомнить. Но вытрезвили.

— Теперь попоешь, Вася.

— Попою уж. Тебе не холодно?

— Нет. Ты как мама.

— Мне сорок лет, а ты мальчишка.

— Мне и то странно было, что я тебе «ты» говорю. Я всю ночь не засну, я очень счастлив, Вася. «Ты, рябинушка, ты, зеленая...» И что удивительно: ведь я мальчишка, и такой и есть, и вдруг я почувствовал в себе такую силу и покой, точно я всего достиг или завтра непременно достигну. Отчего это, Василий?

— Оттого, что за народом стоишь. Трудно на этот постамент взобраться, а когда взберешься и подымет он тебя, то и стал ты герой. И я сейчас твою силу чувствую.

— Какая огромная Россия! Закрою глаза, и все мне представляются леса, овраги, реки, опять леса и поля. «Ты, рябинушка, ты, зеленая...» Сейчас мне ничего не стыдно: скажи, Василий, ты веришь, что наш народ — великий народ?

— Верю.

— Что бы то ни было?

— Что бы то ни было.

— Ну ладно, так помни. Знаешь, Вася, я даже о маме...

— Молчи, не надо. Спи.

— Нет, ничего. Я даже о маме думаю без всякой боли, но это не равнодушие! Но думаю: ведь не одна она, отчего же ей быть счастливее других? Впрочем... Правда, не стоит говорить. Не стоит, Вася?

— Не стоит. Спи, Сашук.

— Сплю. «Ах, когда же ты покраснелась? Я, рябинушка, покраснелась поздней осенью, под морозами...» Вася?

Но Колесников не ответил. А через час он услышал, что Саша подымается и лезет к выходу, и спросил:

— Куда ты?

— Спи, ничего. Я хочу подбросить сучьев в огонь, им холодно.

Уже светало. И не знал Саша, что он провел без сна единственную в своей короткой жизни ночь, которую мог спать спокойно.

#### 4. Первая кровь

Белый, курчавый, молоденький, лет восемнадцати телеграфист вдруг опустил, словно от усталости, поднятые вверх руки и бросился к выходу. Опустилось и еще несколько рук, и в затихшей было комнате зародилось движение. Колесников, возившийся около кассы, отчаянно крикнул:

— Стреляй, Саша!

Погодин выстрелил. Точно брошенный, телеграфистик вдавился в дверь, ключа которой так и не успел повернуть, мгновение поколебался в воздухе и, как живой, ринулся обратно на Сашу, — так остро была подрезана жизнь. Но уже по низу летел он, а потом мягкостью лица проехал по полу и замер неподвижно у самых ног убийцы. За ухом взрылось что-то очень страшное, красное, исподнее и замочило русые кудряшки, но ворот шитой шелками косоворотки оставался еще чистым — как будто не дошло еще до рубашки ни убийство, ни смерть.

В зале III-го класса и на перроне царил ужас. Станция была узловая, и всегда, даже ночью, были ожидающие поездов, — теперь все это бестолково металось, лезло в двери, топталось по дощатой платформе. Голосили бабы и откуда-то взявшиеся дети. В стороне первого класса и помещения жандармов трещали выстрелы. Саша, несколько шагов пробежавший рядом с незнакомым мужиком, остановился и коротко крикнул Колесникову:

— На пути!

Прыгнули. Сразу потемнело, и под ногами зачастили, точно лоя, поперечные рельсы; но уже и тут, опережая, мелькали темные, испуганные молчаливые фигуры; двое, один за другим, споткнулись на одном и том же месте и без крика помчались дальше.

Носился по путям с тревожными свистками паровоз; и так странно было, что машина так же может быть испугана, может метаться, кричать и звать на помощь, как и человек. Дохнув тяжестью железа и огня, паровоз пробежал мимо и вмешался в пестроту стрелочных фонариков и semaфоров, жалобно взывая.

— Стой! — остановился Саша. — Деньги?

— Здесь. Задохнулся. Надо помочь!

— Это стражники стреляют. Передохни.

Он поднял маузер и три раза выстрелил вверх.

— Айда!

С полчаса колесили по путям — в темноте словно перевернулся план и ничего не находилось.

С размаху влетели в темный коридор, тянувшийся между двумя бесконечными рядами товарных молчаливых вагонов, и хотели повернуть назад; но назад было еще страшнее, и, задыхаясь, пугаясь молчания вагонов, бесконечности их ряда, чувствуя себя, как в мышеловке, помчались к выходу. Сразу оборвался ряд, но все так же не находилась дорога. Колесников начал беспокоиться, но Погодин, не слушая его, быстро ворочал вправо и влево и, наконец, решительно повернул в темноту:

— Прыгай, Василий, тут канава.

— Где? Я совсем ослеп! — И ухнул тяжело, как мешок с мукой.

Потянулся бесконечный заборчик, потом опять канава, и, как темная пахучая шапка, надвинулся на голову лес и погасил остатки света. За деревьями, как последнее воспоминание о происшедшем, замелькали в грохоте колес освещенные оконца пассажирского поезда и ушли к станции.

— Вовремя! — засмеялся Погодин.

— Да туда ли идем?

— Туда.

Дорогой Саша несколько раз принимался возбужденно смеяться и повторял:

— Как я его! Василий, а? Как я его? Я уж раньше заметил, что он пошевеливается и смотрит в окно... Нет, думаю! И какой хитрый мальчишка, ведь мальчишка совсем, а?



— Мальчишка. И черт его дернул, нужно было лезть!

— И черт его дернул, правда! А тут ты кричишь...

— Я не успел бы.

— Знаю, да я уж и поднял маузер, когда ты крикнул. — Саша снова рассмеялся, и уже трудно становилось слышать этот плещущийся, словно неудержимый смех. — Нет, как я его!.. Василий, а?

— Не болтай, того-этого; дорогу-то знаешь?

— Знаю. Я даже не поверил, что он убит, как он на меня кинулся. Ты как думаешь, сколько ему лет?

— Ну что, оставь! Сразу видно было, что убит.

— Тебе сразу видно, а я не поверил. Вася?

— Ну что?

— Вот я и убил человека: как просто!

И опять засмеялся:

— Убить просто, а раньше нужно долго...

«Да и потом нужно долго, — мысленно закончил Колесников, — нет, плохой ты атаман, ведешь без дороги, а сам, того гляди, в истерику... с другой же стороны, и хорошо, что так начал, сразу в омут». Но оказалось, что Саша вел верно, и уже через пять минут засветлела опушка, и испуганный голос окликнул:

— Кто идет?

— Жегулев.

Колесников даже обернулся: Саша ли это сказал? — так тяжело и резко прозвучало слово. А тут обрадовались и радостно заволновались, и Петрушка пел, как на именинах:

— Александр Иваныч, Василь Василич, да вы ли это? А мы уж думали...

— Андрей Иваныч, это вы? Все здесь? — перебил его Саша и, схватив руку матроса, долго и с каким-то особым выражением пожимал ее.

— Так точно, все.

— Ну как, Андрей Иваныч, голубчик, я так рад, что вижу вас.

— Благодарствуйте, Александр Иваныч, благополучно. Мы...

Колесников толкнул его под руку, и он в недоумении замолчал, а Соловьев сухо и четко промолвил:

— Жандарм оказал сопротивление, и я его прикончил. А стражники, как сидели в комнате, так и не вышли, через дверь стреляли.

Все засмеялись, возбужденные, взволнованные, как всегда волнуются люди, когда в обычную, мирную, плохо, хорошо ли текущую жизнь врывается убийство, кровь и

смерть. И только Соловьев смеялся просто и негромко, как над чем-то действительно смешным и никакого другого смысла не имеющим; да и не так уж оно смешно, чтобы стоило раздирать рот до ушей!

Смеясь и бросая отрывистые фразы, торопливо рассаживались, как раньше было уговорено. На Иванову телегу, запряженную двумя конями, сели матрос, Соловьев и Петруша, а к Еремею — Саша и Колесников; и знакомый с местами и дорогами Соловьев наскоро повторил:

— Так помни же, Ерема: через Собакино на Троицкое, на Лысом косогоре не сбейся, бери налево от дубка...

— Да знаю, чего там. Трогай!

— На шоссе передышку сделаешь, слышь?

— Да слышу.

— Трогай. Эй, голубчики!

С версту обе телеги тряслись вместе, и на задней телеге молчали, а спереди, где шел в голове Соловьев, доносился говор и смех. Вдруг передние круто рванули влево, и Соловьев из мрака бросил:

— Значит, до утра прощайте. Никаких приказаний не будет, Александр Иванович?

— Нет, поезжай.

— Прощайте, Василь Василич. Смотри, Еремей, не сбейся, держи глаз остро! — и что-то добавил тихо, от чего на той телеге засмеялись.

Смолкло.

Молча кружились то по лесу, то среди беззащитного поля и снова торопливо вваливались в темень, хрюскали по сучьям, на одном крутейшем косогоре чуть не вывалились, хотя Еремей и ночью, казалось, видел, как днем. И чем больше завязывали узлов и петель, тем дальше отодвигалась погоня и самая мысль о ней. Что-то засветлело, и Еремей сказал:

— Шаше. Надо мост переходить, будь бы летом, так брод есть, а теперь крутить. Да нас теперь, два года скачи, не догонишь, разве только ворона так летает, как я вез.

Колесников крякнул:

— Все бока обломало, того-этого. Саша, ты жив?

— Жив.

— Такой экипаж, мать...

Еремей матерно выругался; да и вообще через каждые пять слов в шестое он вставлял ругательство, но не бессмысленно и вяло, как это делается по простой привычке, а с озлоблением и даже яростью, заметно растущей к концу каждой фразы.

— А много денег взяли, Василь Василич?

— Не считано. На избу хватит.

Дернуло спину, потом вдавило живот — и ровно застучали колеса по белому камню: въехали на шоссе. Лошадь пошла шагом, и сразу стало тихо, светло и просторно. В лесу, когда мчались, все казалось, что есть ветер, а теперь удивляла тишина, теплое безветрие, и дышалось свободно. Совсем незнакомое было шоссе, и лес по обеим сторонам чернел незнакомо и глубоко. Еремей молчал и думал и, отвечая Колесникову, сказал:

— Какая тут изба, когда свою сжечь, так и то впору. Мне твоих денег не надо, да нехай им... А ты бы, милый человек, раз напрямки дело пошло, станцию бы лучше запалил. Спичек пожалел, что ли?

— Чудак человек, да как же ее запалишь, это тебе не твоя солома! Слышишь, Саша?

Погодин не ответил.

— И ехать светлее было бы! Вон от восковой свечки вся Москва, рассказывают, сгорела, а ты: солома! Сами знаем, что не солома. А ты инструмент имей, раз напрямки дело пошло, на то ты и учен, чтобы инструмент иметь.

Саша молчал, как неживой, и тихо было. Еремей обернулся совсем и бросил вожжи. Скулы его еще светлели, а под козырьком, где глаза, не было ни взгляда, ни человеческого, как будто — один стоячий мрак. Хмыкнул:

— Ты на плотника погляди, какое его дело? А и то мешок за спиной с инструментом. А ты: пистоля! Много с твоей пистолей делов сделаешь, и похвастать нечем.

Колесников хмыкнул ответно:

— Гм! Чего же тебе надо: бомбы?

Еремей еще с минуту подержал свой загадочный мрак перед глазами Колесникова, отвернулся и ответил неопределенно:

— И ехать светлее было бы, а то что! Не знаю, как это по-вашему: бомбы так бомбы, мне все равно. Но, проклятая!

Мост был полукаменный, высокий, и подъем к нему крутой — Колесников и Саша пошли пешком, с удовольствием расправляясь. Восходила вчерашняя луна и стояла как раз за деревянными перилами, делясь на яркие обрезки; угадывалось, что по ту сторону моста уже серебрится шоссе и светло.

— Я думаю, теперь не нагонят,— сказал Колесников,— а ты как думаешь, Саша?

— Я то же думаю.

На гулком мосту остановились, и Саша наклонился над

перилами, точно окунул голову в воздух и низкий басовый хор лягушек. Среди лугов и свисшего лозняка уходила в небо неширокая вода, и когда плюнул подошедший Колесников, шлепок звякнул, как ладонь по голому телу.

— Что за речонка? Ты по карте не помнишь, Саша?

— Нет.

— Лягушки-то стараются.

Сказал это Колесников и подумал, что не только он, а и вся ночь не верит в то, что произошло на станции, и никогда не поверит. И никогда, даже в ту минуту, как под его рукой упал убитый энский губернатор, ни в другие, казалось, более тяжелые минуты не испытал Колесников такого ясного и простого чувства сердечной боли, как теперь, над сонною рекой, когда кричали лягушки. Позади чиркнула спичка, закуривал Еремей.

— Ты бы закурил, Саша, или папиросы забыл?

— Нет, не забыл. Не хочу.

Но подумал и, вынув портсигар, закурил, — Колесников стыдливо отвернулся от осветившегося на миг страшного лица; и оба, казалось, с интересом следили за брошенной спичкой: зашипит или нет. Не зашипела, или не слышно было. Колесников шепотом спросил:

— Тебе ужасно больно, Саша?

Саша молчал. Потом вынул папиросу изо рта, как-то деловито скрипнул крепкими зубами и снова положил папиросу.

— Мальчик ты мой! — шептал Колесников, почти плача. — Как ты вчера радовался... Я понимаю тебя, Саша, но ведь должны же страдать и невинные. Я сам убил человека, и, ей-Богу, он не был виноватее твоего телеграфиста. И именно невинные-то и должны страдать, помни это, Саша. Когда грешный наказывается, то молчит земля, а гибнет невинный, то не только земля, а и небо, брат, содрогается, солнце меркнет. Скажу тебе нечто, от чего ты, пожалуй, содрогнешься: люди кричат, а я радуюсь, когда вешают невинного, именно невинного, а не подлеца какого-нибудь, которому веревка, как мать родная!

Нетерпеливо топтался на мосту Еремей, но тактично, не хотел мешать, понимал важность тихого, в шепот, разговора: «о мамаше говорит!»

Гудел Колесников:

— А сам-то ты, мальчик, не невинен? И разве я что тебе говорю: не мучься? Нет, мучься, сколько есть у тебя муки, всю отдай, иначе был бы ты подлец, и смысла б в тебе не было, хоть головой в воду! Этим ты землю потрясешь,

Саша, совесть в людях разбудишь, а совесть — я мужик нехитрый, Саша, — она только и держит народ. Будь ты распро-Рим или распро-Греция, а без совести пропадешь, того-этого, как кошка, и будет место твое пусто! Но, мучась, не падай, Саша, — зато смерть, когда она подойдет к тебе и в глаза заглянет, примешь ты с миром. Клянусь тебе, мальчик.

Саша тряхнул головой и несколько раз быстро закрыл глаза, точно протирая их; выдохнул с шумом воздух, в одном вздохе соединяя множество их. Едва ли он слышал все, что говорил Колесников, но было в самом голосе отпускаящее. И сказал:

— Ладно, Василий. Буду жить и мучиться — так, что ли? И тоже клянусь тебе...

Закричал Еремей:

— Скачут! Эх, теперь и до лесу не догонишь, беда!

И в смутном, как сон, движении образов началась погоня и спасание. Сразу пропал мост и лягушки, лес пробежал, царапаясь и хватая, ныряла луна в колдобинах, мелькнула в лунном свете и собачем лае деревня, — вдруг с размаху влетели в канаву, вывернулись лицом прямо в душистую, иглистую траву.

— Теперь ушли! Теперь ищи ветра в поле! — говорил Еремей, подымая телегу, а Колесников хохотал и тер лицо:

— Всю рожу зазеленил, того-этого, совсем теперь лешим стал. Еремей! Леший какой в ваших местах: зеленый?

— А как раз такой, как вы, покрасивше, пожалуй.

Смеялся и Саша: и его опьянила погоня. Но, видно, еще не совсем ушли: снова заметалась луна и заахали колдобины, и новый лес, родной брат старого, сорвал с Колесникова его велосипедную шапочку, — но такова сила заблуждения! Остановил лошадь и в темноте нашарил-таки свое сокровище. А потом сразу угомонилась луна и тихо поплыла по небу, только изредка подергиваясь, но тотчас же и снова оправляясь; и уже в настоящем полусне, в одно долгое и радостное почему-то сновидение превратились поля, тающие в неподвижном свете, запахе пыли и грибной сырости, обремененные крупным майским листом, сами еще не окрепшие ветви.

Где-то остановили лошадь и телегу, и опять брехали собаки: и, продолжая сновидение, втроем зашагали в сребротканую лесную глубину его, настолько утомленные, что ноги отдельно просили покоя и сна, и колени пригибались к земле. Потом неистово закричал назябшийся, измученный

одиночеством и страхом Федот, которого-таки не взяли с собой.

И вот уже вчерашний, но теперь навсегда другой шалашик: стал он домом и родным приютом. И крепкий до полудня сон, глухой снаружи, но беспокойный внутри в своих томительных позовах воскресит разорванную, окровавленную, точно чьими-то когтями в клочки изодранную явь. Не слышали, как пришли вконец измученные Андрей Иваныч с товарищами, потоптались у пылающего огня — и молча завалились спать. К утру и совсем успокоился Саша: к нему пришла Женя Эгмонт и все остальное назвала сном, успокоила дыханием, и ужасным, мучительным корчам луны дала певучесть песни, — а к пробуждению, сделав свое дело, ушла из памяти неслышно. С улыбкой проснулся Саша.

Но с этого дня в его душу вошел и стал навсегда новый образ: падающий к его ногам телеграфистик с русыми кудряшками, кровавая яма возле уха и ворот чистенькой, расшитой косоворотки. Так стал убийцею Саша Погодин, отныне воистину и навсегда — Саша Жегулев.

За короткое время, не больше, как за месяц, шайка Жегулева совершила ряд удачных грабежей и нападений: была ограблена почта, убит ямщик и два стражника; потом троичное волостное правление, причем сами уже мужики, не участвовавшие в шайке, насмерть забили старшину и подожгли правление, хотя поджог грозил явной опасностью самому селу; да так и вышло: полсела под пеньки да под трубы подчистил огонь. Дотла опустошили и сожгли две экономии и помещика с братом нагнали и зарезали в лесу, а управляющего повесили на воротах; разбили винную лавку, и мужики, перепившись, подожгли-таки дом, и опять жестоко пострадало село.

Что здесь шло до Жегулева, а что родилось помимо его, в точности не знал никто, да и не пытался узнать; но все страшное, кровавое и жестокое, что в то грозное лето произошло в Н-ской губернии, приписывалось ему и его страшным именем освещалось. Где бы ни вспыхивало зарево в июньскую темень, где бы ни лилась кровь, всюду чудился страшный и неуловимый и беспощадный в своих расправах Сашка Жегулев.

И уже стал он появляться одновременно в разных местах, и сбились с ног власти, гоняя стражников и солдат на каждое зарево, вечно находя и вечно теряя его след, запутанный, как клубок размотавшейся пряжи. Только что был, только что ушел, только что, только что — куда ни

придешь, все только что, и след его дымится, а самого нет. И если искал его друг, то находил так быстро и легко, словно не прятался Жегулев, а жил в лучшей городской гостинице на главной улице, и адрес его всюду пропечатан; а недруг ходил вокруг и возле, случалось, спал под одной крышей и никого не видел, как околдованный: однажды в Каменке становой целую ночь проспал в одном доме с Жегулевым, только на разных половинах; и Жегулев, смеясь, смотрел на него в окно, но ничего, на свое счастье, не разглядел в стекле: быть бы ему убиту и блюдечка бы не допить.

И уже на другую губернию перекинулось страшное имя Сашки Жегулева, и, точно в самом имени, в одном звуке его заключался огонь, куда ни падало оно, там вспыхивал пожар и лилась кровь. Казалось, жутко трепетал сам воздух, пропитанный едкой гарью, и в синем дымном тумане своем нес над землею и сеял грозное имя, кровью кропил поля, и лес, и одинокие жилища. Целую ночь горели огни в помещичьих усадьбах, и звонко долдонила колотушка, и собаки выли от страха, прячась даже от своих; но еще больше стояло покинутых усадеб, темных, как гробы, и равнодушно коптил своей лампою сторож, равнодушно поджидая мужиков, — и те приходили, даже без Сашки Жегулева, даже днем, и хозяйственно, не торопясь, растаскивали по бревну весь дом. Остатки все же поджигали, и сторож помогал. Некоторые помещики, побогаче и покруче нравом, завели белозубых, черномазых, свирепо перетянутых черкесов, и там днем мужики кланялись, и бабы, как добрые, носили землянику, а ночью все зывали к святому имени Сашки Жегулева и терпеливо ждали огня. И огонь приходил неведомо откуда — вдруг без причины вспыхивала рига! И уезжали восвояси свирепо перетянутые черкесы, и помещик перебирался в городскую гостиницу, радуясь дорогому покою и хорошему столу.

В эту пору расцвета славы и силы Сашки Жегулева шайка его разрасталась с такой быстротой, что порою терялись всякие границы: кто в шайке, а кто так? Все тот же спокойный, с начисто выбритым подбородком, старательный Андрей Иванович первое время вел мысленные списки и наблюдал дисциплину, но и он не выдержал, бросил: одних Гнедых набралось столько, что путалось всякое соображение. Жаловался самому Александру Ивановичу Жегулеву, и тот, суровый и мрачный, никогда не улыбающийся, порою страшный даже для своих, отвечал спокойно:

- Оставьте их, Андрей Иванович, они сами себя найдут.
- Никак нет, Александр Иванович, этого нельзя оставить.

Сами посудите: поставил я вчера в пикет Ивана Гнедых и приказал ему глаз не смыкать, и он, подлец, даже побожился. Ну, думаю, я тебя накрою: прихожу, а он и спит, для тепла с головой укрылся и тут себе задувает! Ах ты... толкнул его в зад, а оттуда совсем неизвестное лицо, мальчишка лет шестнадцати. — «Ты кто?» — «Да Гнедых». — «А Иван где?» — «А батьке завтра в волость надо». — «Так что ж ты спишь, такой ты этакий...»

— У нас две деревни, и все Гнедых, — серьезно и пояснительно сказал Еремей.

— А если ты Гнедых, так и спи на карауле? — Андрей Иваныч даже слегка покраснел от волнения.

— Никто тебя за... не укусит, — сердито ответил Еремей, — тут тебе не карап, чего взъелся?

Колесников несмело забасил:

— А все-таки, Саша, и по-моему не мешало бы...

— Оставь. А вот бродяг, Андрей Иваныч, вы действительно гоните.

Еремей согласился со своей стороны:

— Верно. Теперь им самый ход, сырости он не любит.

— И если увидите, что пошаливает, пристреливайте.

— Слушаю, Александр Иваныч. А Кузьму Жучка можно оставить? Он просится.

— Жучка оставьте.

Еще то сбывало, что одни и те же мужики то приходили и некоторое время работали с шайкой, то так же внезапно и неслышно уходили, и никогда нельзя было знать, постоянный он или гостящий. Какими-то своими соображениями руководились они, приходя и уходя, и нельзя было добиться толку вопросами, да под конец и спрашивать перестали — махнули рукой, как и на дисциплину.

И странно было то, что среди всей этой сумятицы, от которой кругом шла голова, крови и огня, спокойно шла обычная жизнь, брались недоимки, торговал лавочник, и мужики, вчера только гревшиеся у лесного костра, сегодня ехали в город на базар и привозили домой бублики. Вообще, сам собой создавался какой-то особый порядок, и, только следуя и подчиняясь ему, Жегулев чувствовал себя сильным; всякая же попытка повернуть на свое русло вызывала незримый отпор и создавала чувство мучительной и странной пустоты. На самой вершине своей славы и могущества Жегулев не раз ощущал в себе эту страшную пустоту, но, еще не догадываясь об истинных причинах, объяснял чувство усталостью и личным. Настоящих причин он никогда, Впрочем, и не узнал.



Захаживали в шайку и гощевали беглые солдаты, находившие в Андрее Иваныче покровителя, но оставались недолго; один, красноносый пьяница, чуть ли не добрый десяток лет бегающий от своего года солдатчины, который тянулся за ним, как тягчайший, неискупимый грех, дня три покомандовал хрипло над Гнедыми, был одним из Гнедых жестоко побит и обиженно побежал дальше — жить и бегать оставалось долго. Другой солдат, тоже не молодой, бывший на японской войне, Косарев, остался в шайке и всем полюбился за кротость, но в одной из первых же стычек был убит шальной пулей.

Раз приткнулись к становищу два беглых арестанта, уголовных, но немедленно были прогнаны Еремеем, — а наутро один из них был найден в лесу зарезанным. Арестантики были голодны; и эта ненужная и дикая жестокость, виновник которой так и не обнаружился, смутила даже спокойного, чистого и молчаливого Андрея Ивановича: как раз он наткнулся в лесу на мертвое тело. Целый день он косился на коричневое, из дуба резанное лицо Еремея и все поглядывал на голенище, где тот прятал нож — ножик, как он сам называл. Но Еремей был непроницаем, еще более спокоен и молчалив, чем сам Андрей Иванович, и только вскользь бросил:

— Кому ж зарезать? На такое добро не всякий польстится. Товарищ же и зарезал, больше некому.

И странно было то, что этот скверный, как думалось, случай вдруг еще выше поднял значение Сашки Жегулева и был поставлен ему в какую-то особую заслугу. Сам Жегулев, недоумевая, поводил плечами, а матросик вдруг запечалился и сказал следующее:

— Скажите мне, Василь Василич, как это так происходит: в каком бы глухом месте, в лесу или в овраге, ни лежало мертвое тело, а уж непременно обнаружится, дотлеть не успеет. Если мне не верите, любого мужика спросите, то же вам скажет.

— А черт его знает! — угрюмо ответил Колесников. — Почем я знаю, как падаль находят.

Погодин же взгляделся в начисто выбритый подбородок Андрея Иваныча, в его задумчивые, спокойно-скрытные глаза — и весь передернулся от какого-то мучительного и страшного то ли представления, то ли предчувствия. И долго еще, день или два, с таким же чувством темного ожидания смотрел на матросиково лицо, пока не вытеснили его другие боли, переживания и заботы.

Беспокоил, между прочим, и Васька Соловьев, щеголь.

Через него в шайку вошли четверо: два односелка, молодых и поначалу безобразно пивших парня, бывший монах Поликарп, толстейший восьмипудовый человек, молчаливо страдавший чревоугодием (все грехи, по монастырскому навыку, он делил на семь смертных; и промежуточных, а равно и смешения грехов, не понимал); Поликарп хорошо стрелял из маузера. Четвертым был темный человек Митрофан Петрович, что-то городское, многоречивое и непонятное; лицо у него и бороду словно мыши изгрызли, и туго, как мешок с картошкой, был набит он по самое горло жалобами, обидой и несносной гордыней; и всякому, кто поговорит с ним пять минут, хотелось и от себя потрепать его за бороду и дать коленом в зад. Но был у него и свой талант: от злости ли, либо от несносной гордыни своей не признавал он опасности и страха и действительно с полной готовностью полез бы к самому черту в пекло. Из города он принес и городское, несколько странное прозвище свое: Митрофан-Не пори горячку.

И в первые же дни вся эта компания, с большой неохотой допущенная Жегулевым, обособилась вокруг Васьки Соловьева; и хотя сам Васька был неизменно почителен, ни на шаг не выходил из послушания, а порою даже приятно волновал своей красивой щеголеватостью, но не было в глазах его ясности и дна: то выпрет душа чуть не к самому носу, и кажется он тогда простым, добрым и наивно-печальным, то уйдет душа в потемки, и на месте ее в черных глазах бездонный и жуткий провал. Но разве не такие же глаза и у всех людей? — думалось порою, и не темнее других казался тогда Васька Соловьев, щеголь.

Даже неприятности начались было, и первым заявил себя Митрофан-Не пори горячку: еще не принявшись, как следует, пошел к атаману своей вихляющейся, прирожденно пьяной походкой и заявил, что тут самое подходящее место для литья фальшивых двугривенных. Правда, над ним только посмеялись, да и сам он своего проекта не отстаивал и сразу же горячо понес какую-то другую чепуху, но было неприятно, и Еремей презрительно окрестил его чучелой. Другой случай был похуже: один из Васькиных парней, где-то напившись, начал похабничать и говорить свинство, а когда Жегулев прикрикнул, полез на него с ругательствами и кулаками. Побледневший Саша молча вынул из кобуры револьвер, но не успел поднять его, как пьяный повергся наземь от тяжелого удара Еремеева кулака; и тут в первый раз увидели, каков Еремей в гневе.

— Не погань рук, Александр Иваныч! — промолвил он

совсем как бы спокойно, и только лицо почернело, как чугуны.— Мы его и так... сделай-ка петельку, Федот, а то не ушел бы, гляди, копышется.

Пожалуй, и повесили бы пьяного, не вступишь Жегулев; но не успокоились мужики, пока собственноручно не выдрали парня, наломав тут же свежих березовых веток,— а потом миром пришли к Жегулеву просить прощения и стояли без шапок, хотя обычно шапок не ломали, и парень кланялся вместе с ними.

— Миром тебя просим, Александр Иваныч, прости нашу темноту. Ты что ж, Евстигнейка, не кланяешься? Кланяйся, сукин сын, и благодари за науку.

И уж совсем дурацки парень благодарил:

— Благодарю, Александр Иваныч, за науку.

Колесников мрачно смотрел на эту церемонию, ухмыляясь не то злобно, не то иронически, и, когда мужики ушли, скосил глаз на задумавшегося Сашу и тихо сказал Андрею Иванычу:

— Вот оно, того-этого, что значит генеральский сын: никак без порки любви своей ему не выразишь. Вы думаете, для себя они пороли? Нет, а думают, что он иначе не поймет и не оценит.

— Темнота, Василь Василич.

— А вы, Андрей Иваныч, интеллигент!

Матрос тихо улыбнулся:

— А вы знаете, как они об Александре Иваныче выражаются, — от вас, конечно, они скрывают, а при мне не стесняются. Трудно без слез слушать: он, говорят, как ангел чистый, он нам Богом за нашу худобу послан, за ним ходи чисто... Барашек он беленький...

— Барашек? — поднял брови Колесников.

— Мы, говорят, что? Мы мужики, и задница у нас не купленная, а он генеральский сын — это действительно говорят, но без всякого умысла, Василь Василич, а от души. Помните арестанта зарезанного? Как вам сказать — и не знаю, а ведь они его для Александра Иваныча зарезали.

Колесников ужаснулся:

— Кто зарезал?

— Кто, не знаю, не говорят, но рассуждение у них было такое: показалось им, будто Александр Иваныч разгневался на арестанта и сам хочет его казнить, так вот, чтоб от греха его избавить, они и забежали... нам, говорят, все едино, всех грехов не учесть, а его душеньке будет обидно.

Что-то совсем страшное, далеко уходящее за пределы обычного, встало перед Колесниковым, и даже его мисти-

чески-темная душа содрогнулась; и чем-то от древних веков, от каменного идола повеяло на него от неподвижной фигуры Саши, склонившего голову на руки и так смотревшего в лесную глубину, будто весь его, все его темные силы звал он на службу. Зашептал Андрей Иваныч, и не был прост и спокоен его обычный ровный голос:

— Вот что еще доложу, Василь Василич, надо бы Александру Иванычу смотреть осторожнее, а то ведь они и этого, Митрофана-то, чуть на тот свет не отправили, ей-Богу, уж совет держали, да я отговорил.

— Совет, того-этого, — и когда они совещаются?

— Кто их знает, говорят, совет. Конечно, так, болтают.

Всмотрелся Колесников в тихие глаза матроса и сердито качнул лохматой головой:

— Эй, Андрей Иваныч, интеллигент, а вы ведь знаете, кто арестанта зарезал... Еремей, ну?

Андрей Иваныч вильнул глазами и вытянулся:

— Никак нет, Василь Василич, не знаю.

Но с этого случая недоразумения с Васью Соловьевым и его присными прекратились, парни были трезвы, а если напивались, то подальше от глаз, и сам Щеголь двигался покорно, неслышно и ловко; и уже несколько раз, будучи расторопен, самостоятельно по поручению Жегулева выполнял некоторые дела и назывался в этих случаях также Сашкой Жегулевым.

И не совсем понятный, но твердый царил порядок.

## 6. Жегулев

В новой лесной жизни с каждым днем менялся Саша Погодин, и на вид имел уже не девятнадцать лет, а двадцать три-четыре — не меньше; странно ускорился процесс развития и роста. Быстро отрастали волосы на голове, и, хотя усов по-прежнему не было, по щекам и подбородку запушилась смолянисто-черная рамочка, траурная кайма для бледного лица; вместе с новым выражением глаз это делало его до боли красивым — не было жизни в этой красоте, ушла она с первой кровью. Исхудал Саша до крайности: почти не спал, ел мало; но в плечах раздался, и поднялась грудь — в прежней груди не уместилось бы новое сердце. Окаменел, — не улыбается, молчит и решительно противится всякому разговору и близости с Колесниковым. Не любит.

— Я тебе не помешаю, Саша? — подходит Колесников, большой, от смущения нескладный и басистый.

— Нет, не мешаешь. Ты что-нибудь хочешь сказать?

— Да ничего особенного. Так, того-этого, поболтать. «Глупое слово: «поболтать!» — с отвращением думает Колесников и присаживается, крикнув:

— Так-то, Саша, и вообще, того-этого... Ты доволен, Саша?

— Доволен.

Тяжелое и глупое молчание. Лицо Саши неподвижно, черты резки и как-то слишком пластичны: не мягкою была рука того неведомого творца, что из белого камня по ночам высекал это мертвое лицо.

— Тебе тяжело, Саша?

Саша поворачивает голову и улыбается, как старый на вопрос ребенка.

— Да. Мучусь. Но ведь так, кажется, и надо?

Колесников не знает, куда деваться от этой улыбки, и мается в бессильном молчании. Жалует его Саша и, чтобы нарушить молчание, говорит:

— Папиросы на исходе, не забыть бы взять. А, в общем, я все-таки меньше стал курить, от воздуха, что ли?

— Отчего ты со мной, мальчик, и поговорить не хочешь? — морщится и гудит Колесников. — Подхожу сейчас и думаю, того-этого: каменный ты стал какой-то. Я, Саша, не люблю фальшивых положений, и если ты что-нибудь имеешь против меня, так и говори, брат, прямо. Бей наотмашь, как ведьм, того-этого, в Киеве бьют. Ну?

— Я ничего против тебя не имею... Зачем ты, Василий, думаешь пустяки!

— Честное слово?

Саша снова улыбается, но уже по-настоящему смешливо и ласково, тихонько похлопывает двумя пальцами Колесникова по жесткому колену и незаметно вздыхает. Колесникову тоже хотелось бы улыбнуться, но вместо того он хмурится еще больше и говорит с упреком:

— Бесчувственный ты человек, Саша! Или у тебя анестезия?

— А ты требовательный человек, Василий: то много мучусь, то мало! Теперь, как врач, ты хочешь сказать, что жертвы под хлороформом не принимаются, — так я тебя понял?

— Какой я врач: лошадиный доктор! Смеешься, Саша?

— Нет. И не смеюсь, и не плачу. Но ты напрасно беспокоишься: мне не так плохо, как ты думаешь, или не так

хорошо, не знаю, чего тебе больше надо. Все идет, как следует, будь спокоен. И, пожалуйста, прошу тебя, к случаю: не заставляй Андрея Ивановича торчать около меня и загоразивать, да и сам тоже. Боишься, что убьют? Пустяки, Василий, я проживу долго, тебя, брат, переживу. Не бойся!

Колесников встал и многозначительно протянул руку:  
— Руку!

Саша ответил пожатием — и рука была твердая, сухая и холодная: лучше бы не касался ее Колесников!

Но и с друзьями-мужиками Жегулев разговаривал неохотно и скупно, больше сидел в одиночку. И это нравилось: придавало ему вид суровой значительности и выделяло из круга, как одинокое дерево на лесной прогалине — и вместе, и одно. Выпадали для лесных братьев свободные и все еще веселые вечера, даже более шумные, так как прибавилось народу; тогда, не стесняясь жарким временем, разводили костер на почерневшем, выгоревшем и притоптанном месте, пели песни, ровным однозвучием многих балалаек навевали тихую думу и кроткую печаль. Завелась и гармоника, и музыкальных дел мастер, Андрей Иванович, играл вальс «На сопках Маньчжурии», подпевая слова. Мужики растроганно сопели и слезливо шмурыгали носами, и даже шутник Иван Гнедых чувствительно высказывался:

— Вот бы наших баб сюда, ах ты, батюшки мои!  
И особенно трогали слова:

Кости солдат давно уж в земле поистлели,  
А мы же могилы не видели их  
И вечную память не пели...

— Хорошие слова, книжные, — говорил Еремей внушительно и окончательно и ободряюще похлопывал Андрея Ивановича по спине, — не робей, матрос, тут тебе не карапы!

Попробовал ту же песню спеть Петруша звонкоголосый, и хотя у него вышло лучше и одобрил сам Василий Васильевич, но мужикам не понравилось: много ты понимаешь, Петрушка, брось, дай матросу. Даже обиделся Петруша и несколько дней совсем отказывался петь, — был он ребячлив, как все истинные таланты, и непрестанно нуждался в сочувствии. И если находила добрая полоса, то пел без усталости, не для людей, а для себя, — звучала в нем песня прирожденно, как в певчей птице. Любили его за это и за кротость души: в горячий мятеж мыслей бессонных и тяжело-кровавых дум вносил он успокоение и тихую ласку.

Случалось, долго не может заснуть Жегулев, ищет без-

надежно, на чем бы успокоиться мыслью, взывает о забвении — и все напрасно; и только одна милая картина, вызываясь из памяти настойчиво, давала под конец облегчение и легкий сон. Идут они будто бы перелесочком; среди широких кустов березняка и дуба заворачивает дорога, и Саша отстал, не торопится. А впереди, виднеясь одними спинами, идут какие-то люди, они же и разбойники, они же и друзья, они же и вольная воля; идут и потренькивают балалайками, задумчиво и стройно, и в ровном гуле струн будят певчую душу самой дороги. Идут люди и играют, идет дорога и поет грустно и длительно, кротко нисходит в овражек. Одни уж головы да звуки над тихой зеленью невинно и одиноко возрастающих кустов. Идут. Уходят.

От шума гармоники, порою нескладного пения и отчаянного пляса, в котором по-прежнему отличался Васька Щеголь, прирожденный плясун, Саша обычно уходил. Зажигал в шалашике огарок и читал ставшую невыносимой книгу «Крошка Доррит», которую взял за толщину и неизвестно за что: горькой нелепостью казались все эти мистеры и мистрис. А чаще уходил он в лес, в глухое и мертвое одиночество. В десятке саженей от стана, над глубоким лесным обрывом, торчал из земли, на самом крутогоре, старый, позеленевший пень: тут и находил Саша свое одиночество; и еще долго спустя это место было известно ближайшим деревьям под именем «Сашкиного крутогора». За ним редко кто следовал, и постепенно установился такой порядок, чтобы и не лезть к атаману, раз он удалился на свое место. И про эти часы Сашиного одинокого сидения Еремей выразался так:

— Мозгует Александр Иванович, мозгами ворочает.

Но одну песню Саша слушал постоянно: это милую свою зеленую рябинушку, — отходило сердце в тихой жалости к своей горькой и мучительной доле. А иногда и мучила песня. Как-то случилось, что особенно хорошо пели Колесников и Петруша, — и многим до слез взгрустнулось, когда в последний раз смертельно ахнул высокий и чистый голос:

Ах, да поздней осенью, ах, да под морозами!..

Было молчанье. И в молчанье осторожно, чтобы не шуметь, поднялся Жегулев и тихонько побрел на свое гордо-одинокое атаманское место. А через полчаса к тому же заповедному месту подобрался Еремей, шел тихо и как будто невнимательно, покачиваясь и пробуя на зуб травинку. Присел возле Саши и, вытянув шею, поверх куста

заглянул для какой-то надобности в глухой овраг, где уже густились вечерние тени, потом кивнул Саше головой и сказал просто и мягко:

— Об мамаше думаешь, Александр Иванович?

И, хотя Саша в эту минуту думал как раз о другом, вопрос мужика точно раскрыл истинную сущность мыслей, и, помедлив, Саша взглянул открыто и ответил:

— Да, о матери.

— Так... Подумай, подумай, Александр Иванович, мы против этого не говорим. Думаешь, так думай, ничего, брат, на то ты человек, а не зверь. Верно?.. Я и говорю, что верно. А недостатки-то есть у мамашки?

— Да, она получает пенсию за отца, отец у меня давно умер.

— Вишь, как хорошо, и достаток есть! Я и говорю, что хорошо; и братья, поди, учатся?

— Братьев у меня нет, а сестра учится.

— Вишь, как хорошо, душа радуется, ей-Богу! Прости, Александр Иванович, если в чем помешал, дай, думаю, пойти покалякать, сидит человек один. Подумай, подумай, это ничего, паренек ты душевный. Сидит человек один, дай, думаю...

Поизвинялся еще, осторожно, как стеклянного, похлопал Сашу по спине и вразвалку, будто гуляет, вернулся к костру. И показалось Погодину, что люди эти, безнадежно глухие к словам, тяжелые и косные при разговоре, как заики, — в глубину сокровенных снов его проникают, как провидцы, имеют волю над тем, над чем он сам ни воли, ни власти не имеет.

И вдруг на мгновение почувствовал себя тем маленьким Сашей, который в ночную пору слушает мощный гул деревьев, — вздохнулось легко и печально.

## 7. Огонь

Плохо обернулось дело: еще человека убил своей рукой Сашка Жегулев; и второе — погиб в перестрелке, умер страшной смертью кроткий Петруша. Произошло это следующим образом.

Довольно рано, часов в десять, только что затемнело по-настоящему, нагрянули мужики с телегами и лесные братья на экономию Уваровых. Много народу пришло, и шли с уверенностью, издали слышно было их шествие. Успели попрятаться; сами Уваровы с детьми уехали, опу-



стошив конюшню, но, видимо, совсем недавно: на кухне кипел большой барский, никелированный, с рубчатыми боками самовар, и длинный стол в столовой покрыт был скатертью, стояли приборы.

— Вот-то чудесно! Чайку поьем, давно, того-этого, за столом не сиживал! — засмеялся Колесников, бывший с утра в хорошем и веселом настроении. — Маша!

— Кого зовешь? — спросил Жегулев.

— Горничную. Маша!

За окнами грабили хозяйственно и тихо, еще не о чем было кричать, разве только под топором затрещит дверь в амбар и около ледника чему-то хохочут; плавают по двору запасенные фонарики. В главном доме было светло и так же тихо, не шумнее, чем при обыкновенных гостях, и в одно из раскрытых, темных окон сильно пахло жасмином, только что расцветшим, сиренью и табаком. Митрофан-Не пори горячку с Васькой Щеголем безнадежно царапался в спальне около несгораемой кассы, пытаюсь открыть и горделиво ругаясь, и над ними подсмеивались; восьмипудовый, сонный Поликарп с тоской вынюхивал еду. Явилась откуда-то успешшая до красноты заплакаться горничная Глаша в фартучке и, признав в Саше барина, стала к нему под покровительство; и уже через пять минут привычно забегала возле стола, привычно кокетничая.

Тронуло Глашу, что ведут себя так хорошо, и, уж не зная, кто она, горничная или хозяйка, нерешительно угощала, — но вдруг расплакалась, глядя на мужиков, и стала их закармливать:

— Ешьте, голубчики, ешьте! Голубчики вы мои, да разве у нас не хватит? Не все пожрали господа, сейчас и еще принесу.

И Еремей за всех благодарил:

— Много вами благодарны.

Наскоро и голодно куснув, что было под рукою, разбрелись из любопытства и по делу: кто ушел на двор, где громили службы, кто искал поживы по дому. Для старших оставались пустые и свободные часы, час или два, пока не разберутся в добре и не нагрузятся по телегам; по богатству экономии следовало бы остаться дольше, но, по слухам, недалеко бродили стражники и рота солдат, приходилось торопиться.

— Ты что же не идешь, Еремей? — удивленно спросил Колесников. — Сделал бы запасец, того-этого.

— Не. Не хочу, нехай им будет пусто, — ответил матерно Еремей и равнодушно покосился в окно.

Странный был человек: прилип к шайке и деятельно помогал, но сам ничем не пользовался, а дома голодали, был самый несчастный мужик на всех Гнедых.

Колесников мягко упрекнул:

— Не для себя, чудак. Хороший ты мужик, а детей, того-этого, голодом моришь.

Еремей нехотя повернул свое темное лицо, и странно — что-то вроде великолепного, барского пренебрежения и к самому Колесникову и к его словам мелькнуло на этом мужицком лице; и равнодушно сказал:

— Чего хлопочешь? Не сдохнут щенки.

— У него, Василь Василич, жена с телегой приехала, — пояснил матрос, — она уж его бранила. Шел бы ты и вправду, Еремей, не гордился бы.

Уже с презрением посмотрел мужик на Андрея Иваныча, ничего не сказал и, переваливаясь, вышел. А Колесников подумал: «Как странно бывает сходство: Елена Петровна — гречанка и генеральша, а этот — мужик, а как похожи!.. Словно брат с сестрой. Слава Богу, сегодня все идет хорошо и приятно, и пьяных мало».

— Плескните-ка еще стаканчик, Андрей Иваныч. Пей, Петруша, что не пьешь?

— Не хочется мне пить, Василь Василич, все будто душа не спокойна: не нагрянули бы!

— Далеко, успеем уйти. Пей!

Саша, не оставляя маузера, пошел осматривать комнаты: интересно было чужое жилище в его не успевшей остынуть жизни. Видно было по всему, что жили люди богатые, культурные, ценившие чистоту и порядок; и что-то в красоте убранства напоминало Елену Петровну. А наверху одна комната совсем смутила Сашу: была и по размеру, и по белизне похожа на его городскую, и постель с наискось отвернутым для ночи одеялом была его, только не хватало образка. И на несколько минут поколебался каменный облик, и с ним отошло все настоящее; Саша бесшумно и крепко притворил дверь и, не желая входить дальше, остановился у порога. Пахло чем-то прежним, кажется, чистым бельем или даже духами. И в темноте — он погасил свечу — его сердце, покинутое ужасом, затеплилось такой радостью, такой любовью и нежной грустью, словно вышел он на свидание к любви своей. Не думалось об утрате, и невозможность раскрыла двери: вышел он на свидание к любви своей, дал ей первый поцелуй, сказал слова нежности, встречи и прощания, всю уместил ее в сердце, широко, теплом и любовном, как июньская ночь, когда

только что распустился жасмин. Совсем забывшись, Саша шагнул к окну и крепким ударом ладони в середину рамы распахнул ее: стояла ночь в саду, и только слева, из-за угла, мерцал сквозь ограду неяркий свет и слышалось ровное, точно пчелиное гудение, движение многих живых, народу и лошадей. Но не понял их значения Саша и, легши на подоконник руками и грудью, прикрыл веками глаза и капля за каплей стал пить пьяный и свежий воздух.

Обеспокоился на минуту, услышав в коридорчике крепкие шаги и ищущий голос Колесникова:

— Эй, дядя, не видал Александра Иваныча?

— Туды прошел, — ответил кто-то, и снова стало тихо.

И снова ушел в свою мечту Саша. Было с ним то странное и похожее на чудо, что как дар милостивый, посылается судьбою самым несчастным для облегчения: полное забвение мыслей, поступков и слов и радостное ощущение настоящей, скрытой словами и мыслями, вечной бестелесной жизни. Остановилось и время.

Но досадно захотелось курить; а когда закуривал и зажег спичку, то вспомнил маузер, и — исчезла тишина. Попытался Саша, повторив позу, вызвать ушедшее, но ничего не вышло, противно заскакали мысли, и потянуло на народ.

— Куда ты запропал, Саша? Нигде тебя не найдешь! — обрадовался Колесников. — На дворе был?

— Да. Налей-ка чаю, Вася, — сказал Жегулев, быстро и весело садясь. — Как у вас тут светло!

— Много пьяных?

— Не видал.

— Здорово! Тебе покрепче, Саша?.. — взглянул Колесников, как из-за очков, поднял удивленно голову и уставился прямо. — Да ты, Саша... чему ты рад, Сашка? Что пьяных мало?.. Ну и чудак же ты, Сашук!

Оба улыбались друга на друга, пока не закричал и не заглясал Колесников, обжегшись кипятком. Подвернулась Глаша в фартучке:

— Позвольте, я налью. А если не крепко, то можно еще подварить, у нас чаю много.

Рояль был раскрыт, и на пюпитре стояли ноты — чуждая грамота для Саши! Нерешительно, разинув от волнения рот, постукивал по клавишам Петруша и, словно боясь перепутать пальцы, по одному держал крепко и прямо, остальные ногтями вжимал в ладонь; и то раскрывался в радости, когда получалось созвучие, то кисло морщился и еще торопливее бил не те. Солидно улыбался Андрей Иваныч и вкривь и вкось советовал:

— А ну-ка сразу по этим!

И тайно конфузился, когда выходило еще хуже, поправляя:

— Да не те, эх, Петруша!

— Александр Иванович, Василь Василыч! — пел Петруша, страдая. — Какая вещь драгоценная, да, ключ-то потерявши, и подступиться не дает.

Саша засмеялся и, подойдя быстро и перегнувшись через Петрушу, заиграл «собачий вальс».

— Это что же такое?

— Собаки танцуют. Слушай!

Попрыгали собачки и сразу на одной ножке сели: не кончив, бросил Саша, — не стоит вспоминать! — и вернулся к столу.

Пришел Еремей, что-то пряча в руке, и за ним хмельной, недовольный и огорченно ругающийся Иван Гнедых:

— Ну и сторонка! Живут люди богато, а взять нечего. И тут наставили, и тут нагородили, и тут без ума намудрили, а взять ни синь пороха не возьмешь, как пригвожденное. Ну и хитрый народ! Михей, вот-то дурак! Зонтик взял, а теперь мается, в дверь пролезть не может, застрял, как в верше. Смехота!

За окнами стало шумнее и набегала тревога: кричали во многие голоса, стукались ободьями и колесами, ругали лошадей. Еремей сурово глянул в сторону окна и сказал:

— Ну и жадный у нас народ, не может порядку установить. Запалить бы, не мигаючи, чего тут!

Но, не договорив, расплылся в широчайшей улыбке и как сиянием окружил себя бородой; и протянул к Колесникову крепко зажатый кулак:

— Глянь-кась, Василь, и что это за штучка?

— Да кулак-то раскрой, вцепился. Ну? Печатка, свою фамилию печатать.

С хрустальной, кругло-граненой ручкой и серебряным штампиком печатка — нечто бесценное, загадочное и блестящее, что могло бы понравиться и вороне, очаровательное тем, что мало, блестит и непонятно.

— А мою фамилию она может? — спросил Еремей, принимая обратно.

— Нет. Брось лучше. Попадешься, худо будет, того-этого.

— Ладно, Василь, брошу, — кротко успокоил Еремей и, улучив минуту, быстро сунул в карман штучку да еще сверху прижал ладонью; поправил бороду и насупился.

Беспокойнее шумел двор — вдруг почувствовалось, что

дом чужой, и потянуло ближе к шуму; колеблясь, толкались по комнате, сразу принявшей вид беспорядка и угрюмости. Встревоженная Глаша сперва жалась к столу, где сидели Колесников и Саша, потом исчезла куда-то. Гоготали около найденного граммофона и, смешливо морщась и покачиваясь на нетвердых ногах, божился Иван:

— Эта самая, провалиться на месте, эта самая! Куда пришла, а? Принесла ее летось учительша, повертела маломало за хвост, да и пусти!.. Аж дрогнул народ! Тут тебе гнусит, как дьячок, тут тебе кандычит, тут тебе слезьми заливается — смехота!

Смеялись уже не от рассказа, а на него глядя.

— А тут урядник с старостой — шашть: слова, что ли, не те, кто ее разберет, да и в холодную, только и пожила. Несут ее, матушку, мужики жалеют, да мне и самому жалко, я и говорю: не бойсь, машинка! теперь не секут. Ей-Богу, правда, на этом месте провалиться!

К удивлению и пуцему смеху смотревших, Иван прослезился, а потом с матерным ругательством хотел ногой ударить граммофон, но не осилил тяжести ноги и чуть не завалился. Запахло в комнате спиртом — видно, не один Иван успел где-то зарядиться, чаще матюкались и точно невзначай пытались что-нибудь разбить или повалить, усиленно харкали и плевались: нарастало жуткое и безобразное. Подтянувшийся Андрей Иваныч внимательно посматривал по сторонам, прислушивался к гудевшему окну и несколько раз, соображая, поглядел на свои серебряные, наградные за стрельбу часы. Свирепо косил глазами и хмурился Колесников: пропало хорошее настроение, и вновь начала томить глухая тоска, под тяжестью которой в последние недели медленно и страшно мертвела его душа...

Жегулев отошел к книжному шкапу и, зажав под мышкой маузер, торопливо перелистывал Байрона, искал страну и, найдя, остановился глазами:

...Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!  
Вот арфа золотая:  
Пускай персты твои, промчавшись по ней,  
Пробудят в струнах звуки рая.  
И если не навек надежды рок унес —  
Они в груди моей проснутся,  
И если есть в очах застывших капля слез —  
Они растают и прольются...

Заглянул через плечо Колесников и усмехнулся угрюмо и злобно:

— Байрон! Вот, Саша, того-этого, и тут читали Байрона.

Жегулев холодно взглянул на него, неторопливо закрыл толстую в переплете книгу и бросил в угол. И вместе с звуком от падения книги, непонятно смешавшись с ним, пронесся далекий женский вопль. Еще крик — теперь ясный зов на помощь, неудержимый женский визг, противно сверлящий уши, злой и жалкий. Короткий перерыв, точно закрыли ладонью рот — и опять с той же высокой и хриплой ноты. Затопал ногами; кто-то, свалившись, загрохотал по лестнице — и комната пропала из глаз. Толкнув кого-то и еще кого-то, на долгое мгновение запутавшись в незнакомых переходах, Саша вылетел к запертой двери, за которой словно дохрипывал голос. Потряс: заперто.

— Отвори!

Сзади поддержали, дышит много народу, кричат. Заревел Колесников, но за дверью тихо и ответа никакого, и, напрягшись, высадил Саша дверь. Навстречу ему из полумрака, освещенный только дверью, смутно двинулся толстый, разъяренный Поликарп, а позади него на постели снова противно завизжала Глаша. Что-то крикнул Поликарп, но Саша не слышал: с яростью, мутившей рассудок, и невыносимым отвращением он раз за разом выпустил десять зарядов маузера, вертя стволом, как жалом, последние пули кидая вниз, в мертвую уже, залитую кровью, разметающуюся тушу. Пороховую вонюю наполнилась комната, как от взрыва. Щелкнув по-пустому, Жегулев обернулся, оскалил зубы на Колесникова и, после короткой борьбы, выхватил у него оружие, повернулся — и тут только понял, что больше не надо.

Заверещала притихшая под выстрелами Глаша и, придерживая выскочившую грудь, выбросилась наружу и бестолково заметалась в толпе мужчин, плакала и кричала, уже никого не боясь:

— Разбойники! Насильники! Га-а-ды! На бабу польстились! Разбойники, Сашки Жегулевы! Га-а-ды!

С отвращением аскета, увидевшего мерзость, с ненавистью любящего, увидевшего в грязи любовь, Саша дернул маузером и дико закричал:

— Молчать, дрянь! У-бью!

Чей-то узловатый кулак ударил Глашу по уху, она упала в дверь и, уже молча, на четвереньках поползла; и дверь захлопнулась. Саша сузил глаза, отчего казалось, что он улыбается, оглядел всех и спросил:

— Ну?

Молчали и, как стена, не имели глаз. Вдруг, все так же

пряча взор, шагнул блестящими сапогами Васька Соловей и по первому звуку покорно спросил:

— Не очень ли уж круто, Александр Иванович?

— Ну? — как масленичная маска, улыбалось лицо Жегулева.

— Не очень ли уж круто, Александр Иванович? Если за всякую бабу...

К счастью для себя, поднял воровские глаза Соловьев — и не увидел Жегулева, но увидел мужиков: точно на аршинных шеях тянулись к нему головы и, не мигая, ждали... Гробовую тесноту почувствовал Щеголь, до краев налился смертью и залисил, топчась на месте, даже не смея отступить:

— Так точно, Александр Иванович, ваша воля...

Жегулев крикнул:

— Собрать своих, Андрей Иванович! Выгнать из кухни баб. Запаливай, Еремей!

Из сада смотрели, как занимался дом. Еще темнота была, и широкий двор смутно двигался, гудел ровно и сильно — еще понаехали с телегами деревни; засветлело, но не в доме, куда смотрели, а со стороны служб: там для света подожгли сарайчик, и слышно было, как мечутся разбуженные куры и поет сбившийся с часов петух. Но не яснее стали тени во дворе, и только прибавилось шуму: ломали для проезда ограду.

— Александр Иванович, Василь Василич, гляньте-ка, окоченко покраснелося, — повернул головой Петруша.

Во многих окнах стоял желтый свет, но одно во втором этаже вдруг покраснело и замутилось, замигало, как глаз спросонья, и вдруг широко по-праздничному засветилось. Забелели крашенные в белую краску стволы яблонь и побежали в глубину сада; на клумбах нерешительно глянули белые цветы, другие ждали еще очереди в строгом порядке огня. Но помаячило окно с крестовым четким переплетом и — сгасло.

Кто-то из глядящих огорченно выругался и вздохнул:

— Эх ты! Сгасло, проклятое!

Но не успел кончить — озарилась светом вся ночь, и все яблони в саду наперечет, и все цветы на клумбах, и все мужики, и телеги во дворе, и лошади. Взглянули: с той стороны, за ребром крыши и трубою, дохнулся к почерневшему небу красный клуб дыма, пал на землю, колыхнулся выше — уже искорки побежали.

Торопливо затолковали голоса:

— С той стороны зажгли! С той стороны!

И тихо взвился к небу, как красный стяг, багровый, дымный, косматый, угрюмый огонь, медленно свирепея и наливаясь гневом, покрутился над крышей, заглянул, перегнувшись, на эту сторону — и дико зашумел, завыл, затрещал, раздирая балки. И много ли прошло минут, — а уж не стало ночи, и далеко под горою появилась целая деревня, большое село с молчаливою церковью; и красным полотнищем пала дорога с тархтящими телегами.

И кто с этой стороны, опоздавший и ослепленный пламенем, встречал скачущих мужиков, тот в страхе прыгал в канаву; смоляно-черные телеги и кони в непонятном смещении оглобель, голов, приподнятых рук, чего-то машущего и крутящегося, как с горы валились в грохот и рев.

## 8. Смерть Петруши

Разбившись на маленькие отряды, как было принято, рассеялись в ночи лесные братья. С Жегулевым остались коренные, Колесников, матрос и Петруша, да еще Кузьма Жучок, тихий и невзрачный по виду, но полезный человек. Бесконечно долго уходили от зарева, теряя его в лесу и снова находя в поле и на горках: должно быть, загорелись и службы, долго краснелось и бросало вперед тени от идущих. Наконец закрылось зарево холмом, и тут только почувствовали идущие, что они устали и что над землею стой тихая, летняя, пышная, уже глубокая ночь.

Присели у межи; Петруша потер руку о траву и сказал: — Росная.

Ржавым криком кричал на луговой низине коростель; поздний опрокинутый месяц тающим серпчком лежал над дальним лесом и заглядывал по ту сторону земли. Жарко было от долгой и быстрой ходьбы, и теплый, неподвижный воздух не давал пролады — там в окна он казался свежее. Колесников устало промолвил:

— Скоро и рассвет: долго нам еще идти. А все-таки приятно, что дом, того-этого... Петруша, ты рад?

— Рад, Василь Василич.

— Теперь, пожалуй, и на скакали, головешки подбирают, — сказал Андрей Иваныч про стражников и протянул папиросу Жучку, — возьми, Жучок.

Жегулев прикинул глазами небо и вслух задумался:

— Не знаю, пересекать ли нам большак или уж прямо?.. Прямо-то версты на две дальше. Как вы думаете, Андрей Иваныч?



— Пойдем через большак, чего там,— сказал Колесников.

— Рассвет к тому времени, как бы не наткнуться,— нерешительно ответил матрос.

— Сами говорите, наскружили, а теперь боитесь. Вздор! Решил вопрос Кузька Жучок, человек с коротким шагом:

— Ну, а встретятся, в лес стреканем,— эка!

Охая и поругиваясь, тронулись в путь, но скоро размялись и зашагали ходко. С каждой минутой бледнела жаркая смуглота ночи, и в большак уперлись уже при свете,— правда, неясном и обманчивом, но достаточно тревожном. Тридцатисаженной аллеей сбегали по склону дуплистые ракиты и чернел узенький мостик через ручей, а за ним лезла в кручу облысевшая дорога и точно готовила засаду за неясным хребтом своим. За ручьем, в полуверсте налево начинался огромный казенный лес, но, в случае чего, до него пришлось бы бежать по открытому, голому, стоявшему под паром полю.

— Долго будем думать? — сердито сказал Колесников и крупно зашагал по склону, вихляя щиколоткой в многочисленных глубоких, еще не разбитых в пыль колеях и колчак; за ним, не отставая, двигались остальные. И уже у самого мостика за шумом своих шагов слышали они другой, более широкий и дружный, несшийся из-за предательской кручи. Сразу догадавшийся Жегулев остановил своих и тихо скомандовал:

— Слушать! Через мост бегом, на подъем, не дойдя до верху, налево до лесу. В случае — залп! Живыми не сдаваться! Двигай!

Сонно и устало подвигались солдаты и стражники — случайный отряд, даже не знавший о разгроме уваровской экономии, — и сразу даже не догадались, в чем дело, когда из-под кручи, почти в упор, их обсеяли пулями и треском. Но несколько человек упало, и лошади у непривычных стражников заметались, производя путаницу и нагоняя страх; и когда огляделись как следует, те неслись по полю и, казалось, уже близки к лесу.

— Гони! — отчаянно крикнул офицер на казачьем седле и выскакал вперед, скача по гладкому пару, как в манеже; за ним нестройной кучей гаркнули стражники — их было немного, человек шесть-семь; и, заматаив их след, затрусили солдаты своей, на вид неторопливой, но на деле быстрой побегом.

Лес был в семидесяти шагах.

— Стой! Пли! — крикнул Жегулев.

Через голову убитой лошади рухнул офицер, а стражники закружились на своих конях, словно танцуя, и молодецки гикнули в сторону: открыли пачками стрельбу солдаты. «Умницы! Молодцы, сами догадались!» — восторженно, почти плача, думал офицер, над которым летели пули, и не чувствовал как будто адской боли от сломанной ноги и ключицы, или сама эта боль и была восторгом.

Колесников, бежавший на несколько шагов позади Петруши, увидел и поразился тому, что Петруша вдруг ускорила бег, как птица, и, как птица же, плавно, неслышно и удивительно ловко опустился на землю. В смутной догадке замедлил бег Колесников, пробежал мимо, пропустил мимо себя Жучка, торопливо отхватывавшего короткими ногами, и остановился: в десяти шагах позади лежал Петруша, опершись на локоть, и смотрел на него.

«Жив!» — радостно сообразил Колесников, но сообразил и другое и... С лицом, настолько искаженным, что его трудно было принять за человеческое, не слыша пуль, чувствуя только тяжесть маузера, он убийцею подошел, подкрался, подбежал к Петруше — разве можно это как-нибудь назвать?

Не мигая, молча, словно ничего даже не выражая: ни боли, ни тоски, ни жалобы, — смотрел на него Петруша и ждал. Одни только глаза на бледном лице и ничего, кроме них и маузера, во всем мире. Колесников поводит над землей стволом и крикнул, не то громко подумал:

— Да закрой же глаза, Петруша! Не могу же я так!

Понял ли его Петруша, или от усталости — дрогнули веки и опустились.

Колесников выстрелил.

## 9. Фома Неверный

...Это было еще до смерти Петруши.

В один из вечеров, когда потренькивала балалайка, перебиваясь разговором и смехом, пришел из лесу Фома Неверный. Сперва услышали громкий, нелепый, то ли человеческий голос, то ли собачий отрывистый и осипший лай: гау! гау! гау! — а потом сердитый и испуганный крик Федота:

— Куда лезешь, черт! Напугал, черт косолапый, чтоб тебе ни дна ни покрывки!

И в свете костра, по-медвежьки кося ногами, вступил огромный, старый мужик, без шапки, в одном рваном

армяке на голое тело и босой. Развороченной соломою торчали в стороны и волосы на огромной голове, и борода, и все казалось, что там действительно застряла с ночевки солома, — да так оно, кажется, и было. И весь он был взъерошенный, встопыренный, и пальцы торчали врозь, и руки лезли, как сучья, — трудно было представить, как такой человек может лежать плоско на земле и спать. Сумасшедшим показался он с первого взгляда.

— И впрямь черт! — сказал Иван Гнедых и пододвинулся к матросу.

Мужик заговорил, и опять стало похоже на собачье гау! гау! Неясно, как обрубленные, вылетали громкие слова из-под встопыренных усов, и с трудом двигались толстые губы, дергаясь вкривь и вкось.

— Где атаман? Атаман тау, атамана тау мне надо, Жегулева, Жегулева тау!

Ему показали на Сашу. Всеми ершами своими он повернулся на Сашу и несколько раз фукнул:

— Фу, фу, фу! Ты атаман? Фу — ну, Рассея-матушка, плохи дела твои, коли мальчишек, тау, тау, спосылаешь! Гляди!

И всеми ершами своими повалился на колени и стукнул лбом; быстро встал.

— Чего тебе надо? — спросил Жегулев.

— Я Фома Неверный. Слушай, тау, тау! Бога нет, ...не надо, душа клеточка. Вот тебе мой сказ!

И быстро оглянулся кругом, ища одобрения, и Еремей строго и одобрительно подтвердил:

— Верно, Фома, садись, гость будешь.

Как-то подвернув ноги, Фома быстро сел наземь и неподвижно уставился на Сашу; но как бы ни тихо сидел он, что-то из него беспокойно лезло в стороны, отгоняло близко сидящих — глаза, что ли!

— Так чего же тебе надо, Фома?

— Я барыню зарезал.

— Какую барыню? За что?

— Не знаю, тау, тау!

Мужики закивали головами, некоторые засмеялись; усмехнулся и Фома. Послышались голоса:

— Чудак человек, да за что-нибудь же надо! Курицу, и ту, а ты барыню.

— Она, эта барыня, что-нибудь тебе сделала? Обидела?

— Не. Какая обида, я ее дотоль и не видал. А так и зарезал, жизнь свою, тау, тау, оправдать хотел. Жизнь, тау, тау, оправдать. С мальчонком.

Замолк нелепо; молчали и все. Словно сам воздух потяжелел и ночь потемнела; нехотя поднялся Петруша и подбросил сучьев в огонь — затрещал сухой хворост, полез в клеточки огонь, и на верхушке сквозной и легкой кучи заболтался дымно-красный, острый язычок. Вдруг вспыхнуло, точно вздрогнуло, и засветился лист на деревьях, и стали лица без морщин и теней, и во всех глазах заблестело широко, как в стекле. Фома гавкнул и сказал:

— Поишь дали бы, братцы. Ишь хоцца.

Жарко стало у костра, и Саша полулег в сторонке. Опять затренькала балалайка и поплыл тихий говор и смех. Дали поесть Фоме: с трудом сходясь и подчиняясь надобности, мяли и крошили хлеб в воду узловатые пальцы, и ложка ходила неровно, но лицо стало, как у всех — ест себе человек и слушает разговор. Кто поближе, загляделись на босые и огромные, изрубцованные ступни, и Фома Неверный сказал:

— Много хожу, тау, тау. Намеднишь на склянку напорлся.

Евстигней подтвердил:

— Это бывает. Работали мы мальчишкой на стеклянном заводе, так по битому стеклу босой ходил. Как мастеру форма не понравится, так хрясь об пол, а пол чугунный. Сперва резались, а потом и резаться перестало, крепче твоего сапога.

Петруша затренькал балалайкой, лениво болтая пальцами.

— Спой, Петруша.

— Нет, не хочется мне петь.

— Так сыграй, чего форсишь. А Фома попляшет!

Мужики засмеялись, и сам Фома охотно хмыкнул — словно подавился костью и выкашливает. Иван Гнедых оживился, сморщился смешливо и начал:

— Нет, погоди, что я на базаре-то слышал! Будто раскапывали это кладбище, что под горой, так что ж ты думаешь? — все покойники окарач стоят, на четвереньках, как медведи. И какие барины, так те в мундирах, а какие мужики и мещане, так те совсем голые, в чем мать родила, так голой задницей в небо и уставились. Ей-Богу, правда, провалиться мне на этом месте. Смехота!

Некоторые засмеялись, Еремей сказал:

— Врешь ты! И откуда в городе мужики?

«Интересно бы узнать, что теперь у нас в городе рассказывают?» — подумал тогда Колесников, привычно, вполслу-

ха, ловя отрывки речей. И вдруг, как далекая сказка, фантастический вымысел, представился ему город, фонари, улицы с двумя рядами домов, газета; как странно спать, когда над головою крыша и не слышно ни ветра, ни дождя! И еще страннее и невероятнее, что и он когда-то так же спал. Взглянул Колесников в ту сторону, где красными черточками и пятнами намечался Погодин, и с тоскою представил себе его: лицо, фигуру, легкую и быструю поступь. Вчера заметил он, что шея у Саши грязная.

«Эх, того-этого!.. — подумал со вздохом Колесников и свирепо скосил глаз на тренькавшего Петрушу. — Еще запоем младенец!» Что-то зашевелилось, и всей своей дикой громадой встопорчился над сидящими Фома Неверный: тоже сокровище!

Шагнул через чьи-то ноги и озирается; как сучья лезут руки, и в волосах стоит солома... или это сами волосы так стоят? Гавкает.

— Да куда ты? — спрашивает кто-то тревожно. — Мамон набил, теперь спать ложись.

— Он постели ищет. Фома, постели ищешь?

— Вся тебе земля постеля, куда прешь? Взвозился, черт намазанный!

— А к атаману, тау, тау! К атаману. К Жегулеву, Александру Иванычу, Жегулеву!

«Завтра же его прогоню, надо Андрею Иванычу сказать», — решил Колесников и видит, что Саша уже встал и Фома закрывает и будто теснит его своей фигурой. Тревожно шагнул ближе Колесников.

— Еще чего? — спрашивает Жегулев. — Спать иди, завтра скажешь.

Фома затурчал:

— Поел я, а за хлеб-соль не благодарю. Ничей он. Слышал мой сказ?

И оглянулся кругом, ища одобрения, но все молчали. Саша ответил:

— Слышал.

— А теперь гляди! — С этими словами Фома быстро опустился на колени и стукнул землю лбом. Так же быстро встал и ждет.

— За что ты мне кланяешься, Фома?

Фома ответил:

— Я всем убивцам в землю кланяюсь, тау, тау. Хожу по Рассее и ищу убивца, как увижу, так и поклонюсь. Прими мой поклон и ты, Александр Иваныч.

И ушел, как пришел, только его и видели, только его

и знали. Дернул ершами, захрустел сучьями в лесу, как медведь, и пропал.

— Экая образаина, черт его подери! Какую комедию развел, комедиант,— прогудел Колесников и неправдиво засмеялся.— Сумасшедший, таких на цепь сажать надо.

Но никто не откликнулся на смех и на слова никто не ответил. И что-то фальшивое вдруг пробежало по лицам и скосило глаза: почуял дух предательства Колесников и похолодал от страха и гнева. «Пленил комедиант!» — подумал он и свирепо топнул ногой:

— Ты что молчишь, Еремей: тебе говорю или нет, подлец!

Еремей, по-прежнему кося глаза, нехотя отозвался:

— Ну и сумасшедший!.. Чего орешь?

Услужливые голоса подхватили:

— Сумасшедший и есть! На ем и халат-то больничный, ей-Богу!

— Дать бы ему хорошего леща... Тоже, хлебца просит, а благодарить не хочет, хлеб, говорит, ничей.

— Поди-ка, сунься к нему, он тебе такого леща даст! Черт намазаны! И голова же у него, братцы; не голова, а омет. Смехота!

— То-то ты и посмеялся!

Андрей Иваныч крикнул:

— Смирно! Тут вам не кабак.

Примолкли, посмеиваясь и подмигивая Андрею Иванычу: ну-ка еще, матрос, гаркни, гаркни! Но чей-то голос явно отчеканил:

— Какой кабак! Храм запрестольный! Всех разбойников собор!

Неласково засмеялись. И опять забалакала балалайка в ленивых руках Петруши, и зевал Еремей, истово крестя рот. Притаптывали костер, чтобы не наделать во сне пожара, и не торопясь укладывались на покой.

Кто приходил и кто ушел? — Кто поклонился земно Сашке Жегулеву? Ушел Фома Неверный, и тишиной лесною уже покрылся его след.

## 10. Васька плясать хочет

На следующий день после смерти Петруши в становище проснулись поздно, за полдень. Было тихо и уныло, и день выпал такой же: жаркий, даже душный, но облачный и томительно-неподвижный — слепил рассеянный свет, и даже

в лесу больно было смотреть на белое, сквозь сучья сплошь светящееся небо.

Благополучно вернувшийся Васька Соловей играл под березой с Митрофаном и Егоркой в три листика. Карты были старые, распухшие, меченые и насквозь известные всем игрокам, — поэтому каждый из игроков накрывал сдачу ладонью, а потом приближал к самому носу и, раздёрнув немного, по глазку догадывался о значении карты и вдумывался.

— Прошел.

— Двугривенный с нашей.

— С нашей тоже. Не форси!

— Полтинник под тебя; видал?

— А это видал: замирил, да под тебя... двугривенный?

— Ходи!

Колесников, помаявшись час или два и даже посидев возле игроков, подошел к Жегулеву и глухо, вдруг словно опустившимся басом, попросил:

— Можно мне, Саша, уйти с Андреем Иванычем? Не хорошо мне, того-этого, мутит.

— Конечно! Куда хочешь пойти?.. Осторожно только, Василий.

— Да пойду на то место, ну, на наше, — он понизил голос, покосившись на игроков. — Землянку копать будем. Тревожно что-то становится...

— Вчерашнее?

— Не столько оно, сколько, того-этого, вообще недоверие, — он понизил голос, — помнишь этого сумасшедшего, как он поклонился тебе? Пустяки, конечно, но мне Еремей тогда, того-этого, не понравился.

— Пустяки, Василий. Когда вернешься?

— Да завтра к полудню. Будь осторожен, Саша, не доверяй. За красавцем нашим, того-этого, поглядывай. Да... что-то еще хотел тебе сказать, ну да ладно! Помнишь, я леса-то боялся, что ассимилируюсь и прочее? Так у волка-то зубы оказались вставные. Смехота!

Еще в ту пору, когда безуспешно боролись с Гнедыми за дисциплину — матрос и Колесников настояли на том, чтобы в глуши леса, за Желтухинским болотом, соорудить для себя убежище и дорогу к нему скрыть даже от ближайших. Место тогда же было найдено, и о нем говорил теперь Колесников.

Ушли, и стало еще тише. Еремей еще не приходил. Жучок подсел к играющим, и Саша попробовал заснуть. И сразу уснул, едва коснулся подстилки, но уже через полча-

са явилось во сне какое-то беспокойство, а за ним и пробуждение, — так и все время было: засыпал сразу как убитый, но ненадолго. И, проснувшись теперь и не меняя той позы, в которой спал, Жегулев начал думать о своей жизни.

Уже много раз со вчерашней ночи он вспоминал свое лицо, каким увидел его в помещицьем доме в зеркале: здесь у них не было осколочка, и это оказалось лишением даже для Колесникова, полушутя утверждавшего, что вместе с электричеством он введет в деревне и зеркала «для самоанализа». Зеркало у Уваровых было большое, и сразу увидел себя Саша во весь рост: от высоких сапог, перетянутых под коленом ремнем, до бледного лица и старой гимназической, летней без герба фуражки; и сразу понравилась эта полужнакомая фигура своей мужественностью. Лица он тогда не рассматривал, но твердо до случая запомнил и теперь, вызвав в памяти, внимательно и серьезно оценил каждую черту и свел их к целому — бледность и мука, холодная твердость камня, суровая отрешенность не только от прежнего, но и от самого себя. «Хорошее лицо, такое, как надо», — решил Жегулев и равнодушно перешел к другим образам своей жизни: к Колесникову, убитому Петруше, к матери, к тем, кого сам убил.

Так же холодно и серьезно, как и свое лицо, рассмотрел убитого телеграфистика, вчерашнего Поликарпа, отвратительную, истекающую кровью сальную тушу, и солдата без лица, в которого вчера бил с прицела, желая убить. Солдат свалился, наверное, убитый. Бесстрастно вставали образы, как на экране, и вся теперешняя жизнь прошла вплоть до Петрушиной осиротевшей балалаечки, но странно! — не вызывали они ни боли, ни страдания, ни даже особого, казалось, интереса: плывет и меняется бесшумно, как перед пустой залой, в которой нет ни одного зрителя. Даже мать, о которой он думал долго, соображая, что она делает теперь, даже Женя Эгмонт, даже покойный отец: видится ясно, но не волнует и не открывает своего истинного смысла. А попробует размыслить и доискаться ускользающего смысла, — ничего не выходит: мысли коротки и тупы, ложатся плоско, как нож с вертящимся черенком. И прошлое хоть вспоминается, а будущее темно, неотзывчиво, совсем не мыслится и не гадается — даже не интересуется.

— Окаменел я! — равнодушно заключает Саша и, решив шелохнуться, с удовольствием закуривает папиросу.

И с удовольствием отмечает, что руки у него особенно тверды, не дрожат нимало, и что вкус табачного дыма четок и ясен, и что при каждом движении ощущается



тяжелая сила. Тупая и покорная тяжелая сила, при которой словно совсем не нужны мысли. И то, что вчера он ощутил такой свирепый и беспощадный гнев, тоже есть страшная сила, и нужно двигаться с осторожностью: как бы не раздавить кого. Он — Сашка Жегулев.

Уже смеркается без заката — или был короток сумрачный закат и невидимо догорел за лесом. В отверстие двери заглядывает темная голова и осторожно покашливает, по удальской линии картуза — Васька Соловей.

— Что надо, Соловьев? — спросил Саша.

— Не спите, Александр Иванович? Поговорить бы надо, дело есть.

— Погоди, сейчас выйду. Еремей не приходил?

— Нет, да и не придет он нынче. Я тут погожу.

Жегулев вышел и, глядя на темнеющее небо, потянулся до хруста в костях. Недалеко куковала кукушка; скоро совсем стемнеет, не видно станет неприятного неба, и наступит прекрасная ночь.

— Пойдем пройтись, Соловьев, дорогой расскажешь.

— Да мне всего два слова, позвольте здесь, — уклонился Соловьев и, показалось, бросил взгляд в ту сторону, где сидели под деревом его двое и маленький Кузька Жучок. Поглядел в ту же сторону и Жегулев и почему-то вспомнил слова Колесникова об осторожности. Не понравился ему и слишком льстивый голос Соловья.

— Говори, — сухо приказал он, спиной прислонившись к дереву и плохо в сумерках различая лицо.

Соловьев раза два перешагнул на месте и, точно выбрав, наконец, ногу, оперся на нее и заложил руку за спину, на сборы поддевки.

— Да я все об том, Александр Иванович, что надо бы вам отчитаться.

Жегулев не понял и удивился:

— Как отчитаться? Первый раз слышу.

— Первый-то оно первый, — сказал Соловей и вдруг усмехнулся оскорбительно и дерзко, — все думали, что сами догадаетесь. А нынче, вижу, опять Василь Василич с матросом ушел деньги прятать, неприятно это, шайке обидно.

Жегулев молчал.

— Деньги-то кровные! Конечно, что и говорить, за вами они не пропадут, как в банке, а все-таки пора бы... Кому и нужда, а кто... и погулять хочет. Вот вы вчера Поликарпа ни много ни мало как на тот свет отправили, а за что? Монастырь какой-то завели... не понимай я вашей хитрости, давно б ушел, человек я вольный и способный.

— Хитрости?

— Можно и другое слово, это как вам понравится.

— Подлости?

— Почему же подлости? Я, Александр Иванович, таких слов не признаю: вы человек умный, да и мы не без ума. Мы уж и то посмеиваемся на мужиков, как вы их обошли, ну, да и то сказать — не всех же и мужиков! Так-то, Александр Иванович,— отчитаться бы миром, а что касается дальнейшего, так мы вас не выдадим: монастырь так монастырь! Потом отгуляем!

Соловьев засмеялся и молодецкато переставил ногу и сплюнул: в ответе он был уверен. И вздрогнул, как под кнутом, когда Жегулев тихо сказал:

— Денег у меня нет.

— Нет?! А где же они?

— Роздал. Выбросил.

— Выбросил?

Соловей задохнулся от ярости и, сразу охрипши, обрываясь, забился в бессознательных выкриках:

— Эй, Сашка, остерегись! Эй, Сашка, тебе говорю!

Жегулев зажал в кармане браунинг и подумал, охваченный тем великим гневом, который, не вмещаясь ни в крик, ни в слова, кажется похожим на мертвое спокойствие: «Нет, убить мало. Завтра придут наши, и я его повешу на этой березе, да при всем народе. Только бы не ушел».

— Потихе, Соловьев. Будешь кричать, убью, а так, может, и сговоримся.

— Кто кого! — кричал Соловей.— Нас трое, а ты один! Сволочь!

Но крикнул еще раз и смолк недоверчиво:

— Отчитывайся, жулик.

— Деньги у Василия.

— Врешь, подлец!

— Ей-Богу, я тебя пристрелю, Соловьев.

Было несколько мгновений молчания, в котором витала смерть. Соловьев вспомнил вчерашние рожи мужиков на аршинных шеях и угрюмо, сдаваясь, проворчал:

— Убивать-то ты мастер; такого поискать.

— Папироску хочешь?

— Свои есть.

Помолчали.

— А ты когда догадался, что я хитрю?

— Да тогда же и догадался, когда увидел,— угрюмо и все еще недоверчиво ответил Соловьев,— сразу видно.

Саша засмеялся, думал: «завтра повешу!» — и слукавил несколько наивно, по-гимназически:

— Ну и врешь, Васька: мужики-то до сих пор не догадались!

— Какие не догадались, а какие...

«Или сейчас убить?»

— А какие?.. И все ты, Васька, врешь. Жаден ты, Васька!

— А ты нет? Я в Румынию уйду. Разбойничий век короток, сам знаешь, до зимы дотяну, а там и айда.

Сам же думал: «Хитрит барин, ни копейки не отдаст, своего дружка ждет. Эх, плакали наши сиротские денежки!»

— А совесть, Вася? — тихо засмеялся Жегулев, и даже Соловей неохотно ухмыльнулся. — Совесть-то как же?

— Ты барин, генеральский сын, а и то у тебя совести нет, а откуда ж у меня? Мне совесть-то, может, дороже, чем попу, а где ее взять, какая она из себя? Бывало, подумаю: «Эх, Васька, ну и бессовестный же ты человек!» А потом погляжу на людей, и даже смешно станет, рот кривит. Все сволочь, Сашка, и ты, и я. За что вчера ты Поликарпа убил? Бабьей... пожалел, а человека не пожалел? Эх, Сашенька, генеральский ты сынок, был ты белоручкой, а стал ты резником, мясник как есть. А все хитришь... сволочь!

— Ты опять?

Соловьев отошел на несколько шагов и через плечо угрожающе бросил:

— Завтра отчитываться... сволочь!

И, презрительно подставляя спину, точно ничего не боясь, неторопливо пошел к своим. Заговорили что-то, но за дальностью не слышно было, и только раз отчетливо прозвучало: сволочь! А потом смех. Отделился Кузька Жучок, подошел сюда и смущенно, не глядя Жегулеву в глаза, спросил:

— Костер-то надо или нет?

— Нет.

— А Соловей приказывает, что надо,— и все так же смущенно и не глядя, заскреб руками по земле, собирая остатки хвороста,— я разожгу. Пусть погорит.

В той стороне бестолково и нескладно в неумелых руках задребезжала балалайка. Жегулев спросил:

— Это что?

— Васька плясать хочет. Петрушина балалаечка. Ушел бы ты куда, Александр Иванович,— раньше он говорил «вы»,— у Митрофана две бутылки с водкой.

— Ты пил?

— Я непьющий. Обыск у тебя хочут сделать, не верют, что деньги у Василия.

— А ты веришь?

Жучок поднял на него свое маленькое покорное лицо и, вздохнув, ответил:

— Мне ваши деньги не нужны.

Уходя на свое место на крутогоре, Жегулев еще раз услышал смех и протяжный выкрик: сво-о-лочь! А вскоре за сеткою листьев и ветвей закраснелся огненный, на расстоянии неподвижный глаз, и вверху над деревьями встал дымный клуб. Не ложились и безобразничали, орали песни пьяными голосами.

Саша еще не знал, какой ужас брошен в его душу и зреет там, и думал, что он только оскорблен: только это и чувствовалось, — другое и чувствоваться не могло, пока продолжались под боком пьяный гомон, наглые выкрики, безобразные песни, притворные в своем разгуле, только и имеющие целью, чтоб еще больше, еще въедчивее оскорбить его. «Только бы дожидаться утра и повесить!» — думал он гневно, не имея силы не слышать; и с одной этой мыслью, не отклоняясь, загораживая путь всему, что не эта мысль, проводил час за часом. Но не двигалась ночь, остановилась, темная, как и мысль. Интересно, что бы подумал и сказал отец-генерал, если бы слышал, как его сыну нагло и безнаказанно кричали: сволочь! «Ах, только бы дожидаться утра и повесить!»

Но не двигалась ночь, и один был, не было возле руки. Раз зашуршало в кустах, и тихий, испуганный голос Жучка окликнул:

— Александр Иваныч! Александр Иваныч, где вы? Я их боюсь.

Ответа не было, и, закрыв на мгновение красный глаз огня, Жучок ушел. И опять потянулась нескончаемая ночь; наконец-то замерзжил нерешительный, нескончаемо-долгий рассвет. Костер едва дымился, и стихли песни: должно быть, ложатся спать. Но вдруг шарахнуло в ветвях над головою и прозвучал выстрел — что это? Жегулев приложил холодное гладкое ложе к щеке и тщетно искал живого и движущегося. Тихо и немо, и в тишине, возвращаясь из мрака и небытия, медленно выявляются стволы дерев, торчком стоящая трава. Неужели ушли?

Почти бегом побежал к потухшему костру: пусто. Зазвенели под сапогом склянки от разбитой бутылки; везде кругом белеют снежно разорванные, смятые страницы

с мистерами и мистрис. Заглянул в шалаш: разворочено, разграблено — а на подстилке, у самого изголовья, кто-то нагадил. Либо с ними, либо от страха сбежал Жучок и где-нибудь прячется.

Один.

И тут только, избавившись от плена единственной и чуждой мысли, Саша почувствовал ужас и понял впервые, что такое ужас. Закружился, как подстреленный, и громко забормотал:

— Воры! Что же это такое? Воры, воры, ушли... Га-а-ды!

И встало перед глазами лицо вчерашней Глаши и ее полное отвращения, стонущее:

— Га-а-ды! Сашки Жегулевы!

Захотелось пить так, словно только в этом был весь смысл и разгадка настоящего. Но бочонок опрокинут, видимо, нарочно, кувшин также разбит. Догадавшись, полез с кручи к еле бежавшему ручью и только внизу почувствовал неловкость в пустых руках и вспомнил о маузере — куда его бросил? Но когда напился и намочил лицо и волосы, стал соображать и долго смотрел на крутой, поросший склон, по которому сейчас то полз он, то катился, ударяясь о стволы. Нашупал, не глядя, разорванную ткань на колене, а под ней тихо ноющую ссадину. Что это за ручей — был он здесь когда-нибудь?

Еще много часов оставалось до прихода Колесникова, и за эти часы пережил Саша ужаснейшее — даже самое ужасное, сказал бы он, если бы не была так бездонно-исчерпаема кошница человеческого страдания. Все еще мальчик, несмотря на пролитую кровь и на свой грозный вид и имя, узнал он впервые то мучительнейшее горе благородной души, когда не понимается чистое и несправедливо подозревается благородное. Справедлива совесть, укоряя: он пролил кровь невинных; справедлива будет и смерть, когда придет: он сам разбудил ее и вызвал из мрака; но как же можно думать, что он, Саша, бескорыстнейший, страдающий, отдавший все — хитрит и прячет деньги и кого-то обманывает! Чего же тогда нельзя подумать про человека? И чего же стоит тогда человек — и все люди — и вся жизнь — и вся правда — и его жертва!

Жить рядом и видеть ежедневно лицо, глаза, жать руку и ласково улыбаться; слышать голос, слова, заглядывать в самую душу — и вдруг так просто сказать, что он лжет и обманывает кого-то! И это думать давно, с самого начала, все время — и говорить «так точно», и жать руку, и ничем не обнаруживать своих подлых подозрений. Но, может быть,

он и показывал видом, намеками, а Саша не заметил... Что такое сказал вчера Колесников об Еремее, который ему не понравился?

О, ужас! Кто скажет, что все они не думают так же, но молчат и ждут чего-то, а потом придут и скажут: вор! Мать... а она знает наверное? А Женя Эгмонт?..

На мгновение замирает мысль, дойдя до того страшного для себя предела, за которым она превращается в голое и ненужное безумие. И начинает снизу, оживает в менее страшном и разъяряется постепенно и грозно — до нового обрыва.

...А те бесчисленные, не имеющие лица, которые где-то там шумят, разговаривают, судят и вечно подозревают? И если уж тот, кто видел близко, может так страшно заподозрить, то эти осудят без колебаний и, осудив, никогда не узнают правды, и возьмут от него только то гнусное, что придумают сами, а чистое его, а благородное его... да есть ли оно, благородное и чистое? Может быть, и действительно — он вор, обманчик, гад?

Останапливается мысль. Спокойно, как во сне, Саша закуривает папиросу и громко, разговорно, произносит:

— Сегодня опять будет облачно.

О том, что он произнес эту фразу, он никогда не узнал. Но где же недавняя гордая и холодная каменность и сила? — ушла навсегда. Руки дрожат и ходят, как у больного; в черные круги завалились глаза и бегают тревожно, и губы улыбаются виновато и жалко. Хотелось бы спрятаться так, чтобы не нашли, — где тут можно спрятаться? Везде сквозь листья проникает свет, и как ночью нет светлого, так днем нет темного нигде. Все светится и лезет в глаза — и ужасно зелены листья. Если побежать, то и день побежит вместе...

Ах! Кто-то идет.

Все ближе и ближе подходит странный Еремей. Почему-то улыбается и почему-то говорит:

— Здравствуй, Александр Иванович.

И повторяет:

— Здравствуй, Александр Иванович.

Но уже заметил, по-видимому, в каком состоянии Саша, хотя и не совсем понимает: остановился и смотрит жалостливо, с участием... или это кажется Саше, а на самом деле тоже думает, что он вор и попался? Саша улыбается, чистит испачканный бок и говорит, немного кривя губами:

— Ах, это ты, Еремей. А я тут... бок испачкал. Показалось мне...

— Сашенька!

Это он сказал: Сашенька... Кто же он, который верит теперь — лучший человек на земле или сам Бог? И так зеленые листья, вернувшиеся к свету, и так непонятно страшна жизнь, и негде укрыться бедной голове!

В бреду Саша. Вскрикнув, он бросается к Еремею, падает на колени и прячет голову в полах армяка: словно все дело в том, чтобы спрятать ее как можно глубже; охватывает руками колени и все глубже зарывает в темноту дрожащую голову, ворочает ею, как тупым сверлом. И в густом запахе Еремея чувствует осторожное к волосам прикосновение руки и слышит слова:

— Сашенька, миленький... Головушка ты кудрявенькая, душенька ты одиноченькая. Испужался, Сашенька?

Васька Соловьев, назвавшись Жегулевым, собрал свою шайку и вплотную занялся грабежом, проявляя дикую и зверскую жестокость. Одновременно с ним появился и другой, никому неведомый самозванец, плетшийся в хвосте обеих шаек и всех сбивавший со следа.

## 11. Елена Петровна

Елену Петровну вызвал к себе губернатор, назначив время вечером в неприемный час.

Задолго до назначенного времени послали за извозчиком — поблизости от Погодиных и биржи не было — и наняли его туда и обратно. Линочка помогла матери одеться и со всех сторон оглядела черное шелковое, на днях сшитое платье, и они остались довольны: платье было просто и строго. Вынули драгоценности; на отвыкших похудевших пальцах покраснелись и засверкали камешки; густая бриллиантовая брошь, тяжелая от камня, долго с непривычки чувствовалась выпершими старческими ключицами сквозь тонкий шелк. На левой стороне груди Елена Петровна приколола, как жетон, маленькие, давно не идущие часики на короткой бантиком цепочке и уж больше ничего не могла надеть, так как все остальное годилось только для декольте и пышной молодой прически. Надевая же, о каждой вещице рассказала Линочке давно известную историю.

Готова Елена Петровна была за целый час, но на извозчика села с таким расчетом, чтобы опоздать на десять минут; и эти добровольные, искусственные десять минут

показались обеим самыми долгими, губернатор же о них даже и не догадался.

— А очки? — спохватилась Линочка уже в передней и незаметно смахнула с глаз слезу.— А очки-то и забыла, старушечка.

Очки, действительно, забыла Елена Петровна, только недавно стала носить и еще не привыкла к ним, постоянно теряла. Наконец нашлись и очки, и уже поспешно сели обе, поправляясь на ходу: Линочка должна была ждать Елену Петровну на извозчике. Смеркалось и было малолюдно; пока ехали по своей улице и через пустынный базар, сильно пылили колеса, а потом трескуче, по-провинциальному, запрыгали по неровному камню мостовой. Мелькнул справа пролет на Банную гору и скрытую под горой реку, потом долго ехали по Московской улице, и на тротуарах было оживление, шаркали ногами, мелькали белые женские платья и летние фуражки: шли на музыку в городской сад.

— Так смотри же, мамочка! — неопределенно попросила Лина, помогая матери слезть.— Я тебя жду.

В пустом кабинете губернатора, куда прямо провели Елену Петровну, стояла уже ночь: были наглухо задернуты толстые на окнах портьеры, и сразу даже не догадаться было, где окна; на столе горела единственная под медным козырьком неяркая лампа. Глухо, как за стеной, прогремит извозчик, и тихо. Но внутри, за дверью, шла жизнь: говорили многие голоса, кто-то сдержанно смеялся, тонко звякали стаканы — по-видимому, только что кончался поздний, по-столичному, губернаторский обед. Не торопясь, дрожащими руками Елена Петровна открыла футляр с золотыми очками и осмотрела комнату, но ничего не увидела в темноте. Мебель и какие-то картины.

Внезапно распахнулась дверь, и быстрыми шагами вошел Телепнев, губернатор. Елена Петровна медленно привсталала, но он, пожимая тонкую руку, поспешно усадил ее.

— Прошу вас, прошу вас, Елена?..

— Елена Петровна.

От Телепнева сильно пахло вином, толстая шея над тутим воротником кителя краснела, как обваренная кипятком, и лицо с седыми подстриженными усами было вздуто и апоплексически красно. На несвежем, зеленовато-желтом кители пристал пепел от сигары, и вообще что-то несвежее, равнодушное к себе было во всем его генеральском облике. Говорил он громко и очень быстро, округляя губы и недоговоренные слова заменяя пожатием плеч под пого-



нами или наивным вздергиванием бровей; легко с виду становился свирепым, но не страшным. Много кашлял и после каждого припадка кашля мучительно краснел, и в глазах появлялось выражение испуга и беспомощности.

— Вам угодно было пригласить меня...

— Да, да! Бога ради, простите, Елена Петровна, что... Но мое положение хуже губернаторского!

Он засмеялся, но не встретил ответа и подумал: «Какая икона, не люблю с такими разговаривать!» И, внезапно расвирепев, двигая погонами и бровями, торопливо заговорил:

— Я шучу, Елена Петровна, но!.. Только из уважения к памяти вашего супруга, моего дорогого и славного товарища, я иду, так сказать, на нарушение моего служебного долга. Да-с!

И строго добавил, поднимая брови и толстый палец:

— Он был святой человек! Мы все, его однокашники, чтим его память, как!.. Скажу без преувеличения: доживи он до сегодняшнего дня — да-с! — и он был бы министром, и, смею думать, дела шли бы иначе! Но!..

Он развел руками и вздохнул:

— Честнейший человек, и жаль, что... Вы мне разрешите курить, Елена Петровна? Только табаком и живу.

— Пожалуйста, вы у себя дома,— сухо ответила Елена Петровна, а про себя подумала: «невежа!».

— Да-с, нарушение долга, но что поделаешь? Ужасные времена, ужасные времена! Искренно страдаю, искренно боюсь, поверьте, нанести жестокий удар вашему материнскому сердцу... Но не прикажете ли воды, Елена Петровна?

Елена Петровна слабо ответила:

— Благодарю вас, не надо.

Телепнев болезненно сморщился и, понизив голос, сказал:

— Искренно страдаю, но, Боже мой!.. Вам известно... но нет, откуда же вам знать? Вам известно, что этот... знаменитый разбойник, о котором кричат газеты — Сашка Жегулев! — при перечислении он с каждым словом свирепел и говорил все громче.— Сашка Жегулев есть не кто иной, как сын ваш, Александр?

До этой минуты Елена Петровна только догадывалась, но не позволяла себе ни думать дальше, ни утверждать; до этой минуты она все еще оставалась Еленой Петровной, по-прежнему представляла мир и по-прежнему, когда становилось слишком уж тяжело и страшно, молилась Богу и просила его простить Сашу. До этой минуты ей казалось,

и это было чуть ли не самое мучительное, что она умрет от стыда и горя, если ее страшные подозрения подтвердятся и кто-нибудь громко скажет: твой сын Саша — разбойник. А с этой минуты весь мир перевернулся, как детский мяч, и все стало другое, и все понялось по-другому, и разум стал иной, и совесть сделалась другая; и неслышно ушла из жизни Елена Петровна, и осталась на месте ее — вечная мать. Что это за сила, что в одно мгновение может сдвинуть мир? Но он сдвинулся, и произошло это так неслышно, что не услышали ничего ни Телепнев, ни сама Елена Петровна. Просто: на миг что-то упало и потемнело в глазах, а потом стало совершенно так же, как всегда, и была только тихая радость, что Сашенька жив. И еще, вскользь, определилась и мелькнула мысль, что надо будет сегодня, когда вернется домой, помолиться сыну Сашеньке.

Губернатор, чтобы дать оправиться, нагнулся и с притворным гневом фыркал над какими-то бумагами, но все большее становилось молчание.

— Вы молчите, Елена Петровна?

Она шевельнулась в полумраке, хрустнув шелком, мысленно пригладила волосы и с достоинством ответила:

— Благодарю вас, генерал, за любезность.

«Какая любезность?» — с недоумением подумал Телепнев, но все же обрадовался, что миновало, и так благополучно. Но ведь еще не все! И снова бурно застрадал:

— Ужасные времена, что делается! Но, дорогая Елена Петровна, это еще не все, что я имею доложить, и только в память дорогого Николая Евгеньевича... Ваш Саша, насколько мне известно, хороший мальчик и...

— Да, Сашенька хороший мальчик. Я вас слушаю, генерал.

— Хороший мальчик! — повторил Телепнев и в ужасе поднял обе руки. — Нет, подумать только, подумать только! Хороший мальчик — и вдруг разбой, гр-р-рабительство, неповинная кровь! Ну пойдти там с бомбой или этим... браунингом, ну это делается, и как ни мерзко, но!.. Ничего не понимаю, ничего не понимаю, уважаемая, стою, как последний дурак, и!..

Уже не думая о посетительнице, болея своей болью, он отбросил кресло и заходил по комнате, кричал и жаловался, как с женою в спальне, и было страшно за его красное, вздутое лицо:

— Говорят: зачем вешаешь, зачем вешаешь? Эта дура барабанная, болонка африканская тоже: у тебя, Пьер, руки в крови, а? Виноват... здесь интимное, но!.. Да у меня, мило-

стивые государи и всякие господа, голова поседела за восемь месяцев, только и думаю, чтобы сдохнуть, одна надежда на кондрашку! Да у меня, милостивые государи, у самого дети...

Он остановился и кулаком гулко ударил себя в грудь:

— Дети! А что будет с ними завтра, я знаю? Нет: я знаю, что будет с ними завтра?

Елена Петровна что-то вспомнила из далекого прошлого и неуверенно спросила:

— Кажется, Петя? — думая, — «ровесник моему Сашеньке».

Телепнев свирепо ответил:

— Да-с, Петя! Именно Петя! Каждый день просыпаюсь и жду, что... Вчера приходит этот адвокат, плачет, старая каналья — виноват! — похлопочите, Петр Семенович, у вас связи, завтра моего, как его... Сашу, Петю, вешают! Вешают? Ну и пусть вешают. Пусть, пусть, пусть!

Что-то еще хотел крикнуть, но обиженно замолчал. Вынул одну папиросу, — сломал и бросил в угол, вынул вторую и с яростью затянулся, не рассчитав кашля: кашлял долго и страшно, и, когда сел на свое кресло у стола, лицо его было синее, и красные глаза смотрели с испугом и тоской. Проговорил:

— Да-с!

Помолчали.

— Так вот, Елена Петровна, — заговорил Телепнев устало и тихо, — дело в следующем. Этот ваш хороший мальчик... ведь он хороший мальчик! — наверное, захочет повидать вас, да, да, конечно, как-нибудь воровски, ну там через забор или в окно... Так вот, Елена Петровна, — он многозначительно понизил голос, — за вашей квартирой установлено наблюдение, и его схватят. Уезжайте.

Елена Петровна тяжело дышала, хватаясь за грудь, где приколоты были часики. Покачивалась взад и вперед, и тугой шелк поскрипывал.

— Елена Петровна!..

— Се... Сейчас.

Дыхание стало не так шумно.

— Конечно, надо бы предупредить, но... Надеюсь, впрочем, вы не имеете сношений с преступником, негодяем, иначе!..

— Сейчас.

— Уезжайте, Елена Петровна, совсем из города, совсем.

— Нет, я не уеду.

— Что-с? Впрочем, воля ваша. Не смею настаивать... но подумайте же, сударыня, подумайте! Или вы хотите?..

— Я перемену квартиру. Он не узнает. Сашенька, придешь ты, а мать-то твоя убежала, убежала мать, мать-то.

Откровенно, по-старушечьи, она подставила глазам губернатора свое искаженное слезами лицо и, смотря на него, как на Сашеньку, повторяла, покачивая головой:

— А мать-то убежала... убежала.

Телепнев оперся головой на руки, оставив на виду только морщинистый, бритый, дрожащий подбородок, и молчал. Глухо, как за стеной, прогромыхал извозчик. Тишина стояла в губернаторском доме, было много ненужных комнат, и все молчали, как и эта.

Елена Петровна вытерла под очками глаза, потом сняла очки и положила в футляр, вздыхая. Опустила футляр в сумочку и встала. Встал и Телепнев и приготовился к поклону. Но, к удивлению его, Елена Петровна посмотрела на него задумчиво и с достоинством, сухо и гордо, как генеральша, спросила:

— Я очень вам благодарна, Петр Семенович... но не ответите ли вы мне на мой женский вопрос: по какой вашей морали допустимо, чтобы подстерегали мальчика, идущего на свидание к матери?

Телепнев угрюмо и нетерпеливо повел погонями:

— Оставим это, Елена Петровна. Ваш вопрос, извините, действительно женский.

— Да? не спорю. Но по какой вашей мужской морали сын, идущий к матери, должен быть схвачен? Не должны ли вы все склониться и закрыть глаза, пока он проходит? А потом уж хватайте, там, где-нибудь, где хотите, я этого не знаю.

— Он не сын, а... преступник, злодей! Убийца!

— Вы думаете? Но, когда он идет к матери, он только сын. Сын не может быть убийца, опомнитесь, генерал!

Телепнев сердито притворился смеющимся:

— С этакой логикой, сударыня... Все негодяи от кого-нибудь да родились же!..

— От отцов.

— Тогда черт — виноват! — возьми отцов. Но, позвольте! — это чепуха, вы сами виноваты, раз не даете детям вашим воспитания.

— Нет, это вы виноваты. Зачем заставляете нас рожать? чтобы потом их вешать?

— Чепуха! Бабья логика!

Они бранились, как старики, и никто бы не подумал,

войдя со стороны, что он губернатор, а она просительница, мать разбойника Сашки Жегулева. Телепнев, краснея, кричал:

— Честных людей мы не вешаем, а разбойников будем вешать всегда, сам Бог установил Страшный суд! Страшный суд — подумайте-ка, это вам не наша скорострелка, да-с!

Елена Петровна вдруг совсем тихо, почти шепотом сказала:

— Это неправда: Страшного суда нет.

Теперь уж не притворно, но еще сердитее засмеялся губернатор:

— Так-с, теперь и Страшный суд не надо! Для Сашеньки с Петенькой, может быть, и Бога не надо? Нет-с, ваш Сашенька зверь, и больше ничего! Вы читали, нет, вы читали, что этот самый Сашка Жегулев на днях помещика пытал, на огне, подлец, жег подошвы, допытывался денег. Это как вы назовете?

Елена Петровна села.

— А стрелочника с детьми кто зарезал? Я или вы? А... да что! Впрочем... Вам не дать воды? Ну, не надо воды... Эх, Николай Евгеньич, Николай Евгеньич, хорошо, друг, что не дожил ты до!.. Хороший мальчик... Нет, ничего не понимаю, хоть самого повесьте.

Елена Петровна встала и спокойно промолвила:

— Это не Саша сделал.

— Не спорю!

— А если Саша, то, значит, так надо, и это хорошо.

— Что-с?!

Шагнул даже вперед и — вдруг ему стало страшно. И даже не мыслями страшно, а почти физически, словно от опасности. Вдруг услышал мертвую тишину дома, ощутил холодной спиной темноту притаившихся углов; и мелькнула нелепая и от нелепости своей еще более страшная догадка: «Сейчас она выстрелит!» Но она стояла спокойно, и проехал извозчик, и стало совестно за свой нелепый страх. Все-таки вздрогнул, когда Елена Петровна сказала:

— До свидания. Будьте добры, генерал, проводите меня, я не знаю дороги.

— Виноват! К вашим услугам.

У первой ступеньки на каменную лестницу, красневшую своей суконной дорожкой, он простился с Еленой Петровной и на мгновение, пожимая холодную, прозрачную старую руку, задумался в нерешимости: не поцеловать ли? Но мысленно махнул рукой и в отчаянии подумал: «Все равно! Эх, кондрашка бы поскорее!»

Линочка издали увидела, — ближе не позволили извозчику остановиться, — как вышла из стеклянной двери мать, поддерживаемая почтительно швейцаром, и долго копалась в сумочке, чтобы дать на чай. И когда села наконец мать и тронулся извозчик, Линочка взглянула на нее и, громко плача, спросила:

— Мамочка, ну что?

## 12. Пустые дни

В июле для Сашки Жегулева и его лесных братьев наступил неожиданный роздых.

Отяжелел хлебный колос — и земля, горько проклинаемая за бесплодие, ненавидимая за тесноту, вечно обманывающая земля властно потянула к себе: и ушла в труд, рассеялась по полям трудолюбиво взволнованная рать Гнедых, добровольных Жегулева приспешников. Прекратились поджоги и разгромы усадеб; выполз с жатвенной машиной осмелевший помещик, приказчик осипшим от молчания голосом закричал на баб — наступило перемирие. Васька Соловей со своими злодеями ушел в дальний, сплошь лесной уезд и там промышлял около железной дороги и почты, собираясь, по слухам, перекинуться на реку — по старому доброму разбойничьему обычаю. Из пребывания своего у Жегулева он вынес опыт, что без мужика долго не проживешь, а пожалуй, и страх перед мужиком, и для доброго имени совершил несколько нехитрых фокусов: в одном дружественном селе, на праздник, притворяясь пьяным, с разными чувствительными словами, щеголяя, выбросил толстый бумажник на драку; и по примеру воткинского Андрона добыл-таки волостного старшину и среди бела дня, под хохот мужиков, выдрал его розгами. Это действительно дало ему доброе имя. А так как жил он разгульно и весело и вся шайка купалась в вине, то шли к нему охотно, и вся голытьба, не сживавшаяся с Жегулевым, липла к нему, как мухи на падаль. И так возросла его сила, что грозился он при встрече перерезать горло самому Жегулеву, презрительно называл его барином и кричал об обмане и подлости.

Но на страдную пору притих и Соловей, а Жегулеву с его немногими коренными пришлось и совсем побездействовать; и уже казалось порою, что прежнее кончилось и больше не вернется. Словно в полузабытьи, теряли они счет пустым и скучным дням, похожим друг на друга, как листья с одного дерева; начались к тому же невыносимые даже в лесу жары и грозы, и во всей природе наступило

то июльское бездействие и роздых, когда перестает видимо расти лист, остановились побеги, и лесная, редкая, никому не нужная трава словно тоскует о далекой острой косе. Что делали? Прятались от проливных с грозой дождей и выкопали землянку; одно время повадились мирно ломать грибы, но те скоро в жаре прошли; говорили о пустяках, местных мужицких делах, слушали рассказы о Ваське Соловье. Но не говорили ни о прошлом, ни о будущем. Да и вообще стали молчаливы, незаметно уподобляясь лесу, как-то научились ничего не делать, как не делает ничего ожидающий ездока извозчик, или — заряженный браунинг.

Колесников с неделю помучился от острого ревматизма ног и еще более пожелтел и высох; был ровно мрачен и минутами задумывался почти до столбняка. Чуть ли не больнее, чем Сашу, поразила его история с Соловьевым, перепутала все его расчеты и соображения, загнала в какой-то дикий, сумасшедший тупик. То, что издали, в широком объёме глаза, казалось понятным и достижимым, вблизи утеряло свой ясный смысл, разменялось на тысячу маленьких действий, разговоров, смутных настроений, частичных выкладок и соображений. Так с берега смотрит пловец на бушующее море и видит ясный порядок, в котором движутся валы, и соображает, как плыть; но вот он в воде — все изменилось, на месте порядка хаос, взамен закона — своеволие.

Не то страшно в Соловьеве, что он подлец, даже и не то, что он не поверил в ихнюю чистоту, а то — что действия его похожи и называется он также Сашка Жегулев. Так же отдаёт деньги бедным, — такая идет о нем молва, — так же наказывает угнетателей и мстит огнем, а есть он в то же время истинный разбойник, грабитель, дурной и скверный человек. Еще различают Сашек Жегулевых мужики, но, видимо, с каждым днем стираются границы и теряется понимание: уже похваливают иронически Соловья и с меньшим уважением относятся к Саше, говорят: твой-то Соловей!.. Зачем же тогда чистота, зачем бескорыстие и эти ужасные муки? — кто догадается о жертве, когда потерялся белый агнец в скопище хищных зверей и убойного скота, погибает под ножом безвестно!

— За что погубил я Сашу? Предатель я! — часто думает Колесников, но еще не решается признать своих мыслей за последнюю истину, колеблется, надеется, на лица ищет ответа. Что же будет с ним, когда признает? — Об этом и гадать страшно.

Задумывается и Андрей Иванович. По-прежнему молча-

ливый, услужливый, скромный, словно совсем не имеющий своих радостей, своего горя и воспоминаний, порою он так удивленно оглядывался красиво-спокойными глазами, как будто искал что-то ненайденное; и, снова ничего не найдя, покорно отдавался ожиданию и темной воле других. Из всех троих он один сохранил чистоту одежды и тела: не говоря о Колесникове, даже Саша погрязнул и, кажется, не замечал этого, а матрос по-прежнему через день брил подбородок и маленькой щеточкой шмурыгал по платью; смешал порошу с салом, чтобы чернело, и смазывал сапоги. И было у него одно тайное мученье, нечто вызывавшее чувство нестерпимого стыда и чуть ли не отчаяния: это маленькая незаживающая рана на левой ноге, под коленом, у кости. Задела как-то шальная пуля, и показалось, что завтра заживет, а вместо этого прикинулось, въехалось в кость, стало нехорошо пахнуть. Уходя в лес, он подолгу возился с гниющей раной и по-своему врачевал ее: поливал керосином, раз прижег даже порохом, но не помог и порох. При других он не купался, чтобы не увидели, и на ходу, выдерживая боль, старался не хромать. Главное, в чем стыд,— пахло нехорошо.

Считалось их в эту затишную пору всего семеро: они трое, Федот, никуда не пожелавший идти со своим кашлем, Кузька Жучок, Еремей и новый — кривой на один глаз, неумный и скучный парень, бывший заводской, по кличке Слепень. Еремей было ушел, потянувшись за всеми, но дня через три вернулся с проклятьями и матерной руганью.

— Да стану я ее тревожить? — кричал он презрительно про свою полосу,— да нехай она, как стояла так и стоит до самого Господнего суда. Колоса тронуть не позволю, нет моей воли, пусть сам посмотрит, на чем Еремей сидит! Нет моего родительского благословения, три дня пил и еще три дня пить буду! — если деньжонок дадите, Александр Иванч.

Но денег ему не дали, и он остался в лесу лежать.

— Ляжать буду! — заявил он угрюмо и лег на спину, чтобы виднее с неба было, что он именно лежит и ничего не делает. И как над ним ни смеялись, как ни ругал его матрос,— он замкнулся в презрительное молчание и лежал истово, с ненавистью, с тоскою, с бунтом. Мужички веруя в труд, он в этом состоянии нарочитого безделья самому себе казался ужасным, невероятным, более грешным и бунтующим, чем если бы каждый день резал по человеку или жег по экономии: резать — все-таки труд. Этого не понимал Колесников и ругательски ругался:



— Иди землянку копать, черт!

Снизу вверх пренебрежительно, даже без досады смотрел Еремей и кратко отвечал:

— Не пойду.

— Да для народа же, чучело, сам же под крышу лезешь, как дождь идет. Иди, того-этого.

— А... мне на твой народ.

— Ну и не пушу под крышу!

— Брешешь, Василь, пустишь.

Даже не улыбается, а говорит себе просто и с легким сожалением, нехотя беседует. Так и остался лежать, а в дождь забирался под крышу и иронически ухмылялся, — совсем рехнулся мужик.

Но точно и все лежали — бесконечно тянулось пустое и бездеятельное время. Раз невольно стало и, подумав, отправились втроем в гости, в Каменку, к одному знакомцу, верному и хорошему человечку. Там мирно пили чай с баранками и уже решили было заночевать, но воспротивился Колесников. Он вышел посмотреть, что делается на улице, и понравилось черное на западе небо, тревога туч, побелевшие в жутком ожидании ракиты. Днем под солнцем деревня с своими прогнившими соломенными крышами казалась черною, а теперь точно выбелили ее и вымели начисто, вылепили как игрушку из серой глины. Пройди человек, и он показался бы глиняным, но попряталось все живое.

— Идем, ребята, пречудесно! — сказал Колесников, сгибаясь в низенькой двери и внося с собою крепкий запах свежего перед дождем воздуха. — Душа радуется.

И от слов, и от радостного лица, а главное, от этого крепкого и вольного запаха, которым сразу зарядилось платье и борода Колесникова, — в избе стало душно и скучно, и показалось невозможным не только ночевать, а и час лишний провести. Весело заторопились.

— Замочит! — уговаривал знакомец, — а то и громом зашибет, на большаке беда, наемни три ракиты выжгло. Оставались бы, Александр Иванович, да и ты, матрос, пусть Василь один идет!

Посмеялись, но внезапное решение сложилось так твердо, как это, кажется, только и бывает с внезапными, да еще и причудливыми решениями; и уже через пять минут шагали между плетнями, пьяные от тяжкого и возбужденного запаха конопли; выбирались на большак.

— Ну и хорошо же! — повторял Колесников и как-то особенно на ходу выгибал колена, чувствуя в себе что-то лошадиное, способное к бесконечному ходу и резвости.

— А ведь время-то совсем раннее! — весело подтвердил матрос, пряча часы в замшевый футляр.

— Да ну? а сколько?

— Тридцать пять минут восьмого!

— Да ну! А я думал, что девять, не меньше... Ночевать, нет уж, спасибо, того-этого. Хо-хо-хо!

Засмеялись; и все трое вспомнили почему-то кротокого Петрушу, но без обычной боли, а с тихим умилением и отпускающей жалостью. Вздохнули — и еще резвее заработали ногами.

— Саша! хорошо?

— Хорошо, Вася.

Радовало все: и то, что не идут по делу и не уходят от погони, а как бы гуляют свободно; и то, что нет посторонних, одни в дружбе и доверии и не чувствуют платья, как голые. После кривых и узких переулков, затемненных огорожей и деревьями, большак удивил шириною и светом, и щедрыми представились те люди, что могли так много места отвести под дорогу. Но и тут, как на деревне, все казалось выбеленным, вылепленным из серой глины и навеки в ожидании застывшим. Застыла как будто и грозовая туча, в безветрии еле подвигаясь на своих невидимых крылах; забеспокоился Колесников:

— Да еще будет ли? Не прошло бы так!

— Будет! — уверенно ответил Саша, серый, как все кругом. — Ну и безлюдье же!

— Стой! подметка оборвалась, — крикнул Колесников сердито и запрыгал на одной ноге, стараясь оторвать закруглившуюся, тонкую, отставшую кожу. Хохотали, на него глядя, и Андрей Иванович сказал:

— Да вы сядьте, Василь Василич... ну и чудак!

— А вы лучше ножик дайте, чем... Эх!

Колесников сел и, ругательски ругая сапоги, те самые, что были гордостью когда-то, отрезал вьющийся кончик и почувствовал удовольствие, как настоящий оператор: ловко!

Саша серьезно сказал:

— Надо новые, Василий, в случае беды бежать в этих...

— Хороши и эти, я их поправил. Ходу!

Быстро угасал свет, как под чьею-то рукою; и уже в полной темноте, чернильном мраке, разразилась запоздавшая медленная гроза и хлынул потоками проливной теплый дождь: пречудесно! Мгновенно налились водою колдобины и колеи, под ногами размокло, поползло, зашлепало, до нитки промокло платье, я щекотали лицо и губы креп-

кие струи — трубою гудел дождь, теплейший ливень. Зева-ли молнии, нагоняя одна другую, ветвясь дрожаще и тонко; ломаясь коленами — вверх и вниз, поспешая, катался гром, грохотал по лестнице, всю черную высь заполнил ревом. Если бы не молнии — не только не найти дороги, а и друг друга потеряли бы в плещущейся темноте, изначальном хаосе. Колесников не то пел, не то так ревел от восторга, но при свете был виден только открытый рот, а в темноте только голос слышен: разделился надвое.

В промежутках темноты весело переключались; долго стояли перед мостиком, никак не могли понять при коротких ослепляющих вспышках: вода ли это идет поверху, или блестят и маячат лужи. В темноте, пугая и веселя, редела вода; попробовал сунуться Колесников, но сразу влез по колена — хоть назад возвращайся!

— Пройдем, ничего! — возбужденно говорил матрос. — Перильца-то держатся!

— Снесет, того-этого, за ноги тащит!

— Идем!

Проскочили: шатались под ногами мостовины, и вода тащила коварно, сбивая под ножку, и упал-таки Колесников, поскользнувшись, но, по счастью, при выходе — только искупался.

Еще чудесный час шли они под грозою, а потом в тишине и покое прошли густо пахнущий лес, еще подышали сонной коноплею на задворках невидимой деревни и к двум часам ночи были в становище, в своей теплой и почти сухой землянке.

— Какое блаженство: культура! — гудел Колесников, укладываясь спать. — Тебе нравится, Сашук?

— Я еще прошелся бы.

— Можно простудиться. Но какой чудесный вечер!

И, когда Саша уже засыпал, вдруг запел несносным фальцетом, подражая знаменитому тенору:

— Привет тебе, приют невинный, привет тебе, приют...

Было так глупо, что оба захохотали.

— Буде, того-этого. Спать!

### 13. Ярость

— Что? наработали? — злорадствовал, лежа, Еремей, с приятностью встречая возвращающихся, словно побитых мужиков, — ложись-ка, брат, да полежи, мне земли не жалко!

Обманула земля. Еще уборка не отошла, а уж повалил к Жегулеву народ, взамен надежд неся ярость и точно ослепший, ко всему равный и беспощадный гнев. Кончились дни затишья и ненужности. Многие из пришедших точно стыдились, что их удалось обмануть, избегали взгляда и степенничали, смягчая неудачу; но были и такие, что яростно богохульствовали, орали как на сходке, в чем-то попрекая друг друга:

— Я у тебя хлеба прошу, а ты мне что даешь? Ты мне что даешь, я тебя спрашиваю!

— Только и остается, что...

— Нет, ты мне ответь: я у тебя чего прошу?..

Колыхнулось первое после затишья зарево, и вновь закружил огонь, страшный и послушный бог бездельного человечества. И если раньше что-то разбиралось, одного жгли, а другого нет, держали какой-то свой порядок, намекающий на справедливость, то теперь в ярости обманутых надежд палили все без разбора, без вины и невинности; подняться к небу и взглянуть — словно сотни и тысячи костров огромных раскинулись по темному лону русской земли. И если раньше казалось Жегулеву, что он чем-то управляет, то теперь, подхваченный волной, он стремительно и слепо неся в огненную темноту — то ли на берег, то ли в пучину.

Вначале даже радостно было: зашумел в становище народ, явилось дело и забота, время побежало бездумно и быстро, но уже вскоре закружилась по-пьяному голова, стало дико, почти безумно. Жгли, убивали — кого, за что? Опять кого-то жгли и убивали: и уже отказывалась память принимать новые образы убитых, насытилась, жила старыми.

Разбивали винные лавки, и мужики опивались до смерти; и все пили, и появилась в стану водка, и всегда кто-нибудь валялся пьяный и безобразный; только характером да отвращением к памяти пьяного отца удержался Саша от соблазнительного хмеля, порою более необходимого, чем дыхание. Удержался и Колесников, но Андрей Иванович был два раза пьян, в хмелю оказался несносным задирой и подрался, и несколько дней, умирая от стыда, ходил с синяками и опухлостями на чисто выбритом лице. После этого, впрочем, он больше не пил. Опился и сгорел на пожаре Иван Гнедых, шутник, то ли мертвый уже, то ли крепко до самой смерти уснувший.

Что-то дикое произошло при встрече с Васькой Соловьевым. В яростном и безумном, что теперь творилось, Со-

ловьев плавал, как рыба в воде, и шайка его росла не по дням, а по часам. Ушли к нему от Жегулева многие аграрники, недовольные мягкостью и тем, что ничего Жегулев не обещал; набежали из города какие-то темные революционеры, появились женщины. Раз при нападении на поезд, вообще кончившемся неудачей, Ваське удалось шегольнуть бомбами — доставил кто-то из городских: и многие пленились его удачью. Точно колеблясь, он именовал себя то Жегулевым, то по-настоящему с некоторой робостью заявлял, что он Васька Соловьев, и вновь прятался за чужое, все еще завидное имя. Вообще же чувствовал себя великолепно, жил как в завоеванной земле и в пьяном виде требовал от мужиков, чтобы приводили девок. Непослушных таскал за бороды — осмелел. Через Митрофана-Не пори горячку завел сношения с полицией, говоря великодушно: всем хватит! И сознавал себя благодетелем, о чем, пьяный, заявлял со слезами.

Встретились обе шайки случайно, при разгроме одной и той же винной лавки, и, вместо того чтобы вступить в пререкания и борьбу, побратались за бутылкой. А обоих атаманов, стоявших начеку с небрежно опущенными маузерами, пьяные мужики, суя в руки бутылки с отбитыми горлышками, толкали друг к другу и убеждали помириться. И Васька, также пьяный, вдруг прослезился и отдал маузер Митрофану, говоря слезливо:

— Господи, да разве я что! Я понимаю. Александр Иваныч так Александр Иваныч!

Он был уже не в черной, а в синей поддевке с серебряными цыганскими круглыми пуговицами и уже вытирал рот для поцелуя, когда вдруг вскипевший Колесников кинулся вперед и ударом кулака сбил его с ног. На земле Васька сразу позабыл, где он и что с ним, и показалось ему, что за ним гонятся казаки, — пьяно плача и крича от страха, на четвереньках пополз в толпу. И мужики смеялись, поддавая жару, и уступками толкали его в зад — тем и кончилось столкновение.

— Успокойся, Саша! Тебе говорю, успокойся! — глухо говорил Колесников, своей широкой ладонью закрывая дуло маузера и сам весь дрожа от гнева. — Я... я его ударил, с него довольно, успокойся, Саша!

— Он без оружия. Но если он еще...

— Нет, нет, успокойся, его убрали.

Странно во всех делах вел себя Еремей: созерцателем. Всюду таскался за шайкой, ничему не мешал, но и не содействовал; и даже напивался как-то снисходительно. Но

в одном он всех опережал: смотрел, позевывал — и, не ожидая приказа, рискуя поджечь своих, тащил коробок со спичками и запаливал; и запаливал деловито, с умом и расчетом, раньше принюхавшись к ветру. Если был поблизости народ, то и пошучивал.

И захваченные волной, ослепшие в дыму пожаров, не замечали они, ни Саша, ни Колесников, того, что уже выдилось ясно, отовсюду выпирало своими острыми краями: в себе самой истощалась явно народная ярость, лишенная надежд и смысла, дотла, вместе с пожарами, выгорала душа, и мертвый пепел, серый и холодный, мертво глядел из глаз, над которыми еще круглились яростные брови. И не видели они того, что уже других путей ищет народная совесть, для которой все эти ужасы были только мгновением, — ищет других путей и готовит проклятие на голову тех, кто сделал свое страшное дело.

Жертва уже принесена. А принята ли? — тому судьей будет сам народ.

#### 14. В лесу

Кто-то выдал Сашку Жегулева.

Вечером он, Колесников и матрос были опять в гостях в Каменке, у своего знакомца, а на обратном пути попали под выстрелы стражников, притаившихся в засаде. Спасла их только темнота да лес. Но Колесников был смертельно ранен: пуля прошла под правой лопаткой и остановилась по другую сторону, под ребрами. Саша и матрос решили лучше самим погибнуть, но Василия не оставлять, и в темноте под слепыми пулями поволокли его, часто останавливаясь в изнеможении. Тяжел был Колесников, как мертвый, и Саша, державший его под мышки и чувствующий на левой руке свинцовую, безвольно болтающуюся голову, перестал понимать, живого они несут или мертвого. Сомневался и Андрей Иваныч, но говорить некогда было.

В версте от дороги совсем остановились, и Андрей Иваныч сказал:

— Не могу больше! Положим.

Положили на землю тяжелое тело и замолчали, прислушиваясь назад, но ничего не могли понять сквозь шумное дыхание. Наконец услышали тишину и ощутили всем телом, не только глазами, глухую, подвальную темноту леса, в которой даже своей руки не видно было. С вечера ходили по небу

дождевые тучи, и ни единая звездочка не указывала выси: все одинаково черно и ровно.

— Как бы дождь не пошел,— сказал Саша, прислушиваясь.

— Лучше будет, следы закроет. Мне все лицо ветками исцарапало, чуть глаз не выколол. Беда, Александр Иваныч!

— Беда. Как же мы теперь? Как вы думаете: он опасно?

Саша хотел сказать другое, но слишком страшно и больно было выговорить. И, думая то же, что и Саша, матрос сказал:

— Надо посмотреть.

— Молчит.

— Это ничего. Эх!

— Что вы?

— Фонарик потерял, должно, веткой с пояса сорвало. Такая темень! Попробую со спичкой... Василь Василич!

— Молчит. Вася!

— И не стонет! — вдруг испугался матрос. — Уж не помер ли, Господи помилуй!

Наконец отлегло от сердца: Колесников дышал, без памяти, но жив; и крови вышло мало, а теперь и совсем не шла. И когда переворачивали его, застонал и что-то как будто промолвил, но слов не разобрали. Опять замолчал. И тут после короткой радости наступило отчаяние: куда идти в этой темноте?

— Ничего не понимаю! — говорит Саша, безнадежно ворочая головой, — я теперь и назад дороги не найду. Откуда мы пришли?

— Беда! До дому нам далеко, надо к леснику: до него версты четыре, а то и меньше.

— К леснику! А как его найти? — ничего не вижу, ничего не понимаю.

Оба замолчали в отчаянии и, не видя друг друга, безнадежно ворочали головами. Матрос сказал:

— А вы так попробуйте, Александр Иваныч: ляжете на зёмь и молчите, ничего про дорогу не думайте, она себя покажет.

Попробовал Саша и так и как будто нашел: в смутных образах движения явилось желание идти — и это желание и есть сама дорога. Нужно только не терять желаний, держаться за него крепко.

Пошли. Набрав в легкие воздуха, подняли молчащее тяжелое тело и двинулись в том же порядке: Андрей Иваныч, менее сильный, нес ноги и продирался сквозь

чашу, Саша нес, задыхаясь, тяжелое, выскользящее туловище; и опять трепалась на левой руке безвольная и беспомысленная, словно мертвая, голова. Уже через сотню саженей решили, что заблудились, и круто повернули вправо, потом влево; а потом перестали соображать и доискиваться и кружились без мыслей. Зашуршал по листьям редкий теплый дождь, и вместе с ним исчезла всякая надежда найти лесную сторожку: в молчаливом лесу они шли одни, и было в этом что-то похожее на дорогу и движение, а теперь в шорохе листья двинулся весь лес, наполнился звуком шагов, суетою. И, казалось, что, уставая с каждым новым шагом до изнеможения, они не подвигаются с места. Мутилось в голове. Несколько раз осматривали Колесникова, не умер ли, и, кроме страха и жалости, был в этом расчет: если умер, то можно не нести.

Сильнее накрапывал дождь. Все ждали, когда почувствуется под ногами дорога, но дорога словно пропала или находилась где-нибудь далеко, в стороне. Вместо дороги попали в неглубокий лесной овраг и тут совсем лишились сил, замучились до полусмерти — но все-таки выбрались. От дождя и от боли, когда втаскивали наверх, Колесников пришел в себя и застонал. Забормотал что-то.

— Вася, ты что?

— Са... са... Я са...

Насилу разобрали, что он сам хочет идти, и Андрей Иванович, чувствующий неподвижность и полное бессилие его ног, заплакал тихонько, пользуясь скрывающей темнотою. А Колесников, оживая от дождя и боли, стал выворачиваться и мешать; и с тоскою сказал Саша:

— Вася, милый, лежи тихо, очень трудно, когда шевелишься.

Покорно обвис, но сознание, видимо, просветлялось. Глухо сказал:

— Брось.

— Знаешь, что не брошу, и лежи. Сейчас дойдем.

— Шапку.

Плакать или смеяться? Должно быть, и Колесников сквозь туман сознания и боль почувствовал смешное; и, чтобы увеличить его, пробормотал нечто, имевшее, как ему казалось, ужасно смешной смысл:

— Того-этого...

И был уверен, что они смеются, а они не поняли: от усталости сознавали чуть ли не меньше, чем он сам. У Андрея Ивановича к тому же разболелась гниющая ранка на ноге, про которую сперва и позабыл — невыносимо стано-



вилось, лучше лечь и умереть. И не поверили даже, когда чуть не лбом стукнулись в сарайчик — каким-то чудом миновали дорогу и сзади, через отросток оврага, подошли к сторожке.

И только тут, в сторожке, когда обмытый и кое-как перевязанный Колесников уже лежал на лавке и не то дремал, не то снова впал в забытие — понял Жегулев ужасное значение происшедшего. Восстановилось нарушенное равновесие событий и то, что в первые полубезумные минуты казалось пустяками: то, что их, несомненно, предали, то, что завтра же утром их могут застигнуть в сторожке, то, наконец, что Колесников умирает и умрет, — встало перед сознанием, окружило и сознание, и жизнь кольцом безысходности. Был тут один такой момент, когда Жегулев просто почувствовал себя мертвым, не живущим, как повешенный в тот короткий миг, когда табуретка уже выдернута из-под ног, а петля еще не стянула шеи, — настолько очевидно было видение замкнутого круга. Жизнь, потеряв надежду и смысл, отказывалась чувствовать себя жизнью.

«Этого не может быть, чтобы он умер. Хотя я всегда ожидал и знал, что это будет, но этого не может быть, чтобы он умер. Если он умрет, это будет значить, что он и раньше не жил, и не жил и не живу я, и вообще ничего не существует, кроме очень длинного, непонятного, зачем оно, и легкого, как паутина, сна. А если это сон, то ничего не страшно, и, следовательно, он не умрет», — опоминаясь, подумал Саша: чтобы снова стать собою, жизнь утверждала чудо, как естественное, признавала бессмыслицу, как истину, логически законченную. И вместе с жизнью вернулись к юноше ее волнения, ее живые заботы и страх, и томление надежды, и безутешная скорбь. Боясь, что может услышать Колесников, Саша вызвал матроса в сенцы и шепотом спросил:

— Андрей Иваныч, кто нас выдал?

В шуме разошедшегося дождя не расслышал ответа и переспросил:

— Я говорю: нас выдали?

— Так точно, полагаю, что выдали.

— Кто?

Не увидел, но догадался, что матрос пожимает плечами. Молча думали оба и, не найдя лица, молча вернулись в избу. Хозяин, один из Гнедых, равнодушный ко всему в мире, одинокий человек, раздумчиво почесывался со сна и вопрошительно смотрел на Жегулева. Тот спросил:

— Ты что?

— Уйтить бы мне. Стражники не пришли бы.

— Боишься?

— Выходит, что боюсь. Уйтить бы мне, а?

Жегулев и матрос переглянулись: «выдаст!», но как-то все равно стало, пусть уходит. Может быть, и не выдаст.

— Ступай, только хлеба да воды оставь.

Ушел, равнодушный к темноте и дождю, к тому, кто умирает на его лавке, пожалуй, и к себе самому: скажи ему остаться, остался бы без спора и так же вяло укладывался бы спать на полу, как теперь покрывался от дождя рогожей. Нет, этот не выдаст. Но когда остались вдвоем и попробовали заснуть — Саша на лавке, матрос на полу — стало совсем плохо: шумел в дожде лес и в жуткой жизни своей казался подстерегающим, полным подкрадывающихся людей; похрипывал горлом на лавке Колесников, может быть, умирал уже — и совсем близко вспомнились выстрелы из темноты, с яркостью галлюцинации прозвучали в ушах. Матрос поднял голову.

— Что вы, Андрей Иванович? — шепотом, пугаясь, спросил Саша.

— Стреляют где-то.

Долго слушали оба: нет, показалось.

— Вот что, Андрей Иванович: вы спите, а я пойду караулить.

— Лучше я!

Оба встали: уже нельзя было без страха вспомнить, как это они чуть не заснули, не выставив караула. От страха начинало биться сердце. Матрос торопливо снаряжался и уже у двери шепнул:

— Огонь загасите!

От самой постели начиналась темнота, от самой постели начинался страх и непонятное. Андрею Ивановичу лучше наружи, он хоть что-нибудь да видит, а они как в клетке и вдвоем — вдвоем. Под углом сходятся обе лавки, на которых лежат, и становится невыносимо так близко чувствовать беспамятную голову и слышать короткое, частое, горячее и хриплое дыхание. Страшен беспамятный человек — что он думает, что видит он в своей отрешенности от яви?

Темно и мокро шумит лес, шепчется, шушукается, постукивает дробно по стеклу и по крыше. Почему-то представляются длинные, утопленнические волосы, с которых стекает вода, неведомые страшные лица шевелят толстыми губами... уж не бредит ли и он? Липы в саду шумели иначе: они гудели ровно и могуче, и седой Авраам встречал под

дубом Господа, в зеленом тенистом шатре приветствовал Его. Праздничное солнце озаряло пустыню, и в белых ангельских одеждах светло улыбался Господь: и Ему приятно было, что тень, что холодна ключевая вода...

— Пить,— просит Колесников.

Напился, роняя капли с почерневших сухих губ, и снова хрипит, тускло бормочет: сколько ни слушать, слов не разберешь. Это они двое в темноте: те, что ходили весною стрелять из браунинга, а потом по шоссе, те, что спокойно сидели в спокойной комнате и разговаривали. Кто этот, называемый Колесников, Василий Васильевич, Вася? Где его близкие и кто они? — кого известить о его кончине? — кому пожаловаться о его смерти: такому, чтобы понял и почувствовал горе? Не может быть, чтобы так кончилось все: закопают его в лесу, и уйти навсегда из этого места, и больше никогда и нигде не будет никакого Колесникова, ни его слов, ни его голоса, ни его любви.

Темнота кажется необычной: положительно нельзя поверить, что и прежде, дома, Саша видел такой же мрак, мог видеть его в любую ночь, стоило погасить свечу,— этот теперешний угольный мрак, душный и смертельно тяжкий в своей непроницаемости, есть смерть. Боже мой! — что такое жизнь? Почему он, Саша, вместо того чтобы лежать в своей комнате на своей постели, находится здесь в какой-то сторожке, слушает хрип незнакомого умирающего человека, ждет других людей, которые придут сейчас и убьют его? Если он в своей комнате, то справа — протянуть руку — будет столик, спички и свеча...

Пусто. Нет ни столика, ничего — пусто. Саша садится и, не в силах совладать со страхом, жжет одну за другою спички и старается смотреть в самый огонь, боится увидеть, что по сторонам. Приотворяется дверь, и матрос шепчет торопливо:

— Выйдите-ка, Александр Иваныч!

Дождь сильнее: так же шуршит и шепчет листва, но уже гудят низкие, туго натянутые басовые струны, а в деревянные ступени крыльца льет и плещет тяжело. Мгновениями в лесу словно светлеет... или обманывает напряженный глаз...

— Вслушайтесь-ка! — шепчет матрос.

Как будто идут... или обманывает слух? Погодин говорит решительно:

— Никого. Идите, Андрей Иваныч, в избу, я подежурю.

— Измучился я тут,— незнакомым, робким и доверчи-

вым голосом отвечает матрос, — все чудится что-то. Должно гроза идет, погромыживает будто.

— Скоро рассвет?

— Ой нет: часа еще три ждть. Так я пойду... в случае, стукните в дверь, я спать не буду. Как Василь Василич?

— Все так же. Плохо!

Тут действительно лучше: понятнее и проще все, приятен влажный воздух, пахнувший грозовым запахом и лесным гнильем. И все чаще безмолвные голубые вспышки, за которыми долго спустя весь шум леса покрывается ровным, объединяющим гулом: либо вдалеке проходит сильная гроза, либо подвигается сюда. Погодин закуривает папиросу и глубоко задумывается о тех, кто его предал.

Все ближе надвигается гроза.

## 15. Бред Колесникова

К утру Колесникову стало лучше. Он пришел в себя и даже попросил было есть, но не мог; все-таки выпил кружку теплого чая. От сильного жара лошадиные глаза его блестели, и лицо, покраснев, потеряло страшные землистые тени.

Открыли нижние половинки обеих окон: после отшумевшей на рассвете грозы воздух был чист и пахуч, светило солнце. И хотя именно теперь и могли напасть стражники — при солнечном свете не верилось ни в нападение, ни в смерть. Повеселели даже.

От жара у Колесникова путались мысли, и он не все понимал, всеми интересами отошел куда-то в сторону и приятно грезил. Он даже не спросил, где они находятся, и, видимо, не догадывался о засаде, как-то иначе, по-своему, представлял вчерашнее. Насколько можно было догадаться, ему казалось, что вчера произошло нападение на какую-то экономию, пожар, потом удачная и счастливая перестрелка со стражниками; теперь же он считал себя находящимся дома, в городской комнате, и почему-то полагал, что около него очень много народу. Так как говорил он при этом связно, глядел сознательно, то очень трудно было понять эти странные перемещения в мозгу и освоиться с ними. Несколько раз, начиная раздражаться, он спрашивал о каком-то сапожнике — насилу уразумел Саша, что речь идет о бывшем его хозяине. Вдруг спросил:

— А Петруша не ранен?

Наклонившийся к нему Андрей Иваныч — говорил он

тихо и слабо, запинаясь,— едва сумел не отшатнуться и ответил:

— Нет, Василь Василич, не ранен.

Что-то очень долго соображал Колесников, раздумчиво глядя прямо в близкие глаза матроса, и сказал:

— Надо ему балалайку подарить.

— Я... свою подарю.

— Ну? — обрадовался Колесников и с тихой насмешкой улыбнулся одними глазами: интеллигент!

К этой балалайке и все к одним и тем же вопросам, забывая, он возвращался целое утро и все повторял понравившееся: интеллигент; потом сразу забыл и балалайку и Петрушу, и начал хмуриться, в каком-то беспокойстве угрюмо косился на Погодина и избегал его взгляда. Наконец подозвал его к себе и заставил наклониться.

— Тебе больно, Вася?

— Да. Прогони тех,— указал на тех многочисленных, которые двигались, шумели, говорили громко до головной боли, создавали праздник, но очень утомительный и минутами страшный.— Прогони!

— Я их прогнал. Тебе дать воды?

— Нет. Наклонись. Отдай мои сапоги Андрею Иванычу.

— Хорошо.

Видимо, он помнил прежние сапоги, какими гордился, а не теперешнюю рвань.

— Наклонись, Саша! Иди к матери, к Елене Петровне. Как ее зовут?

— Елена Петровна. Хорошо, я пойду.

— Пойди. Непременно.

— Да.

Колесников улыбнулся. Снова появились на лице землистые тени, кто-то тяжелый сидел на груди и душил за горло,— с трудом прорывалось хриплое дыхание, и толчками, неровно дергалась грудь. В черном озарении ужаса подходила смерть. Колесников заметался и застонал, и склонившийся Саша увидел в широко открытых глазах мольбу о помощи и страх, наивный, почти детский.

— Вася!

Но умирающий уже забыл о нем и молча метался. Думали, что началась агония, но, к удивлению, Колесников заснул и проснулся, хрипло и страшно дыша, только к закату. Зажгли жестяную лампочку, и в чернеющий лес протянулась по-осеннему полоса света. Вместе с людьми двигались и их тени, странно ломаясь по бревенчатым стенам и потолку, шевелясь и корча рожи. Колесников спросил:

- Ушли?
- Да, ушли.
- Пить!

Но немного выпил и, отказываясь, стиснул зубы; потом просил есть и опять пить и от всего отказывался. Волновался все сильнее и слабо перебирал пальцами, — ему же казалось, что он бежит, прыгает, вертится и падает, сильно размахивает руками. Бормотал еле слышно и непонятно, — а ему казалось, что он говорит громко и сильно, свободно спорит и смеется над ответами. Прислонился к горячей печке спиной, приятно заложил нога за ногу и говорит, тихо и красиво поводя рукою:

— Теперь зима, и за окнами бегут сани, сани, сани...

Но подхватили сани и понесли по скользкому льду, и стало больно и нехорошо, раскатывает на поворотах, прыгает по ухабам — больно! — больно! — заблудились совсем и три дня не могут найти дороги; ложатся на живот лошади, карабкаясь на крутую и скользкую гору, сползают назад и опять карабаются, трудно дышать, останавливается дыхание от натуги. Это и есть спор, нелепые возражения, от которых смешно и досадно. Прислонился спиной к горячей печке и говорит убедительно, тихо и красиво поводя легкою рукою:

— Если я умер, то это еще не доказательство.

Все смеются, и больше всех он сам. Саша наклонился и говорит:

— Тише! За нами гонятся. Бежим!

Все, задыхаясь, побежало, запрыгало, и все по лестницам, все вверх, через заборы и крыши. С крыши виден огонь, а внизу темнота, скользкие мокрые камни, каменные углы, и из водосточной трубы льет вода: надо скорее назад! Все шире разливается вода, и у берега покачивается белая лодка. А на высоком берегу стоит село, и там сегодня Пасха, и в белой церкви звонит колокол, много колоколов, все колокола. Гладко, без единой морщинки, легла вода и не струится, не дышит; покойно и надолго светит солнце. Саша сел на корточки и пьет прямо горстью, смеется:

— Россия.

Елена Петровна, молодая и прекрасная, совсем не та, которая была по ошибке, гладит Сашину голову и смеется:

— Вы видите, какой он мальчик: пьет кровь и говорит, что это Россия.

Все замутилось кровью и дымом и в ужасе заметалось. Необходимо пить, иначе умрешь, а пить нельзя, все кровь:

в стакане, водопроводе и во рту — кислая и пахнет красным вином. Саша наклонился и кричит:

— Нет, ты пей!

И нельзя отвести головы, тычет прямо в зубы, льет сильно и кричит:

— Пей, Вася!

Стихло. Прислонился спиной к горячей печке и говорит степенно, тихо и красиво поводя легкой рукою:

— Вы не так меня поняли, Елена Петровна,— и, подумав, добавляет: — Того-этого! Раз я отдаю сапоги Андрею Иванычу, то, следовательно, он ходит, а я умираю. Я никогда ничего не имел, Елена Петровна, и вся моя душа, вся моя любовь, вся нежность моя...

Тут оба они плачут тихо и радостно, и Елена Петровна говорит:

— Позвольте, я вас поцелую в лоб, как тогда.

— Пожалуйста, я буду очень рад.

Целует, и губы у нее нежные, молодые, прекрасные,— даже стыдно. Но стыдиться не надо, так как она его невеста и скоро будет свадьба, она и сейчас в белой фате и с цветами.

— Надо ехать,— говорит он торопливо и беспокойно,— мы можем опоздать.

— Но ведь это вы умираете, а не Саша?

— Саша здоровехонек!

Оба смеются, и дышится так легко и глубоко... даже совсем не дышится, не надо.

— Спой мне, мама. Я умираю.

Колесников скончался, не приходя в себя, около двух часов ночи. Саша и матрос, работая по очереди, в темноте выкопали глубокую яму, засыпали в ней мертвеца и ушли.

## 16. Пробуждение

Бывают такие полосы в жизни, когда от сильного горя и усталости либо от странности положения здоровый и умный человек как бы теряет сознание. Для всех окружающих, да и для себя, он все тот же: так же и ест, и пьет, и разговаривает, и делает свое дело, плачет или смеется,— ничего особенного и не заметишь: а внутри-то, в разуме и совести своей, он ничего не помнит, ничего не сознает, как бы совершенно отсутствует. Так бывает со многими вдовами, с женихами на свадьбе, с полководцами во время отступления; так же, пожалуй, бывает с плохими, останавливающимися часами, которые некоторое время надо

подталкивать рукою, чтобы шли. Очень часто из этого опасного состояния возвращаются к жизни, даже не заметив его и не узнав, как не узнается опасность за спиною; но бывает, что и умирают, почти неслышно для себя переходят в последний мрак.

Как раз в таком состоянии был Жегулев после смерти Колесникова. Умер Колесников второго августа, и с этого дня почти целый месяц Саша жил и двигался в бездумной пустоте, во все стороны одинаково податливой и ровной, как море, покрытое первым гладким ледком. На вид он был даже оживленнее прежнего и деятельность проявлял неутомимую; жег, что показывали жечь, шел, куда звали, убивал, на кого намекали, — ветром двигался по уезду, словно и не слыша жалоб измученной, усталой шайки. Но если кто-нибудь решительно заявлял, что надо передохнуть, Жегулев отдавал приказание об отдыхе, и дня три-четыре послушно отдыхал и сам. Андрей Иваныч, матрос, почувствовавший смерть Колесникова, как смертельный удар всему ихнему делу, недоумевал и смущался, не зная, как понимать этого Жегулева; и то в радости и в вере приободрялся, а то начинал беспокоиться положительно до ужаса.

Пугало его то, что Жегулев совсем как будто не видел и не понимал перемен в окружающем; а перемены были так широки и ощутительны, что и не наблюдательный Андрей Иваныч не мог не заметить их и не встревожиться. В чем дело, трудно было сказать, но словно переменялся сам воздух, которым дышит грудь.

Все еще много народу было в шайке, но с каждым днем кто-нибудь отпадал, не всегда заменяясь новым: только по прошествии времени ясно виделась убыль; и одни уходили к Соловью, другие же просто отваливались, расходились по домам, в город, Бог весть куда — были и нет. Те бесчисленные Гнедые, которые в свое счастливое время путали всякое соображение, каждодневно сокращались в числе, уже значились по пальцам наперечет, — в окружающем безразличии или даже вражде, как в холодной воде масло, резко очерчивались контуры шайки, ее истинный объем. Случаев прямой вражды было еще мало, но словно ослепла и оглохла деревня: никто не слышит, никто не видит, как ни кричи. При редких встречах «бывшие» не отвертываются, но беседуют нехотя и нехотя подшучивают: «Вот вас скоро морозцем-то прихватит!» — а разумея эти слова так: «А к нам в тепло и не суйся, не зовем». И все чаще вместо привычного наименования «лесных братьев» бросают резкое и укорительное: разбойники. «Эй, матрос, долго еще разбойни-



чать будете? Бабы жалуются, что собак по ночам тревожите».

Пока все это только шутки, но порой за ними уже видится злобно оскаленное мертвецкое лицо; и одному в деревню, пожалуй, лучше не показываться: пошел Жучок один, а его избили, придрались, будто он клеть взломать хотел. Насилу ушел коротким шагом бродяга. И лавочник, все тот же Идол Иваныч, шайке Соловья отпускает товар даже в кредит, чуть ли не по книжке, а Жегулеву каждый раз грозит доносом и, кажется, доносит.

— Не выдержу, один пойду, у Александра Иваныча не спрошусь, а уж распорю ему живот! — темнея от гнева, говорит Андрей Иваныч.

— Распори, матрос, распори! Я тебе подмогу, за ноги держать буду! — иронически поддакивает Еремей: он еще держится в шайке, но порою невыносим становится своей злобной ко всему иронией и грубыми плевками. Плует направо и налево.

— Ну и скот же ты, Ерема! — горько упрекает его матрос, — для кого стараемся, а?

Еремей с трудом складывает в смешливую гримасу свое дубовое лицо, подмигивает выразительно и хлопает его по колену.

— Андрюша! матросик! пинжачок ты мой хорошенький! А с кем ты намедни солому приминал, жмыхи выдавливал, а? Ну-ка, матрос, кайся!

Андрей Иваныч краснеет: по слабости человеческой он завел было чувствительный роман с солдаткой, со вдовой, но раз подсмотрели их и не дают проходу насмешками. Не знают, что со вдовой они больше плакали, чем целовались, — и отбили дорогу, ожесточение и горечь заронили в скромное, чистое, без ропота одинокое сердце. До того дошло с насмешками, что позвал его как-то к себе сам Жегулев и, стесняясь в словах, попросил не ходить на деревню.

— Так точно, я не хожу. Еще чего не прикажете?

— Я ничего не приказываю, Андрей Иваныч... Голубчик мой, вспомните Василь Васильича... да я сам...

Словно колокол церковный прозвучал в отдалении и стих. Опустил голову и матрос, слышит в тишине, как побаливает на ноге гниющая ранка, и беспокоится: не доходит ли тяжкий запах до Жегулева? И хочется ему не то чтобы умереть, а — не быть. Не быть.

И от осеннего ли похолодевшего воздуха и темных осенних ночей, от вражды ли мужичьей и насмешек грубых — начинают ему мерещиться волчи острые морды.

Правда, появились уже и волки в окрестных лесах, изредка и воют тихонько, словно подучиваясь к зимнему настоящему вою, изредка и скотинку потаскивают, но людей не трогают,— однако боится их матрос, как никогда ничего не боялся. Свой страх он скрывает от всех, но уже новыми глазами смотрит в темноту леса, боится его не только ночью, но и днем далеко отходить от стана не решается. И ночью, заслышав издали тихий неуверенный вой, холодеет он от смертельной тоски: что-то созвучное своей доле слышит он в одиноком, злом и скорбном голосе лесного, несчастного, всеми ненавидимого зверя. А утром, осторожно справившись о волках, удивляется, что никто этого воя и не слышал.

Все резче с каждым часом намечались зловещие перемены, но, как в мороке живущий, ничего не видел и не понимал Жегулев. Как море в отлив, отходил неслышно народ, оставляя на песке легкие отбросы да крохи своей жизни, и уже зияла кругом молчаливая пустота,— а он все еще слепо жил в отошедшем шуме и движении валов. До дна опустошенный, отдавший все, что призван был отдать, выпитый до капли, как бокал с драгоценнейшим вином,— прозрачно светлел он среди беспорядка пиршественного стола и все еще ждал жаждущих уст, когда уже к новым пирам и горько-радостным отравам разошлись и званые и незваные. С жестокостью того, кто бессмертен и не чтит маленьких жизней, которыми насыщается, с божественной справедливостью безликого покидал его народ и устремлялся к новым судьбам и новые призывал жертвы,— новые возжигал огни на невидимых алтарях своих.

Даже того как будто не замечал Жегулев, что подозрительно участились встречи и перестрелки со стражниками и солдатами, и всегда была в этих встречах неожиданность, намек на засаду. Действительно выдавал ли их кто, или естественно лишились они той незримой защиты, что давал народ,— но временами положение становилось угрожающим. Мало-помалу, сами того не замечая, перешли они из нападающих в бегущие и все еще не понимали, что это идет смертный конец, и все еще искали оправдания: осень идет, дороги трудны, войск прибавили,— но завтра будет по-старому, по-хорошему. Укрепляла еще в надеждах шайка Васьки Щеголя, по-прежнему многолюдная, разгульная и удачливая: не понимали, что от других корней питается кривое дерево, поганый сук, облепленный вороньем.

Но только мертвый не просыпается, а и заживо похороненному дается одна минуточка для сознания,— насту-

пил час горького пробуждения и для Сашки Жегулева. Произошло это в первых числах сентября при разгроме одной усадьбы, на границе уезда, вдали от прежнего, уже покинутого становища, — уже с неделю, ограниченные числом, жили братья в потайном убежище за Желтухинским болотом.

Все шло по обычаю, только с большею против обычного торопливостью, гамом и даже междоусобными драками — озлобленно тащили, что попало, незнакомые незнакомой деревни мужики ругались и спорили. Вдруг неизвестно откуда пробежала страшная весть, что скачут стражники, — в паническом бегстве, ломая телеги, валясь в канавы, оравой понеслись назад. Напрасно кричал матрос, знавший доподлинно, что стражники далеко, грозил даже оружием: большинство разбежалось, в переполохе чуть не до смерти придавив слабосильного, но по-прежнему яростного и верного Федота. Не ушли только те, у кого не было телег, да выли две бабы, у которых угнали лошадей, пока не цыкнул на них свирепый Еремей. Но все же осталось в разгромленной усадьбе человек до тридцати, и было среди них наполовину пьяного народа; а вскоре вернулся кое-кто с пустыми телегами, опомнились дорогой и постыдились возвращаться порожняком.

— Время, Александр Иваныч! — сказал матрос, глядя на свои часики.

И Жегулев привычно крикнул:

— Запаливай, ребята!

Но уже трудился Еремей, раздувая подтопку, на самый лоб вздергивая брови и круглясь красными от огня, надутыми щеками; и вскоре со всех концов запылала несчастная усадьба, и осветилась осенняя мгlistая ночь, красными дымами поползли угрюмые тучи, верст на десять озаряя окрестность. В ту ночь был первый ранний заморозок, и всюду, куда пал иней, — на огорожу, на доску, забытую среди помертвевшей садовой травы, на крышу дальнего сарая — лег нежный розовый отсвет, словно сами светились припущенные снегом предметы. Галдели и ругались не успевшие нагрузиться, опоздавшие мужики.

Уже уходили лесные братья, когда возле огромного хлебного скирда, подобно часовне возвышавшегося над притоптанным жнивьем, в теневой стороне его заметили несколько словно притаившихся мужиков, точно игравших со спичками. Вспыхнет и погаснет, не отойдя от коробки. Озабоченный голос Еремея говорил:

— Эх, куда сернички способней: тухнет, сволочь!

Саша в изумлении и гневe остановился:

— Андрей Иванович, что это? Неужели хлеб хотят?

— Видно, что так. Не трогайте их, Александр Иванович.

— Помутился разум человеческий,— сказал Жучок, прячась на случай за матроса.

Слепень, кривой, глупо захохотал и сплюнул:

— Мужики!

Но захохотали и некоторые из мужиков, то ли конфузливо, то ли равнодушно отходя от скирда и смешиваясь с братьями; и только Еремей оглянулся на мгновение, словно ляскнул по-волчьи, и зажег новую спичку, наскоро бросив:

— Стань-ка от ветру, Егорка.

Жегулев шагнул вперед и, коснувшись согнутой трудолюбиво спины, крикнул:

— Ты что делаешь, Еремей! Хлеб нельзя жечь, ты с ума спятил! Отдай другим, если самому... голодным! Тебе говорю!

Еремей не быстро оглянулся и коротко сказал:

— Не твой хлеб. Отойди!

Короток был и взгляд запавших голодных глаз, короток был и ответ,— но столько было в нем страшной правды, столько злобы, голода ненасытимого, тысячелетних слез, что молча отступил Саша Жегулев. И бессознательным движением прикрыл рукою глаза — страшно показалось видеть, как загорится хлеб. А там, либо не поняв, либо понимая слишком хорошо, смеялись громко.

Жарко затрещало, и свет проник между пальцами — загорелся огромный скирд; смолкли голоса, отодвигаясь — притихли. И в затишье человеческих голосов необыкновенный, поразительный в своей необычности плач вернул зрение Саше, как слепому от рождения. Сидел Еремей на земле, смотрел, не мигая, в красную гущу огня и плакал, повторяя все одни и те же слова:

— Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!

Опустились головы и глаза — то ли в тяжком раздумье и своих слезах, то ли из желания не стыдить плачущего взглядами. Накалились соломинки и млели, как проволока светящаяся, плавилось золото хлебное и превращалось в тлен.

Покачивался Еремей и, как тогда Елена Петровна с губернатором, плакал в святой откровенности горя и повторял бесконечно:

— Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко-батюшка!.. Хлебушко...

Всею душою вздохнул Саша и, подойдя к Еремею, нежно коснулся его рукою, нежно, как матери бы своей, сказал вздохами:

— Еремеюшка... родной мой... Не плачь, Еремеюшка!

Точно не расслышал Еремей всех слов, но замолк, хлипнул носом и, обернувшись, с ядовитой улыбкой четко и раздельно сказал следующее:

— Подлизываешься, барин?.. Много денег нагребил, разбойник?.. Много христианских душ загубил, злодей непощеный?

...Так проснулся Саша. И ночью в своей холодной землянке, зверином нечистом логове лежал он, дрожа от холода, и думал кровавыми мыслями о непонятности страшной судьбы своей. Нужна ли была его жертва? Кому во благо отдал он всю чистоту свою, радости юношеских лет, жизнь матери, всю свою бессмертную душу? Неужели все это — драгоценное и единственное, что есть у человека — так никому и не нужно, так никому и не пригодилось? Брошено в яму вместе с мусором нечистым, сгибло втуне, обернулось волею Неведомого в бесплодное зло и бесцельные страдания! Нет и не будет ему прощения ни в нынешнем дне, ни в сонме веков грядущих. Кто может и смеет простить его за убийство, за пролитую кровь? Господи! И Ты не можешь простить, иначе не всех Ты любишь равно. Кто же?

— Мать?

Кто-то в темноте копошится в ногах, чем-то тяжелым и теплым прикрывает озябшее тело: кто это?

— Спите, Александр Иванович, спите, это я ноги вам прикрыл, холодно. Спите!

— Спасибо, Андрюша. Спасибо. Спасибо, голубчик.

В первый раз с тех пор, как вышел из дому, — заплакал Сашка Жегулев.

## 17. Любовь и смерть

Великий покой — удел мертвых и неимеющих надежд. Великий и страшный покой ощутил в душе Погодин, когда отошли вместе с темнотою ночи первые бурные часы.

Хорошо или плохо то, что он сделал и чего не мог не сделать, нужно оно людям или нет — оно сделано, оно свершилось и стоит сзади него во всей грозной неприкосновенности совершившегося: не изменить в нем ни единой черточки, ни одного слова не выкинуть, ни одной мысли не изменить. Присмотрит жизнь его жертву или с гневом отвергнет ее,

как дар жестокий и ужасный; простит его Всезнающий или, осудив, подвергнет карам, силу которых знает только Он один; была ли добровольной жертва или, как агнец обреченный, чужой волею приведен он на заклание,— все сделано, все совершилось, все осталось позади, и ни единого ничьей силою не вынуть камня. А впереди — только смерть.

Это была безнадежность, и ее великий, покорный и страшный покой ощутил Саша Погодин. Ощувив же, признал себя свободным от всяких уз, как перед лицом неминуемой смерти свободен больной, когда ушли уже все доктора и убраны склянки с ненужными лекарствами, и заглушенный плач доносится из-за стены. С того самого дня, как было возвращено Жене Эгмонт нераспечатанным ее письмо и дан был неподозревавшей матери последний прощальный поцелуй, Саша как бы закрыл душу для всех образов прошлого, монашески отрекся от любви и близких. «Если я буду любить и тосковать о любимых, то не всю душу принес я сюда и не чиста моя чистота»,— думал Погодин с пугливой совестью аскета; и даже в самые горькие минуты, когда мучительно просило сердце любви и отдыха хотя бы краткого, крепко держал себя в добровольном плену мыслей — твердая воля была у юноши. Теперь же, когда вместе со смертью пришла свобода от уз,— с горькой и пламенной страстностью отдался он грезам, в самой безнадежности любви черпая для нее нужное и последнее оправдание. «Теперь я могу думать, о чем хочу»,— строго решил он, глядя прямо в глаза своей совести,— и думал.

Как раз в эту пору, предвещая близкий конец, усилились преследования. Словно чья-то огромная лапа, не торопясь и даже поигрывая, ползала по уезду вдогонку за лесными братьями, шарила многими пальцами, неотвратимо проникала в глубину лесов, в темень оврагов, заброшенных клетей, нетопленых холодных бань. Куда только не прятались братья? — И отовсюду приходилось убегать; и снова прятаться, и снова бежать дальше. Все короче становились опасные переходы, и все на меньшем месте, незаметно сужая круг, кружилась шайка Жегулева, гонимая страхом, часто даже призрачным. Едва ли кто из них боялся смерти, скорее жаждали ее, но в самом обиходе прятанья и постоянного бегства было нечто устрашающее, ослаблявшее волю и мужество. Тревожным стал слух, вообще склонный обманывать, и зрение обострилось болезненно, и сон сделался пуглив и чуток, как у зверя, и дви-

жения порывисты — круты повороты, внезапны остановки, коротки и бессловесны вскрики.

Осень была, в общем, погожая, а им казалось, что царит непрестанный холод и ненастье: при дожде, без огня, прели в сырости, утомлялись мокротой, дышали паром; не было дождя — от страха не разводили огня и осеннюю долгую ночь дрожали в ознобе. Днем еще согревало солнце, имевшее достаточно тепла, и те, кто мирно проезжал по дорогам, думали: какая теплынь, совсем лето! — а с вечера начиналось мучение, не известное ни тем, кто, проехав сколько надо, добрался до теплого жилья, ни зверю, защищенному природой. Скучно кормились, и не будь неизменно и загадочно верного, кашляющего Федота, — пожалуй, и умерли бы с голода или начали, как волки, потаскивать мужицкую скотину.

К ощущениям холода, пустоты и постоянного ровного страха свелась жизнь шайки, и с каждым днем таяла она в огне страданий: кто бежал к богатому и сильному, знающемуся с полицией Соловю, кто уходил в деревню, в город, неизвестно куда. И Сашка Жегулев, все еще оставаясь знаменем и волею шайки, внешне связанный с нею узами верности и братства, дрожа ее холодом и страхом, — внутренне так далеко отошел от нее, как в ту пору, когда сидел он в тихой гимназической комнатке своей. И чем несноснее становились страдания тела, чем изнеможеннее страдальческий вид, способный потрясти до слез и нечувствительного человека, тем жарче пламенел огонь мечтаний безнадежных, бесплотных грез: светился в огромных очах, согревал прозрачную бледность лица и всей его юношеской фигуре давал ту нежность и мягкую воздушность, какой художники наделяют своих мучеников и святых.

Старательно и добросовестно вслушиваясь, весьма плохо слышал он голоса окружающего мира и с радостью понимал только одно: конец приближается, смерть идет большими и звонкими шагами, весь золотистый лес осени звенит ее призывными голосами. Радовался же Сашка Жегулев потому, что имел свой план, некую блаженную мечту, скучную, как сама безнадежность, радостную, как сон: в тот день, когда не останется сомнений в близости смерти и у самого уха прозвучит ее зов — пойти в город и проститься со своими.

В те долгие ночи, когда все дрожали в мучительном ознобе, он подробно и строго обдумывал план: конечно, ни в дом он не войдет, ни на глаза он не покажется, но, подкравшись к самым окнам, в темноте осеннего вечера,

увидит мать и Линочку и будет смотреть на них до тех пор, пока не лягут спать и не потушат огонь. Очень возможно, что в тот вечер будет у них в гостях и Женя Эгмонт... но здесь думать становилось страшно. Страшно было и то, что занавески на окнах могут быть опущены... но неужели не догадается мать, не почувствует за окнами его сыновних глаз, не услышит биения его сердца? Оно и сейчас так бьется, что слышно, кажется, по ту сторону земли!

Поймет. Догадается. Откроет!

Тихо и красиво умирает лес. То, что вчера еще было зеленым, сегодня от края золотится, желтеет все прозрачнее и легче; то, что было золотым вчера, сегодня густо багровеет; все так же как будто много листьев, но уже шуршит под ногою, и лесные дали прозрачно видятся; и громко стучит дятел, далеко, за версту слышен его рабочий дробный постук. Вокруг милые и печальные люди смотрят на него с тоскою и жаждой: но чем их напоить? Отдал бы, пожалуй, и мечту свою, но не нужна им чужая, далекая, даже обидная мечта. Даже стыдно временами: какой он богач. Смутно проходит перед глазами побледневшее лицо матроса, словно издали слышится его спокойный, ласково-покорный голос.

— У вас жива мать, Андрей Иваныч?

— Не могу знать.

Странный и словно укоризненный ответ, но дольше спрашивать нельзя... или можно, но не хочется?

— Плохи наши дела, Андрей Иваныч.

— Так точно, Александр Иваныч, плохи. Одежи теплой нет, вот главное.

— Да, одежды нет. А что же Федот обещал полушубков достать?

— Да не дают мужики, говорят, какие были, все Соловьев забрал. Врут.

— Надо достать.

— Да надо уж.

Молчат и думают свое, и Саша убежден, что матрос думает о полушубках, как их достать.

— Что это вы последнее время хромаете, Андрей Иваныч? Ушиблись?

Матрос как будто конфузится и отвечает виновато:

Разве хромаю? Не замечаю что-то, показалось, верно.

Да нет же, заметно.

А может быть, и ушибся, да ничего не почувствовал... надо будет ногу посмотреть. Ничего не прикажете, Александр Иваныч?



И в тот день матрос действительно не хромал, очевидно, ошибся Погодин. Много замечалось одними глазами, и во многом ошибались глаза, и слабой болью отвечало на чужую боль в мечте живущее сердце. Все дальше уходила жизнь, и открывался молодой душе чудесный мир любви, божественно-чистой и прекрасной, какой не знают живые в надеждах люди. Как ненужная, отпадала грубость и суета житейских отношений, томительность пустых и усталых дней, досадная и злая сытость тела, когда по-прежнему голодна душа — очищенная безнадежностью, обретала любовь те свои таинственнейшие пути, где святостью и бессмертием становится она. Почти не имела образа Женя Эгмонт: никогда в грезах непрерывных не видел ее лица, ни улыбки, ни даже глаз; разве только услышит шелест платья, мелькнет на мгновенье узкая рука, что-то теплое и душистое пройдет мимо в слабом озарении света и тепла, коснется еле слышно... Но, не видя образа, сквозь тленные его черты прозревал он великое и таинственное, что есть настоящая бессмертная Женя, ее любовь и вечная красота, в мире бестелесном обручался с нею, как с невестою, — и сама вечность в ее заколдованном круге была тяжким кольцом обручения.

Но странно: не имела образа и мать, не имела живого образа и Линочка — всю знает, всю чувствует, всю держит в сердце, а увидеть ничего не может... зачем больше менять на маленькое, что имеют все? Так в тихом шелесте платьев, почему-то черных и шелестящих, жили призрачной и бессмертной жизнью три женщины, касались еле слышно, проходили мимо в озарении света и душистого тепла, любили, прощали, жалели — три женщины: мать — сестра — невеста.

Но вот уже и над ухом прозвучал призывный голос смерти: ушел из шайки на свободу Андрей Иванович, матрос.

С вечера он был где-то тут же и, как всегда, делал какое-то свое дело; оставалось их теперь всего четверо помимо Жегулева — матрос, Кузьма Жучок, Федот и невыносимо глупый и скучный, одноглазый Слепень. Потом развел костер матрос — уже и бояться перестали! — и шутиливо сказал Саше:

— Теперь в лесу волки, а огня они боятся.

— В этих местах волков нет, — поправил Федот, — я знаю.

— Ты свое знаешь, а мы свое знаем: хворосту жалко?

— Жги, мне-то что. Теплей спать будет. Ложился бы и

ты с нами, Александр Иванович, а то сыро в землянке, захвораешь.

Но Саша лег в землянке: мешали люди тихой мечте, а в землянке было немо и одиноко, как в гробу. Спал крепко — вместе с безнадежностью пришел и крепкий сон, ярко продолжавший дневную мечту; и ничего не слышал, а утром спохватились — Андрея Ивановича нет. На месте и балалайка его с раскрашенной декой, и платяная щеточка, и все его маленькое имущество, а самого нет.

Долго не знали, что думать и что предпринять, тем более, что и артельные деньги, оставшиеся пустяки, Андрей Иванович унес с собой, как и маузер. Терялись в беспкойных догадках. Глупый Слепень захмыкал и ляпнул:

— К Соловью улег.

— Ну и дурак! — сказал Федот и нерешительно высказал догадку: — Не объявляться ли пошел?

И странно было, что Саша также ничего не мог придумать: точно совсем не знал человека и того, на что он способен — одно только ясно: к Соловью уйти не мог. Выждали до полудня, а потом, томясь бездеятельностью, отправились на поиски, бестолково бродили вокруг стана и выкрикали:

— Андрюша! Матрос!

Саша безнадежно бродил среди деревьев, смотря вниз, точно грибы искал; и по завету матроса о мертвом теле, которое всегда обнаружится, нашел-таки Андрея Ивановича. Боясь ли волков, или желание убить себя пришло внезапно и неотвратно и не позволило далеко уйти — матрос застрелился в десятке сажений от костра: странно, как не слышали выстрела. Лежал он на спине, ногами к открытому месту, голову слегка запрятав в кусты: будто, желая покрепче уснуть, прятался от солнца; отвел Саша ветку с поредившим желтым листом и увидел, что матрос смотрит остекленело, а рот черен и залит кровью; тут же и браунинг — почему-то предпочел браунинг. И еще заметил Саша, что на щеке возле уха и в тех местах подбородка, которых не залила кровь, проступила щетинка бороды: никогда не видел на живом.

— Так-то, Андрей Иванович! Ловко! — сказал Жегулев, по звуку голоса совсем спокойно, и опустил ветку: качаясь, смахнула она мертвый лист на плечо матроса.

Откуда-то подошли те трое и из-за спины смотрели.

— Надо портмонет достать, — сказал Федот и укоризненно обратился к Слепню: — А ты говоришь — к Соловью! К этому Соловью и ты скоро пойдешь.

- Ты-то раньше пойдешь, у тебя из горла кровь идет.
- Ну и дурак! — удивился Жучок и сплюнул.
- Ничего он не понимает. Помоги, Жучок!

Пока ворочали и обыскивали мертвеца, Жегулев находился тут же, удивляясь, что не чувствует ни особенной жалости, ни тоски: немного страшно и донельзя убедительно, но неожиданного и необыкновенного ничего — так и нужно. Главное же, что завтра он пойдет в город.

Но что-то досадное шевелилось в мыслях и не давалось сознанию — иное, чем жалость, иное, чем собственная смерть, иное, чем та страшная ночь в лесу, когда умер Колесников... Но что? И только увидев матросов вывернутый карман, прежде чужой и скрытый, а теперь ничей, этот странный маленький мешочек, свисший у бока, — вдруг понял, чего не понимал: он, Жегулев, совершенно не знает этого мертвого человека, словно только сегодня он приехал в этом своем неразгаданно-мертвецком виде, с открытыми глазами и черным ртом. Потом, припоминая дальше, вдруг слабо ужаснулся, горько усмехнулся над человеческой слепотою своей: ведь он и совсем не знает Андрея Иваныча, матроса, никогда и не видал его! Было возле что-то услужливое, благородное, деликатное, говорило какие-то слова, которые все позабыты, укрывало, когда холодно, поддерживало под руку, когда слабо, — а теперь взяло и застрелилось, самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись, без слов ушло из жизни. Старается Жегулев вспомнить прежнее его живое лицо — и не может; даже то, что он брился аккуратно, вспоминается формально, недоверчиво: точно и всегда была теперешняя неаккуратная щетинка. И все горше становится сознанию: оказывается, он даже фамилии его не знает, никогда ни о чем не расспрашивал — был твердо убежден, что знает все! А знает только то, что видит сейчас: мало.

Уже зарыли мертвеца, когда удалось Жегулеву вызвать из памяти нечто до боли и слез живое: лицо и взгляд Андрея Иваныча, когда играл он плясовую, тайно улыбающийся и степенный, как жених на смотринах. И вспомнилась тогдашняя весенняя луна с ее надземным покоем, ровный шум ручья, бегущего к далекому морю, готовый к пляске Колесников в его тогдашней дикой и сумасшедшей красоте. Потом разговор в шалашике, когда голоса звучали так близко и в маленькую щель покрывки блестел серебряный, ослепительно яркий диск. Умер Петруша. Умер Колесников, а сейчас зарыт и матрос.

— Помнишь рябинушку, Федот?.. — спросил Саша,

умиленно улыбаясь; и с такой же умиленной улыбкой на своих синих тонких губах, тесно облипавших желтые большие зубы, ответил Федот:

— Как же, Александр Иваныч, помню.

«Ну и страшно же на свете жить!» — думает Кузьма Жучок, глядя в беспросветно-темные, огромные, страдальческие глаза Жегулева и не в силах, по скромному уму своему, связать с ним воедино улыбку бледных уст. Забеспокоился и одноглазый Слепень, но, не умея словами даже близко подойти к своему чувству, сказал угрюмо:

— А балалайку матросову я себе возьму.

— Вот-то дурак! — удивился Федот и перестал улыбаться.

Поговорив с Федотом о возможностях, Жегулев решил на следующий же день идти в город и проститься: дальше не хочет ждать смерти и требует поспешности.

## 18. Прощание

Одетый в валяный, мужицкого сукна, коричневый армяк, Жегулев с утра прятался на базаре, а базар шумел торговой жизнью, пил, ругался, шатался по трактирам и укрывал приспособившегося. Как соломинка среди соломинок, втоптанная в грязь площади конями, колесами и тяжелыми мужицкими сапогами, терялся Саша в однотонно галдящем, коричневом царстве, никому не нужный и никому не ведомый. Постаивал около возов с соломою, имея вид что-то продающего, помогал вводить чужих коней на весовой помост для сена и всячески старался приобрести невидимость, а больше просиживал в трактирах, где пьяный шум и сутолока вскоре отбивали слух и память у всякого входящего. Больше всего боялся он встречи с каменецкими мужиками и на одного наткнулся-таки, но тот поглядел равнодушно и, не признав, пошел дальше: меняла Жегулева и одежда его, и смолянистая отросшая бородка. И ни в ком не возбуждал подозрений молодой высокий мужик, и разве только удивляла и трогала худоба и бледность его; но и тут для любопытных и слишком разговорчивых было оправдание: только что выписался из больницы и ждет земляка, вместе поедут.

Был короток и звонко шумлив осенний базарный день, но для Жегулева тянулся он долго и плоско, порою казался немым и безгласным: точно со всею суетою и шумом своим базарные были нарисованы на полотне, густо нама-

заны краской и криком, а позади полотна — тишина и безгласие.

Скоро и солнце запало за крыши и только с минутку еще блестело в окнах высокого, в три этажа, трактира; и караваном телег потянулись в сумерки поля мужики-однодеревенцы, снимаясь гнездами, как грачи. В рядах, под сводами каменной галерейки, зазвенели железные болты на дверях и окнах, и всякий огонь окна становился теплее и ярче по мере того, как сгущался на глазах быстрый и суровый сумрак; как ряды пассажирских вагонов, поставленных один на другой, светился огнями высокий трактир, и в открытое окно разорванно и непонятно, но зазывающе бубнил и вызывал орган. Пустела площадь, и уже неловко становилось бродить в одиночку среди покинутых, задраенных досками ларей, — сам себя чувствовал Жегулев похожим на вора и подозрительного человека.

И все острее становилась тревога; и пяти минут невозможно было просидеть на месте, только и отдыхала немного мысль, как двигались ноги хотя бы в сторону противоположную. Набегали невыносимо-страшные мысли и предположения, для далекого путешественника отравляющие приближение к дому: мало ли что могло случиться за эти четыре месяца?.. До сих пор Жегулеву как-то совсем не приходило в голову, что мать могла умереть от потрясения и горя, и даже без всякого потрясения, просто от какой-нибудь болезни, несчастного случая. В детстве даже часы, когда отсутствовала мать, тревожили сердце и воображение населяли призраками возможных бед и несчастий, а теперь прошло целых четыре месяца, долгий и опасный срок для непрочной человеческой жизни.

Зажав в кулак золотые часы, наследство от отца-генерала, Погодин под фонарем разглядывает стрелки: всего только семь часов, и стрелки неподвижны, даже маленькая секундная словно стоит на месте — заведены ли? Забыл, что уже два раза заводил, и пробует сдвинуть окаменевший завод, пока догадывается, что с ним. Один только раз, не желая подходить к фонарю, нажал пружину, и старинные дорогие с репетицией часы послушно зазвонили в ухо, — но так громок в безлюдье площади показался их певучий, робкий звон, что поскорее сунул в карман и крепче, словно душа, зажал кулак.

Можно бы и сейчас идти, но держит принятое решение и парализует волю: возле окон своих решил быть ровно в девять, когда пьют чай в столовой — единственный час, в который может оказаться с ними и Женя Эгмонт.

Наконец возмутился против себя и своего решения Жегулев:

— Да что я: с ума хочу сойти? Почему в девять, а не сейчас? Там подожду.

И круто, на полшага повернув, проплыл как бы по воздуху пустынную площадь и окунулся в темноту тихой, немощеной улицы, еле намечаемой в перспективе несколькими тусклыми фонарями. Далеко на середине знакомо светлело: там угол, где сворачивать на их улицу, и на углу, светя на обе улицы, помещается Самсонычева лавка. И при первых же шагах, прямо ведущих к цели, стихла тревога, и явилась спокойная уверенность, что мать жива и увидит ее, и не захотелось торопиться, а идти медленно и вдумчиво, капля за каплей пить драгоценнейший напиток.

Какая радость: идти по знакомым и родным местам, где каждый столбик и канавка и каждая доска забора исписана воспоминаниями, как книга, и все хранит ненарушимо, и все помнит, и обо всем может рассказать! Пусть для других невидимы следы его детских ног, но Саша их чувствует под своей подошвой, нежно прижимает их к земле и новый, теперешний свой ставит след. Идет Саша по-хоже-ному, тихо присматриваясь и прислушиваясь,— стал он тем сложным существом, в котором исчезли призрачные границы времени и противное мигание настоящего сменилось ровным, негаснущим светом безвременности.

Вот и Самсонычева лавка: в обе стороны прорезала осеннюю тьму и стоит тихонько в ожидании редкого вечернего покупателя,— если войти теперь, то услышишь всегдашний запах постного масла, хлеба, простого мыла, керосина и того особенного, что есть сам Самсоныч и во всем мире может быть услышано только здесь, не повторяется нигде. Дальше!.. Вдруг идет за хлебом ихняя горничная и встретит и узнает!..

Уже с противоположной стороны оглядывается на лавку Саша и прощается с Самсонычем; потом снова в темноте перебирается на эту сторону улицы: всю жизнь ходил по ней и другую сторону с детства считает чужой, неведомой, чем-то вроде иностранного государства.

Потом снова идет на чужую сторону,— подошел ихний забор, придавленный гущиною высокого и черного сада, и ихняя калитка: опасно, можно встретить кого-нибудь из своих. И долго смотрит Саша на калитку, тысячекратно отворенную его рукой, и ждет не дыша: вдруг откроется!

Обойдя кругом, переулками, Саша добрался до того

места в заборе, откуда в детстве он смотрел на дорогу с двумя колеями, а потом перелезал к ожидавшим Колесникову и Петруше. Умерли и Колесников, и Петруша, а забор стоит все так же — не его это дело, человеческая жизнь! Тогда лез человек сюда, а теперь лезет обратно и эту сторону царапает носками, ища опоры, — не его это дело, смутная и страшная человеческая жизнь!

В недостроенном, без крыши каменном флигельке, когда-то пугавшем детей своими пустыми глазницами, Жегулев с полчаса отдыхал, — не мог тронуться с места от волнения. То всколыхнуло сердце до удушья, что увидел между толстыми стволами свои окна — и свет в окнах, значит, дома, и резок острый свет: значит, не спущены занавески и можно смотреть. Так все близко, что невозможно подняться и сделать шаг: поднимается, а колена дрожат и подгибаются — сиди снова и жди!

— Ну! — улыбаясь, шепчет Саша и гладит колена. — Ну!

Собрался наконец с силами и, перестав улыбаться, решительно подошел к тем окнам, что выходят из столовой: слава Богу! Стол, покрытый скатертью, чайная посуда, хотя пока никого и нет, может быть, еще не пили, еще только собираются пить чай. С трудом разбирается глаз от волнения, но что-то странное смущает его, какие-то пустяки: то ли поваленный стакан, и что-то грязное, неряшливое, необычное для ихнего стола, то ли незнакомый узор скатерти...

Что-то здесь есть! Что-то странное здесь есть!

И вдруг, непонятный в первую минуту до равнодушия, вступает в поле зрения и медленно проходит через комнату, никуда не глядя, незнакомый старик, бритый, грязный, в турецком с большими цветами халате. В оттянутых книзу губах его потухшая папироса в толстом и коротком мундштуке, и идет он медленно, никуда не глядя, и на халате его огромные с завитушками узоры.

Уже догадываясь, но все еще не веря, Жегулев бросается за угол к тому окну, что из его комнаты, — и здесь все чужое, может быть, по-своему, и хорошее, но ужасное тем, что заняло оно родное место и стоит, ничего об этом не зная. И понимает Жегулев, что их здесь нет, ни матери, ни Линочки, и нет уже давно, и где они — неизвестно.

Три часа сидел Саша в каменном, недостроенном флигельке.

Не его это дело, человеческая жизнь: лез человек сюда, а теперь лезет обратно и уходит в темноту: навсегда.

Но что за странный характер у юноши! Там, где раздавило бы всякого безмерное горе, согнуло бы спину и голову пригнуло к земле, — там открылся для него источник как бы новой силы и новой гордости. Правда, на лицо его лучше не глядеть и сердца его лучше не касаться, но поступь его тверда, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

Так и не простившись, обманутый, идет он по дороге к смерти и думает:

«Вот и кончилось все: как просто и как необходимо! Да, соблазнился я, помутился ум, я и думал: побуду еще прежним Сашей, отдохну в прежнем перед смертью, — а кровь не пускает. Это она стала стеною и не пускает: конечно, они все там, и мать, и Женя, и все их видят, а я нет — стала стеною кровь и застит. И должен я остаться Сашкой Жегулевым, Александром Ивановичем: не Николай у меня отец, а какой-то Иван, и матери нет совсем — я Сашка Жегулев, Александр Иванович. Что ж! — я принимаю: амины! Помутился ум, унился я и попросил милостыни, а мне и не дали милостыни: иди, Жегулев, откуда пришел. Вот я и иду, Жегулев, откуда пришел: аминь и во веки веков. И уж не хочу я быть Сашей, и уж не прошу я милостыни ни у кого: буду идти как иду, хотя бы на миллионы и биллионы веков протянулся мой путь: сказано идти без отдыха Сашке Жегулеву».

Легко идется по земле тому, кто полной мерой платит за содеянное. Вот уже и шоссе, по которому когда-то так легко шагал какой-то Саша Погодин, — чуть ли не с улыбкой попирает его незримые отроческие следы крепко шагающий Сашка Жегулев, и в темной дали упоенно и радостно прозревает светящийся знак смерти. Идет в темноту, легкий и быстрый: лица его лучше не видеть и сердца его лучше не касаться, но тверда молодая поступь, и гордо держится на плечах полумертвая голова.

С пригорка, обернувшись, видит Жегулев то вечное зарево, которое по ночам уже стоит над всеми городами земли. Он останавливается и долго смотрит: внимательно и строго. И с тою серьезностью и простотою в обряде, которой научился у простых людей, Жегулев становится на колена и земно кланяется далекому.

## 19. Смерть Жегулева

Завтра поплывут по небу синие холодные тучи, и между ними и землею станет так темно, как в сумерки; завтра придет с севера жестокий ветер и разметет лист с деревьев,



окаменит землю, обесцветит ее, как серую глину, все краски выжмет и убьет холодом. Согнувшись зябко, подставят ветру спину, и к югу обернут помертвелое лицо свое и человек, и ломкие стебли засохших трав, и вершины деревьев, и мертвые в лугах поблекшие цветы. Согнется в линию бега все, что может согнуться, и затреплются по ветру конские гривы, концы одежд, разорванные на клочья столбики обесцвеченного дыма из низеньких и закоптелых труб. Уныло и длительно заскрипят стволы и ветви деревьев, и на открытой опушке тоскливо зашуршит сгорающий, свернувшийся дубовый лист — до новой весны всю долгую зиму он будет цепляться за ненужную жизнь, крепиться безнадежно и не падать. Закружатся в темной высоте гонимые ветром редкие хлопья снега и все мимо будут лететь, не опускаясь на землю, — а уже забелели каменные следы колес, и в каждой ямочке, за каждым бугорком и столбиком собираются сухие, легкие как пух снежинки.

Но сегодня в высоком лесу, как в храме среди золотых иконостасов и бесчисленных престолов, — тихо, бестрепетно и величаво. Колоннами высятся старые стволы, и сам из себя светится прозрачный лист: на топкое зеленое стекло лампадок похожи нижние листья лапчатого резного клена, а верх весь в жидком золоте и багреце. Стекает золото на землю, и у подножья больших деревьев круглится лучистый нимб, а маленькие деревца и кустики, как дети лесные, уж отряхнулись наполовину от тяжелого золота и подтягивают тоненько. Как под высокими гулками сводами звонок шаг идущего, а голос свеж и крепок; отрывает и четок каждый стук, случайный лязг железа, певучий посвист то ли человека, то ли запоздалой птицы — и чудится, будто полон прозрачный воздух реющих на крыльях, лишь до времени притаившихся звуков.

И те вооруженные, что подкрадываются к убежищу Сашки Жегулева, отбивают дружный шаг на крепкой дороге, вразбродку подползают по оврагу, гнут спины на тропинках — себе самим кажутся слишком шумными и тяжелыми. Словно оттягивает руки смерть, которую несут к обреченному, вот-вот уронишь, и нашумит, побежит шорохами и лязгами, оброненная, и спугнет. Тише, тише! А лес бестрепетен и величав, и вся в бесчисленных и скромных огоньках стоит береза, матерински-темная, потрескавшаяся внизу, свечисто-белая к верхам своим, в сплетенье кружевном ветвей и тонких веточек.

Не поскупилась смерть на убранство для Сашки Жегулева.

Весь день и всю ночь до рассвета вспыхивала землянка огнями выстрелов, трещала, как сырой хворост на огне. Стреляли из землянки и залпами и в одиночку, на страшный выбор: уже много было убитых и раненых, и сам пристав, командовавший отрядом, получил легкую рану в плечо. Залпами и в одиночку стреляли и в землянку, и все казалось, что промахиваются, и нельзя было понять, сколько там людей. Потом, на рассвете, сразу все смолкло в землянке и долго молчало, не отвечая ни на выстрелы, ни на предложение сдаться.

— Хитрят! — говорил пристав, бледный от потери крови, от боли в ране, от бессонной и мучительной ночи.

Высокий, костлявый, с большой, но неровной по краям черной бородою, был он похож на Колесникова и, несмотря на револьвер в руке и на полувоенную форму, вид имел мирный и расстроенный.

— Пожалуй, что и хитрят! — отвечал молодой, но водянисто-толстый и равнодушный подпоручик в летнем, несмотря на прохладу, кителе: жалко было портить более дорогое сукно.

— Как же тогда быть? — недоумевал пристав, морщась от боли. — Еще пострелять?.. Видно, уж так. Постреляйте еще, голубчик!

— Павленков отошел, ваше благородие, — доложил солдат.

— Ах, негодяи! — возмутился пристав. — Жарьте их в хвост и гриву... негодяи!

Постреляли и еще, пока не стало совсем убедительным ровное молчание; вошли наконец в страшную землянку и нашли четверых убитых: остальные, видимо, успели скрыться в ночной темноте. Один из четверых, худой, рыжеватый мужик с тонкими губами, еще дышал, похрипывал, точно во сне, но тут же и отошел.

— Говорил, убегут, вот и убежали! Надо же было целую ночь... эх! — страдальчески горячился пристав, наступая на толстого, равнодушно разводящего руками офицера. — Выволоките их сюда!

Трупы выволокли и разложили в ряд на месте от давнишнего костра. Пристав, наклонившись и придерживая здоровой рукой больную, близоруко осмотрел убитых и, хоть уже достаточно светло было, ничего не мог понять.

— Ну, конечно, — бормотал он, — ну, конечно, Жегулева-то и нет! Благодарю, значит, покорно: опять бегай по уезду и ищи. Эх!

— А этот не подойдет?— спросил офицер и слегка ткнул ногой один из трупов.

— Вы полагаете?— усомнился пристав.— Посмотрим, посмотрим!

В обезображенном лице, с выбитыми пулей передними зубами и разорванной щекой, трудно было признать Жегулева; но было что-то городское, чистоплотное в одежде и тонких, хотя и черных, но сохранившихся руках, выделявшее его из немой компании других мертвецов,— да и просто был он значительнее других.

— Если не убежал, то, пожалуй, и этот,— соображал пристав, переходя от надежды к сомнению.

Из разорванной щеки белели уцелевшие зубы, словно улыбался насмешливо убитый,— и вдруг вспыхнул мирный пристав.

— Смеешься, подлец? Посмейся, посмейся!— Но было бесцельно грозить мертвому, и, обернувшись, пристав закричал: — Егорку сюда! Где Егорка? Спрятался, сукин сын!

Пришел действительно прятавшийся Егорка и стал бокком, стараясь не глядеть на трупы.

— Ты куда спрятался, а? Как до тебя дело, так ты в кусты?

— Покойников я боюсь.

— Покойников боишься, а разбойничать не боишься?! Я-т тебя!... Признавай, подлец, Жегулева.

Егорка наскоро, точно купаясь в холодной воде, обежал глазами убитых и ткнул пальцем на Жегулева:

— Этот самый.

— Врешь, подлец!

— То не врал, а то врать стану: говорю, этот!

— Обыскать!

Обыскали мертвого, но ничего свидетельствующего о личности не нашли: кожаный потертый портсигар с одной сломанной папиросой, старую, порванную на сгибах карту уезда и кусок бинта для перевязки — может быть, и Жегулев, а может, и не он. В десятке шагов от землянки набрали на золотые, старые с репетицией часы, но выбросил ли их этот или, убегая, обронил другой, более настоящий Сашка Жегулев, решить не могли.

Потом пристав, совсем ослабевший, уехал на перевязку; ушла и рота, захватив своих убитых и раненых, а разбойников на самодельных носилках, а кое-где и волоком, доставили стражники в Каменку для опознания. Прибыл туда другой пристав, здоровый, молодой, сильно надушенный

скверными духами, наехало большое и маленькое начальство, набрались любопытные — народу собралось, как на базаре, и сразу вытоптали траву около убитых. По предложению пристава, во всем любившего картинность, убитых стоймя привязали к вбитым в землю четырем колам и придали им боевую позу: каждому в опущенную руку насильственно и с трудом вложили револьвер, предварительно разрядив его.

И издали действительно было похоже на живых и страшных разбойников, глубоко задумавшихся над чем-то своим, разбойничьим, или рассматривавших вытоптанную траву, или собирающихся плясать: колена все время сгибались под тяжестью тела, как ни старались их выпрямить. Но вблизи страшно и невыносимо было смотреть, и уже никого не могли обмануть мертвецы притворной жизнью: бессильно, по-мертвому, клонились вялые, точно похудевшие и удлинившиеся шеи, не держа тяжелой мертвой головы.

Трое суток в бессменном дежурстве стояли над Каменной мертвецы, угрожая незаряженными револьверами; и по ночам, когда свет костров уравнивал мертвых с живыми, боялись близко подходить к ним и сами охранявшие их стражники. Но так и оставался нерешенным вопрос о личности убитого предводителя: одни из Гнедых говорили, что Жегулев, другие, из страха ли быть замешанными или вправду не узнавая, доказывали, что не он. К тому же, как раз в одну из этих ночей разлилось зарево за лесом, и сразу распространился неведомо откуда слух, что это жжет новые усадьбы Сашка Жегулев.

Собрались на горке мужики без шапок и босиком, смотрели на далекий разгоравшийся пожар и, боясь и стражников и тех четырех, что неподалеку молчали и тоже как будто смотрели на пожар, тихо и зябко перешептывались:

— Вот тебе и поймали!

— Егоймаешь! Ты его здесь пригвоздил, а он на тебе жжет.

— Чего ж не жечь, когда само горит... Эх, и сапожки хороши у разбойничка, то-то бы погреться. А то, пляши не пляши, нет тебе настоящего ходу.

Говоривший зябко перебрал и топнул ногами, словно и вправду собирался плясать. Тихо засмеялись.

— Поди да сыми.

— Сам поди, а я и тут хорош. Надо быть, у Полюновых горит.

— Сказал! Полыновы вон где, а он: у Полыновых! По-лыновых еще погоди.

Засмеялись тихо. Кто-то громко, чтобы слышали стражники, сказал:

— Сам помещик и жгет, для страховки, а на других только слава. В дубье их надо!

Из молчаливой кучки стражников, смотревших на пожар, донесся угрюмый окрик:

— Поговори там! Храбер ты, как темно, а ты днем мне скажи, чтоб морду твою видеть.

— Моя морда запечатанная, век тебе ее не увидеть!

Уже громко засмеялись, и другой насмешливый голос крикнул стражнику:

— То-то ты не трус! Эй, гляди назад: Жегулев стрелять хочет!

Оглянулись.

В призрачном свете, что бросали на землю красные тучи, словно колыхались четыре столба с привязанными мертвецами. Чернели тенью опущенные лица тех трех, но голова Жегулева была слегка закинута назад, как у коренника, и призрачно светлело лицо, и улыбался слишком большой, разорванный рот с белеющими на стороне зубами.

Так в день, предназначенный теми, кто жил до него и грехами своими обременил русскую землю, — умер позорной и страшной смертью Саша Погодин, юноша благородный и несчастный.

## 20. Э п и л о г

На другое утро после визита к губернатору обе женщины вместе отправились искать по городу квартиру, и Елена Петровна, медленно переходя с одной стороны на другую, сама читала билетки на окнах и воротах. И взяли квартирку в центре города, на одной из больших улиц, нарочно там, где ходит и ездит много народу — в нижнем этаже трехэтажного старого дома, три окна на улицу, остальные во двор. Темноватая была квартира, хотя не вешали ни драпри, ни занавесей, и только на уличных, квадратных, глубоких в толстой стене окнах продернули на веревочке короткие занавесочки от прохожих. У этих окон были почему-то мраморные, холодные подоконники, а в одной комнате находился серый мраморный камин, больше похожий на

умывальник: по-видимому, предназначалась когда-то квартира для роскоши, или жил в ней сам владелец.

Переехав, начали было расставлять мебель, но на половине бросили, и через два месяца комнаты имели такой же вид, как и в первый день переезда: в передней стояли забитые ящики и сундуки, завернутые в мочалу вешалки — платья вешали на гвоздиках в стене, оставшихся от кого-то прежнего; стоял один сундук и в столовой, и горничная составляла на него грязную посуду во время обеда. Чай пили и обедали вдвоем только на кончике большого стола, и только кончик этот застилался скатертью — словно так велик был Саша, что один занимал всю ту большую голую половину стола. И часто весь день, не убираясь, стоял холодный самовар и грязные чашки: обленилась горничная, увлеченная жизнью большой и людной улицы со многими лавками, только потому и оставалась, что служит у генеральши.

Никто у Погодиных не бывал: сперва и приезжали, но Елена Петровна никого не принимала, и вскоре их оставили в покое, и одиноко, только друг с другом, жили обе женщины, одетые в черное. Когда в половине августа наступило учебное время, Линочка не пошла в гимназию, и так случилось, что она гимназию бросила, хотя ни мать, ни она сама об этом не говорили и не вспоминали: так вышло. За лето Линочка выросла до одного роста с матерью и так сильно похудела, что больше стала похожа на другого, нового человека, чем на себя. И исчезло куда-то сходство с покойным отцом, генералом, а вместо того с удивительной резкостью неожиданно проступили и в лице, и в манерах, и в привычках материнские черты. Тот легкий, полудетский сон, оставшийся от детства, что даже плачущим глазам Линочки придавал скрытое выражение покоя и счастья, навсегда ушел: глаза раскрылись широко и блестяще, углубились и потемнели; и лег вокруг глаз темный и жуткий обвод страдания, видимый знак печали и горьких дум. Еще странность и новизна: русые волосы, особенно напоминавшие генерала, в одно лето потемнели почти до черноты и, вместо мелких и веселых завитушек, легли на красивой и печальной головке тяжелыми без блеска волнами.

Изредка, в хорошую погоду и обычно в тихий час сумерек, обе женщины ходили гулять, выбирая без слов и напоминаний те места, где когда-то гуляли с Сашенькой; обе черные, и Елена Петровна приличная и важная, как старая генеральша, — ходили они медленно и не спеша, далеко и долго виднелись где-нибудь на берегу среди маленьких мешанских домишек в мягкой обесцвеченности тихих лет-

них сумерек. Иногда Линочка предлагала присесть на крутом берегу и отдохнуть, но Елена Петровна отвечала:

— Ты знаешь, Линочка, что я люблю сидеть только на лавочке.

Нашлась одна такая старая без спинки лавочка, поставленная на берегу любителем природы, и там иногда сидели, смотря на реку и проходящие пароходы. И когда проходил пассажирский пароход, спозаранку расцветившийся огнями, Елена Петровна не спеша рассматривала его в очки, которые для дали, и говорила:

— Надо бы нам, Линочка, поехать по реке.

Линочка смотрела, делая вид, что ей тоже очень интересно, и думала молча: «Отчего я теперь не умею говорить? Мне надо бы сказать сейчас, что на пароходе очень интересно и что надо бы поехать, а я не знаю, что говорить, и молчу».

Но гуляли женщины редко, — и день и вечер проводили в стенах, мало замечая, что делается за окнами: все куда-то шли и все куда-то ехали люди, и стал привычен шум, как прежде тишина. И только в дождливую погоду, когда в мокрых стеклах расплывался свет уличного фонаря и особенным становился стук экипажей с поднятыми верхами, Елена Петровна обнаруживала беспокойство и говорила, что нужно купить термометр, который показывает погоду.

— Барометр, мамочка, — поправляла Линочка, а Елена Петровна соглашалась:

— Да, да, барометр.

Случалось, что с утра обе они начинали ходить по столовой, которая была больше других комнат, и ходили до самой ночи, только на короткое время присаживаясь для обеда и чая. Вносила горничная лампу, — висячую лампу над столом все только собирались достать из ящика, — и тогда ходили при свете, а забывала горничная внести — ходили в растущей темноте, все более приближавшейся к цвету ихних платьев, пока не становилось трудно различать предметы. И хотя обе все время только и думали что о Саше, но почти не говорили о нем: сами мысли казались разговором, и Линочка, забываясь, даже боялась думать страшное, чтобы не услышала мать. И по комнате Елена Петровна ходила с крайней медленностью, смотрела вниз, слегка склонив голову, и перебирала прозрачными пальцами тоненькую домашнюю цепочку от часов, старушечьи заострив локти в черном блестящем шелку. И однажды сказала, продолжая вслух свои мысли:

— Помнишь, Линочка, я говорила как-то, что у Сашеньки нет никаких талантов?

— Это я говорила, мамочка, ты ошибаешься.

— Нет, дружок, это ты ошибаешься, и говорила я. Теперь ты видишь, какой у Сашеньки талант?

— Да.

— Очень, очень большой талант. Но только, конечно, совсем особенный, мужской, и нам с тобой никогда его не понять, Линочка.

Спали обе женщины в одной комнате, и мать никогда не узнала, каким это было ужасом для измученной, в своем огне горевшей Линочки. И ужас начинался с той минуты, как тушилась свеча, и Линочка знала, что мать не спит и не заснет, и думает свое, и лежит тихонько, чтобы не мешать Линочкиному сну. Невыносимо было молчание и притворство, а в нем проходили часы, — и вот начинала громче вздыхать Елена Петровна, думая, что заснула дочь и она теперь одна и никому не мешает. И вздыхала не торопясь, надолго; потом, забывая окружающее, начинала тихонько со вздохами шептать, и шептала долго, неразборчиво, как скребущаяся мышь. Минут на пять переставала шептать и вздыхать и неопределенно замолкала: и в эти пять минут переставало биться сердце у Линочки в мучительном ожидании. И снова начинались в постепенности вздохи и шепот, велись какие-то бесконечные разговоры; видимо, Елена Петровна все-таки сознавала окружающее — вдруг белым призраком в своей ночной кофточке поднимется и поправит начавшую коптить лампадочку за зеленым стеклом. Подняв голову, испуганно следит за ней Линочка и бесшумно прячется в одеяло: и тихонько поскрипывает постель, давая место старому телу, и снова в постепенности зарождаются вздохи и шепот, точно какую-то стену прогрызает осторожная и пугливая мышь. Иногда прозвучит и разборчивое слово, малоговорящая фраза, озабоченный вздох:

— Дождь-то какой... ай-ай-ай. Дождь-то какой...

И непременно наступит после этого пятиминутное молчание: словно испугалась мышь громкого голоса и притаилась... И снова вздохи и шепот. Но самое страшное было то, когда мать белым призраком вставала с постели и, став на колени, начинала молиться и говорила громко, точно теперь никто уже не может ее слышать: тут казалось, что Линочка сейчас потеряет рассудок или уже потеряла его.

— Сын мой, Сашенька!..

Так начиналась молитва, а дальше настолько безумное и неповторяемое, чего не воспринимали ни память, ни слух,



обороняясь, как от кошмара, стараясь не понимать страшного смысла произносимых слов. Сжавшись в боязливый комок, накрывала голову подушкой несчастная девочка и тихо дрожала, не смея повернуться лицом к спасительной, казалось, стене; а в просвете между подушками зеленоватым сумерком безумно светилась комната, и что-то белое, кланясь, громко говорило страшные слова.

Только к рассвету засыпала мать, а утром, проснувшись поздно, надевала свое черное шелковое платье, чесалась аккуратно, шла в столовую и, вынув из футляра очки, медленно прочитывала газету.

И чай наливала Линочка, печальная, красивая и спокойная девушка в черном платье.

Эта газета, которую по утрам читала мать, была опять-таки мучением для дочери: нужно была проснуться раньше и каждое утро взглянуть, нет ли такого, чего не может и не должна читать Елена Петровна. И однажды утром, — это было еще в конце июля месяца, — просматривая газету, Линочка нашла известие, что вчера убит в перестрелке знаменитый разбойник Сашка Жегулев. Так до самого выхода Елены Петровны она и не решила, что делать ей с собой и с газетой, и в спальню поздороваться с матерью, как обычно, не пошла и, держа в груди всю буйную толпу задержанных рыданий, молча, не здороваясь, подала газету. Елена Петровна взглянула на дочь, потом на газету и, сразу заторопившись, не попадая за уши тонкой оправой очков, молча трясла головою, искала строки, еще не видя. Наконец прочла — и не спеша сняла очки дрожащими пальцами и внимательно посмотрела на Линочку:

— Это не Сашенька... успокойся, не плачь, это не Сашенька.

Но уже вырвались на свободу рыдания: билась в черных коленях у матери плачущая девушка и кричала:

— Откуда ты знаешь! Да родная же моя мамочка, я сейчас умру, умру, умру. Откуда ты знаешь?

Тихо плакала — за дочь, а не за себя — Елена Петровна и успокаивала бережно:

— Успокойся, деточка, не плачь, это не Сашенька. Я знаю, не плачь, это не Сашенька, нет, нет...

И весь день в тоске, не доверяя предчувствиям матери, провела Линочка, а следующий номер газеты принес чудесное подтверждение: убит, действительно, не Сашка Жегулев, а кто-то другой. И снова без отмет и счета потянулись похожие дни и все те же страшные ночи, вспоминать которые

отказывались и слух, и память, и утром, при дневном свете, признавали за сон.

К концу августа что-то новое появилось в мыслях Елены Петровны: медленно, как всегда, прохаживаясь с дочерью по комнате, она минутами приостанавливалась и вопросительно глядела на Линочку; потом, качнув головой, шла дальше, все что-то думая и соображая. Наконец решила:

— Ты замечаешь, Лина, что уже давно не слышно о Сашеньке? Ты, девочка, должна была это заметить, это так заметно.

Линочка нерешительно возразила:

— Нет, мамочка, в газетах пишут.

— Ах, мало ли что пишут в этих газетах, как ты можешь этому верить. И знаешь ли, что я думаю, Линочка?

И с строгим достоинством, точно поглубже стараясь скрыть тихую радость, Елена Петровна высказала догадку, скорее, утверждение:

— Я думаю, Линочка... и не думаешь ли ты, что Сашенька мог уехать в Америку? Тише, тише, девочка, не возражай, я знаю, что тылюбишь возражения. Америка достаточно хорошая страна, чтобы Сашенька мог остановить на ней свой выбор, я же хорошо помню, он что-то рассказывал мне очень хорошее об этой стране. Неужели ты не помнишь, Линочка?

Но больше к этой мысли, на некоторое, по крайней мере, время, она не возвращалась: была ли обижена недоверием, или же сама еще недостаточно твердо решила вопрос. Когда в конце октября появилось известие о смерти Сашки Жегулева, то и к этому известию Елена Петровна отнеслась с тем же спокойным недоверием и на несколько часов поколебала даже Линочку. Но было что-то неуловимо-страшное в черных строках, в каких-то маленьких подробностях, — и, мучаясь неизвестностью, Линочка пошла в город, к Жене Эгмонт. Вернулась она довольно скоро, и глаза у нее были странные, но день прошел обычно; а на следующее утро она снова уходила, и так несколько дней подряд, и глаза у нее были странные, — но в остальном все шло по-обычному.

Только обеспокоила Елену Петровну как раз в эти дни разразившаяся буря: гремело на вывесках железо от ледяного северного ветра, уныло-сумрачен был короткий день, и, хотя настоящего снега не было, — около тротуарных тумбочек, и у стен, и в колдобинах мостовой забелелось, намело откуда-то. Весь день Елена Петровна посылала смотреть на градусник, ужасаясь растущему холоду, а ночью, в свисте ветра, в ударах по стеклу то ли сухих снежинок, то ли подня-

того ветром песку, зашептала раньше обыкновенного, потом стала кричать и с криком молиться.

Но буря пронеслась, наступил день, и Елена Петровна успокоилась и снова, останавливаясь, начала вопросительно поглядывать на Линочку. Уже давно никто не нарушал их одиночества даже звонком, и, когда в прихожей среди тишины резко звякнул звонок, Елена Петровна вздрогнула и, трясаясь, сразу зашептив с очками, обратилась к двери; молчала Линочка, не трогаясь с места, и кто-то тихо раздевался в прихожей.

— Кто это? — воскликнула Елена Петровна. — Зачем вы меня пугаете?

И в высокой стройной девушке, одетой в черное, не сразу узнала Женю Эгмонт, а та стояла в дверях и плакала, и плакала навзрыд Линочка, и стало так страшно!..

Неслышно шагнула вперед Женя и, склонившись на колена, припала к прозрачным, дрожащим рукам своей мокрой, холодной щекой; и говорила вздохами и слезами:

— Мамочка! Мамочка!

Но Елена Петровна отталкивалась и трясла головой:

— Саша умер? Саша умер?

— Да нет же! — кричала Линочка и кричала Женя. — Он жив, он жив!

— А, жив, так что же вы! — как будто даже со злобой говорила Елена Петровна и в другое перенесла свою тоску, боль, мучительный испуг, — вцепилась обеими руками в худенькие, податливые плечи Жени, сильная и безжалостная, трясла ее и кричала:

— Нет, ты веришь! Ты пришла... нет, ты веришь, что он поступает хорошо, хорошо? Говори же, ты веришь! Женя!

— Верю, мамочка. Я его невеста. Я с тобою буду ждать его!

С этого дня три в черном шелестом своих платьев будили тишину темных комнат, тихо ходили, еле слышно касаясь друг друга, говорили ласковыми словами. Мелькнет узкая рука, в озарении любви и душистого тепла колыхнется что-то нежное: шепот ли, слившийся с шелестом платья, или заглушенная слеза: мать — сестра — невеста.

Пал на землю снег, и посветлело в комнатах. И уже не те стали комнаты: занялись обе девушки уборкой и раскрыли ящики, расставили мебель, повесили драпри и гардины — при равнодушном внимании Елены Петровны. Одну комнату оставили для Саши.

По вечерам все сидели вместе, разговаривали о разном и много читали: теперь Елена Петровна совсем поверила,

что Саша уехал в Америку, и каждый вечер, надевая очки, — она и слушала почему-то в очках, — просила:

— Ну-ка, Линочка, почитай мне об Америке... ты ничего не имеешь против, Женечка? Это очень хорошая страна.

— Я и сама буду читать, мама, — отвечала Женя весело, — мы будем по очереди.

— Вот все и устраивается прекрасно. Читай же, Линочка.

Читали по очереди девушки: и пока ходила плакать одна, читала другая. И, шутя утверждая бессмертие жизни и бесконечность страдания, Елена Петровна вытирала под очками глаза, потом снимала и прятала в футляр, говоря со вздохом:

— Теперь Сашеньке хорошо. Америка очень хорошая страна, очень!

*19 октября 1911 года*



## ОН

### РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО

#### I

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, — вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа — еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, — я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц.

— А море вы любите? — спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

— Море? О Господи...

Он даже засмеялся:

— Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться. Вы будете довольны.

— Ну еще бы!

Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

— В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка. Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка — говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан, и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.

Но только к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пяточками и гривенниками, всей дешевой студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Норден. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, — вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приبلудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не

могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев — слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, — что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся, — я не мог понять, отчего он смеется? — осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:

— А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, — но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы что от ног? Ребенок мог забыть игрушку — дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, — но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они — эти темные вос-

поминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего — в прячущегося, из преследователя — в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам, — у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, — заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груды камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

— Видите пирамиду? — сказал Норден. — Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся — чему он постоянно смеялся? — и продолжал:

— Здесь я хотел построить церковь в норманском стиле. Вы любите норманский стиль? Но мне не позволили... такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:

— Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

— Как же это случилось?

— А как тонут молодые люди? — улыбнулся Норден. — Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло... как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала — просвечивало дно.

— Здесь очень мелко, — сказал я.



— А она уехала далеко.

— А зачем она уехала далеко?

— А зачем молодые люди уезжают далеко? — засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. — У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весной снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

— А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

— Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, переокрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море — мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было...

## II

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонаправленный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирает ног на стол, как другие мои ученики, не ковыряет в носу, не пачкает бумаги и стола и не делает мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, — не было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его

стриженная, светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, — он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей — мальчика семи лет и девочки пяти — он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно — деланно, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал — сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

— Ты ушибся, Володя?

— Да, немножко.

— Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

— Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он

даже добавил: «Благодарю вас!» — так был вежлив этот странный и жалкий человек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, — комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь и всех, у которых был рот, — хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его именем, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись — трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, — тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:

— Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни, прохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, — помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал

испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия, — я всегда путаю эти приличия, — спросил:

— Кто это играет?

Норден весело ответил:

— Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

— Удивительно играет, — повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:

— Дети! Мисс Моллы Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:

— Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

— Танцирен, мейне кндер, танцирен. Мисс Мольт!..

И эти послушные куколочки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

— А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

— Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам

огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда покрасневших детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

— Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго — на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена, — теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

— Ну что, как мама сегодня? — спросил я его. — Вы были у нее сегодня?

— Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.

— Она очень больна?

— Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

— А часто она плачет? — резко спросил я.

— Мама? — удивился Володя. — Нет, она никогда не плачет.

— Смеется? — сердито усмехнулся я.

— А разве смеяться нехорошо? — виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции, засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете — те трое уже скребли железом, сдирая следы, — в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забежали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

— Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по

углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью — но ставни все были целы, — я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью, — я теперь иногда становился дерзким с Норденом, — я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

### III

Мой дневник, который я вел у Норден, кем-то украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, впечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, — но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, — и серой бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывающих безразличной мглою и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мел-

кая вода, и открылись островки и целые материка песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее — грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя *Елена*, и маленькие буквы имели вид гигантских иероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида — по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

— Зачем вы здесь поселились? — в тот же вечер дерзко я спросил у Нордена. — Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

— Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого надо бежать... но разве поймет это Норден, — он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся — Боже мой, как это было глупо и унижительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в

строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себя все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Норден и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу. — было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, искверканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было равно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если бы мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:

*Елена.*

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами... нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педделю. А сам Норден представился просто чудачком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чужим: заработаю денюжат, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» — весело думал я, пробираясь обратно; и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить зав-



тра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной ласке спокойного снега исчезла отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», — подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось, — было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты, топпливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз — про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не поддавалась, — так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное

волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького, защищенного, крытого уголка.

Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, — по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания, и окна были довольно низко над землею: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», — подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску... да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу — та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

— Что вам надо? — негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же, — подумал я сердито. — Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить — медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямо и необыкновенно широки и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного

и странного — разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю, в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что роятся в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел взглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося, — но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов, — это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь, другими словами: либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как... галлюцинация. Да, галлюцинация, — вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, единственным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация... если только это не был случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или... Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, несколько не нервным, все предметы вижу с пол-

ной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть *Елену*, но этот молчаливый господин в котелке, — какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезающимися от смеха глазами я взглянул в окно, — мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательно взгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, чтобы вам не нравилось, — я буду жаловаться мисс Молль, а она вас накажет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукой по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что это тошкотно шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед темными, бесчисленными, как казалось, окна-

ми странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль, и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все стали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхолонной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не умел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

— Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону,— он протянул руку по направлению к морю,— может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако? Мы смеемся! И еще что мы делаем? Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал очень долго,— что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

— Да! Если б они видели — они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

— А сегодня ночью...

Но он перебил меня:

— Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

— А сегодня ночью...

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово,— точно замок железный повис у меня на губах.

— Вы хотели сказать?..— вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то раз-

будил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать! Голос был так громок, что я даже привстал на постели,— но было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном... Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услышав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться?— Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это... если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!»— подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

#### IV

В следующую затем ночь, 7 декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти *совсем* забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство — так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматри-

вал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда взглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а лег в постель редко после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра — не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет... Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов, — лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть — его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

— Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер — в субботу, в библиотеке — стал началом дикого, лишнего цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми

окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, — вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную, — и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидал меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услышал где-то близко плачущий голосок самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что остановился и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичные ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернувшись и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

— Тебя наказала мисс Молль? — спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то непркосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

— Нет. Я сама.

— Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по комнате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебание; и я



уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

v

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опускали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой белой листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмотришь еще,— и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни *он* не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь,— и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала

быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила тишина. И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначающие чистое имя: *Елена*.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томилаcь невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, — как нет на свете *Елены*. О ней не говорят, но ежедневно к ней водят детей, и редко — правда, очень редко — я слышу из своей комнаты, как в людской раздастся нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня», и ничего не может рассказать о ней — или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя *Елена*. И вместе с дурной погодой вернулся *он*, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, — когда появился *он*. Это было первый раз, когда *он* пришел днем и при посторонних. Стоял *он* в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег; я явно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

— Вы видели *его*?

И он спокойно, как взрослый, солгал:

— Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?

— Да.

— Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел он и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

— Каково? — сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

— Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? — с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукою моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

— Вы видели?

— Нет.

— Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

— Я буду жаловаться!

— Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня, — казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями, — Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

— Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно... о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, — да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод... Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною, или же и сам хочет избавиться от беспокойства, — настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем готовить; сейчас же он закажет дере-

во,— особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список покупок, сейчас же кто-то поедет в город...

Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но *он* медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что *он* тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску: да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти,— и *он* также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шума, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту — и почти столкнулся с *ним*. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; *он* не делал по-

пыткок войти, не двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее,— и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что *он* слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно, и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату.

## VI

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступление, посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи *с моей жизнью* не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуждое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляю в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух — на дороге не было никого — повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме, и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком

и объяснить ему, что он ошибается, что я — только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? Я не знаю. А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что *может* делаться в бедной человеческой головах. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже *это* казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно; и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой — играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилён вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и

толстая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял он. Помню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но он не уходил. И, уже леденея от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал ему рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке он и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда он вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда он открывал дверь из передней в комнаты, его темный силуэт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня несколько не удивило, что он вошел в мою комнату — именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где он, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое, неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или грудку висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность его была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

— Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но он молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо лечь в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом,— сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту он сел,— осторожно подвинув меня к стене,— на край постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все, и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем,— все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для которой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие полагает ограниченная действительность,— медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо — серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут



же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное и как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилося, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

## VII

В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? Не знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «Дорогой М. И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал платяной шкаф; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я

с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом,— и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда — что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного: как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил *он* и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я, одетый, бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал *его*, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а *он* садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска — сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытался сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно *он* не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый вечер — очень быстро одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашающий возглас:

— Танцирен! Танцирен!

Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот ног, весь тот шум, который производят люди, собравшись для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во всех углах и становился невыносим. И иногда Норден

кричал весело и шутливо, но часто — как мне помнится — голос становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит с угрозой, почти со слезами:

— Танцирен! Танцирен!

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необычайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, вероятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой светом елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке, и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял посередине комнаты и, потрясая кулаками, яростно вопил:

— Танцирен!

И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы на балу присутствовали только обычные гости Нордена: людей было так много, что, вероятно, были и другие, только на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И с этим же вечером у меня связано очень странное чувство — чувство близости *Елены*: словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о *Елене*, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное — другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости *Елены* было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица... но тут все кончается. И теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью — и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет — я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом *Елена* ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных со-

бытий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот. Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил *он* — и все: волнения и догадки, желания и воля, все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса и образы живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела, — и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограничительная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» — вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти *он*, и по характеру напомнило мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря, и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не знаю почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня *он* не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз. Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз; и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, *он* не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без

тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что *он* больше никогда уже не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал — это была она.

### VIII

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина, и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти — так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку — я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал — смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя *Елена*: я не знал тогда твоего имени — как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать,

какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу, — и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, — и оттого ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое — тогда — я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупa, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом, — всюду было то же пустынное, ровное, белое пространство, почти сама пустота, какую ее можно видеть только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

— Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то; и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил,— потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был заметен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленях — трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами,— и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня, все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспмятство, я не помню.

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на их дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспмятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слышал. Также не появлялся с той ночи *он* и, я знаю, больше никогда не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю,— и эти вопросы сейчас самое трудное для меня и тяжелое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М. И.— товарищем, которому я писал,— он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет везти меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не

нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание — есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все.





## ВОЗВРАТ

...Потом мы говорили о снах, в которых так много чудесного; и вот что рассказал мне Сергей Сергеич, когда все разошлись и мы остались одни в большой и полутемной комнате.

---

Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был и сон, за это говорит простой житейский смысл, но было тут и другое, слишком похожее на правду или на бред с его обманчивыми видениями; но одно я знаю, что в постели я не был, ходил по камере, когда это привиделось мне, и что глаза мои, кажется были открыты. Во всяком случае, в памяти моей о прошлом этот сон... или случай? — занимает такое же твердое место, как все то, что происходило в действительности. Пожалуй, даже крепче.

Случилось это в сумерки. Я уже третий год сидел по политическому делу в петербургском доме предварительного заключения, в одиночной камере, ничего не знал о товарищах и их судьбе, и постепенно погружался в ту холодную и тупую тоску, когда жизнь замирает и дням теряется счет. Читал мало, а больше ходил по пятиаршинной камере, шагая медленно, чтобы не закружилась голова, и неопределенно думал — вертел все один и тот же валик стирающихся образов, давно прошедших событий, далеких, полузабытых лиц. Но одно лицо я помнил ясно, хотя казалось оно дальше всех и недостижимее всех: это было лицо моей невесты на воле, Марии Николаевны, очень красивой девушки. Ей счастливо удалось избежать ареста, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знал, предполагал, что жива, но и только.

И в эти осенние петербургские ранние сумерки я думал о Марии Николаевне; медленно шагал по асфальтовому полу взад и вперед и думал о ней. Было по-тюремному тихо, темно, равномерно и медленно поворачивались серые стены, пока не стало казаться, что я совершенно неподвижен, а это — камера вращается неслышно вокруг меня; и вдруг — я оказался в Москве, продолжаю теми же шагами идти по Тверской, вверх, к бульварам. Происходит это днем, зимою; на улице светло,людно и очень беспокойно от движения извозчичьих саней. Я посмотрел на часы — был уже четвертый час, однако «в Петербурге раньше темнеет»,— подумал я и вдруг забеспокоился. Приехали мы в Москву с Марией Николаевной по партийным делам, остановились под видом мужа и жены в старой «Лоскутной гостинице», и теперь она оставалась одна в номере. Правда, я ей сказал, чтобы она затворилась и никого не пускала... но кто знает? Кто-то мог прийти, кто-то мог ее вызвать, кто-то мог вовлечь ее в ловушку; надо сейчас же вернуться!

Я нанял извозчика до «Лоскутной»; там я быстро пробежал лестницу и два коридора и с облегчением остановился у своего номера: на крючке не было ключа, и, стало быть, Мария Николаевна дома. Условно стучу в дверь, жду — молчание; стучу громче, дергаю ручку, однако — ничего; либо что-нибудь с ней случилось, либо ушла. К счастью, идет коридорный Василий; я к нему:

— Василий, вы не знаете, жена дома или ушла? Никого у нее не было?

Василий не сразу сообразил, народу в номерах много; наконец вспомнил:

— Как же, как же, Сергей Сергеич, барыня уехали, я же сам видел, как выходили из номера; они и ключ в карман положили.

— Одна?

— Нет, с каким-то вашим знакомым; такой высокий, в черной шапке барашковой.

Подробнее неизвестного господина Василий описать не мог, не всмотрелся.

— А передать мне что-нибудь велела?

— Нет, Сергей Сергеич, ничего.

— Не может быть, вы забыли, Василий!

— Нет же, Сергей Сергеич, ничего не велели. Да у швейцара надо спросить, может, ему что сказали.

Пошли к швейцару, Василий со мною — понял, что я в беспокойстве: никаких знакомых в Москве у нас не должно было быть, и высокий господин в черной барашковой шапке

внушал мне сильнейший страх. Но и швейцару Мария Николаевна ничего не передавала; становилось совсем нехорошо.

— А в какую сторону они хоть пошли? — допытывался я у швейцара, решительно не зная, что делать и где искать.

— Да пойдите, Сергей Сергеич, как же я забыл: я же им и извозчика нанимал, как же!

— Куда?

— Куда, не знаю, а только я извозчика кликал; да вон он и стоит, вернулся, значит. Тот самый, я помню!

В это время мы уже вышли на улицу и стояли около парадного; швейцар подозвал извозчика, и тот рассказал, что действительно только что отвез двоих, барыню и барина, ехать пришлось далеко; улицы, на которой ссадил седоков, извозчик не знает, так как редко бывает в той стороне, и ехал по указаниям. Как же быть?

— А ты, может, так ее найдешь, улицу-то, по памяти? — спросил швейцар, желавший мне помочь. — Не первый год ведь ездешь!

Извозчик подумал и согласился:

— Найти-то найду, да лошадь заморилась. Не знаю, ехать ли.

Но я уговорил извозчика, обещал хорошо ему заплатить, и вот мы поехали; помню еще, как подтыкал мне полость швейцар, усаживая, и как он крикнул вдогонку:

— В добрый час, Сергей Сергеич!..

И первое время было совсем радостно ехать: след нашелся — это главное, а дальнейшее — вопрос только времени, получаса или уж, в крайнем случае, часа; и на улицах было весело. Фонари еще не зажигались, но в магазинах и лавках везде уже горел огонь, было шумно и многолюдно, на перекрестках приходилось ждать, и на самое почти плечо ложилась, дыша паром, морда задней извозчицей лошади. По веселой суете похоже было на предрождественские сумерки; да так оно и оказалось — и как я мог забыть! — на Театральной площади темнела среди снега целая рощица молодых елок, густо-зеленых, пахнущих, совсем не похожих на срезанные. Около прохаживались какие-то темные фигуры в полушубках и чуйках, и от них также веяло лесною далью, не городским.

Так мы проехали еще две-три веселых и шумных улицы; вспыхнули, наконец, фонари, и стало совсем празднично, легко и радостно, как в детстве; но улицы все тянулись, некоторые попадались совсем невозможной длины, и вот мы уже оказались в части Москвы, которой я совсем не знал. Что-то

еще вначале называл извозчик, какие-то улицы с непривычно и странно звучащими именами, но дальше в переулках замолчал: началось неведомое и для него. Вообще неприятно ехать по городу, которого не знаешь: тогда эти ломаные, запутанные и странные проходы между домами теряют свою планомерность и значение улиц, является чувство неуверенности в направлении и вместе с ним смутный намек на какую-то безысходность; когда же таким неведомым городом оказалась Москва, которую, как мне думалось, я хорошо знал, стало совсем неприятно, даже жутко. От темных дыр безымянных переулков, в которые мы погружались, пахло какой-то опасностью, — обманом, предательством.

С силою вспоминалась Мария Николаевна и тот неизвестный в барашковой шапке, захотелось бежать, нестись вскачь, а извозчик плелся все с той же усталой медленностью, поворачивал, кружил, молча и неуверенно, дергал вожжами. Его неподвижная спина приковывала взгляд, и уже начинало казаться мне, что всю жизнь я только и видел, что эту спину, зная ее каким-то последним, совершеннейшим знанием, как нечто вечное, предназначенное, всегда одно и то же. И все реже становились фонари, и все меньше попадалось освещенных лавок и освещенных окон в домах: как будто здесь была уже ночь и все спали. На одном завороте извозчик остановился.

— Что ты? Лошадь не идет, — отчего ты стал? — спросил я с беспокойством.

Извозчик молчал. И вдруг круто, чуть не вывалив меня из накренившихся саней, повернул назад.

— Заблудился?

Он помолчал и неохотно ответил:

— Мы уже тут были. Разве не узнаете?

Я огляделся. И действительно узнал — именно вот эту комбинацию фонаря, панели, с сугробиком снега возле, и каменного темного двухэтажного дома: да мы тут уже были! И вот здесь началось самое невыносимое: мы стали бесконечно долгое время кружиться по переулкам и улицам, где мы уже были; и куда мы ни поворачивали, мы не могли уйти от места, где мы уже были, — и, может быть, не раз. Пересекли большую улицу с светлыми магазинами и народом — и я ее узнал; а немного спустя мы снова пересекаем ее, и тот же городской стоит на перекрестке.

— Спросить бы кого-нибудь!.. — сказал я нерешительно.

— А что спросить-то? — угрюмо, помолчав, ответил извозчик. — Едем, а куда, и сами не знаем.

— Ты же говорил...

— То-то, что говорил.

— Постарайся, голубчик! Мне это... очень важно, очень. Извозчик молчал. И когда мы отъехали уже полпереул-ка, нехотя ответил:

— Я и стараюсь. А что ж я делаю?

Наконец мы как-то выбились из круга: вот этого переул-ка с длинным забором я еще не видал; и извозчик увереннее задержал вожжами и даже сказал коротко, не огляды-ваясь:

— Это самое.

— А скоро?

— Не знаю. Нет, еще не скоро.

И тут для меня наступил новый ужас: почти полной тем-ноты и бесконечных заборов, каких-то старых садов, свешивавших ветви огромных деревьев на средину дороги, каких-то пустырей, каких-то темных, без единого огонька зло-вещих домов, казавшихся необитаемыми. Как могла попасть сюда Мария Николаевна? — и что могли с нею здесь сде-лать? Несомненно, ловушка; несомненно, какое-то страшное и жестокое предательство. Кто этот высокий, который увел ее? — у нас нет в Москве и не должно быть знакомых.

А заборы все тянулись, и нет им конца; и я уже ничего не понимаю: новые ли это заборы, или же и здесь мы вошли в безысходный круг и никуда не приближаемся; может быть, отходим назад. Все кажется знакомым и незнакомым, и сердце начинает биться сильными, редкими, глухими толч-ками, когда извозчик вдруг говорит:

— Сейчас будет.

— Где?

— Вон тот забор. Там калитка есть.

Да, вот и забор, вот и калитка в заборе: темно, но калитку видно. Остановились. Путаясь в полости, я быстро соскаки-ваю, перелезаю сугроб и подхожу к калитке. Заперта, и нет намека ни на звонок, ни даже на ручку, за которую можно бы схватиться и дергать. Над забором свешиваются глухие, старые, опущенные снегом деревья, и тихо. Становится по-ложительной и страшной загадкой: что за роковая необхо-димность привела сюда Марию Николаевну? От мучительных предчувствий горя и зла захватывает дыхание, ноги слабеют и дрожат, подкашиваются в коленях.

Я осторожно стучу, — никакого ответа. Постучал гром-че, — никакого ответа; все та же тишина и глухие, змеящие-ся ветви, точно окрашенные белым по одному боку. В заборе щель — заглядываю: расчищенная, видимо, дорожка, за нею в глубине темный, страшный, без единого огонька притаив-

шийся дом. Но в нем есть люди, в нем что-то совершается — это я чувствую, я знаю это, слишком явен вид предательства у страшного притаившегося дома с притворно темными окнами!

И уже ничего не остерегаясь, я начинаю кулаками изо всей силы стучать в калитку. Кричу: отворите! Отдельные удары сливаются в один сплошной гул, вся улица всеми своими пустыми заборами отзывается на этот гул, я сам утопаю в нем и уже не слышу своего крика. Больно рукам, но я стучу все яростнее, калитка, забор, вся улица гудит, как деревянный мост, по которому вскачь пронесится пожарный обоз, — и вот мелькает желтоватый свет, пробивается в щель, скользит по ветвям, неровно колышется. Идут с фонарем!

Я перестаю стучать. Свет все ближе. Уже слышны шаги и тихие голоса — подходят! Сердце колотится от страха и ожидания: что-то пугающее есть в тихих голосах, колеблющемся неровном свете. Остановились за калиткой, непонятно медлят; но вот звенят ключи, целая связка, гремит запор — и яркий свет ударяет мне в глаза, калитка открылась.

Калитка открылась, и за порогом ее — мой, мой тюремный надзиратель с лампочкой в руке и рядом с ним его помощники. Мой надзиратель! Откуда он здесь? — я сразу ничего не могу ни сообразить, ни понять. Куда же я приехал? Куда же я сейчас так стучал? В моей камере темно, а оба они, надзиратель и его помощник, ярко освещены, и за ними освещенный коридор, но мне все еще кажется, что я не в камере, а на той самой улице, и что это не дверь в мою камеру открылась, а та страшная и таинственная калитка. Кажется, я крикнул:

— Кто это?

Оба они, освещенные, все еще стоят за порогом и удивленно смотрят на меня, и надзиратель говорит:

— Что это вы, Сергей Сергеич, что вы так стучите? А я лампу к вам несую, вдруг слышу — что за стук! Лампу возьмите, а сейчас и кипятик будет. Не надо так стучать, нехорошо!

И вот лампа в моей руке, и вот с привычным стуком захлопывается дверь; да, это моя камера! Да, я в своей камере — и больше нигде.

...Таков был мой сон или то, что называют сном. Так, уйдя — я вернулся; так после долгого и мучительного блуждания по кругам я завершил последний круг — и постучался в двери моей же тюрьмы.



## ПОЛЕТ

### I

День полета начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два: луч раннего солнца, проникший в темную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намеков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением.

Юрий Михайлович Пушкарев был опытный офицер-пилот; это значило, что в течение полутора лет он уже двадцать восемь раз — ровно столько, сколько было ему лет, — поднимался на воздух и все еще был жив, не разбился, не переломал себе рук и ног, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, он знал цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными, — пожалуй, даже жестокими немного; но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний ее смысл. «Упаду так упаду, — думал он, — что ж с этим поделаешь; а может быть, до тех пор и машину сделают такой, что падать не надо, вот я и обману смерть, проживу до старости, как другие. О чем же гадать?»

И, думая это про себя, он улыбался той своей спокойной улыбкой, за которую так любили его и уважали товарищи. Но жил в его теле кто-то еще, кто не поддавался увещаниям, твердо знал свое, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь, — и этот другой страшился страхом трепетным и темным. И после удачного полета этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл, а перед полетом

каждый раз мучил душу, наполнял ее вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полета.

Вечером, перед сном, Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным темным и зеленым улицам маленького городка, где они временно жили; и уже в половине одиннадцатого, когда в доме еще возились, лег в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью; потом, долго или коротко спустя, что-то широкое заходило над головою и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинуло пределы узкого, темного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжелое, как узы, тупое и мертвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко: как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край; и стало казаться в долгой грезе, что он — не человек спящий, а сама морская волна, которая, то падая, то поднимаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору. И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны по безбрежному простору, когда, то падая, то поднимаясь, идет она в голубую беспредельность. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя — уже птицы звенели за окном, — привиделся и тот радостный, волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием.

Будто проснулся он на рассвете в темной комнате, где спал почему-то один, без жены; и хотя жены не было и комната была незнакомая, но была она в то же время своей, настоящей, той, в которой он всегда жил и живет. Проснулся он будто от тревожного и страшного сна, с темным взглядом и стесненной грудью: было тяжело и печально. Тогда поднялся он и вышел в соседнюю комнату, где было уже светлее, так как только на одной стороне ставни были закрыты, а на другой уже пробивался в окна мягкий, розовый, спокойный свет. «Как хорошо и спокойно: все спят», — подумал он, успокаиваясь; и тут внезапно — так всегда было в этом чудесном сне, — внезапно вспомнил, что, кроме этих хороших комнат, у него есть другие, прекраснейшие, в которых он почему-то давно не был, даже совсем забыл о них. С ра-



достным ожиданием он открыл очень высокую, белую дверь и тихо, босыми ногами, вступил на гладкий и теплый пол забытых прекрасных комнат. Их было много, и они были тех огромных и торжественных размеров, какими бывают комнаты и залы только во дворце; и всюду, во всех углах, стоял тот же неяркий, но спокойный и радостный розово-утренний свет. «Как хорошо! И как я мог забыть!» — думал он, тихо скользя вперед, в тишину и высь все новых и прекраснейших зал, полных света и умиленной радости; и так дошел он до двери, за которой послышались голоса. Он осторожно заглянул и увидел, что сидят на полу два маляра, что-то делают и тихонько поют.

Тут Юрий Михайлович проснулся, но еще с минуту, радостно и глубоко волнуясь, не мог понять, где кончается сон и начинается настоящее. На ночь окна в их спальне закрывались ставнями, и теперь прямо в глаза ему что-то ослепительно-ярко блистало; он отодвинул голову и увидел острый и прямой луч, идущий от круглого отверстия в ставне, где вывалился сучок, увидел круглое пятно на подушке и розовый сумрак, наполнявший комнату. Потом увидел сбоку от себя темное пятно волос, голую руку, услышал тихое дыхание, — и сразу все вспомнил и все понял; и что сегодня ему лететь, и что это милое, что так тихо дышит, есть его жена, и что июльское солнце, поднявшись, стоит против окон и, вероятно, весь мир заливают светом. Попробовал себя, не страшно ли ему лететь, но вместо обычного крепко сдерживаемого страха было глубокое и радостное волнение: как будто ждет его сегодня необыкновенное и великое счастье. «Сегодня я полечу!» — впервые со всей чистотой восторга, радости неомрачаемой подумал он о небесном великом просторе, предчувствиями которого всю ночь жила его душа.

Если бы не этот луч солнца, Юрий Михайлович поспал бы еще час или полтора; но теперь невозможно было ни спать, ни оставаться в темноте, душной и тяжелой; и, осторожно сойдя с постели, стараясь даже не смотреть на жену, чтобы не разбудить ее взглядом, он наскоро оделся. Но та спала крепко: с вечера ей долго не давали уснуть беспокойство и нежная любовь, а потом чем-то страшным измучила гроза — иные были сны у женщины. И теперь она отдыхала. Захватив папирос и все так же не глядя на жену, Юрий Михайлович вышел из спальни в тихий свет пустых и небранных комнат, еще хранивших в углах ночные тени.

В кухне уже возился над самоваром и колол лучину сонный денщик, каждым движением своим перегоняя с места

на место тучу ленивых, тяжелых от ночи мух; но на дворе, и в садике, и на улице, обсаженной тополями, как аллея, было безлюдно и тихо. И хотя давно уже звенели птицы и по двору прошла кошка, старательно выбирая сухие места и избегая холодной и сырой тени от дома, и даже проехал на станцию извозчик, — казалось, что никто еще не пробуждался к жизни, а живет во всем мире одно только солнце, и только одно оно есть живое. Так оно было ласково и так грело глаза и усы, что Юрий Михайлович сделал невинное лицо и надолго притих; потом совсем по-детски подумал, что с солнцем можно говорить: правда, ответа не услышишь, но самому говорить можно, и в этом будет не меньший смысл, чем в разговоре с человеком.

И вспомнил он — все еще сохраняя невинное лицо и не торопясь открыть согревшиеся глаза, — как все детство свое он мечтал о полете. Вспомнил, как он подпрыгивал и снова падал на землю, оскорбленный, негодующий, не понимающий, почему же он не полетел; как уже небольшой прыжок с высоты давал робкое впечатление полета, и как до слез почти, до настоящей душевной боли хотелось все отдать, всем пожертвовать, от всего отказаться только за то, чтобы перелететь через соседский дом. И именно этот соседский дом, одноэтажный мещанский домишко с прогнившей деревянной крышей, приобрел такую значительность, что при первом настоящем полете, за тысячу верст от родины, когда от волнения ни о чем не думалось и не вспоминалось, он вдруг вспомнился Юрию Михайловичу.

Но неужели он действительно уже летал и сегодня полетит?

На небе не виделось ни единого облака, и там, где грохотал ночью гром и откуда падал дождь на землю, теперь раскидывалась ясная и бездонная синева. По книгам это называлось воздухом, атмосферой, но по чувству человеческому то было и вечно оставалось небом — извечною целью всех стремлений, всех поисков и надежд. «Всякий человек боится смерти, и кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то?» — подумал Юрий Михайлович, не отводя глаз от бездонной, таинственно сияющей синевы и на фоне ее рисуя памятью знакомые, загорелые, близкие и почему-то очень дорогие лица товарищей, офицеров-летчиков. Правда, разговор их пуст и смешно-деловит: так же, вероятно, разговаривает и он сам о своих полетах; но кто же не знает, что иногда совсем не нужно слушать разговора людей, которым они невинно и хитро лгут, а надо видеть лица, глубину глаз, чистоту белых, неиспорченных зубов.

И от этих мыслей, ясных, простых и чистых, как чисто было утреннее солнце, еще увеличилось то радостное волнение, с которым он проснулся; и, идя к дому, Юрий Михайлович зачем-то еще раз поклялся себе, что всегда будет любить своих товарищей и будет неизменным другом своим друзьям. Но тот, кто умеет не слышать пустого разговора и мыслей, а смотрит в глубину глаз, на чистоту молодых неиспорченных зубов, тот иной смысл открыл бы за этой наивной и ненужной клятвой. И тот и сам бы не сказал ненужного, а молча и крепко поцеловал бы в уста веселого, легкой походкой идущего к дому человека, у которого улыбка так приветлива и спокойна, а в глазах мерцает уже далекий свет.

Войдя в спальню, Юрий Михайлович тихим поцелуем разбудил все еще крепко спавшую жену.

## II

Был у Юрий Михайловича один несомненный дар: он умел молчать легко и приятно, и это делало разговор с ним всегда интересным и значительным. Прямых, определенных и в своей определенности всегда немного резких «да» и «нет» он не любил в разговоре и заменял их спокойной и ласковой улыбкой, свое мнение высказывал осторожно и нехотя и больше предпочитал слушать других. Казалось бы, что при этом качестве своем он должен был представляться товарищам загадочной натурой, человеком скрытным, ушедшим в свои сокровенные переживания, а выходило почему-то наоборот: все в полку, кончая молоденькими, только что произведенными подпоручиками, были убеждены, что знают его насквозь, знают гораздо лучше, чем самих себя. Ибо каждый для самого себя был только путаницей сложных, меняющихся настроений, неожиданных мыслей, внезапных переходов, изломов и скачков, а Юрий Михайлович всегда оставался ровен, спокоен и ясен; и так же ясна, проста и понятна была его жизнь с красивой, любившей его молоденькой женой. Когда какой-нибудь поручик проигрывал в карты или в пьяном виде устраивал дебош, после которого стыдно смотреть даже в зеркало, он непременно шел к Пушкиреву — посидеть и образоваться; и, сидя и образуясь понемногу, уже начиная видеть возможность новой жизни, он с некоторым великодушным сожалением смотрел на Юрия Михайловича, сравнивал бездны своей души с его ясной плоскостью и думал: экий ты, брат, ясный! И один шутник пустил было удачную кличку: «Наш разъясненный»; но, как ни удач-

на была кличка, долго держаться, при уважении товарищей к Юрию Михайловичу, она не могла, вскоре перестала возбуждать смех и позабылась.

И в это солнечное утро Юрий Михайлович был приятно молчалив и ясен, по обыкновению, разве только особенным светом глаз выдавал свое радостное, все растущее волнение; и, как всегда это случалось, его видимое и ровное спокойствие передалось жене, Татьяне Алексеевне, ровным светом зажгло и ее красивые черные, слишком блестящие глаза, немного по-азиатски приподнятые к вискам. Еще только недавно она была полна ночного ужаса, ужасных предчувствий и видений, а теперь, наливая мужу чай и поглядывая через открытое окно на синее праздничное небо, она никак не могла ни понять, ни вспомнить, что страшного было в этой сияющей, обращенной кверху, знакомой глубине. «Глупости, нелепые сны!» — думала она, передавая стакан и с любовью глядя, чтобы не обжечь, на смуглые, твердые, никогда не дрожащие пальцы мужа; и вдруг засмеялась, сперва весело, потом даже сердито немного.

— Ты, Юра, просто обманщик, гипнотизер!

Он улыбнулся.

— Почему?

— Просто фальшивый человек — не смейся! Когда я с тобой, мне кажется тогда, что ничего не может случиться, а ведь это же неправда, ведь всегда что-нибудь может случиться! Разве можно быть такой спокойной, как я сейчас, ведь это же неправда, а делаешь это ты. Я вовсе не хочу быть спокойной, это просто глупо!

И, уже стараясь взволновать себя, вернуться к потерянным ощущениям страха и беспокойства, она стала припоминать и рассказывать, немного сочиняя, свои темные сны, но страх не возвращался, и чем глубже было спокойное внимание Юрия Михайловича, тем явно несообразнее, просто глупее становились убедительные сны. Точно ребенок, который долго рассказывает взрослому вздорную, самим сочиненную сказку, — и вдруг видит толстые волосы на бороде, большие, ласковые, внимательные, но безнадежно умные глаза и сразу обрывает: не хочу больше рассказывать!

— Нет, Юра, ты сегодня еще хуже, чем всегда!

Но еще не отзвучали неласковые слова, как всю ее залило чувством совсем необыкновенного, острого, почти мучительного счастья. Покраснев до самых плеч, белевших в вырезах платья, она закрыла лицо руками и склонилась к столу, — ни взглянуть, ни слова промолвить она не могла бы теперь ни за что в мире. А сердце билось все сильнее и томи-

тельнее в ожидании первого слова, которое произнесет он, и это будет невыносимо: первое слово! Но он, необыкновенный, как ее счастье, не сказал ничего и только осторожным и тихим поцелуем прикоснулся к ее снова побелевшей шее.

Потом время побежало быстро. Пошли сборы, одевание; Юрий Михайлович сам, как всегда, своими твердыми смуглыми пальцами застегнул ей блузочку на спине, он же ее и расстегнет, когда вернутся. Но что бы ни делалось вокруг, чувство необыкновенного счастья не оставляло Татьяну Алексеевну, укрепилось твердо, стало чувством самой жизни; и что бы ни случилось теперь, упади Юрий Михайлович на самых ее глазах, увидь она его труп,— и тут бы она не поверила ни в смерть, ни в печаль, ни в роковое одиночество свое. Утверждением вечной жизни и отрицанием смерти было счастье, и не бывает счастье другим.

И, как всегда, уходя из дому, Юрий Михайлович забыл зайти проститься с ребенком, и, как всегда, жена напомнила с упреком и повела в детскую. Каждая дружная молодая семья создает свой домашний язык; и на их языке мальчик Миша, имевший от роду год и два месяца, назывался Тон-Тоном и пренебрежительно: Тончиком. Никаким отцом Юрий Михайлович себя не чувствовал, и ребенок с своими короткими ножками, беспричинным восторгом и гениальностью вызывал в нем только снисходительное удивление. И вес его был ничтожный, также удивительный. Теперь Тон-Тон был заправлен в конусообразное креслице на колесах, с круглым отверстием посередине, куда его вставляли; когда Тон-Тон падал в какую-нибудь сторону, кресло катилось и не давало ему упасть — и это называлось: он ходит. Носило его по всей комнате, но иногда ему удавалось наметить свою цель и даже достигнуть ее.

Юрий Михайлович засмеялся; засмеялась и жена, но сейчас же обиженно сказала:

— Тебе смешно, а ему это несколько не легче, чем твоя авиация. И ты летишь только потому, что все время падаешь, чем же он хуже?

— Правда,— согласился Юрий Михайлович.— Нисколько не хуже.

Но нельзя было не смеяться, глядя на Тон-Тона, и Юрий Михайлович сказал:

— А что, Таня, если бы нашим пьяным по выходе из Собрании давать такое же кресло; понимаешь, нельзя ни упасть, ни заснуть,— ужасное положение!

Но Татьяна Алексеевна не нашла ничего смешного в этой мысли и коротко ответила:

— Не люблю пьяных. Возьми же его на руки и поцелуй. И ты напрасно презираешь его и думаешь, что он ничтожество, любит только твои пуговицы: он все понимает.

### III

Когда Юрий Михайлович с женой подъезжали на извозчике к аэродрому, голубая пустыня неба ожила своею жизнью: от горизонта поднимались и, развертываясь, точно ставя все новые паруса, медленно проплывали в зените округлые, сверкающие белизной, торжественные облака. Будто ярче засверкало солнце, углубилась синева, и очарованием недосыгаемости манили ее пролеты, бездны синие и наиглубочайшие всех темных бездн морских; и похоже было минутами на великолепный смотр; будто вышла из гавани целая флотилия судов и, распутив сияющие паруса, гордясь, красуясь и затаив восторг, медленно проходит перед Высочайшими взорами.

Татьяна Алексеевна заволновалась:

— Не зашла бы гроза, как вчера, тогда как же?

— Нет,— уверенно ответил Юрий Михайлович,— смотри, у них края точеные. Это смотр, они скоро разойдутся.

— Тебе жаль, тебе хочется подняться выше их?

Он внимательно и немного странно — так ей уже потом казалось — посмотрел ей в лицо и глаза и ответил со своей спокойной улыбкой:

— Я тебя люблю ужасно.

На аэродроме уже был народ, и оживленно готовились к полету летчики, выдвигали машины из ангаров, проверяли, подтягивали металлические тросы; кто-то яростно бранился в сарае, что опять привезли не того бензину; у капитана Кострецова забастовал, по неведомой причине, мотор, и он сам, ругаясь и торопясь, презирая смущенного монтера, развинчивал гайки и уже до самых глаз успел замазаться машинным маслом и нагаром. Но, в общем, все обстояло благополучно, даже хорошо, и волновались, и высказывали недовольство только для того, чтобы оградиться от судьбы, не показаться ей слишком благополучными, умиловить маленькими неприятностями для избежания большой и страшной. И для той же цели никто не хотел даже сознаваться, на какую высоту сегодня он рассчитывает, уверял лживо, что немножко; и только про Пушкарева все знали, что, уже взявший несколько призов за точность спуска, нынче он намерен побить рекорд высоты. И что это удастся ему, никто из товарищей не сомневался; и самое чувство Рока,

грозной случайности, зловеще таящейся в прозрачном воздухе, стало слабее в присутствии ясного и твердого человека, не скрывающего своих намерений, спокойно говорящего о них.

Заговорили громче и веселей и толпою окружили Пушкарева; некоторые, здороваясь, целовались с ним, по-мужски, открытым и крепким поцелуем в губы. С женою, Татьяной Алексеевной, здоровались так же приветливо и дружески, целовали ей руку, но видно было, что для всех она — второй человек, и постепенно ее оттеснили от мужа. В другое, обычное время около нее всегда кто-нибудь оставался — из вежливости или любви к женскому обществу и разговору; а теперь она стояла одна на зеленой примятой траве и улыбалась с мягкой женской насмешливостью: было так естественно и все же немного смешно, что она, такая красивая женщина, стоит совсем одна, заброшенная, и никто в ней не нуждается, и никому она не интересна, а они собрались своей кучкой загорелых и сильных людей, смеются, сверкая белыми зубами, дружелюбно касаются локтей и плеч и ведут свой особенный мужской, серьезный и значительный разговор. «Как они любят Юрия!» — подумала она и вдруг перестала улыбаться: снова до самого дна колыхнулась душа ощущением великого счастья, неизъяснимой радости, сердечной благодарности к тем, кто так его любит. Но ведь они еще не совсем знают, какой он благородный, какой прекрасный и необыкновенно милый человек, а если бы знали!..

И когда подошел к ней полковник Пряхин, старый любезник, и стал говорить любезности, она уже сама послала его к мужу:

— Пойдите к Юрию.

— Я уже виделся с Юрием Михайловичем, — ответил полковник и догадался, — что-нибудь прикажете передать?

— Нет, — она смотрела в глаза полковнику и улыбалась, — пойдите к Юрию.

И тут, глядя в блестящие влажные глаза, полковник Пряхин понял, что перед ним сумасшедшая от любви, от гордости и от счастья женщина, — и ему сделалось страшно, и единственный раз за всю жизнь он почувствовал обманчивую призрачность солнца, земли, на которой так твердо стоят его ноги, всего, что окружает и в чем живет человек. «Странно!» — пробормотал он, отходя, и весь тот день, до самого его темного конца, бормотал это слово, не имея других, чтобы выразить всю необыкновенность представившегося ему мира: «Странно, странно!»

Уже разошлись все и начались полеты, когда Юрий Михайлович подошел к жене и взял ее за руку выше локтя.

— Прости, Танечка, я совсем оставил тебя.

— Ничего,— ответила она, улыбаясь,— я рада.

— Но не забыл!

— Ничего, я рада. О чем вы смеялись?

— Я рассказал им о кресле, помнишь, после Собранин — для пьяных. Ты забыла?

Но ей не понравилось это, и она сказала:

— А я думала о другом, Юра! Они очень любят тебя.

— И я их люблю. Смотри, Таня, Рымба идет сюда, сегодня с ним творится что-то ужасное.

— Поговори с ним, Юра.

— А ты? Мне ведь сейчас.

— Ничего, я рада. Поговори с ним, Юра.

Но Рымба — пожилой пухлый офицер с рябым, безволосым, блестящим от пота, но бледным лицом — уже сам звал Юрия Михайловича:

— Юра, на одну минуту!

— Ты что, брат? — спросил Юрий Михайлович, отходя с офицером в сторону,— волнуешься?

Рымба первый раз участвовал в состязаниях, и никто не мог понять, зачем он это делает и зачем вообще учиться летать: был он человек рыхлый, слабый, бабьего складу и каждый раз, поднимаясь, испытывал невыносимый страх. И теперь в глубоких рябинках его широкого лица, как в лужицах после дождя, блестя вода, капельки мучительного холодного пота, а блеклые, в редких ресницах, остановившиеся глаза с глубочайшей верой и трагической серьезностью смотрели на Пушкирева.

— Юра! Нет, Юра, скажи серьезно, как честный человек: ничего? А? Нет, ты серьезно, как честный человек. Юра?

Юрий Михайлович что-то обдумал, заглянул куда-то и серьезно, с твердой убежденностью ответил:

— Ничего. Все хорошо. Лети.

Рымба помолчал и с той же серьезностью сказал:

— Спасибо.

И трижды, крепко, словно христосуясь, поцеловал Юрия Михайловича в губы и коротко, но выразительно потряс руку. А когда Рымба проходил мимо Татьяны Алексеевны и кланялся ей,— она счастливо улыбалась, а он смотрел на нее, как на союзницу, и в ответ на ее улыбку тихо, продолжительно и приятно вздохнул: так-то, видите, какое дело! Мягкие голенища его высоких офицерских сапог были слишком



широки и сползали, сползали и брюки из-под короткой серой тужурки, висели сзади мешком — и уж какой он был авиатор! Татьяна Алексеевна смотрела ему вслед и почему-то не обернулась, когда сбоку подошел и молча встал Юрий Михайлович. И, не оборачиваясь, продолжая улыбаться далеко шагавшему, нескладному Рымбе, она поняла и почувствовала, что муж внимательно, упорно и близко смотрит на ее щеку, на профиль черных ресниц, на улыбающиеся губы; и почувствовала теплый ветер, свежо и мягко прошедший по глазам; и это было счастье.

— Я люблю тебя ужасно, — сказал Юрий Михайлович и осторожно коснулся ее руки выше локтя, где она была горячая и под тонким шелком совсем близкая; и рука в этом месте стала счастливая. Но и тут не обернулась Татьяна Алексеевна, как будто ничего не слыхала; и только улыбка тихо сошла с лица, и стало оно покорным, робким и для самой себя милым: любовью мужа любила себя в эту минуту Татьяна Алексеевна и так чувствовала себя всю, как будто есть она величайшая драгоценность, но страшно хрупкая, но чужая — надо очень беречь! И трава зеленела, прекрасная земная трава, и ветер веял, обвеивал свежо и мягко обнаженную шею. И совсем далеко шагал нескладный Рымба. И трепыхались цветистые флаги на трибуне: хотели оторваться от древка, взвивались и мягко падали.

— Ветер, кажется, — сказала Татьяна Алексеевна и обернулась к мужу: он смотрел на нее. И глаза его сияли.

Прощаться пришлось при народе, и прикосновение губ было легко, как паутина; но самый крепкий поцелуй не ложится так неизгладимо на лицо, как эта тончайшая паутинка любви: не забыть ее долгими годами, не забыть ее никогда. И вот еще чего нельзя забыть: розоватого шрамика на лбу у Юрия Михайловича, около виска, — когда-то, маленький, играя, он ударился о железо, и с тех пор на его чистом лбу остался этот маленький, углубленный шрамик. И его не забыть никогда.

Вдруг явно и немного страшно опустела земля — это значило, что Юрий Михайлович поднялся с земли на своем «Ньюпоре». Но странно! — даже не дрогнуло сердце, не сделало лишнего удара: так непоколебимо было величие счастья. Вот с шумом он пронесся над самой ее головой, делал первый круг, поднимаясь, но и тут не забилося сильнее ее сердце. Обратив лицо вверх, как и все на земле, она смотрела на восходящие круги аэроплана и только тихонько, с усмешкой, вздохнула: «Ну, конечно, теперь он меня не видит! Высоко!»

Там, откуда ночью лил дождь и где перекачивался гром, освещая свой ночной путь среди туч и хаоса, — теперь было тихо, лазурно и по-небесному просторно. Безмолвно и широко плыли редкие облака по своим невидимым путям, солнце одиноко царило, и не было ни шума, ни голосов земных и ни единого знака земного, который обозначал бы преграду.

При первых кругах Юрий Михайлович еще смотрел вниз: на зеленую с песочком карту аэродрома, на неподвижную чернь толпы, похожей на чернильное разбрызганное пятно, — все еще считался с землею и привычно ожидал от нее какой-нибудь внезапности, мгновенного препятствия. Но на пятом кругу, вместо того чтобы плавно очерчивать поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома; и уже над лесом, в просторе и тишине, стал подниматься выше. «Хорошо бы теперь погулять в лесу», — подумал он снисходительно и ласково — и вдруг ощутил с необыкновенной ясностью знакомый с детства, приятный, сырой запах леса, почувствовал под ногами траву и землю, даже как будто заметил низенький гриб под темной старою листвою. И тут только понял, что лес далеко, а он летит — не идет, как всю жизнь шел на свинцовых подошвах, а летит по воздуху, ни на что не опирается, со всех сторон объемлется прозрачной и светлой пустотою. Только кратчайшее мгновение прошло, как отделился Юрий Михайлович от земли, а уже находится он в мире ином, в иной стихии, легкой и безграничной, как сама мечта; — и с ужасающей силой, почти с болью снова почувствовал он то волнующее счастье, что, как жидкость золотая и прозрачная, всю ночь и весь день переливалось в его душе и в его теле. Даже дыхание захватило от счастья и слезы подступили к глазам — с той, с другой, с невидимой стороны глаз, где слезы знают только самим человеком. «Что же такое милое я вижу? — подумал он. — Что же такое милое я чувствую? — Такое милое, такое милое».

И с этой минуты он почти перестал смотреть на землю: она ушла вниз и далеко с своими зелеными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травой и цветами, со всей своей радостью и робкой, ненадежной, земною любовью; и ее трудно понять, и ее трудно, даже невозможно, вспомнить — крепок и ясен жгучий воздух высот, равнодушен

к земному. Даже улыбаться здесь не пристало — пусть с той, с другой, с невидимой стороны, как и слезы, подходит к устам счастливая и скромная улыбка, — но нельзя ее показывать, пусть строго и серьезно останется лицо. «Уже высоко, — подумал Юрий Михайлович. — Уже высоко, но надо еще выше: ведь здесь такой простор, что можно и вперед и вверх, и назад и вниз; можно, как я хочу: все — моя дорога». И на долгое, как ему показалось, время он ушел в серьезную и важную работу, весь сосредоточился в радости управления.

Даже на свинцовых подошвах земли он любил всякое произвольное движение, свободные повороты, неожиданные скачки в сторону: оттого и не терпел с самого детства ни улиц, ни тропинок, ни самых широких дорог, где наследственно предначертан путь, — как в извилинах мозга стоит, застывши, умершая чужая мысль. Здесь же не было наезженных путей, и в вольном беге божественно свободной сознала себя воля, сама окрылилась широкими крылами. Теперь он и его крылатая машина были одно, и руки его были такими же твердыми и как будто нетелесными, как и дерево рулевого колеса, на котором они лежали, с которым соединились в железном союзе единой направляющей воли. И если переливалась живая кровь в горячих венах рук, то переливалась она и в дереве, и в железе; на конце крыльев были его нервы, тянулись до последней точки, и концом своих крыльев осязал он сладкую свежесть стремящегося воздуха, трепетание солнечных лучей. Он хотел лететь вправо, — и вправо летела машина; хотел он влево, вниз или вверх, — и влево, вниз или вверх летела машина; и он даже мог бы сказать, как это делается им: просто делалось так, как он хотел. И в этом торжестве воли хотящей была суровая и мужественная радость — та, что со стороны кажется печалью и делает загадочным лицо воина и триумфатора.

Глубоко внизу дымилась чаша земли, как котел: кажется, то облако внизу проходило; но о земле не хотелось думать и не думалось. И чтобы сильнее почувствовать свою волю, Юрий Михайлович закрыл глаза: на мгновение, как в зеркале, он увидел свое побледневшее светящееся лицо; и дальше ему почудилось, что от головы его стелются назад светлые ленты лучей, отвешаются назад и веют перья блестящего шлема: будто стоит он на колеснице, крепко зажав в окаменевшей руке стальные вожжи, и уносят его ввысь огненные небесные кони. И дальше показалось ему, что он вовсе и не человек, а сгусток яростного огня, несущийся в пространстве: отлетают назад искры и пламя, и светится

по небу горящий след звезды, вуаль голубая. Так долго летел он вверх — странная человеческая звезда, от земли уносящаяся в небо.

В это время он поднялся уже высоко, пропадал из глаз; и долго надо было скитаться взорами по небесному океану, слепнуть от солнечных лучей, искать и разыскивать среди огромных редких облаков, чтобы найти и увидеть высоколетающего. И как ни редки были крупные, округлогрудые, постепенно уходящие облака, снизу казалось, что от них на небе тесно; и мнилось минутами, что летящий скользит и ищет прохода между облаками, как ищет между островами прохода мореплаватель: никто не знал внизу, как там просторно, как широки арчатые ворота и безбрежны голубые проливы, — как царственно великолепен, широк и свободен небесный архипелаг. Но таяли облака, уходили по склону, синими сфинксами на подвернутых лапах сторожили горизонт; и видимо даже для глаз, смотрящих из-под низу, креп, густел и разливался беспредельно великий небесный простор, пустынный океан.

Юрий Михайлович открыл глаза и взглянул вниз, на землю. И подумал, поднимая глаза от дымящейся земли:

«Вот и сбылся мой счастливый сон, вот уже я и в святом жилище моем, хожу среди моих высоких зал, и нет со мною никого, только свет один. Но что же милое я вижу? Я один ведь. Но что же такое милое я чувствую? — Такое милое, такое, такое. Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно».

И снова с ужасающей силой, трижды с силой, с болью открытой крови и текущих слез почувствовалось волнующее счастье, трепет блаженнейших предчувствий, блаженство рокового. Далеко, совсем далеко, как последний звук спетой песни для уходящего, неясное слово земной любви, — вспомнилось милое лицо, профиль черных ресниц, матово-розовая щека, томящаяся неслышным криком нежности; вспомнилось, как спала она тихо — возле, как дышала тихо — совсем возле; и как будто нашлось объяснение восторгу и любви. «Милая, — подумал он нежно и дрогнул сердцем, — милая, я люблю тебя ужасно!» Так подумал он, и в следующее мгновение забыл, — совсем и навсегда забыл, забыл о любимой. Иному предалось его сердце и в суровой нежности своей на иную встало стражу.

Что думал он в эти последние свои минуты, когда, снова закрыв глаза, он летел безбрежно, не чувствуя и не зная ни единого знака, который означал бы преграду? Чем был в сознании своем? Человеческой звездой, вероятно; странной

человеческой звездой, стремящейся от земли, сеющей искры и свет на своем огненном и страшном пути; вот чем был он и его мысли в эти последние минуты.

Колыхалась машина в высоте, как ладья на волнах воздушного моря; на крутых поворотах она кренилась дико; умножая бешеную скорость падением, оглушала себя рокотом и звоном винта, взвизгами и всплесками рассеяемого воздуха; разошлись облака, оголив холодеющую лазурь, и солнце одиноко царило. Одиноко царило солнце, и был между ним и землею только один предмет и один человек; и озаряло оно, не грея, то светлые тонкие крылья, то смуглое побледневшее лицо; играло искрами на металле. И в одну из этих минут, когда солнце близко и огненно блеснуло ему в глаза, всего его, до самого сердца, наливши легким поднимающим светом,— Юрий Михайлович громко и странно выговорил:

— Нет!

Слов его не слышно было бы другому за шумом машины, но он слышал себя; и громко он сказал то, что еще в снах ночных, волнующих, в тяжелом видении сонного денщика, колющего лучину, в образе милых лиц и милых глаз опозналось взволнованной душою, как необыкновенное счастье. Он сказал:

— Нет! На землю я больше не вернусь.

Он сказал эти странные слова, обрекавшие его на смерть, и спокойно замолчал: и здесь он сохранил любовь к молчанию, свой дар приятный. И спокойно продолжал свой бешеный бег в пространстве. Если бы он мог, он увеличил бы быстроту, и увеличил бы ее безгранично; но этого не допускала машина, и он стал делать другое, по виду безумное; и так его и поняли с земли. Он стал резать пространство кривыми линиями, ломаными и причудливыми, неожиданными и прекрасными, как полет ночной птицы, опьяненной лунным сиянием: вверх и вниз,— назад и вперед,— круто вбок — до ужаса влево и вниз. Задыхаясь от восторга, стиснув белые зубы, чтобы как-нибудь нечаянно не закричать, не петь глупостей, он широкими размахами пронизывал воздух, хотел убедиться, что не таит в себе невидимых и коварных преград светлое пространство: нет, режется мягко и всюду, не таит в себе преград, есть единая светлая бесконечность. Раз чуть не упал,— было одно такое мгновение! — но выправился и понесся куда-то вглубь.

Но даже и в игре казалось неприятным терять высоту; и решительно взмыл он вверх, перестал кружиться, громовистящей ракетой понесся прямо ввысь, к своей высокой по-

следней цели. Он уже давно забыл про себя, кто он и как попал он в воздух, а теперь он снова стал звездой, сгустком яростного огня, несущимся в пространстве, отвешающим назад искры и голубое пламя. Вдруг ему почудилось, что волосы его горят огненными прядями, волнуясь, стекают вниз к земле; и вдруг понял он, что это есть прямая дорога из одной бесконечности в другую, увидел ясно, что так и влетит он, стремящийся, из этой вечности в другую, где широко открытыми стоят и ждут его высокие двери его святого тайного жилища. «И как же я могу вернуться на землю? — пела его душа в блаженном забытьи.— Я вижу милое — такое милое, такое... Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно.

Я был маленький мальчик, и мне хотелось перелететь через крышу: совсем невысокая, смешная, ужасно низкая зеленая крыша, прогнувшаяся. Это моя радость поет о том, что я был маленький мальчик и мама звала меня Юрой, Юрочкой. Были у меня отец и мама, и оба умерли; потом много было еще чего-то прекрасного, как печаль: кого-то я люблю ужасно. Это печаль поет во мне: кого-то я люблю ужасно. Милое дитя мое, дорогой мой мальчик, душа моя. Я буду подниматься все выше. Тело мое отлетит от меня и упадет, а я пойду выше, дорогой мой мальчик, любимое дитя мое,— я пойду выше. Я иду выше. Я иду. Волнуется моя душа, стремится из тела, стремится к горнему и дальнему полету,— и я иду выше и без конца. Волнуется моя душа,— о дорогой мой мальчик, о дитя мое любимое, волнуется, волнуется моя душа!»

По лицу его текли слезы, он не знал о них. Нежно белели зубы среди полуоткрытых уст, и глаза, расширенные зрением вечности, неотступно смотрели ввысь, туда, где за синими аркадами неба сияла даль — воистину безбрежная. Слезы текли по его лицу.

— О, какое волнение,— какое!

## V

На землю он больше не вернулся. То, что, крутясь, низверглось с высоты и тяжестью раздробленных костей и мяса вдавилось в землю, уже не было ни он, ни человек — ни кто. Тяготение земное, мертвый закон тяжести сдернул его с неба, сорвал и бросил оземь, но то, что упало, свернулось маленьким комочком, разбилось, легло тихо и мертвенно-плоско,— то уже не было Юрием Михайловичем Пушкиревым.

На землю он больше не вернулся.



## ТРИ НОЧИ

СОН

I

Когда наступит *тот* миг и я умру — позовите старых женщин, которые ждут; и пусть они обмоют мое мертвое тело, пока не застыло оно;

и, обмыв, пусть оденут его в лучшие мои одежды и положат в гроб; и гроб вы сделайте большой и черный, просторный и глухой: там, где грудь — широкий, и узкий там, где ноги. Пусть свободно ляжет тело в просторном и черном гробу.

И когда будет уложено тело, поднимите на плечи тяжелый гроб и несите его вверх, осторожно и медленно шагая по лестницам, чтобы не уронить мертвеца и самим не погибнуть под его тяжестью; и все вверх несите, минуя светлые залы и темные переходы, где в темноте тклет древние тенета свои паук; и так дойдите до вершины самой высокой башни и там поставьте гроб на черном возвышении: пусть видят его земля и небо.

И черным покровом покройте тело, но лицо мое оставьте открытым, доколе не коснется его тление: пусть небо и земля видят лицо умершего.

И, купив черных тканей, окутайте ими башню и дом, широкими складками спустите до самой земли; и по самой земле пусть ляжет черной тенью черная ткань.

По бокам же гроба поставьте в высоких шандалах четыре толстые восковые свечи: и пусть будет воск хороший и свечи толстые, и пламя от них да не тушит легкий ветер, что всегда веет на вершине. Взад и вперед клонится желтодымное пламя, но не гаснет; и отрывает его ветер от корня

и бросает в холодную пустоту, но не гаснет пламя: вновь родится оно у корня и светлеет во тьме.

И когда наступит *первая* ночь, то не зажигайте в доме огня, ни единого огня не зажигайте в доме;

и те, кому страшно быть в одиночестве, пусть соберутся вместе и стенают во мраке, касаясь друг друга плечами, слыша голоса и вздохи, которыми наполнится мрак;

и пусть в одиночестве останутся те, кто смеет. Но кто смеет в одиночестве бороться с мраком? — и страшно будет тому, кто победит мрак.

Я умер.

## II

Не звезды ли отражаются в окнах? Черен дом, и нет в нем ни единого огня, а в окнах мертвый свет. Четыре свечи развевают дымное пламя, и долга *первая* ночь;

томительны часы ее мрака, и колокол звонит редко; но проходят томительные часы, и наступает день.

И когда наступит бледный день, то разойдитесь по полям, нивам, садам и всем владениям моим;

по всем тем местам, которыми я владел трудом моим и над которыми трудился, пока не умер; где я жил и радовался и получал наслаждение и боль, пока не умер; где я смеялся и плакал, и где меня целовали, и где я сам целовал; где меня обманывали и я обманывал; где меня любили и я любил.

Войдите в опочивальню, где я видел сны, и скажите ложу моему, стеная и плача горько: зачем стоишь, холодное? — он умер! И исчезнет ложе, и станет пусто на месте том, к которому вы сказали; уйдут испуганные сны, еще реявшие над изголовьем, и станет пусто на месте том, где была опочивальня, и ложе, и сны.

Далее идя, войдите в мастерскую, где я работал и где собраны труды мои, уже сотворенные и только начатые, начатые и неоконченные, — и те труды, неоконченные и неначатые, невидимые и неосязаемые, о которых ведает только воздух мастерской моей;

и скажите всем им, рыдая и плача: зачем стоите, бездушные? чего ждете, неведающие? — он умер и больше не придет! И исчезнут труды и зародыши трудов, и станет пусто на месте том, к которому вы сказали.

Далее идя, войдите в сад мой, над которым я работал, где цветы и деревья плодоносные, где дороги золотые и ступени каменные, воды текучие, вызванные из недр; и рыдая и плача скажите каждому деревцу, посаженному мною, каж-



дому цветку, мною возвращенному, и каждому семени, мной брошенному и еще не давшему ростков, и каждой капле текучих вод, и каждой крупинке золотого песка: зачем живете? зачем красуетесь, творя плоды и источая аромат: он умер!

И поблекнут цветы, почернеют, как от мороза, который ударил ночью, свернутся и упадут; и как от вихря внезапного, облетят листья дерев; и со стоном упадут на землю омертвевшие плоды; и повалятся бессильные стволы; и обратно в землю уйдет вода;

как пустыня, оголится земля, над которой я работал, куда не пришла ко мне смерть.

И дальше идите, и войдите, ступая тихо и трепетно, в то горестное место, где уже поджидает вас моя супруга, подруга дней моих при жизни, щедрое лоно материнское, кроткая любовь и слух внимательный;

и скажите ей без слез и рыданий, без стенаний и вздохов, без крика, пугающего женское сердце: чего ты ждешь, несчастная? — он умер!

Но не поверит она первому голосу, хотя и ждала, закроет руками лицо и недоверчиво заплачет; и тогда, возвысив голос, скажите ей вторично сквозь непрочную защиту рук и бледных пальцев: взгляни на башню, с которой открывал он миры твоим глазам — не черна ли она от низу до самого верха, как тень ночная? И не четыре ли свечи бросают в пустоту свой пламень? В черном гробу лежит твой супруг, и бледное небо смотрит в его мертвое лицо.

И поверит она, — и станет пусто на месте том, к которому вы сказали.

И пойдите дальше и смело откройте дверь в то радостное место, где мои дети резвятся в неведении; и грозно крикните смеющимся: прочь, призраки бессмертия! Прочь, древний обман! Он умер, и вас нет.

И станет пусто на месте том, к которому вы крикнули. Все пусто! Все пусто! Я умер, и все умирает со мною. Все пусто.

### III

И когда наступит *вторая* ночь, то не зажжется в доме ни один огонь, и неподвижен будет мрак, его наполняющий. Кому стенать и плакать? — уже нет в доме живых;

пусты темные залы, и душные переходы не слышат дыхания, и каменные ступени молчат, и медь притаила голос; с последним ударом колокола кончилась жизнь коло-

кола, и вечность неторопливо отмеривает шаги: назад еще близко, а впереди нет конца и не будет.

Безмолвен черный дом, и вокруг дома безмолвие; уже нет дерев, шумящих под ветром, нет цветов, сгибающих нежные головы под сладкою тяжестью сна; нет плодов, в звонком падении которых узнает ухо их томную зрелость;

молчит вода, ушедшая в землю, и безмолвием окутано сухое ложе вод.

Один я лежу в просторном гробу моем и тщетно стараюсь услышать хотя бы вздох: безмолвна темнота, молчит остановившееся сердце и кровь застывшая; и складки одежды моих, не колеблемых дыханием, неподвижны и мертвы; молчит даже шелк, вечно живой на живом.

Один я лежу в просторном гробу моем и тщетно стараюсь услышать хотя бы дыхание едино;

открываю мои мертвые глаза и в ужасе вижу: горят надо мною, догорая, четыре толстые свечи и бросают в пустоту дым и пламя.

#### iv

Бегите! Бегите! Бегите! День наступил.

Бегите, вестники мои, и всюду возвещайте, громко стелая и плача: он умер!

Не скрывайте отчаяния моего, раздирайте одежды, кричите и войте: он умер.

Ворвитесь в белый дом, где на окнах цветы, а в душах веселье, и счастливый жених подает руку счастливой невесте, чтобы вести ее к алтарю; и громко крикните: что вы делаете, безумные? — разве вы не знаете, что он умер!

И побледнеет невеста, как ее платье, и наступит смещение; и закружатся все, как призраки, и с воем унесутся, и станет пусто на месте белого дома.

И ворвитесь, как ветер, громко и страшно стуча многими дверьми в многолюдное собрание, где свет и музыка, и страстные игры; где речи беззаботны и взгляды нежны; где губы красны, а зубы белы; где смерть танцует с голой шеей и соблазнительно трясет грудями;

и крикните им голосом холодного ветра: что вы делаете, безумные? — разве вы не знаете, что он умер!

И смолкнет музыка, и свет погаснет; кружась и воя, унесутся призраки в разбитые окна, в хлопающие двери: одна за другою громко и страшно прозвучат многочисленные двери, пока не наступит тишина и безмолвие. Но ждите еще чьих-то запоздалых шагов: кто-то ищет выхода, неверно ступая, и молчит от ужаса;



Дача Л. Н. Андреева в Ваммельсуу (Финляндия). Архитектор А. А. Оль.



Л. Н. Андреев с женой Анной Ильиничной на даче.  
Фото 1910-х гг.



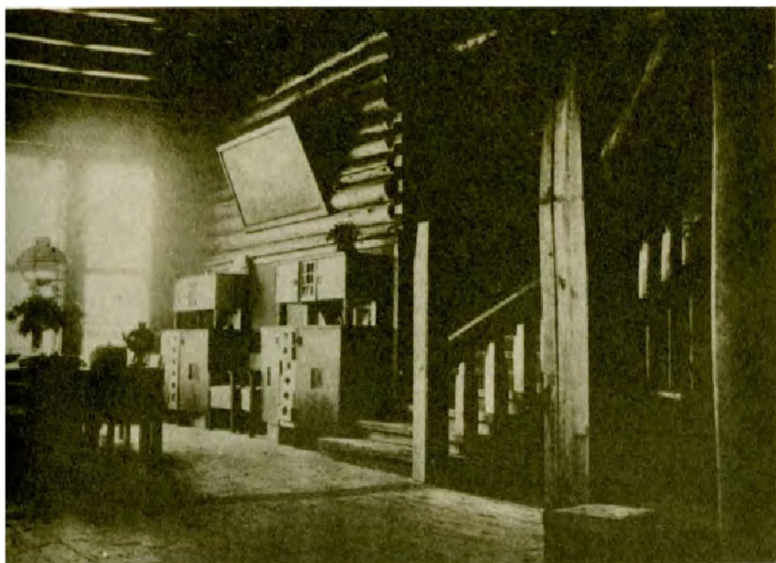
Л. Н. Андреев с сыном Саввой. Фото  
1910—1911 гг.



Жена Л. Н. Андреева Анна Ильинична. Фото 1910-х гг.



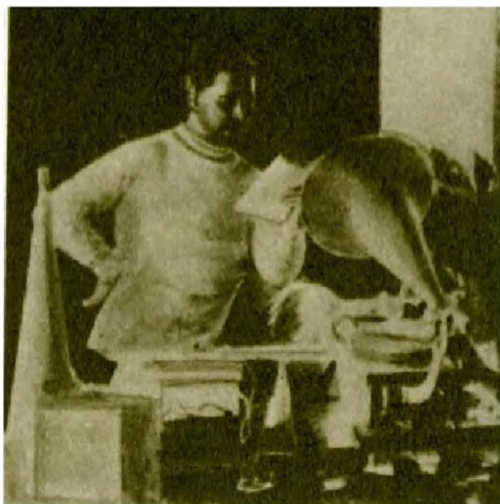
Л. Н. Андреев в центре, слева брат Павел Николаевич, справа брат Анны Ильиничны — Денисевич и учитель старшего сына (Вадима) Петренко. Дети: Савва (за руку с отцом), Вера, Вадим. Справа няня-Паша с Валентином (Теничкой) на руках. Фото 1913 г.



Столовая на даче. На стене картина Н. К. Рериха. Фото 1910-х гг.



Кабинет Л. Н. Андреева на даче. Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев в обществе «Грамофон» (Москва)  
записывает Пролог из пьесы «Жизнь Человека».  
Фото 1910 г.



Л. Н. Андреев на даче за письменным столом. Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев пишет портрет писателя А. А. Белоусова. Фото 1911 г.



В «Пенатах» у И. Е. Репина. Сидят: в центре артист П. В. Самойлов и А. И. Андреева. Стоят: в центре Л. Н. Андреев, справа И. Е. Репин, слева художник И. И. Бродский. П. В. Самойлов читает пьесу Л. Н. Андреева «Профессор Старицын». Фото 1912 г.



Л. Н. Андреев с женой Анной Ильиничной в детской. Фото 1909—1912 гг.



Л. Н. Андреев с дочерью Риммы Николаевны Оль Галей. Райвола. Фото 1910-х гг.





Групповой портрет: П. Н. Андреев стоит наверху, Анастасия Николаевна (мать Л. Н. Андреева) и Римма Николаевна (сестра) сидят, Леонид Николаевич с женой Анной Ильиничной сидят на полу. Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев. Фото 1911 г.



Л. Н. Андреев. Фото 1912 г.



Команда яхты «Далекий». Слева направо: Андрей Николаевич Андреев, Леонид Николаевич Андреев, писатель Александр Абрамович Киппен, шкипер, Степан Николаевич Иванов. Фото 1912—1913 гг.



Л. Н. Андреев на своей моторной лодке «Савва». Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев.  
Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев.  
Фото 1911 г.



Л. Н. Андреев.  
Шарж 1910-х гг.



Л. Н. Андреев на даче. Фото 1910-х гг.



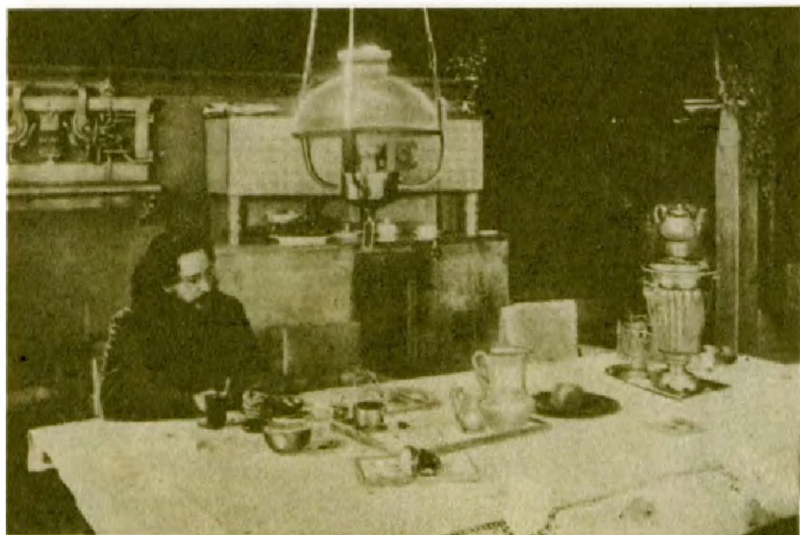
Групповой портрет: Л. Н. Андреев (в центре) с братьями. Справа Павел Николаевич, слева Андрей Николаевич (рядом) и А. А. Оль, автор проекта дачи. Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев и К. И. Чуковский в шхерах.  
Фото 1913 г.



Л. Н. и А. И. Андреевы с гостями на верхней террасе дачи.  
Фото 1910-х гг.



Л. Н. Андреев. Фото 1910-х гг.



Зарисовки к постановке (1917 г.) пьесы Л. Н. Андреева "Екатерина Ивановна" в Петербургском Театре К. Н. Незлобина (худ. Фракас).



Артистка В. Л. Юреньева в роли Екатерины Ивановны в пьесе Л. Н. Андреева "Екатерина Ивановна" (Театр К. Н. Незлобина).



Пьеса Л. Н. Андреева "Профессор Старицын" в Малом театре. Постановка 1912 г. Артисты В. А. Сашин (сидит слева), Н. М. Падарин (проф. Старицын), Е. А. Лепковский. Сцена из I действия.

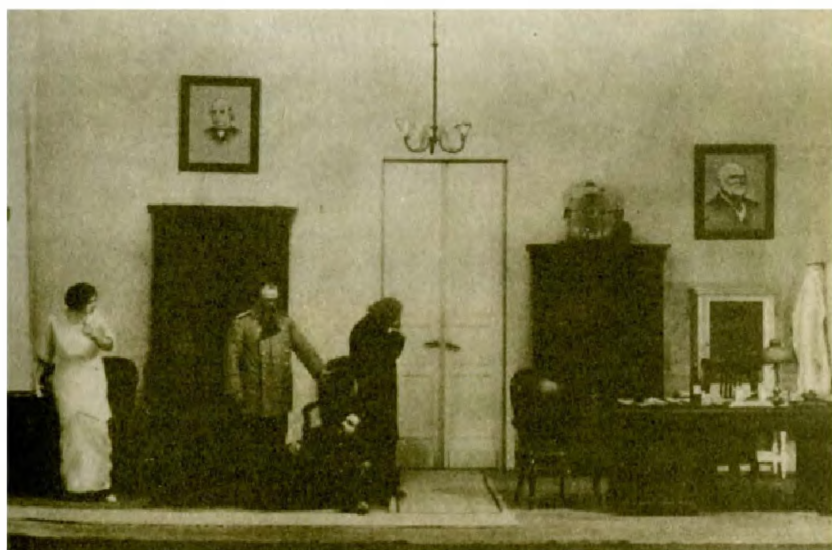


Сцена из II действия.





Сцена из III действия.



Сцена из IV действия.



Л. Н. Андреев. Фото 1910-х гг.

и повторяет неверные звуки шагов его родившееся эхо, но и запоздавшему наступит конец, а с ним кончится и эхо.

Бегите! Бегите! Бегите! Разметьте волосы по ветру, вращайте безумными глазами, не скрывайте отчаяния моего; я умер.

И приблизьтесь к храму, где жрец и жертвенник, и молящиеся предстоят жертвеннику курящемуся: из цельных камней сложен храм, упорны и глухи его стены, и врата железные преградят вам путь;

и не будет ответа на ваш грозный стук: одиноко простонет железо врат и оттолкнет вас гулом;

и да отдастся ярости и гневу сердце ваше: рвите железо врат, ломайте и гните, скручивайте и выдирайте, доколе не опустеют каменные гнезда; и не станет преграды между яростью вашей и жертвенником курящимся; и побледнеет жрец, и ниц падут молящиеся.

Став на возвышение, крикните бледному жрецу: молчи, безумный! Или ты не знаешь, что тесен храм и нет в нем места для гроба черного; смотри, вот валяются стены.

И разойдутся стены, сложенные из цельного камня, и падет на голову тяжкий купол, для которого не стало опоры; и станет пусто на месте том, где был жертвенник и жрец, и храм из цельного камня.

И пойдите к морю шумящему и скажите волнам его: о чем шумите, безумные? Куда идете? Или вы не знаете, что он умер, и нет ничего.

И станет пусто на месте том, где было море и волны шумящие. Все пусто! Все пусто! Я умер, и все умирает со мною: все пусто.

И взойдите на гору высочайшую и скажите солнцу, луне и звездам: зачем светите, безумные? — или не знаете вы, что он умер, и нет ничего.

И станет пусто на месте том, к которому вы сказали; погаснет солнце и луна, и звезды, все светочи вселенной погаснут;

и наступит мрак неделимый, тьма единая и ужасная, ибо погас всякий свет.

О солнце прекрасное! О луна и звезды прекрасные! Вас нет, и один я лежу в черном и просторном гробу моем;

открываю мои мертвые глаза и в ужасе вижу: погасли свечи надо мною, нет ничего, мрак неделимый, тьма единая и ужасная, ибо погас всякий свет.

## V

И тогда наступит ночь третья и последняя.



## ВОСКРЕСЕНИЕ ВСЕХ МЕРТВЫХ

### МЕЧТА

Трубным кличем архангелов было возвещено миру о грядущем воскресении всех мертвых. Заутра во славе грядет Господь всех сил, и мертвые восстанут из гробов.

И с того же часа стала преобразаться земля. Еще не наступило новое, а уже кончилось старое, растаяло, как дым, исчезло, как мучительный сон тысячелетний. Как будто их и не было никогда: отошли все заботы о жизни, страдание и печаль, болезни и смерть; и не стало никакой иной заботы у живущего, как только в радости и красоте встретить завтра грядущего Господа.

Быстро и легко спадало с земли ее рубище, одежда серая и печальная. Еще действовали на земле те темные и загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы и все сущее подчиняли своей суровой и грозной власти, но все медленнее становился их тяжелый ход, все нерешительней — проявления. Так замедляет свой ход машина, подходя к последней остановке; так медленнее движет свои полные воды река, впадая в море; так вяло, нерешительно, ласково и слабо распоряжаются цари, сходя с трона. Еще приказывают они, но уже не ждут исполнения и равнодушны к последствиям. И еще шумело темное море, и ветер двигался по своим кругам, но не было уже ярости в извечном шуме морском, и не гибли корабли: стихало море, плескалось тихо, ложилось спокойно. И местами еще догорали пожары, но не стало ярости и силы и у огня: светило пламя кровавым светом своим, но уже не жгло оно, не сжигало, не обжигало до боли, а почти ласково бродило по окружности, затихая.

И еще было пространство, делимая бесконечность, ужас возврата вечного,— и кто хотел делить его по-прежнему, тот еще делил, и кто хотел идти или ехать или бежать, тот ехал и бежал; но уже не было и пространства, и становился человек там, где он хотел быть: здесь, там, везде — и здесь, и там, и везде. Еще не знали люди, как это делается, а уже делали: вдруг вошли в свои гавани, в свои бухты, заливы и стоянки все корабли — из самых дальних стран вернулись мгновенно; и в сумраке предвечернем над морем стихшим гирляндами повисли светящиеся оконца огромных пароходов, земных гигантов. И где еще по рельсам бежали, а где по воздуху неслись, а где и мгновенно становились в месте желаемом многочисленные поезда с бесчисленными пассажирами.

И еще было время, делимая бесконечность, ужас возврата вечного: двигались стрелки по кругу, на колокольнях звонили часы, темнота наступала, а уже не стало и времени: начиналось вечное, что не измеряется, не движется, не течет, а пребывает вечно — одно во всем, и все в одном.

И уже не стало ни верха, ни низа; ни вчера, ни сегодня; ни здесь, ни там — одно во всем, и все в одном, образ истинный и вечный. Неслышно и быстро преображалась земля под властью нового Царя, Господа всех сил, секиры разрезающей.

И по всей земле стала тьма, но это не была та прежняя страшная ночь, что, как тень смерти, ложится на одну сторону земли и ползет по ней, подобно гаду: все круглые и милые бока земли с ее синими океанами и золотой твердью окутала одна тихая и прозрачная мгла, тьма голубая и ясная, смягченный свет. И не для страха была она, не для злых дел ночных, не для разврата и снов обманчивых и мучительных, как прежде, а имела она дать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров: пусть в некоторой тихой тайне готовится мир, спешно и радостно украшается красотою, тихо облекается в одеяния брачные, наряды праздничные, одежды светлые. Кто отнимет радость у невесты, стыдливо украшающей себя к прибытию жениха? Все званы на пир, и ждет ласковый хозяин гостей нарядных и смеющихся.

Поспешно скидывала земля одежду мертвого скomorоха, личину тленную. И еще не наступило новое, а уже кончилось старое, кончилось сразу и навсегда, растаяло, как туман, исчезло, как ужасный сон тысячелетний,— ушло тихо и навсегда. И даже не думали о нем, так тих и незаметен был его уход, так ясна и всем понятна стала мрачная ложь тысяче-

летий; и даже не вспоминали о нем, и не было человека на земле, который оглянулся бы назад в глухую тьму ушедшего: с радостью или гневом, тоскою или проклятием. Все узнал и все понял человек, все простил и все полюбил, нашел все, что искал: все понял и все узнал человек. И не стало ни печального, ни больного, ни скорбного; и не стало ни чудесного, ни странного, ни удивительного; и не стало ни доброго, ни злого. Погибла самая память о былом, и остановились все дела.

Останавливались и остановились все поезда, пароходы, все машины плавающие, бегающие и летающие. Останавливались и остановились все фабрики, заводы, все машины делающие и творящие, биллионы железных сил. И стих ужасный грохот, лязг и звон, стук и бряцание, вой и свист, шипение и гул — стихал и стих страшный и печальный голос бесчисленных железных сил, крутящихся в вихре непростанного движения.

Открылось все запертое, все двери и ворота: у тюрем и у дворцов, у домов и церквей, железных звериных клеток и конур, — все двери открылись и стали открыты. Еще стояли дома, громады каменных клеток, поставленных одна на другую; и еще проходили улицы между домами, и еще были города, но уже не было ни домов, ни улиц, ни городов: легкими призраками высились когда-то тяжкие стены, сотканые из тумана; кое-где таяли уже, исчезали бесшумно. И еще были люди и звери; еще были цари и нищие, рабы и господа, мужчины и женщины, дети и старики, больные и здоровые, — но уже не было ни царей, ни нищих, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. И уже вышли звери из лесов — так-таки и вышли, покинули норы, гнезда и логовы свои: вошли, вползли, влетели в города, ласковые и прекрасные звери, доселе неведомые друзья. И красивы стали улицы, окутанные тьмой голубой и прозрачной, когда среди праздничных людских одежд замелькали прекрасные тигровые пятна, и тихий блеск чешуи, кожи змеиной, вплелся в темень толпы, и зеленые огоньки звериных чудесных глаз затеплились понизу и поверху, впереди и сзади. И многие каменные стены сразу становились прозрачными, быстро и тихо таяли, когда возле зажигался огонек звериных глаз: пропадали города, как злые призраки — ни одного города не должно было застать великое и последнее утро.

Все пришли звери, и только медведь запоздал: спал крепко, долго не мог проснуться, хотя и слышал сквозь сон клич архангелов; а когда проснулся, то сразу все понял и все узнал, поспешно заковылял на своих вывернутых лапах,

еще не вспомнил, что может так — и не идти, и не двигаться, а просто так.

И еще почивали мертвые в своих гробах.

И всем очень хотелось гулять, но было некогда: надо было украсить, быть готовыми к утру. И вот такой спешки еще никогда не было на земле, даже в великий день творения ее: в одну короткую ночь приукраситься всей красотой всему живому и всему существу. Ночь тепла и прозрачна, но ночь коротка: и с тихим шелестом, как знамена в ночи, развернулись листья на деревьях, поползли травы из теплой земли, целые гигантские деревья, целые леса возникали в мгновение и строились праздничными рядами, толковали тихо, как расположиться красивее. Торопливо распускались цветы, несметная рать детей божьих, белые и красные, голубые и лиловые: и каждый цветок обдумывал внимательно красоту свою, проверял лепестки и пестики — а их было множество — несметная рать детей божьих! Старались и камни: твердые базальты, холодные граниты, жестокие порфиры — торопливо ровняли кристаллы свои, чудесную каменную ткань; и даже тот ничтожный камушек, что года лежал на площади под ногами, тоже старался: что-то такое делал внутри себя, задыхаясь от поспешности. Торопились и воды морские, речные, озерные и болотные: растекались наикрасивейше, переливали цветами, ища наилучшего, приготавливались к необыкновенным отражениям, чистили свое пречистое зеркало. И даже та маленькая лужица, что только вчера захвораала от сухости и готовилась к смерти, засутилась в беспокоестве: что-то такое делала внутри себя, задыхаясь от великой поспешности.

Украшались и звери красотой: подновляли пятнисто-золотистые шкуры свои, отряхивались пушистыми хвостами, пробовали друг на друге свет глаз своих — торопились. Украшались птицы и гады; и таинственные чудища морские и подземные любовно чистили свои щиты и панцири, подновляли бородавки и мозоли кожистых животов своих — обдумывали наряд. И вещие очи их, доселе обреченные на тьму и тайну, широко открылись миру, водянисто блестя в голубой и прозрачной мгле, лежавшей над синим океаном. Украшались насекомые: и каждый, и каждая, и каждое тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой; и пестрые бабочки, несметная рать детей божьих, торопливо крыли пыльцой новенькие крылышки свои, пробовали полет, наикрасивейше располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов, их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческим глазам, но зримые

глазу Божьему, мириады бесчисленные,— и те украшались торопливо: что-то такое делали внутри себя, отчего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалы.

И уже тишина наступала, но еще не наступила она: откуда-то с краев земли и с высот над землею шел сдержанный грохот и гул. То громы небесные готовились к приветствию; то горы сдвигались, равняясь в праздничные ряды; то льды холодных полюсов возносили кристальные арки и мосты, проверяли иступившиеся грани свои; то громы небесные готовились к приветствию, рокотали сдержанно, как великаны на спевке.

И торопливо украшались красотой люди. Еще не все знали, что такое красота, но этого и не нужно было знать: было красотой все, что хотело быть красотой и радостью *приветствия*. Торопливо и весело раскрашивались полинезийцы, вставляя новые щепочки в уши и носы, татуировались без боли; чистили вороных коней арабы и в белейших бурнусах своих гарцевали в пустыне, готовясь и горяча коней; внимательно брились англичане, по два раза проходя бритвой по одному и тому же месту; рядились бабы в пестрые паневы, и генералы надевали ордена и звезды. И что считали праздничным и красивым, то и надевали; и не было разницы в красоте между царской древней короной, усеянной жемчугами, и рваной рубахой из рядины, цветистой татуировкой на бронзовом теле. И тот негритянский маленький царек, что носил на голове жестяную коробку от консервов, так и надел ее; и те, что были военными, облеклись в парадные лучшие мундиры, украсились позолотой, пуговицами блестящими и шнурами; и те, что носили черные фраки, надели черные фраки; и многие дамы надели бальные открытые платья и сделали прическу; и та печальная и грешная дама, у которой было раскрашено лицо и имелась одна только чрезмерно большая шляпа — снова накрасила свое серое лицо и надела чрезмерно большую шляпу. Даже и полицейские надели форму свою, так как была она для них красивейшим, что они знали; и каждый внимательно обдумывал свой наряд, искал наилучшего. И, что бы каждый ни надевал, все было хорошо, красиво и уместно: все было красотой, что хотело быть красотой и радостью *приветствия*.

Но жила на земле одна бедная и одинокая старуха, у которой не нашлось на тот час ни единой праздничной одежки: и уж хотела заплакать она, точно и не слышала клича архангелов. Заплакать хотела она, глухая, глупая, бестолковая старуха, не имевшая даже единой одежки празднич-



ной, платка белого! Но вдруг просветлела она светом внутренним: и стали морщины ее прекрасны, и седина ее стала прекрасна; и вошла она в круг званых, как прекраснейшая из прекрасных.

Не было сна на земле в ту последнюю и голубую ночь; тихо шумела она, как муравейник, и каждый маленький муравейник, государство лесное, шумел на ней: облакался красотою, готовился к приветствию. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, завтра назовет Господь по имени. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был и как бы мал он ни был и сколько его ни было на земле: каждую отдельную песчинку, каждую инфузорию, букашку самую маленькую и скромную, — *каждого отдельного завтра назовет Господь по имени.* И знал каждый отдельный про радость и великое уважение, готовящиеся ему, и торопился изо всех сил, не думал, что он плох, потому что мал и незаметен. Каждого увидит, каждого заметит, каждому окажет уважение Господь всех сил, секира разрешающая, благодать безмерная, любовь бесконечная. И незаметно таяла ласковая и стыдливая тьма, становилась розовым предутренним светом.

Просветлялись светом небеса, ровно просветлялись отовсюду: еще было и пространство, и время, но уже не было ни времени, ни пространства, ни запада, ни востока, и отовсюду поднималось солнце — единое солнце во множестве солнц; как бы равниной цветущей стала вся округлая земля, единым собранием собравшихся. И по мере того как светлело небо, утихала на земле предпраздничная милая суета, — все уже готовы были, не было запоздавших и отстающих, все уже готовы были. Вместе со светом сходила на землю тишина, и сколько было света, столько было и тишины; и становился свет необъятным и необъятной становилась тишина.

Но еще почивали мертвые в своих гробах истлевших.

И вот взошли солнца на небеса и наступило утро обещанной радости. И наступила та необъятная, великая и необыкновенная тишина, когда тихо все: и земля, и небо, и всякий голос молчит, и море зеркально, и ветер пал, и нет ни шороха, ни всплеска, ни единого звука, хотя бы смеха детского. И тихо ждали все, любуясь красотой земли.

Но еще мертвые почивали в истлевших гробах своих!

И тихо ждали все, любуясь красотой земли. Растаяли с туманом города, и одним садом прелестным стала вся земля, вся ее цветущая равнина; красивейшими купами, никому не мешая и никого не тесня, раскинулись мощные округло-пышные деревья; и вошла трава зеленая и богатая,

и цветы пестро-цветные скромно и нежно благоухали, и бабочки беззвучно трепетали крылышками своими — несметная рать детей божиих! Ждали все. Но и самый воздух ждал в каждой живой частице своей — также приготовился за ночь, украсился красотой воздушной. Но и самые небеса ждали, приготовились за ночь, подновили синеву свою и углубили глубину. И прекрасные звери свободно раскинули свои гибкие тела, никому не мешая и никого не тесня, как цветисто-пестрые цветы, и прекрасные люди смешались с цветами и птицами в едином саду Господнем. Любовалась своею красотою прекрасная земля.

Но еще мертвые не проснулись, но еще мертвые почивали в гробах своих истлевших!

Любовалась красотою своею прекрасная земля; и ждали все. Тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости; и ждали все. И вот, огромное белое облако, предножие трона небесного, серебряный стяг, встало недвижимо посередь небесной синевы. И знали все, что это не простое облако, не сгущение сырых и холодных паров, а нечто особенное, предназначенное для украшения. Было оно огромно и светозарно; чудесно были очерчены его округлые, светящиеся края, и весь образ его был несказанно прекрасен; и сыграла красотою небесная синева, его державшая; и стояло оно недвижимо — серебряный стяг, предножие трона небесного. Так и от Себя послал Господь украшение на радость и развлечение взорам ожидающих.

И ждали все. И тихо разгорался тихий свет, светлело утро обещанной радости. И вот уже приблизилось оно, сейчас наступит. И насторожились грома, тихо шевельнули громоносной пастью своею, подумали про себя: осанна!

И вот разверзлись небесе и . . . . .

. . . . .

Здесь кончилось человеческое, и мертвые восстали.



**ПЬЕСЫ  
1911-1913**





## ОКЕАН

ТРАГЕДИЯ В 7 КАРТИНАХ

*Действие происходит в 1782 году*

### ПЕРВАЯ КАРТИНА

*На океан ложатся мгlistые февральские сумерки. Недавно был снег, но растаял, и теплый воздух тяжел и влажен; в глубину материка неслышными толчками гонит его морской юго-западный ветер и на смену приносит свой — душисто-острое сочетание морской соли, безграничной дали, ничем не нарушаемого, свободного и таинственного простора. В той стороне, где должно садиться солнце, происходит бесшумное разрушение неведомого города, неведомой страны: в огне и дыме рушатся здания, пышные дворцы с башнями; целые горы распадаются бесшумно и клонятся медленно, падают долго. Но ни крика, ни стоны, ни грохота падения не доносится на землю — чудовищная игра теней совершается бесшумно, и безгласно приемлет ее, отражая слабо, к чему-то готовый, чего-то ждущий великий простор океана.*

*Тишина и в рыбацком поселке. Рыбаки ушли на ловлю, дети спят, и только беспокойные женщины, собравшись у домов, разговаривают тихо, медлят отойти ко сну, за которым всегда стоит неизвестность. Свет моря и неба позади домов, и дома и темные крыши их черны и остры, и нет перспективы: и дальние и близкие стоят рядом, как бы входят один в другой, обнимаются крышами и стенами, жмутся друг к другу, охваченные тем же беспокойством вечной неизвестности. Тут же и маленькая церковь, боковая стена ее, сложенная грубо из гранитных необтесанных камней, с глубоким затаившимся окном.*

*Осторожный звук женских голосов, смягченных беспокойством и наступающей ночью.*

— Сегодня можно спать спокойно. Море тихо, и прибой бьет, как часы на колокольне у старого Дана.

— Они придут с утренним приливом. Муж сказал, что они придут с утренним приливом.

— А может быть, с вечерним: лучше думать так, чтобы не ждать напрасно.

— Но печь надо топить.

— Когда мужчин нет в доме, то не хочется зажигать и огня. Я никогда не зажигаю огня, даже когда сплю, мне кажется, что огонь приносит бурю. Лучше притаиться и молчать.

— И слушать ветер? Нет, это страшно.

— А я люблю огонь. Я и спать хотела бы при огне, но муж не позволяет.

— Почему не идет старый Дан? Уже пора вызванивать часы.

— Сегодня Дан будет играть в церкви: он не терпит тишины, как сегодня. Когда море ревет, Дан прячется и молчит — он боится моря. Но, стоит волнам умолкнуть, Дан тихонько выползает и садится за свой орган.

*Женщины тихо смеются.*

— Он упрекает море.

— Жалуются на него Богу. Он очень хорошо жалуется: хочется плакать, когда он рассказывает Богу о погибших в море. Мариет, ты видела сегодня Дана? Отчего ты молчишь, Мариет?

*Мариет — приемная дочь аббата, в доме которого живет и старый Дан, органист. Задумавшись глубоко, Мариет не слышит вопроса.*

— Мариет, ты слышишь? Анна спрашивает тебя, видела ты сегодня Дана?

— Да, кажется. Не помню. Он в своей комнате. Он не любит уходить из комнаты, когда отец уезжает на рыбную ловлю.

— Дан любит городских священников. Он никак не может привыкнуть к тому, что священник ловит рыбу, как простой рыбак, и уходит в море с нашими мужьями.

— Он просто боится моря.

— Как хотите, но, по моему мнению, у нас самый лучший в мире священник.

— Это правда. Я его боюсь, но люблю, как отца.

— Прости меня Бог, но я гордилась бы и радовалась постоянно, если бы была его приемною дочерью. Слышишь, Мариет?

*Женщины тихо и ласково смеются.*

— Ты слышишь, Мариет?

*Мариет отвечает:*

— Слышу. Но разве вам не надоело смеяться все над одним и тем же? Да, я его родная дочь — неужели это так смешно, что вы будете смеяться всю жизнь!

*Женщины смущенно оправдываются:*

— Но он сам смеется над этим.

— Аббат любит пошутить. Он так смешно говорит: «Моя приемная дочь», а потом бьет кулаком и кричит: «Родная, а не приемная. Пусть хоть лопнет папа от злости, а она моя родная дочь».

М а р и е т. Я никогда не знала своей матери, но ей был неприятен этот смех. Я чувствую это.

*Женщины замолкают. Равномерно и глухо, с правильностью большого маятника, ударяющего о берега, бухает прибой. Все еще падает на небе неведомый город, обтянутый огнем и дымом, и все не может упасть; и ожидает море*

*Мариет поднимает опущенную голову*

— Ты что хочешь сказать, Мариет?

— А тот не проходил? — спрашивает Мариет тихо.

*Женщина пугливо говорит:*

— Тише! Зачем вы говорите о нем, я его боюсь.

— Нет, не проходил.

— Прошел! Я видела из окна, как он проходил.

— Ты ошиблась, это был кто-нибудь другой.

— Кому здесь быть другому? И разве можно ошибиться, если хоть раз увидишь, как он шагает. Других таких шагов нет ни у кого.

— Так ходят морские офицеры, англичане.

— Нет, разве я не видала в городе морских офицеров? Они ступают твердо, но открыто, им может поверить и девушка.

— Ой, смотри!

*Боязливый и осторожный смех.*

— Нет, не смейтесь. Он идет и не смотрит под ноги, он ставит ногу так, будто сама земля должна бережно принять ее и поставить. А если камень? — у нас много камней.

— При ветре он не сгибается и не прячет головы.

— Ну да. Ну да. Он не прячет головы.

— Правда ли, что он красив? Кто видел его близко?  
М а р и е т. Я.

— Нет, нет, не говорите о нем, я всю ночь не усну. С тех пор, как они поселились на горе, в проклятом зámке, я не знаю покоя, я умираю от страха. Да и вы также, со- знайтесь.

— Ну, не все.

— Зачем они пришли сюда? Их двое — что́ им делать в нашей бедной стране, где только камни да море?

— Они пьют джин. Матрос каждое утро приходит за джином.

— Это просто пьяницы, которые не хотят, чтобы им мешали пить. Когда матрос проходит по улицам, за ним остается такой запах, как будто пронесли открытую бутылку с ромом.

— Но разве это дело — пить джин? Я их боюсь. Где тот корабль, который привез их? Они явились с моря.

М а р и е т. Я видела корабль.

*Женщины изумленно расспрашивают ее:*

— Ты отчего же ничего не говорила нам? Расскажи, что ты знаешь.

*Мариет молчит. Вдруг одна из женщин испуганно вскрикивает:*

— Ай, смотрите! У них зажегся огонь. В зámке огоны!

*Налево, в полумиле от поселка, вспыхнул слабый огонь, красный уголек в синеве сумерек и дали. Там на высокой скале, обрывающейся к морю, стоит древний зámок, жуткое наследие седой и таинственной старины. Давно разрушенный, давно мертвый, он сливается со скалою, продолжает и обманчиво заканчивает ее зубчато-ломаной линией своих бойниц, провалившихся крыш, полуосыпавшихся башен. Сейчас и скалы и зámок одеты дымчатой пеленой сумерек и дали воздушны, лишены тяжести и почти так же прозрачны, как те чудовищные громады зданий, что́ громоздятся и распадаются бесшумно в высоком небе. Но те падают, а этот стоит, и в сплошной синеве его закраснелся живой огонь — и на него так же странно и жутко смотреть, как если бы в облаках зажгла огонь человеческая рука.*

*Повернув головы, испуганно смотрят женщины.*

— Вы видите? — говорит одна. — Это еще хуже, чем огонь на кладбище. Кому нужен свет среди гробов?

М а р и е т. Становится холодно к ночи, и матрос бросил сучьев в камин, вот и все. По крайней мере, я так думаю.



— А я так думаю, что аббат давно должен был пойти туда с кропилом.

— Или с жандармами! Если это не сам дьявол, то, наверно, один из помощников его.

— Нельзя спокойно жить с таким соседством.

— Страшно за детей.

— А за душу?

*Две пожилые женщины поднимаются молча и уходят.  
Встает и третья, старуха.*

— Нужно спросить у аббата: не грех ли еще и смотреть на такой огонь? *(Уходит.)*

*Все больше дыму в небе, и все меньше огня, и уж близок к своему темному концу неведомый город; сильнее и крепче пахнет море. С земли идет ночь. Повернув головы, женщины смотрят вслед ушедшей и снова поворачиваются к огню.*

*Мариет, заступаясь за кого-то, говорит тихо:*

— В огне не может быть плохого. Огонь в свечах, что́ перед Господом.

— Огонь и в аду перед Сатаной,— *сердито шамкает вторая старуха и уходит.*

*Теперь осталось четверо и все молодые, все девушки.*

— Я боюсь, — *говорит одна, прижимаясь к подруге.*

*Кончается на небе бесшумный и холодный пожар, разрушен город, разрушена неведомая страна. Уже нет ни стен, ни падающих башен — груда синевато-бледных исполинских тел безмолвно падает в бездну океана и ночи. Трепетными очами взглянула на землю молоденькая звездочка; возле замка захотелось ей появиться из облаков, и от невинного соседства темнее стал тяжелый замок, краснее и сумрачнее огонь в его окне.*

— Прощай, Мариет, — *прощается девушка, та, что сидела одна, и уходит.*

— Пойдем и мы, становится холодно, — *говорят и те две и встают.*— Прощай, Мариет.

— Прощайте.

— Отчего ты одна, Мариет? Отчего днем и ночью, и в будни, и в веселый праздник ты одна, Мариет? Ты любишь думать о своем женихе?

— Да, люблю. Люблю думать о Филиппе.

*Девушка смеется.*

— А видеть его не хочешь? Когда он уходит в море, ты часами смотришь на море; возвращается он — и тебя нет. Куда ты прячешься?

— Я люблю думать о Филиппе.

— Как слепой бродит он среди домов и все зовет: «Мариет! Мариет! Вы не видали Мариет?»

*Уходит, смеясь и повторяя:*

— Прощай Мариет... Вы не видали Мариет?.. Мариет...

*Девушка одна. Смотрит на огонь в замке. Прислушивается к тихим и нерешительным шагам. Из-за церкви справа выходит старый Дан, невысокий, сухой, кашляющий старик с бритым лицом. От нерешительности ли или оттого, что слаб глазами, идет он неуверенно, к земле прикасается осторожно и с некоторым страхом.*

— Ого! Ого!

— Это ты, Дан?

— Я.

— Море тихо, Дан. Ты будешь сегодня играть?

— Ого! Семь раз я ударю в колокол. Семь раз я ударю и отошлю Богу семь Его святых часов.

*Берет веревку от колокола и отбивает часы — семь звонких и долгих ударов. Ветер играет с ними: роняет на землю, но, не дав коснуться, подхватывает, нежно покачивает, тихо и с легким присвистом уносит в глубину темнеющей земли.*

— Ох, нет! — *бормочет Дан.* — Плохие часы, они падают на землю. Это не Его святые часы, и Он отдает их назад! Ой, идет буря! Господи, сжался над погибающими в море.

*Бормочет, кашляет.*

— Дан, сегодня я опять видела корабль. Ты слышишь, Дан?

— Много кораблей уходит в море.

— Но этот на черных парусах. Он опять шел на солнце.

— Много кораблей уходит в море. Послушай, Мариет: был один умный царь — ой, какой умный! — и он приказал высечь море цепями. Ого!

Я знаю, Дан. Ты говорил.

Ого, цепями! Но он не догадался окрестить океан — зачем он не догадался, Мариет? Ах, зачем он не догадался. Теперь нет таких царей.

— Что же тогда было бы, Дан?

— Ого!

*Шепчет тихо:*

— Уже окрещены все реки и ручьи, и даже многих стоячих болот коснулся крест Господень, и только он остался — скверная, соленая, глубокая лужа.

— Зачем ты его бранишь, он не любит этого, — *упрекает Мариет.*

— Ого! Пусть не любит, я его не боюсь. Он думает, что он тоже орган и музыка Богу, это он, скверная, свистящая, бешеная лужа! Соленый плевок Сатаны. Тьфу! Тьфу! Тьфу!

*Идет ко входным дверям церкви, сердито крикая, грозясь и словно торжествуя какую-то победу:*

— Ого! Ого!

— Дан!

— Иди домой.

— Дан! Отчего ты не зажигаешь огня, когда играешь? Дан, я не люблю моего жениха. Ты слышишь, Дан?

*Дан неохотно поворачивает голову:*

— Я уже давно слышу это, Мариет. Скажи отцу

— Где моя мать, Дан?

— Ого! Опять ты бесишься, Мариет. Ты слишком много смотришь на море — да. Вот я скажу, скажу отцу, да.

*Скрывается в церкви, откуда вскоре доносятся звуки органа; слабые в первых протяжных, тяжело задумчивых аккордах, они быстро крепнут. И страстной тоскою своих человеческих напевов уже борются они с глухой и сумрачной тоскою неутомимого прибоя. Как чайки в бурю, рыскают звуки между высоких валов и выше подняться не могут на крыльях отягченных; держит их вечный и грозный океан в плену своих диких и извечных чар. Но поднялись они, и уже глуше шумит опустившийся океан; еще выше — и уже бессильно колышется внизу тяжелая, почти безгласная громада; звучат иные голоса в просторе светозарных далей. Одна тоска у дня, другая тоска у ночи — и вечным рабом вдруг кажется гордый, вечно мятущийся, черный океан. Прижавшись щекою к холодному камню стены, слушает одинокая Мариет и примиряется с чем-то, тоскуя все тише. Но вот звучат по дороге твердые и упорные шаги, скрежещет мелкий камень под крепкою стопою — и из-за церкви выходит он. Идет он медленно и строго,*

как те, кто недаром шатается по земле и знает оба конца ее; шляпу держит в руках, думает о чем-то, глядя перед собою. На широких плечах круглая, крепкая голова с короткими волосами; темный профиль суров и повелительно-надменен; и хотя одет человек в полувоенную одежду, но не подчиняет тело дисциплине одежды, а владеет ею, как свободный. Складки ложатся покорно, не смеют иначе — согнет их, где надо, спокойно сильное тело.

*Приветствует его Мариет:*

— Добрый вечер.

*Он, уже отошедший далеко, останавливается и медленно поворачивает голову. Выжидательно молчит, точно жалея расставаться с безмолвием.*

— Это мне сказано: добрый вечер? — спрашивает, наконец.

— Да, это вам. Добрый вечер.

*Он молча смотрит.*

— Ну, добрый вечер. Меня первый раз приветствуют в этой стране, и я удивился, услышав твой голос. Подойди ближе. Отчего ты не спишь, когда все спят? Ты кто?

— Я дочь здешнего аббата.

*Он засмеялся.*

— Разве у попов бывают дети? Или в вашей стране особенные попы?

— Да, особенные.

— Теперь я вспоминаю: Хорре что-то рассказывал мне про здешнего попа.

— Кто этот Хорре?

— Мой матрос. Ну, тот, что покупает у вас джин...

*Он снова несколько неожиданно засмеялся и продолжал:*

— Да, он рассказывал что-то. Это твой отец проклял папу и назвал свою церковь свободной?

— Да.

— И сам сочиняет молитвы? И сам с рыбаками ходит в море? И своими руками наказывает тех, кто его не слушается?

— Да. Я его дочь. Меня зовут Мариет. А как зовут вас?

— У меня много имен. Какое же тебе назвать?

- То, которым вас крестили?  
— А почему ты думаешь, что меня крестили?  
— Тогда то, которым называла вас мать.  
— А почему ты думаешь, что у меня была мать? Я не знаю своей матери.

*Мариет говорит тихо:*

- Я также не знаю своей матери.

*Оба молчат и дружелюбно рассматривают друг друга.*

- Так вот как! — *говорит он.* — Ты тоже не знаешь матери. Ну, что же: зови меня тогда Хаггарт.

- Хаггарт?

— Да. Тебе нравится имя? Я его сам придумал: Хаггарт. Жаль, что тебя уже назвали, я бы придумал тебе хорошенькое имя.

*Вдруг он хмурится.*

— Скажи, Мариет, отчего ваша страна так печальна? Я хожу по вашим тропинкам — и только камешки скрежещут под ногою. А по сторонам стоят большие камни.

— Это по дороге к замку, у нас туда никто не ходит. Правда, что эти камни останавливают прохожих вопросом: кто идет?

— Нет, они немые. Отчего твоя страна так печальна? Уже неделя, как я не вижу своей тени — это невозможно! — я не вижу своей тени.

— Нет, наша страна очень весела и радостна. Сейчас еще зима, а вот придет весна, и с нею вернется солнце. Ты его увидишь, Хаггарт.

*Он говорит с пренебрежением:*

— И вы сидите и ждете спокойно, пока оно придет? Хорошие же вы люди. Ах, если бы у меня был корабль!

- Что же тогда?

*Он хмуро смотрит и недоверчиво качает головой.*

— Ты слишком любопытна, девочка. Тебя кто-нибудь подослал?

- Нет. Зачем же вам нужен корабль?

*Хаггарт добродушно и насмешливо смеется.*

— Она спрашивает, зачем человеку корабль? Хорошие же вы люди: не знают, зачем человеку корабль... — *И вдруг говорит серьезно:* — Если бы у меня был корабль, я пог-

нался бы за солнцем. И сколько бы ни ставило оно своих золотых парусов, я нагнал бы его на моих черных. И заставил бы нарисовать на палубе мою тень. И стал бы на нее ногою — вот так!

*Твердо пристукнул он ногою. Мариет осторожно спрашивает:*

— Вы сказали: на черных парусах?

— Это я так сказал. Зачем ты все спрашиваешь? У меня нет корабля, ты знаешь. Прощай.

*Надевает шляпу, но не уходит. Мариет молчит, и он говорит совсем сердито:*

— Тебе, может быть, нравится и это, что играет ваш старый Дан, старый глупец?

— Вы знаете, как его зовут?

— Мне Хорре сказал. А мне не нравится, нет, нет. Приведи сюда хорошую честную собаку или зверя, — и он завоет. Ты скажешь, он не знает музыки, — нет, он знает, но он не выносит лжи. Вот музыка, слушай!

*Берет Мариет за руку и грубо поворачивает ее лицом к океану.*

— Слышишь? Вот музыка. Твой Дан обворовал море и ветер — нет, он хуже, чем вор — он обманщик! Его нужно бы повесить на рее, твоего Дана! Прощай.

*Идет, но, сделав два шага, оборачивается.*

— Прощай, я тебе сказал. Иди домой. Пусть этот дурак играет один. Ну — иди.

*Мариет молчит, не двигаясь. Хаггарт смеется:*

— Ты не боишься ли, что я забыл твое имя? Нет, я запомнил, тебя зовут Мариет. Иди, Мариет.

*Она говорит тихо:*

— Я видела ваш корабль.

*Хаггарт быстро подходит и наклоняется к ней; лицо его страшно.*

— Это неправда. Когда?

— Вчера вечером.

— Это неправда! Куда он шел?

— На солнце.

- Вчера вечером я был пьян и спал. Но это неправда. Я ни разу не видел — ты испытываешь меня. Смотри!
- Мне сказать вам, если я еще раз увижу?
- Как же ты можешь сказать?
- Я приду к вам на гору.

*Хаггарт внимательно смотрит на нее:*

— Если только ты не лжешь. Какие люди в вашей стране, лживые или нет? В тех странах, какие я видел, все люди лживые. Другие видели корабль?

— Не знаю. Я одна была на берегу... Теперь я вижу, что это не ваш корабль: вы ему не рады.

*Хаггарт молчит, точно забыв о ее присутствии.*

— У вас красивое платье. Вы молчите? Я к вам приду.

*Хаггарт молчит. Суров и дико сумрачен темный профиль; и глухим молчанием, безмолвием долгих часов, быть может, дней, быть может, всей жизни исполнено каждое движение его сильного тела, каждая складка одежды.*

— Ваш матрос не убьет меня? — Вы молчите? — У меня есть жених, его зовут Филипп, но я его не люблю. — Вы теперь как тот камень, который стоит по дороге к замку.

*Хаггарт молча поворачивается и идет.*

— Я тоже помню, как вас зовут. Вас зовут Хаггарт.

*Он уходит.*

— Хаггарт! —

*зовет Мариет, но уже скрылся он за домами, и только скрежет рассыпающихся камешков замирает в туманном воздухе. Снова играет отдыхавший Дан: рассказывает Богу о погибших в море.*

*Крепнет ночь. Уже не видно ни скалы, ни замка, и только огонь в окне краснеет ярче.*

*О иных жизнях повествует глухо бухающий, неустанный прибой.*

## ВТОРАЯ КАРТИНА

*Сильный ветер надувает обрывок паруса, которым завешено большое разгерметизированное окно. Парус мал, не закрывает всего окна, и в зияющее отверстие дышит ненастьем темная ночь. Дождя нет, но теплый ветер, насыщенный морем, тяжел и влажен.*

*Тут, в башне, живут Хаггарт и матрос его, Хорре. Оба они спят тяжелым хмельным сном; на столе и в углах пустые бутылки, остатки*

еды; единственный табурет опрокинут и лежит набоку. Перед вечером матрос вставал, зажег большую плошку и еще что-то хотел сделать, но свежий хмель одолел его, и он снова уснул на своей жиденькой подстилке из соломы и морских трав. Колеблемый ветром, свет плошки желтыми тревожными пятнами мечется по неровным, исцербленным стенам и пропадает в черном отверстии двери, ведущей в другие помещения замка.

Хаггарт лежит на спине, и по его круглому и сильному лбу бегают бесшумно те же тревожные желтые блики, подбираются к сомкнутым глазам, к прямому, резко очерченному носу, — и, заметавшись, убегают на стену. Дыхание спящего глубоко и неровно; минутами поднимается тяжелая, словно чужая рука, сделает несколько неясных, незакономерных движений и бессильно упадет на грудь.

Под окном грохочет и ревет бурн, разбиваясь о скалы — уже вторые сутки на океане буря. Дряхлая башня вздрагивает от неистовых ударов волн и отвечает буре шорохом осыпающейся штукатурки, постукиванием мелких обрывающихся камешков, шепотом и вздохами заблудившегося в переходах ветра. Шепчет и бормочет, как старуха.

Матросу становится холодно на каменном полу, по которому ветер разливается, как вода; он ворочается, поджимает под себя ноги, втягивает голову в плечи, щипет рукой воображаемую одежду, но все не может проснуться — тяжел и силен двухдневный хмель. Но вот взвизгнул ветер сильнее, что-то ухнуло — быть может, завалилась в море часть разрушенной стены, отчаяннее заметались тревожные желтые пятна на кривой стене, — и Хорре проснулся.

*Сел на подстилке, оглядывается, но ничего не понимает.*

Ветер свистит, как разбойник, сзывающий других разбойников, и всю ночь заселяет тревожными призраками. Кажется, что море полно погибающих кораблей, людей, которые утопают и отчаянно борются со смертью. Слышны голоса. Где-то тут близко кричат, бранятся, хохочут и поют, как сумасшедшие, разговаривают деловито и быстро — вот-вот увидишь искаженное ужасом или смехом незнакомое человеческое лицо или судорожно скрюченные пальцы. Но хорошо пахнет морем, и это, вместе с холодом, приводит Хорре в себя.

— Нони! — зовет он хрипло, но Хаггарт не слышит. И, подумав, зовет снова:

— Капитан! Нони! Вставай!

*Но не отвечает Хаггарт, и матрос бормочет:*

— Нони пьян и спит. Ну и пусть спит. Ух, какая холодная ночь, в ней нет тепла даже настолько, чтобы согреть нос. Мне холодно! Мне холодно и скучно, Нони, я не могу так пить, хотя я пьяница, и это всем известно. Но одно дело пить, другое дело утопать в джине, это совсем другое дело, Нони: становишься утопленником, просто мертвецом. Мне стыдно за тебя, Нони. Вот я выпью сейчас и...

*Встает, шатаясь, находит непечатую бутылку и пьет.*

— Хороший ветер. Они называют это бурей — ты



слышишь, Нони? Они называют это бурей. А как же они назовут бурю?

*Снова пьет.*

— Хороший ветер!

*Подходит к окну и, отстранив край паруса, смотрит.*

— Ни одного огня ни в море, ни в поселке: спрятались и спят, ждут, пока пройдет буря. Брр, холодно. А я бы их всех выгнал в море, это подло ходить в море только в тихую погоду. Это значит надувать море. Я морской разбойник, это правда, меня зовут Хорре и меня давно нужно повесить на рее, и это правда, но я никогда не позволю себе такой мерзости: надувать море. Зачем ты привел меня в эту дыру, Нони?

*Собирает хворост и бросает в камин.*

— Я тебя люблю, Нони. Вот я зажгу огонь, чтобы согреть твои ноги, я ведь был твоей нянькой, Нони — но ты с ума сошел, это правда. Я умный человек, но я ничего не понимаю в твоих поступках. Зачем ты бросил корабль? Тебя повесят, Нони, тебя повесят, и я буду болтаться рядом с тобою. Ты с ума сошел, это правда!

*Разжигает огонь, потом приготовляет еду и питье.*

— Ты что скажешь, когда проснешься? «Огонь». А я отвечу: «есть». Потом ты скажешь: «пить». А я отвечу «есть». А потом ты опять напьешься, и я напьюсь с тобою, и ты будешь городить чепуху — до каких же пор будет это продолжаться? Два месяца мы так живем, а может быть, два года, двадцать лет — я утопаю в джине, я ничего не понимаю в твоих поступках, Нони.

*Пьет.*

— Или я сошел с ума от джина, или поблизости погибает корабль. Как они кричат!

*Смотрит в окно.*

— Нет, пусто. Это ветер скучает и играет сам с собою. Он много видел крушений и теперь сочиняет: сам кричит, сам бранится и плачет, и сам же хохочет, плут! Но если ты думаешь, что этот лохмот, которым я завесил окно, — парус, а эта развалина — трехмачтовый бриг, то ты — дурак! Мы никуда не идем! Мы стоим на мертвом якорю, слышишь?

*Осторожно расталкивает спящего.*

— Вставай, Нони. Мне скучно. Если пить, так вместе — мне скучно, Нони!

*Хаггарт просыпается, потягивается и говорит еще не открывая глаз:*

— Огонь.

— Есть.

— Пить.

— Есть! Хороший ветер, Нони. Я смотрел в окно, и море плеснуло мне в глаза. Сейчас прилив, и брызги летят до башни. Мне скучно, Нони, я хочу с тобой говорить. Не сердись!

— Холодно.

— Сейчас разгорится огонь. Я не понимаю твоих поступков. Ты не сердись, Нони, но я не понимаю твоих поступков! Я боюсь, что ты сошел с ума.

— Ты уже пил?

— Пил.

— Дай сюда.

*Пьет прямо из горлышка, лежа и блуждая взорами по кривым, исцербленным стенам, теперь озаренным в каждом выступе и каждой трещине ярким огнем камина. Еще не совсем уверен, что проснулся, и что все это — не сон. При сильных порывах ветра пламя выбрасывает из камина, и тогда вся башня точно пляшет — тают и убегают в разверстую дверь последние тени.*

— Не сразу, Нони! Не сразу! —

*говорит матрос и осторожно отбирает бутылку. Хаггарт садится и обеими руками сжимает голову.*

— Болит. — Что это за крик: разбился корабль?

— Нет, Нони. Это ветер плутует.

— Хорре!

— Капитан.

— Дай бутылку.

*Отпивает немного и ставит на стол. Потом ходит по комнате, расправляя плечи и грудь, и заглядывает в окно. Хорре засматривает через плечо и подсказывает:*

— Ни одного огня. Темно и пусто. Кому нужно было погибнуть, тот уже погиб, а осторожные трусы сидят на твердой земле.

*Хаггарт оборачивается и говорит, вытирая лицо:*

— Когда я бываю пьян, я слышу голоса и пение. С тобою не бывает этого, Хорре? Кто это поет сейчас?

— Ветер поет, Нони, только ветер.

— Нет, а еще? Как будто поет человек, женщина поет, а другие смеются и что-то кричат. И это только ветер?

— Только ветер.

— Зачем же он обманывает меня? — *говорит Хаггарт надменно.*

— Ему скучно, Нони, как и мне, и он смеется над людьми. Разве ты слышал когда-нибудь в открытом море, чтобы он так лгал и издевался? Там он говорит правду, а здесь — здесь он пугает береговых и издевается над ними. Он не любит трусов, ты знаешь.

*Хаггарт говорит угрюмо:*

— Я слышал недавно, как играл в церкви их органист. Он лжет.

— Они все лжецы.

— Нет! — *кричит гневно Хаггарт.* — Не все. И там есть говорящие правду. Я обрежу тебе уши, если ты будешь клеветать на честных людей! Слышишь?

— Есть.

*Молчат и слушают дикую музыку моря. Хаггарт глубоко вздыхает и с некоторым изумлением, как человек проснувшийся, оглядывается по сторонам. Коротко приказывает:*

— Дай трубку.

— Есть.

*Оба закуривают.*

— Не сердись, Нони, — *говорит матрос.* — Ты стал такой сердитый, к тебе нельзя приступить. Можно мне потолковать с тобой?

— И там есть говорящие правду, — *говорит Хаггарт, угрюмо выпуская клубы дыма.*

— Как тебе сказать, Нони? — *отвечает матрос острожно, но упрямо.* — Нет там правдивых людей. Это с тех пор, как случился потоп: тогда все честные люди ушли в море, а на твердой земле остались одни трусы и лжецы.

*Хаггарт минуту молчит, потом вынимает трубку из рта и весело смеется.*

— Это ты сам придумал?

— Я так думаю,— скромно говорит Хорре.

— Ловко. И стоило для этого учить тебя священной истории. Тебя поп учил?

— Да. В каторжной тюрьме. Тогда я был невинен, как голубица. Это тоже из священной истории, Нони: там всегда так говорится.

— Он был глуп! Тебя надо было не учить, а тогда же повесить...— говорит Хаггарт и добавляет угрюмо: — Не говори глупостей, матрос. И подай мне бутылку.

*Пьют. Хорре топает ногой по каменному полу и спрашивает:*

— Тебе нравится эта неподвижная штука?

— Я хотел бы, чтобы подо мною плясала палуба.

— Нони! — (кричит матрос восторженно). — Нони! Вот я слышу настоящее слово! Уйдем же отсюда. Я не могу так существовать, я утопаю в джине, я ничего не понимаю в твоих поступках, Нони! Ты с ума сошел. Откройся мне, мальчик. Я был твоей нянькой, я с пальца кормил тебя, Нони, когда твой отец привез тебя на борт. Помню, как горел тогда город, а мы уходили в море, и я не знал, что с тобою делать: ты визжал, как поросенок в камбузе. Я даже хотел бросить тебя за борт, — так ты мне надоел тогда. Ах, Нони, это все так чувствительно, что я не могу вспоминать. Я должен выпить. Выпей и ты, мальчик, но только не сразу, не сразу!

*Пьют. Хаггарт тяжело и длительно шагает, как человек, запертый в темнице, но не желающий убежать.*

— Тоска! — говорит он, не глядя на Хорре. Тот, с видом понимания, утвердительно кивает головой.

— Тоска, понимаю. С тех пор?..

— С тех пор.

— С тех пор, как мы утопили тех? Они очень кричали.

Хаггарт. Я не слышал их крика. Но вот это я слышал: в груди у меня оборвалось что-то, Хорре. Всегда тоска, везде тоска! Пить!

*Пьет.*

— Тот, который плакал, — уж не боюсь ли я его, Хорре? Вот было бы хорошо! У него текли слезы, и он плакал, как несчастный. Зачем он делал это? Может быть, он из такой страны, где никогда не слышали о смерти, как ты думаешь, матросик?

Хорре. Я его не помню, Нони. Ты так много говоришь о нем, а я не помню.

Хаггарт. Он был глупец. Себе он испортил смерть, а мне испортил жизнь. Я его проклинаяю, Хорре. Пусть он будет проклят. Но только это ничего не значит, Хорре — нет!

*Молчание.*

Хорре. Хороший джин на этом берегу. — Оно наладится, Нони, пройдет полегоньку. Уж если ты проклял, так ему нет никакой задержки: пройдет в ад как устрица.

*Хаггарт качает головою.*

— Нет, Хорре, нет! Тоска. Ах, матрос, зачем я остановился тут, где я слышу море? Уйти бы мне туда, в глубину земли, где совсем не знают моря, где никогда о нем не слышали — на тысячу миль, на пять тысяч миль!

— Такой земли нет.

— Есть, Хорре. Давай пить и смеяться, Хорре. Этот органист лжет. Спой ты мне, Хорре, ты поешь хорошо. В твоём хриплом голосе я слышу скрипение снастей, твой припев — как разорванный бурей парус. Пой, матросик!

*Хорре мрачно качает головой.*

— Нет, я не буду петь.

— Тогда я заставлю тебя молиться, как тех!

— И молиться ты меня не заставишь. Ты капитан, и ты можешь убить меня, и вот тебе твой пистолет. Он заряжен, Нони. А теперь я буду говорить правду. Капитан! От лица всего экипажа с вами говорит Хорре, боцман.

*Хаггарт говорит:*

— Оставь это представление, Хорре. Тут нет никакого экипажа. Мы двое. Выпей лучше.

*Пьет.*

— Но он тебя ждет, ты это знаешь. Капитан, вы намерены вернуться на корабль и снова принять командование?

— Нет.

— Капитан, вы не намерены ли пойти к тем береговым и жить с ними?

— Нет.

— Я не понимаю твоих поступков, Нони. Что же вы намерены делать, капитан?

*Хаггарт молча пьет.*

— Не сразу, Нони, не сразу. Вы намерены, капитан, торчать в этой дыре и ждать, пока придут полицейские собаки из города и потом нас повесят, даже не на рее, а просто на ихнем дурацком дереве?

— Да. Ветер крепчает. Ты слышишь, Хорре? Ветер крепчает!

— А золото, которое мы зарыли тут? — *показывает пальцем вниз.*

— Золото? Возьми его и иди с ним куда хочешь.

*Матрос говорит гневно:*

— Ты плохой человек, Нони. Ты только что ступил на землю, и уже у тебя мысли предателя. Вот что делает земля!

— Молчи, Хорре. Я слушаю. Это наши матросы поют, ты слышишь? Нет, это вино бьет мне в голову. Я скоро буду пьян. Дай бутылку.

— Не пойдешь ли ты к попу? Он отпустит тебе грехи.

— Молчать! — *ревет Хаггарт и хватается за пистолет.*

*Молчание. Буря крепнет. Хаггарт возбужденно шагает, натываясь на стены. Отрывисто бормочет что-то. Вдруг хватается парус и яростно срывает его, впуская соленый ветер. Плошка почти гаснет, и пламя в камине мечется дико, как Хаггарт.*

— Зачем ты запер ветер? Теперь так, теперь хорошо — иди сюда.

— Ты был грозой морей! — *говорит матрос.*

— Да. Я был грозой морей.

— Ты был грозой берегов! Твое славное имя гремело, как прибой, по всем побережьям, где живут только люди. Они видели тебя во сне. Когда они думали об океане, они думали о тебе. Когда они слышали бурю, они слышали тебя, Нони.

— Я жег их города. Подо мною колышется палуба, Хорре. Подо мною колышется палуба!

*Радостно смеется, безумя.*

— Ты топил их корабли. Ты пустил на дно англичанина, который гнался за тобой.

— У него на десять пушек было больше, чем у меня.

— И ты зажег и потопил его. Помнишь, Нони, как смеялся тогда ветер? Ночь была черна, как сегодня, и ты сделал из нее день, Нони. Нас качало огненное море.

*Хаггарт стоит бледный, с закрытыми глазами. И вдруг кричит повелительно:*

- Боцман!
- Есть, — вскакивает Хорре.
- Свисти всех наверх.
- Есть.

*Резкий боцманский свисток впивается острым жалом в разметанное тело бури. Все оживает и становится похоже на палубу корабля. Волны кричат человеческими голосами; и в полузабытьи, страстный и гневный, командует Хаггарт:*

— На ванты! — Взять лиселя. — Носовые, готовься! — Цель в снасти, я не хочу топить его сразу. Направо руля, ложись на бейдевинд. Вторые, готовься... А, огоны! А, ты уже горишь! На абордаж! Готовь крючья!

*И безумно мечется Хорре, выполняя безумные приказания.*

— Есть. Есть.

— Смелее, дети. Не бойтесь слез! Эй, кто плачет там? Не смей же плакать, когда умираешь, я на огне высушу твои подлые глаза. Огоны! Везде огонь. Хорре-матрос! Я умираю. Они влили мне в грудь расплавленную смолу. Ой, жжет!

— Не плошай, Нони. Не плошай. Вспомни отца. Бей их в лоб, Нони!

— Я не могу, Хорре. Силы оставили меня. Где моя сила?

— Бей их в лоб, Нони. Бей их в лоб!

— Возьми нож, Хорре, и вырежь мне сердце. Корабля нет, Хорре, — нет ничего. Вырежь мне сердце, товарищ, предателя выбрось из моей груди.

— Я хочу еще играть, Нони. Бей их в лоб!

— Корабля нет, Хорре, ничего нет, все обман. Я хочу пить.

*Берет бутылку и хохочет.*

— Смотри, матрос: тут заперты и ветер, и буря, и ты, и я. Все обман, Хорре!

— Я хочу играть.

— Тут заперта моя тоска. Смотри! В зеленом стакане, как вода, но это не вода. Будем пить, Хорре, там на донышке я вижу мой смех и твою песню. Корабля нет, и нет ничего... Кто идет?

*Быстро схватывает оружие. Камин горит слабо, мечутся тени, — но две из теней темнее других и идут. Хорре кричит:*

— Стой!

*Отвечает мужской голос, тяжелый и густой:*

— Тише! Оставь оружие. Я здешний аббат.

— Стреляй, Нони, стреляй! За тобой пришли.

— Я пришел помочь вам. Оставь же нож, глупец, а то я без ножа переломая тебе все кости. Трус, испугался женщины и попа!

*Хаггарт кладет пистолет и говорит насмешливо:*

— Женщина и поп! А разве есть что-нибудь еще страшнее? Извините моего матроса, господин аббат, он пьян, а пьяный он очень неосторожен и может зарезать вас. Хорре, не верти ножом.

— Он пришел за тобою, Нони.

Аббат. Я пришел, чтобы предупредить вас: башня может упасть. Уходите отсюда!

Хаггарт. Ты что прячешься, девушка? Я помню, как тебя зовут: тебя зовут Мариет.

Мариет. Я не прячусь. И я помню, как вас зовут: вас зовут Хаггарт.

— Это ты привела его сюда?

— Я.

Хорре. Я говорил тебе, Нони, что они все предатели.

Хаггарт. Молчать!

Мариет. У вас очень холодно, я подброшу сучьев в камин. Можно мне сделать это?

Хаггарт. Сделай.

Аббат. Башня вот-вот упадет. Часть стены уже обрушилась, под вами пустота. Послушай.

*Стучит ногой по каменному, звонкому полу.*

— Куда же она упадет?

— В море, я думаю! Замок распадается на камни.

*Хаггарт смеется.*

— Слышишь, Хорре? Эта штука не так неподвижна, как тебе казалось: ходить она не умеет, но умеет падать. Сколько еще людей пришло с тобою, поп, и где ты их спрятал?

Мариет. Мы пришли только двое, отец и я.

Аббат. А ты груб с попом, я этого не люблю!

Хаггарт. А ты пришел незванный, я этого тоже не люблю!

Аббат. Зачем ты привела меня сюда, Мариет? Идем.

*Хаггарт говорит насмешливо.*



— А нас вы оставляете для гибели? Это не по-христиански, христианин.

— Я хоть и поп, но плохой христианин, и Господу Богу известно об этом, — *гневно говорит аббат.* — И спасти такого грубого негодяя у меня нет охоты. Идем же, Мариет.

Хорре. Капитан!

Хаггарт. Молчи, Хорре. Ты вот как говоришь, аббат... так ты не лжец?

— Пойдем со мною и увидишь.

— Куда же я пойду с тобою?

— Ко мне.

— К тебе? Ты слышал, Хорре, — к попу! А ты знаешь, кого ты зовешь к себе?

— Нет, не знаю. Но я вижу, что ты молод и силен, я вижу, что лицо твое хоть и мрачно, но красиво, и я думаю, что ты можешь быть работником не хуже, чем другие.

— Работником? Хорре, ты слышал, что сказал поп?

*Оба хохочут. Аббат говорит гневно:*

— Вы оба пьяны.

Хаггарт. Да, немного! Но трезвый я смеялся бы еще больше.

Мариет. Не смейся, Хаггарт.

*Хаггарт гневно:*

— Я не люблю лживых поповских языков, Мариет, смазанных сверху правдой, как приманка для мух. Уведи его и уходи сама, девушка: я забыл, как тебя зовут.

*Садится и угрюмо смотрит перед собою. Брови сдвинуты, и тяжело давит руку опущенная голова, крутой и крепкий подбородок.*

— Он тебя не знает, отец! Скажи ему о себе. Ты так хорошо говоришь, если захочешь, — он поверит, отец! Хаггарт!

*Молчит Хаггарт.*

— Нони! Капитан!

*Тоже молчание. Хорре шепчет таинственно:*

— У него тоска. Скажи попу, девица, у него тоска.

*Снова грохот обвала. Точно руками всплескивают волны, встречая упавший камень, и смеются визгливо и плеско. Все, кроме Хаггарта, вздрагивают и смотрят в окно. Аббат густо откашливается.*

— Вот так и вышло дело — послушай-ка ты, голова, как вышло дело! Она говорит, что ты меня еще не знаешь. Я и говорю ему: «Это моя дочь!» А он говорит: «Как! ты поп, у тебя не может быть дочери».

М а р и е т. Это папа из Рима так сказал.

А б б а т. Да, папа. Как же не может, когда есть? Раз!

— Раз! — *поддерживает Хорре, глядя на Хаггарта.*

— Ты, рожа, молчи, это я не для тебя говорю! Думаешь, он опомнился — нет. Вдруг присылает опять: «Молись по-латыни». А они не понимают. Два! «Ну, Христос с тобой, — это он так сказал, папа, — молись хоть по-китайски, только своих молитв не сочиняй, нельзя». — «А какие же?» — «А те, которые ты учил». — «А я их забыл». — «Выучи опять!» Это он говорит...

М а р и е т. Папа.

А б б а т. Да, папа. А я говорю: «Не хочу выученных молитв, там не мои слова». Тут мы и начали проклинаться: он меня, а я его, он меня, а я его. Распроклялись совсем. Только как я его проклинал? О, ты еще не знаешь, какой я хитрый! Он меня по-латыни, да и я его по-латыни. А то скажет: не слышу!

*Хочет, потом откашливается густо.*

— Поповское дело трудное, сынок. Это и она тебе скажет. Мариет, скажи ему!

— Хаггарт! Ты слышишь, Хаггарт. Это я говорю, Мариет.

*Хаггарт поднимает голову и говорит почти бесстрастно:*

— Посмотри на мое лицо, поп. Но не смейся, я не люблю, когда надо мною смеются. Видишь ли, поп: у меня было хорошее лицо. Оно было холодно и дышало ветром, как туча. Как вода, оно было горько-соленым, и крепким, и чистым, — полюбить меня могла бы и чайка. А теперь смотри! — какое плохое лицо.

М а р и е т. Нет.

А б б а т. Молчи, Мариет.

Х а г г а р т. Молчи, девушка! Оно отвратительно — или ты еще не видала мужского лица? Оно мягко и тепло, как стоячая лужа, оно пахнет тиной и землей, подернуто сном, как болото.

Х о р р е. Это от джина, мальчик. Я так думаю, что это от джина, Нони! Он неумеренно пьет, девица.

Хаггарт. Это очень страшно, что я скажу: однажды солнце зашло, как всегда, и больше не вставало. У вас это бывает на берегу? Если бывает, то вы должны знать, как это страшно.

Мариет. Бывает. Солнце заходит и больше не встает.

Хаггарт (*поднимаясь*). Да, ты подумай, девушка: солнце больше не встало. Я ждал его всю ночь и смотрел не отрываясь; и настало утро и день — а солнце не взошло. Я испугался, девушка! Я испугался и кинулся его искать по миру; я исходил все моря и океаны, я дошел до самого предела земли, где ад пылает холодными огнями, прельщая взоры чудесной красотой и сердце превращая в лед!

*Хорре кивает головою горько.*

— Так, так, Нони! У него тоска, поп.

— И много я видел черных ночей, а солнце, — не всходило. Ветер ломал мои мачты, я ставил новые; падал ветер, и вот этих я сажал за весла, как каторжников. В сутки мы подвигались на кабельтов...

— И того меньше, Нони. Мы все с тобою сошли с ума, если уже говорить поистине!

*Хаггарт быстро подходит к аббату и говорит, глядя в упор:*

— Ты знаешь по-латыни, поп, а вот этого ты еще не знаешь: почему люди не смеются, умирая? Им было бы лучше тогда, это верно, поп, это я говорю правду! Ах, девушка! Я видел, как горел человек, привязанный к мачте,— подумай, у него уже трещали волосы, а он пел и смеялся как на свадьбе. Вот был человек! Я на коленях принял его силу, стал на колени и принял его силу... Джину, матрос!

— Крепи паруса, Нони. Бей их в лоб.

— Хочешь, он споет тебе песню, Мариет. Спой, Хорре! Он поет хорошие песни.

*Аббат пристально взглядывается в лицо Хаггарта и говорит медленно:*

— Не ты ли, юноша, тот авантюрист, тот разбойник, знаменитый по всем морям и побережьям, который зовется...

*Грохот нового обвала заглушает его слова; но никто не слышит гула — все взоры обращены на Хаггарта, медленно отнимающего ото рта допытую флягу.*

*Хорре хрипит:*

- Тебя узнали, Нони. Берегись!  
— Не верти ножом, Хорре. Это был мой отец, аббат.

*Аббат, отступая:*

— Где же он?

— Убит. Но я взял его имя. И это за мою голову назначена награда, которой можно воскресить Иуду...  
Слушай, Мариет!

*Бросает несколько золотых, и они со звоном раскатываются по каменному полу.*

— Это музыка, под которую пляшут предатели. Не так ли, Хорре, матросик?

*Одинокое смеется. Отступил от него аббат, и сама Мариет, не зная того, сделала шаг назад, но остановилась. Хорре грубо хохочет.*

— Как их откачнуло, — знатный же ты развел норд-ост! Ведь они думают, Нони, что мы с тобой тоже аббаты, а мы вовсе не аббаты. Все они лжецы и предатели, Нони! Их души черны, как земля на закате. Когда поднимается буря, ты куда идешь, Нони? — в море все глубже, все дальше от их проклятых берегов. В море, капитан!

— Идем, матрос. Но только вместе с башней. Трубку!

*Садится и ждет равнодушно. Хорре всматривается и, безнадежно качнув головою, дает трубку Хаггарту и закуривает сам. И, повторяя движения Хаггарта, садится равнодушно на корточки. Бормочет насмешливо:*

— Ну и корабль! С ума ты сошел, Нони, это правда, да и я с тобою.

*Новый грохот. Башня колеблется. Ветер свистит, как разбойник, сзывающий других разбойников, и свирепеет ночь. И решительно говорит Мариет:*

— Идем! Идем же: Хаггарт. Сейчас все упадет, уверяю тебя, Хаггарт, сейчас все упадет.

Хорре (пуская дым). Она лжет, Нони!

Хаггарт (так же). Я знаю, Хорре! Ты мало сушишь табак, плохо тянет.

Хорре. Это они такой продают, Нони. Мошенники!

*Мариет тоскливо:*

— Или ты забыл, как меня зовут? Меня зовут Мариет, Хаггарт!

Хорре. Все тебя кличет, Нони, а обо мне ни гу-гу.

Хаггарт (*угрюмо*). Мне надоели твои шутки, матрос. Молись дьяволу, мы, кажется, уже поднимаем якорь.

Мариет. Нет, хотела бы я знать: что вы делаете все? Или это так надо: сидеть и ждать, пока все упадет! Что же ты молчишь, отец? Я тебе говорю, отец, — где твой голос? Или я ошибаюсь — и ты не мой отец?

Аббат. Потише, Мариет!

Мариет. Кого же мне просить, когда вы все молчите? Хорошо, я попрошу эти камни, я ветер попрошу, я бурю назову матерью и стану на колени. Не этого ли ты ждешь, Хаггарт — Хаггарт!

*Аббат угрюмо:*

— Идем, Хаггарт. Это я тебе говорю.

Хорре. Он лжет, Нони.

Хаггарт. Я знаю, Хорре.

Аббат. Я все забыл, что ты открыл мне, юноша. Идем! Я все забыл! Ты слышишь — я не хочу знать, кто ты был. Скажем так: ты был никто. Да идем же, сумасшедший!

Хорре. Он сейчас скажет, что любит тебя. Ах, Нони, как чудесно было в каторжной тюрьме: я тогда был невинен, как голубица!

Мариет. Он слов не слышит, отец.

Аббат. А что же он слышит? И чему ты смеешься, Мариет? Смотрите на нее: она смеется.

*Хаггарт коротко взглядывает на улыбающуюся Мариет — и та говорит строго:*

— Хаггарт! Уступи место отцу: он твой гость. Садись, отец: ты устал стоять у порога.

Хорре. Это она командует? Зажми ей рот, Нони!

Хаггарт. Молчать!

*Встает и, не глядя на Мариет, вежливо уступает свой табурет аббату. Тот оглядывается в недоумении — и вдруг густо хохочет, хватаясь за бока.*

— Нет, вы слышали, как она сказала: отец, сядь, ты устал стоять у порога! Отец, у тебя ноги начинают дрожать, так долго стоял ты у двери! Ну так вот же: спасибо, Мариет!

*Садится и кричит весело:*

— Матрос! Рожай! Трубку. Хочу и я покурить с вами.

А может быть, ты все-таки ушла бы, Мариет? — я побуду с ними. Я не уйду.

— Нет.

*Отходит к стене, опирается плечом в спокойно-выжидательной позе. Все играют в спокойствии. Хаггарт очень вежлив; аббат прост и серьезен. И только Хорре до конца остается самим собою: лениво набивает трубку и с неудовольствием подает аббату.*

Хаггарт. Поторопись, Хорре: аббат — наш гость. Наш табак может не понравиться вам, аббат, мы курим очень крепкий.

Аббат (закуривая). А я курю всякий! Вы давно здесь поселились?

Хаггарт. Около двух месяцев. Кажется, так, Хорре? Хорре. Так.

Хаггарт. Да, около двух месяцев. А как в нынешнюю зиму улов, господин аббат? Вы довольны?

Аббат. Не похвалюсь. Нет, не похвалюсь! Очень мешали бури. А здесь вам неудобно было жить. Холодно, я думаю.

Хаггарт. Да, продувает. Скажите, пожалуйста, чей это замок? По виду он очень стар и уже давно необитаем. Я заметил его с моря...

*Грохот, треск и рев. Башня вздрагивает, колеблется до самого основания. С потолка и от рассевшейся оконницы отрываются несколько камней и с гулом катятся по полу.*

Хорре. Ой, Нони! Якорь-то уже поднят. Бегите-ка, девица, пассажирам пора выходить. Тащи ее, поп!

*Все стоят, бледные. Только один Хаггарт не тронулся с места; бледен и он, но не от страха.*

Аббат. Не пойти ли тебе, дочь? — я побуду здесь. Мариет. Нет.

*Говорит Хаггарт, небрежно отталкивая ногою свалившийся камень:*

— Я боюсь утомить вас вопросами, господин аббат. Но вы так предупредительны, что невольно является желание...

Аббат (сердито). Не скаль зубы перед смертью, мальчишка. Умирать так умирать, никто от этого не отказывается, а паясничать стыдно! И я не маркиз, а ты не граф, чтобы говорить мне «вы».

*Хаггарт гневно топает ногою:*

— А! Ну и хорошие же вы люди, ну и хорошая же ваша страна — с вами можно умереть от смеха! Эй ты, храбрый лжец, поп, отвечающий на все вопросы, ответь-ка еще на один: не отдашь ли ты мне дочери своей, вот этой, Мариет? Я хочу взять ее в жены. Может быть, я люблю ее — ты этого еще не слышал? Ага! Ты молчишь, храбрый лжец! Так вон же отсюда! Гони их, Хорре — мы будем умирать одни!

*Мариет берет поднятую руку Хаггарта, тихо опускает ее.*

— Кто же здесь лжет, Хаггарт? Уж не я ли, та, которую только для тебя звали и зовут Мариет? О Хаггарт — о безжалостный Хаггарт!

### ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Солнечное, радостное утро. Отлив.

Далеко в море уходит бархатная отмель; вернулись с ночной ловли рыбаки и выгружают сверкающую рыбу. Тяжелые баркасы повалились набок, тяжелые, старые баркасы с золотанными боками, с ободренным килем; одни лежат спокойно, зарывшись в ил или песок, другие по круглым каткам вытаскивают дальше на берег утомленные, но веселые рыбаки. Но большинство рыбаков, особенно старики, отдыхают: стоят по двое, по трое, покуривают изогнутые трубки, лениво обмениваясь словами, и смотрят на женщин, сгибающихся под тяжелыми плетенками с рыбой. Женщины работают все, молодые и старые, чуть-чуть не старухи; возле работающих вертятся дети и тоже помогают: прыгают, ссорятся, подбирают все ту же сверкающую, танцующую рыбу. Светлыми зеркалами блистают маленькие, забытые океаном лужи; вода нагрета солнцем, испаряется и пахнет.

Здоровые, обветренные лица, смуглые груди, открытые солнцу и морю, глаза, смотрящие ясно, — празднуют свой день дети глубоких вод, неистовых шквалов, океанской тишины, священной, как церковная служба. Нет громкого крика, но говор дружен и весел, нетороплив и ритмичен: отзвуки округлых валов, перекатывающихся тихо. Солены и просты шутки.

Обросший щетиною рыбак смотрит на женщину, слегка согнувшуюся под ношей, и шутит лениво, не выпуская изогнутой трубки из желтых зубов:

— О, тяжело, Мадлен. Зачем поднимаешь так много?

— Подняла же тебя, а ты не легче!

*Ставит плетенку на песок; и оба улыбаются дружелюбно — давно уже они муж и жена. Женщина повторяет, передыхая:*

— А ты ведь не легче.

— Ты слышишь, что она сказала? — *Он пережевывает шутку и еще раз повторяет ее соседу.* — Сказала, будто я не легче.

*Тот обдумывает и в знак того, что понял и что ему смешно, вынимает на миг трубку, кривит бритые губы — и снова поспешно тянет, нагоня потерянное время.*

— Стоят, как дармоеды! — С притворной яростью говорит женщина, поднимая корзину. Но ей радостно, что они стоят, как дармоеды: пусть бы всегда так стояли.

*И еще раз, но уже весело, кричит она, оглядывается назад и кричит:*

— Сегодня и платье сушить не надо!

*Из другой кучки рыбаков ей смотрят вслед и понимают ее.*

— Не хотел бы я родиться женщиной,— говорит один, помоложе.

— А кто хотел бы? Уж не я ли? — Отвечает старый, слегка насмешливый голос.

— Это я так говорю. Сегодня хороший улов. Рыба шла, как заколдованная.

*Молчат и смотрят друг на друга.*

— Кто же ее околдовал? Не ты ли?

— Не знаю кто. Рассказывают, что дикий Гарт знает какие-то слова.

— Какие же слова знает Гарт?

— Не знаю.— Помнишь, Рибо, как тогда сразу утонули трое: Мюлло, да Саламбье, да Ланне? Тогда все женщины ждали на берегу.

— А кому же было ждать? Уж не мне ли? Я сам едва выбрался.

*Проходит девушка с плетенкой; ей помогает молодой, веселый рыбак.*

— Ты придешь сегодня танцевать, Франсина?

— Нет.

— Приходи. Я придумал новое па. Я возьму тебя на плечи и унесу в лес.

*Оба смеются.*

— Это ты сам придумал или дедушка тебе рассказал?

*Уходят. А у этих двоих продолжается медлительный, как молчание, осторожный разговор.*

— Филиппа ударил угорь.

— Что же Филипп? Ты говоришь, его ударил угорь.

— Филипп? Ничего. Вон Филипп.

*Филиппу хочется быть старше, чем он есть: он уже стоял со стариками и курил; но надоело — пошел к девушкам помогать и болтать глупости о своей любви. Молодой он и краси-*



*вый, но никогда не любила его Мариет. А он всегда любил ее — всегда. Теперь он что-то нащептывает одной из девушек, а сам все оглядывается — где-то Мариет?*

— Ты такая красивая... — *говорит он, обнимая.*

*Девушка сердито отталкивает руку.*

— *Иди любезничать к другой. Отчего у нас никто так много не врет про любовь, как ты? Ты всех любишь, сегодня одну, завтра тех. Ты столько отдаешь любви, как дырявая барка воды, и никому это не нужно.*

— *И тебе не нужно?*

— *И мне. Иди к Мариет. Потому что ты все лжешь про любовь. Иди к Мариет! Или нет, не ходи: тебя убьет Гарт.*

*Смеется.*

— *Я не боюсь Гарта, — угрюмо говорит Филипп.*

— *Вы все не боитесь Гарта. Оттого он и голоса поднять не смеет, ему страшно, как бы не услышал его Филипп.*

*Из толпы рыбаков, выволакивающих баркас, доносится громкий весело-повелительный голос Хаггарта:*

— *Как ты тянешь канат, Фома! Это не псалом, который можно тянуть две недели. Смотри, как я!*

*Баркас, дернувшись, быстро подается вперед. Старый рыбак угрюмо бросает веревку и отходит в сторону.*

— *Ты сильный человек, Гарт. Ну — и тяни.*

*Отходят и другие, повторяя одни со смехом, другие серьезно и просто:*

— *Тяни один! Ты сильный человек, Гарт!*

*Хаггарт остается один у каната, и равнодушно смотрят на его усилия рыбаки.*

— *Одному нельзя, баркас слишком тяжел! — говорит Хаггарт, сердито бросая канат.*

*И старый рыбак из толпы, тот, что вышел первый, отвечает с насмешливой поучительностью:*

— *А если одному нельзя, то и кричать одному не надо. Пусть все и кричат!*

*Грубоватый, тяжелый хохот. Снова все берутся тянуть — с ними и весело смеющийся Хаггарт.*

— Это так! Это правда,— говорит он.— Ну, а я все-таки буду кричать. Эй, ровнее тяни! Крепче! Разом! Кто тянет канат, как мочалу из тюфяка?

*Громче всех в этой стороне смеется над Хаггартом Филипп — хочет, чтобы услышали его. И, кажется, Хаггарт услышал — оглянулся. Кажется, услышала и Мариет — проносила к берегу пустую корзинку — и оглянулась. И с внезапностью человека, расточающего никому не нужную любовь, бросает свою девушку Филипп и быстро подходит к Мариет.*

— Не помочь ли тебе, Мариет?

*Женщина не оборачивается и не отвечает, но Филипп, продолжая говорить, идет за нею. И низкою зеленой полосой стелется отошедшее от берегов море, и, как дым ладана, не улегшийся после жаркой молитвы, клубится голубой туман в извилинах скалистого берега. А те двое продолжают неторопливый, обдуманый разговор.*

— Так ты говоришь: Филиппа ударил угорь.

— Разве угорь? Нет, я сказал: его ударил скат.

*Трубка вынимается изо рта.*

— Так разве он не знает?..

---

*А во все время, пока люди работают, и смеются, и говорят — сидит в сторонке, на невысоком камне, глубоко равнодушный и слегка пьяный Хорре. Камень невысок, и узловатый Хорре похож на краба, вылезшего погреться на солнце. Но и краб, пожалуй, не остался бы так равнодушен к человеческим делам, как Хорре: курит, сплевывает — разве только удивляется временами: как это они могут. Но когда слышит сильный голос Хаггарта, но когда видит проходящую мимо Мариет — становится угрюм и угрожающ. И слабо ворочает тяжелыми клешнями.*

— Ах, Нони, Нони! Я умный человек, но я ничего не понимаю в твоих поступках.

*Проходят двое.*

— В этом месте нет дна, говорят.

— Везде есть дно.

— Я сам не знаю, но так говорят. Говорят, что утонувшие в этом месте никогда не доходят до дна. Вероятно, они похожи на подводных птиц, как ты думаешь?

— А у неба есть дно?

— У неба есть. Давай смотреть. Сегодня такое хорошее небо.

*Останавливаются и задирают голову. Но второй дергает его за руку и говорит угрюмо:*

— Идем! Только у человеческого горя нет дна. Смотри туда, если хочешь.

— Хорошее утро!

— Хорошее утро.

*Уходят, один угрюмый, другой веселый и беспечный,— и равно ласкает небо их обоих. Медленно, красиво клонясь под тяжелой плетенкой, идет Мариет, и ей сопутствует творящий голову Филипп.*

— Ты слышишь, какой сильный голос у Гарта? — спрашивает Мариет.

— Слышу, Мариет.

— Не зови меня Мариет.— Гарт говорит, что некоторые люди умирают даже в двадцать лет — тебе не приходилось слышать? Тебе тоже двадцать лет.

— Да, уже двадцать, Мариет.

— Или ты хочешь, чтобы я сама сделала это? — в гневе останавливается женщина.

— Для него?

— Да, для него. Зачем ты каркаешь мое имя, уверяю тебя, меня никогда не называли так. Никогда!

*Филипп говорит вызывающе:*

— Я выхожу в лодке один и всему морю кричу: Мариет! Мариет! Я целовал Мариет!

*Женщина окидывает его презрительным взором.*

— Да, так говорят все.— Ты знаешь, старик,—она гневно подходит к Хорре и бросает в него слова, как камни,— вот этот был моим женихом и целовал меня.

*Филипп уходит, повторяя со смехом:*

— Мариет! Мариет!

— Знаю,— угрюмо отвечает Хорре.

— Нет, ты ничего не знаешь. Ты мне мешаешь жить, волк! В моей груди стояла радость поверх сердца, зачем вы все расплескиваете ее? — Кому нужно расплескивать мою радость, чтобы она сохла на песке? Это я солгала: Филипп никогда не целовал меня. Слышишь? Я ненавижу Филиппа.

— Слышу.

— Хорре?

— Мариет?

— Кто зажигал вчера огни у мыса? Скажи-ка.

*Хорре хрипит насмешливо:*

— Ты ошиблась. Это не был огонь. Это был маяк Святого Креста.

— Уж и хорошо ты придумал! Но не лги: это был огонь. И я знаю, кто зажигал его.

— Скажи: дьявол! Мне все равно.

— Ой, берегись, Хорре! Или у тебя две головы?

— Будь бы две, одну я давно отдал бы твоему Хаггарту. А то одна. Куда ты девала его голову, Мариет?

— Ты мне не даешь жить, волк. Ты опять поил джином маленького Нони?

— Вот идет твой муж. Скажи ему.

*Мариет окидывает его гневным взглядом и уходит. Издали окликает ее Хаггарт:*

— Мариет!

*И, не оглядываясь, она отвечает:*

— Мне некогда, Гарт.

— Ого! — говорит Хаггарт, усаживаясь на камень возле Хорре. — Это ты опять рассердил ее, матрос? Не надо этого, кому-нибудь от этого может быть плохо. Ты глуп, Хорре: почему ты не любишь ее?

— Как тебе сказать, Нони? — *говорит матрос осторожно.*

*Хаггарт весело перебивает его:*

— Так будь осторожнее. Если бы ты пошевелил мозгами, матрос, ты бы понял: ты должен любить ее. Почему? Потому что она похожа на меня. Вот смешно: она похожа на меня, как сестра! Сестричка Мариет.

— Все люди похожи, и все люди разные, — *уклончиво говорит матрос.*

— Мне хочется поплыть к тому старому шаману и схватить его за ожерелье, пусть скажет, не от одной ли матери я и Мариет. (*Смеется.*)

— Тебе весело, Нони?

— Да. Понюхай мои руки, Хорре, — как славно пахнут они морем! Можно подумать, что я весь океан пропустил сквозь пальцы.

— Пахнут, но только рыбой. Не обижайся, Нони: так пахнут руки и у негра в камбузе.

*Хаггарт хмурится, но тотчас гнев его переходит в смех.*

— Вот бы я посмотрел акулу, которая захочет съесть тебя: тебя нельзя ни проглотить, ни выплюнуть.

— Тебе очень весело, Нони?

*Хаггарт быстро:*

— Да. Мне мешает жить один человек. А у тебя синяк, матрос? — это не бывает даром, ты где-нибудь нагулял его. Что? И где ты пропадал три дня? Ты где пропадаешь по три и по четыре дня, Хорре?

— Я ходил бражничать, Нони, а бражничал в городке.

— Ну и хороший же ты человек, Хорре! Теперь не скажешь ли ты, что ты пил джин и тебя побили?

— Кое-что было, Нони.

*Хаггарт вскакивает на ноги и с крепким гневом, наклонившись, говорит матросу:*

— Нет, а не скажешь ли ты, что видел тех, и они ждут меня. Эй, Хорре, — ну-ка, скажи!

*Хорре покорно отвечает:*

— Нет, капитан, не скажу.

*Хаггарт садится.*

— Я знал, что не скажешь. Трубку!

— Есть.

— Я уже вижу, как вы там хныкали, скрипели зубами и клялись. Или всю жизнь мне таскать их на хвосте? — ты как думаешь, боцман? Вчера кто-то зажигал огонь у мыса, но я не хочу знать, кто это был. Я думаю, что там никого не было. Хм! Я уж слышу, как одни говорят: «Мы не можем без капитана, англичанин проглотит нас». А другие: «Лучше пойдем и убьем его, чем столько ждать». А я хочу жить здесь.

— Живи.

*Молчание. Проходят двое стариков; один совсем старый, с выгнутой колесом спиной, шамкает ворчливо:*

— Говорят: Рикке, эй, дедушка Рикке! А кто будет плести сети? У меня соленая вода в глазах. Я вижу, как сквозь

воду,— кто будет плести сети? Вот тебе и весь тут дедушка Рикке.

Хорре. Все ходят и хвастают, что хороший улов. Правда это, капитан?

Хаггарт. Я хочу жить здесь.— Да, правда.— Сегодня хорошее утро — вода пахнет! И зачем ты говоришь мне: капитан? — давай теперь разговаривать, как друзья. Я очень счастлив, Хорре!

Хорре. Нет, Нони, это неправда. Если бы это была правда, я выколотил бы тебя из моего сердца, как вот эту трубку. Ты очень несчастлив, Нони.

*Хаггарт смеется.*

— Ну-ка дальше! Сегодня я очень добрый и буду слушать.

— Ты добрый, а меня не стал бы есть и австралиец: так я горек от желчи. Может быть, это совесть, как ты думаешь, Нони? — но мне стыдно смотреть на тебя. Я краснею, как девица, когда вижу тебя с этими пройдохами и мошенниками, мне хочется ослепнуть, Нони, чтобы никогда этого не видеть.

— У тебя мозги перевернулись, матрос, вот что. Посмотри на море. Оно у них и у нас, и это значит, что мы одинаковые. Оно у них и у нас, Хорре!

*Оба, задумавшись, смотрят на широкий горизонт. Далека зеленая полоска воды, но над всем царит она, как те белые облака, что вдруг выплыли на середину небесной синевы, сложились царским тронem для грядущего Владыки. Маленький белеет парус: скосило его ветром и несет по простору; и ширью, и воздухом, и светом захлебывается грудь.*

Хаггарт. Ты хнычешь, Хорре? Какой дурак — он хнычет.

Хорре. Туда мне хочется, Нони! — *показывает рукой на горизонт.*

— Но ты дурак — зачем ты хнычешь?

— Я не дурак, капитан. Но ты забыл правду, Нони, как негр. Ты думаешь, они любят это? — *Обводит пальцем горизонт.* — Нет! Они тащат из него что попало, рыбу, траву, обломки кораблей. На обломках кораблей они варят свой суп, Нони! Оно им нужно только для того, чтобы обкрадывать его,— вот как они его любят.

Хаггарт. Как отца, который кормит — лучше так скажи, матрос.

Хорре. Нет, Нони, как козу, которую доят. Ты видал

здешнего человека, который поклонился бы морю? Нет. Кланяются они в другую сторону, а сюда только плюют. Они и прокляли бы его, да боятся. Они ненавидят его, Нони, ужасаются, как страшилища, обманывают его, как Бога! Ты был с ним когда-то, теперь ты против него: берег всегда против воды, Нони.

Хаггарт. Берег всегда против воды! Если ты сам это придумал, то это очень хорошо.

Хорре. А твои глаза уж и этого не видят? Эх, Нони! Ты никогда не был слишком добр, это правда, а он — разве добр? Но ты умел дарить, как он. Эх, Нони! Ты бросал им деньги, джин, танцы, ты дул на них горячим ветром, от которого звонили их колокола,— вот что ты делал, когда приходил на землю! У тебя были товарищи, которых ты любил, но у тебя были и враги. А где теперь твои враги? — у тебя все друзья.

Хаггарт. Не все.

Хорре. Я пьяница, это верно, меня давно нужно повесить на рее, но мне было бы стыдно жить без врагов. У кого нет врагов, тот всегда дезертир, Нони.

Хаггарт. Это хорошо, что мы говорим с тобой, как друзья. Я немного устал улыбаться; может быть, мое лицо еще не привыкло к этому,— я не знаю, может быть. Но я устал. И мне мешает жить один человек. И еще может быть, что все это — сон. Ты не думаешь этого, Хорре? Ну, не думай, и я ведь этого не думаю. И еще вот что хорошо бы: сломать ногу.

— Зачем же это? Ты что-то круто берешь руля, Нони.

— Чтобы почувствовать боль. Тише, идет Мариет!

— Твоя жена. Да, идет твоя жена.

— Тише, матрос! Мне мешает жить один человек.— Но я счастлив, уверяю тебя, я счастлив, дружище. Нет, ты посмотри, как идет Мариет! Послушай: это во сне я видел человека, который мешает мне... Здравствуй, Мариет, сестричка!

— Здравствуй, Гарт! Ты еще так не говорил мне никогда.

— Тебе нравится?

*Встает против Мариет и доверчиво обводит пальцем вокруг ее глаз.*

— Какие большие глаза! В твои глаза, должно быть, много видно, Мариет, много моря, много неба. А в мои?

*Оборачивается к морю и, окружив глаза кольцом пальцев, смотрит и говорит успокоенно:*

— И в мои много.

— Хорре...— *Начинает Мариет, и Хаггарт быстро оглядывается.*

— Ну что — Хорре? За что ты не любишь его, Мариет? Мы так с ним похожи.

— Он похож на тебя? — *Говорит женщина с презрением.*— Нет, Хаггарт! Но вот что он сделал: он сегодня опять поил джином маленького Нони. Мочил палец и давал ему. Он его убьет, отец.

*Хаггарт смеется.*

— Разве это так плохо? Он и меня поил так же.

— И окунал его в холодную воду. Мальчик очень слаб, — *хмуро говорит Мариет.*

— Я не люблю, когда ты говоришь о слабости. Наш мальчик должен быть силен.— Хорре! Три дня без джину.

*Показывает пальцами три.*

— Кто без джину? Я или мальчишка? — *мрачно спрашивает Хорре.*

— Ты! — *гневно отвечает Хаггарт.*— Прочь отсюда.

*Матрос угрюмо собирает пожитки: кiset, трубку и флагу — и, переваливаясь, уходит; — но недалеко: садится на соседнем камне. Хаггарт и жена смотрят ему вслед.*

*Работа кончилась. Теряя блеск, валяется последняя неподобранная рыба: уже и ребятам лень наклоняться за нею; и втаптывает ее в ил равнодушная, пресыщенная нога. Тихий, усталый говор, спокойно-веселый смех.*

— Какую сегодня молитву скажет наш аббат? Ему уже пора идти.

— А вы думаете, что это так легко: сочинить хорошую молитву? Он размышляет.

— А у Селли прорвалась плетенка, и рыба сыпалась оттуда. Мы так смеялись,— мне и теперь смешно!

*Смех. Два рыбака смотрят на далекий парус.*

— Всю жизнь я вижу, как мимо нас идут куда-то большие корабли. Куда они идут? Вот они пропадают за горизонтом, а я отправляюсь спать; и я сплю, а они все идут, идут. Куда, ты не знаешь?

— В Америку.

— Мне хотелось бы с ними. Когда говорят: Америка, у меня звенит сердце. Что это, нарочно — Америка или правда?

*Шепчутся несколько старух:*



— Дикий Гарт опять рассердился на своего матроса. Вы видели?

— Матрос недоволен. Посмотрите, какое у него постное лицо.

— Да, как у нечистого, которого заставили выслушать псалом. Но только и дикий Гарт мне не нравится, нет. Откуда он пришел?..

*Шепчутся. Хаггарт жалуется тихо:*

— Зачем у тебя для всех одно имя: Мариет? Так не должно быть в правдивой стране.

*Мариет говорит с сдержанной силой, обе руки прижимая к груди:*

— Я так люблю тебя, Гарт: когда ты уходишь в море, я стискиваю зубы и не разжимаю их, пока ты не приходишь снова. Без тебя я ничего не ем и не пью; без тебя я молчу, и женщины смеются: немая Мариет! Но я была бы сумасшедшей, если бы разговаривала, когда я одна.

*Хаггарт.* Вот ты опять заставляешь меня улыбаться. Так же нельзя, Мариет, я все время улыбаюсь.

*Мариет.* Я так люблю тебя, Гарт: во все часы, днем и ночью, я думаю только о том, что бы еще отдать тебе, Гарт. Не все ли я отдала? — но это так мало, все! Я только одного и хотела бы: все дарить тебе, дарить. Когда заходит солнце, я дарю тебе закат; когда оно восходит, я дарю тебе восход — возьми его, Гарт. И разве все бури не твои? — Ах, Хаггарт, как я тебя люблю!

*Хаггарт.* Я так сегодня буду бросать маленького Нони, что заброшу его на облака. Ты хочешь? Давай смеяться, сестричка Мариет. Ты совсем, как я: когда ты так стоишь, мне кажется, что это стою я, нужно протереть глаза. Давай смеяться. Вдруг я когда-нибудь перепутаю: проснусь и скажу тебе: здравствуй, Хаггарт!

*Мариет.* Здравствуй, Мариет.

*Хаггарт.* Я буду звать тебя: Хаггарт. Хорошо я придумал?

*Мариет.* А я тебя Мариет.

*Хаггарт.* Да. Нет. Лучше зови меня тоже Хаггарт.

*Мариет печально:*

— Ты не хочешь?

*Подходят аббат и старый Дан; аббат громко басит:*

— Вот и я, вот я несу молитву, дети. Как же, сейчас придумал, даже жарко стало. Дан, что же не звонит мальчишка? Ах нет: звонит. Дурак, он не в ту веревку — ну да все равно, и так хорошо. Хорошо, Мариет?

*Звонят два жиденьких, но веселых колокола. Мариет молчит, а Хаггарт отвечает за нее:*

— Хорошо. А что говорят колокола, аббат?

*Собравшиеся кругом рыбаки заранее готовятся к смеху — всегда повторяется одна и та же неумирающая шутка.*

— А ты никому не скажешь? (*Хитро щурится аббат и басит.*) Папа-плут! Папа-плут!

*Весело хохочут рыбаки.*

— Вот этот человек.— *Гремит аббат, указывая на Хаггарта,*— самый любимый мой человек. Он сделал мне внука, и я написал об этом папе по-латыни. Но это было уже не так трудно — верно, Мариет? — а вот он умеет смотреть в воду. Он предсказывает бурю так, как будто он сам делает бурю. Гарт, ты сам делаешь бурю? И откуда у тебя дует ветер, — ведь ты сам ветер.

*Одобрительный смех. Старый рыбак говорит:*

— Это правда, отец. С тех пор, как он здесь, нас ни разу не застал шторм.

— Еще бы не правда, когда я говорю. Папа-плут, папа-плут. Все здесь. Становитесь на молитву. Прогнать ребятишек, пусть там молятся по-своему: ходят на головах. Папа-плут, папа-плут...

*Старый Дан подходит к Хорре и что-то говорит, тот отрицательно мотает головою. Аббат, напевая «папа-плут», обходит толпу, бросает короткие замечания, иных дружески хлопывает по плечу.*

— Папа-плут. Здравствуй, Катерина — живот-то у тебя, ого. Папа... Все готовы? А Фомы опять нет — уже второй раз уходит с молитвы. Скажите ему, что если еще раз, — он неделю пролежит в постели. Папа-плут... Ты что не весела, Анна — это не годится. Жить нужно весело, жить нужно весело! Я думаю, что и в аду весело, но только на другой лад. Папа-плут... Вот уже два года, как ты перестал расти, Филипп. Это не годится.

*Филипп отвечает угрюмо:*

- И трава перестает расти, если на нее свалится камень.  
— И еще хуже, чем перестанет расти: под камнем заводятся черви. Папа-плут, папа-плут...

*Мариет говорит тихо, с печалью и мольбой:*

- Ты не хочешь, Гарт?

*Хаггарт упрямо и мрачно:*

— Не хочу. Если меня будут звать Мариет, я никогда не убью того. Он мне мешает жить. Подари мне его жизнь, Мариет: он целовал тебя.

— Как же я могу подарить то, что не мое? Его жизнь принадлежит Богу и ему.

— Это неправда. Он целовал тебя, разве я не вижу ожогов на твоих губах. Дай мне убить его, и тебе станет так радостно и легко, как чайке. Скажи «да», Мариет.

— Нет, не надо, Гарт. Тебе будет больно.

*Хаггарт смотрит на нее и говорит с тяжелой насмешливостью:*

— Вот так. Ну так это неправда, что ты даришь мне. Ты не умеешь дарить, женщина.

— Я твоя жена.

— Нет! У человека нет жены, когда другой, а не она, точит его нож. Мой нож затупился, Мариет!

*С ужасом и тоской смотрит Мариет.*

— Что ты говоришь, Хаггарт? Проснись, это страшный сон, Хаггарт, Хаггарт! Это я, посмотри на меня. Шире, шире открой глаза, пока не увидишь меня всю. Видишь, Гарт?

*Хаггарт медленно потирает лоб.*

— Не знаю. Это правда: я люблю тебя, Мариет. Но какая непонятная ваша страна: в ней человек видит сны, даже когда не спит. Может быть, я уже улыбаюсь? — посмотри, Мариет?

*Аббат останавливается перед Хорре.*

— А, старый приятель, здравствуй! Так-таки и не хочешь работать?

— Не хочу,— угрюмо цедит матрос.

— А по-своему хочешь? Вот этот человек (*гремит аббат, указывая на Хорре*) думает, что он безбожник. А он просто дурак, не понимает, что тоже молится Богу — но только задом наперед, как морской рак. И рыба молится Богу, дети

мои, я сам это видел. Будешь в аду, старик, кланяйся папе. Ну, дети, становитесь поближе, да не скальте зубы — сейчас начну. Эй, ты, Матиас, — трубку можешь и не гасить, не все ли равно Богу, какой дым, ладан или табак — было бы честно. Ты что качаешь головою, женщина?

**Женщина.** У него контрабандный табак.

**Молодой рыбак.** Станет Бог смотреть на такие пустяки.

*Аббат на мгновение задумывается.*

— Нет, погоди. А, пожалуй, контрабандный табак — это уже не так хорошо. Это уж второй сорт! Вот что, брось-ка пока трубку, Матиас, я потом это обдумаю. Теперь тихо, детки, совсем тихо: пусть Бог сперва на нас посмотрит.

*Все стоят тихо и серьезно. Только немногие опустили головы — большинство смотрит вперед широко открытыми, неподвижными глазами, точно и впрямь увидели они Бога в лазури небес, в безграничности морской светлеющей дали. С ласковым ропотом приближается море — начался прилив.*

— Боже мой и всех этих людей! Не осуди нас, что молимся не по-латыни, а на родном языке, которому учила нас мать. Боже наш! Спаси нас от всяких страшилищ, от морских неведомых чудовищ; обереги нас от бурь и ураганов, от гроз и ненастий. Дай нам тихую погоду и ласковый ветер, ясное солнце и покойную волну. И вот еще, Господи, особенно просим Тебя: не позволяй дьяволу близко подходить к изголовью, когда мы спим. Во сне мы беззащитны, Господи, и дьявол пугает нас до ужаса, терзает до содрогания, мучит до сердечной крови. И вот еще, Господи: у старого Рикке, которого Ты знаешь, начинает погасать Твой свет в очах, и он уже не может плести сети...

*Рикке часто утвердительно кивает головой.*

— Не могу, нет!

— Так продли ему, Господи, Твой светлый день и скажи ночи, чтобы подождала. Так, Рикке?

— Так.

— И вот еще последнее, Господи, а больше не буду: у наших старух слезы не высыхают об умерших — так отними у них память, Господи, и дай им крепкое забвенье. Там и еще есть, Господи, кое-какие пустяки, но пусть молятся другие люди, кому настала очередь перед Твоим слухом. Аминь.

*Молчание. Старый Дан дергает аббата за рукава и что-то шепчет ему.*

А б б а т. Вот Дан еще просит, чтобы я помолился о погибших в море.

*Женщины восклицают жалостным хором:*

— О погибших в море! О погибших в море...

*Некоторые становятся на колени. Аббат с нежностью смотрит на их склоненные головы, истомленные ожиданием и страхом, и говорит:*

— Но о погибших в море должен молиться не поп, а вот эти женщины. Сделай же, Господи, так, чтобы поменьше плакали они!

*Молчание. Слышнее гремит прилив — несет океан на землю свой шум, свои тайны, свой горько-соленый вкус неизведанных бездн. Тихие голоса.*

— Море идет.

— Прилив начался.

— Море идет.

*Мариет целует руку у отца.*

— Тоже женщина,— *говорит поп ласково.*— Послушай, Гарт, это ли не странно: как от меня, мужчины, могло родиться вот это,— *ласково стучает дочь пальцем по ее чистому лбу,*— вот это: женщина!

*Хаггарт улыбается.*

— А разве это не странно, что у меня, мужчины, вот это (*обнимает Мариет, сгибая ее тонкие плечи*), вот это стало женой?

— Пойдем-ка есть, Гарт, сыночек. Кто бы оно ни было — одно знаю хорошо: оно приготовило нам с тобою здоровеннейший обед.

*Народ быстро расходится. Мариет говорит смущенно и весело:*

— Я побегу вперед.

— Беги, беги,— *отвечает аббат.*— Гарт, сыночек, позови-ка безбожника обедать. Я буду бить его ложкой по лбу: безбожник лучше всего понимает проповедь, если его бить при этом ложкой.

*Ждет и бормочет:*

— А мальчишка-то опять зазвонил: это он для себя, плут. Не запирать колокольни — так они с утра до вечера будут молиться.

*Хаггарт подходит к Хорре, возле которого снова уселся Дан.*

— Хорре! Идем обедать, тебя поп звал.

— Не хочю, Нони.

— Так! Ты что же тут будешь делать на берегу?

— Думать, Нони, думать. Мне так много нужно думать, чтобы хоть что-нибудь понять.

*Хаггарт молча поворачивается. Аббат издали кричит:*

— Не идет? Ну и не надо. А Дана ты, сыночек, никогда не зови,— *говорит поп густым шепотом,*— он по ночам ест, как крыса. Мариет нарочно ставит ему на ночь что-нибудь в шкапу — посмотрит утром,— ан чисто. И ведь, подумай, никогда не слышно, как он берет,— летает он, что ли?

*Уходят оба. На опустевшем берегу только два старика, дружелюбно усевшиеся на соседних камнях. И так похожи они, старые: и что бы ни говорили они — роднит их страшно белизна волос, глубокие борозды старческих морщин.*  
*Прилив идет.*

— Все ушли,— *бормочет Хорре.*— Так на обломках и нашего корабля сварят они горячий суп. Эй, Дан! Ты знаешь: он три дня не велел мне пить джину. Пусть издыхает старая собака, не так ли, Нони?

— О погибших в море... о погибших в море,— *бормочет Дан.*— Сын у отца, сын у отца, и сказал отец: пойдя — и в море погиб сын. Ой-ой-ой.

— Ты что болтаешь, старик? Я говорю: он не велел мне пить джину. Скоро он, как тот твой царь, велит высечь море цепями.

— Ого! Цепями.

— Твой царь был дурак. А он был женат, твой царь?

— Море идет, идет,— *бормочет Дан.*— Несет свой шум, свои тайны, свой обман — ой, как обманывает море человека. О погибших в море — да, да, да,— о погибших в море...

— Да, море идет — а ты этого не любишь? — *злорадствует Хорре.*— Ну, не люби. А я не люблю твою музыку,— слышишь, Дан — я ненавижу твою музыку!

— Ого! А зачем ходишь слушать? Я знаю, как вы с Гартон стояли у стены и слушали.

*Хорре говорит урюмо:*

— Это он поднял меня с постели.

— И опять поднимет.

— Нет! — *сердито рычит Хорре.* — А вот я сам встану ночью — слышишь, Дан, — встану ночью и разобью твою музыку.

— А я наплюю на твоё море.

— Ну-ка попробуй! — *говорит матрос с недоверием.* — Как же ты плюнешь?

— А вот так.

*Дан с остервенением плюет в направлении моря. Смятенно хрипит испуганный Хорре.*

— Ах, какой же ты человек. Плюнул! Эй, Дан, смотри, тебе будет нехорошо: ты сам говоришь о погибших в море.

*Дан испуганно:*

— Кто говорит о погибших в море? Ты, ты? Собака!

*Уходит, ворча и покашливая. Размахивает рукою и горбится. Хорре остается один перед всею громадою моря и неба.*

— Ушел. Так буду же смотреть на тебя, море, пока не лопнут от жажды мои глаза!

*Ревет, приближаясь, океан.*

#### ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА

*У самой воды, на тесной площадке каменистого берега стоит человек — маленькое, темное, неподвижное пятно. Позади него холодный, почти отвесный скат уходящего гранита, а перед глазами — в непроницаемом мраке — глухо и тяжело колышется океан. В открытом голосе валов, идущих снизу, чувствуется его мощная близость. Даже пофыркивание слышно — будто плещется, играя, стадо чудовищ, сопит, ложится на спину и вздыхает удовлетворенно, получает свои чудовищные удовольствия.*

*И пахнет открыто океан: могучим запахом глубин, гниющих водорослей, своей травы. Сегодня он спокоен и — как всегда — один. И один только огонек в черном пространстве воды и ночи — далекий маяк Святого Креста.*

*Слышится скрежет камешков под осторожную стопую: то Хаггарт спускается к морю по крутой, но привычной тропинке. Останавливается, молчит сдержанно, выдыхая напряжение опасного спуска, и снова идет. Вот уже внизу он — выпрямляется и смотрит долго на того, кто уже занял свое странно-обычное место на самой границе пучины. Делает несколько шагов вперед и приветствует нерешительно и мягко — даже робко приветствует Хаггарт.*

— Здравствуйте, неизвестный господин. Вы уже здесь давно?

*Печальный, мягкий и важный голос отвечает:*

— Здравствуй, Хаггарт. Да, я уже здесь давно.

— Вы смотрите?

— Смотрю и слушаю.

— Вы позволите мне стать возле вас и смотреть туда же, куда смотрите и вы, господин? Боюсь, что я мешаю вам своим непрошеным присутствием — ведь, когда я пришел, вы были уже здесь, господин,— но я так люблю это место. Здесь уединенно и море близко, а земля за спиною молчит; и здесь открываются мои глаза. Как ночная птица, я лучше вижу в темноте: день ослепляет меня. Ведь я вырос на море, господин.

— Нет, ты не мешаешь мне, Хаггарт. Но не мешаю ли я тебе? Тогда я могу уйти.

— Вы так вежливы, господин,— *бормочет Хаггарт.*

— Но я тоже люблю это место,— *продолжает печальный и важный голос.*— И мне также нравится, что за спиною моей холодный и спокойный гранит. Ты вырос на море, Хаггарт: скажи мне, что это за неяркий огонек направо?

— Это маяк Святого Креста.

— Ага! Маяк Святого Креста. Я этого не знал. Но разве такой неяркий огонь может помочь в бурю? Я смотрю, и мне все кажется, что он гаснет. Вероятно, это неправда.

*Хаггарт говорит сдержанно, волнуясь:*

— Вы пугаете меня, господин. Зачем вы спрашиваете то, что сами знаете лучше меня? Вы хотите меня искусить — ведь вы знаете все.

*В печальном голосе нет улыбки — только печаль.*

— Нет, я знаю мало. Я знаю даже меньше, чем ты, так как знаю больше. Прости за несколько запутанную фразу, Хаггарт, но язык так трудно поддается не только чувству, но даже мысли.

— Вы вежливы,— *бормочет Хаггарт взволнованно.*— Вы вежливы и всегда спокойны. Вы всегда печальны, и у вас тонкая рука с перстнями, и вы говорите, как очень важное лицо. Кто вы, господин?

— Я тот, кого ты назвал: кому всегда печально.

— Когда я прихожу, вы уже здесь; когда я ухожу, вы остаетесь. Отчего вы никогда не хотите уйти со мною, господин?

— У тебя одна дорога, Хаггарт, у меня другая.

— Я вижу вас только ночью. Я знаю всех людей вокруг



поселка, и нет никого, кто был бы похож на вас. Иногда я думаю, что вы владелец того старого замка, где жил и я — тогда я должен вам сказать: замок разрушен бурей.

— Я не знаю, о ком ты говоришь.

— Я не понимаю — откуда, но вы знаете мое имя: Хаггарт. Но я не хочу вас обманывать: хотя и жена моя Мариет зовет меня так, но я сам выдумал это имя. У меня есть другое, настоящее имя, о котором здесь никто не слышал.

— Я знаю и другое твое имя, Хаггарт. Я знаю и третье твое имя, которого ты сам не знаешь. Но едва ли стоит об этом говорить. Смотри лучше вот в эту черную глубину и расскажи мне о твоей жизни: правда ли, что она так радостна? Говорят, что ты всегда улыбаешься. Говорят, что ты самый смелый и красивый рыбак на всем побережье. И говорят еще, что ты очень любишь жену свою Мариет.

— О господин! — *воскликает Хаггарт сдержанно.* — Моя жизнь так печальна, что в самой этой черной глубине ты не нашел бы образа, подобного ей. О господин! Так глубоки мои страдания, что в самой этой черной глубине ты не нашел бы места страшнее и глубже.

— О чем же печаль твоя и страдания твои, Хаггарт?

— О жизни, господин. Вот ваши благородные и печальные глаза смотрят туда же, куда и мои: в эту страшную темную даль. Скажите же мне: что движется там? Что покоится и ждет, безмолвствует и кричит, и поет, и жалуется своими голосами? О чем эти голоса, которые тревожат меня, и наполняют душу мою призраками печали, и ни о чем не говорят? И откуда эта ночь? И откуда моя печаль? И вы ли это вздыхаете, господин, или в ваш голос вплетается вздох океана — я плохо начинаю слышать, о господин мой, мой милый господин!

*Печальный отвечает голос:*

— Это я вздыхаю, Хаггарт. Это твоей печали отвечает моя великая печаль. Ты видишь ночью, как ночная птица, Хаггарт: так взгляни же на тонкие руки мои, одетые перстнями, — не бледны ли они? И на лицо мое взгляни — не бледно ли оно? Не бледно ли оно — не бледно ли оно... О Хаггарт, мой милый Хаггарт!

*Безмолвно тоскуют. Плескается, ворочаясь, тяжелый океан, плюет и фыркает, сопит спокойно. Сегодня он спокоен и один — как всегда.*

— Передай Хаггарту... — *говорит печальный голос.*

— Хорошо. Я передам Хаггарту.

— Передай Хаггарту, что я люблю его.

*Молчание. И тихо звучит бессильный и жалобный упрек.*

— Если бы не был так строг ваш голос, господин, я подумал бы, что вы смеетесь надо мной. Разве я не Хаггарт, что еще должен передавать что-то Хаггарту? Но нет: иной смысл я чувствую в ваших словах, и вы снова пугаете меня, господин. А когда боится Хаггарт, то это действительно страх. Хорошо: я передам Хаггарту все, что вы изволили сказать.

— Поправь мне плащ: мне холодно плечу. Но мне все кажется, что огонек этот гаснет. Маяк Святого Креста — ты так назвал его, я не ошибаюсь?

— Да, так зовут его здесь.

— Ага. Так зовут его здесь.

*Молчание.*

— Мне надо уже идти? — спрашивает Хаггарт.

— Да, иди.

— А вы останетесь здесь?

— Я останусь здесь.

*Хаггарт отступает на несколько шагов.*

— Прощайте, господин.

— Прощай, Хаггарт.

*Снова скрежещут камешки под осторожной стопой: не оглядываясь, взбирается Хаггарт на крутизну. О какой великой печали говорит эта ночь?*

#### ПЯТАЯ КАРТИНА

— Твои руки в крови, Хаггарт. Кого ты убил, Хаггарт?

— Молчи, Хорре. Я убил того. Молчи и слушай — он сейчас начнет играть. Я уже стоял здесь и слушал, но вдруг так сжало сердце! — и я не мог уже оставаться один.

— Не мути мой разум, Нони, не искушай меня — я убегу отсюда. Ночью, когда я уже сплю, ты налетаешь на меня, как демон, хватаешь за шиворот, волочишь сюда — я ничего не понимаю. Скажи, мальчик, нужно спрятать труп?

— Да, да!

— Отчего же ты не бросил его в море?

— Тише! О чем ты болтаешь? Мне нечего бросать в море.

— Но руки твои в крови...

— Молчи, Хорре! Сейчас он начнет. Молчи и слушай, тебе я говорю: ты мне друг или нет, Хорре?

*Тащит его ближе к темному окну церкви. Хорре бормочет:*

— Какая темнота... Если ты поднял меня с постели для этой проклятой музыки...

— Да, да, для этой проклятой музыки.

— То ты напрасно нарушил мой честный сон. Я не хочу музыки, Нони!

— Так! Или мне было бегать по улице, стучать в окна и кричать: эй, кто там, живой! Идите помогать Хаггарту, станьте с ним против пушек.

— Ты что-то путаешь, Нони! Выпей джину, мальчик. Какие пушки?

— Тише, матрос.

*Отгаскивает его от окна.*

— Ох, ты треплешь меня, как шквал!

— Тише! Он, кажется, посмотрел на нас в окно: что-то белое мелькнуло за стеклом. Ты можешь засмеяться, Хорре: если бы он вошел сейчас, я закричал бы, как женщина.

*Тихо смеется.*

— Ты про Дана так говоришь? Я ничего не понимаю, Нони.

— Но разве это Дан? Конечно, это не Дан, это кто-то другой. Дай мне руку, матросик.

— Я думаю, что ты просто хлебнул лишнего, Нони, как тогда — помнишь — в башне. И рука у тебя дрожит. Но только тогда игра была другая...

— Тсс!..

*Хорре, понижая голос:*

— Но рука твоя действительно в крови... Ой, ты ломаешь мне пальцы!

*Хаггарт угрожающе:*

— Если ты не замолчишь, собака, я сломаю тебе каждую кость! Я вытяну из тебя каждую жилу, если ты не замолчишь, — собака!

*Молчание. Тихо стонет, будто жалуется, далекий прибой — далеко ушло море от черной земли. И ночь безмолвна. Пришла неведомо откуда и стала над землей и молчит; молчит и ждет чего-то. И дикие туманы колыхнулись ей навстречу — дыхнуло море призраками, гонит на землю стадо безголовых покорных великанов. Туман идет.*

— Почему он не зажигает огня? — *хмуро, но уже покорно спрашивает Хорре.*

— Ему не нужно огня.

— Может быть, там никого уже и нет?

— Есть.

— Поднимается туман. Какая тишина! Пахнет чем нехорошим — как ты думаешь, Нони?

— Тсс...

*Первые тихие звуки органа. Сидит кто-то в темноте один и на непонятном языке говорит Богу о самом важном. И как ни слабы звуки — вдруг сразу исчезла тишина, колыхнулась ночь и всеми мириадами своих призрачных глаз уставилась на темную церковь.*

*Тревожный шепчет голос:*

— Слушай. Он всегда так начинает. Сразу хватается за душу! Откуда у него сила? Он сразу берет за сердце.

— Мне не нравится.

— Слушай! Вот он притворяется Хаггартом, Хорре! Маленький Хаггарт на коленях у матери. Смотри: все руки полны золотыми лучами, маленький Хаггарт играет золотыми лучами. Смотри!

— Я не вижу, Нони. Пусти мою руку, мне больно.

— Вот он притворяется Хаггартом! Слушай.

*Глухо звучат томительные аккорды. Хаггарт тихо стонет.*

— О чем ты, Нони? Тебе больно?

— Да. Ты понимаешь, о чем он говорит?

— Нет.

— Он говорит о самом важном — о таком важном, Хорре, что если бы мы могли понять... Я хочу понять. Слушай, Хорре, слушай! Зачем он притворяется Хаггартом? — это не моя душа. Моя душа не знает этого.

— Чего, Нони?

— Не знаю. Какие ужасные сны в этой стране. Слушай. Вот! Теперь он будет плакать и скажет: это Хаггарт плачет. Он будет звать Бога и скажет: это Хаггарт зовет. Он лжет — Хаггарт не знал, Хаггарт не знает Бога.

*Снова сдержанно стонет.*

— Тебе больно?

— Да. Молчи.

*Хаггарт сдержанно вскрикивает:*

— Ох, Хорре!

— Да что с тобою, Нони?

— Да скажи же ему, что это не Хаггарт. Это ложь! — *торопливо шепчет Хаггарт.* — Он думает, что он знает, а он сам ничего не знает. Он маленький, дрянной старик с красными, как у кролика, глазами, и его завтра слопают смерть. Ха! Он торгует брильянтами, пересыпает их с руки на руку, как старый жид, а сам умирает с голода. Обман, Хорре, обман! Давай громко говорить, Хорре, мы здесь одни.

*Кричит, обращаясь к гремящему органу:*

— Эй, музыкант! На твоих крыльях не может подняться и муха — самая маленькая муха не может подняться. Эй, музыкант! Давай твою дырявую шляпу, и я кину в нее грош — больше не стоит твое лганье. Ты что болтаешь там о Боге, кроличьи глазки,— замолчи, мне стыдно тебя слушать. Клянусь, мне стыдно тебя слушать. Не веришь? Все зовешь? Куда?

— Бей их в лоб, Нони.

— Молчи, собака! Но какая ужасная страна: что делают в ней с человеческим сердцем. Какие ужасные сны в этой стране!

*Умолкает. Торжественно поет орган.*

— Отчего ты замолчал, Нони? — *тревожно спрашивает матрос.*

— Я слушаю. Хорошая музыка, Хорре. А разве я что-нибудь говорил?

— Ты даже кричал, Нони, и меня заставлял кричать с собою.

— Это неправда. Я все время молчу, ты знаешь ли, я ведь даже ни разу не раскрыл рта! Тебе что-нибудь приснилось, Хорре. Может быть, ты думаешь, что ты возле церкви? Ты просто спишь на твоей постели, матрос. Это сон.

*Хорре со страхом:*

— Хлебни-ка джину, Нони.

— Не надо. Я уже хлебнул чего-то другого.

— Твои руки?

— Молчи, Хорре! Разве ты не замечаешь, что все молчит и слушает, и один ты болтаешь. А то ведь и музыкант может обидеться!

*Тихо смеется. О торжественном примирении человека с Богом гудят созвучья медных труб.*

*Густеет туман.*

*Громкий топот ног — кто-то тревожный пробегает по пустынной улице.*

— Нони! — шепчет матрос. — Кто-то пробежал.

— Я слышу.

— Нони! Еще кто-то бежит. Дело неладно.

*Мечутся среди ночи испуганные люди; удваивает шаги ночное эхо — удесятеряет их страх, и кажется, будто весь поселок, охваченный ужасом, убегает куда-то. Колеблясь, танцуя молчаливо, как на волнах, проплывает фонарь.*

— Это его нашли, Хорре. Это убитого нашли, матрос! Я не выбросил его в море, я принес его и прислонил голову к двери его дома. Его нашли.

*Еще проплывает, качаясь, фонарь. Точно услышав тревогу, сразу на высоком аккорде обрывает орган. Мгновение тишины, пустоты жуткого ожидания — и всю ее заполняет до самых краев отчаянный женский вопль.*

*Туман густеет.*

## ШЕСТАЯ КАРТИНА

*Чадит, догорая, масляная лампа; уже близко к рассвету. Большая чистая рыбацкая хижина: к потолку привешен кораблик, искусно сделанный — и даже паруса распущены. Стал он как-то невольно сосредоточием внимания, и все, кто говорит, молчит или слушает, смотрят на него, изучают каждый, уже знакомый парус. За темной занавеской труп Филиппа: эта хижина принадлежит ему.*

*Ждут Хаггарта — его пошли искать. На лавках вдоль стен расселись старые рыбаки, сложили руки на коленях, иные словно дремлют, иные покуривают трубки. Говорят вдумчиво и осторожно: как бы не сказать чего лишнего. Когда приходит новый запоздавший рыбак, он сперва смотрит за занавеску, потом молча втискивается в ряд; и кому не хватило места на лавке, те, видимо, чувствуют себя неловко.*

*Аббат грузно шагает по комнате, заложив руки за спину и опустив голову; если кто попадает на дороге, молча отстраняет его. Молчит и судорожно хмурит брови. Изредка взглядывает на дверь или в окно, прислушивается.*

*Все только мужчины. Из женщин одна Мариет: она сидит за столом и неотступно горящими глазами следит за отцом. И тихо вздрагивает при каждом громком слове, звуке открываемой двери, далеких еще шагах.*

*Ночью пришел с моря туман и покрыл землю. И такая от тумана тишина, что слышны редкие, протяжные удары колокола: то на далеком маяке Св. Креста предостерегают заблудившиеся в тумане корабли.*

*Чей-то голос в углу:*

— По удару видно, что это не наш убил. У нас так не умеют бить. Он воткнул нож здесь, рванул сюда и почти отделил голову.

— Этого не сделаешь тупым ножом!

— Да. Этого не сделаешь и слабою рукою. Я раз видел в гавани убитого матроса: он был разрезан как раз так же.

*Молчание.*

— А где его мать? — *спрашивает кто-то, кивая на занавеску.*

— Ее отхаживает Селли. Селли взяла ее к себе.

*Старый рыбак тихо спрашивает соседа:*

— Тебе кто сказал?

— Меня разбудила Франсина. А тебе кто сказал, Марлэ?

— Кто-то постучал в окно.

— Кто постучал в окно?

— Не знаю.

*Молчание.*

— Как же ты не знаешь? Кто первый увидел?

— Кто-то проходил и увидел.

— Кому же у нас проходить? У нас некому проходить.

*Рыбак с другого конца отзывается:*

— У нас некому проходить. Расскажи-ка, Фома.

*Фома вынимает трубку.*

— Я сосед Филиппа, вот этого, — *показывает на занавеску.* — Да, да, вы все знаете, что я его сосед. А если кто не знает, то я опять-таки скажу, как на суде: я его сосед, вот тут рядом (*оборачивается к окну*).

*Входит пожилой рыбак и молча втискивается в ряд.*

— Ну что, Тибо? — *спрашивает аббат, останавливаясь.*

— А ничего.

— Не нашли Хаггарта?

— Нет. Такой туман, что они себя боятся потерять. Ходят и перекликаются, иные держатся за руки. И фонаря не видно в десяти шагах.

*Аббат опускает голову и продолжает ходить. Старый рыбак говорит, ни к кому не обращаясь:*

— Много теперь кораблей на море тарашит глаза!

— Я шел, как слепой, — *говорит Тибо.* — Слышно, как

звонит Святой Крест. Но он точно перебежал, звон доносится слева.

— Туман обманывает.

*Старый Десфосо говорит:*

— Этому у нас не было никогда! С тех пор, как Дюгамель багром разбил голову Жаку. Это было тридцать лет, сорок лет...

— Ты что говоришь, Десфосо? — *останавливается аббат.*

— Я говорю: с тех пор, как Дюгамель разбил голову Жаку...

— Да, да! — *говорит аббат и снова ходит.*

— Тогда еще Дюгамель сам бросился со скалы в море и разбился — вон когда это было. Сам так и бросился.

*Мариет вздрагивает и с ненавистью смотрит на говорящего. Молчание.*

— Ты что рассказываешь, Фома?

*Фома вынимает трубку.*

— Больше ничего, как кто-то постучал ко мне в окно.

— Ты не знаешь — кто?

— Нет. Да и ты никогда не узнаешь. Вот я и вышел, гляжу, а Филипп сидит у своей двери. Ну, я и не удивился: Филипп часто стал бродить по ночам с тех пор, как...

*Нерешительно умолкает. Мариет резко:*

— С каких пор? Ты сказал: с тех пор?

*Молчание. Отвечает Десфосо, прямо и тяжело:*

— Как пришел твой Хаггарт. Рассказывай, Фома.

— Я ему и говорю: «Ты зачем стучишь, Филипп? Тебе что-нибудь надо?» А он молчит.

— А он молчит?

— А он молчит. «Так если тебе ничего не надо, иди-ка ты лучше спать, дружище», — говорю я. А он молчит. Глянул я, а горло у него и перехвачено.

*Мариет вздрагивает и с ненавистью смотрит на говорящего. Молчание. Входит новый рыбак, глядит за занавеску и молча втискивается в ряды. Слышны за дверью женские голоса; аббат останавливается.*

— Эй, Лебон! Прогони женщин! — *говорит он.* — Им тут нечего делать, скажи.

*Лебон идет.*



— Погоди (*останавливается аббат.*) Спроси, как его мать, ее отхаживает Селли.

*Десфосо говорит:*

— Ты говоришь, прогнать женщин, аббат. А твоя дочь? — она здесь.

*Аббат смотрит на Мариет, и та говорит:*

— Я отсюда не пойду.

*Молчание. Аббат снова шагает; смотрит на привешенный кораблик и спрашивает:*

— Это он делал?

*Все смотрят на корабль.*

— Он, — *отвечает Десфосо.* — Это он сделал, когда хотел плыть в Америку матросом. Тогда он все расспрашивал меня, как оснащается трехмачтовый бриг.

*Снова все смотрят на корабль, на его аккуратненькие паруса-лоскуточки. Входит Лебон.*

— Не знаю, как тебе сказать, аббат. Женщины говорят, будто Хаггарта и его матроса ведут сюда. Женщины боятся.

*Мариет вздрагивает и переводит глаза на дверь; аббат останавливается.*

— Ого, уже светает, туман синее! — *говорит один рыбак другому, но голос его срывается.*

— Да. Отлив начался, — *отвечает тот глухо.*

*Молчание — и в молчании звучат нестройные шаги идущих. Несколько молодых рыбаков с возбужденными лицами вводят связанного Хаггарта и за ним проталкивают Хорре, также связанного. Хаггарт спокоен; у матроса, как только его связали, появилось что-то свободно-хищное в движениях, в ухватке, в остроте бегающего взора.*

*Один из приведших Хаггарта тихо говорит аббату:*

— Он был около церкви. Мы десять раз проходили мимо и не видели никого, пока он сам не позвал: «Вы не меня ищите?» Такой туман, отец.

*Аббат молча кивает головой и садится. Мариет бледными губами улыбается мужу, но тот не смотрит на нее — так же, как и все, он удивленно уставился глазами на игрушечный кораблик.*

- Здравствуй, Хаггарт,— *говорит аббат.*
- Здравствуй, отец.
- Это ты мне говоришь: отец?
- Тебе.
- Ты ошибся. Хаггарт. Я тебе не отец.

*Рыбаки одобрительно переглядываются.*

— Ну, тогда здравствуй, аббат,— *с внезапным равнодушием говорит Хаггарт и снова с интересом рассматривает кораблик. Хорре бормочет.*

— Так, так, держись, Нони.

— Кто делал эту игрушку? — *спрашивает Хаггарт, но не получает ответа.*

— Здравствуй, Гарт,— *говорит Мариет, улыбаясь.— Это я, твоя жена, Мариет. Дай, я развяжу тебе руки.*

*С улыбкой, делая вид, что не замечает кровавых пятен, распутывает веревки. Все молча смотрят на нее; смотрит и Хаггарт на ее склоненную тревожную голову.*

— Благодарю,— *говорит он, расправляя руки.*

— Хорошо бы и мне развязать руки,— *говорит Хорре, но не получает ответа.*

**А б б а т.** Хаггарт! Это ты убил Филиппа?

**Х а г г а р т.** Я.

**А б б а т.** Не скажешь ли ты — эй, ты, Хаггарт! — что ты сам своей рукой убил его? Может быть, ты сказал матросу: «Матрос, пойди, убей Филиппа», и он это сделал, так как любит тебя и чтит, как начальника? Может быть, так вышло дело? — скажи, Хаггарт. Я называл тебя сыном, Хаггарт.

**Х а г г а р т.** Нет, я не приказывал матросу. Я сам своею рукою убил Филиппа.

*Молчание.*

**Х о р р е.** Нони. Скажи-ка им, чтобы развязали мне руки и отдали трубку!

— Не торопись,— *гремит поп.— Побудешь и связанным, пьяница! И бойся развязанной веревки, как бы не свернулась она петлей.*

*Но, следуя какому-то незаметному движению или взгляду Хаггарта, Мариет подходит к матросу и распутывает узлы. И снова все молча смотрят на ее склоненную тревожную голову. Потом переводят глаза на Хаггарта — как смотрели*

*прежде на кораблик, так теперь на него. И сам он позабыл об игрушке — словно очнувшись, обводит взором рыбаков, долго глядит на темную занавеску.*

А б б а т. Хаггарт, это тебя я спрашиваю. Кто принес тело Филиппа?

Х а г г а р т. Я. Это я принес его и посадил у двери, головой к двери, лицом к морю. Это было трудно, так как он все падал. Но это сделал я.

А б б а т. Зачем ты сделал так?

Х а г г а р т. Не знаю наверное. Я слышал, что у Филиппа есть мать-старуха, и я подумал, что так будет приятнее им обоим — и ему, и матери.

А б б а т. *(сдержанно)*. Ты смеешься над нами?

Х а г г а р т. Нет. Почему ты думаешь, что я смеюсь? Мне совсем не смешно, как и вам. Это он, Филипп, сделал кораблик?

*Никто не отвечает. Мариет говорит, вставая и через стол наклоняясь к Хаггарту:*

— Ты не сказал ли так, Хаггарт: «Мой бедный мальчик, я убил тебя потому, что должен был убить, а теперь я отнесу тебя к матери, мой милый мальчик».

— Это очень печальные слова. Кто подсказал их тебе, Мариет? — *удивленно спрашивает Хаггарт.*

— Я слышала их. И не сказал ли ты дальше: «Мать, вот я принес твоего сына и у твоей двери посадил его: возьми твоего мальчика, мать».

*Хаггарт молчит.*

— Не знаю, — *с горечью гудит аббат,* — не знаю, у нас никто не убивает, и мы не знаем, как это делается. Может быть, так и надо: убить и убитого принести к порогу матери. Ты что смотришь на меня, рожа?

Х о р р е *(грубо)*. И по-моему, его надо было бросить в море. Ваш Хаггарт с ума сошел, я давно говорю это.

*Вдруг старый Десфосо кричит при гуле одобрения остальных:*

— Ты молчи. Его мы отправим в город, а тебя сами повесим, как кошку, хоть ты и не убивал.

— Тише, старик, тише, — *останавливает аббат, пока Хорре с молчаливым презрением смотрит поверх голо.* — Хаггарт, я спрашиваю тебя: за что ты отнял жизнь у Филиппа? Она была ему нужна, как тебе твоя.

Хаггарт. Он был женихом Мариет и...

Аббат. Ну?

Хаггарт. И... Не хочу говорить. Зачем вы раньше не спросили, пока он был жив? Теперь я убил его.

— Но...— *говорит аббат, и в тяжелом голосе звучит мольба.*— Может быть, ты уже раскаиваешься, Хаггарт? Ты славный человек, Хаггарт, я тебя знаю, ты трезвый не можешь обидеть и мухи. Может быть, ты хлебнул лишнего, это бывает с молодыми людьми, и Филипп что-нибудь сказал тебе, а ты...

— Нет.

— Нет? Ну нет так нет — верно, дети? А может быть, на тебя что-нибудь нашло, ведь это тоже бывает с людьми: вдруг найдет на человека красный туман, завоет в сердце зверь и... Тут достаточно и слова, чтобы...

— Нет, Филипп ничего мне не говорил. Он проходил по дороге, когда я выскочил из-за большого камня и всадил нож ему в горло. Он не успел даже испугаться. Но если хотите... (*Хаггарт нерешительно обводит глазами рыбаков.*) Мне немного жаль его. То есть так, совсем немного. Это он делал игрушку?

*Аббат угрюмо опускает голову. И снова кричит Десфосо при одобрительных кивках остальных:*

— Нет! Ты спроси его, аббат, что делал он у церкви. Дан видал их в окно. Не скажешь ли ты, что с твоим проклятым матросом ты не был у церкви? Что ты там делал, говори? *Хаггарт пристально смотрит на вопрошающего и медленно говорит:*

— Я разговаривал с дьяволом.

*Сдержанный гул. Аббат вскакивает с места и гневно ревет:*

— Так пусть же он сядет на твою шею! Эй, Пьер, Жюль, свяжите его покрепче до утра. И того, этого, что с ним. А утром — утром отведите его в город к судьям. Я не знаю их проклятых городских законов,— *в отчаянии кричит аббат,*— но тебя там повесят, Хаггарт! Ты будешь болтаться на веревке, Хаггарт!

*Хорре отталкивает грубо молодого рыбака, подошедшего к нему с веревкой, и тихо говорит Десфосо:*

— Важное дело, старичок. Отойти-ка на минутку — не нужно, чтобы он слышал,— *кивает на Хаггарта.*

— Я тебе не верю.

— И не надо.— Это я так, Нони, дельце тут одно есть. Пойдем, пойдем, да не бойся — ножа у меня нет!

*Отходят к стороне и шепчутся. Хаггарт молча ждет, чтобы его связали, но никто не подходит. И все вздрагивают, когда вдруг громко начинает Мариет:*

— Ты, может быть, думаешь, что все это справедливо, отец? А почему же ты не спросишь меня: ведь я его жена. Ты не веришь, что я его жена? Тогда я принесу маленького Нони. Вы хотите, чтобы я принесла маленького Нони? Он спит, но я разбуду его. Раз в жизни он может проснуться среди ночи, чтобы сказать, что вот этот, которого вы хотите повесить в городе, его отец?

— Не надо,— *говорит Хаггарт.*

— Хорошо,— *покорно отвечает Мариет.*— Он приказывает, и я должна подчиниться — ведь он мой муж. Пусть спит маленький Нони. Но я-то ведь не сплю, я-то ведь здесь. Отчего же вы не спросите меня: «Мариет, как могло случиться, чтобы твой муж, Хаггарт, убил Филиппа?»

*Молчание. Решает вернувшийся, чем-то взволнованный Десфосо:*

— Пусть скажет. Она его жена.

— Ты не поверишь, Десфосо,— *говорит Мариет с нежной и печальной улыбкой, обращаясь к старому рыбаку,* — ты не поверишь, Десфосо, какие мы, женщины, странные и смешные существа.

*Обращаясь ко всем с тою же улыбкой:*

— Вы не поверите, какие у нас, женщин, бывают странные желания, такие хитрые, маленькие злые мысли. Ведь это я уговорила мужа убить Филиппа. Да, да — он не хотел, но я уговорила его, я так плакала и грозила, что он согласился. Ведь мужчины всегда соглашаются — не правда ли, Десфосо?

*Хаггарт, сдвинув брови, в крайнем недоумении смотрит на жену. Та продолжает, не глядя на него, все с тою же улыбкой:*

— Вы спросите: зачем же мне нужна была смерть Филиппа? Да, да — вы спросите, это я знаю. Ведь он никогда не делал мне зла, этот бедный Филипп, не правда ли? Ну, так я вам скажу: он был мой жених. Я не знаю, поймете ли вы меня. Ты, старый Десфосо,— ты не станешь убивать девушку, которую ты целовал однажды? Конечно, нет. Но

мы, женщины, такие странные существа — вы даже не можете представить, какие мы странные, темные, смешные существа. Филипп был мой жених и целовал меня...

*Вытирает рот и продолжает со смехом:*

— Вот я и теперь вытираю рот. Вы все видели, как я вытирала рот? Это я стираю поцелуи Филиппа. Вы смеетесь? Но спроси твою жену, Десфосо, хочет ли она жизни того, кто целовал ее до тебя? Спроси всех женщин, которые любят, даже старух — даже старух! В любви мы не стареемся никогда. Уж такие мы родились — женщины.

*Хаггарт почти верит. Ступив на шаг вперед, он спрашивает:*

— Ты меня уговаривала? Может быть, это правда, Мариет: я не помню.

— Вы слышите, он забыл. Поди прочь, Гарт: не скажешь ли ты еще, что это ты сам придумал? Вот какие вы, мужчины, вы все забываете. Не скажешь ли ты еще, что я...

— Мариет! — *угрожающе говорит Хаггарт.*

*Мариет, бледнея и с тоскою глядя в страшные, вдруг надвинувшиеся глаза, но все еще с улыбкой:*

— Поди прочь, Гарт! Не скажешь ли ты еще, что я... не скажешь ли ты еще, что я отговаривала тебя? Вот... будет... смешно...

Хаггарт. Нет, скажу. Ты лжешь, Мариет. Даже я, Хаггарт, вы подумайте, люди, — даже я поверил, так искусно лжет эта женщина.

Мариет. Поди... прочь... Хаггарт...

Хаггарт. Ты еще смеешься? Аббат, я не хочу быть мужем твоей дочери: она лжет.

Аббат. Ты хуже дьявола, Гарт! Вот что я тебе скажу — ты хуже дьявола, Гарт!

Хаггарт. Ну и безумные же вы люди! Я вас не понимаю, я уже не знаю, что мне делать с вами: смеяться? сердиться? плакать? Вам хочется отпустить меня — почему же вы не отпускаете? Вам жаль Филиппа, — ну, убейте меня, ведь я же сказал: это я убил мальчишку. Разве я с вами спорю? Но вы кривляетесь, как обезьяны, нашедшие банан, — или это такая игра в вашей стране? Тогда я не хочу играть. А ты, аббат, совсем как фокусник на базаре: и в одной руке у тебя правда, и в другой руке у тебя правда, и все ты делаешь фокусы. А теперь она еще лжет — так хорошо, что сердце сжимается от веры. Ну уж и хорошо!

*Горько смеется.*

М а р и е т. Прости меня, Гарт.

Х а г г а р т. Когда я хотел убить, она висела на руке, как камень, а теперь говорит — это я убила. Крадет у меня убийство, не знает, что это тоже нужно заработать. Ну и дикие же люди в вашей стране!

М а р и е т. Я хотела обмануть их, но не тебя, Гарт Тебя я хотела спасти.

Х а г г а р т. Мой отец учил меня: «Эй, Нони, смотри! Одна правда и один закон у всех: и у солнца, и у ветра, и у волн, и у зверя — и только у человека другая правда. Бойся человеческой правды, Нони!» — так говорил отец. Может быть, это и есть ваша правда? Тогда я не боюсь ее, но мне очень горько и очень печально. Мариет, если бы ты отточила нож и сказала: пойди, убей этого мне, пожалуйста, и не захотелось бы убивать. Зачем срезать сухое дерево? — сказал бы я тогда. А теперь — прощай, Мариет! Ну вяжите же меня и ведите в город.

*Надменно ждет, но никто не подходит. Мариет опустила голову на руки, плечи ее вздрагивают; задумался и аббат, опустив большую голову. Десфосо о чем-то горячо шепчется с рыбаками. Выступает Хорре и говорит, искоса поглядывая на Хаггарта:*

— Я уже немного поговорил с ними, Нони, они ничего, они хорошие ребята, Нони. Вот только поп, но и он хороший человек — верно, Нони? Да не косись ты на меня так, а то я перепутаю! Вот какая ведь вещь, добрые люди: мы с этим, с Хаггартом, прикопили малую толику деньжонок, этакий бочоночек с золотом. Нам ведь оно не нужно, Нони? Может быть, вы возьмете его себе? а? Как ты думаешь: отдать им золото, Нони? Вот я и запутался.

*Хитро подмигивает поднявшей голову Мариет*

А б б а т. Ты что болтаешь, рожа?

Х о р р е. Вот оно и идет, Нони, налаживается поне многу. Только куда мы его зарыли, бочонок-то? Ты не помнишь, Нони? — я что-то позабыл. Это, говорят, от джину память, говорят, слабеет от джину, добрые люди. Пьяница я, это верно.

А б б а т. Если ты не сочиняешь, то подавиться бы тебе твоим золотом, пес!

Х а г г а р т. Хорре!

Х о р р е. Есть.

Х а г г а р т. Завтра тебе дадут сто палок. Аббат вели завтра дать ему сто палок!

А б б а т. С наслаждением, сын мой. С наслаждением.  
*Движения рыбаков все так же медленны и как будто вялы; но что-то новое прорывается — в усиленном пыхтении трубок, в легком дрожании загорелых морщинистых рук. Некоторые встали и как бы равнодушно смотрят в окно.*

— Туман-то идет,— говорит один, глядя в окно.— Ты слышишь, что я говорю про туман?

— Пора бы и спать. Это я говорю — пора бы и спать! Д е с ф о с о (*осторожно*). Оно не совсем так, аббат. Будто не совсем то ты говоришь, что надо, аббат? Вот они как будто по-другому... я ведь ничего не говорю такого, я вот только про них. Ты что говоришь, Фома?

Ф о м а. Спать надо, говорю я. Разве это не правда, что пора спать?

М а р и е т (*тихо*). Сядь, Гарт. Ты устал сегодня. Ты не отвечаешь?

С т а р ы й р ы б а к. В нашей стране, слышал я, был такой обычай: за убитого платить пеню. Ты не слышал ли, Десфосо?

*Чей-то голос:*

— Филипп-то убит. Убит уже Филипп, слышишь, сосед? Кто будет кормить его мать?

— У меня для своих мало! А туман-то все идет, сосед.

Д е с ф о с о. Ты слышал ли, аббат, чтобы мы говорили: Гарт плохой человек, Гарт сорванец, городской шуткарь? Нет, мы сказали: этого у нас никогда не бывало.

*Решительный голос:*

— Гарт хороший человек! Дикий Гарт хороший человек.

Д е с ф о с о. Ведь если покопать, аббат, так у нас крепкого баркаса, пожалуй, не найдешь. На мой-то уж и смолы не хватает. Да и церковь — разве такая бывает хорошая церковь? Это не я говорю, а так оно выходит, с этим ничего не поделаешь, аббат.

Х а г г а р т. Ты слышишь, женщина?

М а р и е т. Да, слышу.

Х а г г а р т. Отчего ты не плюнешь им в лицо?

М а р и е т. Я не могу. Я люблю тебя, Хаггарт. Десять ли только заповедей у Бога? Нет, есть еще одна: я люблю тебя, Хаггарт.

Х а г г а р т. Какие печальные сны в вашей стране!

*Аббат, вставая и подходя к рыбакам:*



— Ну-ка, ну-ка. Ты что говоришь про церковь, старина? Ты что-то любопытное сказал про церковь, или я ослышался?

*Быстро взглядывает на Мариет и Хаггарта.*

— Да и не одна церковь, аббат. У нас четыре старика: Легран, Штоффле, Пуассар, Корню, да семь старух... Разве я говорю, что мы не будем их кормить? Конечно, будем, но только сердись не сердись, отец — а тяжело! Ты сам это знаешь, аббат, ноги-то у тебя стонут не от пляски.

— Я тоже старик! — *шамкая, начинает старик Рикке, но вдруг гневно бросает шляпу на пол.* — Да, старик. Не хочу больше, вот и все. Работал, а теперь не хочу. Вот и все! Не хочу!

*Выходит, размахивая рукою. Все сочувственно провожают глазами его согнутую, жалкую стариковскую спину, белые косички волос. И снова смотрят на Десфосо, на его рот, откуда выходят ихние слова. Чей-то голос:*

— Вот и Рикке не захотел.

*Все тихо и напряженно смеются.*

— Ну и отошлем мы Гарта в город, а дальше что? — *продолжает Десфосо, не глядя на Хаггарта.* — Ну и повесят его городские — а дальше что? А дальше то, что еще одного человека не будет, одного рыбака не будет, сына у тебя не станет, а у Мариет мужа, а у мальчишки отца. Так разве это радость?

— Так, так! — *одобрительно кивает аббат.* — Ну и голова же у тебя, Десфосо!

*Хаггарт.* Ты их слушаешь, аббат?

*Аббат.* Да, я их слушаю, Хаггарт. Да и тебе не мешало бы их послушать. У дьявола гордости-то еще побольше твоей, а все-таки он только дьявол и больше ничего.

*Десфосо подтверждает:*

— Зачем гордость? Гордости не надо.

*Оборачивается к Хаггарту — все еще не поднимая глаз; затем поднимает, спрашивает:*

— Гарт! А больше никого тебе не надо убивать? Кроме Филиппа-то — тебе больше никого не хочется убивать?

— Нет.

— Значит, одного Филиппа, а больше никого. Вы слышали: одного Филиппа, а больше никого. А еще, Гарт, тебе не хочется отослать вот этого, Хорре? Нам бы хотелось. Кто его знает, но только люди говорят, что все это от него.

*Голоса:*

— От него. Отошли-ка его, Гарт! Там ему лучше будет.

*Аббат скрепляет:*

— Верно!

— Ну вот и ты, поп! — *говорит Хорре угрюмо.*

*Хаггарт с легкой усмешкой смотрит на его сердитое взъерошенное лицо и соглашается:*

— Немного хочется, пожалуй. Пусть уходит.

— Так вот, аббат...— *говорит Десфосо, оборачиваясь.— Мы, значит, и порешили по совести нашей, какая у нас есть: денежки взять. Так ли я говорю?*

*Одинокий голос за всех:*

— Так.

Десфосо. Ну-ка, матрос, где денежки?

Хорре. Капитан?

Хаггарт. Отдай.

Хорре (*грубо*). Ну так сперва мой нож и трубку отдайте! Кто у вас старший, ты? Так слушай: возьмите вы ломы и лопаты и ступайте к замку. Знаешь ты башню, что завалилась, проклятая? Так подойди ты...

*Присаживается на корточки и корявым пальцем чертит на полу карту. Все, наклонившись, внимательно смотрят; один аббат угрюмо уставился в окно, за которым все еще сереет тяжелый морской туман. Хаггарт бурно шепчет:*

— Лучше бы ты убила меня, Мариет, как я убил Филиппа. А теперь меня позвал отец — где же будет конец печали моей, Мариет? Там, где конец миру? А где конец миру? Хочешь взять мою печаль, Мариет?

— Хочу, Хаггарт.

— Нет, ты женщина.

— За что ты мучишь меня, Гарт? Что я сделала такое, чтобы так мучить меня. Я люблю тебя.

— Ты солгала.

— Это язык мой солгал. Я люблю тебя.

— У змеи раздвоенный язык, но спроси ее, чего она хочет — и она скажет правду. Это сердце твое солгало. Не

тебя ли, девочка, встретил я тогда на дороге? И ты сказала: добрый вечер. Как ты обманула меня.

*Д е с ф о с о (громко).* А ты что же, аббат? Ты идешь с нами, не так ли, отец? А то не вышло бы чего плохого. Так я говорю?

*А б б а т (весело).* Конечно, конечно, детки. Я с вами — кто же без меня позаботится о церкви. Это я сейчас о церкви думал: какую вам нужно церковь. Ох, трудно с вами, люди!

*Рыбаки, один за другим, крайне неторопливо выходят — стараются медлить.*

— Море-то идет,— *говорит один.*— Уж слышно!

— Да, да, море-то идет! А ты понял, что он рассказывал-то.

*Но чем меньше их остается, тем торопливей движения. Некоторые вежливо прощаются с Хаггартом.*

— Прощай, Гарт.

— Вот я и думаю, Хаггарт, какая нужна церковь. Это-то, оказывается, не годится. Сто лет молились, теперь не годится, так они говорят. Ну что же, нужно, значит, новую, получше. Какую вот только? Папа-плут, папа-плут. Да и я плут. Тебе не кажется, Гарт, что я немного плут? Я сейчас, детки, за вами. Папа-плут...

*В дверях маленькая давка. Аббат провожает глазами последнего и гневно ревет:*

— Эй ты, Хаггарт, убийца! Ты что-то там улыбаешься? — так ты не смеешь их презирать. Они мои дети. Они работали — ты видишь их руки, их спины? Если не видал, то ты дурак! Они устали. Они хотят отдохнуть. И пусть отдохнут, хотя бы на крови вот этого, которого ты зарезал. Я дам им понемногу, а остальное выброшу в море — слышишь, Хаггарт?

— Слышу, поп.

*Аббат восклицает, поднимая руки:*

— Господи! Зачем же Ты дал такое сердце, которое может жалеть убитого и убийцу? Гарт, иди домой. Веди его домой, Мариет,— да руки ему вымой!

— Кому ты лжешь, поп,— *медленно спрашивает Хаггарт.*— Богу или дьяволу? Себе или людям? Или всем?

*Горько смеется.*

— Эй, Гарт! Ты пьян от крови.

— А ты от чего?

*Становятся друг против друга. Мариет гневно кричит, становясь между ними:*

— Пусть бы на вас обоих грянул гром, вот о чем молю я Бога! Пусть бы грянул гром! Что вы делаете с моим сердцем? Вы рвете его зубами, как жадные собаки. Ты мало пил крови, Гарт,— так пей мою. Ведь ты никогда не будешь сыт, не правда ли, Гарт?

— Ну, ну,— *успокоительно говорит аббат*,— веди его домой, Мариет. Иди домой, Гарт — да спи побольше.

*Выходит Мариет, отходит к двери и останавливается.*

— Гарт! Я иду к маленькому Нони.

— Иди.

— Ты идешь со мною?

— Да. Нет. Потом.

— Я иду к маленькому Нони. Что мне сказать ему об отце, когда он проснется?

*Хаггарт молчит. Входит Хорре и нерешительно останавливается у порога. Мариет окидывает его презрительным взглядом и выходит. Молчание.*

Хаггарт. Хорре!

Хорре. Есть.

Хаггарт. Джину.

Хорре. Есть, Нони. Выпей, мальчик, но только не сразу, не сразу, Нони!

*Хаггарт пьет. Потом с улыбкой осматривает комнату.*

— Никого. Ты видел его, Хорре? Он там, за пологом. Ты подумай, матросик: вот и опять мы с ним одни.

— Иди-ка домой, Нони!

— Сейчас. Дай джину.

*Пьет.*

— А что они? Пошли?

— Побежали, Нони. Иди-ка домой, мальчик! Побежали, как козы — я уж так смеялся, Нони.

*Оба смеются.*

— Сними-ка мне вот эту игрушку, Хорре. Да, да, кораблик. Это он делал, Хорре.

*Рассматривает игрушку.*

— Смотри, как искусно сделан кливер, Хорре. Молодец, Филипп! Но фалы плохи, погляди. Нет, Филипп! Не видал ты, как снастятся настоящие корабли, которые рыскают по океану, рвут его седые валы. Не этой ли игрушкой хотел ты утолить твою маленькую жажду — глупец!

*Бросает кораблик и встает.*

— Хорре! Боцман!

— Есть.

— Призови тех. Я снова беру командование, Хорре.

*Матрос бледнеет и кричит восторженно:*

— Нони! Капитан! У меня колени трясутся. Я не дойду и упаду на дороге.

— Дойдешь! И ведь нужно же отнять у этих наши деньги, как ты думаешь, Хорре? Поиграли и довольно — как ты полагаешь, Хорре?

*Смеется. Молитвенно сложив руки, смотрит на него матрос и плачет.*

#### СЕДЬМАЯ КАРТИНА

— Это твои товарищи, Хаггарт? Я так рада видеть их. Ты говорил, Гарт, да, ты говорил, что у них совсем другие лица, чем у наших, и это правда. О, какая это правда! У наших тоже красивые лица, — вы не подумайте, что наши рыбаки безобразные, — но у них нет этих глубоких, страшных шрамов. Мне они очень нравятся, уверяю тебя, Гарт... Вы, вероятно, друг Хаггарта, у вас такие строгие, славные глаза?.. Но вы молчите? Отчего они молчат, Хаггарт, ты не велел им говорить? И отчего ты сам молчишь, Хаггарт — Хаггарт!

*Озаренный бегущим светом факелов, стоит Хаггарт и слушает бесстрастно торопливую, взволнованную речь. Тревожно поблескивает металл оружия и одежды: играет огонь и на лицах тех, что безмолвным кольцом окружают Хаггарта — его близкие, его друзья. А в отдалении другая игра: там молча пляшет большой корабль и бросает на черные волны свои огни, и черная вода играет ими — заплетает, как косу, гасит и снова зажигает. Говорливый шум и плеск — и жуткое безмолвие чем-то скованных родных человеческих уст.*

— Я слушаю тебя, Мариет, — говорит, наконец, Хаггарт. — Чего надо тебе, Мариет? Этого не может быть, что-

бы кто-нибудь обидел тебя, я не велел им касаться твоего дома.

— О нет, Хаггарт, нет: меня никто не обидел! — *Весело восклицает Мариет.* — Но тебе не нравится, что я держу на руках маленького Нони? — тогда я положу его вот здесь между скал. Тут ему будет тепло и уютно, как в люльке. Вот так! Не бойся разбудить его, Гарт, он спит крепко и ничего не услышит. Можно кричать, петь, стрелять из пистолета... у мальчишки такой славный сон.

— Чего надо тебе, Мариет? Я не звал тебя сюда, и мне не нравится, что ты пришла.

— Конечно, ты не звал меня сюда, Хаггарт, да, конечно же! Но когда начался пожар, я подумала, теперь мне светло идти, теперь я не споткнусь, и я пошла. Твои друзья не обидятся, Хаггарт, если я попрошу их немного отойти? Мне нужно кое-что сказать тебе, Гарт... конечно, это нужно было сделать раньше, я понимаю, Гарт, но я вспомнила только теперь. Идти было так светло!

*Хаггарт говорит угрюмо:*

— Отойди, Флерно, и вы с ним отойдите.

*Те отходят.*

— Что же такое ты вспомнила, Мариет. Говори! Я навсегда уйду из вашей печальной страны, где снятся такие тяжелые сны, где даже камни грезят печалью. И я все забыл.

*Нежно и покорно, ища защиты и ласки, припадает женщина к его руке.*

— О Хаггарт, о милый мой Хаггарт! Они ведь не обиделись, что я так грубо попросила их уйти? О милый мой Хаггарт! Твой галун царапает мне щеку, но это так приятно. Ты знаешь, мне всегда не нравилось, что ты носишь одежду наших рыбаков, это было так не к лицу тебе, Хаггарт. Но я все болтаю, и ты сердисься, Гарт. Прости меня.

— Встань с колен!

— Это я только так на минутку. Вот я встала. Ты спрашиваешь, чего я хочу? Вот чего я хочу: возьми меня с собою, Хаггарт. Меня и маленького Нони, Хаггарт!

*Хаггарт отступает:*

— Это ты говоришь, Мариет, чтобы тебя я взял с собой? Ты, может быть, смеешься, женщина? Или я снова вижу сон?

— Да, это я говорю: возьми меня с собою. Это твой корабль? Какой он большой и красивый, и он ходит на черных парусах, я знаю это. Возьми меня на твой корабль, Гарт. Ты скажешь, я знаю: у нас нет женщин на корабле, но я не буду женщиной: я буду твоей душой, Хаггарт, я буду твоей песней, твоими мыслями, Хаггарт. И если это так нужно: пусть Хорре поит джином маленького Нони — он здоровый мальчик.

— Эй, Мариет! — *грозно говорит Хаггарт.* — Ты не хочешь ли, чтобы я снова поверил тебе — эй, Мариет! Не болтай о том, чего ты не знаешь, женщина. Или это камни колдуют и дурманят мою голову? Ты слышишь шум и как бы голоса? — это море ждет меня. Так не держи мою душу. Пусты ее, Мариет.

— Молчи, Хаггарт! Я все знаю. Как будто не по огненной дороге я пришла, как будто не кровь я видела сегодня. Молчи, Хаггарт! Но я видела другое, и это было еще страшнее, Хаггарт. О, если бы ты меня понял. Я видела трусливых людей, которые бежали, не защищаясь. Я видела цепкие жадные пальцы, скрюченные как у птиц, как у птиц, Гарт — и из этих пальцев, разжимая их, вынимали золото. И вдруг я увидела мужчину, который плакал — ты подумай, Хаггарт! У него брали золото, а он плакал.

*Злобно смеется. Хаггарт делает шаг к ней и кладет тяжелую руку ей на плечо.*

— Так, так, Мариет. Говори дальше, девочка, пусть море подождет.

*Мариет сжимает руку и продолжает:*

— Ну уж нет! — подумала я. — Уж это вовсе не мои братья! — подумала и засмеялась. — А отец кричит трусам: «Берите багры и бейте их!» — а они бегут. Отец такой славный человек!

— Отец славный человек! — *радостно подтверждает Хаггарт.*

— Такой славный человек! А тут один матрос слишком близко наклонился к Нони — может быть, он и ничего не хотел сделать дурного, но он слишком близко наклонился, и я выстрелила в него из твоего пистолета. Это ничего, что я выстрелила в нашего матроса?

*Хаггарт хохочет.*

— У него была смешная рожа! Ты убила его, Мариет.

— Нет. Я не умею стрелять. И это он сказал мне, где ты. О Хаггарт, о мой брат!

*Всхлипывает — и говорит гневно с отголоском змеиного шипа в ползущем голосе:*

— Я ненавижу их! Их еще мало мучили, я мучила бы их еще больше, еще больше. О, какие же они трусливые негодяи! Послушай, Хаггарт: я всегда боялась твоей силы, в ней всегда было для меня что-то непонятное и страшное. Где его Бог? — думала я, и мне было страшно. Еще сегодня утром я боялась, а вот пришла ночь, и пришел этот ужас, и по огненной дороге я прибежала к тебе: я иду с тобой, Хаггарт. Возьми меня, Хаггарт: я буду душою твоего корабля.

— Душа моего корабля — я, Мариет. Но ты будешь песней моей освобожденной души, Мариет! Песней моего корабля будешь ты, Мариет. Ты знаешь, куда мы пойдем? Мы пойдем искать край света, неведомые страны, еще неведомых чудовищ. А по ночам нам будет петь отец-океан, Мариет.

— Обними меня, Хаггарт. Ах, Хаггарт, тот не Бог, кто делает людей трусами! Мы пойдем искать нового Бога.

*Хаггарт шепчет бурно:*

— Я лгал, что я все забыл, — этому я научился в вашей стране. Я люблю тебя, Мариет, как огонь. Эй, Флерио, товарищ!

*Кричит радостно:*

— Эй, Флерио, товарищ! Приготовил ли ты салют?

— Приготовил, капитан. Берега вздрогнут, когда залепечут наши малютки.

— Эй, Флерио, товарищ! Не скаль зубы, не кусая, — тебе не будут верить. Положил ли ты ядер, круглых, чугуновых хороших ядер? Дай им крылья, товарищ, — пусть черными птицами разлетятся по берегу и морю.

— Есть, капитан.

*Хаггарт смеется.*

— Я люблю думать, как летит ядро, Мариет. Я так люблю следить его невидимый полет. И если кто подвернется — пусть! так бьет сама судьба. Что цель? Только глупцы нуждаются в цели, а дьявол, зажмурившись, бросает камни — так веселее мудрая игра... Но ты молчишь — о чем ты думаешь, Мариет?



— Я думаю о тех. Я все думаю о тех

— Тебе их жаль? — *хмурится Хаггарт.*

— Да, мне их жаль. Но моя жалость — моя ненависть, Хаггарт. Я ненавижу их, и я убила бы их еще, еще!

— Мне хочется поскорее лететь — такая у меня свободная душа. Давай шутить, Мариет. Вот загадка, отгадай: для кого сейчас рвякнут пушки? Ты думаешь, для меня. Нет. Для тебя? Нет, нет, да нет же, Мариет! Для маленького Нони, вот для кого, для маленького Нони, который сегодня вступает на корабль. Пусть проснется при громе — вот удивится наш маленький Нони! А теперь тише, тише, не мешай ему спать, не порти пробуждения маленькому Нони.

*Шум, голоса — приближается толпа.*

— Где капитан?

— Здесь. Стой, капитан здесь!

— Все кончено. Их можно класть в корзинку, как сельдей.

— Наш боцман молодец! Веселый человек.

*Хорре, веселый и пьяный, кричит:*

— Тише, черти! Или вы не видите, что здесь капитан. Кричат, как чайки наддохлым дельфином.

*Мариет отходит в сторону на несколько шагов, туда, где спит маленький Нони.*

Хорре. Вот мы и явились, капитан. Потерь нету, капитан. Ну уж и смеялись же мы, Нони!

Хаггарт. Ты что-то рано напился, Хорре! Говори о деле.

Хорре. Есть! Дело сделано, капитан. Наши деньги мы все собрали не хуже королевских сборщиков податей. Я не мог отличить, какие деньги наши, и собрал все. Ну, а уж если какое золото они закопали, то прости, капитан, мы не мужики, чтобы пахать.

*Смех. Смеется и Хаггарт.*

— Пусть сеют, мы пожнем.

— Золотые слова, Нони. Эй, Томми, слушать, что говорит капитан. И вот еще: сердись не сердись, а музыку я разбил, раструсил на кусочки. Покажи трубку, Тэтью! Видишь ли, Нони, я сделал это не сразу, нет. Я предложил ему сыграть джигу, а он сказал, что эта штука не может. Потом он сошел с ума и убежал. Там все сошли с ума, капитан. Эй, Томми, покажи бороду! Старуха вырвала ему полборо-

ды, капитан, теперь он ни на что не похож. Эй, Томми! Спрятался, ему стыдно показаться, капитан. И вот еще что: поп сюда идет.

*Мариет восклицает:*

— Отец!

*Хорре удивленно:*

— А, это ты? Если она жаловаться пришла, то я доложу тебе, капитан: поп чуть не убил одного матроса. Да и она тоже. Я уже попа велел связать...

— Молчать!

— Я не понимаю, Нони, твоих поступков...

*Хаггарт со сдержанным гневом:*

— Я велю заковать тебя в цепи! Молчать!

*С возрастающим гневом:*

— Ты смеешь мне возражать, гадина! Ты...

*Мариет предостерегает:*

— Гарт! Отца привели.

*Несколько матросов вводят связанного аббата. Одежда на нем в беспорядке, лицо расстроено и бледно. С некоторым удивлением взглядывает на дочь и опускает глаза. Вздыхает.*

— Развяжите его! — *говорит Мариет.*

*Хаггарт сдержанно поправляет ее:*

— Здесь только я приказываю, Мариет. Хорре, развяжи.

*Хорре распутывает узлы. Молчание.*

А б б а т. Здравствуй, Хаггарт.

Х а г г а р т. Здравствуй, аббат.

А б б а т. Хорошую же ночку устроил ты, Хаггарт!

*Хаггарт говорит сдержанно:*

— Мне неприятно тебя видеть — зачем ты пришел сюда? Иди домой, поп, тебя никто не тронет. Лови рыбу... и что ты еще делал? — Ах, да: выдумывай молитвы. А мы идем в океан; твоя дочь, знаешь ли, также идет со мною. Видишь корабль? — это мой. Жаль, что ты не понимаешь в кораблях — ты засмеялся бы от радости, увидев такой прекрасный корабль... Отчего он молчит, Мариет? Скажи ему ты.

А б б а т. Молитвы! А на каком языке? Или ты открыл еще новый язык, на котором молитвы доходят до Бога? Ах, Хаггарт, Хаггарт!

*Плачет, закрыв лицо руками. Хаггарт тревожно:*

— Ты плачешь, аббат?

М а р и е т. Смотри, Гарт, он плачет. Отец никогда не плакал. Мне страшно, Гарт.

*Аббат перестает плакать. Густо сопнув, он крикает, вздыхает и говорит:*

— Я не знаю, как тебя зовут: Хаггарт, или дьявол, или как-нибудь еще: я пришел к тебе с просьбой. Слышишь ты, разбойник, с просьбой. Да не вели твоей команде скалить зубы: я этого не люблю.

*Хаггарт угрюмо:*

— Иди домой, поп! Мариет остается со мною.

— Ну и пусть остается с тобою. Мне ее не нужно, а если тебе нужна — возьми. Возьми, Хаггарт. Но только...

*Становится на колени. Ропот удивления. Мариет испуганно делает шаг к отцу.*

— Отец! Ты стоишь на коленях!

А б б а т. Разбойник, отдай ты нам эти деньги. Ты награбишь себе еще, а эти деньги отдай ты, пожалуйста, нам. Ты еще молодой, ты еще награбишь.

Х а г г а р т. Ты с ума сошел! Ну уж и человек; он дьявола самого доведет до отчаяния! Послушай, поп, я кричу тебе: ты просто сошел с ума!

А б б а т *(на коленях)*. Может быть, и сошел, ей-Богу, не знаю. Разбойничек, миленький, ну чего тебе это стоит: отдай ты нам эти деньги. Мне жалко их, подлецов! Ведь они так радовались, подлецы: они расцвели, как старый терн, у которого оставались одни только колючки да ободранная кожа. Ну и грешники они: так разве же я Бога о них прошу: я тебя прошу. Разбойничек, миленький...

*Мариет смотрит то на Хаггарта, то на отца. Хаггарт колеблется. Аббат бормочет:*

— Хочешь, чтобы я сыном тебя, разбойника, назвал? Ну, изволь... сын... все равно я тебя больше не увижу. Все равно! Как старый терн они расцвели — ах, Господи, эти подлецы-то, эти старые подлецы.

*Хаггарт угрюмо:*

— Нет.

— Ну так ты дьявол, вот ты кто. Ты дьявол! — бормочет аббат, тяжело вставая с колен.

*Злобно скалит зубы Хаггарт:*

— Дьяволу хочешь продать душу, да? Эй, аббат, — а что дьявол всегда платит фальшивыми деньгами, этого еще не знаешь. Дай факел, матрос!

*Выхватывает факел и высоко поднимает над головою — огнем и дымом одевает свое страшное лицо.*

— Смотри, вот я. Видишь? Теперь попроси еще, если смеешь.

*Бросает факел. Что пригрезилось аббату в этой стране, полной чудовищных снов? Но с ужасом, дрожа всем толстым телом, бессильно отталкиваясь руками, — отступает он назад. Поворачивается: видит блеск металла, темные и страшные лица, слышит злобный плеск воды и закрывает голову руками, уходит поспешно. Выскакивает Хорре и ножом бьет его в спину.*

— За что ты? — хватает аббат ударившую руку.

— А так, ни за что!

*Аббат падает и умирает.*

— За что ты! — вскрикивает Мариет.

— За что ты? — гремит Хаггарт.

*И устами Хорре, идя из неведомых глубин, отвечает чужой странный голос:*

— Ты велел.

*Оглядывается Хаггарт и видит: суровые и хмурые лица, тревожный блеск металла, неподвижный труп; слышит загадочно-веселый плеск волны. И с мгновенным ужасом хватается за голову.*

— Кто велел? Это море шумело. Я не хотел его убивать — нет, нет!

*Мрачные голоса:*

— Ты приказал. Мы слышали. Ты приказал.

*Хаггарт слушает, подняв голову, и вдруг хахочет громко:*

— Ах, дьяволы! Дьяволы! Так вы думаете: для того у меня два уха, чтобы мне лгали в каждое? На колени, гадина.

*Бросает Хорре на землю.*

— На веревку! Я сам бы раздавил твою ядовитую голову — но пусть это сделают те. Ах, дьяволы, дьяволы! На веревку!

*Хорре грубо хнычет:*

— Это меня, капитан? Я был твоей нянькой, Нони.

— Молчи, гадина.

— Это я-то, Нони? Твоя нянька? Ты визжал, как поросенок в камбузе,— ты забыл, Нони? — *жалобно бормочет матрос.*

— Эй! — *грозно кричит Хаггарт в угрюмые ряды.*— Взять!

*Подходят несколько человек. Хорре встает.*

— Ну уж если меня, твою няньку — так ты совсем выздоровел, Нони! Эй, слушать капитана! Взять! Ты у меня наплачешься, Томми. Ты у меня всегда зачинщик!

*Угрюмый смех. Несколько матросов под тяжелым взглядом Хаггарта окружают Хорре. Недовольный голос:*

— Здесь и вешать негде. Тут и дерева ни одного нет.

— Подождать до корабля. Пусть честно умрет на рее.

— Я знаю тут дерево, но только не скажу,— *хрипит Хорре.*— Ищите сами. Ну и удивил же ты меня, Нони. Как закричит: на веревку! Совсем как твой отец — он тоже чуть не повесил меня. Прощай, Нони, теперь я понимаю твои поступки. Эй, джину и на веревку!

*Хорре уводят.*

*Никто не смеет подойти к Хаггарту: все еще гневный, он шагает взад и вперед крупными шагами. Останавливается, взглядывает коротко на труп и снова шагает. Зовет:*

— Флерио! Ты слышал, чтобы я приказывал убить этого?

— Нет, капитан.

— Ступай.

*Снова шагает и снова зовет:*

— Флерио! Ты слышал когда-нибудь, чтобы море лгало?

— Нет.

— Если не найдут дерева, прикажи удушить руками.

*Шагает. Мариет тихо смеется.*

— Кто смеется? — *гневно спрашивает Хаггарт.*

— Я, — *отвечает Мариет.* — Я думаю, как его вешают, и смеюсь. О Хаггарт, о благородный мой Хаггарт! Твой гнев — Божий гнев, ты это знаешь? Нет. Ты смешной, ты милый, ты страшный, Хаггарт, но я тебя не боюсь. Дай руку, Гарт, пожми мне крепко-крепко. Вот сильная рука.

— Флерио — мой друг. Ты слыхала, что он сказал? Он говорит, что море никогда не лжет.

— Ты сильный и ты справедливый — я была безумна, когда я боялась твоей силы. Гарт, можно мне крикнуть морю: Хаггарт справедливый!

— Это неправда. Молчи, Мариет, тебя дурманит кровь. Я не знаю, что такое справедливость.

— А кто же знает? Ты, ты, Хаггарт. Ты Божья справедливость, Хаггарт. Это правда, что он был твоей нянькой? О, я знаю, что такое нянька: она кормит, учит ходить, ее любишь, как мать. Не правда ли, Гарт, — ее любишь, как мать? Ну так вот же — на веревку, Хорре! — *Тихо смеется.*

*В той стороне, куда повели Хорре, слышится громкий, раскатистый хохот. Хаггарт в недоумении; останавливается.*

— Что там такое?

— Это дьявол встречает его душу, — *говорит Мариет.*

— Нет. Пусти мою руку! Эй, кто там?

*Надвигается толпа: смеющиеся лица, оскаленные зубы — но, увидев капитана, становятся серьезны. Голоса повторяют одно и то же имя:*

— Хорре! Хорре! Хорре!

*И сам показывается Хорре, взъерошенный, помятый, но счастливый: оборвалась веревка. Сдвинув брови, молча ожидает его Хаггарт.*

— Веревка оборвалась, Нони, — *скромно, но с достоинством хрипит Хорре.* — Вот и концы! Эй, вы там: тише! Смеяться тут нечего. Стали меня вешать, а веревка-то и оборвалась, Нони.

*Хаггарт смотрит на его старое, пьяное, испуганно-счастливое лицо — и хохочет как безумный. И таким же хохотом, подобным реву, отвечают матросы. Веселые, пляшут на волнах отраженные огни — словно и они смеются со всеми.*

— Нет, ты посмотри, Мариет, какая у него рожа, — *задыхается от смеха Хаггарт.* — Ты счастлив, да? Да говори же: ты счастлив? Посмотри, Мариет, какая у него счастли-

вая рожа! Оборвалась веревка — это сказано сильно, это еще сильнее, чем я сказал: на веревку. Кто сказал, ты не знаешь, Хорре? Но ты совсем одурел и ты ничего не знаешь — ну не знай, не знай! Эй, дайте ему джину! Я рад, очень рад, что ты еще не совсем покончил с джином. Пей, Хорре!

— Пей, Хорре!

*Голоса:*

— Джину.

— Эй, боцман хочет пить! Джину!

*Хорре с достоинством пьет. Смех, крики, поощрения. И сразу все смолкает, и воцаряется угрюмое молчание — все погасил чужой женский голос, такой чужой и незнакомый, как будто не сама Мариет, а другой кто-то говорит ее устами:*

— Хаггарт! Ты помиловал его, Хаггарт?

*Некоторые взглядывают на труп; те, кто стоит ближе, отходят. Хаггарт спрашивает удивленно:*

— Это чей голос? А, это ты, Мариет. Как странно: я не узнал твоего голоса.

— Ты помиловал его, Хаггарт?

— Ты же слыхала: веревка оборвалась.

— Нет, скажи: это ты помиловал убийцу? Я хочу слышать твой голос, Хаггарт.

*Угрожающий голос из толпы:*

— Веревка оборвалась. Кто еще разговаривает тут? Веревка оборвалась.

— Тише! — кричит Хаггарт, но в голосе его нет прежней повелительности. — Убрать их всех! Боцман, свисти всех на корабль. Время! Флерио! Прикажи готовить шлюпки.

— Есть. Есть.

*Хорре свистит. Неохотно расходятся матросы, и тот же угрожающий голос звучит откуда-то из темной глубины:*

— Я думал сперва, что это мертвец заговорил. Но и ему бы я ответил: лежи! Веревка оборвалась.

*Другой голос отвечает:*

— Не ворчи. У Хорре есть заступники и посильнее тебя.

Хорре. Разболтались, черти! Молчать. Это ты, Томми? Я тебя знаю, ты всегда первый зачинщик.

Хаггарт. Идем же, Мариет! Дай мне маленького Нони, я сам хочу отнести его на борт. Да идем же, Мариет.

Мариет. Куда, Хаггарт?

Хаггарт. Эй, Мариет! Сны кончились. Мне не нравится твой голос, женщина — когда ты успела подменить его? Что же это за страна фокусников, я еще никогда не видал такой страны!

Мариет. Эй, Хаггарт! Сны кончились. И мне также не нравится твой голос — маленький Хаггарт! Но, может быть, я еще сплю — тогда разбуди меня. Поклянись, что это ты сказал, Хаггарт: веревка оборвалась. Поклянись, что мои глаза не ослепли и видят живого Хорре. Поклянись, что это твоя рука, Хаггарт!

*Молчание. И громче голоса моря — веселый плеск, и зов, и обещание грозной ласки.*

— Клянусь!

*Молчание. Подходят Хорре и Флерио.*

Флерио. Все готово, капитан!

Хорре. Тебя ждут, Нони. Иди скорее! Они сегодня хотят бражничать, Нони. Только вот что скажу я тебе, Нони, они...

Хаггарт. Ты что-то сказал, Флерио? Да, да, все готово. Я сейчас иду. Кажется, у меня не все кончено с землей, это такая удивительная страна, Флерио: в ней сны впиваются в человека, как колючки терна, и держат его. Надобно разорвать одежду, а пожалуй, немного и тело. Ты что говоришь, Мариет?

Мариет. Ты не хочешь ли поцеловать маленького Нони? Никогда больше ты не поцелуешь его.

— Нет, не хочу.

*Молчание.*

— Ты пойдешь один, Хаггарт.

— Да, я пойду один.

— Ты плакал когда-нибудь, Хаггарт?

— Нет.

— Кто же плачет теперь? Я слышу: кто-то плачет горько.

— Это неправда, это только море шумит.

— О Хаггарт! О какой великой печали говорит этот голос?



— Молчи, Мариет. Это море шумит.

*Молчание.*

— Уже все кончилось, Хаггарт?

— Все кончилось, Мариет.

*Мариет, умоляя:*

— Гарт! Одно только движение руки!.. Вот здесь против сердца... Гарт!

— Нет. Пusti меня.

— Одно только движение руки! Вот твой нож, Гарт, пощади же меня, убей своей рукою. Одно только движение руки, Гарт!

— Пusti. Отдай нож!

— Гарт. Я благословлю тебя! Одно движение руки... Гарт!

*Хаггарт вырывается, отталкивает женщину.*

— Так нет же! Или ты не знаешь, что одному движению руки так же трудно совершиться, как солнцу сдвинуться с неба? Прощай, Мариет!

— Ты уходишь?

— Да, ухожу. Ухожу, Мариет,— вот как это звучит.

— Я прокляну тебя, Хаггарт. Ты знаешь ли это: ведь я прокляну тебя, Хаггарт. И маленький Нони проклянет тебя, Хаггарт. Хаггарт!

*Хаггарт кричит весело и резко:*

— Эй, Хорре. Ты, Флерио, мой старый друг. Стань сюда, дай твою руку — о, какая крепкая рука! Ты что держашь меня за рукав, Хорре? — у тебя такая смешная рожа. Я так и вижу, как лопнула веревка, и ты, словно мешок... Флерио, старый друг, мне хочется сказать что-нибудь смешное, но я забыл, как оно говорится. Как оно говорится, да напомни же, Флерио! Чего тебе надо, матрос?

*Хорре хрипло шепчет:*

— Нони, будь осторожен. Веревка-то оборвалась неспроста, они нарочно дали плохую веревку. Тебе изменяют! Будь осторожен, Нони. Бей их в лоб, Нони.

*Хаггарт хохочет.*

— Вот ты и сказал смешное. А я? Ну, слушай, Флерио, старый друг. Вот эта женщина, что стоит и смотрит... Нет, это не будет смешно!

*Делает шаг вперед.*

— Помнишь, Хорре, как славно молился этот? За что он убит, он так славно молился. Но он не знал еще одной молитвы — вот этой: к тебе несу я мою великую бессмертную печаль; к тебе иду я, отец-океан!

*И далекий отвечает голос, печальный и важный:*

— О Хаггарт, милый мой Хаггарт.

*Но, может быть, то волны прошумели — кто знает. Много печальных и странных снов посещают человека на земле.*

— На борту! — весело кричит Хаггарт и идет, не оглядываясь. Внизу веселый гул голосов, смех. Скрежещут камешки под твердою ногою — уходит Хаггарт.

— Хаггарт!

*Идет, не оглядываясь.*

— Хаггарт!

*Ушел.*

*Веселые крики: приветствуют Хаггарта матросы. Поют и уходят в темноту — все дальше, все тише. А на берегу догорают брошенные факелы, освещая труп, и мечется женщина. Легкими шагами перебегает она с места на место, наклоняется над обрывом. Выползает сумасшедший Дан.*

— Это ты, Дан? Ты слышишь: они поют, Дан? Хаггарт ушел.

— Я ждал, пока они уйдут. Вот еще одна. Я собираю трубки от органа. Вот и еще одна.

— Будь ты проклят, Дан!

— Ого? И ты тоже, Мариет: будь проклята!

*Мариет схватывает ребенка и высоко поднимает его.*

— Хаггарт, оглянись! Да оглянись же, Хаггарт! Тебя зовет Нони. Он хочет проклясть тебя, Хаггарт. Оглянись! Смотри, Нони, смотри — это твой отец. Запомни его, Нони! И когда вырастешь, обойди все моря и найди его, Нони! И когда ты найдешь его — высоко на рею вздерни твоего отца, мой маленький...

*Гром салюта заглушает ее крик — Хаггарт вступил на свой корабль. Чернеет ночь, и плеск волны стихает: уходит с отливом океан. Безгласна великая пустыня неба, и ночь чернеет, и затихает плеск волны.*

## ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

*ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Георгий Дмитриевич Стибелев, видный общественный деятель.

Екатерина Ивановна, его жена.

Вера Игнатьевна, его мать.

Алексей Дмитриевич Стибелев, брат его, студент.

Татьяна Андреевна, мать Екатерины Ивановны.

Елизавета Ивановна (Лиза), сестра Екатерины Ивановны.

Аркадий Просперович Ментиков.

Павел Алексеевич Коромыслов

Торопец

Людвиг Станиславович

Фомин, студент.

Тепловский.

Жура, племянник Коромыслова.

Гувернантка

Горничная Саша } у Стибелевых.

Маша, горничная Коромыслова.

} художники

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Первый час ночи на исходе.

В большой барской столовой тот легкий беспорядок, который оставляет за собой ушедший день. Пусто; сверху, в люстре над столом, горит одна только лампочка, и это дает чувство неприятной асимметрии. В первую минуту кажется, что все в доме уже спят, но нет: слышны голоса. И, приглядевшись, видишь, что одна дверь неплотно закрыта, и в щель идет яркий свет, и за дверью громко и тревожно говорят двое, мужчина и женщина. Голоса то падают, то возвышаются почти до крика, перебиваются короткими, но глубокими паузами, раз даже слышны слова: «Ты лжешь!» — коротко и гневно выкрикивает мужской голос.

В наступившей паузе слышнее стук маятника. Приоткрывается досель незаметная дверь в левой стене, и наполовину выходит студент, высокий, безбородый, с длинной шеей, в тужурке; в руках у него маленький поднос с двумя пустыми стаканами от чая. Что-то, извиняясь, говорит назад, в свою комнату, и приотворяет дверь. Осторожно, чтобы не стукнуть, ставит поднос на стол и, внимательно вытянув шею, прислушивается к голосам, возобновившим свой непонятный, тревожный и тяжелый спор. Потом так же осторожно, без шума, возвращается назад и плотно закрывает за собою дверь. Голоса становятся громче.

Мужчина. А я тебе говорю...

Женщина. Ты не смеешь, это подло!

Мужчина. Молчать! Ложь! Ты уличная...

Женщина. Что ты, Горя! погоди! Не троны! Нет, нет.

Слова обрываются, мгновение полной и глубокой тишины — и один за другим раздаются два выстрела: раз! раз! — И сразу пропадает тишина, и все становится криком, шумом, беготней. Из-за двери, откуда стреляли, выскальзывает полуодетая женщина и быстро пробегает, что-то крича, в столовую; за нею, стукнувшись о притолку, выбегает высокий, без пиджака, мужчина и еще раз стреляет ей вслед: со стены сверху валятся осколки разбитой тарелки. Но стреляющего уже охватили по плечам крепкие руки: то выбежал из своей комнаты студент в тужурке и борется, отнимая револьвер. За ним стоит растерянно второй студент, в сюртуке, видимо, посторонний в доме, не знает, что ему делать.

Георгий Дмитриевич. Пусти! Я ее убью! Она...

Алексей. Отдай револьвер!

Георгий Дмитриевич. Пусти, ты меня душишь.  
(Роняет на пол револьвер.)

Алексей. Фомин, возьмите. Да револьвер, револьвер возьмите... а, черт! Ну и сильный же ты, Горька, вот не ожидал, что ты такой сильный. Сиди!

Сажает его на стул. Фомин, все так же неловко и растерянно держась, поднимает револьвер и прячет в карман.

Георгий Дмитриевич. Я ее ранил.

Алексей. Нет, цела.

Георгий Дмитриевич. Второй попал.

Алексей. Нет, цела, бежала. Боже мой, что же это! Надо узнать. Фомин, пойдите узнайте.

Фомин. Я не знаю, куда идти.

Алексей. Да в дверь, да в ту, в ту... а, черт! Товарищ первый раз пришел, а ты тут такое... Ах, Горюшка, Горюшка, да что же это! Воды хочешь? — у тебя руки дрожат. Как можно, как можно!

Георгий Дмитриевич. Да пусти ты меня!

Алексей. Прости, забыл. Горя, брат, что случилось?

Георгий Дмитриевич. Она изменила мне.

Алексей. Врешь!

Георгий Дмитриевич. Какая подлость, Боже мой, Боже мой! Ах, брат Алеша, брат Алеша, что делается на свете! Ты подумай: наша Катя, наша чистая Катя... ведь и ты любил ее, это правда, любил? — скажи!

Алексей. Да и люблю! И не... Вам что надо, что вы лезете?

Полуодетая горничная в двери из внутренних комнат.

Горничная. Я... я думала...

Алексей. Убирайтесь! Тоже — лезут!

Георгий Дмитриевич. Никого не пускай.

Алексей. Нет, нет. Ты что говоришь?

Георгий Дмитриевич. Я ничего. Изменила, брат, изменила!

Алексей. Конечно, любил и люблю. И не поверю, пока сам...

Георгий Дмитриевич. Молчи! Раз я тебе говорю... или я так ни с того ни с сего стану стрелять в человека? Я!

Алексей. Да уж! Сиди, сиди, верю. Что же он не идет?

Георгий Дмитриевич. Кто?

Алексей. Фомин.

Георгий Дмитриевич. Она ранена?

Алексей. Неизвестно. Сейчас придет Фомин... чего тебе, воды?

Георгий Дмитриевич. Да.

Алексей. Вот, пей... как руки-то дрожат.

Георгий Дмитриевич. Ты подумай: у женщины двое детей!

Алексей. Ладно, ладно... А, Фомин, наконец, ну что? — что вы там пропали.

Фомин. Ничего. Я не мог найти дороги. Пошел в какую-то дверь.

Алексей. Да что ничего... а, черт! Она ранена?

Фомин. Нет, нет, нисколько.

Алексей. Ну, и слава Богу.

Георгий Дмитриевич громко смеется.

Фомин. Там какая-то пожилая дама... Да вот!

Громко плача, входит высокая, полная дама, одета наскоро по-ночному, торопится.

Вера Игнатьевна. Горюшка, что же это, голубчик ты мой, Горюшка! Слышу... ночью... стреляют.... До чего я дожила, Господи! Слышу... ночью... стреляют...

Георгий Дмитриевич (*нетерпеливо и резко*).  
Ах, мама! Ну и ночью, ну и стреляют, ну и что же? Ах, мама,  
всегда вы не те слова скажете, что надо.

Алексей. Молчи, Горя. Не плачь же, мама, успокойся,  
все благополучно.

Вера Игнатьевна (*плачет*). Какое же это благо-  
получно. Ранена она, что ли?

Алексей. Да нет, мимо. Прوماх!

Георгий Дмитриевич (*смеется*). Мимо!

Вера Игнатьевна (*плачет*). Хоть бы о детях поду-  
мали. Двое детей ведь.

Георгий Дмитриевич. Мама!

Вера Игнатьевна. Что теперь будет? Член Думы,  
депутат, и так тобою все гордятся, и вдруг теперь под суд,  
как какой-нибудь уличный...

Алексей. Ничего не будет, мама, никто не узнает.

Вера Игнатьевна. Как никто — а прислуга? Ты  
посмотри сейчас, что на кухне делается. Сюда-то бояться  
идти; Саша уж за дворником хотела бежать, да я ее не пусти-  
ла: куда, говорю, дура,— тебе это послышалось! Завтра же  
к отцу в деревню уеду, завтра же! Всегда я тебе говорила,  
Горя, что она плохая женщина...

Георгий Дмитриевич. Молчите, мама, вы не  
смете...

Вера Игнатьевна. А стрелять лучше? Слушал бы,  
Горюшка, мать, так и стрелять не нужно было бы.

Алексей. Ты ее не знаешь, мама. Молчи!

Фомин (*тихо*). Стибелев, может быть, мне уйти?

Алексей (*громко*). Да чего уж: раз попал в свидетели,  
так сиди. Правда, посидите, Фомин, а то так все это... Хо-  
чешь вина, Горя?

Георгий Дмитриевич. Нет.

Алексей. Иди оденься, ты весь дрожишь. Дать тебе  
пиджак? Я дам.

Георгий Дмитриевич. Нет. Что она делает?

Алексей. Сейчас узнаю.

Георгий Дмитриевич. Пусть сейчас же уезжает.  
Сейчас же, слышишь?!

Алексей. Да, да, я ей скажу. Да, думаю, она и сама  
теперь не останется. Вы тут посидите, я сейчас...

Георгий Дмитриевич. Денег дай ей.

Алексей. Какие еще деньги!

Георгий Дмитриевич. Говорю — дай. И чтобы  
немедленно уезжала! Алексей!

Алексей (*оборачиваясь от двери*). Да что?

Георгий Дмитриевич. Чтобы немедленно уезжала.

Алексей. Да уж! Сама не останется, я думаю... Хорошо, хорошо! (*Уходит.*)

Вера Игнатьевна. Садитесь, молодой человек. Как ваша фамилия?

Фомин. Фомин. Я товарищ вашего сына.

Вера Игнатьевна. Вот как Бог привел познакомиться! Садитесь. Который же теперь час?

Фомин. Без десяти минут час. Ваши отстают на пять минут.

Вера Игнатьевна. Ох, Господи, вся еще ночь впереди, а я уж думала... Горюшка, надень что-нибудь, голубчик, тебе холодно.

Георгий Дмитриевич (*ходит по комнате*). Нет!

Вера Игнатьевна. Это ты разбил тарелку? Горюшка, сын ты мой несчастный, так как же мы теперь с тобой будем? (*Плачет.*)

Георгий Дмитриевич. Не знаю, мама, как-нибудь проживем.

Вера Игнатьевна. Ты ей детей не отдавай, Горя! Она их развратит.

Георгий Дмитриевич. У меня нет детей. У меня ничего нет.

Вера Игнатьевна. Как ничего? А Бог?

Георгий Дмитриевич смеется, не отвечая.

Стыдно так, Горя!

Фомин (*нерешительно*). Может быть, я лишний? Да и пора мне.

Георгий Дмитриевич. Оставайтесь. (*Брезгливо и резко.*) Как вы не поймете, коллега, что сейчас не может быть посторонних. Смешно и дико: только сейчас чуть не был убит человек, смерть еще стоит в углу, а он говорит: посторонний, лишний! Когда все спокойно, тогда он не лишний, а как только нужно, как только что-нибудь случилось... Нелепость какая!

Вера Игнатьевна. Не волнуйся, Горюшка, молодой человек побудет. Побудьте, молодой человек, а то нам страшно.

Фомин. Я с удовольствием.

Георгий Дмитриевич. Вместо того чтобы бежать куда-то и прятаться, вы лучше посмотрите внимательнее и подумайте, что делается. Вы еще молоды, вам это может пригоди... пригодиться. Мама, это дети плачут?

Вера Игнатъевна. Нет, не слышу. А может быть, и плачут.

Плачет.

Георгий Дмитриевич. Да, пусть плачут. Вы посмотрите: ведь это ночь. Вы понимаете: ночь. И дом, хороший дом: видите, какая роскошь? А там плачут дети...

Вера Игнатъевна. Она тебе созналась?

Георгий Дмитриевич. Да, почти. Не мешайте, мама. И вы подумайте... ведь вы знаете меня.

Фомин. Как же! Я и в Думе вас слышал.

Вера Игнатъевна. Надел бы ты пиджак, Горя.

Георгий Дмитриевич. Нет. И вы подумайте: что нужно пережить, испытать человеку, такому, как я, чтобы взять револьвер и... Да, о чем я сейчас говорил? Да: я говорил, что ночь. Вот где ночь (*бьет себя по лбу*), понимаете? — вот где ночь. Да что там делают с детьми, бьют их, что ли! Это невозможно.

Быстро открывается дверь в столовую, и на пороге показывается Екатерина Ивановна, жена. За нею Алексей, безуспешно старается удержать ее.

Екатерина Ивановна. Я уезжаю, вы слышите, уезжаю! Но вы подлец, да, да, вы хотели убить меня...

Георгий Дмитриевич (*бешено*). Уберите ее! Иначе... Вон!

Алексей. Катя!..

Екатерина Ивановна. Вы хотели убить меня! (*Закрывает глаза ладонями рук и закидывает голову назад, точно готовясь упасть.*)

Алексей. Да, да,— ах, да уходи же, Катя, ты с ума сошла!

Екатерина Ивановна (*оборачиваясь к нему*). Алеша, Алеша, он хотел убить меня... Только Бог... для детей... Только Бог спас...

С внезапным рыданием уходит. Алексей сзади загораживает ее.

Георгий Дмитриевич (*делая шаг к двери*). Вон!..

Вера Игнатъевна (*в ужасе*). Горя!..

Фомин. Послушайте же...

Вера Игнатъевна. Горя... Пожалей меня, Горя! Я не могу... Я сейчас.. Воды мне дайте, воды!..

Фомин. Послушайте, нельзя же, послушайте...

Георгий Дмитриевич. Ну хорошо, ну хорошо... дайте же ей воды.

Вера Игнатъевна в полуистерике пьет воду. Входит Алексей и на ходу быстро взглядывает на мать, потом на брата.



Алексей. Так... Ты еще что, мама?

Вера Игнатьевна. Я ничего, уже прошло. Горя, Горя...

Георгий Дмитриевич. Зачем ты пустил ее сюда? — силы не хватило удержать?

Алексей (*угрюмо*). Не хватило. Она совсем с ума сошла.

Георгий Дмитриевич. Отчего плачут дети?

Алексей. Оттого, что их одевают. А и плохо же ты стреляешь, брат Георгий!..

Георгий Дмитриевич. Хм... А лучше было бы, если бы убил, так, по-твоему?

Алексей. Может быть, и лучше.

Георгий Дмитриевич. Как тебе известно, я не умею стрелять. Я не спортсмен...

Алексей. А не спортсмен и не умеешь стрелять, так и не берись.

Георгий Дмитриевич. Алексей!..

Алексей. Ну, ну, не сердись, я и сам, кажется, немного ошалел. С вами ошалеешь.

Георгий Дмитриевич. Это рассуждение спортсмена. Ты слишком много времени посвящаешь гимнастике и борьбе, и твои взгляды — извини — отдают ареной. В мое время студенты...

Алексей. Верно, Горюшка, верно. Спортсмен и говорю глупости. Прости, милый, не сердись, ну, дай руку, ну, ладно. Я тебе сейчас пиджак принесу — где он, в кабинете?

Георгий Дмитриевич. Да. Не надо.

Алексей. Нет, надо. Некрасиво так-то бегать. Что, брат, ни говори, а пиджак — это приличие, и человек без пиджака... (*Уходит в кабинет.*)

Георгий Дмитриевич. Алексей!..

Вера Игнатьевна. Он так тебя любит, Горюшка, он это нарочно шутит, чтобы успокоить тебя. Выпил бы ты вина, Горя.

Георгий Дмитриевич. Дайте.

Вера Игнатьевна встает, чтобы достать из буфета вино. Одновременно из разных дверей входит Алексей с пиджаком в руках и гувернантка-француженка, кокетливая, завитая; держится вызывающе.

Гувернантка. Мадам просила сказать...

Алексей. Ну-ка, надень, Горя. Что Екатерина Ивановна просила передать?

Гувернантка. Мадам просила передать Георгию

Дмитриевичу, что она возьмет для Катечки их шубу, так как на улице большой холод.

Георгий Дмитриевич. Да, да, пожалуйста.

Гувернантка. Завтра шубу пришлю.

Алексей. Скажите, хорошо. Вам еще что-нибудь надо?

Гувернантка. Мне? Нет, ничего.

Уходит, прищурив глаза на Георгия Дмитриевича. Молчание.

Георгий Дмитриевич. Вот что, мама: я знаю, вам это неприятно сейчас... Пойдите, посмотрите, что там дети, как их одевают и вообще. Только, пожалуйста, мама, ни слова не говорите... Екатерине Ивановне: достаточно...

Вера Игнатьевна. А что мне ей говорить? Что надо было сказать, то уж сказала. А теперь что ж говорить. А как же ты тут? — уж ты, Алеша, его не оставляй.

Алексей. Хорошо, хорошо, мама. Иди. Дай-ка и мне, Горя, стаканчик вина. Фомин, вы не хотите?

Фомин. Нет, Стибелев, благодарю.

Вера Игнатьевна уходит.

Алексей. Горюшка, а не пройдем мы с тобой на минутку в кабинет?

Георгий Дмитриевич. В кабинет? Нет, не хочу.

Алексей. Да, да... Ну, так вот что: пойдите, Фомин, на минутку ко мне в комнату, покурите. Я вас потом позову.

Георгий Дмитриевич. Может быть, коллега домой хочет?

Фомин. Нет, я с удовольствием посижу. Еще рано. (Уходит.)

Георгий Дмитриевич. Ну и дубина же этот твой товарищ.

Алексей. Нет, это он от деликатности не знает, что ему делать... Сам посуди, положение ведь, действительно, неловкое. Горя... Ты что же это, Горя, а?

Георгий Дмитриевич. Как видишь, Алеша.

Алексей. Ты где револьвер взял? — я сперва подумал, что это ты моим воспользовался.

Георгий Дмитриевич. Нет, третьего дня купил.

Алексей. Так, купил. Значит, с заранее обдуманном намерением?

Георгий Дмитриевич. Значит. Как это страшно, брат, когда среди ночи одевают детей, чтобы ехать, и дети плачут. Катечка в моей шубе... э, да не все ли равно теперь.

Вот тебе и жизнь моя, Алексей, вот тебе и жизнь. Какая тоска!

Алексей. Ты не сердись на меня, Горя, но... уверен ли ты, что... Конечно, если у тебя на руках факты, то... Но никак, никак не могу я себе представить, чтобы Екатерина Ивановна, Катя...

Георгий Дмитриевич. А я мог? Но факты, брат, факты!

Алексей (*с недоверием*). Конечно, если факты... Нет, нет, я ничего не говорю, я только удивляюсь. Ведь пять лет вы с нею жили...

Георгий Дмитриевич. Почти шесть...

Алексей. Почти шесть,— и ведь ничего же не было такого? И Катя... и ты сам же звал ее «не тронь меня», да и все мы... и просто, наконец, она не похожа на женщин, которые изменяют!

Георгий Дмитриевич. Зови ее Екатерина Ивановна.

Молчание.

Что она там делает? — ты говоришь: с ума сошла.

Алексей. Укладывалась, когда я пришел.

Георгий Дмитриевич. Она очень... испугана?

Алексей. Да, кажется. Может быть, тебе сейчас тяжело об этом говорить? — тогда давай о чем-нибудь другом.

Георгий Дмитриевич. Давай о другом. Но какое все-таки счастье, что я не попал в нее! И неужели это могло быть, и пуля могла попасть в нее и убить. Убить? — странное слово. Да, я стрелял. Три раза, кажется? Да, три раза.

Алексей. Ты в кабинете стекло в книжном шкафу разбил.

Георгий Дмитриевич. А вторая пуля где?

Алексей. Не видал.

Георгий Дмитриевич. Надо поискать. Третья здесь... Алеша?

Алексей. Ну?

Георгий Дмитриевич. Тебе кажется это диким? О чем ты думаешь?

Алексей. Да все о том, как ты плохо стреляешь. Послушай, Горя, если тебе не больно об этом говорить... я все никак, брат, не могу представить... Кто он, ну, этот самый?

Молчание.

Коромыслов, да?

Георгий Дмитриевич. Почему Коромыслов?

*(Подозрительно.)* Почему Коромыслов? У тебя есть какие-нибудь данные? Почему Коромыслов?

Алексей. Постой, какие данные... я просто спрашиваю тебя.

Георгий Дмитриевич. Но ты сказал: Коромыслов.

Алексей. А, черт! Перебирал всех, кого знаю, ну и он самый интересный, художник, наконец, и вообще красивый человек. И Катя у него часто бывала, и вид у него такой, что он это может... ну, доволен? Вот мои основания.

Георгий Дмитриевич. Нет, ты с ума сошел: Коромыслов! Павел — мой друг, настоящий, единственный, искренний друг и... Ментиков, да, да, не делай большие глаза, — Ментиков!

Алексей. Постой, я не делаю глаза... Какой Ментиков? Аркадий Просперович, этот? Ментиков?

Георгий Дмитриевич. Да что ты затвердил! Этот, ну да, этот, потому что другого нет и... перестань же, Алексей, я тебя прошу. Человек каждый день бывает у нас в доме, а ты припоминаешь его, как будто первый раз в жизни услышал. Что за комедия!

Алексей. Это ничтожество? *(Разводит руками.)* Ну, Горя, конечно, ты сейчас в таком состоянии, но я был лучшего мнения о... ну, да ты уж не сердись, брат: я был лучшего мнения о твоих умственных способностях.

Георгий Дмитриевич. Да?

Алексей. Да. Стрелял в человека, только случайно его не убил — и за что? В конце концов, пожалуй, и хорошо, что ты не умеешь стрелять: ты мой старший брат, и я вообще многим тебе обязан, но я прямо скажу — таким людям, как ты, нельзя давать в руки оружия. Прости.

Георгий Дмитриевич. Ах, Алексей, Алексей!

Алексей. Да. Прости.

Георгий Дмитриевич. Куда ты?

Алексей. К Кате.

Георгий Дмитриевич. Милый ты мой мальчик! У тебя мускулы, как у атлета, из тебя вырабатывается стойкий, сильный и даже красивый — да, да, красивый! — мужчина, но тебе всего двадцать три...

Алексей. Двадцать два пока.

Георгий Дмитриевич. Двадцать два года, и ты ничего не понимаешь! Ты думаешь, что в жизни страшны и опасны только сильные, — нет, голубчик, сильные страшны лишь для слабых и ничтожных. А для нас, сильных, для таких, как ты и как я, пожалуй, — страшны именно ничтож-

ные. Как может Павел Коромыслов отнять у меня женщину... жену, когда я сильнее Коромыслова, так же по-своему талантлив, так же умен, и, наконец, приемы борьбы у нас одни и те же! Но ничтожество, которого не опасаться, которого ты даже не замечаешь, потому что оно ползает ниже уровня твоего взгляда; ничтожество, у которого свои аппетиты, желаньца, которого ничем нельзя оскорбить, которое втирается, терпит плевки, страдальчески хлопает глазками и, наконец, в одну из тех минут, когда женщина...

Алексей. Это невыносимо слушать!

Георгий Дмитриевич. Да? И ничтожество еще тем соблазнительно для женщины, Алеша, что с ним нет греха. Разве он человек? разве он мужчина? Так, подползло что-то в темноте, и... Потом его можно выгнать, потом все можно забыть... искренно забыть, как умеют забывать женщины, забыть даже до возмущения, если кто-нибудь осмелится напомнить. Как? Я? — с ним? Правда, иногда от ничтожеств рождаются дети... У нас нет коньяку? — это вода, а не вино. Дай мне коньяку, скорее!

Алексей молча ищет в буфете.

Меня потягивает так, будто я смертельно хочу спать.

Алексей (*не оборачиваясь*). Реакция.

Георгий Дмитриевич. Уже? Нет, для реакции рано. Ну, что же?

Алексей. Коньяку нет, Горя. Можно добыть, если хочешь, я пошлю Фомина.

Георгий Дмитриевич. Нет, не надо. Ты заметил, что Екатерина Ивановна последнее время была неразлучна с этим господином?

Алексей. Он и у тебя был на побегушках.

Георгий Дмитриевич (*смеется*). Да, да! В том-то и ужас, Алеша, в том-то и ужас, что он очень услужлив и даже мил — даже мил. Он всегда под рукою, и еще то приятно, что над ним всегда можно посмеяться, поострить... Впрочем, я, кажется, сейчас не могу говорить.

Алексей. Тебе нехорошо.

Георгий Дмитриевич. Одним словом, она была с ним на свидании, у него в номерах. Она говорит, что ходила затем, чтобы дать ему по морде, и дала! Он, видишь ли, уже два года пристаёт к ней, умоляет, пишет письма...

Алексей. Почему же она сама не написала ему? — или не сказала тебе?

Георгий Дмитриевич. Да вот — почему? Потому, видишь ли, что она ему и писала и говорила, да он не верит.

Алексей. По физиономии можно было и у нас в доме дать.

Георгий Дмитриевич. Ты думаешь? Ну вот, а она пошла к нему для этого в номера и была там два часа... да, да, не удивляйся точности, два часа с минутами. Я был на улице.

Алексей. Анонимка?

Георгий Дмитриевич. Да. Коньяку нет?

Алексей. Я уже сказал тебе, что нет... Я бы не пошел.

Георгий Дмитриевич. Ты думаешь, я придал значение этому... визиту? Нет, ни малейшего, и поверь мне, Алеша, мне было смешно. Вот, думаю, посмешу ее. И все улыбался, все улыбался! *(Смеется.)* Ведь, ведь как хочешь, Алеша, шесть лет! Правда, в последний год я видел ее мало: я занятой человек, я общественный деятель, у меня шея трещит от работы!.. и не могу же я следить за каждым ее шагом...

Алексей. Конечно.

Георгий Дмитриевич. У меня своего дела много! Знал, что все хорошо, и дети здоровы, и... ну, да что! И вечером, уже вечером, с явным намерением спрашиваю ее, улыбаюсь, — идиот! — и спрашиваю: отчего... отчего у тебя такие томные глаза, Катя? — Разве? — Все улыбаюсь: где ты была сегодня утром? И...

Алексей. Ну?

Георгий Дмитриевич. Солгала. Я ничего не стал говорить ей, но, Алеша, что со мной было в тот вечер! Ко мне приклеилась эта подлая улыбка, — ведь она была не без хитрости, Алеша! — и ничем не могу стереть ее! Лежу на диване и плачу, а сам у... у... улыбаюсь. *(Отходит в угол, некоторое время стоит лицом к стене.)*

Алексей. Горя!

Георгий Дмитриевич *(не оборачиваясь)*. Если бы... сегодня... ты не вырвал у меня револьвера... Молчи, молчи! Я сейчас.

Алексей. Горя! Я позвоню Коромыслову, пусть приедет.

Георгий Дмитриевич. Павлу? Позвони. Павлу позвони. Сегодня она тоже лгала в начале разговора... да и в конце тоже. Позвони Павлу, да еще... Нет, ничего, позвони и скажи, что очень нужно, необходимо.

Алексей. Я быстро. Только дома ли он? Ну, ну, Горя, я сейчас.

Уходит в кабинет. Георгий Дмитриевич один. Медленно бродит по комнате, лицо его выражает открытое горе. Входит Вера Игнатьевна.

Вера Игнатьевна. Горюшка, пойдй поцелуй детей. Катечка тебя зовет, плачет...

Георгий Дмитриевич. А она?

Вера Игнатьевна. Она уехала, Горюшка, она вперед поехала с Сашей. Дети с бонной поедут.

Георгий Дмитриевич. Уехала?

Вера Игнатьевна. Да, к Дементьевым. Пойди, Горюшка, детки тебя ждут.

Георгий Дмитриевич. Нет, не хочу.

Вера Игнатьевна. Катюшка плачет.

Георгий Дмитриевич. Нет. Пусть едут.

Вера Игнатьевна. Благослови их, Горюшка, нехорошо им будет.

Георгий Дмитриевич, плача, становится на колени перед матерью и прячет голову у нее на коленях.

Георгий Дмитриевич. Мама, мамочка, милая моя мамочка, как же я буду жить! Как же я буду жить, я убью себя, мамочка!

Вера Игнатьевна *(плачет и гладит его волосы)*. Сыночек ты мой, Горюшка, сыночек ты мой, не надо, голубчик, я с тобой, Горюшка...

В дверях показывается Алексей, но мать предостерегающе машет ему рукой, и он скрывается.

Георгий Дмитриевич. Мне страшно, я убью себя, мамочка.

Вера Игнатьевна. Зачем же, Горюшка, не надо, сыночек. Ты у меня милый, сыночек, тобою родина гордится, ты у меня славный, славный. Только бесчестные себя убивают, кто честь потерял, а ты ни в чем не виноват...

Показывается в дверях бонна, но Вера Игнатьевна сердито машет ей рукой, и бонна скрывается.

Ты у меня хороший, тебя все любят, за тебя Бог заступник: не дал тебе человека убить... Постой, Горюшка, надо деток проводить...

Георгий Дмитриевич *(встает)*. Поцелуйте их, мама, я не могу.

Вера Игнатьевна. Ну ничего, другой раз поцелуешь. Они тепло одеты, доедут. *(Зовет.)* Алеша! Алеша!

Ф о м и н входит.

Ох, Господи, это еще кто? Ах, это вы, молодой человек, а я думала, что вы уж ушли.

Фомин. Я не знаю. Мне послышалось, но я могу...

Вера Игнатьевна. Ничего, ничего, голубчик, какие теперь извинения. Алеша! Алеша!

Алексей входит, говорит притворно-веселым голосом.

Алексей. Сейчас приедет.

Вера Игнатьевна (с порога). Кто приедет?

Алексей. Павел Алексеич. Я ему звонил, он только что вернулся откуда-то. Удивительный человек, когда услышал, что нужно не спать ночь, выразил крайнюю радость! Вот человек, Фомин, который ненавидит сон!

Георгий Дмитриевич. Ты ему сказал?

Алексей. Да, немного. Да ну, Фомин, приободритесь, какого черта! Папиросу хочешь, Горя?

Георгий Дмитриевич молча берет папиросу.

Фомин. В сущности, я могу не спать сколько угодно, одну ночь или две — мне все равно. Но вы понимаете, что мое положение... Мне просто неловко.

Георгий Дмитриевич. Все ловко, коллега. Вы юрист?

Фомин. Юрист.

Георгий Дмитриевич. Все ловко, коллега. А знаешь, Алексей, вино-то крепкое: я, кажется, немного опьянел, голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Были при Годунове часы? Глупый вопрос, но ты не удивляйся: я смотрю на циферблат, и сегодня он совершенно особенный, живой и смотрит. Эх, нервы! У вас есть нервы, коллега?

Фомин (улыбаясь). Как вам сказать? Пока еще не было случая себя испытать, но, думаю, что у меня нервы, как и у всех людей.

Алексей. Он, Горя, спортсмен, как и я.

Георгий Дмитриевич. Выжимаете?

Алексей. Да. И фехтует, и бокс, и на лыжах ходит. Мы как раз сегодня обсуждали план одной прогулки на лыжах... Эх, Горюшка, присоединился бы ты к нам.

Георгий Дмитриевич. Стар.

Алексей. Глупости. Ты бы только раз воздухом морозным дыхнул по-настоящему, так у тебя в мозгах такое просветление бы наступило — верно, Фомин?

Георгий Дмитриевич. Стар. Пойди, Алеша, посмотри — уехали ли дети?

Алексей. Сейчас, Горюшка.

Уходит. Неловкое молчание.



Георгий Дмитриевич. А стрелять вы также умеете?

Фомин. Нет.

Георгий Дмитриевич. Стрелять надо уметь. Неудачный выстрел — даже в себя, даже в друга или любовницу — оставляет чувство стыда.

Фомин. Я этого не понимаю. Почему же чувство стыда? — не всегда хорошо убить человека. И, как я слышал, многие самоубийцы, оставшиеся в живых, потом благодарили судьбу за то, что плохо стреляли.

Георгий Дмитриевич. Да? И я этого не понимаю. Но стыд есть, есть, коллега, стыд, это факт.

Фомин. А может быть, и совсем не надо стрелять?

Георгий Дмитриевич. А зачем же тогда делают револьверы?

Оба смеются.

Фомин. Вы это в Думе скажите, Георгий Дмитриевич.

Входит Алексей.

Алексей. Я маму уложил, она едва на ногах держится. Обещал ей беречь и охранять тебя, Горя. Только ты уж постарайся оправдать доверие.

Георгий Дмитриевич. Уехали?

Алексей. Да.

Георгий Дмитриевич. И в детской пусто?

Алексей. Ну, а как же быть, конечно, пусто... Так вот, Фомин, на лыжах, значит, послезавтра...

Георгий Дмитриевич. Пусто? Что это значит, Алексей: в детских пусто?

Алексей. Ну, оставь, Горя.

Георгий Дмитриевич. Что это значит, Алексей? Я хочу пойти посмотреть, что это значит.

Алексей. Горя!

Георгий Дмитриевич. Пусти, тебе говорю. Руки прочь! — как ты смеешь мешать. И что это вы, господа, воображаете, кто вам дал право здесь распоряжаться? Этот дом мой, слышишь? И детские пустые — мои, и вот это пустое (*бьет себя в грудь*) — мое. А, мама! Ты это откуда? Что это ты тащишь? Смотрите, она что-то тащит.

Вера Игнатьевна несет постельные принадлежности.

Вера Игнатьевна. Я и забыла, Горюшка, постель тебе в кабинете приготовить.

Георгий Дмитриевич. В кабинете?

Вера Игнатьевна. Ложусь, а тут вдруг вспомни-ла... а как же постель-то? Саша-то с Екатериной Ивановной поехала, одна, говорит, боится ехать... *(Проходит в кабинет.)*

Алексей. Хочешь, я с тобою лягу, Горя?

Георгий Дмитриевич. Нет, не хочу. А где дети? Вы, коллега, напрасно смотрите на меня такими безумными глазами, глазами испуганной газели,— я шучу: я прекрасно знаю, что дети уехали, и слышал звонок.

В передней звонок.

И меня только удивляет братец мой, Алексей Дмитрич, спортсмен: он никак не может понять, что это значит, когда в детских пусто. Он никак не может понять, что это значит, когда в спальне пусто, когда в доме пусто, когда в мире...

Алексей *(шепотом)*. Пойдите откройте, Фомин.

Фомин уходит.

Георгий Дмитриевич. Прошу не шептаться! Я тебе говорю, Алексей: ты, кажется, забыл, что ты мой брат.

Алексей. Помню, Горя, помню.

Георгий Дмитриевич. А если помнишь, Алексей... А если помнишь, то убей ты меня, Алеша,— ты не промахнешься, как я: три раза стрелял и разбил только тарелку *(смеется)*. Понимаешь, как это остроумно, и ведь это же символ: только тарелку.

Входит Коромыслов, и за ним Фомин.

Коромыслов. Здравствуй, Георгий.

Георгий Дмитриевич. Здравствуй, Павел. Приехал?

Коромыслов. Приехал. Ты это что?

Георгий Дмитриевич. Тарелки бил.

Коромыслов. Тарелки бьешь, а коньяк у вас есть? Нету? Чего ж ты мне не сказал, Алексей, я б привез. А вино какое? — нет, это не годится. Что, брат, раскис? *(Целует Георгия Дмитриевича в лоб.)* Ого, а лоб-то у тебя горячий.

Георгий Дмитриевич. Паша! Я... *(Всхлипывает и целует руку у Коромыслова.)*

Коромыслов. Так. Нехорошо тебе, Горя?

Георгий Дмитриевич. Я хочу... Я хочу поцеловать человеческую руку. Ведь есть еще люди, Павел?

Коромыслов. Есть, Горя, есть. Екатерина Ивановна уехала?

Алексей. Да, уехала. И детей увезла.

Георгий Дмитриевич. Он не пускает меня в детскую. Я хочу видеть пустую детскую...

Коромыслов. Твой брат строгий, я его знаю. Ну, а я пушу тебя, куда хочешь, и даже сам с тобою пойду. Значит, в доме пусто и можно скандалить, сколько угодно — это хорошо. Я люблю, когда в доме пусто... Ах, это вы, Вера Игнатьевна. Здравствуйте! Как же это у вас коньяку нет, Вера Игнатьевна! Живете полным домом, а коньяку нет! *(Отходит с нею, что-то тихо ей говоря.)*

Алексей. Тебе холодно, брат?

Георгий Дмитриевич. Нет. Павел, куда ты ушел? Павел!

Коромыслов. Я здесь. Вот что, милый друг: деньги у тебя есть? — у меня ничего.

Георгий Дмитриевич. Это есть.

Коромыслов. Ну и прекрасно. Значит, сейчас едем. И вы, коллеги, с нами.

Алексей. Куда?

Коромыслов. Туда, где светло, где пьяно и просторно. Разве сейчас можно оставаться в таком доме!

Георгий Дмитриевич. Да, да, едем. Спасибо тебе, Павел *(смеется)*. Неужели сейчас есть место, где светло и где люди — о, проклятый дом!

Коромыслов. Есть такие места, Горя, и, к счастью, не одно.

Алексей. Постойте, Павел Алексеич, а мама? Она останется одна?

Коромыслов. А мама останется одна, такое ее дело, Алеша. Всем женщинам доказываю, что не нужно рожать, а они рожают, ну и сами виноваты. Идем, Горя.

Вера Игнатьевна *(издалека, всхлипнув)*. Верно, Павел Алексеич, виновата!

Георгий Дмитриевич *(упираясь)*. Я сперва хочу в детскую.

Коромыслов. В детскую так в детскую. Господа, в детскую!

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Прошло полгода. Екатерина Ивановна с детьми приехала на лето в имение к матери в Орловской губернии. Стоят жаркие и погожие дни начала июня. Сцена изображает большую бревенчатую комнату с дорогой мебелью, картинами и цветами; стены и полы некрашеные. В трехстворчатую стеклянную дверь, теперь совершенно открытую, видна большая терраса с обеденным, крытым цветной скатертью столом. Также много цветов, видимо, из собственной оранжереи. За перилами террасы налево — гуща зелени: старых кленов и дубов, потемневших от годов берез; посредине и вправо, вплоть до одинокого старого дуба, — широкая просека с четкими золотыми далами. Время к вечеру. На террасе у стола сидит Ментиков, небольшого роста человек с мелкими чертами лица и тщательной прической, и кушает молоко с сухариками; цветным носовым платком смахивает крошки с щегольского, полосатой фланели костюма. Из сада по ступенькам всходит Татьяна Андреевна, мать, высокая женщина, строгого и решительного облика, и за нею младшая дочь, Лизочка, красивая и крепкая девушка-подросток со сросшимися бровями. Идет она с видом упорного, но несколько нарочитого и веселого каприза, шагает и останавливается вслед матери и тянет душу низким капризным голосом: «Мама! а мама! — я поеду». При появлении Татьяны Андреевны Ментиков встает.

Татьяна Андреевна. Вы это что?

Ментиков. Кушаю молоко, Татьяна Андреевна.

Лиза. Мама, а мама! Я поеду.

Татьяна Андреевна. Отстань. А разве вы не обедали сегодня?

Ментиков. Благодарю вас, Татьяна Андреевна, я обедал. Но при городских условиях жизни мое здоровье расшаталось, и доктор велел...

Татьяна Андреевна. А, расшаталось!.. Свежее ли хоть молоко-то вам дали?

Ментиков. Вполне.

Татьяна Андреевна. Что вполне? Ах, да отстань же ты, Лиза, ты мне, ей-Богу, надоела! Не дергай за платье.

Лиза. Ментиков, хоть вы заступитесь за меня.

Татьяна Андреевна. Да уж, нашли себе доченьки заступника, сам Бог послал! Отстань, тебе говорю. А вот вы бы, миленький, раз здоровье расшаталось, побольше бы гуляли да на воздухе работали бы, а не... А где Катя?

Ментиков. Екатерина Ивановна, кажется, к себе в комнату пошли. Мы хотели в крокет играть, но так жарко...

Татьяна Андреевна. Да уж вы и занятие найдете... крокет? Лучше бы...

Через комнату быстро и легко проходит Екатерина Ивановна, высокая, красивая, очень гибкая блондинка. Движения ее всегда неожиданны и похожи на взлет или прерванный танец: минутами становится совсем неподвижной, подносит к подбородку сложенные вместе руки и смотрит изумленно и долго, приподняв сросшиеся, как у сестры, темные брови, — и в эти минуты молчит, разве только слегка качнет отрицательно головою.

Екатерина Ивановна. Вот и я. Ты меня звала, мама? — мне в окно слышно.

Лиза смешливо подмигивает сестре и, снова насупившись, тянет душу.

Лиза. Мама, а мама!

Татьяна Андреевна. Не звала, а просто спрашивала. Купаться сегодня ходила? Отстань, Лиза! Вот, Аркадий Просперович жалуется на свое городское здоровье, а я ему говорю...

Ментиков. Мое здоровье очень мало интересует Екатерину Ивановну.

Татьяна Андреевна (*презрительно оглядев его*). Я полагаю. Да скажи же ты ей, Катя, чтобы не приставала! — ходит с утра и зудит в ухо, как комар, — замучила.

Лиза. Я в Петербург зимой поеду.

Татьяна Андреевна. Ну и поезжай.

Лиза. Ты нарочно говоришь, а как наступит зима, так скажешь: сиди тут, дохни, некуда тебе ехать.

Татьяна Андреевна. Так до зимы-то сколько? Ну и забыла, конечно: от Любочки из Швейцарии письмо, пишет, что жара, и у Костеньки была уже дизентерия.

Екатерина Ивановна. Да что ты, мама! Как же можно с детьми и в такую жару... бедный мальчик!

Татьяна Андреевна. Да разве им с мужем втолкуешь! То ли дело у нас в Орловской губернии, звала ведь, так нет! Ты знаешь, Катечка, когда я сегодня встала? В шесть...

Лиза. А я в семь.

Татьяна Андреевна. В шесть! — и с тех пор на ногах и не присаживалась, и ни капельки не устала...

Ментиков. Все по хозяйству?

Татьяна Андреевна. Нет, с ключницей Вассой да с управляющим в крокет играла!

Лиза смеется, целует мать сзади в шею под волосами и внезапно принимает вид глубокого разочарования в жизни.

Лиза. Я пойду умирать. Катя, пойдем умирать!

Екатерина Ивановна. Я уж умирала сегодня, как в крокет пошли играть.

Лиза. Ментиков, пойдемте умирать!

Ментиков (*бодро*). Я еще хочу жить!

Татьяна Андреевна. Ему прически жалко!

Лиза. А мне ничего не жалко. О чем жалеть, о чем грустить?..

Медленно, с тем же видом разочарования, проходит через комнату. Вслед за ней поднимается и Татьяна Андреевна.

Татьяна Андреевна. Погоди, Лизочка, пойду уж и я с тобой умирать. Что ж одной-то девочке умирать!.. (Уходит.)

Ментиков. Как жарко!

Екатерина Ивановна. Пойдемте в комнаты, там прохладнее.

Ментиков. Сыграйте что-нибудь, Екатерина Ивановна... Грига.

Екатерина Ивановна. Сейчас?

Ментиков. Мне хочется музыки.

Екатерина Ивановна. Удивительно у вас все не вовремя, Аркадий Просперович.

Ментиков. Да?

Молчание.

Я сегодня вечером уезжаю, Екатерина Ивановна.

Екатерина Ивановна. Это еще что?

Ментиков. Мое присутствие, видимо, не совсем приятно вашей матушке, да и вы сами...

Екатерина Ивановна. Оставайтесь.

Ментиков. Катя!

Екатерина Ивановна. Опять? Помните, что я вам сказала, Аркадий Просперович, и сейчас опять повторяю: если вы еще раз осмелитесь назвать меня Катя или чем-нибудь напомнить...

Ментиков. Но ты мне принадлежала, Катя, ты была моей!

Екатерина Ивановна. Если вы... если вы... Я вас ударю сейчас!

Ментиков. Простите, не буду больше. Не думайте, Екатерина Ивановна, что я боюсь вашего удара... вы уже ударили меня однажды...

Екатерина Ивановна. Я рада, что вы это помните.

Ментиков. Да, я помню. И поверьте, я не боюсь повторения, но моя любовь к вам бескорыстна, и только одного я хочу: день и ночь жертвовать собою для вашего счастья... Я останусь.

Екатерина Ивановна. Зачем вы мне напомнили? — сегодня с утра мне было спокойно, и я надела белое платье.

Ментиков. Белое платье — эмблема чистоты: вы невинная жертва, Екатерина Ивановна.

Екатерина Ивановна. Зачем вы напомнили мне... О, какая тоска... Я была несчастна, я была безумна, когда

я отдалась вам. Какой вы ничтожный, — разве же вы не понимаете, что я от презрения отдалась вам, от этой горькой обиды... Он отравил меня. Меня он смел заподозрить, что я ваша любовница... ну, так вот, так пусть это будет правдой, так пусть я ваша любовница, — вы довольны?

Ментиков. Поверьте, Екатерина Ивановна, голосу моего сердца: я никогда не забуду тех счастливых мгновений, которые вы мне дали.

Екатерина Ивановна. А теперь он пишет, он ежедневно пишет. Вчера было опять письмо. Что я ему отвечаю?

Ментиков. Надо быть гордой, Екатерина Ивановна: он вас оскорбил, вы невинная жертва.

Екатерина Ивановна. Он хотел меня убить, это ужасно: он хотел меня убить. Я этого не могу понять и все спрашиваю себя, все спрашиваю себя: да неужели моя жизнь так вредна, или ненужна, или противна ему, что он хотел отнять ее — убить? Разве может быть так противна чья-нибудь жизнь? Ведь теперь я была бы мертвая... что это значит? И на днях ночью вдруг мне представилось, что я и есть мертвая, и это ощущение было так странно, что я не могу передать. Не страх, нет, а что-то... Куда вы, Аркадий. Просперович? — сидите же...

Ментиков. Я за пепельницей. Я вас слушаю.

Екатерина Ивановна. Он теперь называет себя подлецом и... но, Боже мой, что мне от его слов... И что такое подлость? Это тоже подлость, что я вам отдалась тогда, или нет?

Ментиков. Вы были оскорблены и оклеветаны...

Екатерина Ивановна. Молчите. Богу известно, как я была несчастна тогда, как самый последний человек, — и это он отдал меня вам...

Ментиков. Кто он? Бог?

Екатерина Ивановна. Я не понимаю... Муж, конечно. Вдруг я почувствовала, что я должна сойтись с вами, и это было так ужасно — почему должна? Почему?.. Нет, подлость, подлость, подлость. Пойдите, сидите неподвижно, я хочу вас рассмотреть.

Ментиков. Мне неловко...

Екатерина Ивановна. Сидите же... *(Молча и долго рассматривает неподвижного Ментикова, качает головой с выражением отчаяния, быстро отходит в сторону, поднимает, как для полета, обнажившиеся руки с короткими рукавами. Руки бессильно падают. Быстрым поворотом при-*

падает плечом к стене, стоит молча, с опущенной скорбной головой.)

Ментиков. Вы его любите?

Екатерина Ивановна качает головой в знак отрицания. Потом так же молча меняет знак на утвердительный.

Я вас не понимаю, Екатерина Ивановна.

Екатерина Ивановна. Не знаю.

Ментиков. Но может быть?..

Екатерина Ивановна. Может быть. И от Алеши опять письмо получила: какой он хороший человек!.. Он как моя совесть, и я ему... Нет, ничего я ему не скажу. Куда вы?

Ментиков. Я волнуюсь. Я хочу походить.

Екатерина Ивановна. Он пишет мне о матери, что она также теперь хочет моего возвращения. За что не любила меня эта женщина? — она добрая и любит всех, а ко мне относилась так дурно, всегда в чем-то подозревала... Ну, подумайте, разве я виновата, что я... красива, а Георгий всегда занят работой, и я всегда одна? Нет, нет, я не стану отвечать, я мертвая, я в гробу. На мне и белое платье оттого, что я в гробу. Вы не слушаете меня?

Ментиков. Нет, я внимательно слушаю.

Екатерина Ивановна. А отчего же вы вздыхаете?

Ментиков молчит и ходит.

Отчего вы вздыхаете?

Ментиков (*останавливаясь*). Вы жестоки, Екатерина Ивановна... Пусть я ничтожество, как вы изволите говорить, пусть я маленький и скромный человек, но у меня большое сердце... и ведь я же люблю вас, Екатерина Ивановна...

Екатерина Ивановна. Я вам сказала...

Ментиков. Позвольте, позвольте — разве я требую взаимности? Но нужно же пожалеть человека, который кроме... кроме любви и преданности... и уважения... Вот уже несколько месяцев я состою вашим поверенным, и, конечно, я горжусь этим, но, Екатерина Ивановна... ведь я же люблю вас, и каково мне ежедневно слышать о вашей любви к другому... Я не сплю ночей, Екатерина Ивановна, мое сердце буквально разрывается и... хоть бы какой-нибудь знак вашего внимания... Стоит мне заговорить о моих чувствах, вы кричите на меня, как на собаку, грозите меня... выгнать... Меня... (*Садится к столу и плачет, положив руки на колени.*)

Екатерина Ивановна. Аркадий Просперович... (*Подходит ближе и смотрит.*) Вы плачете? — Боже мой,



какая гадость, он плачет. Перестаньте плакать! — вы слышите!

Ментиков. Я слышу.

Екатерина Ивановна. Перестаньте же!

Ментиков. Я плачу... я плачу о нашем, о нашем бедном ребенке...

Екатерина Ивановна. Мол... Молчите.

Ментиков. Я и молчал, но, Катя... Екатерина Ивановна! Когда я услышал, вы мне сказали, что хотите произвести ту ужасную операцию... в клиниках... и наш ребенок, наше невинное дитя... я всю ночь тогда не спал, я буквально волосы рвал от горя! Я буквально... был в отчаянии, а вы хотите, чтобы я не плакал, когда даже самое жестокое сердце...

В той же позе, прилегая плечом к стене, опустив голову, слушает его женщина и при последних словах — неслышно отделившись от стены — выходит медленными и точно слепыми шагами. Ментиков оглядывается — один. Вздыхает, аккуратно вытирает глаза в квадрат сложенным платком и, вынув маленькое зеркальце, поправляет прическу. Вздыхает. По ступенькам из сада быстро взбегает Лиза, кричит.

Лиза. Катя, Катечка! Где Катя? Алеша приехал. Ментиков, голубчик, ненаглядный, где Катя? Вы знаете, Алеша приехал, и, значит, дело идет на мировую. Какой Алеша красавец, и с ним какой-то, тоже красавец. Ментиков, вы это понимаете: значит, зимой я еду к ним, и никакая мама меня не удержит. Вы не грустите, мы вместе поедем. Если бы я не была такая взрослая, я бы вас поцеловала, а теперь... *(Силою хватает упирающегося Ментикова за руки и кружит по комнате. Убегает с криком.)* Катя! Алеша приехал!

Ментиков тревожно оглядывается на террасу и поспешно выходит в противоположную дверь. Одновременно с разных сторон входят: по ступенькам Алексей и Коромыслов, с этой стороны — Екатерина Ивановна и за нею Лизочка.

Екатерина Ивановна. Алеша! Господи! Алеша! Алексей. Здравствуй, Катечка.

Крепко целуются, и Лиза, приподнявшись на носки, сочувственно вторит их движениям. Коромыслов целует у Екатерины Ивановны руку, все, видимо, взволнованы.

Екатерина Ивановна. Алеша, голубчик, как я рада, что ты приехал! Это такое сейчас счастье для меня — если бы ты знал... если бы ты знал. Хочешь чаю? И вам я ужасно рада, Павел Алексеевич... Вы видали, какая у меня сестра: вчера еще была девочка, а сегодня, смотрите, уж взрослая девица.

Коромыслов. Первый раз вижу.

Екатерина Ивановна. Лизочка, а ты рада, что Алеша приехал? Ты посмотри, какой он стал.

Лиза (*убежденно*). Красавец.

Алексей. Да и ты, Лизок, недурна: только кто это тебе брови намазал?

Лиза вспыхивает и, насупившись, строго смотрит на Коромыслова. Тот улыбается.

Екатерина Ивановна. Пойдемте в комнаты, там прохладнее. Какая жара сегодня. Как вы доехали? — ведь у нас на станции не всегда есть лошади. Вот я не думала, Алеша: вчера только твое письмо, а сегодня — ты сам... А что же чаю? Лизочка, скажи чай.

Лиза. Сейчас. (*Уходит степенной поступью, сурово глядя на улыбающегося Коромыслова.*)

Коромыслов (*серьезно*). А вы не волнуйтесь, Екатерина Ивановна, не надо.

Екатерина Ивановна хочет что-то сказать, но вместо того встает, делает два быстрых шага и прижимает ладони рук к глазам. Алексей вопросительно взглядывает на Коромыслова, и тот делает жест, как будто зарисовывает карандашом фигуру. Алексей морщится и машет рукой.

Алексей. Катечка, не надо. Послушай, Катя...

Коромыслов. Дело в том, Катерина Ивановна, что мы к вам парламентарями: вы уже догадались, я думаю?

Екатерина Ивановна (*не отнимая рук*). Сейчас только.

Коромыслов. Ну вот и прекрасно: я люблю, когда дело делается начистоту. Ну, Алеша, выкладывай, а вы, Катерина Ивановна, дорогая, садитесь и слушайте.

Екатерина Ивановна садится, лицо ее красно, в глазах улыбка и слезы.

Ну что ж, начинай.

Алексей. Нет, уж лучше вы, Павел Алексеевич. Мне так все это больно и... нет, уж лучше вы, Павел Алексеевич. Я не так скажу.

Коромыслов. Хорошо. Одним словом, Катерина Ивановна, вы должны вернуться к мужу, иначе произойдет несчастье. Говорю совершенно серьезно и с полным знанием дела. Стрелял он в вас? — это правда, стрелял и даже три раза. Но так как дуракам счастье, то в вас он не попал, зато теперь, может быть, и попадет. Не в вас, конечно, вы понимаете?

Екатерина Ивановна. Понимаю.

Алексей. Катя, отчего ты ни разу не ответила ни на

одно его письмо? Ведь такое молчание хуже всяких слов, Катя. И хотя я целиком и со всех сторон обвиняю Георгия, но мне было жаль смотреть на него. Почему ты не ответила ему?

Екатерина Ивановна. Не знаю.

Алексей. Ты и мне ни слова не ответила. Писала о детях, о себе, и все как-то — прости, Катя, — бездушно. А на вопросы мои о нем — ни слова.

Екатерина Ивановна. Я не знала, что отвечать.

Алексей. Ты его не можешь простить?

Екатерина Ивановна. Не знаю.

Алексей. Но ведь ты же его любишь, Катя?

Коромыслов. Постой, Алеша, так дело не делается. Одним словом, Катерина Ивановна, ваш муж приехал с нами, сидит сейчас в кустах и ждет вашего разрешения явиться сюда.

Екатерина Ивановна (*вставая*). Нет!

Алексей. Катя, ну послушай же.

Екатерина Ивановна (*незаметно кладя руку на сердце*). Нет!

Молчание.

Алексей (*вставая, сурово*). Значит, нам уезжать? Хорошо; едем, Коромыслов.

Коромыслов (*рукой усаживая его*). Эх, Алексей, тут только начинается, а ты — едем... Дай человеку опомниться, не хватай его за горло.

Алексей. Я не это ожидал встретить, Катя, когда ехал сюда. Неужели в тебе так мало великодушия! Когда я ехал сюда, я думал встретить ту Катерину Ивановну, чистую, великодушную, благородную, по отношению к которой только сумасшедший, как мой братец, мог возыметь какие-то подозрения. Катя!

Екатерина Ивановна. Ее уже нет, Алеша, ее на твоих глазах убили.

Коромыслов. Она хочет сказать, что хоть пули и не попали, и тела ее не тронули, но душу убили. Не так ли, дорогая? Ну так это вздор: душу так легко не убьешь. В моей душе, скажу вам, дорогая, бомбы взрывались, а видите — живу и делаю это с большим удовольствием. Все проходит, все забывается, дорогая! А вы еще такая молодая и такая красавица, и детишки у вас, насколько помню, недурны. И мы сейчас пойдем с Алешей чайку попьем и сад ваш посмотрим, а вы с ним тут поговорите. Ведь неудобно же на

самом деле: член Государственной думы, а сидит в кустах, как рябчик. Не надо унижать человека.

Екатерина Ивановна. Я к нему не вернусь.

Коромыслов. Ну, вот это самое ему и скажите. Ведь немисливо же такой разговор вести через посредников, как вы полагаете? Красивый у вас парк — это имение вашей матушки?

Екатерина Ивановна. Да.

Коромыслов. И хозяйство, видимо, в порядке. Эх, давно я не был в настоящей русской деревне, среди соломенного пейзажа, и теперь даже как-то совестно. Пишу голых баб, и надоели они мне хуже горькой редьки, а нарушить порядок...

Алексей. Прости меня, Катечка, я, кажется, резко говорил.

Екатерина Ивановна (*быстро улынувшись*). Какой же ты глупый, Алеша: настоящая совесть никогда не должна просить прощения, что бы она ни сделала. Ты моя совесть.

Коромыслов. А я — часы. Идем, Алексей, да только уж вы, дорогая, никуда из этой комнаты не уходите: выйдете в другую, а потом в эту и не вернетесь. Платьце на вас в порядке, и прическа, и все, как следует, посидите тут, дружок, он недалеко.

Уходят. Екатерина Ивановна, не поднимаясь, на том же стуле ждет — руки ее опущены между колен. Солнце зашло, и в саду вечерние тени. Где-то далеко пастухи играют на желейках. Тишина. Тяжело и грузно ступая, всходит по ступеням Георгий Дмитриевич, испуганно осматривает террасу и говорит: — Катя! — Никого нет. — Нерешительно переступает порог и в первую минуту не видит Екатерины Ивановны.

Осторожно делает еще два шага.

Георгий Дмитриевич. Катя! Где ты, Катя?

Молчание. Вдруг видит жену, сидящую все в той же позе, и замирает. Потом решительно подходит к ней, молча опускается на колени и молча кладет ее руки на свою голову. Екатерина Ивановна неподвижна.

Катя, это я пришел. Отчего ты молчишь, Катя? Взгляни на меня — это я, Катя!

Екатерина Ивановна (*тихо*). Встань. Нет, я ничего. Встань, Горя.

Георгий Дмитриевич (*вставая*). Ты меня не ждала?

Екатерина Ивановна. Нет, я все время жду тебя.

Георгий Дмитриевич. Катя, неужели это правда, и я вижу тебя? Катя, отчего ты мне не отвечала на письма —

ведь я совсем с ума сошел, Катя. Посмотри, у меня седые волосы на висках.

Екатерина Ивановна. Я вижу. Я тебя люблю. Нет, нет, не подходи.

Георгий Дмитриевич. Но отчего у тебя так опущены руки? Катя, ты не двинулась с места с тех пор, как я вошел, — что с тобой, Катя? Мне страшно, голубчик. Дети здоровы?

Екатерина Ивановна. Дети здоровы. Георгий — я падшая, я изменила тебе.

Молчание. Он отходит, слегка шатаясь, в сторону и садится в кресло, опустив голову на руки. Молча растут в саду вечерние тени.

Георгий Дмитриевич. Тогда?

Екатерина Ивановна. Нет. Разве ты еще думаешь?..

Георгий Дмитриевич. Нет. Погоди немного, я сейчас не понимаю. Говори.

Екатерина Ивановна. Лучше не надо говорить, Георгий.

Георгий Дмитриевич. Нет, говори...

Екатерина Ивановна. Я отдалась Ментикову. Нет, потом, когда ты хотел убить меня. Это было только раз.

Георгий Дмитриевич встает и два раза проходит по комнате, потом снова садится в той же позе.

Георгий Дмитриевич. Говори.

Екатерина Ивановна. Но я забеременела, и мне сделали операцию. Больше ничего не было.

Георгий Дмитриевич (*хрипло*). Больше ничего?

Екатерина Ивановна. Да, больше ничего. Лучше было не говорить.

Георгий Дмитриевич. Мне Лиза сказала, что Ментиков здесь живет уже месяц. Зачем он здесь?

Екатерина Ивановна. Не знаю. Мне не с кем говорить. Вам очень больно, Георгий Дмитриевич?

Молчание. Георгий Дмитриевич встает, несколько раз проходит по комнате, вытянувшись, как на смотре, с сжатыми в кулак руками. После одного из поворотов так же решительно подходит к жене и опускается на колени.

Георгий Дмитриевич. Прости меня, Катя.

Екатерина Ивановна (*вскакивает*). Что? Пусту руку. Что?

Георгий Дмитриевич. Прости меня, Катя.

Екатерина Ивановна (*кричит*). Не смей... Не смей! Не тронь меня... Мама! Пусти меня!..

Он с силою прижимает ее голову к своей груди, заглушая ее бессвязный крик.

Георгий Дмитриевич. Катя, Катя, голубчик, что с тобой, успокойся, услышат, Катя... Это я, Катечка. Да бедная же ты моя, да милая же ты моя!

Екатерина Ивановна (*тихо*). Пусти. Бога ради пусти. Я опять закричу.

Георгий Дмитриевич. Да ты же любовь моя, — ты же вечная, единственная любовь моя. Куда я тебя пущу? Куда я тебя пущу?

Екатерина Ивановна. Пусти!

Георгий Дмитриевич. Ну, если хочешь, Катя, Катечка... — мы умрем вместе. Вместе — ты понимаешь? Потому что куда я тебя пущу? Куда я сам пойду? Да разве есть какая-нибудь дорога... Ну, умрем, умрем, и я буду счастлив.

Екатерина Ивановна. Я одна должна умереть.

Георгий Дмитриевич. Одна? А я что же буду делать? Клянусь тебе, Катя, даю честное слово, что если ты... сейчас... Открой глаза, взгляни мне прямо в душу... Ты смотришь, Катя? — ты видишь, Катя, ты видишь, Катя?

Почти отталкивает ее, подходит к двери и смотрит в сад, держа голову обеими руками. Так же, подняв руки, как для полета, смотрит на него  
Екатерина Ивановна.

(*Глухо, не оборачиваясь.*) Ты здесь, Катя? — не уходи. Боже мой! Смотрю я в этот сад, на эти тени вечерние, и думаю: какие мы маленькие, как мы смеем мучиться, когда такая красота и покой. Катя, за что я сделал тебе такую боль? за что я измучил себя? Ты вернешься ко мне, Катя?

Екатерина Ивановна. Если ты хочешь, Горя.

Георгий Дмитриевич оборачивается, подходит.

Георгий Дмитриевич. Поцелуй меня.

Целует.

Екатерина Ивановна. Пусти!

Георгий Дмитриевич. Тебе хорошо?

Екатерина Ивановна. Да. И мне страшно немного. Поцелуй меня.

Георгий Дмитриевич. Сердце мое напуганное, ничего не надо бояться, ничего. Разве есть на свете что-нибудь страшное для любви? Ничего... Я сейчас, как этот старый умный сад, а все люди — под моими ветвями.

Екатерина Ивановна. Походим.

Георгий Дмитриевич. Как прежде?

Екатерина Ивановна. Да, слушай. Нет, ты слушай внимательно...

Георгий Дмитриевич. Слушаю, деточка.

Екатерина Ивановна. Я себя боюсь.

Георгий Дмитриевич. Сегодня мы второй раз венчаемся. Любовь ты моя... И такая ты красавица, такая красавица, что можно ослепнуть... Когда я вошел сегодня и увидел тебя...

Екатерина Ивановна. Тебе страшно было входить? — ты так ужасно медленно шел.

Георгий Дмитриевич. А ты даже не отозвалась. Я тебя зову, я тебя зову...

Екатерина Ивановна. Ах, Горя, я была, как мертвая. Ты меня зовешь, а я думаю: зачем он тревожит мертвую, не тронь меня, я мертвая!

Георгий Дмитриевич. Это я тебя измучил.

Екатерина Ивановна. Нет, не ты. Слушай же, Горя!

Георгий Дмитриевич. Слушаю, деточка, каждое словечко твое слышу.

Екатерина Ивановна. Я себя боюсь! Я думаю теперь про себя: раз я могла сделать это... нет, постой: — то чего же я не могу? Значит, все могу. Что же ты молчишь, Горя: ты думаешь, что это правда?

Георгий Дмитриевич. Так вот, Катечка, слушай теперь ты. Вот я стрелял и хотел тебя убить...

Екатерина Ивановна. Неужели ты хотел меня убить?

Георгий Дмитриевич. Постой. Но следует ли отсюда, что я теперь стал вообще убийцей и вообще могу убивать, грабить и так далее? Ах, деточка моя, не только не следует, а совсем наоборот! С тех пор, как в моей руке побывала смерть, я так ценю, так понимаю чужую человеческую жизнь. Первое время, тогда, даже странное что-то со мной делалось: взгляну случайно на какого-нибудь человека, на улице или у нас в Думе, и подумаю: а как легко можно его убить! — и мне станет так его жалко и хочется быть таким осторожным, чтобы даже нечаянно как-нибудь...

Екатерина Ивановна. Ты другой. Я понимаю, что ты говоришь, но ты другой. Милый, об этом совсем не надо говорить, но я только немного... Слушай: когда я лежала в больнице, потом уже, то мне было... так стыдно и страшно... Нет, не могу!

Георгий Дмитриевич. Да, не надо, не надо. И вот еще что, Катя: об этом совсем и никогда не надо говорить.

Екатерина Ивановна. Хорошо. Ментиков здесь.

Георгий Дмитриевич. Он не существует.

Екатерина Ивановна. Хорошо.

Георгий Дмитриевич. Совсем, понимаешь? — этого не было. Ты, может быть, не поверишь мне...

Екатерина Ивановна. Я тебе верю.

Георгий Дмитриевич. Верь, деточка, верь, — но я совершенно ничего не чувствую по отношению к этому... Ментикову. Он так убийственно ничтожен...

Екатерина Ивановна. Да!

Георгий Дмитриевич. И он как паразит, и существует только, как бы это сказать, только благодаря нашей нечистоплотности.

Екатерина Ивановна. Он ничего не понимает.

Георгий Дмитриевич. Абсолютно!.. Ведь я же его знаю. Ему дадут ползти, он и ползет, а не дадут — он поползет в другую сторону. И он всегда существует, всегда ищет и всегда наготове: им можно заразиться в вагоне... Что ты, Катечка?

Екатерина Ивановна. Так. Пусты мою руку.

Георгий Дмитриевич. Тебе больно?

Екатерина Ивановна. Нет, так. Я устала ходить.

Георгий Дмитриевич. Ты похудела, Катечка, но так ты еще лучше. Знаешь, когда я увидел сегодня твои руки, я опять подумал, как тогда еще думал: что раньше когда-то руки у человека были крыльями. И ты по-прежнему летаешь во сне?

Екатерина Ивановна. Нет. Мало. А какой славный Алеша!.. Ты его любишь?

Георгий Дмитриевич. Ну как же! И Коромыслов прекрасный человек. Если бы ты знала, как он мне помог в те дни... Катя, Катечка... неужели ты снова моя жена?

Екатерина Ивановна. Да.

Георгий Дмитриевич. Сегодня?..

Молчание.

Екатерина Ивановна. Да. Мама будет очень рада.

Георгий Дмитриевич *(взволнованно смеется)*. Боже мой, что со мной делается... Катя? Ну, да ладно! Мама? Она у тебя такая прекрасная женщина, и ведь мы с ней давно уже в переписке, и она знает, что я должен приехать.



Екатерина Ивановна. Да что ты! — какая же она хитрая, Горя!.. Нет, сиди, сиди. Отчего ты не куришь?

Георгий Дмитриевич. Забыл!

Екатерина Ивановна. Вот тебе пепельница... а спички? *(Хочет подать пепельницу, но раздумывает и подает другую.)* Горя, скажи мне, отчего я стала такая? Ты сейчас спрашиваешь: сегодня? — а я думаю, что нужно сказать: нет, — и вдруг мне так захотелось сказать: да!

Георгий Дмитриевич. Оттого, что ты любишь меня.

Екатерина Ивановна. Да, люблю, но этого мало.

Георгий Дмитриевич. Другому бы не сказала.

Екатерина Ивановна. Другому? Горя, скажи мне... ты совсем простил меня? Нет, не то, Горя, скажи мне, отчего я так... волнуюсь? Нет, совсем особенно. Смотри, Горя! *(Становится перед ним, закидывая руки назад, вытянувшись, как для полета или падения в пропасть.)* Смотри, Горя, отчего? Вот я стою, и мне хочется... броситься на тебя — и обнять, душить и... Горя!

Георгий Дмитриевич бросается к ней и крепко обнимает. Продолжительный поцелуй. Внизу террасы голоса.

Пусти, идут!

Георгий Дмитриевич. Катя...

Екатерина Ивановна. Пусти.

Георгий Дмитриевич. Оттого, что ты любишь меня.

Екатерина Ивановна. Да, оттого, что люблю.

Георгий Дмитриевич. Сегодня?

Входят Коромыслов, Алеша и Лизочка. Делают вид, что все довольно обыкновенно, но все же короткая пауза.

В саду были?

Коромыслов. Да, в саду. Я, Георгий, решил: бросаю своих голых баб и на лето приезжаю сюда: нельзя же, свинство! Вы меня зовете, Екатерина Ивановна?

Екатерина Ивановна. Зову.

Коромыслов *(к Георгию Дмитриевичу)*. А ты, хозяин?

Георгий Дмитриевич. Конечно!

Коромыслов. Ага! Значит, сейчас идем к Татьяне Андреевне и сообщаем: поладили. Ах, молодые люди, что вы делаете со старухой: ведь она там трясется вся! Всю жизнь доказываю женщинам: не нужно рожать детей, ну и сами виноваты. Ну-с, Георгий Дмитриевич...

Берет его под руку и отходит. Алексей и Лизочка с двух сторон около Екатерины Ивановны.

А л е к с е й. Спасибо тебе, Катечка. Дай ручку поцелую, спасибо. Ведь Горька, ей-Богу, хороший человек. А ты рада, Катечка?

Екатерина Ивановна, улыбаясь, кивает головой.

Л и з а. И я рада. Да погоди, Алеша! Катечка, какой ужас, я в него влюбилась, и он будет писать мой портрет!

А л е к с е й (*пожимая руку Екатерине Ивановне*). А меня, Лизок, забыла!

Л и з а. Не могу же я любить двух сразу! Катя, а твой портрет он писал?

А л е к с е й. Да ты ревнивая?

Л и з а. Как черт — ох, мамы нету?

К о р о м ы с л о в (*подходя*). Ну, Лизок, луна восходит, и нам время в парк. Вы мне еще обещали какой-то гриб показать при лунном свете. А ты, Алексей, пойдешь к Татьяне Андреевне, я уж не могу, надоело, а ты и со старухами умеешь обращаться.

Л и з а. Это не гриб, а беседка, это только так называется грибом.

К о р о м ы с л о в. Это, Лизок, надо еще доказать. Пойдите... а, может быть, вы в парк, а мы здесь останемся? Как вы думаете, Екатерина Ивановна?

Г е о р г и й Д м и т р и е в и ч. Нет, ступайте, нам надо еще поговорить. Алеша, ты скажи маме, что немного погода я сам к ней зайду, а пока...

А л е к с е й. Да уж знаю, не учи. Хоть бы спасибо сказал... а, черт!

Смеются. Георгий Дмитриевич серьезно жмет руку Алексею и с чувством целует его.

К о р о м ы с л о в. Идем, идем. Руку, Лизок! (*Уходят.*)

Л и з а. Какой Алеша смешной — правда?

К о р о м ы с л о в. А вы уже заметили?..

Уходят. Молчание. В комнате полутемно, на террасе последние краски вечера борются с первыми розоватыми лучами луны.

Г е о р г и й Д м и т р и е в и ч. Вот нас и обвенчали, Катя. Отчего ты молчишь? — ты снова пугаешь меня, Катя. С тех пор, как они вошли, ты не сказала ни слова. Пойдем на диван, сядем, я хочу крепко обнять тебя.

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Горя, пойдем к детям.

Г е о р г и й Д м и т р и е в и ч. К детям? (*Задумывается на минуту в нерешимости.*) Нет, Катечка, нельзя ли завтра? У меня сегодня так устала и так изболелась душа, что я не могу — ведь это же опять волнение.

Екатерина Ивановна. Катя все время звала тебя.

Георгий Дмитриевич. Да? Нет, завтра, голубчик. Любовь ты моя, волнение мое, светлое безумие мое,— как я могу хоть один взгляд оторвать от тебя... Я говорю, а сам ничего не понимаю. Если бы Коромыслов сейчас не ушел... Да улыбнись же, свет мой тихий.

Екатерина Ивановна. Горя!..

Георгий Дмитриевич. Да?

Екатерина Ивановна. Сегодня не надо, Горя!

Георгий Дмитриевич (*шутливо*). А когда же?

Екатерина Ивановна. Не знаю. Через год.

Плачет, откинув голову назад и приложив к глазам ладони рук. Георгий Дмитриевич нежно и осторожно гладит ее по обнаженной до плеча руке.

Георгий Дмитриевич. Хорошо, моя дорогая, моя родная, милая, хорошо, моя девочка, мое сердечко измученное. Как ты скажешь, так и будет, моя голубочка милая! Разве я за этим сюда пришел? Мне ведь самому так больно... и я только молчу и буду молчать, потому что сам... сам виноват в своей...

Умолкает. Екатерина Ивановна встает.

Екатерина Ивановна. Нет, нет! Я с ума сошла! Не слушай меня. Я люблю тебя. Крепче обнимай меня, еще крепче, да еще... Пусти!

Георгий Дмитриевич. Теперь не пушу!

Екатерина Ивановна. Пусти, нет, правда. Сегодня... а сейчас пусти! Ты же мой любимый!

Георгий Дмитриевич. Что со мной делается!

Екатерина Ивановна. Ну вот и пусти... нет, правда. Я еще хочу... нет, правда, послушай!

Георгий Дмитриевич. Слушаю.

Екатерина Ивановна. Я хочу сыграть тебе то, помнишь, когда еще невестой...

Георгий Дмитриевич. Это твой план?

Екатерина Ивановна. Нет, правда, я думала, что если ты приедешь и станешь что-нибудь спрашивать, то я сыграю тебе... хорошо? Ты поймешь? — ты должен понять.

Георгий Дмитриевич. Пойму, моя радость. А разве есть роаль?

Екатерина Ивановна. В моей комнате.

Георгий Дмитриевич. Да! — ведь я еще и не был в твоей комнате, Катя!

Екатерина Ивановна. Нет, пусти — ты только слушай, внимательно слушай. Будешь?

Георгий Дмитриевич. Ты — умница.  
Екатерина Ивановна. Будешь слушать?  
Георгий Дмитриевич. Буду — как нашу молитву.

Екатерина Ивановна быстро идет, но от двери возвращается.

Екатерина Ивановна. Будешь? Нет, нет, ты иди на террасу.

Уходит. Георгий Дмитриевич выходит на террасу и становится, опершись плечом о столб. Луна освещает его непокрытую голову. Екатерина Ивановна играет — звуки рояля далеки и нежны. Осторожно открывается дверь, и выходит Ментиков в своем белом костюмчике. Оглядывается и на носках, стараясь не скрипеть, проходит комнату — видит на террасе Георгия Дмитриевича и в страхе замирает. Оправляет костюмчик и прическу и выходит на террасу, здоровается, на всякий случай, однако, не протягивая руки.

Ментиков. Здравствуйте, Георгий Дмитриевич.

Мгновенная пауза.

Георгий Дмитриевич. Здравствуйте.

Ментиков. Как изволили доехать?

Георгий Дмитриевич. Благодарю, хорошо.

Молчание.

Ментиков. Слушаете?

Георгий Дмитриевич. Да.

Ментиков. Я также очень люблю музыку. Прекрасно играет Екатерина Ивановна. Кажется, Екатерина Ивановна была в консерватории.

Георгий Дмитриевич. Нет.

Ментиков. Ах, значит, я ошибся.

Молчание. Ментиков достает портсигар.

Папиросочку не хотите, Георгий Дмитриевич? — у меня свои.

Молчание.

Георгий Дмитриевич. Давайте.

Оба молчат. Курят и слушают.

Занавес

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Мастерская Коромылова. В большое, во всю стену, окно видны крыши города, покрытые снегом, вдали сквозь дым и легкий низкий туман тускло блестит купол Исаакя — морозный день погож и ясен.

Много дорогих материй, яркими цветными пятнами разбросанных по мебели и стенам; красивая мебель разных стилей, широкие диваны, высо-

кое зеркало-трюмо с раздвижными боковниками. Просторно, щедро, красиво — здесь ничего не берегут и пользуются мгновением. К о р о м ы с л о в пишет портрет Л и з ы: последняя в летнем платье, похожем на то, что в деревне, но сама на ту не похожа: стала старше, красивее, тоньше, но и печальнее. Сейчас своей позой и манерой держать руки Лизочка напоминает сестру, Екатерину Ивановну.

К о р о м ы с л о в. Поверните голову. Да будьте повеселей, Лизок.

Л и з а (поворачивая голову). Так?

К о р о м ы с л о в. Так. Еще немного. Так.

Молчание.

Вы не устали?

Л и з а. Пока еще нет. Вам надо торопиться, скоро смеркнется. У вас ужасно рано темнеет.

К о р о м ы с л о в. Да уж! Давайте болтать, Лизок. Лизок, вы помните то лето, когда я у вас жил!

Л и з а. Ах, миленький, не вспоминайте.

К о р о м ы с л о в. Почему не вспоминать?

Л и з а. Ах, миленький, не надо. Тогда я была влюблена в вас.

К о р о м ы с л о в. Что же тут плохого? Я тоже был влюблен.

Л и з а. Жалко.

К о р о м ы с л о в. Чего жалко?

Л и з а. Что теперь не влюблена.

К о р о м ы с л о в. А почему?

Л и з а. Что почему?

К о р о м ы с л о в. Почему теперь не влюблена?

Л и з а. Вы не моего романа.

К о р о м ы с л о в. А, черт! — белил нет. Отдохните, Лизок. Вам не холодно, а то платок можно? — я сейчас буду готов.

Л и з а. Нет, не холодно. А у вас и платок для дам есть?

К о р о м ы с л о в. Все есть. Эх, голубчик, как глупо, что я тогда не стал вас писать, теперь не вызовешь того, нет, пропало!

Л и з а. Ну, вы не виноваты: кто ж знал, что мы два года не увидимся и я успею состариться.

К о р о м ы с л о в. Состариться? (Смеется.) Нет, Лизок, не в этом дело и даже не в том, что я состарился... Постоите-ка, смотрите на меня так... так!.. нет... Теперь вы, пожалуй, лучше стали, но... Вам, Лизок, не жалко будет, если я этот портрет брошу и начну новый?

Л и з а. Это вам должно быть жалко, а не мне: вы работали, а мне все равно, где сидеть.

Коромыслов. Так, так... я соображаю... все равно, где сидеть?

Лиза. Конечно. Значит, можно встать?

Коромыслов. Нет, посидите еще минутку... да, да. Левее немного, так. А вы можете засмеяться, Лизок, если, например, один клоун даст другому по роже?

Лиза (*смеется*). Могу. Мне сейчас грустно оттого, что Алеша уехал от нас куда-то в меблированные комнаты. И я сейчас в его комнате живу, знаете?

Коромыслов. Нет, не знаю.

Лиза. А отчего вы так давно у нас не были? — с вами все-таки веселее. Оттого ничего и не знаете, что не бываете.

Коромыслов. Разве давно?

Лиза. Очень давно. Горя удивляется и меня спрашивает, а я сама не знаю. Вообще, вы какой-то таинственный, и на все у вас есть какая-то отговорка. Вы только кажетесь прямым, а на самом деле никогда прямо не говорите — правда?

Коромыслов. Правда, Лизок, вы умница. А почему уехал Алексей?

Лиза. То-то, что неизвестно: он говорит, да я ему не верю. Ах, как мне надоела вся эта таинственность, никто не смотрит прямо, а все в сторону, и такая скука!

Коромыслов. Это вы верно, Лизок, все в сторону. А в театре не бываете?

Лиза. Нет.

Коромыслов. Отчего так резко?

Лиза. Оттого, что надоело. Господи, каждый день посылают в театр и все еще спрашивают: вы в театре бываете? Ну, какое вам дело до того, бываю я в театре или нет? а тоже спрашиваете. И я знаю, почему это: как только что-нибудь нужно от меня скрыть, так меня посылают в театр. И мама, глупая, об этом же в письмах спрашивает — не знает, для чего у них тут театр!

Коромыслов. Одним словом, вижу, что нам нужно разговаривать серьезно, Лизок.

Лиза. Да пора уж!

Коромыслов. Ну, бросим, ничего не поделаешь. Жалко, жалко... (*Немного отставляет мольберт и смотрит. Лиза, повернув головку, также.*) Так-то, Лизочка: были вы и прошли, и уж вновь не будете той...

Лиза. Где ты, юность знойная, ручка моя белая, ножка моя стройная...

Коромыслов. Вот именно! А если я опять влюблюсь в вас?

Л и з а. Не цветут дважды розы на Патмосе!.. Ах, миленький, все это глупости: любовь и прочее. Можно мне потянуться? (*Поднявшись на носки, не сгибая колен и откинув руки, проходит по мастерской, потягивается.*) Ну, теперь серьезно.

К о р о м ы с л о в. Так вот: почему уехал Алеша? Может быть, ему действительно необходимо заниматься или... постоит, а не влюбился ли он в вас?

Л и з а. Вы опять про любовь?

К о р о м ы с л о в. Я серьезно.

Л и з а. Ну, конечно же, нет! Мы с ним жили душа в душу. Послушайте, Павел Алексеич, вы только никому не говорите: кажется, у них что-то произошло с Катей.

К о р о м ы с л о в (*изумленно*). С Екатериной Ивановной? Что же, поссорились?

Л и з а. Не знаю. Только что-то есть: он в последнее время избегал ее и вообще старался уходить из дому, и она просит его остаться, а он уходит.

К о р о м ы с л о в. Гм! А Георгий?

Л и з а. Что Георгий? Я не понимаю.

К о р о м ы с л о в. Нет, ничего. Так просто спросил.

Л и з а. Павел Алексеич, ведь и вы избегаете бывать у нас — отчего это? Отчего сестра Катя стала такая?

К о р о м ы с л о в. Какая?

Л и з а (*тихо*). Ведь вы же знаете.

Молчание.

К о р о м ы с л о в. А я все-таки дам платок: тут холодно. (*Заботливо кутает в платок.*)

Л и з а. Какая красивая шаль! Красное ко мне идет, в красном я похожа на испанку. Вам сколько лет, Павел Алексеич?

К о р о м ы с л о в. А что? Много.

Л и з а. Молодой ни за что не позаботился бы дать платок, хоть тут издохни.

Коромыслов тихо смеется и целует руку у Лизочки.

К о р о м ы с л о в. И пальчики холодные. И, знаете что, Лизочка: давайте-ка с вами ничего не говорить о Екатерине Ивановне. Да, да! Вы уже не девочка, и обманывать вас театром и вообще как-нибудь я не хочу, да, пожалуй, и не обманешь уже... а говорить всю правду тоже не стоит. Может быть, оно и рано, а то еще как-нибудь не так скажешь... нет, не стоит. Когда нужно будет, сами увидите.

Л и з а. Разве так страшно?

Коромыслов. Ну, не думаю, чтобы так страшно, а не стоит. Посмотрите-ка, как Исаакий блестит!

Лиза. А вы не знаете, что она подводит себе глаза и... румянится?

Коромыслов. Знаю. Это многие дамы делают.

Лиза. Отчего она стала такая? Павел Алексеич, отчего она стала такая? Мне страшно.

Молчание. Коромыслов ходит.

Если бы вы знали, какая у нас в доме тоска! Все смеются, когда ничего нет смешного, разговаривают, у Гори с утра до ночи народ, и подумаешь: вот как весело живут люди. А по правде, такая тоска, что утром с постели вставать не хочется. Начнешь одеваться, а потом вдруг подумаешь: а зачем? Стоит ли?

Коромыслов. И давно так?

Лиза. Не знаю, должно быть, все время. Я, когда осенью ехала сюда, так вагон толкала ногами, чтобы поскорее, а теперь думаю: дура ты, дура деревенская, куда стремилась? Да уж теперь назад не поедешь — раз приехала, так сиди.

Коромыслов. Ну, а Георгий?

Лиза. Ну и он тоже, не лучше других. Сам седой, сам мрачный, а нет, чтобы сказать прямо и честно, по душе — нет, тоже смеется и посылает в театр. И... ну, уж все равно: я скоро и Богу перестану молиться... я Георгия теперь не уважаю.

Коромыслов. Это же за что?

Лиза (*мрачно*). Не скажу. Вы сами знаете прекрасно. Боже мой, какие все люди луны, как они притворяются и постоянно хотят обмануть. Нате ваш платок!

Коромыслов. Да ведь холодно, чудачка.

Лиза. Нисколько мне не холодно. Нате! Не хочу вашего платка. Какие у вас женщины бывают, и вы всем даете этот платок укрываться — противность какая! И Катя лучше вас всех, хоть вы и жалуетесь, что она красится. Если бы вам можно было, вы тоже бы красились... смешно? Ну и глупо.

Коромыслов смеется. За дверью голоса, и нарядная горничная, впускает Екатерину Ивановну, в черной бархатной шубке, вуали и шляпе, и Ментикова — последний без верхнего платья.

Екатерина Ивановна. Здравствуйте, детки! Как тут у вас весело. Не целуйте руку в перчатке, Павел Алексеич, я не люблю, когда целуют в перчатке.

Коромыслов. Раздевайтесь, Екатерина Ивановна.



Екатерина Ивановна. Вы думаете? Нет, не стоит, я ненадолго. Или снять? Ну, хорошо, пальто снимите, а шляпу не надо, с ней так долго возиться. Отчего ты такая красная, Лизочка.

Лиза. Я не красная.

Ментиков. Павел Алексеевич, вы не пробовали писать Екатерину Ивановну в шубке и вуали?

Коромыслов. Не пробовал. Чего хотите, Екатерина Ивановна, — чаю, фруктов, вина?

Екатерина Ивановна. Ничего не хочу.

Лиза. А у вас все есть?

Коромыслов. Все, Ментиков, положите, пожалуйста, ста.

Ментиков (*принимая шубку и отыскивая для нее место*). Если бы я был художником, я написал бы Екатерину Ивановну именно такую. Я здесь положу.

Екатерина Ивановна. А портрет — послушайте! Вы его повернули, вы не хотите показывать?

Коромыслов. Нет, не стоит смотреть. Не удался.

Екатерина Ивановна. Ну, пожалуйста!

Коромыслов. Нет, дорогая, нет. Вы откуда это ко мне пожаловали?

Ментиков, как человек знающий, уже добыл где-то в углу папку и рассматривает этюды, прицениваясь глазом. Коромыслов искоса следит за ним.

Ментиков. Мы исполняли поручение Георгия Дмитриевича.

Издали глухо доносится звонок телефона.

Екатерина Ивановна. Да, отвезили какую-то бумагу в Думу. Георгий теперь так много работает, что я начинаю бояться за его здоровье, хотя бы вы его убедили...

Входит горничная.

Горничная. Павел Алексеевич, вас просят к телефону.

Коромыслов. Иду. Простите, я одну минуту. (*Быстро выходит, бросив подозрительный взгляд на Ментикова.*)

Екатерина Ивановна. Ты давно здесь, Лиза? Лиза, тебе письмо от Алеши.

Лиза. Где же оно?

Екатерина Ивановна. Дома, конечно! А ты уж в нетерпении — ах, эти влюбленные!

Лиза. Мы не влюбленные.

Екатерина Ивановна. Да? Вы что смотрите, Аркадий Просперович? — какая прелесть!

Заглядывает мельком через плечо и отходит. Возвращается Коромыслов.

Что-нибудь интересное?

Коромыслов. Так, знакомый один.

Екатерина Ивановна. А не знакомая? — нет, нет, я шучу. Послушайте: что я хотела сказать? Да: отчего вы не приезжаете к нам? Георгий каждый день о вас спрашивает.

Коромыслов. Работаю, дорогая, работаю.

Екатерина Ивановна. И пьете?

Коромыслов. Пью я по ночам. Эй, Ментиков, Аркадий Просперович, вы смотрите, как-нибудь нечаянно моего рисунка не захватите!

Ментиков *(смеется)*. Какая клевета на невинного человека! Но что правда, то правда: вот этот рисуночек я у вас непременно попрошу.

Коромыслов. Какой еще? Нет уж, голубчик, оставьте. Вы знаете, у этого господина подобралась уже целая коллекция моих вещей.

Ментиков. Да ведь маленький! Ну, чего вам стоит.

Коромыслов. А того стоит, что денег.

Ментиков. Другой напишете!

Коромыслов. Ну, давайте, давайте, разорвете! Да и папку я закрою, а то соблазн, я вижу... *(Закрывает и прячет папку.)*

Ментиков. Эх!

Екатерина Ивановна. Пожалуйста, без ваших вздохов, Аркадий Просперович: раз не дают, значит, нельзя. Послушайте: какая красота — солнце уже заходит. Посмотри, Лиза!

Лиза. Я отсюда вижу.

Екатерина Ивановна. Как у нас теперь, должно быть, в деревне! Ведь я тоже деревенская, Павел Алексеевич, вы не думайте: мы все сестры деревенские. Послушайте, Павел Алексеевич: а что если разбежаться и головой в это стекло, то куда упадешь?

Коромыслов. На улицу.

Екатерина Ивановна. Бездыханным трупом? Смотрите! *(Поднимает руки и вытягивается, как для полета — но есть в этой позе ее преувеличение и искусственность.)*

Лиза. Катечка, не надо. Неприятно смотреть!

Ментиков. Нет, по стойте так, Екатерина Ивановна,

я когда-нибудь так сниму вас. Вы знаете новость, Павел Алексеевич: я ведь сделался-таки фотографом! Чудесный аппаратик, стереоскопический, и особенно хорошо выходит!..

Екатерина Ивановна. Мне дурно! (*Опускается на диван.*)

Коромыслов (*грубо*). Воды у меня, кажется, нет. Вина хотите?

Екатерина Ивановна. Нет, прошло. Лизочка...

Лиза. До свидания, Павел Алексеевич.

Коромыслов. Куда же вы, Лизок? Посидите, голубчик: мне так жалко, что сегодня я заставил вас напрасно страдать. Приходите во вторник, я вас теперь испанкой писать буду.

Лиза. Ах, миленький, — какая я испанка!

Коромыслов. А кто же вы? — я уж и понимать перестал.

Лиза. Я! (*Закрывая глаза и склоняя голову.*) Я — просто бедная Лиза. Катя, Катечка, мы вместе пойдем?

Екатерина Ивановна. Нет, я еще побуду, у меня кружится голова. Послушайте... мне можно еще побыть у вас? Я недолго!

Коромыслов. Да, конечно, дорогая, что за вопрос! Мы и шляпу сейчас снимем...

Лиза (*быстро шепотом*). Спасите ее!

Коромыслов смотрит вопросительно и хмуро.

Да, да, вы все можете. Спасите!

Екатерина Ивановна. Что ты там шепчешь, Лиза?

Лиза. Так, секрет. До свидания, миленький, я скоро опять влюблюсь в вас. Хотите? Любовь свободна... Хороша испаночка?

Ментиков (*в недоумении*). А как же я?

Екатерина Ивановна. Вы проводите Лизу.

Ментиков. Но мы же вместе приехали?

Лиза. Ну, мой тореадорчик, идем-ка, нечего там распинаться.

Екатерина Ивановна. Только, пожалуйста, Лиза, не в трамвае. Возьмите извозчика.

Лиза. Отчего, Катечка? — мне так хочется! На лошади-то я в деревне наездилась. Мы с тореадорчиком никуда не свалимся, мы с тореадорчиком как сядем, так и встанем!

Ментиков (*кисло*). А в автомобиле хотите?

Лиза. Ей-Богу?

Ментиков. Я возьму таксомотор.

Лиза (*с уважением*). А знаете — в вас, действительно, есть что-то испанское! Идем!

Коромыслов. На два слова, Лизок, — теперь у меня секрет.

Отходят. Ментиков прощается с Екатериной Ивановной и что-то просительно говорит ей.

Не ездите с ним на автомобиле.

Лиза (*удивленно*). Почему? Какие глупости.

Коромыслов. Я вас прошу, Лизочка.

Лиза. Да что же может случиться?

Коромыслов. Я вас прошу.

Лиза. Ну хорошо, миленький... но, Господи Иисусе, какие вы все таинственные и... противные. Прощайте! (*Быстро идет.*)

Коромыслов (*идет за ней*). Я вас одену. Ментиков, вас ждут!

Ментиков. Сейчас, иду, иду!

От двери, оставшись один, посылает Екатерине Ивановне воздушный поцелуй. Екатерина Ивановна одна. Быстро встает, снимает шляпу и странно, как актриса, перегибается перед зеркалом. Заглядывает вниз — на улицу — и быстро со страхом отходит. Садится на прежнее место в позе отчаяния и безысходности, но при входе Коромыслова меняет ее на более спокойную. Коромыслов останавливается в нескольких шагах.

Молчание.

Екатерина Ивановна. Павел, пойди сюда.

Коромыслов. Нет, я лучше останусь здесь.

Молчание.

Екатерина Ивановна. Ты меня разлюбил?

Коромыслов. Я и никогда вас не любил.

Екатерина Ивановна. Зачем ты так говоришь... Послушай, ты серьезно?.. Нет, это неправда, ты меня любил.

Коромыслов. Нет.

Екатерина Ивановна (*вопросительно*). Тогда это подлость?

Коромыслов. Я никогда не говорил, что люблю вас.

Потрудитесь вспомнить, Екатерина Ивановна.

Екатерина Ивановна. Для вас нет ничего святого.

Коромыслов. Очень возможно, что вы и правы. Я плохой человек. И в этом смысле ваш упрек я принимаю полностью.

Екатерина Ивановна. Послушайте, если вы не любите меня, то зачем же?.. Вы шутите? Не пугай меня, Павел, ты шутишь?

**Коромыслов.** Нет, дорогая, не шучу. У меня есть дурное правило: никогда не отказываться от женщины, которая сама идет ко мне в руки. Плохое правило, что и говорить, но ведь я и не выдаю себя за святого. Плохо, плохо, что и говорить.

**Екатерина Ивановна.** Но почему же теперь так?.. или теперь у нас новые правила?

**Коромыслов.** Потому что не хочу! Потому, наконец, что все это стало слишком гнусно и... Кто знает? Обманывая, часто сам обманываешься, и, в конце концов, я никогда не знаю: меня ли обманули, я ли обманул. Да и не все ли равно?

**Екатерина Ивановна.** Вот вы какой... нехороший. Послушайте, Павел Алексеевич, вы очень испугались, когда я хотела броситься в это окно?

**Коромыслов.** Нет, не очень. Мы — живописцы по женской части и врачи по женским болезням — составляем две вредные в государстве группы, то есть вредные для женщины. Не то мы женщин слишком хорошо знаем, не то ничего не знаем...

**Екатерина Ивановна.** Вы влюблены в Лизу.

**Коромыслов.** Вздор, милейшая! И вообще я не советовал бы вам совсем говорить о сестре.

**Екатерина Ивановна.** Вы шутите?

Молчание.

**Коромыслов.** Екатерина Ивановна, а почему уехал от вас Алексей?

**Екатерина Ивановна.** Не знаю.

**Коромыслов.** Вы лжете, дорогая.

**Екатерина Ивановна.** Нет, не лгу. Откуда я могу знать, почему Алеша уехал, — может быть, ему надо заниматься. И почему вы меня об этом спрашиваете? — спросите лучше Лизу!

**Коромыслов.** Вы лжете, Екатерина Ивановна, послушайте меня... Я — много в жизни выдавший человек, но и мне порой... жутко смотреть на вас. Что делается с вами, я ума не могу приложить, смотрю и теряюсь. Конечно, я не требую от вас полной откровенности, но, дорогая! — попробуйте, просто попробуйте поговорить со мной. Я не муж, со мной можно все говорить.

**Екатерина Ивановна.** Нет, вы шутите? Со мной ничего не делается.

**Коромыслов.** Это ужасно!

Молчание.

Екатерина Ивановна. Павел, пойдй сюда. Ты сегодня ни разу не поцеловал меня.

Молчание.

Павел!.. Так-то вы относитесь к вашим гостям, Павел Алексеевич!

Коромыслов. Это ужасно! Екатерина Ивановна, почему вы не выгоните Ментикова?

Екатерина Ивановна. Какие глупости — за что? Он очень милый и услужливый, и он постоянно нужен Георгию, он исполняет его поручения. Павел... Ты ревнуешь, Павел?

Коромыслов. Это ужасно!

Молчание.

Екатерина Ивановна. Ну, хорошо, я скажу тебе... Можно подойти к тебе? — мне трудно говорить, когда ты так далеко.

Коромыслов. Подойди.

Екатерина Ивановна подходит к нему и, перебирая рукой пуговицы на его пиджаке, смотрит ему в лицо слегка расширенными глазами; брови ее мучительно приподняты.

Ну?

Екатерина Ивановна. Послушай меня, Павел, я тебе скажу... Ты серьезно это говорил? — скажи!

Коромыслов. Да, да!

Екатерина Ивановна. Ах, не надо, не сердись, я скажу... Павел, может быть, мне лучше умереть?

Коромыслов. Ты мучаешься?

Екатерина Ивановна опускает глаза и долго в знак отрицания кивает головой.

Екатерина Ивановна. Нет.

Коромыслов. Ну, тебе больно? — и что же ты, наконец, чувствуешь, скажи! Ну, хоть иногда, в минуты просветления, ты видишь, во что ты превращаешься?

Екатерина Ивановна молча утвердительно кивает головой.

Это ничтожество, Ментиков, которого я, в конце концов, выгоню, потому что он крадет мои рисунки, я... теперь, кажется, Алексей, может быть, еще кто-нибудь... Почему уехал Алексей?

Екатерина Ивановна. Не знаю. Больше никого не было.

Коромыслов. Это правда? (Екатерина Ивановна молчит и перебирает пуговицы.) Это ужасно!

Екатерина Ивановна. Нет, правда. Больше никого не было.

Коромыслов. Это ужасно, Катя! К несчастью, я художник, на всю жизнь испорченный человек, и минутами я — как бы тебе это сказать? — даже с некоторым интересом, удовольствием вижу, как выявляется в тебе это новое и... И мне хочется раздеть тебя — нет, нет!.. и писать с тебя вакханку, Мессалину, и вообще черт знает кого. Боже мой, какая это темная сила — человек! Не знаю, чувствуешь ли ты это сама или нет, но от тебя исходит какой-то дьявольский соблазн, и в твоих глазах... минутами, конечно...

Екатерина Ивановна. Чувствую.

Коромыслов. Ты этого хочешь?

Екатерина Ивановна молча перебирает пуговицы.

Екатерина Ивановна. Не знаю. Может быть.

Коромыслов. Пусти!

Екатерина Ивановна. Поцелуй.

Коромыслов. Пусти же!

Екатерина Ивановна. Поцелуй меня.

Коромыслов отрывается и ходит. Екатерина Ивановна остается на том же месте, стоит, опустив глаза и бросив руки вдоль тела. Молчание.

Коромыслов. Я не знаю, какую вы были раньше, Екатерина Ивановна, я плохо знаю вас, как плохо знаю всех женщин, которые не мои любовницы, но теперь — вы ужасны! И я ошибся: вы не вакханка. Вы что-то мертвое, умершее, и вы развратничаете или начинаете развратничать во сне!

Екатерина Ивановна. Постойте!

Коромыслов. И этакая мерзость, и этакая гнусность! Ведь когда я сошелся, сходил с вами, я ведь думал, что вы живой человек, и, как с живым, борьба и все такое — а оказался просто мародером, который грабит трупы! Ведь вы труп, вы мертвая, Екатерина Ивановна! Этакая мерзость!

Екатерина Ивановна. Постойте, постойте!

Коромыслов. И, конечно, вам нужно умереть! Просите мужа, пусть пристрелит вас — благо уже стрелял однажды!

Екатерина Ивановна. Да погодите же! Я скажу... Павел Алексеевич, вы что сказали? Надо умереть, да? Да, да, надо умереть. Но как же я умру? — я не могу, я не умею! Боже мой, что же мне делать, к кому же мне пойти? Павел Алексеевич... Павел Алексеевич, что же мне делать? *(Как слепая, бродит по мастерской, натываясь на мебель.)* Павел

Алексеевич... Там, за окном, эта пропасть. Да, да, это ужасно, это ужасно! *(Закрывает глаза ладонями рук и неровными шагами, колеблясь, медленно подвигается к окну. Коромыслов делает шаг к ней, но останавливается и наблюдает, невольно приложив обе руки к груди.)*

Екатерина Ивановна *(подвигаясь)*. Я иду, я иду... Господи, я иду... *(Останавливается перед окном, смотрит — и, вскинув сверху руки, с неясным криком или плачем опускается на пол. Лежит неподвижно, лицом к полу, как внезапно застигнутая пулей и смертью.)*

Коромыслов. Екатерина Ивановна! *(Подходит, наклоняется. Осторожно касается плеча.)* Екатерина Ивановна, Катя, как друг... Встаньте, ну, дорогая, ну, голубчик. Нельзя же так лежать.

Екатерина Ивановна *(шепотом)*. Мне стыдно.

Коромыслов. Не слышу!

Екатерина Ивановна *(громче)*. Мне стыдно, что я не могу, я потом сделаю это. Оставьте меня, уйдите.

Коромыслов. Вздор, вставайте! Вы не виноваты! Да ну же, дорогая... Так, так, и лицо нечего прятать: со всяким бывает, и делать вам с собой ничего не надо. Вот я вас на креслице посажу и вина вам дам... или нет, не хотите? Ну не надо,— правда, нелепая привычка: от всего лечите вином. Ну как, лучше?

Екатерина Ивановна. Да.

Коромыслов. Ну, и великолепно. Окно у меня, действительно... дай-ка я его задерну...

Екатерина Ивановна. Нет, не надо. Покажите мне.

Коромыслов. Что?

Екатерина Ивановна. Портрет Лизы.

Коромыслов. Не стоит, дорогая, не похоже, совсем плохо! Да и темновато уже, красок не разберешь.

Екатерина Ивановна. Покажите.

Коромыслов. Ну извольте, раз уж... *(Оборачивает портрет и сам смотрит вместе с Екатериной Ивановной.)* Вы понимаете, чего я хотел? В сущности, это воспоминание, и теперь Лизочка совсем уж другая, то есть не то, чтобы совсем... Но тогда, у вас, летом... Не плачьте, голубчик, не надо.

Откинув голову вбок, на спинку кресла, опустив руки между коленей, уже не глядя на портрет, Екатерина Ивановна плачет тихими слезами.

Да, жизнь. А может, и мне надо бы плакать, да куда уж,— поздно, и слез нет. Да, а поплакать не мешало бы. Странный



я человек, и в детстве никогда не плакал и всегда про себя думал, что если я уж заплачу, так только кровавыми слезами. Понимаете?.. (Глухо доносится звонок телефона.) Телефон,— а, черт. Можно? — я на минуту.

Екатерина Ивановна утвердительно кивает головой. Во все время отсутствия Коромыслова она остается в той же позе, но плакать перестает.

К о р о м ы с л о в (входя). Георгий звонил, сейчас сюда приедет. Что ему понадобилось? Говорит, что скучает без меня, давно не видал. По голосу в хорошем духе. Так как же, дорогая?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Мне уйти?

К о р о м ы с л о в. Да, уж лучше уйти. Вы как себя чувствуете?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Я сейчас.

К о р о м ы с л о в. Да вы не торопитесь, успеется еще. Георгий, да... Екатерина Ивановна, вы сейчас в полном разуме и можете меня слушать?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Да. Зачем едет Георгий?

К о р о м ы с л о в. Не знаю. Одним словом, окно и пропасть — все это пустяки, драма, кинематограф — верно? А настоящее то, что вы должны забрать себя в руки, и я вас настоятельно об этом прошу, просто требую. Даете слово?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а (вставая). Где моя шляпа?

К о р о м ы с л о в. Вот. Ведь что, на самом деле, такое случилось? Ну, и наладится, только бы вы...

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Поищите шпильку, тут, на полу. Вы совсем не умеете ухаживать за дамами, а пора бы научиться!

К о р о м ы с л о в (находя шпильку). А слово?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Послушайте, Павел Алексеич, вы серьезно?

К о р о м ы с л о в. Что серьезно?

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Что наладится? Подайте мне шубку... вам нравится? Ментиков говорит, что вы так должны написать меня. Отчего вы не хотите меня писать, тогда б я у вас каждый день бывала.

К о р о м ы с л о в. Екатерина Ивановна!

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Опять? Не надо сердиться, ай, как нехорошо! К вам не идет, когда вы сердитесь: вы должны быть спокойным, равнодушным, тогда женщине с вами приятно.

К о р о м ы с л о в. Я все-таки верю.

Е к а т е р и н а И в а н о в н а. Послушайте, вы серьезно? Не надо серьезно.

Коромыслов. Я верю!

Екатерина Ивановна. Ну, хорошо, вы такой милый, и я... Поцелуйте меня! *(Молчание.)* Я уйду; когда человек уходит, его всегда можно поцеловать. Нарочно, мы родственники, или...

Коромыслов. Как с Алешей?

Екатерина Ивановна. Почему с Алешей? — у вас опять какие-то гадкие мысли. Ну, разочек, ну, дружески... не хотите? Ну, скорее, а то сейчас муж придет *(делая страшные глаза)* — му-у-ж! *(Коромыслов молчит.)* Ага, — мужа испугались! А вдруг я скажу Горе, и он вызовет вас на дуэль, что вы тогда — ага, страшно? Я шучу, — он стрелять не умеет. Ну, нате, руку целуйте, если губки не хотите... Что, и руку не хотите? — Господи, как рассердился! Завтра я к вам приеду.

Коромыслов. Не надо.

Екатерина Ивановна. А если я еще хочу в окно посмотреть? там *(делая страшные глаза)* про-о-пасть. Как вы это давеча сказали: пропасть!

Коромыслов. Меня не будет дома.

Екатерина Ивановна. Послушайте, а если я все это шучу? *(Делая вид, что плачет.)* Какой злой, ничему не верит, даже до двери проводить не хочет. Злой! Прощайте, злюка! *(Уже открыв дверь.)* Послушайте, на минутку... Правда, что я похожа на вакханку? — нет, нет, я не то хотела. Уговорите Горю... как вы это сказали? — пристрелить меня. Или, может быть, вы сами?

Смеясь, уходит. Коромыслов мрачно проходит по комнате, потом останавливается перед портретом и рассматривает, заложив руки в карманы и повсвистывая. Неопределенно покачивает головой. Хочет взять кисти и по дороге мельком заглядывает на себя в зеркало, задумывается и возвращается назад. Повертывает полотно изнанкой. Входит Георгий Дмитриевич.

Георгий Дмитриевич. Здравствуй, Павел, давай поцелуемся. Ну, как ты? Сейчас у парадного жену встретил, жалуется, что ты ее прогнал. За что так жестоко?

Коромыслов. Я думаю, что она тебе и дома надоела. Вино будешь? *(Звонит.)*

Георгий Дмитриевич. Пожалуй. Как тут у тебя красиво, — счастливый ты человек, что можешь так жить. А я, брат, замучился с делами: в двух комиссиях, третьего дня в Думе выступал...

Коромыслов. Читал и заочно поздравлял... *(Вошедшей горничной.)* Маша, дайте нам вина, вы знаете, какого... Читал, брат, читал.

Георгий Дмитриевич. А горничная у тебя недурна, — новая?

Коромыслов. Для отвода глаз мужьям.

Георгий Дмитриевич (*смеясь*). Да, ведь ты дамский...

Коромыслов. Дамский. Ты что это в сюртуке, разве ты не из дому?

Георгий Дмитриевич (*оглядывая себя*). А ведь и правда, в сюртуке. Не заметил. Я теперь иной раз, как с утра влезу в сюртук, так до самой ночи. Ну, что написал? — показывай.

Коромыслов. Да и вообще вид у тебя неважный. И если уж сюртук надевать, Георгий Дмитриевич, так и чистить его надо. Правый-то бок у вас в пуху.

Георгий Дмитриевич. Ну, это уж не я виноват, а горничная...

Горничная подает вино.

Положительно недурна. Павел, отчего ты нас забыл, — работа, что ли? У нас народ интересный бывает... да ты помнишь Тепловского Якова? Теперь, брат, композитор, пианист, скоро знаменитостью будет — он у нас часто бывает. Хотел к тебе заехать. И Катя хоть и забросила музыку, но поигрывает — музыку бы послушал, — свинство, Павел, свинство!

Коромыслов. Огонь зажечь?

Георгий Дмитриевич. Нет, не надо.

Молчание.

Коромыслов. Горя, что у вас в доме делается?

Георгий Дмитриевич. А что? Как будто ничего особенного.

Молчание. Оба закуривают.

Георгий Дмитриевич (*изменившимся голосом*). Впрочем... Действительно, нехорошо. Ты что-нибудь знаешь?

Коромыслов. Знаю.

Георгий Дмитриевич. Тебе... Катя сказала?

Коромыслов. Сам догадался. Отчего ты, Георгий, молчишь? — говори, хуже не будет.

Георгий Дмитриевич. Да особенно плохого пока ничего. Правда, немного заброшены дети, и так кое-что... но Катя по природе здоровый человек, и я думаю, что все это наладится. Жалко вот, что Алеша уехал: он оказывал на нее хорошее влияние.

Коромыслов. А ты?

Георгий Дмитриевич. Я? Мое влияние, ты знаешь: вообще, как влияние мужа...

Коромыслов. Почему ты не выгонишь Ментикова? Прости, что я говорю так прямо, но мы с тобою не маленькие, и в прятки нам играть нечего... Кстати, на какие средства живет Ментиков? Я его как-то спросил, а он отвечает: «Я — джентльмен и личным трудом денег не зарабатываю». А мне именно кажется, что он мордой зарабатывает.

Георгий Дмитриевич. Оставь!.. Да, раз в прятки играть нечего, то... Все погубло, Павел, все пропало! Форма жизни как будто и осталась: хозяйство там, дети, наконец, моя работа... вот сегодня детям новые костюмчики надели, ну, а внутрь заглянешь — прямо, брат, ужас! Что делать, Павел, что делать?

Коромыслов. И давно это началось?

Георгий Дмитриевич. Не знаю. Не заметил начала. Да давно уж. И как ты думаешь, Павел, — скажи по совести, — неужели все это я наделал? А?

Коромыслов. Ну, как тебе сказать...

Георгий Дмитриевич. Нет, постой: неужели это я, именно я, своей рукой так исказил человека, образ человеческий? Ты подумай.

Коромыслов. Ты, не ты, а вообще совокупность обстоятельств и... характер. В Катерине Ивановне слишком много этого — как бы тебе выразиться, чтобы не соврать? — женского, женственного, ихнего, одним словом. Пойми ее, чего ей надо? Ну, скажем, иду я, мужчина, в царствие небесное, и так всем об этом говорю, и так все это и видят: вот человек, который идет в царствие небесное. А женщина? — черт ее знает, куда она идет! То ли она распутничает, то ли она молится своим распутством или там упрекает кого-то... вечная Магдалина, для которой распутство или начало, или конец, но без которого совсем нельзя, которое есть ее Голгофа, ее ужас и мечта, ее рай и ад. Молчит, таится, на все согласна, улыбается, плачет... Катерина Ивановна часто плачет?

Георгий Дмитриевич. Нет, не видал. Редко.

Коромыслов. Наверное, плачет, как кошка, где-нибудь на чердаке, между стропилами. И вот пойми — чего ей надо? Понял — и вот тебе святая, и красота, и чистота, и неземное блаженство, а не понял — ну, и полезай к черту в пекло. Ты пробовал говорить с ней прямо?

Георгий Дмитриевич. Пробовал. Лжет каждым словом.

Коромыслов. Ну, конечно... Она и мне лжет, хотя бы, кажется, и незачем. И мы с вами, Георгий Дмитриевич, думаем, что это ложь, а это значит только то, что она просто не верит в логику, как ты не веришь в домового, не верит в твой мир наружный, не верит в твои факты, потому что имеет свой собственный мир. Пойми ее, если хочешь!

Георгий Дмитриевич. Да. Ты видел ее глаза?

Коромыслов. Подкрашенные?

Георгий Дмитриевич. Ах, не то! Она — как слепая: ты посмотри, как она ходит, ведь она натывается на мебель. Да, в каком мире она живет? И в то же время... она ужасна, брат, она ужасна. Я не могу тебе рассказывать всего, но наши... ночи — это какой-то дурман, красный кошмар, неистовство.

Коромыслов. Прости за нескромный вопрос — почему у вас нет детей?

Георгий Дмитриевич. Она не хочет.

Коромыслов. А ты?

Георгий Дмитриевич пожимает плечами. Молчание. Заметно темнеет, и огромный четырехугольник окна становится синим.

Пристрелил бы ты ее, Горя, — ты сделаешь доброе дело.

Георгий Дмитриевич. Да? Не могу. Походим; Павел. Знаешь, мне сейчас очень приятно, что мы с тобой так говорим, наконец... по-мужски. И у тебя так красиво, не то, что у меня дома. За этим окном улица?

Коромыслов. Да, улица. Отчего же не можешь? Силы, боишься, не хватит или веру в себя потерял?

Георгий Дмитриевич. Силы? Нет, голубчик, какой же я судья человеку? Я и себя-то не понимаю, а тут еще другого судить... Ах, и не в том дело, а в том, что я — не могу, ничего не могу, понимаешь: ничего. Нищий. Дурацкая ли это покорность судьбе или рабство, прирожденное лакейство природы, для которого не хватало только случая...

Коромыслов. Ну, ну... не слишком!

Георгий Дмитриевич. Ах, Павел, ты еще не знаешь всей глубины моего горя! Вот жалуюсь тебе, что она лжет, — а я? Я, брат, и сейчас тебе тоже лгу... нет, не смыслом, конечно, а вот выражением лица, тем, что вместо крика, — рассуждаю, как у себя в комиссии. А работа моя, которой я, как щитом, только отгораживаюсь от совести, разве не ложь? Эх! Что делать, что делать!

Молчат и ходят.

**Коромыслов.** Живу я довольно долго, Горя, и заметил одно: у каждого себя уважающего человека на всю его жизнь есть одна пуля, одна-единственная пуля — понимаешь? И если ты как-нибудь поторопился, или сделал промах, или вообще ненужно ее израсходовал, то...

**Георгий Дмитриевич.** Понимаю, не договаривай, брат. Плохой ты утешитель, но что ж, — из песни слов не выкинешь.

Молчание. Ходят и курят.

**Коромыслов.** А себя ты мог бы убить, Горя? Прости, так, из интереса спрашиваю.

**Георгий Дмитриевич.** Я понимаю. По совести если — то не знаю. Скорее нет, чем да.

**Коромыслов.** А надежды никакой?

**Георгий Дмитриевич.** Надежда всегда есть. К несчастью.

**Коромыслов.** Да, к несчастью. Что же ты не пьешь вина?

**Георгий Дмитриевич.** Спасибо, не хочется. Кажется, уже фонари зажглись.

Оба подходят к окну и смотрят, вырисовываясь черными силуэтами на фоне посветлевшего окна.

**Высоко?**

**Коромыслов.** Шестой этаж. Пропасть!

**Георгий Дмитриевич.** А красиво. Так как же, Павел — жить-то ведь надо?

Оба молчат и курят, темные и неподвижные на светлом. Все более светлеет за окном, и все темнее в комнате. Тишина.

З а н а в е с

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гости у Коромыслова. Кое-что изменено в обычной обстановке, кое-что добавлено: взятый напрокат рояль, живые цветы на столе и в вазах. В стороне стол с вином, закусками и фруктами. Большое окно на улицу наполовину занавешено. В задней части мастерской — ближайшей к авансцене — высокий занавес отделяет угол с диваном: здесь одна только лампочка в синем стекле, полутемно. Весь свет сосредоточен в глубине мастерской: там все ярко, колоритно, богато.

**Коромыслов,** разговаривая и шутя, внимательно работает над картиной «Саломея». Саломея — Екатерина Ивановна. Полуобнаженная, она стоит на возвышении, с опущенной головой и потупленными глазами; в протянутых руках тонкое, кажется, жестяное декора-

тивное блюдо, на котором предполагается голова Иоанна. За роялем Тепловский Яков — пианист, дородный человек с бритым, уже раскормленным, холеным лицом и ярко-белыми заметными зубами, которыми он производит впечатление. Держится нагло и прилично. Большую частью стоят около мольберта или стола с вином два художника, товарищи хозяина: Торопец и Людвиг Станиславович. Около стола хозяйничает неумело и смущаясь мальчик лет четырнадцати, в аккуратной курточке, хорошенький — племянник Коромыслова.

Из прежних знакомых трое, кроме Екатерины Ивановны: Ментиков, очень довольный и веселый, Алексей и Лиза. Лиза сидит одна в темном углу, тревожно прислушивается к разговорам; Алексей, одетый в штатское, бродит по мастерской, иронически и вызывающе относится ко всему, что говорят и делают художники. У него выросла небольшая бородака...

Коромыслов. Так, так, недурно... Яков, отчего не пьешь вина? — пей, за тобой некому ухаживать. Избаловали тебя дамы.

Тепловский (*смеясь и показывая зубы*). А тебя? Молчи, старый греховодник!

Коромыслов. Если что-нибудь в хозяйстве не так, господа, то простите холостяка. Журочка... Господа, вы все познакомились с Журочкой? — покажись им, Жура. Это мой племян из Костромской губернии, талантливый мальчишка... Похозяйничай, Жура, не смущайся. За дамами поухаживай.

Тепловский. Ну, у тебя дам не богато.

Екатерина Ивановна (*не меняя позы*). А я?

Тепловский. Да какая же вы дама? Вы девица Саломея, да еще в руках у этого Ирода... Друг мой, Павел, так нельзя — ты себя компрометируешь: разве это рояль? (*Берет две-три ноты.*) Мог бы обзавестись настоящим инструментом: денег зарабатываешь ой-ой!

Коромыслов. Вы не устали, дорогая? Ну, потерпите, потерпите, искусству нужно приносить жертвы. Денег нет, напрокат взял, — а что, дрянь?

Ментиков. Шер метр, давайте я похозяйничаю. Я умею.

Коромыслов. Вы? Ну ладно. А поить будете?

Ментиков. Я-то? Я сам уже выпил четыре рюмки коньяку, а вот теперь ликеру... или еще коньяку? Посоветуйте, Торопец.

Торопец (*издали*). Ну вас к черту.

Смех.

Людвиг Станиславович. Он вчера у Торопца эскиз стащил.

Ментиков (*рисуюсь*). Что за выражение... Так как же, Журочка... тебя зовут Жура? — что же мы теперь будем делать? Вам чего прикажете подать, Яков Львович?

Тепловский. Видно, я уж сам подойду.

Алексей. Павел Алексеевич...

Коромыслов. Что скажешь, голубчик?

Алексей. Вы это всем дамам говорите?

Коромыслов. Что такое говорю?

Алексей. Что искусство требует жертв.

Коромыслов. Всем. Они любят ласку.

Алексей. А искусство — жертвы?

Коромыслов. А искусство любит жертвы. Как ты находишь, Торопец? — что-то ты все косишь глазом.

Торопец (*энергично качая головой*). Нет, не нравится.

Коромыслов. Ого... А что же тебе не нравится?

Людвиг Станиславович. Пустяки. Взято сильно. Торопец торопится.

Смех.

Ментиков. Нет, вы представьте себе эту новость: я уже шестую рюмку пью, я уже совсем пьян! Катерина Ивановна, не браните меня сегодня: я уже шестую рюмку пью... Вы икорки, икорки свежей возьмите, редкостная икра, Яков Львович! Сам покупал у Елисеева.

Тепловский (*прожевывая*). Вы? Это почему же?

Ментиков. По поручению Павла... Павла Алексеевича. (*Громким шепотом*.) Яков Львович, а вы заметили, как хороша сегодня наша Екатерина Ивановна? Безумие! Отчего вы у них редко бываете?

Торопец. А я тебе говорю, что в ней Саломеи нет ни на грош. Саломея... Это, брат, такое... у нее, брат, в одних глазах столько этакого, что так тут и сгоришь, как соломенная хата. А это что? — девица из немецкой портерной. Са-а-ломея!

Алексей (*иронически*). Я тоже нахожу, что здесь нет Саломеи. Саломея — тип весьма определенный.

Торопец. Верно.

Коромыслов. А вот мы сейчас вам покажем... Нуте-ка, дорогая, взгляните-ка на этого Фому неверного... знаете, как?.. Так, именно, — здорово!

Екатерина Ивановна взглядывает на Торопца и с хохотом сбегает с возвышения. Аплодисменты.

Тепловский. Bravo, Саломея! Сгорел художник, как соломенная хата.



Ментиков. Bravo, Саломея!

Екатерина Ивановна. Налейте мне вина, Тепловский. А вам хотелось бы, чтобы я на вас так взглянула?

Торопец. Скажите, как удивили... Ну и взглянула, ну и обожгла, н-ну и пронзила... так зачем же ты ее без глаз берешь. Что это тебе — институтка? А где страсть? — а где грех и это, как его... вожделение? Ага!

Коромыслов. Вздор!

Людвиг Станиславович. Конечно, вздор! Как вы не понимаете, Торопец: тут взять момент, когда страсть еще скрыта... она дрожит только в веках... но еще мгновение и... Грех — в этой линии плеч, в волнистом изгибе груди...

Алексей. Вы про кого, господа художники, говорите? Про Екатерину Ивановну? Какое странное искусство!

Коромыслов. Про Саломею, Алеша! Господа, где же Лиза?

Торопец (*сердито*). Про какую еще Екатерину Ивановну? Ну и плечи, ну и грудь, — это мне всякая натурщица даст... а ты глаза мне дай! Ведь я же видел, ведь это же богатство!

Коромыслов. Экую чепуху ты говоришь, Торопец.

Идет, прислушиваясь к спору, разыскивает Лизу. Спор двух художников продолжается. Алексей, пожимая плечами, отходит к столу.

Тепловский. Ваше блюдо пусто, Саломея, позвольте мне положить на него свою голову.

Екатерина Ивановна. Вы хотите ее потерять?

Тепловский. Хочу быть вашим пророком.

Ментиков. Ха-ха... Это остро сказано. (*Напевает.*) «Так жизнь молодая проходит бесследно...» Господа пророки, выпьемте еще по одной!

Алексей. Катя... Георгий скоро приедет?

Коромыслов садится около Лизы.

Коромыслов. Что это вы в темноту забрались, Лизочка? Вам здесь не скучно.

Лиза. Нет.

Коромыслов. Правда, здесь глаза отдыхают. Но какую окоlesiцу несет Торопец, вы слышали? Станный мы народ, художники...

Лиза. Да.

Коромыслов. Лиза... (*Берет ее за руку.*)

Лиза. Нет, оставьте мою руку. Павел Алексеевич, это

правда, что Ментиков... Катин любовник? — я видела сегодня... нечаянно... на лестнице, как он поцеловал Катю.

Коромыслов. Да? Лиза, девочка вы моя милая...

Лиза (*прячась от него в угол дивана*). Оставьте меня, слышите? Господи, Господи... Да уходите же! И как вам не стыдно говорить со мной, называть меня Лиза. Уходите, вы слышите?

Коромыслов стоит в раздумье. Пожав плечами, медленно выходит.

Ментиков. ...остро сказано. Господи, я сегодня так всех люблю, что готов со всеми выпить на брудершафт... (*Оглядывается и ищет.*) Жура, хотите?

Торопец. А раз любите, то и налейте мне рюмочку... да нет же, очищенной. Где тут эта самая... как его... ветчина? (*На кончике вилки тянет длинный кусок ветчины.*)

Коромыслов. Кутишь, Торопец? Ты лучше расскажи, как ты устрицы в Италии ел. Ну, как, дорогая, отдохнули? Пожалуйте на эшафот.

Алексей (*смеясь*). На эшафот? Странное искусство... и вообще странные у вас разговоры, Павел Алексеевич! Не забудь же, Катя, что мне нужно с тобой поговорить.

Екатерина Ивановна. Хорошо. Я помню.

Коромыслов (*хмуро*). Ехал бы ты, Алексей, в свои меблированные комнаты.

Алексей. Выгоняете, Павел Алексеевич?

Коромыслов. Я, брат, даже Ментикова не выгоняю, а не то что такого доблестного юношу, как ты. Просто отеческое попечение о твоём же благе. Идем, Екатерина Ивановна.

Оба художника и Ментиков смеются. Екатерина Ивановна становится в позу, Тепловский перебирает клавиши. Минуты сравнительного затишья.

Людвиг Станиславович. Ментиков! Говорят, что у вас можно достать билеты в Думу.

Ментиков. Сколько угодно! А этюдик будет? — даром не даю.

Торопец. Дайте, пан, все равно стащит.

Алексей (*серьезно*). Очего вы его не бьете?

Торопец. Его-то? Да не пробовали еще, а надо-таки попробовать.

Ментиков (*вставая*). И это вся награда за любовь к искусству. Ах, люди, люди, как вы злы!.. (*Напевая: «Так жизнь молодая проходит бесследно...», идет к темному углу, где Лиза.*)

Тепловский. Катерина Ивановна! Будем кутить

сегодня. Поедьте в автомобиле на острова — помните, вы мне обещали? Я так не отстану.

Коромыслов. Не мешай, гнусный соблазнитель! Лучше сыграй что-нибудь по своей части. Ведь вижу, что завидки берут, — ну и покажись во всей своей красоте.

Ментиков садится возле Лизы.

Ментиков. Мечтаете? Мечты, мечты, где ваша сладость... Эх, Лизавета Ивановна! Вы ангел чистоты и невинности, и вы не можете этого понять, что нас гонит к алкоголю, одиноких и бесприютных мужчин. Ведь я буквально один, или как говорит Демон: опять один! Эх, Лизавета Ивановна!.. Лизочка...

Лиза. Не смейте так!

Ментиков (*нагло*). Отчего же так: не смейте. А Коромыслов может?.. странно! Лизочка!

Лиза (*вставая*). Я сейчас Алексею Дмитриевичу скажу.

Ментиков (*пугаясь*). Ну, ну, я не буду — я ведь шушу. Я шутник. Это люди почему-то считают меня мрачным, а ведь я шутник! Лизочка, виноват, Елизавета Ивановна, — ну, а ручку можно? Только пальчик, один малюсенький, невинный пальчик... Да я же шушу, как это глупо! (*Последние слова договаривает один, так как Лиза ушла. Еще некоторое время Ментиков сидит за занавесом, ожидая, не будет ли шуму; потом незаметно выходит и окольными путями пробирается к столу.*)

Коромыслов. А, Лиза... Хотя ты покорми ее чем-нибудь, Алеша, а то совсем захиреет девица. Жура, Журочка, ты бы, голубчик, новые тарелки у Маши спросил.

Лиза. Вас зовут Жура?.. Спасибо, Алеша, мне не хочется.

Жура. Это дядя меня так зовет. Я приезжий из провинции.

Тепловский (*от рояля*). А тоже, погляди, знаменитостью будет. Павел, мне становится скучно.

Коромыслов. Потерпи.

Тепловский. Вы любите музыку, Елизавета Ивановна?

Лиза. Да. Не особенно.

Тепловский. Павел, я начинаю беситься! Я сбегу, вот тебе крест. Что на самом деле: затащил в гости, сам устроился недурно, а гостям приходитсядохнуть от скуки. Как это назвать, Торопец?

Торопец. А что ж! М-мне не скучно.

**Коромыслов.** Да и Саломея моя что-то головку повесила. Устали, Катерина Ивановна?

Екатерина Ивановна выпускает из рук блюдо, и оно падает со звоном. Екатерина Ивановна стоит неподвижно. Пауза. Все слегка недоумевают.

**Тепловский** (*недоумевая*). Что такое?

**Коромыслов** (*громко*). Э, чего там, так нельзя: буду же я Иродом и потребую... Саломея, прошу! Танец семи покрывал!

**Тепловский.** Это идея! Bravo, bravo! Танец!

**Ментиков.** Требую! Bravo, bravo! Это идея!

**Лиза.** Не надо, Катя!

**Торопец** (*сердито*). Почему не надо? Надо!

**Коромыслов.** Да играй же, Яков!..

**Тепловский.** Да вот не знаю что... Ну, ладно, сой-дет!

Импровизирует, сбиваясь, и, снова начиная, постепенно находит. Екатерина Ивановна бросает исподлобья недоверчиво-кокетливые взгляды, колеблется.

**Ментиков.** Мы ждем, Катерина Ивановна! Осчастливьте смертных!

**Алексей** (*тихо*). Если я еще услышу ваш голос, я выброшу вас вон в то окно.

**Ментиков** (*тихо*). Почему же меня? Я не один, все кричат.

**Алексей.** Вы слышали?

Ментиков поспешно отходит. Музыка. Екатерина Ивановна, поглядывая все так же вопросительно и кокетливо, выходит на середину и в нерешимости останавливается. Видно, что она не умеет танцевать. Забрасывает вверх, как для полета, тонкие голые руки и делает несколько слабых, неловких движений, мучительных своею неразрешенностью. Одно мгновение кажется, что она сейчас заплачет. Коромыслов кричит: «bravo, bravo!» — он со стаканом вина стоит у камина и наблюдает. Екатерина Ивановна как-то странно вскрикивает, кружится, беспомощно и дико взмахивая руками, и сразу останавливается в позе бесстыдного вызова. Губы ее слегка приподняты злой улыбкой, глаза смотрят, презрительно и нагло. Неловкое молчание.

Во время танца вошел **Георгий Дмитриевич** и, никем не замеченный, остановился почти у порога.

**Торопец** (*не глядя, тихо и смущенно*). Нет, это что же! Какой же это танец...

**Коромыслов** (*решительно*). Bravo, Екатерина Ивановна!

Екатерина Ивановна, не отвечая, короткими, решительными шагами идет к столу.

Георгий Дмитриевич (*слабо*). Bravo, bravo!  
Коромыслов. А, Георгий, что поздно! Видал? —  
ведь недурно.

Георгий Дмитриевич. Видал. Здравствуйте.

Здоровается. Торопец, здороваясь, привстает и роняет салфетку.

Цветешь, Яков? А, и ты тут, Алеша? — давно не видались, что редко заглядываешь... занят? Ну, кто еще... Лиза, Катя... с ними я сегодня виделся (*смеется*). Ох, ну и устал же я сегодня: пять часов толкли воду в ступе.

Торопец. В комиссии?

Георгий Дмитриевич. Да, даже в двух.

Коромыслов. Накачивайся сам, хозяев тут нет. Дай ему тарелочку, Жура... Ну, а как твои?

Георгий Дмитриевич. Кто мои?

Коромыслов. Да дети.

Георгий Дмитриевич. А, дети! Благодарствуй, хорошо. А у тебя как с картиной?.. Да ты, если нужно продолжать, продолжай — я гость не стеснительный.

Коромыслов. Пусть отдохнет. Катерина Ивановна, вы погуляйте, дорогая, ножки разомните.

Екатерина Ивановна. Хорошо. (*Отходит от стола*). Алеша, пойди сюда.

Тепловский. Тебе вина, Георгий?

Георгий Дмитриевич. Пожалуйста.

Ментиков (*скромно*). Георгий Дмитриевич, вы знаете, сколько я сегодня выпил? Восемь рюмок.

Георгий Дмитриевич. Да? Лизочка, я сейчас заезжал домой, и дети спят.

Лиза. Ты устал, Горя?

Георгий Дмитриевич. Ничего, голубчик, пустяки.

Торопец. А по-моему, извините, пожалуйста, вся эта работа ваша ни к чему... Посмотреть на ваше лицо, извините, пожалуйста, больше работника не найдешь, труженика, который...

Спорят. Екатерина Ивановна приводит Алексея в тот угол, где темно.

Екатерина Ивановна. Сядем, Алеша, я устала.

Алексей. Нет, мне надо поговорить.

Екатерина Ивановна. Георгий приехал, ты видал? — ах, да что же я спрашиваю — конечно, видал. Тебе понравилось, как я танцевала?

Алексей. Нет. Мне надо с вами поговорить. Зачем вы сегодня опять приезжали ко мне? — Я вас не велел пускать. Что это, Катерина Ивановна!

Екатерина Ивановна. Я тебя люблю.

Алексей. От вас пахнет вином! Какой ужас!

Екатерина Ивановна. Спаси меня. Я тебя люблю. Что они делают со мной, Алеша? Ты видел, как я танцевала, а Георгий кричит, вдруг говорит: bravo. Ты думаешь, что я тебя люблю? — я тебя ненавижу, ненавижу. Я укушу тебя.

Алексей. Пусти мои руки.

Екатерина Ивановна. Ты боишься греха, что Георгий твой брат? Я хочу целовать тебя, дай мне твой рот. Ты мой пророк, ты моя совесть... Отчего у тебя так дрожат руки. Посмотри, какая у меня маленькая грудь, как у девочки... Тебе приятно, что я положила твою руку на грудь?

Алексей (*шепотом*). Пусти.

Екатерина Ивановна. Поцелуй меня. Никто не увидит. Никто не узнает. Хочешь сегодня ночью?

Алексей (*почти громко*). Прочь!

Отталкивает Екатерину Ивановну с такой силой, что она падает на диван. Лежит, не шевелясь, и снизу вверх, со странной улыбкой смотрит на Алексея. Тот поднимает обе руки с таким видом, будто в них тяжелый камень и он хочет обрушить его на женщину.

Ты!..

Екатерина Ивановна, не мигая, смотрит ему в лицо и улыбается все той же странной улыбкой. Молчит. Не найдя слов, Алексей в отчаянии хватается за голову и быстро выходит. Не оглядываясь, так же быстро идет к двери. Спина его слегка согнута, как под тяжестью.

Уходит.

Коромыслов. Куда он?.. Алеша, ты домой?

Лиза. Алеша, погоди.

Коромыслов (*удерживая ее за руку*). Твоего брата, Георгий, сегодня ядовитая муха укусила. Ты не знаешь, что с ним?

Тепловский. Весьма нервный юноша!

После ухода Алексея Екатерина Ивановна еще мгновение остается в той же позе, затем встает, слегка оправляется и медленно выходит к другим.  
Неловкое молчание.

Екатерина Ивановна (*не садясь, у стола*). Дайте мне вина, Тепловский! Горя, Алеша просил передать, что он завтра приедет поговорить с тобой.

Георгий Дмитриевич. О чем?

Екатерина Ивановна. Не знаю. У него голова болит.

Тепловский (*подавая бокал*). За наш автомобиль, Екатерина Ивановна...

Екатерина Ивановна (*выпивая*). И еще...

Тепловский (*намекая*). А еще за что?

Екатерина Ивановна (*равнодушно*). Вы сами знаете. Горя, ты разрешишь нам поехать покататься на автомобиле? — ты добренький, ты умный, ты позволишь.

Георгий Дмитриевич. Если тебе так хочется...

Тепловский. Ура!.. Разрешил, разрешил...

Екатерина Ивановна (*небрежно гладит Георгия Дмитриевича по волосам*). Вы видали, Торопец, какой у меня хороший муж? Вы бы его написали. Хорошенький, добрый, такой добренький...

Коромыслов. Ну, муж разрешил, а я пока не разрешаю: власть искусства сильнее власти закона... Ментиков, дарю вам этот афоризм, взамен двух этюдов. Да и на что, в самом деле: танцевала, танцевала, барынька, и вдруг весь заряд даром. Руку, дорогая... (*Берет ее за руку и ведет к возвышению.*)

Тепловский (*пожимая плечами*). В конце концов это невыносимо. У вас нет сигар, Ментиков?

Ментиков. Увы, шер метр... Нету. Яков Львович, вы серьезно хотите ехать на автомобиле? Тогда я могу позвонить по телефону — у меня есть знакомые...

Тепловский. Благодарствуйте. У меня тоже есть знакомые. Ну, давайте папиросу... папиросы-то у вас хорошие?

Коромыслов. Да ты, Георгий, ближе подойди... ты еще не видал: ну? — как находишь?

Георгий Дмитриевич (*смотрит*). Интересно задумано.

Коромыслов. Ты его послушай.

Георгий Дмитриевич. Да? (*Смеется, возвращается к столу.*) Это мое вино?

Ментиков (*продолжая*). Елизавета Ивановна сегодня очень мрачна — ей не нравится наше веселье. А вместе с тем, что останется от жизни, если из нее выкинуть веселье. Но она не желает этого понимать.

Лиза. Вы пьяны.

Ментиков. Ну и пьян — так что же из этого. Я человек скромный, но у меня есть свои потребности: выпить рюмку вина в хорошей компании... За ваше здоровье, Георгий Дмитриевич, и за всех, кто не кривляки.

Лиза. Горя... Скажи ему.

Георгий Дмитриевич *(мягко)*. Кажется, вы, действительно, выпили лишнее, Аркадий Просперович,

Ментиков. Я *(со слезами в голосе)*. Вы мой друг, Георгий Дмитриевич, старший брат, и я подчиняюсь решению вашего голоса, но какое право имеет она? Кто такое она, желал бы я знать, извините меня за смелость...

Екатерина Ивановна *(внезапно)*. Я не хочу держать пустого блюда. Что это вы мне дали?

Тепловский *(смеется)*. Верно...

Екатерина Ивановна. Я уже два часа держу пустое блюдо. Зачем это? — это глупо, я не хочу. Дайте мне голову пророка, я хочу голову пророка...

Коромыслов. К следующему сеансу закажу. Стойте, стойте...

Екатерина Ивановна. Я не хочу. Дайте мне голову пророка или... *(Далеко отбрасывает блюдо, и оно со звоном падает)*. Вот... Сами хотите, чтоб я была Саломея, а пророка нет, и это наглость. Всё какие-то людишки, жабы...

Коромыслов *(оглядывая кисти)*. Одни Ироды.

Екатерина Ивановна. Молчать... *(Бледнея)*. Вы не смеете так говорить с женщиной. Если я согласилась вам позировать, то вы не имеете еще права...

Георгий Дмитриевич. Катя, он шутит...

Лиза. Катя...

Ментиков *(злобно)*. Пророк ушел. Таких пророков водой лечить надо...

Екатерина Ивановна *(спускаясь с возвышения)*. Молчать... Я честная женщина и не позволю... Налейте мне вина, я вам говорю...

Георгий Дмитриевич. Не надо, Катя... Едем домой.

Екатерина Ивановна. А я говорю дать... Чей это стакан, все равно *(пьет)*. Кто говорит, что Алеша — пророк? *(Пьет)*. Алеша такой же дрянь-мальчишка, и если я захочу, я заставлю ползать его по земле, как собаку. Лизочка, посмотри, какие они все смешные и глупые, посмотри... Вот этот *(показывая на Тепловского)* очень хочет, чтобы я... но я ни-ни-ни... Я здесь царица, а они все мои рабы, и все хотят одного: и вы, и вы, и вы... Что это за мальчишка?

Коромыслов. Пойди к себе в комнату, Жура.

Екатерина Ивановна. Пойди ко мне, мальчик *(целует его)*. Ты славный, ты хороший... Ты из деревни приехал? Лиза, посмотри, какой славный мальчик, он из деревни приехал, поцелуй его.



Коромыслов. Много чести. Иди-ка, брат, иди.

Екатерина Ивановна. Нет, поцелуй...

Тепловский. Лучше меня поцелуйте, я тоже мальчик из деревни.

Екатерина Ивановна (*вставая*). Молчать... Вы опять свои гадости говорите?

Георгий Дмитриевич. Да он же шутит...

Ментиков. Конечно, шутит. Остро сказано...

Екатерина Ивановна. Нет, как он смеет говорить, чтобы я его поцеловала? Я честная женщина и... Вы знаете, что он три раза стрелял в меня и хотел убить, но честная женщина, я ему никогда не изменяла... Я так тогда испугалась, когда он достал револьвер: Господи, думаю, неужели он хочет меня убить? Налейте мне вина...

Георгий Дмитриевич отходит и, покачивая головой,  
бродит по мастерской.

Коромыслов. И охота старое вспоминать, Екатерина Ивановна. И вина не стоит, а давайте-ка я надену шубку и поедем мы себе... Георгия оставим, Бог с ним, с этими мужьями, а возьмем Лизу...

Екатерина Ивановна. Нет. Я с ним в автомобиле поеду. Вы думаете, я пьяна — какие глупости. Художник, я вам нравлюсь?

Торопец. Нет.

Екатерина Ивановна. Врете, нравлюсь. А вам, художник? Но вы такой строгий, и я вас боюсь...

Тепловский. Мне нравится.

Георгий Дмитриевич. Павел, увези ее... Я не могу... я...

Коромыслов. Увезу, увезу... Эка беда, подумаешь, подпила барынька, это с нами каждый день бывает... А что, разве она часто?

Георгий Дмитриевич. Первый раз вижу... Павел, я с ума схожу...

Коромыслов. Ну, ну, не сойдешь. Ты на Лизочку посмотри, вот кого мне, пожалуй, и жалко...

Екатерина Ивановна. Нет, вы серьезно, вы любите меня? Ах, я теперь не верю в любовь...

Тепловский. И уж не верю я в любовь...

Екатерина Ивановна. Нет, серьезно, я раз хотела выброситься в это окно. Вы не верите — как это глупо... А я вам говорю, что хотела и Богу уже помолилась... нет, струсила... Струсила... Лизочка, посмотри — я голая совсем... отчего это?

Лиза. Ты по... позируешь.

Екатерина Ивановна. Ах да, а я и забыла совсем: смотрю, совсем го-о-лая сижу, а кругом мужчины. Я устала, Лизочка, я ужасно устала, попробуй, какая у меня тяжелая голова. Ах, как я устала...

Лиза. Поедем, Катя...

Екатерина Ивановна. Нет. Где пророк? Чего вы смеетесь... где пророк?

Тепловский. Ты мне предоставь это, Георгий, я с ними умею обращаться. Час покатаю по морозцу, и как рукой снимет.

Коромыслов. Да пусть уж. Возьми открытый автомобиль.

Тепловский. Ну, конечно. Устал, Горя, заработался? Я к тебе завтра обедать приеду, кстати, узнаю... Живешь в номерах, один, как черт, и так, знаешь, тянет к семейной жизни, к очагу... Бодрись, Горя...

Ментиков. Остро сказано... Bravo, Екатерина Ивановна. Нет, нет, господа, ко мне это не относится, я в пророки не лезу. У меня есть свои потребности, но я скромный человек и...

Тепловский. Едем, Екатерина Ивановна...

Екатерина Ивановна. Куда?

Тепловский. А как приказывали: мотор готов. Едем, дорогая, погода прекрасная, и мы славно...

Лиза. Я с тобою, Катя.

Екатерина Ивановна. Ты? Нет, дружок, тебе не надо. Мы с ним кутить поедем, это он думает, что домой. Я домой не хочу...

Тепловский. Да и не надо... *(Подмаргивает Георгию Дмитриевичу.)* Кутить так кутить, я парень компанейский... едем...

Екатерина Ивановна. Видишь, Лизочка, кутить... Дай я тебя благословлю... будь умница, хорошая, дай тебе Бог... В детскую пойди, деток моих поцелуй... Чего же ты плачешь, глупенькая?

Георгий Дмитриевич. Едем домой, Катя...

Ментиков. Конечно, домой, Екатерина Ивановна, я вас прошу, поедemте домой... А то что же это: вместе пришли...

Коромыслов. Подите-ка сюда, Ментиков, на два слова...

Георгий Дмитриевич. Катя, ради Бога...

Екатерина Ивановна. Нет, какие глупости. *(Вставая.)* Ох, голова кружится... где же автомобиль?

Делает несколько шагов и опускается в кресло.

Нет, я туда не могу. Горя, дай мне сюда шубку, я хочу, чтобы ты одел меня. И ботики...

Георгий Дмитриевич выходит. Ментиков огорченно стоит в стороне.

Коромыслов. А не холодно вам будет, дорогая... Ты смотри, Яков, не простуди! Плед возьми.

Тепловский. Ну вот еще, ученого учи!.. (*Нетерпеливо.*) Да что же он там? — надо самому пойти... Ага...

Горничная и Георгий Дмитриевич вносят платье Екатерины Ивановны; Георгий Дмитриевич одевает жену; став на колени, надевает ботики. Все собрались около, только Ментиков в стороне, и на дальнем диване, спрятав лицо, плачет Лиза.

Торопец. Ну, мы тоже. Прощай, хозяин.

Екатерина Ивановна (*целует мужа в голову*). Миленький, мне так приятно, что ты меня одеваешь. Ты тоже устал? Бедненький! Ты береги себя, не простудись... Хорошо?

Георгий Дмитриевич (*целует руку и вставая с колен*). Хорошо.

Тепловский. Готово? Идем... Позвольте, я вас под руку возьму, Екатерина Ивановна, вот так... днем это неприлично, а сейчас...

Все прощаются с Георгием Дмитриевичем; он кланяется очень низко.

Коромыслов. Я провожу вас. Маша, идите вперед и огонь дайте...

Но в дверях маленькая остановка: Екатерина Ивановна оборачивается и зовет.

Екатерина Ивановна. Горя! Пойди сюда, Горя... Миленький, я хочу благословить тебя.

Коромыслов. Что за религиозное настроение... довольно уж!


Екатерина Ивановна (*строго*). Не шутите, это серьезно. Ну, до свидания, миленький. Господь с тобою!

Коромыслов. Наконец-то! Я сейчас, Георгий!

Все уходят.

В мастерской остаются только Георгий Дмитриевич, Лиза и Ментиков. Лиза плачет, и плач ее все слышнее; Ментиков, повертевшись по комнате, подходит к Георгию Дмитриевичу и осторожно присаживается около него на диван. Молчание. Ментиков вздыхает.

Ментиков. Уехала наша Екатерина Ивановна. (*Молчание, вздох.*) Папиросочку хотите, Георгий Дмитриевич? Георгий Дмитриевич несколько мгновений с неопределенным выражением смотрит на него и берет папиросу. Слышнее плач Лизы.



## ПРОФЕССОР СТОРИЦЫН

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сторицын Валентин Николаевич, профессор.

Елена Петровна, его жена.

Володя } дети.  
Сергей }

Модест Петрович, брат Елены Петровны.

Телемахов Прокопий Евсеевич, профессор.

Саввич Гавриил Гаврилович.

Княжна Людмила Павловна.

Мамыкин.

Дуняша, горничная Сторицыных.

Фекла, кухарка Модеста Петровича.

Геннадий, денщик.

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Профессор Сторицын — худощавый, высокого роста, ширококостный человек лет сорока пяти. Держится очень прямо, ходит неслышно и быстро, жесты широки и свободны; и только в минуты большой усталости и нездоровья слегка сутулится. Седины не заметно: ни в темных, тонких, слегка разметанных волосах, ни в короткой, подстриженной бороде. Красивым лицом и формой головы профессор напоминает несколько Т. Карлейля; под скулами темнеют впадины. Обычное одеяние — свободно сидящий, широкий сюртук, отложной, не закрывающий шею, крахмальный воротник. Внешний вид Сторицына скорее суровый, чем мягкий, и только в разговоре и поступках выявляется его истинный характер.

Осенний вечер, часов около семи. Окна на улицу завешены тяжелыми суконными партъерами, и воздух в профессорском кабинете тяжел, глух и неподвижен, как в пещере. Везде книги: как бы вышла из своих берегов библиотека и заливает комнату сверху; на столах рукописи

и гранки. Видны мучительные усилия привести в систему книжный и бумажный хаос, но порядку мало: книжные шкапы без ключей, не на месте валяются вчерашние газеты. Пол затянут темным сукном; на стенах портреты писателей в черных рамах и несколько картин — подарков знакомых художников. На большом письменном столе рабочая лампа с непроницаемым абажуром; тут же на металлическом подносе начатая бутылка красного вина с двумя стаканами. В высоком стеклянном бокальчике одинокая роза. В стороне на столике, возле дивана, горит лампочка со штепселем, зеленый колпачок снят, чтобы виднее было; хозяин, профессор Сторицын, не совсем здоров, и его внимательно выслушивает и выстукивает Прокопий Евсеевич Телемахов, друг и товарищ Сторицына еще по гимназии, теперь профессор военно-медицинской академии. Телемахов в военном, докторском сюртуке с генеральскими погонами; седоват, сух, лицо морщинисто и желто, речь и жесты отрывочны и скупы. На тонком сухом носу пенсне, которым Телемахов пользуется только при писании рецептов и занятиях, обычно же смотрит поверх стекол, наклоняя голову и морща лоб. Ростом немного ниже Сторицына.

В углу в кресле притаился Модест Петрович, не дышит, боится помешать осмотру, с беспокойством следит за неторопливыми, серьезными движениями Телемахова.

Вот Телемахов приподнял рубашку у больного и приложился ухом к широкой, вздрагивающей от холода спине.

Телемахов. Вздохни.

Сторицын. Так? *(Вздыхает протяжно.)*

Телемахов. Довольно. Так. Нагнись. Вздохни еще. Так. А теперь положи правую руку на голову.

Сторицын. Я не понимаю, как?.. Так, что ли?.. Ну, довольно?

Телемахов *(выстукивает)*. Погоди. *(Снова внимательно слушает.)*

Сторицын *(рассматривая себя)*. Экое дрянное тело, кожа бледная, зябкая, неживая. Плохое тело, Телемаша?

Телемахов. Профессорское. Повернись-ка.

Выстукивает.

Сторицын. Да ты уж стучал... извини, извини, не буду. А ведь я, в сущности, здоров, как лошадь, мне бы на дороге камни ворочать или в цирке «Модерн» борцом. Если бы не сердце...

Телемахов. Молчи, не мешай.

Сторицын. Молчу, Модест, если тебе не трудно, дай дружок, со стола папиросу.

Модест Петрович. Сейчас, Валентин Николаевич, с удовольствием.

Телемахов. А подождать не можешь?

Сторицын. Если уж нужно, то могу, а вообще... Не велят, Модест, спасибо, голубчик. Кончено?

Телемахов. Да. Кури уж, курилка.

Сторицын. И одеваться можно?

Телемахов. Можно и одеваться. Модест Петрович, помогите ему.

Сторицын. Чего там, не надо, да не надо же, голубчик, я сам. *(Отвернувшись от Телемахова, одевается.)* Ну как, Телемаша, — поживу еще?

Телемахов *(наливая вино)*. Поживешь.

Сторицын. Ты правду говоришь?

Телемахов. А то что же? На велосипеде ездить нельзя, и от цирка «Модерн» надо отказаться. Выставь анонс, что в борьбе не участвуешь.

Сторицын. Ты шутишь, Телемаша? А интересно бы знать, какое было сердце у римских гладиаторов — да, да, вероятно, удивительное сердце. Впрочем, пустяки, и мне совсем не нужно было обращаться к твоей помощи. Ты слушал только снаружи, а я слышу его изнутри, и я могу огорчить тебя, Телемаша, у меня ужаснейшее сердце!

Телемахов. Субъективные ощущения. Усталость.

Сторицын. Да? Ты Телемаша — юморист.

Телемахов. К сорока годам каждое сердце устает. Зачем столько работаешь, зачем столько куришь?

Сторицын. Да, зачем? Но, однако, пойду и доложу Елене, что у меня субъективные ощущения, она так беспокоилась, добрый человек!

Модест Петрович. Может быть, сестру сюда позвать, Валентин Николаевич? Я позову.

Сторицын. Нет, Модест, я сам. Подожди меня, дружок, я быстро.

Уходит. Телемахов, заложив руки под сюртук, прохаживается по комнате, сердито косясь на Модеста Петровича; выпивает еще стакан вина. Затем останавливается перед Модестом Петровичем и долго в упор молча смотрит на него поверх очков.

Модест Петрович *(робко)*. Так как же, профессор?..

Телемахов. А так, что плохо. Скверно. Беречь надо.

Модест Петрович. Но вы же сказали, что субъективные...

Телемахов. Сами вы субъект, Модест Петрович. Я еще поговорю с вашей сестрицей, а вы постарайтесь ей внушить, что безобразия ваши пора кончить. Понимаете?

Модест Петрович. Да как же я внушу?

Телемахов. Это уж ваше дело. Вы ей брат. Пора кончить, здесь вам не свинушник, да! Не свинушник. Саввич опять здесь?

Модест Петрович. Но войдите в мое положение!..

Телемахов. Не имею на это ни малейшего желания. Я вообще ни в чье положение входить не желаю, у меня свое положение. Что вы моргаете? Терпеть не могу, когда вы начинаете моргать, Модест Петрович!

Модест Петрович. Но, уважаемый...

Быстро входит Сторицын.

Сторицын. Там, оказывается, Саввич и этот проклятый писатель, Мамыкин. Неприличная фамилия — Мамыкин. Когда они пришли, я не слышал звонка... ах, до чего они мне надоели оба!

Телемахов. Выгони.

Сторицын. Экий ты, брат Телемаша, солдат. Но куда же ты? Неужели домой?

Телемахов. Надо. Больной ждет.

Сторицын. А я думал, вечерок посидишь, Телемаша, старый друг. Эх, жалко. Винца бы выпил — ты красное вино по-прежнему любишь?

Телемахов. Я и сам бы рад... полчаса можно посидеть. Удивительно, что ты совсем не седеешь, Валентин Николаевич.

Сторицын. А ты изрядно пообносился, козлиная борода! Сколько тебе лет, Телемаша? Я помню тебя лет тридцать, да до этого ты еще сколько-то жил...

Телемахов. Однолетки. Да, волчья шерсть. Как твоя книга: идет?

Сторицын. Да что, голубчик, удивительно! — пятое издание готовлю.

Телемахов. Ого!

Сторицын. Да, непостижимо! Ну, а твоя как?

Телемахов. Моя? *(Смотрит поверх очков.)* Стоит на полках как вкопанная.

Сторицын. Да что ты! Это у тебя издатель плохой, Телемаша, это же недопустимо!

Телемахов. Издатель тут ни при чем, книга плохая.

Сторицын. Прекрасная книга, великолепная книга!

Телемахов. Ну, оставь, не люблю. Слушай, Валентин Николаевич, тебе надо остепениться в работе, — да, да, брат, слушай, что я говорю. Зачем выступаешь публично? — не надо. Успех, поклонницы и поклонники, — все это хорошо, но нужно и о здоровье подумать. Ты человек не первой молодости...

Модест Петрович. Валентин Николаевич работает ужасно, до обморока.

Сторицын. Но ты же знаешь, что я не для успеха и не для поклонниц. Что ты говоришь?

Телемахов. Ну — кто же не любит успеха! А скажи, с тобой за это время дурного ничего не случилось, ты что-то невесел? Я думал было, что книга села.

Сторицын. Дурного... Нет, кажется, ничего. Ты куда, Модест?

Модест Петрович. В столовую. Я сейчас вернусь.

Уходит.

Сторицын. Деликатнейший человек!

Телемахов неопределенно смотрит вслед Модесту Петровичу и молчит с явным неодобрением. Сторицын смеется.

Когда я вот так, вдвоем, смотрю на тебя, мне хочется смеяться, как жрецу. Ты все такой же, Телемахов?

Телемахов. А ты? А, пожалуй, пора бы переменить. Еще не научила жизнь?

Сторицын (*улыбаясь*). Учит. Да, вот что я хотел сказать тебе: у меня книги стали пропадать. Ворует кто-то. На днях у букиниста нашел книгу со своим *ex libris*.

Телемахов (*исподлобья*). Нехорошо, профессор.

Сторицын. Да, очень. Дело не в книгах, хотя пропало довольно много, а в том, что где-то поблизости таится вор... и такой странный вор! Ужасное ощущение, от которого во всех комнатах температура становится на два градуса ниже. Так-то, Телемахов!

Телемахов. *Ex libris* имеешь, а ключей от шкапов нет? Лучше наоборот, Валентин Николаевич: у меня простые номера, но зато ключи есть, и ни одна книга пропасть не смеет! Нехорошо, профессор. Горничная у тебя грамотная, на кого ты думаешь?

Сторицын. Дуня наша неграмотная... и ни на кого я не думаю! Как ты не понимаешь этого, Телемаша: именно думать «на кого-то» я и не хочу. Есть люди, которые радуются, найдя вора, поймав преступника, обнаружив лжеца,— они всегда удивляли меня. Когда я встречаю лжеца,— мне становится так... глупо как-то и плохо, что я... сам иногда помогаю ему лгать, против себя же. Нелепо, Телемаша?

Телемахов (*пытливо смотря на Сторицына*). Нет, стой,— это интересно: а секретарь, ну вот тот, что на машине работал, у тебя все тот же?

Сторицын. Нет уж, все, что хочешь, но только, Бога ради, без шерлоковщины! Достаточно и того, что



вместо своих обычных мыслей, обычной работы, я вдруг на мгновение становлюсь... сыщиком. Эдакие тонкие мыслишки, комбинации, догадочки... фух, свинство! Свинство, профессор!

Телемахов. Самому и не надо, зачем? Заяви в полицию, тебе пришлют агента...

Сторицын. Оставь! Прости, Телемаша, я, кажется, немного резок, но все это волнует меня... до болезни. Выпей винца, кажется, то самое, что ты любишь... Дурного? Оно случается каждый день, и ты сам его знаешь не хуже меня. Сам ли я становлюсь зол и нетерпелив, но меня поражает ужасающее неблагородство русской нашей жизни. Столько грубости и хамства... противное слово!.. крика и дрызг, и везде на выставке кулак, кулак! В форме ли кукиша, наиболее мягкой с их точки зрения, а больше — в виде гвоздящего молота. Вот вчера: стоит мой Сергей посередине передней и кричит: «Дунька, калоши!» Что за грубость, и откуда он ей научился? Я его, молокососа, никогда Сережкой не называл, а он стоит и кричит: «Дунька, калоши!» Или вот моя Елена Петровна — добрейший человек, ты ее знаешь, не вылезает из разной благодетельности, а не могу ее научить говорить прислуге «спасибо». «Мерси» еще может, это у нее выходит бессознательно и пусто, а «спасибо» — нет, ни за что! И что тут, подумаешь, трудного — спасибо.

Телемахов. Значит, трудно, коли за двадцать лет не научил. Что это она о тебе беспокоиться начала?

Тихо постучавшись, входит Модест Петрович, несет стакан чаю.

Сторицын. Это ты, Модест? Присаживайся, голубчик... Она всегда беспокоится.

Телемахов (*вставая*). Ну, не знаю. Дело ваше, у меня и своих Дунь достаточно. Так я поеду, Валентин, а ты уж постарайся не волноваться.

Сторицын (*обнимая его*). Спасибо, Телемаша, старый друг.

Телемахов. Знаю, что совет нелепый, но обязательный... Что у нас сегодня, пятница? Через недельку заеду, поболтаем. До свидания, голубчик. Ты меня не провожай, я еще к Елене Петровне на минутку зайду. До свидания, Модест Петрович. (*Уходит.*)

Модест Петрович. Суровый человек, неприступный человек! Вот такие точь-в-точь судьи у меня были, как в тюрьму закатывали.

Сторицын. Он юморист. Они там?

Модест Петрович. Да. Сидят.

Сторицын. Не уходи, голубчик. Мне работать сегодня не хочется и не хочется, чтобы кто-нибудь сюда пришел. Ты что, старик?

Модест Петрович (*нерешительно смотрит на часы*). Боюсь я, Валентин Николаевич, относительно поездов.

Сторицын. Ах, да брось твои Озерки! Черт тебя там поселил, в каких-то Озерках, мало тебе места в Петербурге. Когда последний поезд, в час? Ну, и успеешь, у меня на диване заснешь — ведь не девица. Оставайся.

Модест Петрович (*торопливо прячет часы*). Я с удовольствием, Валентин Николаевич, только стеснить боюсь.

Сторицын. А какая неловкость вышла с книгой, Модест? Фу, черт, — впечатление такое, будто я хотел похвастаться своим успехом. Ужасно неловко! — я так люблю Телемашу... Про какую это еще тюрьму ты говоришь? Как ты не устанешь повторять одно и то же, старик! Не ты виноват, что дом развалился, а подрядчик, и пора же к этому привыкнуть наконец.

Модест Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич... А он говорит: я, говорит, хам незнающий, надо мною, говорит, глаз нужен, если надо мною глаза не будет, я могу всю землю разрушить. Вот ведь как он говорит, Валентин Николаевич.

Сторицын. Оставь! (*Ходит.*) Он юморист. Я еще его жену помню, красивая была женщина — беспутная, какется, или что-то в этом роде.

Модест Петрович. Красивее моей бывшей?

Сторицын. Твоя, извини меня, была рожа и мещанка, и ты должен радоваться, что она тебя вовремя выгнала. Они там?

Модест Петрович. Да, я уже говорил тебе, пьют чай... «Я честная женщина, мне незачем ногти чистить».

Сторицын (*ходит*). Печально, печально... Странно и печально. Вот он говорит, что каждое сердце устает к сорока годам — неправда это, Модест. Как может устать сердце? — это вздор. Сердце может плакать, кричать от боли, сердце может биться, как в оковах, но усталость! Мне сорок шесть лет, — а иногда тысячу сорок шесть, но с каждым днем жизнь я люблю все больше, работу мою все нежнее... К черту усталость, старик!

Модест Петрович. На тебя, Валентин Николаевич, вся Европа смотрит.

Сторицын. Не шевелись, старик! Он сед и желт, как

пергамент, что понимает он в радости? Он как глухой в опере. Откуда знать ему эту силу внезапных очарований, — радость трагического, — великолепный ужас внезапных встреч, неожиданных открытий, провалов и высот. Усталость! Вообрази, старик, что ты ученый и что ты тысячу лет искал...

Входит Елена Павловна — высокая, полная дама с бурным дыханием. Лицо ее еще красиво, но очень сильно напудрено. Особенно красивы глаза.

Сторицын (*подавляя выражение неудовольствия*). Ну что? наконец успокоилась, Елена?

Елена Петровна (*пробуя его голову*). Тебе не лучше?

Сторицын (*осторожно отводя руку*). При чем же здесь голова! Что у меня — дизентерия, как у грудного младенца?

Елена Петровна. Не волнуйся. Прокопий Евсеевич сказал, что прежде всего ты должен избегать волнений. Ах, Валентин, я так беспокоюсь! Ну, послушай меня, ну, поедем за границу, ты там отдохнешь, рассеешься. Будем ходить по музеям, слушать музыку...

Сторицын. Нет. Мне надо работать, Лена.

Елена Петровна. Тогда зачем же ты жалуешься?

Сторицын. Я не жалуюсь, это тебе показалось.

Елена Петровна. Тогда не надо жаловаться, если не хочешь лечиться! Ну, не волнуйся, не волнуйся, я уже давно привыкла все делать по-твоему. Но, если тебе лучше, то, быть может, ты выйдешь в столовую: Гавриил Гаврилыч очень беспокоится и хотел сам поговорить с тобой о твоём здоровье.

Сторицын. Саввич? Нет, нет, пожалуйста, Лена: извинись и, вообще помягче, скажи, что я немного утомлен.

Елена Петровна. И княжна пришла.

Сторицын (*медленно*). Людмила Павловна?

Елена Петровна. Да, и непременно хочет видеть тебя. Я уже говорила ей, что ты не совсем здоров, но она такая назойливая...

Сторицын. Назойливая?

Елена Петровна. Не придирайся к словам, пожалуйста, у меня и так нервы расстроены. Если хочешь, я пришлю ее сюда, она тебя развлечет. О тех не беспокойся, они люди свои, и я им скажу, что это по делу. Я добрая, Валентинчик?

С т о р и ц ы н (*целуя руку*). Но, пожалуйста, извинись, Лена, вообще помягче.

Е л е н а П е т р о в н а. Ах, Валентинчик, я сегодня весь день плачу! Нет, не беспокойся, это я так, у меня ужаснейшие нервы. Будь умницей и не волнуйся, а я сейчас приведу ее. Кажется, девочка не на шутку влюблена в тебя, пожалей ее. Je ne suis pas jalouse...

С т о р и ц ы н (*укоризненно и резко*). Елена!

Но Елена Петровна уже уходит.

М о д е с т П е т р о в и ч. Людмила Павловна очень гордый человек. Прекрасная девушка!

С т о р и ц ы н (*сухо*). Да? Где мой галстук, ты не видал, Модест? Дай скорей, голубчик! Если тебе когда-нибудь захочется сказать настоящую пошлость, то говори по-французски — удивительно удобный язык. И если тебе случится когда-нибудь захворать, Модест, то скрывай это так, как будто ты убийца и кого-нибудь зарезал...

У дверей Елена Петровна и княжна.

Е л е н а П е т р о в н а (*церемонно*). Пожалуйте, княжна. Вот он, мой больной, развлеките его, он, бедненький, скучает. Un moment! Venez ici, Modeste!

М о д е с т П е т р о в и ч (*торопливо*). Иду, сестра, иду.

Поздоровавшись с княжной, уходит. Сторицын и княжна одни.

С т о р и ц ы н. Людмила Павловна, я очень рад... Простите великодушно, здесь такой ужасный беспорядок. Этот поднос я уберу, эти бумаги я отложу, эти гранки — так; теперь садитесь, пожалуйста, Людмила Павловна.

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Вы нездоровы, Валентин Николаевич?

С т о р и ц ы н. Пустяки, о которых чем меньше говорить, тем приятнее.

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Хорошо. Ваш кабинет теперь не такой, чем днем.

С т о р и ц ы н. Лучше?

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Да. Я вам не мешаю?

С т о р и ц ы н. Нет, Людмила Павловна, вы были больны?

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Нет, я была здорова. Я теперь каждый день езжу верхом на острова.

С т о р и ц ы н. На острова? Да, конечно. Но я успел немного привыкнуть, чтобы мы вместе возвращались с курсов, и эти две недели...

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Вы привыкли, чтобы я вас провожала? Я не хотела.

Сторицын. Да, конечно. Не прикажете ли чаю, княжна?

Людмила Павловна. Нет, благодарю вас, я в это время не пью. У вас в столовой сидит Саввич? Он всегда там сидит?

Сторицын. Да, почти всегда. Во всяком случае — пять лет.

Людмила Павловна. И в кабинет вы его также пускаете?

Сторицын. Оставим Саввича. Вы и у нас долго не были, отчего?

Людмила Павловна. Тоже не хотела. Мне очень не нравится ваш дом. Вы ничего не имеете против, чтобы я так говорила? — я могу иначе.

Молчание. Сторицын тихо и нехотя смеется.

Сторицын. Я смотрю на ваши длинные перчатки и чувствую себя, как студент, который на балу случайно познакомился с великосветской барышней и не знает, о чем с ней говорить. На вас особенное платье — обыкновенно я не вижу, как одеваются женщины, но на вас особенное платье, и от этого я просто не узнаю своего кабинета. Интересно было бы видеть вас в амазонке. Впрочем, все это пустяки... и вы хорошо делаете, что молчите. Скажите, Людмила Павловна, вы прочли книги, которые я вам рекомендовал?

Людмила Павловна. Нет.

Сторицын (сухо). Вероятно, не было времени?

Людмила Павловна. Да. Я все думала, и мне некогда было читать.

Сторицын. О чем же?

Людмила Павловна. О жизни думала. И о вас думала.

Молчание. Сторицын быстро ходит.

Сторицын. Вы знаете, о чем я всегда мечтал?..

Людмила Павловна. Ваша жена сказала, что вам вредно волноваться.

Сторицын. Оставьте!.. Я мечтал о красоте. Как это ни странно, но я, книжник, профессор в калошах, ученый обыватель, трамвайный путешественник, — я всегда мечтал о красоте. Я не помню, когда я был на выставке, я почти совсем лишен величайшего наслаждения — музыки, мне некогда прочесть стихи; наконец, мой дом... Вы слушаете?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Но не в картинах дело, да и не в музыке. Вот говорят, что жить надо так и этак... много говорят, как, когда-нибудь вы все это узнаете,— я же знаю одно: жить надо красиво. Вы слушаете? Надо красиво мыслить, надо красиво чувствовать; конечно, и говорить надо красиво. Это пустяки, когда человек заявляет: у меня некрасивое лицо, у меня безобразный нос. Каждый человек — вы слушаете? — должен и может иметь красивое лицо.

Людмила Павловна. Как у вас?

Сторицын. Я вам очень благодарен, что вы мое лицо считаете красивым: я сам его сделал таким. Но это я,— а как же другие? Объясните мне эту загадку... эту печальнейшую загадку моей жизни: почему вокруг меня так мало красоты? Я надеюсь, я верю, что кто-нибудь из моих слушателей, которого я не знаю, которого я никогда не видел близко, унес с собой мой завет о красивой жизни и уже взрастил целый сад красоты,— но почему же вокруг меня такая... Аравийская пустыня? Или мне суждено только искать и говорить, а делать, а пользоваться должны другие? Но это тяжело, это очень тяжело, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Наш дом очень красив, но от этого он еще хуже. Кто вам поставил розочку?

Сторицын. Модест. Это значит: или ваш дом в действительности некрасив, или же не так плох, как вы думаете.

Людмила Павловна. Нет, очень плох, я знаю.

Сторицын. Но ведь вы же из этого дома? Простите, княжна.

Людмила Павловна. Я не люблю, когда вы называете меня: княжна. И вы искренно думаете, профессор, что я красивая?

Сторицын смеется.

Сторицын. Да.

Людмила Павловна. Потом буду — да, а сейчас нет. Вы знаете, я бросила живопись. Это такой ужас!— я смешивала красивые краски, и вдруг на бумаге выходила гадость. А они хвалят. И вы знаете, зачем я езжу на острова?— думать. Однажды вы, Валентин Николаевич, посмотрели на меня с презрением...

Сторицын. Я?

Людмила Павловна. Да, вы, Валентин Николаевич,— и даже с отвращением. И с тех пор я все думаю, и если бы вы знали, как это трудно! Иногда я даже плачу, так это трудно, а иногда радуюсь, как на Пасху,

и мне хочется петь: Христос воскрес, Христос воскрес!  
И вы неверно думаете, что жить надо красиво...

Сторицын (*улыбаясь*). Неверно?

Людмила Павловна. Да. Жить надо — чтобы думать! Иногда я начинаю думать о самом безобразном, у нас на дворе есть такой мужик Карп — и чем больше я думаю, тем безобразия все меньше, и опять хочется петь: Христос воскрес!

Сторицын. Дорогая моя, но ведь это же и есть...

В дверь стучат.

Ах, Боже мой. Войдите, кто там... Что надо, Модест?

Модест Петрович (*нерешительно подходя*). Прости, Валентин, но к тебе хотят Гавриил Гаврилович и Мамыкин.

Сторицын. Зачем это? Нельзя.

Модест Петрович. Но они уже идут. Гавриил Гаврилович беспокоится о твоём здоровье.

Входят Саввич и Мамыкин, некоторое время спустя — Елена Петровна. Саввич — полный, крупных размеров, красивый мужчина с черными, подстриженными щеткой усами.

Саввич. Хотя вы, профессор, и запретили строжайше входить в ваше святилище и хотя у нас и трясутся коленки от страха, но раз вы сделали исключение для одной особы, то и мы решили с Мамыкиным: пусть исключение станет правилом. Садись, Мамыкин.

Сторицын (*сухо*). Садитесь, Мамыкин.

Саввич. Кроме шуток: как вы себя чувствуете, знаменитейший? Докторам не верьте, все доктора врут.

Сторицын. Меня выслушивал Телемахов.

Саввич. Знаю-с, но что отсюда следует? Позвольте, позвольте, хотя вы и знаменитейший профессор, а я никому не известный учитель гимназии, но я всегда позволяю себе говорить правду: ваш Телемахов — форменная бездарность. Почему вы не обратились к Семенову, ведь я же вам советовал? Не слушаете советов, а потом и киснете, как старая баба, извините за дружескую прямоту. Вот мне сорок лет, а вы видали когда-нибудь, чтобы я был болен, жаловался: ах, головка болит, ах, сердце схватило! Ты видал, Мамыкин?

Мамыкин. Нет.

Саввич. И не увидишь! Исторический факт. Ты что, Мамыкин, заkis: знаменитейшего испугался? Не бойся, он не кусается.

Мамыкин. Я никого не боюсь.

Саввич. И не бойся. Папироску возьми.

Мамыкин. У меня свои есть.

Саввич. Брось! Ты сколько за свои платишь: небось три копейки десятков, ведь ты пролетарий, а профессорские с ароматом.

Сторицын. Пожалуйста, курите, Мамыкин.

Елена Петровна. Вы не знаете, княжна, когда первый абонемент в опере?

Саввич. Профессор, мы с Мамыкиным о рукописи зашли спросить... Виноват, княжна, вы что-то изволили сказать.

Людмила Павловна. Валентин Николаевич, вы свободны в воскресенье? Поедьте с вами куда-нибудь за город.

Сторицын. В воскресенье? А что у нас будет в воскресенье?

Саввич *(хохочет)*. Пятница.

Сторицын *(смеясь)*. То есть я хотел сказать, что у меня есть какое-то заседание.

Елена Петровна. Нет, нет, княжна. Бога ради, увезите его. Я буду от всей души благодарна! Ему так необходим воздух... я рассержусь, если ты не поедешь, Валентин.

Саввич. Разве и мне с вами проехаться? Я тоже давненько на лоне природы не был.

Мамыкин. Вы забыли, Гаврил Гавриилыч, в воскресенье я читаю у вас повесть.

Саввич. Ах да, да, да,— забыл, брат! И как раз днем. Послушаем, послушаем твои обличения!

Сторицын. Великолепно! Прекрасно! В конце концов это замечательная идея. Но, позвольте, куда же мы поедем? Или... или... А что, Модест, если мы приедем к тебе в Озерки? Как вы думаете, Людмила Павловна?

Людмила Павловна. Я согласна.

Модест Петрович. Валентин, милый, если ты не шутишь...

Сторицын. Не шевелись, старик! Но только как это сделать: мне за вами заехать, или *(тревожно)*... Модест, ты мне расписание дай, у тебя есть расписание?

Людмила Павловна. До свидания, Елена Петровна.

Елена Петровна. Куда же вы?

Людмила Павловна *(не отвечая)*. Вы не можете сегодня проводить меня, Валентин Николаевич?

Сторицын. Сегодня?



Саввич. Сегодня ему нельзя.

Елена Петровна. Нет, отчего же. Конечно, пусть пройдет, здесь так накурено.

Сторицын (*строго*). С удовольствием, Людмила Павловна... Я сейчас же вернусь, Елена.

Княжна прощается одним поклоном, не протягивая руки; Елена Петровна провожает ее, Модест Петрович и Сторицын идут сзади.

Сторицын (*на пороге*). Ах, да: не забудь же дать мне мелочи, Елена, я назад на извозчике... И где мой портсигар? Здесь!

Выходят; Саввич и Мамыкин одни.

Саввич. Видал миндаль?

Мамыкин хихикает.

Ты, Мамыкин, смеешься, а меня возмущает вся эта профессорская порнография. Что понимает девчонка, да еще из такой семьи?

Мамыкин. А разве он?..

Саввич. Почему я знаю, я не шпион.

Мамыкин. Она сама завлекает.

Саввич. Не понимает, оттого и завлекает.

Мамыкин. Она нас презирует, Гаврил Гаврилыч. Гордячка!

Саввич. То есть кого это нас — меня?

Мамыкин. Да и вас. Я все время глядел на нее, как она на вас посматривала, благодарю покорнейше.

Саввич. А вот я ее в следующий раз ошпилю, как галку: будет знать. Не любят они правды, Мамыкин. Пойди сюда. Ты видал, какой письменный прибор у знаменитейшего?.. Посмотри.

Мамыкин. Чего я там не видал?

Саввич. Нет, ты посмотри... Чистейшая бронза! Нет, ты на руку взвесь. Что?

Мамыкин. Да.

Саввич. Тысячи две, как одна копеечка; тебе, пролетарию, таких денег и не представить.

Мамыкин. А на прислуге лица нет, загоняли, как лошады! Что ж, прочтет он мою рукопись когда или нет, до каких же пор я ждать буду?

Саввич. Некогда.

Мамыкин. А провожать есть когда? Люди!

Саввич. Потерпишь.

Мамыкин. Я потерплю! Я потерплю! Да Боже ж ты мой!.. Как не просыпался у меня талант, так думал я: вот

они, настоящие-то люди, литература-то наша, ученые-то наши. А как пошел ходить — что такое! Одна черная зависть, одно хамство, чуть-чуть собаками не травят, по три часа в передней с лакеями держат. Вижу я: схватился человек за свой сладкий кусок и аж дрожит — как бы кто не вырвал. Жил я цельный месяц у Сохонина: всей России известный писатель, народный печальник...

Саввич. Выдохся твой Сохонин, и охота была к нему ходить.

Мамыкин. Всей России известный писатель, а что у него в доме делается? Только и видишь, что жрут: ночь ли, полночь ли...

Входит Елена Петровна.

Елена Петровна. Господа, ужинать. Сергей и Модест уже за столом, идемте скорее, Мамыкин.

Саввич (хохочет). Ночь ли, полночь ли...

Елена Петровна. Что вы смеетесь? Мамыкин, пройдите, пожалуйста, вперед, мне нужно несколько слов сказать Гавриилу Гавриловичу.

Саввич. Что еще такое?

Елена Петровна. Нужно, раз говорю. Идите, идите, скажите там, что я сейчас.

Мамыкин уходит.

Саввич. Что это за тон? Я сколько раз тебе говорил, чтобы таким тоном ты не смела со мной разговаривать! Скажите пожалуйста!

Елена Петровна. Гавриил, сегодня я весь день плачу. Это ужасно, я с ума схожу! Гавриил, во имя всего святого, я умоляю тебя: продай бумаги, хоть на три тысячи, хоть на две. Я с ума схожу!

Саввич. Я вам уже объяснял, что сейчас, при теперешнем состоянии биржи, мы ничего продавать не можем... Поняли? Поняли или нет?

Елена Петровна. Я ничего не понимаю. Меня под суд, я на себя руки наложу.

Саввич. Вздор-с! Выпутаетесь! Позвольте, что я вам — мальчик? Так я вам и поверю, что у вас с профессором двух тысяч нет! Что я, мальчик?

Елена Петровна. Двух копеек нет. Завтра на обед нечего.

Саввич. В старых юбках покопайтесь: не зашито ли.

Елена Петровна. Как вы смеете наконец! Я плачу, я обращаюсь к вам, как к порядочному человеку, а вы ведете себя, как на улице.

Саввич. Что-с?

Елена Петровна (*задыхаясь*). Вы грубы, как пьяный сапожник. Я с ума схожу, когда говорю с вами. Какая низость! Вы не смеете так говорить в этом доме, да, да, не смеете. Вы забыли, в какой дом вы пришли. Вы... извозчик! По какому праву вы смеете кричать на меня, когда даже муж... даже муж...

Саввич. По праву вашего любовника, Елена Петровна. И если я себя веду, как сапожник, то вы ругаетесь, как кухарка. Стало быть — квиты.

Елена Петровна. Вы ограбили меня!

Саввич (*угрожающе*). Что такое? Прошу повторить! Что такое вы изволили сказать?

Елена Петровна. Прости меня, Гавриил, я не буду. Но я не могу слышать, когда ты так говоришь со мной. Зачем ты презираешь меня... Ведь не девчонка же я, я мать, меня все уважают. Ну, объясни, если я чего-нибудь не понимаю, но зачем же так грубо, с таким презрением, с такой насмешкой?.. Когда ты так говоришь со мною, я потом не смею никому в глаза взглянуть, мне начинает казаться, что я не жена профессора, образованная женщина, которая читает книги, которая говорит на языках, а переодетая кухарка, которую только что побил ее кум. Уважай меня хоть немного, Гавриил, я не могу без уважения, — я руки на себя наложу!

Саввич. А вы меня уважаете? Позвольте, позвольте, кто это кричал сейчас: грабитель? Со мной нельзя так обращаться, сударыня, и если я хоть раз только услышу... Что-с?

Елена Петровна. Ну, прости. Ну, объясни.

Саввич. Объяснять? (*Отворачивается и становится в позу.*) Дура!

Елена Петровна. Но это так трудно! Я ничего не понимаю в твоей игре. Почему нельзя продать бумаг хоть на две тысячи? Я же не говорю, что надо все продать...

Саввич. Ограбил! подлец! А куда вы с вашим профессором пойдете, как с голоду начнете издыхать?.. Ко мне же! Кто ваши деньги сберегает, сам с вами рискует, трудовых денег не жалеет? Ведь если за вами не смотреть, так вы детей голых на улицу пустите спичками торговать. Что у вас за хозяйство: десять рублей за тысячу папирос платите, абонемент в опере имеете... в музыке ни уха ни рыла, а тоже — абонемент! Первое представление! Эстетика! Литература! Идеи!.. А кто два года за дрова не платил, ко мне же и со счетами лезете. Ты Бога благодарить должна,

что встретился на пути честный человек с твердым характером...

Открывается дверь.

Сергей (*с порога кричит*). Что же ты, мама! Это безобразие! Два часа сидим за столом, мне заниматься надо.

Саввич. А ты не изволь кричать, хулиган! Вон!

Сергей (*отступая*). Что же это такое наконец. Тут вам не гимназия, Гавриил Гавриилыч, вы в частном доме и...

Саввич. Елена Петровна!

Елена Петровна (*поспешно*). Иди, иди, Сергей. Разве вам еще не подавали? Я сейчас, я только два слова... о здоровье папы. Иди.

Дверь со стуком захлопывается.

Саввич. Хулиган. Вы еще дождетесь, он себя покажет... мрачная рожа!

Елена Петровна. Прости меня. Ты очень разволновался, Гавриил?

Саввич. Пустите мою руку.

Елена Петровна (*целует его в щеку*). Ну, прости. Только не оставляй меня, я с ума схожу.

Саввич. Под вексель возьми.

Елена Петровна. Постараюсь.

Саввич. Продавать сейчас нельзя.

Елена Петровна. Хорошо. Поцелуй меня, Гавриильчик. Я так одинока, я так боюсь всего. Поцелуй меня, не оставляй.

Саввич (*нехотя целует*). Зачем ты так пудришься, притронуться опасно.

Елена Петровна. Это я от слез. Ну, пойдем, а то все уже перегорело. Ах, Боже мой, Боже мой!

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Озерки. Маленькая ветхая дачка с терраской; некрашенные доски и подгнившие столбы темны от сырости, кое-где зеленеют мхом. Сентябрьский погожий день полон солнца, тишины и золотого покоя. Березовая рощица, в которой стоит дача, рябины и молоденькие, недавно посаженные клены у забора по-осеннему золотятся и багровеют. Нежный голубой туман уже в сотне шагов родит впечатление дали, делает воздушным и легким, как паутину, все тяжелое и прикрепленное к земле. За низким частокольчиком видны другие такие же маленькие и тесные дачки — теперь они пусты и покойны, как сон. Только большая дача через дорогу, наис-

кость, еще занята: туда наехали воскресные гости — много молодых девушек, студенты. Время от времени звучит рояль. От недалекой станции доносятся свистки проходящих поездов.

В садике на скамейке полулежит Володя, лениво покусывает поднятый с земли лапчатый кленовый лист. Одет он, как рабочий: серая коломнянская блуза с ремненным поясом, высокие сапоги, ниже колен охваченные ремешком. Шурша пальм листом, беспокойно прохаживается по дорожке Модест Петрович; на нем старенький, но чистенький сюртук из черного сукна, мягкая фетровая шляпа. При седых кудрях, лежащихся на ворот, он похож на старого художника-неудачника. Часто поглядывает на часы, всем видом выражает тяжелое беспокойство и тревогу.

Модест Петрович (*бормочет*). Ах, Боже мой, Боже мой... Ты что сказал, Володя?

Володя. Я ничего. Лежу.

Модест Петрович. Лежу!.. Эх, Володя: лежу. А ты когда-нибудь стоишь или ходишь? Нельзя быть таким ленивым, невозможно...

Володя. Я не ленив. Кабы машину не сломали, я бы сегодня обязательно полетел. Нас учится пятнадцать человек, а машина всего одна, да и ту каждый раз кто-нибудь ломает.

Модест Петрович. Куда полетишь? Воробьев пугать? То, скажут, чучела на земле стояли, а теперь летать начали. Никуда ты не полетишь — молчи.

Володя. Я уж летал.

Модест Петрович. И не верю!

Володя. Метров на сорок два. Вы лучше посмотрите чем клеветать.

Модест Петрович. Клеветать?.. Да кто ты, скажи на милость: сын ли ты профессора Сторицына или вообще какая-то фигура?.. Монтер не монтер, шофер не шофер, — черт тебя знает, кто ты. Сапоги! А ведь я помню тебя в бархатной курточке, с кудрями, как у ангельчика. Ну и детки, ну и детки... Ну и жизнь, ах, Боже мой...

Володя. Не огорчайтесь, дядя. Не всем же быть вундеркиндами.

Модест Петрович. Вундеркинд?.. Вундеркиндов, брат, из гимназии не выгоняют, вундеркинды, брат, в сапогах не ходят... э, да что ты, мешок, тюлень, сапог летающий, понимаешь в вундеркиндах? Без тебя тошно, а тут ты еще — позорище! Живет с каким-то пьяницей, опростился...

Володя. И опять клевета. Михаил Иванович вовсе и не пьяница и вам двадцать очков вперед даст. У нас, вы

думаете, грязь или какое-нибудь безобразие? И вовсе нет: чисто, как на Рождество, два раза пол метем, а книг мало-мало меньше, чем у папахена. Михаил Иванович за книжку человека разорвать готов.

Модест Петрович. Так ты и читаешь?

Володя. Я нет, а Михаил Иванович читает. У нас такой уговор: все вместе, а керосин врозь: мне невыгодно. Михаил Иванович, дядя, замечательный человек. Это вы только и умеете, что ругаться,— Володька, да сапог, а Михаил Иванович никогда не ругается.

Модест Петрович. Никогда?

Володя. Никогда.

Модест Петрович. Нет, правда?

Володя. Никогда. Мы с ним даже на вы говорим: Михаил Иванович и Владимир Валентиныч.

Модест Петрович. Какие милостивые государи! Ну, живите, Господь с вами, кто вас там разберет, милостивых государей. Ах, Боже мой, Боже мой! (Смотрит на часы.) Теперь едут.

Володя. А вы, дядя, как будто и не рады папахену? Я бы на вашем месте радовался.

Модест Петрович. Не рад — что значит, Володя, это слово: не рад, когда на душе — черт знает что! И день, вдобавок, такой божественный, тут бы радоваться, тут бы ликовать, а вместо того: позор и убийство человека. Позор и убийство человека — вот как, Володя! Сам с тобою болтаю, а сам все на калитку гляжу: вот покажется Телемахов — ну, и конец! Убийство.

Володя (приподымаясь). Я ничего не понимаю, дядя. Сережка что-нибудь или мама?

Модест Петрович. Молод ты еще знать, и о матери говорить рано. Позор!

Володя. Я и так все знаю.

Модест Петрович. Ничего ты не знаешь... Одним словом, катал я вчера по всему городу, доставал две тысячи для Елены — ну, и могу я достать разве? Не достал, конец. Конец, Володя.

Володя. Папахену конец?

Модест Петрович. Какой это ужас — быть бесильным и трусом! Ворочаюсь и плачу, как во сне, а даже крикнуть — и то нет сил. Как я вчера умолял Телемахова, чуть на колена не падал, плакал, брат — нет! «Самому Валентину Николаевичу в руки дам, а вам с сестрицей — ни копейки». Жестокий, неприступный человек! И если сегодня к двенадцати Елена не достанет, то... Володя, голуб-

чик, может, ты знаешь денежного человека, авиатора какого-нибудь? Нет?

Молчание.

Володя. Я, дядя, три месяца от мамы содержания не получаю, за этим было и к вам зашел, чтобы вы подействовали. Я ей писал заказным, да никакого толку, не отвечает. Пробовал я голодать, да меня Михаил Иванович обнаружил, теперь следит за мной. А какие у него деньги? У них же и забастовка на носу. Значит, теперь и нам крышка.

Модест Петрович. Ай-ай-ай, что же это такое? Что же ты сам не зашел, не потребовал?

Володя. Я от них, дядя, отрекся, и нога моя там не будет до скончания живота; разве только с машиной к ним упаду, так и то постараюсь, чтобы мимо ахнуть. Да вы обо мне не грустите, я устроюсь. Эх, папахен!

Модест Петрович. Ты писал ему?

Володя. Папахену? Ну нет, зачем же я его беспокоить буду, сами посудите. Ну, я пойду, поезд засвистел, дайте полтинник.

Модест Петрович. На пять рублей, все равно деньги-то отцовские. А то подождал бы?

Володя. Нет, зачем его беспокоить. Спасибо, дядя. Ну, что вы на меня смотрите, дядя, конфузите меня, я этого не люблю, право! Эх, дурачье, машину сломали, полетать бы сегодня. Пойду той дорогой, а то встречусь. Вы меня, дядя, как оглоблей по голове, даже затылок свернулся.

Модест Петрович. И день-то какой чудесный...

Идут. Модест Петрович останавливается и шепчет

Саввич.

Володя. Да?

Модест Петрович молча кивает головой.

Идут.

Убить бы его следовало.

Модест Петрович *(останавливается и снова шепчет)*. Это мой ужас, Володя, мой ночной кошмар! До чего дошло: каждую ночь его вижу, все один и тот же сон... Нет, послушай: сидит будто папахен в каком-то многолюдном собрании, много венков и цветов, знаешь, вообще такой почет, некоторые даже плачут... и вдруг подходит к нему Саввич и говорит при общем молчании: «Вы меня оскорбили, профессор, а я никому не позволю себя оскорблять, мне наплевать, что все на вас молятся, а вот вам

от меня — пощечина». И бьет, понимаешь, бьет, прямо по лицу бьет...

Володя (*тяжело сопя и исподлобья глядя на Модеста Петровича*). А меня на этом собрании нет? За такой сон, дядя, вас самого можно...

Модест Петрович. Стой — кажется, его голос? Идут. Ну, ну, живет, брат, а мне поулыбаться надо. Приучить лицо... да, да, поулыбаться! Так, так.

Володя уходит. Модест Петрович один — неестественно скалит зубы, улыбается, приветливо кланяется и разводит руками.

Модест Петрович (*бормочет*). Дорогой мой, как я рад! Какой день! Княжна, наконец-то... Ерунда, ерунда на постном масле... Дурак, ничтожество. Как я рад, княжна... К калитке подходят Сторицын и княжна. Модест Петрович устремляется к ним навстречу.

Модест Петрович. Какой день, Валентин, а? Позвольте, позвольте, княжна, я открою, вы не сумеете. Какой день... Как доехали, не тесно ли было, по воскресеньям всегда народ. Пожалуйста, Людмила Павловна. Видали, сколько на ту дачу народу наехало, и все ваши курсистки. Неужели тебя не узнали, Валентин Николаевич?

Людмила Павловна. Один студент поклонился, но очень скромно. Мне это очень понравилось.

Модест Петрович. Еще бы!.. Сейчас чай. Ну, как, Валентин?

Сторицын. У тебя чудесно! Но сколько дач и все такие маленькие.

Модест Петрович. Летом шумно, а осенью и зимой очень хорошо. Ну, как доехали? Я чай приготовил в комнатах, Людмила Павловна, но, может быть, на террасу перенести? Я перенесу. Вы не бойтесь холоду, княжна: так тепло.

Сторицын. Постой... Это музыка? Послушайте, Людмила Павловна, музыка.

Модест Петрович. На той даче. Прекрасно играет!

Сторицын. У тебя чудесно! Ты счастливец, Модест!

Людмила Павловна. Ну, вы слушайте, Валентин Николаевич, а я хочу взглянуть... Покажите, Модест Петрович, как вы устроились? Это терраса, на которой будем пить чай?

Берет его под руку и ведет к дому.

У вас совсем хорошо, Модест Петрович. Это терраса?.. Модест Петрович, мне необходимо переговорить с Вален-



тином Николаевичем. Тише... это для него... Нет, потом взгляну, а пока надо послушать... Не обращайтесь на нас внимания, Модест Петрович, хорошо?

Подходит к Сторицыну. Оба слушают музыку. На террасе Модест Петрович хлопчет с кухаркой у стола, часто поглядывая на калитку.

С т о р и ц ы н. Когда радости слишком много, она переходит в грусть. Мне неловко сознаваться, это может показаться сентиментальностью, но я растроган... до смешного. Меня все сегодня удивляет. Меня удивляет воздух и это солнце — солнце осени. Меня удивляют желтые листья, их цвет, их рисунок; когда лист падает и ложится на мое плечо, мне кажется это необыкновенным, полным таинственного смысла. Или я никогда до сих пор не видал осени, или это вовсе не осень, а необыкновенное чудо, мировое событие, переселение народов... Вы слушаете?

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Говорите.

С т о р и ц ы н. Я вижу, что и люди сегодня другие, в глазах у них золото и лазурь. И почему музыка? — это меня удивляет. Искал ли я музыки и вот нашел ее, или она меня ждала, но вот мы встретились — и все так чудесно, — и я смотрю на вас — и в ваших глазах золото и лазурь...

Людмила Павловна хмуро опускает глаза. Молчание. Сторицын улыбается и сверху внимательно смотрит на девушку.

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Зачем вы меня мучите, Валентин Николаевич?

С т о р и ц ы н. Разве? *(Серьезно.)* Так надо.

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Нет, так не надо. Вы сомневаетесь в моей силе?

С т о р и ц ы н. Нет, я верю в вашу силу. И в гордость вашу верю, Людмила Павловна.

Л ю д м и л а П а в л о в н а. Гордость? Не знаю. Но с тех пор, как я стала думать, я сделалась сильнее всех на свете. Вам, привыкшему размышлять, все видеть и понимать — вам трудно представить, что это значит, когда человек — впервые начал думать. Живешь, как в урагане, все разрушается и падает быстрее, чем при землетрясении. Вокруг меня — одни развалины, Валентин Николаевич! Но вы еще молчите? Если я захочу, я завтра же могу уйти, и никто, ни отец, ни братья не посмеют даже взглянуть на меня. Но вы еще молчите? Отчего вы так побледнели вдруг? Сегодня я решила все сказать.

С т о р и ц ы н. Нет.

Людмила Павловна. Вы не хотите? Мне надо молчать? — что ж, я молчу.

Молчание.

Она была похожа на меня, та девушка, которой вы никогда не сказали о вашей любви?

Сторицын. Нет, это была бедная девочка в рваном пальто. Она умерла от чахотки.

Людмила Павловна (*сурово*). Я хотела бы пойти на ее могилу и сказать ей.

Сторицын. Я не знаю, где ее могила. Я не знаю, где могилы моих надежд и радостей: они рассеяны по всему миру. Иногда весь мир для меня только кладбище, а я — немой сторож при могилах. Но сегодня со мной творится что-то чудовищное. Я так радостен, что это становится болью, страданием... и от этого я бледнею. Раскрылись могилы, и воскресли мертвецы. Со всего мира внезапно упала его тяжелая завеса — и я вижу светлого Бога моей мечты. Вот то, чего еще никто не слышал от меня, слова, которые нужно забыть, как только их услышишь... И вы забудьте!

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Всю жизнь и во всем: в моей науке, в моих книгах, в людях и вещах, радуясь и страдая, я искал одно: ее, чистую, без истления Бога-Слово родшую. Образ ли это человека, девушки, женщины или самой красоты — я не знаю. Сегодня с мира упала завеса, и я вижу нетленное во всем: может быть, это красота, а может быть — вы. Я думаю, что это — вы.

Людмила Павловна. Мне страшно.

Сторицын. Да. Страшные слова, трагический завет, и мне хочется обнажить голову, когда только в мыслях моих, только в голове моей прозвучат они. Есть на свете матери многих детей, оставшиеся девушками... и есть грудные девочки — растленные, как проститутки!.. Простите, княжна.

Людмила Павловна. Говорите.

Сторицын. В небе, над нами, я вижу нетленное: нетленное я вижу в ваших глазах... и да сохранит вас Бог, Людмила Павловна! Когда вы выйдете замуж... да, да, выйдете замуж, то во имя того человека, который будет любить вас, во имя моей любви, всей моей жизни, я говорю вам: сохраните нетленное. Помните, что только без истления рождают женщины Бога-Слово, а иначе у них родятся... только дети...

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Осторожнее: ваше «да» звучит как клятва!

Людмила Павловна. Да. Это и есть клятва! Но разве и теперь, когда я поклялась, я должна молчать? Я не хочу молчать. Или вы только один искали и мучились? Я тоже искала, тысячу тысяч лет ждала и искала, и когда я нашла, мне говорят: нет. Молчи! Забудь! Я не девочка, которая может позволить себе умереть от чахотки, и я не стану умирать. Вы также горды, и я сегодня поняла вас: вы боитесь вульгарного романа между профессором и красивой курсисткой, вы боитесь...

Сторицын. Нет.

Молчание.

Людмила Павловна (*пугаясь*). Извините меня, я, кажется, оскорбила вас, Валентин Николаевич. Простите меня. Сегодня...

Сторицын. Сегодня мы видимся последний раз. И я вас люблю — отчего же мне не сказать и этого? И я отчаянно, непередаваемо одинок в этом мире моих могил — отчего же мне и этого не сказать? Все можно сказать, все могу сказать, и все это значит только одно: я вижу в последний раз ваше лицо, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Я знаю: вы хотите от меня подвига? Ваша красота — подвиг?

Сторицын. Да. Моя красота жизни — подвиг. Вы молоды — живите. Кто ищет подвига, тот всегда найдет его, и когда найдете, вы и совершите, и ваша жизнь станет прекрасна, как ваше лицо, — тогда придите ко мне. Пусть это будет тогда только моя могила — я из могилы отвечу вам, подниму могильный камень и отвечу.

Людмила Павловна. А если это будет моя могила?

Сторицын. Тогда я приду на нее, и вы услышите мой голос. Но сейчас... не оскорбляйтесь, княжна: сейчас я еще... не совсем... верю вот в эту вашу красоту. Да, я вижу нетленное в ваших глазах, но, Боже мой!.. — я уже не молод, княжна, надо говорить правду, и мне будет стыдно, ужасно стыдно, если... Мне и сейчас немного стыдно, княжна, и только вот это золото и лазурь несколько оправдывают меня. Честное слово, мне вдруг захотелось покраснеть. Забудьте! Вам больно, Людмила Павловна?

Людмила Павловна. Да. Ничего. Простите меня, я очень виновата.

Сторицын. Но вы можете улыбнуться?

Людмила Павловна. Для вас — да.

Сторицын (*гневно и страстно*). Ах, если бы вы знали!.. (*Сдержанно и почти шутливо*.) Ничего, я также улыбаюсь. Меня многие считают слепцом, Людмила Павловна, а я вот никак не могу понять: слишком ли я слеп — или слишком зряч? Но, в конце концов, то и другое — слепота.

Модест Петрович (*издали*). Профессор, Валентин, чай готов.

Сторицын. Сейчас. (*Тихо*.) Деликатнейший человек! — вы знаете, он нарочно нас оставил, чтобы мы могли поговорить... Вы улыбаетесь? Честное слово, мне опять захотелось покраснеть, это становится глупо. Идите, дорогая, я хочу побыть один. Когда вы рядом, время бежит убийственно быстро, а его так мало... Да, да, улыбайтесь, ибо сказано про день сегодняшний: да будет свет и да будет счастье.

Людмила Павловна. Сейчас, Модест Петрович, я иду... А завтра?

Сторицын. Кто знает завтра?.. Идите, дорогая, а то Модест начинает что-то подозревать, ужасный старикашка. Княжна идет на террасу, с каждым шагом становясь все сумрачнее и строже. Сторицын сосредоточенно думает, лицо его ясно и спокойно.

Модест Петрович. Пожалуйста, Людмила Павловна, чай готов. Не крепко ли я налил, я неумелый хозяин, так редко принимаю гостей, что... Какой прекрасный день!.. Что с ним, княжна, отчего вы так... простите, может быть, я не смею, но вы очень расстроены?

Людмила Павловна. С ним? — я не знаю. Но что с вами? Вы больны или что-нибудь случилось?

Модест Петрович. Да.

Людмила Павловна. У них в доме?

Модест Петрович. Да. Ах, если бы вы знали... Я глаз не свожу с калитки. Если сейчас придет один человек, то... Княжна, может быть, это нескромно, но я должен сказать, вы одна только можете... Спасите его! Елена — моя сестра, но... (*Неестественно громко*.) Не крепок чай, а? Я налью другого.

Людмила Павловна. Но разве он может позволить, чтобы его спасали? (*Горько смеется*.) Вы бы взяли мою жизнь, Модест Петрович?

Модест Петрович. Не только я, княжна, но вся Европа... Надо его звать.

Людмила Павловна. Нам надо быть на свидании. Я вам напишу, когда, хорошо? Он ничего не хочет гово-

рять о своей жизни, а мне надо знать все — для него, понимаете? (С тем же горьким смехом.) Ведь спасают же людей насильно!

Модест Петрович (решительно). Конечно, конечно... Валентин Николаевич, твой чай остыл, голубчик. Иди.

Сторицын. Иду.

Модест Петрович (тихо и торопливо). А мы вот что: мы возьмем да уйдем куда-нибудь, пусть ищет. О, Господи!.. Ну и денек сегодня, Валентин, это не день, а настоящий, как бы это сказать... что есть такое подходящее? Вот твой стакан. Кстати, забыл сказать: сегодня у меня был Володя, такой вообще чудак, очень милый юноша.

Сторицын (переставая улыбаться). Владимир? — отчего же он не остался и не подождал меня? Жаль. Это мой старший сын, Людмила Павловна.

Людмила Павловна. Вы его любите?

Сторицын. Да... Но у тебя так прекрасно, старик, что я начинаю смотреть на тебя с благоговением. Ты маг и волшебник: ты колдуешь, и от этого все сегодня удастся мне. Ну, разве дома мне позволили бы пить такой деготь вместо чаю?.. Нет, нет, оставь.

Модест Петрович. Я не видал тебя таким, Валентин Николаевич.

Сторицын. Да? А разве я еще когда-нибудь был таким? Таким два раза не бывают — как не родятся два раза и два раза не умирают. Сегодняшний день записан в Книге Судеб, старик!

Модест Петрович. Не пройтись ли нам в рощицу?

Сторицын. Сейчас не надо думать, Людмила Павловна! Что же, можно и в рощицу. А нет ли у тебя горы, Модест, хотя бы небольшой?

Модест Петрович. Извини, Валентин Николаевич, горы нет. Есть бугорки, но...

Сторицын. Жаль. Мне бы хотелось сегодня взойти на высочайшую гору и оттуда взглянуть на землю. Если сегодня даже этот кусочек земли так прекрасен, то как же все?

Людмила Павловна. И что-нибудь сказать оттуда?

Сторицын. С горы? (Перестает улыбаться и мрачно смотрит на княжну.) Нет. Вы проникли почти в самую глубину моих мыслей... но в конечном выводе вы ошиблись, княжна. Нет, я не пророк. Я скромный и тихий русский человек, родившийся с огромной и, по-видимому, случайной потребностью в красоте, в красивой и осмысленной жизни.

У каждого из нас есть свой палач — и мои палачи: грубость — безобразие — и неблагородство нашей жизни. И мне ли, уже изъязвленному, прошедшему пытку огнем и водой, с часу на час вот уже десяток лет ожидающему какого-то последнего и страшного удара, — мне ли проповедовать с горы? Но не надо, не надо, дорогая... Сегодня я счастлив, сегодня я радуюсь своей судьбе, сегодня я вижу нетленную красоту — будьте же радостны и вы! Улыбайтесь, смейтесь, заколдуйте музыку и велите ей играть — громко и всем Озеркам заявите, что сегодня — наш праздник. Смотрите — Модест уже улыбается.

Модест Петрович. Да, я очень рад. День, действительно, необыкновенный. Но не пора ли в рошу? — скоро темнеть начнет. А, может быть, еще чаю, Валентин Николаевич?

Сторицын *(вставая)*. Идем.

Модест Петрович. Идем. *(Шепчет.)* День проходит, день проходит, княжна!

Сторицын *(радостно)*. Нет, ты посмотри, Модест, кто это? Это Телемахов ломает калитку. Вот радость! Людмила Павловна, вот радость! *(Сбегает в сад.)*

Людмила Павловна *(к Модесту Петровичу)*. Это тот, кого вы ждали?

Модест Петрович. Тот. Тот самый.

Сторицын. Телемаша, старый друг! Нет, вы видите эту козлиную бородку, этот древний нос, оседланный очками... *(Целуются.)* И еще, и еще. Скорее красного винца, Модест; Телемаша не может без винца!

Телемахов. Здравствуйте... У вас, Модест Петрович, не калитка, а проволочное ограждение. Так нельзя.

Модест Петрович. От коров, профессор.

Телемахов. Нельзя так. Я рукав разорвал.

Сторицын *(любуясь)*. Юморист, Телемаша! Но как ты нашел меня? Так же, как эта музыка нашла меня, как это солнце? Ты знаешь ли, что сегодня мне все удастся.

Телемахов. Так и нашел, что два часа Озерки изучаю. Ваш дом чей?

Модест Петрович. Королевой.

Телемахов. А мне сказали, что Кораблева. Не могут адреса правильно записать.

Сторицын. Юморист, ужаснейший весельчак! Ты, значит, у нас в доме был?

Телемахов. Был. Ну, как ты? Вид у тебя хороший.

Сторицын. Совсем хорошо. Спроси у них.

Телемахов. Ага. У вас тут приятно, и воздух сравни-

тельно чистый. Чаю я не хочу, а вина выпью, не беспокойтесь, я сам привык наливать... Что это за студенты там? Кричат.

Модест Петрович. Сегодня праздник, гости приехали.

Телемахов. Сколько платите за дачу?

Модест Петрович. Если на круглый год, то двадцать пять в месяц. Не дорого.

Телемахов. И не дешево. Сыро? Тут ревматизмом пахнет.

Сторицын (*обнимает Телемахова*). Ты очарователен, Телемаша. Ты когда шел, хоть раз посмотрел вокруг? Ты посмотри: это что? Это что? Пей спокойно и молчи: ревматизма здесь нет. Но и вы хмуритесь, господа: знаете, мне становится неловко за свое веселье.

Входит кухарка Феклуша, одетая празднично.

Феклуша. Барин, а барин... Какая-то барышня букет вам принесла, передать велела. Натек-ка...

Модест Петрович (*беря большой букет из осенних листьев и цветов*). Барышня? Кому передать?

Феклуша. Не знаю. Гостю какому-то. Сама, говорю, отдайте, так она: нет, говорит, как же я могу в чужой дом? Я на кухню пойду.

Модест Петрович (*встает и торжественно передает цветы Сторицыну*). Это тебе, Валентин Николаевич. Теперь и моя хижина стала знаменитой! Жаль, нет у меня цветов, чтобы присоединить их к этому дару чистой юности...

Людмила Павловна. Вы опять побледнели, Валентин Николаевич?

Телемахов искоса смотрит на Сторицына и опускает глаза.

Сторицын. Хорошо бы поцеловать руку, которая собирала цветы: вероятно, это еще маленькая и очень глупенькая ручка. У нее не хватает силы поднять камень — и вот она приносит цветы.

Людмила Павловна. Зачем так зло? Они вас любят.

Сторицын. А я?.. Но... молчание, молчание, как говорит Гамлет. Где мое пальто, Модест, становится холодно. Тебе не холодно, Телемаша?

Телемахов. Терпеть не могу Гамлетов. Впрочем, некоторые, вероятно, не разделяют моего вкуса, извиняюсь. Нет, не холодно.

Модест Петрович. А в рошу, значит, так и не пойдем?

Телемахов. А это далеко?

Сторицын. Но ты устал, Прокопий, мы можем не ходить.

Телемахов. Нет, отчего же? Вот вы, барышня, берите Модеста Петровича и прогуляйтесь, пройдитесь, а мы тут немного поболтаем, поговорим. Погуляйте.

Сторицын (*удивленно*). Что такое? Неотложное дело? Странно. Мы только позавчера виделись.

Телемахов. Да, так кое-что.

Сторицын оглядывает всех, тревожится сильнее.

Сторицын. Странно! Значит, ты меня искал... Странно!.. Пожалуйста, пройдите, княжна... Минут двадцать тебе довольно, Телемахов?

Телемахов. Довольно. Я сам в город тороплюсь. Что вы задумались, Модест Петрович?

Людмила Павловна. Идемте. Я буду близко, Валентин Николаевич.

Быстро идет к калитке: за ней Модест Петрович; Телемахов смотрит след, избегает взглянуть на Сторицына.

Телемахов. Она действительно княжна?.. Красивая девица. Твоя слушательница?

Сторицын. Что случилось? Касается Сергея? Говори.

Телемахов (*начиная смотреть на него*). Говорить? Мне вовсе не улыбается, Валентин Николаевич, быть вестником несчастья и врываться в вашу... идиллию. Да. У меня и своих дел достаточно, и я удивляюсь людям, которые не желают этого понимать. Ну, ну, не волнуйся, особенного ничего, вздор! Я тебе говорил или нет, что жене, Елене Петровне, не следует заниматься благотворительностью? Ну, все равно, говорил или нет. Там, в Обществе, произошла маленькая растрата.

Смотрит на Сторицына, тот неподвижен.

Тысячи что-то две, пустяки.

Сторицын. И подлог?

Телемахов. Да. И подлог. Пустяки! Последний срок для взноса завтра, да и то только во внимание к твоему имени и положению. Надо внести, Валентин Николаевич.

Сторицын. У меня денег нет.

Телемахов. Найди. Надо найти. Иначе суд и позор!

Сторицын. Пусть суд и позор.

Телемахов. Глупо, Валентин Николаевич. Я менее всего намереваюсь покрывать мошенников и растратчиков, но до суда ты доводить не должен. Кому принесет пользу



твой позор? Не надо, чтобы улица хохотала и глумилась над профессором Сторицыным. Внеси, надо внести. И как не быть деньгам? Зарабатывай я столько, я бы дом на Каменноостровском имел. Возьми у издателя.

Сторицын. Все взято. Но почему это мой позор? По-твоему, Телемахов, это позорно: быть обманутым или обокраденным?

Телемахов. По-моему, позорно не иметь глаз или... умышленно закрывать их. Скажу откровенно: меня уже просили тайно от тебя ссудить эти деньги, давали клятвы и прочее... но я отказал. Тебе, Валентин, в руки — хоть все мое достояние, делай с ним, что хочешь, верю! — но условие одно: возьми их с открытыми глазами. Пора.

Сторицын. Ты знаешь меня с детства и думаешь все-таки, что я умышленно закрывал глаза?

Телемахов. Не знаю. Но не слеп же ты в самом деле? Я не хочу учить тебя, Валентин Николаевич, и не мне, бездарности, лезть в проповедники... но так нельзя, голубчик! У вас в доме порядочному человеку бывать нельзя — тошнит. Если не можешь справиться, не хватает характера, так уйди, брось, не пачкайся. Я-то еще, пожалуй, поверю, ну а другие не поверят. В конце концов, как не видеть... Саввича? Этого, воля твоя, я не понимаю. Не понимаю, хоть расстреляй!

Сторицын. Это первая растрата?

Телемахов. Не знаю. Да и Саввича кто сделал таким? Я еще не забыл, каким он вошел: он и тогда был красавец мужчина, хам и мерзавец, рыцарь, чтоб черт его взял! — но чтобы до такой наглости и спокойствия... Он и на прислугу кричит, он и на жену твою кричит, он и детей твоих воспитывает, и кто же у вас в конце концов хозяин? Он, кажется, и тебя жить учил...

Сторицын. Ты также учишь меня жить.

Телемахов (*яростно*). Прошу не сравнивать!

Молчание. Темнеет. На некоторых дачах загорелись первые вечерние огоньки. Около станции тяжело и медленно сопит и лязгает железом поезд.

Не понимаю. Психологических загадок решать не умею! Каждая кошка на лестнице, и та знает, а ты как с неба свалился. Впрочем, я биолог и реалист,— извиняюсь.

Сторицын. Не веришь?

Телемахов (*пожимая плечами*). Верю. Володька головоотяп, и тот ушел. В конце концов надо платить, Валентин Николаевич... ты мне позволишь внести деньги?

Сторицын. Нет, не позволю.

Телемахов. Значит, суд и позор, пусть улица хохочет! Японская месть — взрезать себе живот, чтобы им стыдно было? Не могу удержаться, чтобы дружески не сказать тебе, Валентин Николаевич: трижды глупо! Им арестантские легче, чем тебе свидетельское кресло... если только свидетельское.

Сторицын. Да? Во всяком случае, благодарю тебя за дружеское предложение.

Телемахов. Не стоит. Извиняюсь, что побеспокоил.

Сторицын. Ты сейчас едешь? Мы едем с первым поездом, вероятно, вместе? Я еще раз благодарю тебя: если не слова твои, о которых позволь мне иметь свое мнение, то твой поступок вполне дружеский. Как похолодело, однако.

Телемахов (*пожимая плечами*). Не спорю. А как твое сердце?

Сторицын. Очень хорошо. Я уже принимал два раза ту микстуру, что ты дал. Она успокаивает. Потом еще нюхать что-то?.. Я забыл.

Телемахов. Да, если плохо почувствуешь. Завтра к тебе не приехать?

Сторицын. Это зачем? Кстати: как вообще твоя практика? Я слышал, растет, скоро модным профессором станешь.

Телемахов. Благодарю, недурно. А вон и Модест.

Сторицын. Сейчас спросим у него расписание. (*Спускаясь с террасы.*) Простите, Людмила Павловна, мне необходимо ехать домой — сейчас же — и нам приходится прервать наш праздник. Если этот день и записан в Книге Судеб, то несколько иначе, чем я полагал.

Модест Петрович. Мне можно с тобою, Валентин?

Сторицын. Конечно, мы вместе и поедем. Кстати, ты проводишь и Людмилу Павловну. Когда поезд?

Людмила Павловна (*тихо*). Не ездите домой.

Модест Петрович. Через полчаса, еще успеем. Я только накидку возьму, я сейчас.

Телемахов. А я потихоньку вперед пойду, на платформе подожду. Я не из ходяков. Ведь и сделают же люди калитку!

Выходит. Сторицын и Людмила Павловна одни.

Людмила Павловна (*торопливо*). Валентин Николаевич, не ездите домой. Не ездите.

Сторицын. Так надо.

Людмила Павловна. Ну, тогда — я люблю вас!  
Не забывайте, не забывайте!

Молчание.

Людмила Павловна (*в отчаянии*). Вы молчите?  
Ну, тогда — вспомните девочку в рваном пальто. Вы не смеете ее забыть, не смеете.

Появляется Модест Петрович; в своем плаще и шляпе он похож на старого итальянского бандита.

Модест Петрович. Вот и я. (*С судорожным весельем.*) И вечер-то такой божественный! Да вы не торопитесь, время еще достаточно... Погодите, а цветы? Цветы-то мы и забыли. Сейчас, сейчас!..

Сторицын и княжна молча, двумя темными силуэтами, стоят у открытой калитки.

З а н а в е с

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Продолжение того же дня.

Кабинет Сторицына. Огни уже зажжены, но портьеры не завешены, и с улицы, несмотря на двойные стекла, доносится вечерний воскресный шум. В одно из окон видно, как над фронтоном дома на противоположной стороне вспыхивает электрическая вывеска-реклама: «Скетинг-ринк». На обычном месте профессора, у его стола, сидит С а в в и ч, в руках карандаш, которым он поигрывает во время разговора; наискось, у того же стола, в кресле сидит и внимательно слушает его Е л е н а П е т р о в н а.

Глаза у нее заплаканы и припухли, часто вздыхает.

Е л е н а П е т р о в н а. Говорите, Гавриил Гавриилыч, я слушаю.

С а в в и ч. Повторяю и настаиваю, что это даже к лучшему, что профессор узнает про твою игру на бирже. Почему? Потому что нарыв созрел и должен прорваться, как говорят в этих случаях врачи. Конечно, он поволнуется, потому что кому же приятно, чтобы его деньгами распоряжались без спросу, но зато мы сможем играть открыто. Мне надоела...

Е л е н а П е т р о в н а. Но, Гавриил!.. Но ты не знаешь его характера.

С а в в и ч. Не перебивай, а лучше слушай, что тебе говорят. Мне надоела, повторяю, роль тайного приспешника, который должен прятаться и моргать глазами, вроде твоего брата-идиота, Модеста. Что я, мошенник или честный человек? Во-первых, вместе с вами я рискую моими трудовыми

деньгами, скажи ему; во-вторых, как в случае выигрыша, так проигрыша, я участвую сообразно своей доле.

Елена Петровна. Но он не поймет, Гавриил Гаврилович!.. Извини, я слушаю тебя очень внимательно, ценю каждое твое слово, но он не поймет, даю голову на отсечение! Он очень ценит тебя и уважает, он верит в твое бескорыстие...

Саввич. Он меня знает.

Елена Петровна. Я так тороплюсь... Я не могу!

Саввич. Говори, время еще есть. Конечно, он очень умный человек, я сам его уважаю, а с умным человеком всегда можно сговориться. Дай только первому пылу пройти.

Елена Петровна. Нет, нет! Уверяю вас, Гавриил Гаврилович, что нет! У него ужаснейший характер, и если он не захочет чего-нибудь понять, то с ним можно с ума сойти! Он скажет просто, что это очень плохо, и тогда... я не знаю...

Саввич. Плохо? Ну, если он не захочет понимать, тогда пошли его ко мне, я ему втолкую. Плохо, скажите пожалуйста! Для него же, для его же семьи стараются, а он будет корезиться и краснеть, как невинность: «Ах, не надо! Ах, не хочу, ах, я умру от стыда!» Не умрет, знаю я ихнего брата, повидал достаточно. Я даже рад, что есть случай сказать ему правду в глаза, пусть другие холопствуют, если хотят, а мне наплевать, что он профессор. Я сам теперь был бы профессором, если бы не увлекся женщинами... не у всякого же такой лягушечий темперамент!

Елена Петровна. Но две тысячи? (*Вздвинув.*) Я с ума сойду, Гавриил...

Саввич. Не сойдешь, не с чего сходить. Позвольте, позвольте, у нас через неделю пятьдесят тысяч будет, а я из-за каприза, из-за прихоти стану на улицу деньги бросать? Копейки не пожертвую, скажи ему, копейки! Одумается, сам благодарить будет. Деньги же, две тысячи, пусть возьмет у Телемахова, а не захочет одолжаться у посторонних,— понимаешь? — то я могу достать ему под вексель: слава Богу, я не мошенник и не дам пропасть человеку. Ну — сумеешь сказать, не напутаешь?

Елена Петровна. Не знаю, постараюсь. Я очень волнуюсь, Гавриил, я едва дышу, у меня всю грудь стеснило!

Саввич. Да уж за версту слышно, как корсет скрипит. Это от полнокровия, много вы едите. Только разговаривай с ним деликатнее, слышишь? Лучше плачь, если не сумеешь по-человечески говорить, а не наскакивай, как корова на забор. (*Небрежно.*) Книжку положила?

Елена Петровна. Да.

Саввич. Скажи, что мимоходом на Литейном увидел, подумал, что ему может пригодиться, интересная книжонка. И про Сережку ему обязательно скажи, пусть посмотрит, каков хулиган. Скажи, что, если б не я, так давно бы его Сережку из гимназии выперли, не посмотрели бы, что папаша профессор... Обязательно скажи, не забудь, что я...

Елена Петровна. Ох, кажется, звонок. Это он... иди, идите, Гавриил Гаврилыч.

Саввич (*смотрит на часы*). Нет еще, но скоро будет, поезд уже пришел. Но, однако, я пойду. Слушай, Лена: минут на десять я выйду с Мамыкиным, кстати, и ветчины к ужину возьму, а потом буду в столовой.

Елена Петровна. Да, да, мерси. Но, может быть, тебе сегодня не приходится, лучше завтра, он успокоится...

Саввич. Убьет? Я не трус, Елена Петровна. Ну, ну, не волнуйся, в случае чего я там буду... Давай лоб, я тебя поцелую. (*Целует.*) Так, по-родительски. И, пожалуйста, не трусь, Леночка: Бог не выдаст, свинья не съест. Ветчины я сегодня на свои возьму, некогда путаться со счетами. Адье.

Уходит. Елена Петровна некоторое время стоит у окна, смотрит на улицу, потом садится за стол, на место профессора, и плачет, закрываясь платком. Едва успевает, услышав шаги, встать и оправиться, когда входит Валентин Николаевич. В руке у него цветы, для которых он ищет места, видимо, не совсем ясно отдавая себе отчет: соображает и бросает цветы на стол. Молчание.

Елена Петровна нерешительно берет букет.

Елена Петровна. Можно? (*Нюхает очень долго.*) Какой красивый букет и так хорошо пахнет, по-осеннему. (*Осторожно кладет букет на место.*) Ты чаю хочешь, Валентин?

Сторицын. Да. (*Звонит.*)

Елена Петровна. Какая сегодня удивительная погода, трудно в комнатах сидеть.

Входит горничная.

Дуня, чаю Валентину Николаевичу.

Сторицын. Пожалуйста, Дуня, покрепче.

Горничная выходит. Елена Петровна все так же нерешительно, как и все, что она сейчас делает, присаживается на кончик дивана.

У Сергея, кажется, гости?

Елена Петровна (*оживленно*). Да, два товарища. Один Шукин, хорошо играет на балалайке, просто удиви-

тельно, настоящий артист! Они скоро уйдут. Сережа тоже просит балалайку... но только я хотела сказать тебе, Валентин, про Сережу...

Сторицын. Потом.

Пока горничная приносит чай и уходит, в кабинете напряженное молчание. В раскрытые двери ясно слышно, как две балалайки играют: «По улице мостовой...» При закрытых дверях звуки слабее, но все еще слышно.

Спасибо, Дуня.

Елена Петровна. Двери закрывайте, Дуняша!

Молчание.

Так вот, Валентин, я про Сережу... *(Почти вскрикивает.)* Прости меня, Валентин, пожалей, я так виновата пред тобой! Я недостойна тебя!

Падает на диван и плачет. Молчание. Сторицын проходит по комнате, останавливается за своим креслом и говорит почти беззвучно — точно из далекой дали доносится голос, эхо прежнего голоса.

Сторицын. Ты помнишь, Елена, что десять лет тому назад,— при каких обстоятельствах, я напоминать не буду,— я простил тебя? Ты помнишь?

Елена Петровна. Помню.

Сторицын. И ты поклялась тогда жизнью и счастьем твоих детей, что твоя жизнь будет навсегда чиста и непорочна. Ты помнишь, Елена?

Елена Петровна. Помню.

Сторицын. Что же ты сделала с твоей чистотой, Елена?

Молчание.

Вероятно, я очень скоро умру, и кто будет одним из убийц моих, Елена? И кто убийца наших детей, жизнью которых ты клялась, Елена? И кто убийца всего честного в этом доме, в этой несчастной, страшной жизни? Я тебя спрашиваю, Елена?

Елена Петровна. Прости.

Сторицын. Что с тобою сделалось, Елена? Отчего ты истлела так быстро и так страшно? Я помню тебя еще девушкой,— невестой: тогда ты была чиста, достойна пламенной любви и уважения. Я помню тебя женой в те первые годы: ты жила одною жизнью со мной, ты была чиста, ты, как друг, не раз поддерживала меня в тяжелые минуты. Я до сих пор не могу произнести тебе слова полного осуждения — только за те два года моей ссылки, когда ты, как мужественный друг, как товарищ... Не могу!

Молчание.

Что ты нашла в Саввиче?

Елена Петровна. Не знаю. Он подлец. Прости меня.

Сторицын. А... Так, значит, это правда! Эт правда... А... Вот что... Вот что! Так.

Елена Петровна (со страхом). Тебе дать воды?

Сторицын. Нет... Еще сегодня профессор Телемахов упрекнул меня в нечестности или глупости, в том, что я нарочно закрывал глаза... но разве он, разве вы все можете понять, что я честно не хотел видеть и не видел всех гнусностей ваших? Разве вы все можете понять, что я честно отрицал самые факты? Факт! Что такое факт, думал я, со всею иллюзорностью его движений и слов, когда передо мною такой незыблемый камень, как твоя клятва, мое достоинство всей жизни. О дурак, дурак!

Елена Петровна. Не говори так про себя! Ты не смеешь так говорить про себя!

Сторицын. О дурак, дурак! Однажды я ясно видел, как Саввич сжал... под столом твою ногу — и у меня хватило гордости, сумасшедшей силы принять это за обман моего зрения, а не за ваш обман. Пусть, думал я, весь мой дом зашипит по-змеиному, пусть я задохнусь в объятиях гадов — я до конца приму их поцелуй, я перед всем миром буду утверждать, что это люди... пока сами не приползут и не скажут: мы не люди, мы гады. О гнуснецы!.. Значит, все правда. Значит, все, что я отрицал — весь этот мир предательства, гнусности и лжи, — правда? А клятва перед Богом — ложь? Достоинство — ложь? Все правда: и то, что Сергей ворует и продает мои книги...

Елена Петровна. Ты знаешь это?

Сторицын. И то, что кругом все разворовано, и то... и то, что ты... с Саввичем! Еще кто, говори! У нас бывают студенты, трубочисты, полотеры — кого же ты больше любишь, студентов или полотеров? Говори! Чей сын Сережа?..

Елена Петровна. Твой, твой! Клянусь!

Сторицын. И что Бога распяли, тоже правда? Говори: распяли Бога или нет?

Молчание.

Говори.

Елена Петровна. Ты можешь... ты можешь убить меня, но это неправда, что Сережа не твой сын. Клянусь тебе!.. всем святым, что Сережа твой... твой сын! Да, я преступница, но зачем ты оставил меня, не жалел меня, зачем ты...

Сторицын. Я? Я не жалел тебя? Что же ты считаешь жалостью тогда?

Елена Петровна. Да! Ты требовал от меня слишком много, а я не могла, ты никогда не хотел простить моих слабостей... Я не могу быть такой умной, как ты, а ты хотел, чтобы я тоже...

Сторицын. Это неправда, Елена! Вспомни, сколько я говорил с тобой, сколько здоровья, сколько самой свежей силы я истратил на тебя. За эти часы бесконечной работы я мог бы воспитать целое поколение людей, я мог бы бросить в мир десятки книг... Но разве хоть в одной моей книге я говорю с такой страстью, с таким желанием убедить, с таким напряжением всей моей воли, как я говорил с тобой? Ах, если бы я так писал, как говорю с тобой, когда мне нужно добыть маленький, самый маленький кусочек твоего сердца! Что же осталось от всех моих слов, что ты поняла, Елена?

Елена Петровна. Я не виновата, что не могу понять, как будто я не старалась. Ты страдал, я это знаю, у тебя большое сердце, и я твоя убийца, но ты хоть радовался в жизни, а я? Ты, бывало, читаешь книгу, и я подсматриваю, вижу, как ты от нее счастлив, а я? Пойду, бывало, и сяду на твое место, разверну книгу на той же странице — ну и что же, ничего, ничего! А ты все дальше от меня уходишь, все дальше, пока я совсем не осталась одна. Прежде я говорила на трех языках, а теперь... английский совсем забыла, на немецком едва читать могу... С кем мне говорить, о чем? Саввич подлец, это правда, но только он один жалел меня, понимал, что я тоже человек... К тебе придешь с неприятностями или насчет прислуги, а ты гонишь, я и сама понимаю, что тебе не до того, а Гавриил Гаврилыч... Или в прошлом году, когда Сережа дифтеритом заболел, а у тебя в университете беспорядки, так кто за доктором ездил, парадное кто ночью в аптеке ломал? Все Гавриил Гаврилыч. А кто теперь первый о твоём здоровье заботится...

Сторицын. Но ты действительно сошла с ума! Саввич, заботившийся о моем здоровье! Опомнись, что ты говоришь, Елена!

Елена Петровна. А если и сошла, то кто виноват? Ты никогда не уважал меня, почему ты прежде, в самом начале, не выгнал Саввича?

Сторицын. Боже мой, опять эта дикая логика. Да! Да! я уважал тебя и поэтому не выгонял, не должен был выгонять.

Елена Петровна. Нет, ты никогда не любил меня! Сколько раз я умоляла тебя: обрати внимание на Сережу, накажи его, а ты что? Ты хотя бы крикнул... а на слова твои никто внимания не обращает. Его розгами надо было...



Сторицын. Это Саввич сказал?

Елена Петровна. Не знаю, кто сказал, мне все равно. Ты в Бога не веришь, а я верю, так подумай, пожалуйста, сообрази, какое мое счастье! Ты умрешь, в рай пойдешь, а я куда? А я куда? Без тебя я, может, была бы счастлива, меня бы уважали, как других женщин уважают, а рядом с тобой чего я стою, разве я сама не понимаю этого?

Сторицын. Зачем же ты клялась?

Елена Петровна. А ты зачем требовал, чтобы я клялась?

Сторицын. Я не требовал, это неправда!

Елена Петровна. Но ты, все равно, хотел, вот я и клялась. Для тебя же, чтобы тебе легче было, а уж что со мной... (*громко плачет*) до этого тебе никогда дела не было! Никогда!

Сторицын. Но ведь это дважды обман, ты дважды обманула Бога... Елена, Елена! Какими же словами я рассею мрак твоей совести — их нет! Теперь я клянусь: если бы существовало на свете одно такое слово! За одну вспышку света в этой ужасной темноте! Очнись, Елена! Боже мой, как темно, как темно... кажется, я начинаю умирать?..

Елена Петровна. Я дам тебе воды. Тебе нехорошо, Валентин?

Сторицын. Воды? Не надо. О нежный мой палач, целую твою руку...

Быстро подходит и целует руку у Елены Петровны — затем резко отбрасывает руку.

Ты ведь творишь только волю пославшего тебя. Но кто же послал тебя в мир — эту затянутую в корсет даму, с пудрой на свекольном лице, с грудью, которая могла бы вскормить тысячи младенцев, тысячи мучеников и героев, а питает только — Саввича? Кто ты, ужасная? Страшный сон всей моей жизни, или ты действительно живешь, плачешь, сморкаешься, жалуешься и ждешь, чтобы я подошел и ударил тебя, как бьет тебя Саввич?

Елена Петровна. Это неправда! Саввич никогда не бил меня! Если бы ты жалел меня так, как он жалеет, то я была бы другой. Я ведь ничего не говорю про твоих курсисток, про девчонок, которых ты...

Сторицын. Что?..

Елена Петровна. Это не я одна, это тебе и Саввич скажет, хоть ты его и презираешь.

Сторицын. Молчать!

Елена Петровна. Ты не смеешь так на меня кри-

чать, я не горничная тебе, я мать твоих детей... Мне все равно, завтра я руки на себя наложу, а ты не смеешь, ты не смеешь — у меня тоже больное сердце, я, может быть, скорее твоего умру — ты не смеешь на меня кричать! На девчонок твоих кричи, а я мать, я в муках детей твоих рожала, пока ты книги читал. У нас трое детей умерло — кто их хоронил, кто гробики покупал — ты?.. А что мне каждый гробик стоит, ты это знаешь?

Сторицын. Ты не мать, ты развратница!

Елена Петровна. Ты не смеешь так...

Не стучась, входит Саввич.

Саввич. Что за крик, а драки нет? Нехорошо, профессор, нехорошо. Джентльмены, подобные вам, так с женщиной не обращаются.

Елена Петровна. Ты не смеешь на меня кричать!

Сторицын. Вон!

Саввич. Потихе, потихе, любезнейший! Вон я не пойду и вообще не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли женщину. Если вы желаете объясниться с женой, это дело ваше, семейное, вам никто не мешает, но только для этого надо иметь вежливые формы, а не кричать, как извозчику! Вы — профессор, вам надо уважать свое достоинство.

В раскрытую дверь входит Модест Петрович, схватившись за голову, садится в кресло.

Сторицын. О, какая наглость, какая наглость! Что же мне делать — ударить вас? Ударить?

Саввич (*выдвигая плечо*). Ну, это еще кто кого, любезнейший... Хотя вы и знаменитый профессор, а оскорблять себя я никому не позволю. Но если хотите... (*делает шаг вперед*) троньте, троньте, вот моя физиономия, не угодно ли?.. Но только что от вас останется, желал бы я знать?

Елена Петровна. Не надо, Бога ради, Гавриил Гаврилыч! Не трогайте его! Он не знает, что он говорит, он не будет...

Саввич. Да ведь мы шутим. Ведь мы шутим, профессор?

Сторицын (*вдруг совершенно спокойно*). И вы думаете, что я вас боюсь?

Саввич. Не знаю-с. Но человек, который левой рукой выжимает два пуда, должен внушать некоторое почтение, это я знаю-с. Мамыкин, пойдика сюда!

Елена Петровна. Не надо Мамыкина, ну, для меня, ну, я прошу, ну, я умоляю, наконец! Ведь это мой позор, я умру от стыда...

Саввич. Нет, отчего же не надо? Пусть посмотрит, как профессора обращаются с женщинами, пусть поучится гуманизму. Это ему и для записной книжки пригодится. Мамыкин! Посмотри.

Мамыкин (*входит, потупившись*). Ну, чего я там не видал, я лучше уйду.

Саввич. Нет, ты будешь смотреть, раз я тебе говорю! Вот тебе — смотри: знаменитый профессор, талант, цветы и поклонение — тебе подносили когда-нибудь такие букеты, Мамыкин? (*Берет со стола букет, тычет им в нос Мамыкину, потом бросает в угол.*) А с женой обращается, как с кухаркой! Может быть, профессор, вы бы и ударили ее, как меня собирались? Она женщина беззащитная. Попробуйте.

Модест Петрович, шатаясь, ходит по кабинету, закрывает лицо и глаза руками, бормочет.

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Елена Петровна. Сядь, Модест! Не надо, Гавриил Гавриилыч, он болен, он не оскорблял меня. Я сама... Я сама...

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Сторицын. Елена, я прошу тебя с этими господами уйти.

Саввич. Вот это другой разговор. Видишь, Мамыкин, какой тихонький стал наш профессор. Сейчас он еще «Леночка» скажет... А что, если действительно — и действительно — попросить его об этом: скажет он или нет, как ты думаешь? Хочешь пари на зелененькую, что скажет? Профессор, вам не угодно будет вашей супруге сказать: «Леночка», как вы уже изволили сказать: «Лена»? (*Становится в позу.*) Впрочем, не стоит...

Модест Петрович. Боже мой, Боже мой, Боже мой!

Сторицын. Елена, я еще раз прошу тебя уйти с этими господами, иначе я сам должен буду уйти. И пошли ко мне Сергея.

Елена Петровна. Господи, это еще что, я с ума схожу. Ты его убьешь, я боюсь.

Саввич. И хорошо сделает, между прочим. (*Кричит в открытую дверь.*) Сергей! Сережка! к отцу! Ну, теперь разговор другой, и я прошу вас очистить поле сражения, Елена Петровна. На вежливость я и сам вежлив и не менее всякого лорда уважаю права чужого жилища. Слышишь, Мамыкин? — честью просят. Насмотрелся, дурашка? — Жалко

мне твою невинность портить, но что, брат, поделаешь, смотри, учись. Эх, люди, людишки!

Входит Сергей и останавливается в стороне, угрюмо и равнодушно смотря на происходящее.

Сергей. Что надо, зачем еще звали?

Саввич. А вот с отцом поговоришь, тогда узнаешь, что надо. Каторжник! Идемте, Елена Петровна. А когда, профессор, успокоитесь и придете в норму, я весь к вашим услугам: дуэль так дуэль, если вам захочется этой глупости, а самое лучшее: побеседовать толком и спокойно, как принято у порядочных людей. Адье. Вам что надо, Модест Петрович, что вы трясетесь около меня?

Модест Петрович (*потрясая сжатыми кулаками*). Вы, Гавриил Гаврилыч — негодяй, недостойный человек! Боже мой, Боже мой, что мне ему еще сказать? Негодяй!

Саввич. Что-с? Послушайте-ка, Елена Петровна.

Модест Петрович. Елена, сестра! Как старший брат твой, знавший тебя невинной девочкой...

Сторицын. Оставь, Модест. Иди.

Модест Петрович. Хорошо, Валентин Николаевич! Но он же негодяй, Валентин Николаевич! Что мне еще ему сказать... он смеется.

Саввич (*с глубоким презрением*). Вот дурак. И правда, что не сеют, не жнут, а сами роятся. (*Свирепо.*) Прочь с дороги, мелюзга, задавлю! Ишь ты, старая каналья, мало сам арестантских щей хлебал, так и других в такую же историю втравить хочешь? Прочь!

Легким толчком выпихивает в дверь Модеста Петровича, бессвязно и настойчиво повторяющего: Боже мой, Боже мой!

Елена Петровна. Я здесь останусь, Гавриил Гаврилыч, я не пойду.

Саввич. Нет, пойдете. Завтра еще успеете наобъясняться, на вас ведь тоже лица нет. Поуспокойтесь, поуспокойтесь, граждане, а потом и делами займетесь. Профессор, до свидания — и вот вам мой бескорыстнейший совет: — не жалейте хулигана. Адье.

Выходит. Сторицын и Сергей одни; он в той же позе у двери; в сумраке его лицо кажется то неопределенно-мрачным, то так же неопределенно и странно улыбающимся. Сторицын крупными шагами ходит по кабинету.

Сторицын. Садись.

Сергей (*сядась*). Что надо, папа?

Сторицын молча и нетерпеливо машет рукой и продолжает ходить. При свете лица Сергея угрюмо, но равнодушно, почти скучно. Сторицын круто поворачивается и садится на свое место у стола.

С т о р и ц ы н. Я несколько раз замечал, Сергей, что от тебя пахнет водкой. Ты пьешь? От тебя и сегодня пахнет водкой.

С е р г е й. Позволь, папа. Сегодня воскресенье, у меня были товарищи, и просто, как хозяин... я не понимаю, что здесь такого, чтобы устраивать истории. И вообще, ты можешь быть совершенно спокоен, папа, я никогда не позволю себе напиваться, у меня есть характер. Вообще, я веду себя прилично. Я возьму папиросу.

Протягивает руку к коробке с папиросами, но Сторицын, вспыхнув, с силой бьет его по руке. Сергей встает.

Что это такое! Ты с ума сошел!

С т о р и ц ы н. Не смей!.. вор! Закрой дверь на ключ и ключ дай сюда.

С е р г е й. Но это же глупо! Ты же не собираешься... Бог знает, что тут у вас!.. И мне все равно, наконец!

С т о р и ц ы н. Садись.

Сергей садится на то же место и глядит в потолок. Сторицын сам закрывает дверь и ключ прячет в карман.

Ты давно воруеть мои книги, Сергей?

С е р г е й (вставая). Это он тебе донес?..

С т о р и ц ы н. Сядь. (Утомленно.) Ты понимаешь, что такое книга, Сергей? Я часто говорил тебе о книге, учил любить и уважать ее. Еще маленького, показывая картинки, я учил тебя осторожно повертывать страницы, мыть руки, чтобы не пачкать. Ты видел, как я сам люблю книгу, как я дорожу ею, как я радуюсь каждой новой книге в моей библиотеке... Пусть ты сам не любишь и не понимаешь, но ты же видел мое отношение... и ты в самом дорогом грабил меня, Сергей. Я понял бы тебя, воруй ты деньги, но книги! Продать чью-то душу, чтобы выручить двугривенный, тридцать серебряников... Это поступок Иуды, Сергей.

С е р г е й. Я не Иуда.

С т о р и ц ы н. Да, ты не Иуда, ты моя плоть и кровь, мой родной сын... Но где же я во всем этом? Постой, постой, я как будто первый раз вижу твое лицо... сиди, сиди, не конфузься. Значит, это плоское, придавленное, сжатое в висках — твой лоб, лоб моего сына? Странно! И откуда у тебя эта низкая, звериная челюсть... вероятно, ты можешь перегрызть очень толстые кости, да?

С е р г е й. Мне все равно.

С т о р и ц ы н. И откуда эти молодые, но уже тусклые и угрюмые — какие угрюмые глаза! И, вместе с тем, этот проборчик на лбу... интересный проборчик. И эти странные, де-

шевые духи... да, да, молодость. Ты очень угрюмый человек, Сергей, я никогда не слышал твоего смеха.

Сергей. Мне не с чего радоваться. Иуды не радуются.

Сторицын. Да, да. Странно! Поговорим просто, Сергей: я очень устал кричать и волноваться, забудь, как и я, что я твой отец... Ну, расскажи мне, расскажи про себя... На что ты тратишь деньги?

Сергей. Я не Иуда. Я не виноват, что у меня нет способностей. Не всем же быть профессорами, как ты. Но если же у меня нет способностей, тогда что?

Сторицын. Так, так. Как же ты думаешь жить?

Сергей. А я почему знаю?

Сторицын. Но ведь жить надо?

Сергей. Так и буду. Ты, папа, ошибаешься, что я легкомысленный человек, пьяница.

Сторицын. Возьми папиросу.

Сергей. Спасибо. Я человек положительный, у меня волосы становятся дыбом, как я подумаю про будущее. Женюсь же и я когда-нибудь, я человек положительный, пойдут дети, а как я их буду кормить? У других родители помогают или протекция, а у меня что? Тебе легко говорить, папа, а вот умрешь если, все мы по миру пойдем, как нищие...

Сторицын. Моя жизнь застрахована, если я не ошибаюсь.

Сергей (*усмехаясь*). Десять-то тысяч? Не смейся, папа.

Сторицын. Да, это маловато.

Сергей (*усмехаясь*). Одному Саввичу не хватит! А нас двое, я да Володька. Володьку тоже пожалеть надо. Вот ты и пойми! Живем мы богато, люди завидуют, а я полгода маму прошу балалайку купить да не допрошусь. Копить мне не с чего, я жалованья не получаю.

Сторицын. А копить надо?

Сергей. Копить каждому человеку надо. В жизни нужен характер, папа, без характера под забором умрешь. Наш Саввич подлец, я его насквозь вижу, он боится, что к нему ночью воры заберутся и зарежут его, а смотри, какой у него характер! Я еще папиросу возьму, можно?

Сторицын. Пожалуйста. Значит, и книги ты продавал...

Сергей (*закуривая*). Ну, уж если на откровенность пошло, так я эти книги ненавижу! Тебе приятно на них смотреть, а я их видеть не могу, в дом войти противно. Ах, книжечки, ах, деточки... читай, Сережка-дурак! А если я не хочу читать, не хочу быть умным, да. Не хочу! Ты умный, а я

дурак, и пусть такой и буду, и это мое право, и никто не смеет меня переделывать, раз я не хочу. Вот и все! Иуда...

Сторицын. Тише, Сергей. Это твой принцип?

Сергей. Да, принцип. И что такое дурак? Для других дурак, а для себя достаточно умен и умнее быть не желаю. Вот и все. Иуда... Чем я виноват, что у меня папаша профессор, а меня скоро со света сживут. И в гимназии, и эта скотина Саввич: Мамыкин, пойди сюда, посмотри, какой у профессора сын дурак. Ну и дурак, не хочу быть умным... Вот и все. У меня тоже характер есть.

Сторицын. А честным хочешь быть?

Сергей. Захочу — буду, а не захочу, так не буду. Лоб низкий, проборчик... Эх, папа!

Сторицын. Странно, странно...

Тревожно ходит по комнате.

Ты ужасный, ты невероятный человек, Сергей! Ты одним движением вот этого лба опустил меня в такую глубину, в такой преисподний мрак... Я удивляюсь, что ты еще не ударил меня.

Сергей. Это Саввич говорит, что я каторжник. Охота тебе повторять.

Сторицын. Это надо сделать. Ты человек запасливый, у тебя наверно есть водка, — принеси, Сергей.

Сергей. Пить будешь? Тебе вредно. И зачем это, папа? Ничего ведь не переделаешь, а только болен будешь. Лег бы лучше, ей-Богу.

Сторицын. Да что я с тобой — стесняться буду? Теперь?.. Живо, слышишь?..

Сергей. Слышу, мне все равно. Дверь заперта.

Сторицын. Возьми.

Сергей выходит. Сторицын быстро шагает по комнате, бросая отрывисто и громко:

А! Профессор Сторицын! Красота и нетленное! Мученик и страдалец! Чистота и незапятнанность, да? А низкий лоб не хочешь? А проборчик не хочешь? А духи не хочешь?

Елена Петровна (с порога). Клянусь Богом, Валентин, если ты будешь пить, я в окно брошусь, я за Саввичем пошлю! Ты не имеешь права так издеваться над нами!

Сторицын. Уйди!

Елена Петровна (падая на колени). Я на коленях прошу. Модест, брат!

Модест Петрович (плача). Можно мне войти, Валентин?

Сторицын. Нет, нет. Уходите.

Елена Петровна (*вставая покорно, дрожа*). Хорошо. Но только помни, Валентин, что я... я твоих детей хорошила.

Сергей. Ну иди, иди, мама!.. Теперь уже нечего. Дядя Модест, возьми же ее. Ну?

Сергей затворяет дверь и ключ кладет на стол.

Вот коньяк, только много не пей. Закусывать, наверно, не будешь, а то я достану.

Сторицын. Нет. Почему одна рюмка? Ты будешь пить со мною.

Сергей (*угрюмо*). Нет.

Сторицын. Не станешь?

Сергей. Нет.

Сторицын (*пытаясь засмеяться*). Что ж, пожалуй, ты и прав. Что это, рюмка? Нет, брат, оставь. Вот это будет (*выплескивая из стакана остатки чая*) моя, как это говорится, посудина. Видишь, немного ума никогда не мешает.

Сергей. Так скоро напьешься с непривычки.

Сторицын. За твой принцип! Я не шучу. (*Пьет и кашляет.*) Так. Я не шучу! Вообрази, что мне мой ум тоже стал... вдруг отвратителен, и я не хочу его. Почему этому не быть? За дураков и профессора Сторицына! Наливай!

Сергей (*наливая*). Мне все равно.

Сторицын (*пьет*). Нет, не все равно. Завтра всем расскажи в гимназии, что твой отец был пьян. Слабый коньяк! Расскажи.

Сергей (*становясь все угрюмее*). Зачем же я буду рассказывать?

Сторицын. Эх, жаль, что твои балалайки ушли! (*Садится и смеется.*) Сережа, а коньяк-то действует?.. Странно. Налей-ка еще, Сережа, завтра я куплю тебе балалайку.

Сергей. Не надо мне балалайки. Спать бы ложился, папа.

Сторицын (*наливает и пьет*). Надо! Милый ты мой Сережа, бедный ты мой мальчик... (*Опускает голову и задумывается, Сергей молча смотрит на него.*) Что?

Сергей. Ничего. Спать иди.

Сторицын. Оставь! Сережа, мальчик, скажи, ты, наверное, влюблен в кого-нибудь, а?

Сергей. Да, как водится.

Сторицын. Да?

Сергей. Да.



Сторицын. Но какой я!.. конечно, конечно. Я уже и забыл совсем, что ты мальчик...

Сергей. Ну, не совсем.

Сторицын. И что ты теперь как раз переживаешь ту пору, когда расцветают цветы. Налей. Я сегодня всю дорогу вез цветы, а их бросили в угол. Кому мешают цветы? Кто может ненавидеть цветы. так, чтобы бросить их в темный угол? Мои цветы.

Сергей. Папа, кто эта княжна, которая бывает у нас? Гордая очень.

Сторицын *(машет рукой)*. Не надо. *(Пьет.)* Вздор! Почему у меня не завешены окна сегодня? Странно. Я их сам завесил. Теперь мне кажется, что вся улица смотрит на меня... Ну — смотри! Что? Хорош? Ага!

Сергей. Завесить, папа? Я завешу.

Сторицын. Вздор! *(Наклоняясь к сыну.)* Так кто же она, Сережа, говори. Гимназистка?

Сергей. В этом роде.

Сторицын. Цветы, цветы... Ну и как, Сережа, ты счастлив, скажи. Ах, брат, я так хочу, чтобы ты хоть немного был счастлив, бедный ты мой мальчик. Забудь ужасы этого дома, скажи мне как другу, что ты хоть немного узнал это... это... *(Нежно и мечтательно улыбаясь.)* Понимаешь? Фу, я пьян.

Сергей. Мы с нею живем, папа.

Сторицын. Что-о?

Сергей. Не беспокойся, мы принимаем меры. Не пей больше, это глупо. На тебя противно смотреть! Зачем ты мне делаешь такое лицо? Ты не смеешь делать такое лицо, я маму позову.

Сторицын перестает смотреть на сына и смеется, пьяно грозя пальцем.

Не умеешь пить, так не надо, никто не просит. Я маму позову.

Сторицын. Сережа? А что, если мы поедем с тобой туда? Понимаешь — куда все ездят? А? Вот будет штука капитана Кука. Откуда это: штука капитана Кука? Сергей! Я требую! Прибщи меня к твоему ничтожеству, к великой грязи мира сего... Унизь меня, Сергей, унизь.

Сергей. Оставь, пожалуйста, надоело. Ты пьян!

Сторицын. А я требую! Вези меня, куда сам знаешь. Свали меня на площадь, как падаль, грязный мусор... улыбка божества! Городовой, в участок профессора... как его... Сторицына!.. Ага! Давай руку, Сережа.

Сергей. Убирайся от меня. Ты пьян. У, как напился, противный!

Сторицын. К дьяволу на рога его, Сторицына!.. болтуна!.. красавца! На колени, Сторицын, перед низким лбом, а иначе... (*Вдруг страшно бледнеет и хватается за грудь, прежним голосом.*) Пстой!.. Сердце! Воды!

Падает в кресло, хрипя.

Сергей (*не смея подойти*). Папа! Ты пьян. Папа! Встань!

В двери отчаянный стук и голоса.

Занавес

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

У профессора Телемахова вечером следующего дня, то есть в понедельник. Часов около одиннадцати; на дворе дождь и сильный ветер. Кабинет-приемная Телемахова. Судя по крупным размерам комнаты, по тяжелым пропорциям дверей и окон — квартира находится в одном из казенных зданий. Потолок белый, почти без орнамента; обои светлые, мебель темная. Два дивана и кресла обтянуты дешевой кожей или клеенкой под кожу. Книг много, но обилие их не так заметно, как у Сторицына, благодаря строгому порядку. Несколько физических приборов, небольшая электрическая машина. Полное отсутствие чего-либо, предназначенного для украшения или хотя бы для смягчения прямых, тяжелых и четких линий. Окна, выходящие в сад или на пустырь, не завешены; в одном открыта большая форточка. Кроме лампы на столе, горят еще две лампочки, одна висячая, обе с белыми колпачками.

Телемахов что-то читает, но либо чтение дается с трудом, либо мешают мысли: часто подергивает себя за бородку, ворошит короткие с проседью военные волосы. Уже сильно нетрезв, но продолжает пить красное вино. Форменная серая тужурка полурасстегнута. На кожаном диване, лицом к Телемахову, лежит Володя, следит, как он читает, как пьет вино, как ворошит волосы. При сильных порывах ветра оба поворачиваются к окнам и прислушиваются.

В крепости изредка стреляет пушка, предупреждая о наводнении.

Володя (*нарушая молчание*). Ветер какой сильный. Теперь нехорошее время для полетов, голову можно сломать и машину попортить. Вчера барометр стоял перемененно, а нынче спустился ниже бури. Как это может быть, чтобы ниже бури? — смешно! Прокопий Евсеич, вы смотрели нынче барометр?

Телемахов (*мычит*). Угу. Не мешай.

Володя. Прокопий Евсеич, будет сегодня наводнение или нет? Пушка стреляет.

Оба прислушиваются.

Телемахов. Не слышу. Я глуховат становлюсь. Ты что, мешать мне пришел? Лежишь, так лежи, авиатор тоже!

Молчание.

Володя. Прокопий Евсеич, а что у нас дома делается, вы не знаете?

Телемахов (*сердито*). Тебе говорить хочется?

Володя. Да.

Телемахов. А мне нет. Не знаю, что у вас дома делается. Не знаю, и знать не желаю.

Володя. Я говорил по телефону из булочной, да у них трубка снята. Ничего не слышно.

Телемахов. А как чавкают — не слышно?

Володя. Почему чавкают?

Телемахов. Твоего папахена жрут. Не слышно? Так и молчи.

Молчание.

Володя. Прокопий Евсеич, вы профессор?

Телемахов. Профессор.

Володя. И генерал?

Телемахов. И генерал. Дальше что?

Володя. Зачем же вы напиваетесь? Вы каждый вечер так напиваетесь?

Телемахов. А ты зачем летаешь?

Володя. Так я для пользы, смешно.

Телемахов. Ну и я для пользы. Что же, ты решил так и не давать мне читать? Кто же из нас к кому пришел: я к тебе или ты ко мне? Гости!

Володя. А вы бросьте читать, успеете. Давайте поговорим. Ветер такой сильный.

Телемахов. Ты у меня каждый вечер бока пролеживаешь, так я каждый вечер и буду с тобой разговаривать? И о чем я с тобой, телелюем, говорить буду, ты об этом подумал? Голова!

Володя. Мало ли о чем. Прокопий Евсеич, а вам не скучно всегда одному быть? Ни товарищей у вас, ни друзей, один денщик, да и тот на кухне спит. Оттого вы и пьете, что один.

Телемахов (*хмыкая*). Оттого?

Володя. А то отчего же? На вашем месте и корова запыет.

Телемахов. Корова? А ты видал, чтобы коровы пили?

Володя. Медведи пьют.

Телемахов. Медведи? Какой мыслитель, а! Медведи! Ничего в жизни не понимает, еще мычать толком не научил-

ся, теленок, а тоже в рассуждение лезет. Оттого что, потому что... Ты, Володя, мыслитель, да? Ну, а я мыслитель. *(Долго смеется.)* От слова: мыслете, понимаешь? Мыслитель, хе-хе, русский мыслитель.

Володя. Я о папахене беспокоюсь, сегодня у меня Сережка был, такие чудеса рассказывал... *(Внезапно громко всхлипывает и оборачивается лицом к стене.)* Сожрут они папахена, как вы думаете? Сами говорите, что чавкают.

Телемахов. Что, как баба... Перестань! Когда у человека бас, как у протодьякона, ему реветь поздно. Раньше бы ревел! Ты зачем из дома ушел, ты зачем одного его оставил?

Володя. Смотреть не мог. *(Не оборачиваясь.)* Я, Проконий Евсеич, Саввича убью. Честное слово.

Телемахов. Ага! Саввича убью. Додумался! А о чем же ты раньше мыслил, мыслитель?

Володя. Я папахену верил, что он человек не плохой. Теперь у меня своя голова есть.

Телемахов. Своя голова есть? А твоему папахену можно верить, когда он человека хвалит, твой папахен что-нибудь в людях понимает, а? Ну, ну, ободрись. Это хорошо, когда своя голова есть, я тоже когда-то, брат Володя, был достаточно глуп — больше чем надо! Ты что-нибудь про мою жену слышал? Дрянь баба, пигалица, птичьи мозги, только и любит, что духи и мыло. Еще массаж любит, думает, что вся наука и медицина состоит из массажа лица! Кажется, в надежде на бесплатный массаж и за меня вышла. Она вышла, а я ей пятнадцать лет сто рублей каждый месяц высылаю, каждый месяц первого числа — это как, по-твоему, мыслитель? Ну и, по-моему, так же! *(Кричит.)* Геннадий!.. *(Звонит.)* Драть меня надо за это, драть, драть, как Сидорову козу! Я себя презирать стал за эти сто рублей, я каждый месяц не перевод на сто рублей пишу, а сто розог себе пишу, розог, розог!..

Постучавшись, входит денщик Геннадий.

Дрыхнешь? Тебе звонят, а ты носом свистишь? Переменить.

Геннадий. Никак нет, ваше превосходительство.

Телемахов. Переменить!

Геннадий. Есть, ваше превосходительство.

Во все время, пока денщик проходит по комнате, принося вино, Телемахов через очки молча и сердито следит за ним.

Телемахов *(наливая вино)*. Так-то, мыслитель. Сознательный человек, а на трудовые деньги паразита содержи,

каждый месяц сто рублей паразиту в зубы: пожалуйста! А паразит: благодарю вас, господин Телемахов, не будет ли еще? И будет еще, будет, будет!.. (*Машет рукой перед горлом.*) Горло готов перерезать бритвой, только не посылать этой... пигалице!

Молчание. Порыв ветра и звук отдаленного выстрела. Телемахов смотрит на форточку и сердито палкой захлопывает ее.

Володя (*вздыхая*). Убью.

Сильный звонок. Телемахов останавливается. Володя быстро садится; оба слушают.

Это от нас.

Телемахов. Погоди еще, не все от вас, бывают и больные.

Входит Геннадий.

Геннадий. Ваше превосходительство, к вам господин Сторицын просются, в передней стоят.

Телемахов делает несколько шагов вперед, но уже входит Сторицын, одетый в пальто и шляпе. Совершенно мокр от дождя, ботинки без калош, грязны, брюки внизу также.

Сторицын. Я к тебе, Телемахов. Извини, что врываюсь ночью, сейчас, кажется, очень поздно... Можно?

Телемахов. Я рад, я от души рад... Геннадий, раздеть.

Сторицын. Да, пожалуйста... Геннадий, я уж в переднюю не пойду. И горячего чаю, Геннадий, если не поздно, я озяб.

Телемахов. Чаю! Вина еще!

Сторицын. Вас зовут Геннадий? Спасибо. Нет, ноги обтирать не надо, это ничего... Ужасный дождь! Это ты, Володя? Здравствуй. Как ты сюда попал, ты же не тут живешь?

Володя. Я в гостях, папахи.

Сторицын. Очень рад. Вероятно, будет наводнение; сейчас я шел по Неве, там такая темень... Постой, Телемаша, разве близко от твоей квартиры есть Нева?

Телемахов. Есть. Садись, милый, сейчас будет чай.

Сторицын. Конечно, есть. Но, представь, я вдруг забыл адрес, ходил, ходил... и извозчика взять нельзя, куда же он поедет? Раз пушка выстрелила у меня под самым ухом... К тебе можно, Телемахов? Я должен тебе сказать, что я совсем ушел из дому.

Телемахов. Очень рад!.. Давно пора!..

Сторицын. Да, да, давно пора. Сегодня, Телемаша, был ужасный день, сто двадцать верст в длину... Володя, ты

не ушел бы домой? Я очень рад, но сейчас мне трудно видеть тебя... Какой ты высокий стал, Володя! Поцелуй меня и иди.

Телемахов (решительно). Он тут ночует. Иди в спальню, Володя.

Берет его под руку и ведет, говоря что-то и смотря на него поверх очков. Сторицын смотрит сперва в черное окно, потом на стол. Телемахов возвращается, решительно потирая руки.

Сторицын. Красное винцо потягиваешь, Телемаша?

Телемахов. Да. Поесть не хочешь? — надо поесть.

Сторицын. Нет, я что-то ел. Мы обедали сегодня. Телемахов! — я должен сказать тебе, что я ушел из дому навсегда.

Телемахов. Да, да, слышал, брат. Давно пора!.. Поздравляю.

Сторицын. Телемаша, у тебя есть в доме револьвер? Понимаешь, в моем доме не оказалось нигде револьвера... покажи мне эту штуку, я бы посмотрел. Но почему я мог знать, что в моем доме нужна эта штука капитана Кука... Фу, вздор какой я говорю. Я шучу, Телемаша. И я озяб, трясет немного.

Телемахов (яростно). Геннадий!

Сторицын. Не надо, он сейчас, еще не готово. С удовольствием выпью чаю. Невероятнейший дождь. И на Неве такая темень... Как все-таки странно, что Нева близко от тебя!

Телемахов. Дай руку, Валентин.

Сторицын. Зачем? (Отдергивает руку.) Ах, пульс! Не надо ничего этого, Христа ради, не надо. Когда меня теперь спрашивают о здоровье или трогают пульс, мне кажется, что меня собираются вешать и бояться, что я уже умер. Я здоров.

Телемахов. Ты бредишь!

Сторицын. Может быть, но ты не сердись. И я попрошу тебя, Телемаша: если сюда приедет он, то, пожалуйста, не пускай его, я больше не могу.

Телемахов. Кто это он? Саввич?

Сторицын. Да.

Телемахов. Не пускать? А может быть, пустить? Может быть, взять его за белую ручку и сказать: пожалуйста, господин Саввич!

Сторицын. Нет, нет! Я не могу.

Телемахов открывает дверь в спальню и кричит.

Телемахов. Володя, сюда собирается прибыть господин Саввич, и отец просит не пускать его... ты можешь это или нет?

Володя (*медленно и по звуку голоса лениво*). Могу.

Телемахов со стуком захлопывает дверь. Геннадий приносит чай. Сторицын благодарит и с жадностью пьет. Телемахов, начиная фыркать все сильнее, ходит по комнате, каждый раз искося и сердито взглядывая на Сторицына. Смеется.

Сторицын. Горячо. Как у вас уютно. Ты что смеешься, Телемаша?

Телемахов. Смеюсь оттого, что смеюсь. Или, может быть, ты запретишь смеяться? Тогда извини — не могу. (*Перестает смеяться.*) Смеюсь!

Сторицын. Надо мною?

Телемахов. Не знаю. И никто не смеет запретить мне смеяться. Смеюсь, и кончено! А кому не угоден мой смех, тех прошу не слушать. Да!

Сторицын (*с трудом соображая*). Может быть, мне уйти?

Телемахов (*останавливаясь и яростно смотря на Сторицына*). Глупо! Было с трех сторон глупо, а теперь со всех четырех глупо. Геннадий! Еще чаю!

Быстро входит Геннадий.

Если ты мне попробуешь задрыхнуть, я тебя... скотина! Еще чаю!

Сторицын. За что ты его?

Телемахов. Я его за что, — а ты меня за что?.. Поставь, болван... Я его болван, а ты за что меня по роже? Когда профессора Сторицына выгоняют из дому, то это по чьей роже удар, позвольте вас спросить? По Саввичевой? Да? Нет-с, по моей. И кончено. По моей, и кончено! Смеялся, и буду смеяться, и никто мне не запретит, да! Никто!..

Сторицын (*невольно улыбаясь, медленно*). Да постой, Телемаша... ты меня обвиняешь? По-твоему, я виноват?

Телемахов. Не знаю, кто виноват. Но только я не дам бить себя по роже никому! Не позволю! Пусть это будет даже господин Сторицын с его благороднейшей дланью. И кончено.

Сторицын (*серьезно*). Не кричи, Телемахов, я устал от крика. Ты думаешь, что я виноват? Но ты же знаешь, что я поистине, по чести сеял только доброе...

Телемахов. Да? Только? А пришел воробей и съел?

Сторицын. Мне так печально, что ты... Телемаша, старый друг! Они же ничего не понимают, а я их понимаю, ну и в этом все. И они могут меня бить, что ли, вообще поихнему, а я их не могу, и не должен, раз понимаю... Постой,

не кричи! В голове у меня шумит, и мне трудно. Телемахов! Я совершил ужасное открытие. Я был пьян вчера, что-то со мной было, но не в этом дело. Телемахов!.. Я видел вчера моего сына, Сергея... так называемого Сережку. Ты смеешься? Не надо, не смейся.

Телемахов (*стараясь спокойно*). Могу и серьезно, отчего же? Когда профессора Сторицына выгоняют из дому, то можно поговорить и серьезно, сделайте милость. Уже давно, Валентин Николаевич, много лет тому назад я отошел — вполне сознательно отошел от твоей жизни и сказал себе: живи как хочешь, а я, как Пилат, умываю руки. Когда же (*грозя пальцем*) ты приедешь ко мне вот в такую ночь, я тогда тебе все скажу, все припомню, молчать уж не стану. Кто же, по-вашему, господин Сторицын, спрашиваю вас, вот в эту ночь расчета, кто же, по-вашему, люди — братья милейшие, ангелы без крыльев, хоть и в запятнанных, но все же в белых одеждах, — или же волки? Кто? Скажи, ты, выгнанный из дому, одинокий, несчастный человек... остатки человека!

Сторицын (*вставая*). Ты сам одинок и несчастен. Мне жаль тебя.

Телемахов. Прошу без жалости! Да, да, пусть я одинокая старая собака, но у меня есть логово, у меня есть дом — видишь? (*Обводит рукой.*) В конце концов, кто же к кому пришел: я к тебе или ты ко мне? Конечно, ты всю жизнь живешь в мире идеальных сущностей, ты просто не желаешь опустить взоры на землю — ну, а я реалист, я биолог и реалист! И я не желаю знать твоих нереальных драгоценностей. Летайте в небесах, а я твердо держусь за землю и не выпущу ее, я знаю, что мы, профессора Телемаховы и Сторицыны — одиночки в эту ночь, среди волчьей стаи. И пусть тебя жрут, а я не хочу быть жратвом, я их огнем, головешкой! Да!

Сторицын. Ложь, Телемахов! Сторицына нет, он призрак и обман. Телемахов, подумай! У моего сына Сергея низкий лоб.

Телемахов. Низкий лоб? Да? Отчего же он низкий? Низкий! (*Яростно.*) Так стрелять в низкий лоб, стрелять, стрелять!

Сторицын (*громко*). Замолчи!

Телемахов. Нет, не замолчу. Я приобрел право говорить и не в эту же ночь я буду молчать. (*Передразнивая.*) Геннадий, голубчик, пожалуйста... Я двадцать лет учился кричать Геннадию: болван! И научился! Я двадцать лет отучал себя от жалости, душу вывернул наизнанку, крова-



вую ванну взял на востоке — и научился! А теперь приходит ко мне выгнанный из дому профессор Сторицын и деликатнейшей своей дланью бьет меня по роже. (*Передразнивая.*) Я ко всем благоволю, я презираю твой кулак, Телемахов, но почему же ты не заступился за меня, дал Саввичу слопать мою деликатнейшую душу?

С т о р и ц ы н. Неправда! Мне не нужна твоя защита. Я странник, попросивший ночлега, бездомный бродяга, которому идти...

Телемахов (*подходя близко, наклоня голову и смотря прямо в глаза Сторицыну*). Защиты не надо? Хе-хе. А Саввич? А кто сегодня искал револьвер — но разве в доме профессора Сторицына есть эта штука капитана Кука? А у меня есть! Есть и всегда будет! Нетленное!.. Ну, есть, и молчи, не болтай, не таскай по улицам, не корми животных... твоим нетленным. Вот оно где у меня сидит... (*бьет себя в грудь*) и молчу. И слова не скажу, умирать буду, так в рот себе земли набью, чтоб как-нибудь не сболтнул язык. Мое оно! Пусть же профессора Сторицыны болтают, — а я буду стрелять, да! Низкий лоб — так стрелять в низкий лоб! Стрелять, стрелять! Вешать!

С т о р и ц ы н. Я уйду. Я ни минуты не останусь в доме, где так прозвучало это слово.

Делает шаг к двери.

Телемахов (*как бы пригвождая его указательным пальцем*). Уходишь? Иди, иди. А куда ты пойдешь?

В дверь выглядывает испуганный Володя.

С т о р и ц ы н. Я иду. Прощай.

Телемахов. До свидания. Геннадий, проводить! А куда ты пойдешь? У тебя нет дороги!

С т о р и ц ы н. Куда? (*Поднимая руки.*) Есть же хоть один слушатель, который слышал меня. К нему!

Идет к двери, но громкий звонок останавливает его.

Телемахов. Геннадий, погоди! Володя, в переднюю, сам открой.

Володя. Хорошо.

Довольно быстро проходит. Телемахов приближается к Сторицыну и говорит, стоя к нему боком и не глядя.

Телемахов. Прошу извинить меня. Я немного пьян сегодня и — вспылil! Оставайся здесь, я прошу тебя. А если мое присутствие тебе неприятно, то у меня сегодня есть дело в больнице.

Сторицын (*качая головой*). Нет. Я иду.

Телемахов. Ну, извини старую собаку. Если ты сегодня позволишь себе уйти от меня, то я — тоже уйду, минуты здесь не останусь! К черту!

Володя (*входит*). Я отворил, они раздеваются. Это дядя Модест с княжной.

Телемахов. А! Княжна! (*Застегивая тужурку и оправляясь, идет навстречу.*) Очень рад!

Входит княжна и Модест Петрович: их церемонно, но очень приветливо встречает Телемахов, подолгу тряся и задерживая руку и повторяя: «Очень рад! Очень рад!» Княжна в вечернем туалете, как будто привезена из гостей или из театра; взволнована, но сдерживается. Сдерживается и Модест Петрович, видимо, расстроенный, очень много переживший, но теперь сияющий от радости. В первую минуту ни он, ни княжна как будто не обращают внимания на Сторицына, здороваются с ним последним.

Телемахов (*стараясь вторично застегнуть пуговицы*). Милости просим. Княжна, прошу вас садиться! Модест Петрович, прошу вас. Володя, садись. Ты что же не сядешь, Валентин Николаевич? Геннадий, вина! Виноват: не прикажете ли чаю и фруктов? Геннадий! Чаю и фруктов.

Все садятся. Денщик говорит что-то вполголоса, потом громко.

Геннадий. Фруктов нет, ваше превосходительство.

Телемахов (*сдерживаясь, яростно смотрит на него, кричит*). Чаю! (*Тише.*) Сервиз достань, знаешь?

Геннадий. Так точно, ваше превосходительство.

Людмила Павловна. Не беспокойтесь, пожалуйста... Прокопий...

Телемахов. Прокопий Евсеевич. Помилуйте, какое же беспокойство. Я очень рад! Володя, подай, пожалуйста, папахену папироску.

Сторицын. Спасибо, у меня есть.

Телемахов садится и молчит. Сторицын улыбается.

Откуда вы, княжна?

Людмила Павловна. Из театра. Я с мамой и братьями была в театре.

Сторицын. Кончилось уже?

Людмила Павловна. Да, почти. Но какая страшная Нева! Мы ехали с Модестом Петровичем через мост...

Модест Петрович (*улыбаясь*). Не промочили ноги, Людмила Павловна?

Людмила Павловна (*также улыбаясь*). Немножко. А вы? Мы с ним долго шли по какому-то двору, и он все боялся, что я ноги промочу. Валентин Николаевич, вы знаете новость? — Я из дому ушла совсем.

Сторицын (*улыбаясь*). Когда же? Не знаю.

Людмила Павловна. Сегодня. Я уже не вернусь домой. Вы одобряете мой поступок... *(вдруг пугается и заканчивает)* профессор?

Молчание. Телемахов, увидев в двери Геннадия с подносом, яростно машет ему рукой и шипит: «Назад!»

Людмила Павловна *(смущаясь все больше и почти плача)*. Вы молчите? Но я уже давно стала думать, я еще только начала думать, но я понимаю, я так хорошо понимаю. И если... вы не одобрите моего поступка, то я совершенно не знаю, что мне делать.

Модест Петрович *(вставая)*. Валентин! Валентин Николаевич! Клянусь Богом, за этот день я второй раз поседел, Валентин Николаевич! И если я еще жив и не бросился в воду, то это она, она! Я так и решил, клянусь Богом, что или с нею, или... Меня в театр не пускали без билета, я скандалить начал, и вдруг она идет по коридору, я ее не узнал, а она узнала меня... Там такой скандал был, Валентин Николаевич, что если ты не одобришь... твоим авторитетным словом... Там мама ее и братья и такой, брат, скандалище!..

Людмила Павловна. Оставьте, Модест Петрович. Пойдите, пойдите отсюда.

Модест Петрович. Голубчик ты мой! Ведь это счастье, ведь это жизнь к нам пришла! Ведь я работать решил: пусть валяются, пусть валяются, а я... Я тебя уважаю, но ты... на колени пасть... на колени... Ура!

Телемахов. Глупо, Модест Петрович! Прошу вас в столовую, Модест Петрович, закусить, чем Бог послал... рюмочку водки... Геннадий!.. Володя, прошу.

Модест Петрович. Ну и пусть глупо... И водки выпью и скандалить...

Телемахов. Глупо! Прошу, прошу...

Уводит за собой Модеста Петровича и Володю, закрывая дверь. Сторицын и княжна одни.

Сторицын. Он правду сказал? Простите меня, Людмила Павловна, но сегодня у меня такой длинный день — как целая жизнь, и я немного сошел с ума. Я не понимаю. Он правду сказал?

Людмила Павловна. Правду. А что? Там я не боялась, а теперь боюсь. Да, я ушла из дому навсегда. Но не для вас ушла, вы не думайте, я давно хотела.

Сторицын. Значит, ни у меня нет дома, ни у вас?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. Какой свет! Да, я понимаю теперь. Мы ушли из дому, и ни у тебя нет дома, ни у меня. Я понимаю

теперь. Мы очень долго и напрасно притворялись — я профессором Сторицыным, а ты какой-то княжной, и это оказался вздор. Ты — не княжна, ты — девочка в рваном пальто. Слышишь?

Людмила Павловна. Да.

Сторицын. И наш дом, твой и мой — весь мир. Закрой глаза и посмотри, как широко — весь мир! Оттого и ветер сегодня — ты слышишь? — что мы ушли из дома, из маленького дома. И река выходит из берегов... слышишь? — это волны. Тебе не холодно, девочка?

Людмила Павловна. Нет. *(Вспыхнув.)* Мне стыдно, что я так одета!

Сторицын. Ты вся горишь, как солнце! Но ты понимаешь, ты понимаешь, девочка, какой неслыханный ужас: он взял твои цветы и бросил их в угол. Бросил твои цветы! Тогда мне впервые показалось, что я сошел с ума, и я оставил их там. Так и оставил, там они и лежат, девочка. Мне бы идти с ними по улицам, мне бы в реку с ними броситься... глупая, старая Офелия!

Людмила Павловна. Поедьте к Модесту Петровичу. Мне становится страшно, когда я подумаю, как вы устали. Там будут люди, которые любят вас. С нами поедет Володя.

Сторицын. Да, поедем, он хороший человек, и мне надо очень, очень много спать, я устал. А завтра я пойду дальше, мне надо идти.

Людмила Павловна *(тихо плача)*. Мне можно с вами? Я буду сестрой, дочерью вашей, если хотите. Я знаю, что вы меня не любите.

Сторицын. Нет, люблю. Ты слышишь, какой ветер? Это вечный ветер изгнанников, тех, кто оставил маленький дом и среди ночи идет в большой, возвращается на родину. Его слышат только изгнанники, он веет только над их головою... *(Встает.)* Мне страшно! Мне страшно, девочка! Это не ветер! Это Дух Божий проносится там! Слушай!

Закрывает глаза и, протянув руку к окнам, за которыми ветер, прислушивается. Открывает глаза и улыбается.

Это часовые так кричат, когда перекликаются: слу-у-шай! Мне кажется, что иногда я говорю что-то странное, Людмила Павловна, но у меня жар, кажется. Но почему жар и почему странное? — Я ясно вижу, как никогда.

Людмила Павловна. Но как же это! Вы даже не переделались, на вас мокрое, и вы простудитесь! Сейчас я устрою.

Сторицын (*равнодушно*). Не надо простуживаться. Для этого надо переодеться.

Людмила Павловна. Я позову их. Модест Петрович!

Сторицын. Позови. Все это совершенно то, что надо. Сегодня я забыл свои папиросы и зашел в какую-то лавочку... так странно! Я уже десять лет не заходил в лавочку... так странно!

Входят все. Модест Петрович слегка навеселе — совсем немного.

Людмила Павловна. Модест Петрович, мы едем.

Модест Петрович. И великолепно! И как раз вовремя! И все есть и все будет! Прокопий, друг, пошли за извозчиками на Финляндский вокзал. А мы с Прокопием выпили на брудершафт, и теперь он бывший генерал. Прокопий, ты мне нравишься!

Телемахов. А ты мне нет. Геннадий!..

Людмила Павловна. Нет, погодите, Прокопий Евсеич, ему надо переодеться. Дайте белье и ваш сюртук, он совсем мокрый.

Телемахов. Слушаю-с. К сожалению, у меня только форменное. (*Вошедшему Геннадию*.) Геннадий! Господину профессору мой новый сюртук... ну? — который в шкапу. Валентин Николаевич, пройди, пожалуйста, в спальню, сейчас тебе дадут переодеться. Извините, княжна.

Сторицын (*с улыбкой смотревший на всех*). Это нужно?

Телемахов. Да. Иди, милый.

Сторицын. Хорошо. Володя, пойдем со мною. Какие вы все особенные и... странные! Пойдем переодеваться, Володя. Так нужно.

Володя. Пойдем, папахен.

Уходят в спальню.

Людмила Павловна. Прокопий Евсеич, я боюсь за него. У него, кажется, жар, он немного бредит.

Телемахов. Не знаю, не замечал! И если человека грызть целые сутки, раздирать на части и — чавкать! — то он будет заговариваться. Я сам заговариваюсь сегодня. (*Вышедшему из спальни Геннадию*.) Геннадий! Два извозчика на Финляндский вокзал, тридцать копеек. Если я только час буду видеть перед собой рыцарскую рожу господина Саввича, я — все слова забуду! И кончено! Дело не в том, что жар, а...

В прихожей звонок, все замирают.

Телемахов. Геннадий, — погоди. Володя, прошу в переднюю, дело есть. Геннадий, помоги Владимиру Валентиновичу. Княжна, прошу вас садиться. Модест — сядь.

Володя и Геннадий быстро проходят в переднюю. Дверь в спальню полукрывается. Голос Сторицына:

— Кто там?

Телемахов. Не важно, пустяки, сейчас все устроится. Два слова господину Саввичу. Прошу, Валентин Николаевич! *(Плотно закрывает дверь в спальню.)* Садитесь, княжна.

Деловито поворачивает выключатель одной из висячих ламп, и в комнате становится темнее. Слышно, как в прихожей гремит снимаемый засов. Вытянув шею и дергая себя за бородку, Телемахов прислушивается к происходящему в передней. Ясно слышен следующий диалог.

Саввич. Что это к вам не дозвонишься? Спишь, каналья! Профессор Сторицын у вас?.. Скажи, что за ним из дому приехали. Живо!.. Позвольте, позвольте, кто вам дает право, я вас не знаю. А, это ты, Володька?

Володя. Я.

Мгновение молчания.

Саввич. Ты ответишь! Я не позволю бить по лицу, маль...

Мгновение молчания.

А, ты еще! Позвольте, что это? Двое на одного. Да я...

Голос обрывается. Мгновение молчания и громкий звук задвигаемого засова. Два-три яростных звонка с площадки и тишина.

Телемахов *(с наслаждением прислушиваясь к звонкам и напевая, прохаживается по комнате)*. Машенька гуляла во своем саду-ду-ду... *(Залпом выпивает стакан, нежно.)* Ну как, Володя?

Володя. Ничего. Ушел. Но только я...

Некоторое время гневно сопя и фыркая, совершенно округлив глаза и как-то странно шаря руками по телу, кружится по комнате. Потирает правую руку.

Модест Петрович *(тихо)*. Оставь, Володя, сядь! Сделал, ну и сядь. Какой ты, брат, однако, зверь!

Телемахов. Нет, отчего же? Геннадий!.. Геннадий — спасибо.

Геннадий. Рад стараться, ваше превосходительство.

Телемахов. Ступай. Нет, отчего же? *(Выпивает стакан.)* Машенька гуляла...

Людмила Павловна. А он? Он молчит. Прокопий Евсейч, он молчит?

Все на мгновение с некоторым страхом оборачиваются к спальне, где молчит Сторицын.

Телемахов (*стукнув и приоткрывая дверь*). Валентин, к тебе можно, или ты выйдешь сюда?

Молчание. Телемахов заглядывает в дверь и сердито отходит. Людмила Павловна в беспокойстве смотрит на него. Телемахов показывает жестами, что Сторицын сидит, опустив голову на руки. Показав — уже от себя и яростно пожимает плечами.

Людмила Павловна (*тихо*). Он слышал?

Телемахов. Не знаю. И знать не желаю! Володя, пройди к отцу.

Володя (*у двери*). Папахен, к тебе можно? А папахен? Сторицын. Нет. Пошли ко мне Модеста.

Модест Петрович тихонько входит, оставляя дверь полуоткрытою.

Телемахов (*становясь в решительную позу, рядом с полуоткрытой дверью*). Позволь тебе заметить, Валентин Николаевич, что это я распорядился и вину беру — на себя! Я не хотел осквернять твоего слуха, но этот дом — мой, и я не могу позволить, чтобы господин Саввич безнаказанно разевал свою гнусную пасть. И кончено!

Володя. Папахен, а папахен, ты напрасно. Если ты даже этого понять не можешь, то я тоже уйду. Честное слово. Пусть и у меня не будет дома, не желаю я так, папахен. Пусти, говорю.

Сторицын. Войди.

Не оборачиваясь и опустив голову, как будто дверь очень низка, Володя боком входит. Дверь закрывается. Телемахов садится на свое кресло у стола, выпивает стакан вина и искоса через очки смотрит на дверь. Затем переводит взгляд на княжну.

Людмила Павловна. Что вы, Прокопий Евсейч? Вы что-нибудь хотите сказать?

Телемахов. Дайте руку.

Берет протянутую руку, целует и, положив на стол, склоняется на нее лицом.

Людмила Павловна. Прокопий Евсейч, вы плачете? Не надо.

Телемахов (*поднимая голову и садясь обычно*). Пьян, оттого и плачу. Плачу, и кончено! И никто не смеет запретить мне плакать. И кончено. (*Грозит пальцем по направлению спальни*.) Пусть!.. и очень сожалею, скорблю

душевно, что сам вот этой рукой... *(трясет кулаком почти перед самым лицом княжны)* не мог! И кончено... Княжна?

Людмила Павловна. Что, Прокопий Евсеич?

Телемахов, молча и сам продолжая глядеть на княжну, показывает на дверь, за которой Сторицын, и чертит указательным пальцем как бы круги.

Людмила Павловна *(со страхом)*. Я не понимаю. Телемахов *(наклонившись и продолжая чертить пальцем)*. Скоро умрет. Сердце никуда. Скоро умрет.

Людмила Павловна. Этого не может быть!

Телемахов *(утвердительно кивнув головой)*. Будет... Но что это?

На цыпочках, с выражением крайнего страха на лице и в походке, из спальни выходит Володя и останавливается, смотря назад.

Людмила Павловна. Что с ним?

Володя. Не знаю. Умирает, должно быть. Не знаю.

Почти повторяя движение Володи, но закрывая лицо руками, выходит Модест Петрович. Все со страхом смотрят на дверь. Широко раскрывая ее, выходит Сторицын, слепой к окружающему, страшный в своем выражении сосредоточенности и полной уже отрешенности от видимого. На нем короткий, не по росту, форменный сюртук Телемахова, ботинки грязны.

Медленно, не оглядываясь, идет к двери.

Телемахов *(трезвея)*. Куда ты?

Сторицын останавливается и мгновение смотрит назад, не видя.

Сторицын. Я иду! *(Поднимает руку.)* Слышишь?

В комнате мгновение полной тишины: слышнее яростные взвизги и глубокие вздохи ветра за окном, удары дождевых капель по стеклам. Сторицын поворачивается и идет с выражением той же сосредоточенности. Первые шаги тверды, но дальше силы изменяют — шатается — почти пробегает два шага и падает у самой двери. К нему подбегают.

Володя. Папахен! Папа! Папа!

Телемахов. Пусти. Подними голову, открой грудь. Не ревь, тихо.

Слушает, приложив голову к сердцу, затем отчетливыми шагами выходит на середину комнаты и останавливается спиной к трупу, решительно сдвинув ноги и яростно шипля бороду. Володя и Модест Петрович плачут.

Ложь-ложь-ложь! *(Яростно кричит, грозя вверх кулаком.)*  
Убийца!





## НЕ УБИЙ

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Темный осенний день. Дождь. На сцене одна из комнат кулабуховского проклятого дома: пустая, грязная, мерзкая. Рамы в больших барских окнах перекошились, видно, что от окон дует; два стекла в нижних долях рамы разбиты и заменены досточкой; гнилые обои местами отлипли и угрожающе нависают. Обстановки никакой, если не считать большого кухонного стола, как бы брошенного посреди комнаты, и нескольких случайных стульев. За окнами — окон всего три — в сетке дождя смутно различаются почерневшие углы и крыши надворных построек, за ними — голые стволы и ветви большого и старого сада.

При открытии занавеса, на сцене одна *Василиса Петровна*, кулабуховская экономка, — женщина с приятным лицом. Одета неряшливо и плохо, но волосы причесаны и подвиты. Сидит на кончике стола, глубоко задумалась о чем-то. Возле на столе под опущенной рукой лежит черное шерстяное платье.

Входит дворник *Яков*.

*Яков*. Что задумались, *Василиса Петровна*? Я пришел. *Василиса Петровна* (*не поднимая головы и не меняя позы*). Да вот думаю все.

*Яков*. Ну, думайте.

*Василиса Петровна*. Холодно. Да, вот думаю все. Ты знаешь, *Яков*, сколько у меня денег было, сбережений моих?

*Яков*. Я частокольчик доломал, теперь дня на два топлива хватит. Затопить, что ли? Холодно тут.

*Василиса Петровна*. Потом. В сберегательной кассе лежало у меня триста пятнадцать рублей, да на руках было пятьдесят или сорок, не помню точно. Да заложила я

платьев, браслетку золотую, ризу с иконы серебряную, машину швейную, две подушки настоящие пуховые и разного другого — всего на сто двадцать рублей. Да половину квитанций продала за сорок рублей: вот ты и сосчитай, Яша, сколько за два года вышло.

Яков. Здорово.

Василиса Петровна. Да уж так здорово, что завтра хоть на паперть идти! Ни копейки, Яша, нет. Думала это платье отнести, да в чем же я его понесу, самой надеть нечего, одно только приличное и есть... Ах, батюшки, а у знакомых-то я побрала денег, совсем забыла: рублей шестьдесят, не меньше. Вот забыла, вот забыла!

Яков. Да моих семнадцать рублей считайте.

Василиса Петровна. Совестно вспомнить, какая я глупая была! Я ведь вначале по первому разряду его содержала, думала, что он просто шутит или притворяется, чтобы испытать меня. Они ведь разные бывают, и особенно миллионеры: просто, думаю, фантазия, обижен родственниками, вот и придумывает. А оказалось-то и совсем серьезно: до последней нитки объел, как саранча! Холодно, Яша. О, Господи, шпалеры-то как обвисли. Каждый день на них гляжу, а все никак привыкнуть не могу... да и нельзя к этому привыкнуть. Что, дождь идет?

Яков. Идет. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Нет, Яков, не надо. А ты где достал?

Яков. У Феофана двугривенный выпросил. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Ведь я даже вина не пила, Яша: тебе трудно представить, а я чище всякой барыни ходила. Но вот тебе клятва моя, Богом клянусь: если мне это удастся и будут у меня деньги, ни одной капли в рот не возьму! Это такое унижение, Яков, когда женщина пьет, это так недостойно ее пола.

Яков. Налить?

Василиса Петровна *(вздыхает)*. Ну, давай. Думала ли я когда-нибудь, Яшенька, что буду вот так сидеть... с Яшей-дворником и водку пить. Много мне гадалки гадали, а такого случая ни одна угадать не могла. Ух, как холодно, руки, ноги болят.

Яков. Согреешься!

Вынимает из кармана полбутылки водки и небольшой кабацкий и исчербленный по краям стаканчик, наливает и подносит Василисе Петровне.

Выкушайте на здоровье, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. За твое здоровье, Яша. *(Пьет и кашляет, покачивает головой.)* Вот и выпила, Яша!

Яков. Что?

Василиса Петровна. И в кого ты, Яша, такой рыженький уродился?

Яков. В отца, Василиса Петровна. У нас в роду все с краснинкой, а есть так и совсем красные. А что, не нравится?

Василиса Петровна. Нет, нравится, Яша! А я ведь не о платьях думала — сидела.

Яков. А о чем?

Василиса Петровна. А все о том. Надо кончать, Яков.

Яков. Что ж, кончим.

Василиса Петровна. Надо... завтра, Яша.

Молчание.

Яков. Что ж, можно и завтра. Какой завтра день?

Василиса Петровна. Кажется, — пятница, не помню. Дело в том, голубчик, что мы очень легко можем опоздать.

Яков. Митька-наследник опять мимо ворот прохаживался.

Василиса Петровна. Ну, да. Объявят они его сумасшедшим, тогда все пропало.

Яков. Хитрый он — не поддастся. *(Смеется.)* Нет, ты скажи, бабочка, что за чудеса: и сколько у нас в саду собак, со всей Москвы сбежались, рады мертвому месту — и мне-то страшно ходить. А он тебе целую ночь между собак бродит, и хоть бы одна его тронула. Царь собачий!

Василиса Петровна. Это правда, он очень хитрый. Он ужасный человек, Яков. И я думаю, что он вовсе не сумасшедший, но ведь не могут же наследники терпеть такое неприличие. Наконец и им деньги нужны: Дмитрий Николаевич очень, очень небогатый человек и в то же время очень расчетливый.

Яков. Жадный народ! И как можно деньги так любить, не понимаю я этого.

Василиса Петровна. Ну, ты многого не понимаешь, Яша. А что, Яша, еще рюмочка найдется? — Дай, пожалуйста. Одним словом, ты этого не понимаешь, Яков, это уж тонкая политика, но если бы они не боялись скандала, они б его давно в желтый дом запрятали. Но вот что ужасно: видела я там в шкапу, действительно, деньги лежат, но если это все именные бумаги? Тогда прямо ужас! Есть

такие бумаги, Яков, которых ни пустить в оборот, ни разменять нельзя и что тогда делать?

Яков. Увидим.

Василиса Петровна. И вот еще, что думала я: сонного его никак не застигнешь. Совесть ли у него беспокойная, или боится он, но только еще не видала я, чтобы он ночью спал.

Яков. А сейчас спит?

Василиса Петровна. А сейчас спит.

Яков. Что ж, можно и на ходу. Какая у него сила!

Василиса Петровна. Кричать будет.

Яков. А кто услышит? Собаки целую ночь грызутся, такая война идет, что и мимо ходить бояться. Нашего кулабуховского дома все боятся, Василиса Петровна — да и проклятый же дом, сказать по правде. Кругом столица Москва, а мы, как в черной яме сидим, ни голосу, ни свету, одни собаки воют. Пустырь!

Василиса Петровна. Да, да, живем, как погребенные. Яша, а крови не будет?

Яков. Какая кровь!

Василиса Петровна. Крови ни в каком случае не должно быть, ни единой царапинки — слышишь, Яков. Тогда все пропадет. Каторга, Яша, не забудь.

Яков. Что ж, и на каторге люди живут! Да ты не беспокойся, бабочка, я все сделаю.

Василиса Петровна. Я на тебя уж так полагаюсь... Яша, а аду ты боишься?

Яков. Аду? Что ж, и в аду люди живут, да еще побольше, чем в Москве. Там не соскучишься! Эх, бабочка, милая, никакого места я не боюсь, где люди есть.

Василиса Петровна. Простой ты человек, Яша; с тебя, я думаю, и грех не взыщется, или не так строго. Яша! А Маргарита — горничная тебе очень нравится?

Яков. Мне все нравятся.

Василиса Петровна. Она тебя любит.

Яков. Меня все любят, Василиса Петровна. Да как меня и не любить? Лицо у меня чистое, душа беззаботная, никому я не делаю обиды, а только угождаю. Очень я хороший человек, Василиса Петровна, — всю Москву обыщите, а другого такого не найдете. Другие что? — походил я, повидал я: грубияны, насильники, чертово племя волосатое. А я, как лен мягкий — обовьюсь, так и не услышишь, только, только тепло почувствуешь. Верно, бабочка?

Василиса Петровна. Ах верно, Яшенька!

**Яков.** Я же и говорю, что верно. И зато мне все бабы, как сестры родные.

**Василиса Петровна.** Ох, Яшенька, сестры ли?

**Яков.** А мне все равно, Василиса Петровна, я различий не делаю: сестра ли, жена ли, невеста ли. Мне б только угодить, Василиса Петровна, ласку сделать, а там называй как хочешь, я не рассержусь. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу — вот какой я удивительный человек, Василиса Петровна! Вы думаете, большая мне надобность Кулабухова душисть...

**Василиса Петровна.** Ну, что за пустяки, Яков. И вовсе я не хочу, чтобы ты из-за меня, — ты также получишь свою долю.

**Яков.** А на что мне деньги? Все равно бабам на подсолнухи раздам. Мне ничего не надо. Да и не из-за вас я, а просто так — придушить так придушить. А не надо так и не надо.

**Василиса Петровна.** Нельзя же так, Яша, ни для чего.

**Яков.** Да я не так: даром, как говорится, и веред не всочит. Но как вы человек приятный, так отчего же мне, например, и не сделать вам ласку? Как скоро, так сейчас! Вам угождение, ему карачун, а мне — Яшке и любопытно: что за дорога, коли нет поворота? Прямо только галки летают.

**Василиса Петровна.** Не надо, Яков, не смейся. Неприятно!

**Яков.** А и заплакал бы — да слез нету, Василиса Петровна. Смотрю это я, бабочка, как иной человек мокнет, и даже завидки берут, скажи пожалуйста! А сам не могу. Морозом ли меня высушило, или солнцем повыжгло, а только нет во мне ни единой слезиночки. Мать родная попроси: дай мне, Яков, слезиночку, дай, сыночек, разъединю, — так и то...

**Василиса Петровна.** Тише! Идет наш, туфлями шаркает. Боже мой, и до чего он мне опротивел: в дрожь бросает, как его услышу. Зажги лампочку, Яков: темнеет.

Яков зажигает маленькую кухонную лампочку с полуобгоревшей бумагой вместо колпака. Дверь из комнат медленно и осторожно приоткрывается, и в отверстие высовывается старая облезлая голова с быстро бегающими глазами. Присматривается и выходит — с ужимками, приседаниями, как бы танцующей какой-то нелепой танец. Потирает руки, хихикает, насмешливо цмокает.

**Кулабухов.** Ага! Так, так! Салон и разговоры, свет и общество, что? Очень, очень приятное зрелище! А где ска-

зано, чтобы дворник в барском доме заседал, где такое правило, где такой указ сената? Ага!

Василиса Петровна (*раздраженно*). Стекла в кухне вставьте, вы хозяин, тогда и требуйте.

Кулабухов. Сама вставишь. Обедать давай, экономка!

Василиса Петровна. Миллионер!

Кулабухов. Ну и миллионер — а что? Завидно, а? А миллиончики-то мои, а не твои, что? Право собственности, да. Хе-хе, не нравится? И Яшеньке не нравится? — ах, как печально, а ничего не поделаешь: право собственности, да. Яшка, ступай вон!

Яков. Сейчас пойду. А вы мне зачем, Петр Кузьмич, ружье без курка дали? Сами сторожить велите, а сами ружье без курка даете. (*Смеется.*) Как же я из него стрелять буду?

Кулабухов. А! А ты и курок хочешь?

Яков. Хочу.

Кулабухов. Хочу, хе-хе! Ну и ступай вон, дурак. Дурак, дурак! Обедать давай, экономка.

Яков неторопливо выходит, смеется.

Ну?

Василиса Петровна. А что обедать?

Кулабухов. Не знаю, не знаю. Я барин, ты экономка, — ты и должна знать. Хе-хе, так оно и всегда, да.

Василиса Петровна. Ну и мучитель же вы! Ну и бессовестный же вы человек! Во многих домах я служила, много я видела дурного, а такого, как вы, клянусь Богом, первый раз встречаю. Клянусь Богом, первый раз.

Кулабухов. Что, хорош, хе-хе?

Василиса Петровна. Так хорош, что вас в желтый дом надо.

Кулабухов. Нельзя! Меня в желтый дом нельзя. Я сюртучок надену. Хе-хе, у меня орденочек есть, я и орденочек надену. Хе-хе, что, ага?

Василиса Петровна. И сюртучок не поможет. Вот придет ваш Митька-наследник и посадит, и будете в халате ходить, и будут вам воду на голову капать, что?

Кулабухов. Ну, ну, — дура! Ты в желтый дом ступай, а меня нельзя. — У-у, Митька-наследник, злой, вор, волчьих глаза — рад бы посадить, а что, нельзя, ага! У меня завещаньице есть, что! — находясь в здравом уме и твердой памяти... что? И свидетели есть... находясь в здравом уме и твердой памяти... вот и посади! Я умный.

Василиса Петровна. А где завещание, вы его хоть бы раз показали.

Кулабухов. Спрятано.

Василиса Петровна. Да и лгун же вы. Ну зачем вы лжете, ведь нет же завещания, ведь нет?

Кулабухов. Хе-хе.

Василиса Петровна. Ну и обеда нет. Была дура, кормила вас, а теперь не хочю! И не на что! Да вы понимаете это — не на что? Вот оно, платье-то: последнее ведь. И что же мне: голой по улице ходить?

Кулабухов. Начала. Баба.

Василиса Петровна. Или на панель собой торговать?

Кулабухов. Иди. Закон не запрещает. А нет ужина, нет денег, так ступай вон, да. Договор есть, договор помнишь: ты меня, Кулабухова, до смерти моей содержи, денег с меня не требуй, а я тебе, дуре, за это в завещании оставлю и Яшке оставлю. Всем оставлю, хе-хе, что? Теперь плачешь, а тогда думала: стар старичок, завтра умрет, а я вот живу и завтра жить буду, и сто лет еще проживу! Я молодец. Думала, говори?

Василиса Петровна. Ну и думала. Отвяжитесь.

Кулабухов. А я кашлял-то нарочно, что? Дура, дура баба, форменная дура — надо было доктора позвать, освидетельствование по форме, сколько проживу, а ты что? Возьму и сто проживу. Отчего же? Возьму и полтора года проживу, хе-хе: вон пророки двести лет жили, что, дура? А не хочешь по уговору, ступай, ступай, я не держу, мне все равно, — другая дура будет. Обедать давай.

Василиса Петровна. И как вас такого не убьют?

Кулабухов. Не смеют! Рады бы, а не смеют. Закон, хе-хе, что? Закон, да. Двадцать лет каторжных работ, а если по законам военного времени, то — смертная казнь. Что, много взяла, а? То-то!

Василиса Петровна. Придут ночью, да так сонного в постели подушкой и задушат. И крикнуть не успеете, так и удушат; да и кто услышит, если кричать-то будете?

Кулабухов. Кто придут? Не смеют. Рады бы, а не смеют. Митька-наследник каждый день в ворота в щелочку глядит — я его подметил! — ты думаешь, он не рад бы? Ах, как рад, но не смеет. Закон, да! Хе-хе.

Василиса Петровна. Возьмут, да завтра же и придут. И как вы не боитесь, и как вы можете спать!

Кулабухов. Сплю. Совершенно спокойно. Зачем мне беспокоиться? — Я стар, чтобы беспокоиться, я двести лет прожить хочу. Что? Ты зачем мышьяку купила, а? — мышей травить?

Василиса Петровна. Мышей.

Кулабухов. Хе-хе! Знаю я, какие это мыши! Да — рада бы, а не смеешь. Двадцать лет, да! И не боюсь, никого не боюсь, все приходи, не боюсь. Один хожу, дверь не запираю, зачем? Не смеет, никто не смеет.

Василиса Петровна. Да ну вас. Я за обедом пойду.

Кулабухов. Иди! Меня нельзя трогать, я человек. Не боюсь! Не смеешь! Все хотят, зубы скалят, а нельзя, хе-хе, нет. Человек! За меня все законы, за меня Бог — Вседержитель, да.

Василиса Петровна. Не человек вы, а поганка, зверь кровополюющий.

Кулабухов. Врешь! Зверь на четвереньках ходит, а я человек. Вот две ноги, эге, что? У-у, Митька-наследник злой, проклятый, вор, глаза как у волка,— у, Митька-наследник: не смеешь! Ты меня убьешь, а тебе каторга, двадцать лет, да! Ты меня убьешь, а я тебе по ночам являться буду. Явлюсь! По закону явлюсь, по праву моему явлюсь, над сердцем твоим стану, кровь высосу!

Василиса Петровна, слушавшая со страхом, быстро выходит. Кулабухов один. Трясет яростно сухими кулаками, вызывающе хихикает и в то же время почти плачет.

Ага, испугалась, дрянь! И тебе явлюсь, что? Я убиенный, да. Хе-хе, я знаю как: ты в ледник за молочком пойдешь, а я за дверкой стану, за дверкой стану,— убиенный, да. Ты на постельку ляжешь, а тебя ручкой по одеяльцу, по одеяльцу. У, Господи, заступись, заступись! Все хотят, все хотят убить, все хотят, о Господи Боже мой, не оставь, я старенький. Заступись, заступись, за убиенного Петра, за убиенного Петра...

Невнятно бормочет. Василиса Петровна выносит из кухни глубокую тарелку с картошкой и ломоть черного хлеба; очень бледна, говорит презрительно.

Василиса Петровна. Вот вам. Больше ничего нет.

Кулабухов (*угрюмо ест*). Говядинки дай.

Василиса Петровна. Нету говядины.

Кулабухов. Смотри! Чтоб завтра говядинка была, а то выгоню. И чтоб огурчик был, слышишь? И Яшку, твоего любовника, тоже выгоню.

Василиса Петровна. Да? А что, ежели за такие слова, Петр Кузьмич, я вам пощечину дам?

Кулабухов. Не смеешь.

Василиса Петровна. Свидетелей-то нет.

Кулабухов (*менее уверенно*). Не смеешь. Я старик, у меня волосы седые.



Василиса Петровна. А я женщина! Вот возьму и ударю.

Кулабухов (*вставая*). Ты, дура баба, ты здоровая, а у меня волосы седые. Я старичок; ты меня только пальцем тронешь, а я умереть могу. Ты, дура, не подумай...

Быстро входит соседская горничная Маргарита, высокая, красивая, черноволосая девушка. На ней платок от дождя.

Маргарита. Вот и я к вам. Да милая ж вы моя Василиса Петровна... (*останавливается, увидев Кулабухова.*) Ох, напугал — вот кто здесь!

Василиса Петровна. Снимай платок. Маргариточка, не бойся.

Маргарита. Я и не боюсь. Это вы его боитесь, а я вольная. Что глаза вытарачил, тетеря?

Василиса Петровна. Оставь его, Маргарита. Он сейчас уйдет. Идите, Петр Кузьмич.

Кулабухов. У-у, какая сердитая! Мой дом, а не твой, что? Возьму и выгоню: зачем пришла в чужой дом? Ага. Вот ты и пойдешь.

Маргарита. И не смеешь выгонять.

Кулабухов. Нет, выгоню.

Василиса Петровна. Да оставь! Он два часа препираться будет, только бы с людьми посидеть! Ступайте, ступайте, Петр Кузьмич. Поели и идите. Такого уговора у нас нет, чтобы с вами беседовать.

Маргарита (*притворно топая ногами*). Ты уйдешь или нет?

Кулабухов испуганно открывает дверь, но еще на минуту оглядывается, хихикает.

Кулабухов. Салон, хе-хе! Музыка и разговоры, так, так! А я все равно послушаю, стану за дверкой и послушаю. Что?

Уходит.

Василиса Петровна. Напрасно ты так грубо, Маргарита, нехорошо, мне не нравится. Он все же человек не твоего круга...

Маргарита. Да, милая ж вы моя! Да как же можно такого терпеть!

Василиса Петровна. Нет, нет, Маргариточка, нет! Я и Якову тоже говорю. Сейчас Петр Кузьмич в несчастном положении, а когда-то он открытый дом держал, в нем даже губернатор заискивал. У него, душечка, и сейчас такие капи-

талы, что от одного воображения можно сойти с ума. Злой он, это правда, но мало ли злых?

Маргарита. Нет, дорогая Василиса Петровна, не могу я с вами согласиться. Капиталы его мне не нужны, а только скажите вы мне — ах, да и милая ж вы моя, да скажите вы мне! до каких пор они мудровать будут, а мы плакать да травиться? Или так без конца и пойдет? Мой-то, подлец-то мой, мучитель-то мой — так ведь и лепит: травись, Маргарита, тебя ангелы на небо возьмут.

Василиса Петровна. Грозила ему?

Маргарита. Грозила.

Василиса Петровна. Упрекала?

Маргарита. Упрекала.

Василиса Петровна. А он что?

Маргарита *(плачет)*. Смеется. Да милая ж вы моя — смеется!

Василиса Петровна. Разговор был?

Маргарита. Был. Сегодня утром. Как же, говорит, я могу на тебе жениться, когда ты тварь, а я чиновник! Так и лепит, так всеми словами и печатает: тварь! А сам дряненький, нечистый, похабник, разные картинки покупает, — ах, да и милая же вы моя Василиса Петровна, я царица перед ним! На него утром посмотреть, как он еще галстучка не надевал, уж такая он гадость, уж такая гадость.

Василиса Петровна. Ушла бы от него! Что мучиться!

Маргарита. Не хочу! Ведь не тварь же я на самом деле, ведь я царица перед ним! В тысячу глаз на меня гляди, пятнышка на моем теле не найдешь — ах, да как березынька я белая...

Василиса Петровна. Да что он хоть говорит? Язык-то у него есть?

Маргарита *(плача и смеясь)*. Да только и говорит, что тварь... и голубушка вы моя, так он меня этим словом очаровал, что как очарованная я. Слепил меня, оглушил меня, все дороги-пути загородил. Иду — куда, тварь, идешь? — так и стану как вкопанная. Стану и руки опущу. Так и стою. Вся голова у него с луковку, а как скажет он: тварь, так и поразит меня громом, слова в ответ не найду. Сегодня, будто, и нашла слово, да и не слово, а так...

Василиса Петровна. Что?

Маргарита *(улыбаясь, мечтательно)*. Да так. Пузырек с серной кислотой ему показала.

Василиса Петровна *(испуганно)*. Ну, ну, ну —

брось! Что ты, девка, с ума сошла. Да как же это можно! Ах, ты девка несчастная.

Маргарита (*задумчиво*). Я уж бросила. Показала я ему и жду, что будет. Ну — побледнел он, сморщился весь, затрясся, прыщавый, а у двери-то я стою и уж пробку вынула. Ну — и вот все уж тут, податься-то некуда, а он говорит: вот видишь, какая ты тварь! (*Берется за голову, рассеянно.*) Ох, правда, отравиться, что ли?

Молчание.

Да как подумаю, что он на то место плюнет, где я буду лежать, и скажет: вот и издохла, тварь,— так и травиться не стоит. Пожаловаться я к вам пришла, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Мне кажется, Маргариточка, что здесь вообще происходит какое-то недоразумение. Ах, голубчик, ну и почему так холодно и вот шпалеры обвисли — видеть не могу этих шпалер. И почему так холодно? Дурой ли я стала такой, ну вот не могу понять: почему холодно, да и только. Да я и дни-то позабыла — что у нас сегодня, четверг?

Маргарита. Четверг. Не топлено, оттого и холодно.

Василиса Петровна. Ну, конечно, от этого. Но почему не топлено? Послушай, душечка: однажды едем мы с графиней Назаровой в автомобиле — я тогда у нее уж второй год в экономках служила — и, знаешь, я так хорошо одета, к лицу, а сижу я на переднем месте. А рядом с графиней собачка ее сидит — и долго я этого, друг мой, не замечала, да как-то и заметила! Да, не замечала, да вдруг и заметила!

Маргарита. Ну хорошо. Ну пойду я — сонного его зарежу, а какой толк? Явится еще да и скажет: зарезала, тварь! Тогда уж не докажешь.

Василиса Петровна. Да, тогда уж не докажешь.

Маргарита. Я и говорю: не докажешь. Яшина бала-лайка?

Василиса Петровна. Яшина.

Маргарита. Повидать бы мне его хотелось... Ах, уж не знаю я, куда мне ткнуться. Будь бы лес, в лес убежала бы. Или вышла бы я за заставу, да так в темноту и пошла бы. И шла бы я, и все шла бы я долгие годы, так и шла бы, руки к груди прижавши, глаза устремивши...

Молчание.

Пожаловаться я к вам пришла, Василиса Петровна. Будьте мне матерью родною.

Василиса Петровна (с неудовольствием). Ну, для матери, положим, я и молода, а жалеть-то я тебя очень жалею, Маргарита, очень. Ты в лес убежала бы, говоришь, а я леса ужасно не люблю: парк — вот это совсем другое дело. Ах, Боже мой, да как можно сравнивать! Идешь по дорожке или через какой-нибудь фигурный мостик — и какие мысли, Маргариточка, какие возвышенные чувства!.. Это еще кто? Вваливается странник Феофан, и за ним следом идет усмехающийся Яков.

Феофан. Мир вам, братие и сестры. Где тут сидение покрепше? — а то стулья меня не держат.

Яков (смеется). Вот табуретка, да не раздави, смотри. Кулабухов в суд подаст. Здравствуйте, Маргарита Ивановна.

Маргарита. Здравствуй, Яша.

Василиса Петровна. Напрасно ты его привел, Яков, тут ему не место.

Яков. Нет, с ним весело.

Василиса Петровна. Тут тебе нет водки, Феофан, — даром пожаловал, голубчик.

Яков. А вот она, водка-то!

Вытаскивает из широчайшего кармана странника только что начатую бутылку. Феофан смотрит равнодушно.

Феофан. Грешник дал. Мне водки не надо, я уж пьян. Меня купец Воронин с обеден в Охотнорядском трактире поил. И сам чуть не лопнул, поросенком хрюкал, а я в баню хотел, да расхотел: жарко! Кто желает со мной прю иметь, начинай!

Василиса Петровна. Да никто и не желает. Спать бы ты шел, голубчик, вот тебе и прях. Образину-то нагулял — смотреть страшно!

Феофан. Спать я и сам засну, а кто вас обличать будет? Я его, Воронина, до седьмого пота обличал, аж поросенком визжать начал, уж молодцы пришли, меня умолили, я и сжалился. Я как грешника обличать начну, так не отстаю. Один купец в Подольске уж и собаками породистыми меня травил, уж и архирию жаловался, уж и в полицию подавал — а мне? полиция что! — вот паспорт. Я по всем правилам, меня не подколупнешь, я сам тебя подколупну... (Вынимает паспорт.) Вот он, покровитель мой и заступник во все дни живота моего, аминь.

Василиса Петровна. Паспорт у всех есть. Это еще не дает тебе права привязываться.

Феофан. Верно! Я как привяжусь, от меня не отвяжешься. Он видит, что полиция против меня силы не имеет,

так поить меня начал, дурья голова. А я чем больше пью, тем больше обличаю: на самую крышу его загнал, а дом-то трех-этажный. Против меня ни один грешник не устоит! А весу во мне восемь пуд.

Василиса Петровна. Да не труби ты так, даже в голову ударило! Вот труба.

Феофан. Верно! Я как затрублю, так пушкой меня не перешибешь (*хмыкает*). Потеха, ей-Богу.

Яков. Выпейте рюмочку, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Ну что ты, Яков, разве я пью?

Яков. От холода выпейте. Я уж налил.

Василиса Петровна. Не знаю я... Ты, Маргариточка, не выпьешь? Выпей, душечка.

Маргарита. Не могу, голубушка Василиса Петровна. Если я хоть одну выпью, так до самого конца дойду. Ах, и ужасный у меня характер.

Феофан. Водку пьете, грешники, сатану тешите? Потеха, ей-Богу, до чего они эту водку любят!

Василиса Петровна выпивает стаканчик, стараясь это сделать незаметно, Яков также пьет.

Яков. Нет, Феофан, слаб ты. Слушаю я тебя месяц, а нет у тебя настоящих слов; так словно в животе бурчит, а не слова. Эх, разве так обличать надо? — петь надо! Каждое словечко чтоб в самое живое место било, чтоб как заплакал человек, так до самой смерти и не отошел бы! Тоскующие надо слова, а ты что! Рычишь, как пес на цепи. Ты меня пронзи, а лаять-то, милый, всякая собака еще вперед тебе даст!

Василиса Петровна. Барабан турецкий...

Незаметно выпивает еще рюмку.

Феофан. Что такое? Да ты меня настоящего видал?

Яков. А какой ты настоящий?

Феофан. А такой! Надо, чтоб запой у меня случился, вот какой.

Яков. А так не можешь?

Феофан. И так могу. Но только без настоящего заводу я очень милослив, очень я милослив, да. Я грешника-то люблю, когда я без настоящего заводу, вот в чем главное происшествие. Грешник, я тебе скажу, братец ты мой, — душевнейший человек; — да я за самого паршивого грешника, давай мне гору золота, и ту не возьму! Кто меня кормит и поит? — грешник. Кто душу мою лелеет? — грешник же (*прослезился*). Да я за грешника тысячу праведников отдам!

Что праведник — от него, как от козла: ни шерсти, ни молока, а ты мне грешничка дай, я тебе в ножки поклонюсь!

Василиса Петровна. Заблаговестил.

Феофан (*воодушевляясь*). У меня, братец ты мой, нюх есть. Я как нюхну носом, так все насквозь понимаю. Ты думаешь, я не вижу, чем тут пахнет? Вижу. Эй вы, дочери вавилонские, винопийцы, блудницы, тати ночные, воры дневные, человекоубийцы. Чем тут пахнет, сознавайся!

Тихонько открывая дверь, входит Кулабухов, прислушивается с крайним любопытством. На нем, вместо старого пиджака, довольно приличный сюртучок.

Маргарита. Ох, да и страшный же ты черт! Яшенька, что он, шутит?

Яков. Шутит. Смотрите — смотрите: сам Кулабухов господин.

Кулабухов (*выступая*). Так, так, пророки, да! Очень, очень поучительное зрелище. А как ты смеешь тут орать, а где такое правило, где такой указ сената? Ага!

Феофан. Это ты, сыч? Вот я ж тебя сейчас напугаю.

Кулабухов. А — а, меня? Нет, меня не напугаешь.

Чинно садится, сложив руки на тощих коленях и с ядовитой невозмутимостью смотрит на Феофана.

Маргарита (*тихонько*). Яша! Смотри, Яшенька, сюртучок надел. Вот же несчастный.

Яков. Нет, уж и люблю я это. Феофан, что же ты?

Феофан (*пугая*). Ну-у!

Кулабухов (*ехидно*). Ну?

Феофан. Сдохнешь!

Кулабухов. Не боюсь.

Феофан. Мертвечиной пахнешь! Сдохнешь, тля!

Кулабухов. Не боюсь. Что, а? Ты меня пугаешь, а я не боюсь. Вот я и живой, вот я и сижу, вот я и ножку за ножку заложил, видал, хе-хе, что? И ручкой машу... вот, вот, что? И ручкой машу.

Помахивает дрожащей рукой.

Василиса Петровна. Ну что же это такое? Да что вы все делаете? Маргариточка, ты видишь?

Феофан. Ах ты, таракан! Да как же ты смеешь не бояться? Бойся! Трепещи, поганец!

Кулабухов. И не трепещу.

Феофан. Трепещи!

Кулабухов. И не трепещу.

Феофан. Да ведь сдохнешь же, окаянный. Что я, шучу с тобой, что ли? Обормот! Яков, как он меня раздражил, а?

Кулабухов. Хе-хе.

Маргарита. Господи, а у самого колени стукаются! Оставьте же его, безжалостные.

Кулабухов. Хе-хе.

Феофан. А, ты так? (*Вставая.*) Ну, так еще сказано: не словом, так дубьем грешника...

Кулабухов поспешно отбегает к двери; гримасничает.

Кулабухов. И не сказано, и не сказано! И не смеешь, что? Все бы рады, все хотят, а я не боюсь! Вот, на.

С надменным видом, показывая, что он молодец, подняв голову, мелкими шажками проходит через комнату и также проходит обратно. Так и входит в дверь, не оглядываясь. Яков хохочет.

Феофан (*туло*). Какой заскорузлый, а? Ушел. А?

Яков. Эх ты, благовесть московская! Молодец, да против овец, а против молодца — сам овца. Выпейте еще рюмочку, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Да уж стоит ли, Яшенька? Как он меня расстроил... и ручкой еще машет. Уж ручкой бы не махал!

Яков. Да выпейте! За ваше здоровье, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. За твое, Яша (*пьет*). И никогда ты не пей, Маргариточка, избави тебя Бог Всемогуший от этого яда. Думаешь веселье найти, а вместо того такая грусть, такое сожаление! Милые вы мои, хорошие вы мои, и зачем все это делается? Хороводы бы нам водить, венки заплетать, цветочки в букетики собирать, нежно друг дружкой любоваться... а мы что?

Яков. Что ж, песенку и сейчас спеть можно. Маргарита Ивановна, а вы о чем задумались?

Маргарита (*она сидит в стороне*). Так.

Яков. Ну ты, благовесть, ты-то что? Благовести.

Феофан. Спать я восхотел, Яков. Огорчил он меня. Теперь я сам не свой. Почему он меня не боится? Все грешники боятся, а он нет. Дурак он, что ли, такой или праведник? Нет, на праведника не похож. Хм (*хмыкает*). Вот потеха.

Василиса Петровна (*тихо*). Яшенька, рыженький ты мой, ты сегодня со мною спи, а то я боюсь, Яшенька, уж такой ты, как лен, мягкий, так бы я в тебя и впила, зубами загрызла бы. (*Еще тише.*) Яша, а крови не будет?

Яков. Нет.

Василиса Петровна. Ты помни! Чтобы ни единой царапинки, слышишь? Чисто надо сделать, ах как чисто.

Яков. Чисто сделаю.

Василиса Петровна (*все также тихо*). Яшенька, что такое у меня внутри дрожит? Так дрожит и дрожит... холодно мне, что ли? Яшенька, ты себе бархатную поддевку сшей. Вот и опять, холодно мне, что ли? Яшенька, а я ему опять намекала, что завтра.

Яков. Эх, зачем, не надо было.

Василиса Петровна. Как не надо, Яков? Надо же намекнуть! Ходит человек и не знает. А ручкой-то он махал, Яшенька, ручкой-то махал.

Яков. Разлимонилась, бабочка! Ну, ну, подтянись, бабочка, эх... Маргарита Ивановна, а вы о чем?

Маргарита. Так. Василиса Петровна, а дети у вас были?

Василиса Петровна. Дети? Были да сплыли, голубушка. А тебе что?

Маргарита. Ничего. Ах, да и тоскую же я, родненькие мои, куда голову преклонить, не знаю. Яшенька, ты добрый?

Яков. Кто говорит добрый, а кто и злой. А вам какого надо?

Василиса Петровна. Он добрый. Яша, спел бы ты что-нибудь, голубчик.

Маргарита. А раз добрый, пойдем со мною, Яшенька.

Яков. Куда?

Маргарита. Куда-нибудь.

Смеется и плачет.

Яков. Что же, и это на худой конец дорога: кто туда, кто сюда, а мы никуда. Кто с нами? Прикажете плясовую, Маргарита Ивановна?

Василиса Петровна. Нет, нет, Яков, ни в каком случае. Ну, какой тут пляс!

Яков. Феофан еще рассердится: ишь, скажет, грешники распелись. Феофан! Попеть можно? Как это, по-твоему?

Феофан. Ну и пой. Я люблю, когда грешники поют. Я сам, когда грешен был, тоже пел. А когда пляшут, не люблю! Все черти пляшут.

Яков (*настраивая балалайку*). А ты видал?

Феофан. Я? Конечно, видал. О Господи. Какой у меня туман. Потеха!

Яков (*поет*). Эх, погиб я, мальчишечка, погиб я на-



всегда, а годы проходят, все лучшие года. Мать свою зарезал...

Обе женщины глубоко задумались; Василиса Петровна аккуратно вытирает платком слезу. При первых звуках балалайки из двери осторожно высунулся, потом вышел К у л а б у х о в и также слушает. На него не обращают внимания.

### З а н а в е с

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Время к полуночи. Поздняя осень.

На сцене пустынный московский переулочек в Хамовниках. Идет переулочек с горочки, по ложбинке, в глубине когда-то здесь бывшего оврага; и всю правую сторону занимает белая монастырская ограда, проходящая по верху заросшего травой невысокого вала. За оградой глухая, также белая стена церкви, а дальше смутно белеют колоколенки и главы, переплетаются голые ветви и стволы. Светят только два окраинных керосиновых фонаря; один стоит далеко, в глубине и на завороте переулочка, другой помещается у левой панели и скупо озаряет передний план.

У самого фонаря, в тени, стоят и молча курят Я к о в и Ф е о ф а н. С густым вздохом Феофан бросает папиросу и тушит ее ногой. Часы на колокольне вызывают две четверти.

Я к о в. И так не разгорится, чего тушишь. Хорош табак?

Ф е о ф а н. Хорош.

Я к о в. Хорош табачок.

Ф е о ф а н. Да я не понимаю, курить не люблю. Мне Воронин-купец каких-то сигар дал, кто его знает, а толстые, как палец. Так у меня голова от них болела, было сдох. Куражиться ночью будешь?

Я к о в (*бросает папиросу*). Буду. Как это поется: «Ах, мамаша, глянь в окошко — ктой-то тонет на реке — в бледно-розовой рубашке — с папиросочкой в руке!» Куражиться буду, а тебя не возьму.

Ф е о ф а н. Врешь. Ты теперь прогнать меня не можешь, я к тебе приставлен! Куда ты, туда я, а петть тебе здесь не место — не татарин.

Я к о в. Ладно. Надоел.

Ф е о ф а н. И надоем! А мне за тобой легко при моем весе поспешать? — скачешь, как блоха. Пойдем нынче спать, а? Поспишь, милый, отдохнешь, а завтра и куражиться будешь. Хорошо как...

Я к о в. Ты спи, а я не хочу спать. Понял? Взлся за мной

ходить, так и ходи, не клянчи. Я тебя еще бегать заставлю, ты мне, как рысак, заскачешь! Обличитель!

Феофан. И где у тебя совесть, Яков?

Яков. На то я и грешник... Эй, ступай-ка, на угле меня подожди — идет.

Феофан. Кто идет?

Яков. А кому надо, тот и идет. Ну, живей оборачивайся, говорю.

Феофан неторопливо уходит, ждет Якова на угле. Нерешительно, оглядываясь, выходит справа Василиса Петровна, одетая прилично, в черном.

Василиса Петровна! Вот он, я.

Василиса Петровна. Здравствуй, Яша. Давно ждешь?

Яков. Давно уж.

Василиса Петровна. Опоздала я. С тобой кто-то был, мне показалось. Кто это?

Яков *(нехотя смеется)*. Да Феофан.

Василиса Петровна. Опять он? Ну и чему ты смеешься, Яков, мне это очень не нравится. Теперь необходима такая осторожность, а ты!.. Зачем он с тобой, мало для тебя пьяниц?

Яков *(также нехотя)*. Его уж спросите.

Василиса Петровна *(испуганно)*. Он знает?

Яков. Нет, откуда же ему знать, когда никто не знает. А догадывается, пожалуй.

Василиса Петровна. Выдаст! Выдаст, вот увидишь! Ах, как же ты убийственно неосторожен, Яков! Что ж нам теперь делать? Вот ужас.

Яков. Да не выдаст. Вы его не знаете. Ему грешники непокаянные нужны, которых сосать можно, а явленные зачем ему? От явленных ему никакого удовольствия нет. Бросьте его: моя он забота, а не ваша. Что ж, бабочка, стоим? — Поедем куда или что?

Берет Василису Петровну за руку: Василиса Петровна испуганно и несколько брезгливо отдергивает руку.

Василиса Петровна. Нет, нет, что ты выдумал, Яков. Мы никуда не поедем! И ты, пожалуйста, не выдумывай этого — ехать.

Яков *(согласно)*. Что ж, не надо ехать, так постоим. А может, и стоять не надо? Я, Василиса Петровна, на все согласен. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу.

Василиса Петровна. Я знаю, ты очень добрый. И ты очень деликатный человек, Яков: я редко видала людей

из высшего звания, которые были бы так деликатны. Да мы здесь побудем, мне надо. Тут никого? Ах, Яша, я так боюсь... ну, ну, ничего. Яков, а деньги ты хорошо устроил? Ты так легкомыслен, Яша.

Яков. Устроил.

Василиса Петровна. Помни же, что за мной еще твоих сорок тысяч. Я нарочно не даю их тебе, я просто не верю в твоё благоразумие. Но если понадобится или вздумаешь солидно устроиться, то только скажи. Скажешь?

Яков. Ладно.

Василиса Петровна. Только слово скажи, понимаешь? И сейчас же деньги будут у тебя, а пока ты, конечно, получаешь на них проценты. Маргарита с тобой?

Яков. Со мной.

Василиса Петровна. Ну и хорошо, что с тобой. Только будь с ней осторожен, Яша: она девушка благородная, прекрасная девушка, но у нее бывают фантазии... Ты ее очень любишь, Яков?

Яков. Я всех люблю, Василиса Петровна.

Василиса Петровна вздыхает.

Василиса Петровна. Да, я знаю. Разошлись наши дороги, Яшенька... только бы тебя Бог устроил, день и ночь молюсь Ему об этом. Ты еще не знаешь, Яков, какая я благодарная, — и ты для меня навсегда первый в молитвах моих человек. Сперва за родителей, потом за Николая Ивановича — ты его не знаешь, Яша, был такой человек, — а потом за тебя, Яша, я и за Петра Кузьмича молюсь (*крестится*). Царство ему небесное и вечный покой.

Молчание. Часы бьют три четверти.

Яков. А какой ему Митька-наследник памятник ставит! Спрашивал я рабочих, говорят, тысяч тридцать стоить будет.

Василиса Петровна. А ты ходил разве?

Яков. С Феофаном ходили. На могилке посидели, папиросочку покурили, поплевали. Эх, Василиса Петровна, решил я окончательно, что и не человека я убил, а так, неведомую зверушку. То ли я на могилке сижу, ножки свесил, то ли на качелях качаюсь — одна во мне статья. Говорит Феофан, что совести, например, у меня нет... Что ж, может, и от этого, может, и от другого чего. Легко сказать, что совести нет, а куда она, например, могла деваться? У всех есть, а у меня нет. Василиса Петровна, а вот вы скажите: может быть человек на свете такой, чтобы совсем у него не было совести?

Василиса Петровна. Нет, не может.

Яков. Я и говорю, что не может: из одной земли все сделаны. Но только почему же, скажите мне, Василиса Петровна, не могу я почувствовать сожаления, ну тоски там, или хотя бы заплакать. Слез ли у меня нету? Вот, например, Маргарита Ивановна: ах, и до чего же она страдает! Ах, и до чего же она мучается!

Василиса Петровна. О чем же ей страдать, ведь все устроилось?

Яков. Не знаю. Я, Василиса Петровна, на родину поехать хочу, повидать захотелось. Да и Маргарита тянет — идем да идем. А спросишь куда, так только один ответ и есть: куда-нибудь. Ну и пойдем куда-нибудь — чем не дорога для нашего Яши?

Василиса Петровна. Да, да, поезжай. Мне кажется, что я могла бы тебя обожать, если бы не... Тут никого?

Яков. Никого. Вон Феофан на углу маячит, да разве он кто? Будьте спокойны, Василиса Петровна, никого нет.

Василиса Петровна. Яша... Яков, а у меня просьба к тебе, ну так я сейчас скажу. Я хорошою жизнью хочу жить, Яша,— ты понимаешь, хорошою жизнью?

Яков. Понимаю.

Василиса Петровна. Хорошою жизнью! Уж не девочка я, не двадцать мне лет. Бывало, девочкой и тут обещаешься, и тут заклинаешься, в три ручья реवेशь, а прошла ночь — и все позабыла, как рукой сняло. А теперь у меня план есть, есть честное намерение: я уж все обдумала... давно обдумала, еще до... Понимаешь?

Яков. Понимаю. Что ж, поживите, а мы позавидуем. Так что мне делать?

Василиса Петровна. Погоди! Погоди, голубчик! Ты не знаешь, Яша, а вот в этой церкви меня крестили. Господи, прости мне грехи мои тяжкие — а в этом переулочке и домик наш был. Я это место знаю. Теперь домика нашего и в помине нет, даже место отыскать трудно, где он стоял, а как в нем жилось, Яша!.. *(Плачет.)* Вот часы на колокольне звонят, и тебе все равно, а для меня звон этот неизъяснимо радостен, неизъяснимо печален. Девочкой его я слышала и вот теперь слышу — Господи, прости мне грехи мои тяжкие!

Плачет.

Яков. Вот и вы плачете.

Василиса Петровна *(сквозь слезы)*. Не буду.

Яков. Да нет, плачьте. Я так. Что ж мне делать, говорите, а то не прошел бы кто.

Василиса Петровна. Яша! Я его во сне вижу.

Яков. Часто?

Василиса Петровна. Три раза. Вчера третий раз видела. Яша, голубчик ты мой, пожалей ты меня, я одинокая, я беззащитная! К кому я могу обратиться, кому могу хоть слово сказать — прятаться я должна, одинокая я, беззащитная я, женщина я слабая.

Яков. Так. Является.

Василиса Петровна. Является. А тебе?

Яков. Раз и я его во сне видал, ручкой он на меня махал. Да что? — на меня не намашешь. А на вас махал?

Василиса Петровна *(с ужасом)*. Махал, Яша!

Яков. Ишь ты, царь собачий.

Василиса Петровна *(взмахивая руками)*. Яков, Яков! Да разве это мыслимо так выражаться. Ты меня совсем убить хочешь, это даже не деликатно, Яша! Тут никого нет? Пожалей меня, Яша.

Яков. Жалею.

Василиса Петровна. Возьми на себя грех перед Богом... Нет, нет, погоди. Ты сильный, Яша, ты мужчина, ты ничего не боишься — и кто знает, может быть, ты прав и бояться не надо. Не знаю. Но я так боюсь, я так измучилась вся, что если ты меня не освободишь, я... я в полицию пойду. Что мне, все равно! Освободи меня, Яков. Ты должен меня освободить, иначе ты не мужчина, иначе ты не благородный человек, каким я тебя всегда считала.

Яков. Да милая вы моя... Ну и беру. Эка! Ну и беру — чего там!

Василиса Петровна *(качает головой)*. Нет, не так.

Яков *(в недоумении)*. А как же? Беру.

Василиса Петровна. Нет! Нет, так нельзя, Яков! Это не серьезно. Ты должен поклясться, Яков, — вот как ты должен! Ах, Господи, вдруг кто-нибудь пройдет. Яша, стань на колени.

Яков. Да зачем?

Василиса Петровна. Стань на колени — лицом к церкви. Лицом, Яша, лицом, — ах, Господи Боже ты мой, нужно же, чтоб лицо твое было видно.

Яков *(неловко становится на колени, с легкой усмешкой)*. Так?

Василиса Петровна. Теперь смотри — сквозь камень смотри, Яша, — ах, Господи, да сквозь камень смотри же, — там — маленькая иконочка, смотри! — и лампада неугасимая перед ней, смотри, смотри. Ну и скажи Ему —

ах, всю силу собери, Яков, всю силу, всю силу,— и скажи Ему: Господи! На одного себя весь грех беру.

Яков (*повторяет*). Господи, на одного себя весь грех беру. Я убил.

Василиса Петровна. И задумал я.

Яков (*повторяет*). И задумал я. Я убил.

Василиса Петровна. Господи! И каков бы ни был суд Твой милостивый, одного меня карай, нет у меня товарищей, нет у меня участников, один я.

Яков (*повторяет*). Одного меня карай. Я убил.

Василиса Петровна. Нет, нет, не так. Ах, да как же мне... Ну говори: Господи, а если были у меня участники — есть участница одна, — то, Господи, на меня ее муку возложи. За мое благородство, Господи, за мою душу, навеки погибшую, за мученья мои бесконечные — дай ей, Господи, отпущение греха.

Яков (*повторяет*). За мою душу погибшую дай ей, Господи, отпущение греха. Я убил!

Василиса Петровна. Клянись!

Яков. Клянусь.

Встает. Василиса Петровна закрыла лицо руками и молчит. Звонят часы на колокольне: одиннадцать медленных ударов.

Василиса Петровна (*плачет и смеется*). Яшенька!

Яков. Что, милая? Теперь не плачь.

Василиса Петровна. Яшенька!

Вдруг падает на колени и целует Яшину сопротивляющуюся руку.

Яков. Ну что вы, Василиса Петровна, барыня! Дворнику-то Яшке!

Василиса Петровна (*вставая*). Яша, друг мой. Ты меня человеком сделал. Прощай!

Пошатываясь, но быстро уходит. Яков некоторое время стоит один. Потом тихонько свистит.

Яков (*негромко*). Эй, Феофан, лезь сюда. Заснул?

Феофан (*издали*). Нет.

Яков. Эх, спички потерял. Феофан, спички есть?

Феофан. Есть. Сам коробок дал. Озяб я что-то — люди-то все спят, а мы маемся. Ах, и до чего грешник беспокоен, нет ему угомону во все дни до скончания живота его.

Яков. Спичку дай.

Закуривает дрожащею рукой.

Феофан. Хм, потеха. Яшка, а рука-то у тебя отчего дрожит?

Яков. Разве? Ну так это она пляшет, а не дрожит.

Феофан. Пляшет? А я, так думаешь, и не видал, кто тут с тобой был? Хм, потеха! Ну что ж, куражиться идем или отдумал? Спать бы надо, Яша, уморился я.

Яков. Куражиться. Эх, да и задам же я сегодня звону-перезвону!

Феофан (*уныло*). Так хоть извозчика возьми. Ох ты, Господи, Владыко живота!..

### Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### КАРТИНА ВТОРАЯ

Очень приличный номер в дорогой московской гостинице, две комнаты: салон с мебелью из голубого шелка и спальня, отделенная широким занавесом. Горит электричество.

Василиса Петровна одета в черном, дорогом, но без всяких украшений, платье, несколько напоминающем траур. Напудрена, очень моложава, даже красива. Гость ее — сейчас собирающийся уходить — очень пожилой господин в черном сюртуке, бритый, бледный, в темных консервах; при ходьбе слегка волочит одну ногу. Говорит медленно, запинаясь и на некоторых словах с трудом переворачивая язык.

Василиса Петровна. До свидания! До свидания. Хорошо, я все передам мадам и мы вас известим. До свидания!

Гость. До свидания. Так я буду в надежде получить от мадам уведомление о ее согласии на брак. Так я буду...

Василиса Петровна. Да, да! Конечно!

Гость. Мои условия: помимо денежного вклада, имеющего целью обеспечить надлежаще чин моего погребения, я желаю нозую енотовую шубу с воротником...

Василиса Петровна. Да, да, вы уж говорили! Конечно!

Гость. Шубу с воротником; и кроме того, ввиду моего тугого желудка, три раза в неделю приглашение к столу. Да, к столу. И во избежание могущих быть недоразумений считаю долгом предупредить, что могу дать только отеческие чувства. Да, только отеческие...

Василиса Петровна. Да сколько вам лет?

Гость. Шестьдесят восемь и два месяца. Мой день рождения пятнадцатого сентября, в день великомученика Стефана. А говорю я не совсем ясно оттого, что у меня был удар, но только один. А врачи говорят, что нужно три удара.

Василиса Петровна. Скажите пожалуйста!

Гость. Да, три. И еще в объявлении сказано, что желательнo титулованное лицо...

Василиса Петровна. Да, да, непременно!

Гость. Титулованное лицо, так я титула никакого не имею, но звание мое по табели о рангах...

Василиса Петровна. Да, да, вы уже говорили. Я все передам, до свидания, до свидания.

Гость. И что судебной палатой я оправдан, и только вынужден был подать в отставку. До свидания, честь имею кланяться. Как тут выйти?

Василиса Петровна. Да прямо по коридору, лестница тут же. До свидания.

Гость. Я лучше в лифте спущусь. Честь имею кланяться.

Но у двери гость медлит, оборачивается и долго глазами ищет хозяйку.

Но если мои условия окажутся неприемлемыми и мадам остановит свой выбор на другом кандидате, то, пожалуйста, передайте, что я могу быть гостем на свадьбе. Да, гостем на свадьбе за небольшое вознаграждение на извозчика и перчатки.

Василиса Петровна. Конечно, конечно, очень рада! Вам что-нибудь угодно?

Гость. Проводите меня до лифта.

Василиса Петровна. Ах, извините, Бога ради!.. Я сейчас позвоню, чтобы вас проводили (*звонит*). Садитесь, пожалуйста.

Гость садится на стул. Молчание.

Вы были женаты?

Гость. Нет еще. Ни разу.

Постучавшись, входит горничная.

Василиса Петровна. Милочка, проводите их до лифта. До свидания.

Молча, очевидно, забыв попрощаться, гость выходит. Горничная быстро говорит.

Горничная. Там двое к вам пришли, Василиса Петровна. Прикажете просить?

Василиса Петровна. Уж и не знаю. Ах, какой невыносимый человек! Ну, проси. Варенька, Варенька — сами его в лифт посадите, пожалуйста, свалится еще!

Василиса Петровна одна. Оправляется у зеркала и, сделав достойное лицо, садится в кресло. Входит антрепренер Зайчиков и князь де-Бурбоньяк де-Лантенак.



Василиса Петровна (*не вставая*). Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.

Зайчиков. Позвольте представиться: бывший антрепренер, Иван Алексеевич Зайчиков. А это, позвольте вам представить, мой нежнейший, если смею так вырзиться, мой достойнейший друг: князь де-Бурбоньяк де-Лантенак.

Князь молча, но с достоинством, кланяется. Он совершенно пьян, но держится довольно твердо, лишь изредка незаметно покачиваясь на одних коленях. Василиса Петровна встает и низко кланяется.

Василиса Петровна. Ах, князь!.. Какая честь! Прошу вас, князь, садиться вот здесь, на диван, здесь удобнее.

Князь. Мерси, мадам.

Зайчиков (*любуясь происходящим*). А мы, если позволите, вот здесь, в стороночке, устроимся и душевно поговорим... Князь, друг мой, не обращай на нас внимания. Пермете?

Закуривает сам и дает князю папироску. Василиса Петровна в некотором недоумении.

Василиса Петровна. Но разве?

Зайчиков. Вот именно-с, вот именно-с! Довереннейшее лицо, пользуюсь всеми правами и полномочиями... Не извольте сомневаться.

Василиса Петровна. К сожалению, я также только доверенное лицо, и, право, мне кажется все это странно. Почему князь сам не изволит...

Зайчиков (*поднимает палец, громко*). Сударыня, я читал ваше объявление или вашей доверительницы — в чем мне, как знатоку сердец, позвольте усомниться, но всякая тайна священна! — и, сударыня, позвольте вас уверить, что лучшего, надежнейшего, если смею так выразиться, прекраснейшего образца вам не найти. Но несколько слов о моей жизни.

Василиса Петровна. Но я, право, не знаю... все это так удивительно!

Зайчиков. Кратчайший куррикулум вите! Прогорел! Дважды прогорел! И если уж говорить по чистой совести, по всей правде, то не столько, сударыня, прогорел по воле стихий, если смею так выразиться, сколько, сколько... (*Многозначительно щелкает себя по щеке.*) Вот! Каюсь! И если бы не мой достойнейший друг князь де-Бурбоньяк де-Лантенак...

Василиса Петровна (*всплескивая руками*). Ба-

тюшки, да он заснул! Он пьян! Кого же вы ко мне приводите — я просто не могу понять.

Князь действительно мирно спит, прижавшись головой к спинке дивана. Один пышный ус подвернулся, другой, длинный и прямой, торчит наружу.

З а й ч и к о в (*успокоительно*). Тс... это ничего: усталость на почве алкоголя. Спи, невинная душа, спи, древний отпрыск! Ах, сударыня, да неужели вы думаете, что князь де-Бурбоньяк де-Лантенак мог бы явиться по объявлению, хотя бы оно было сделано достойнейшей особой и в самых корректных выражениях, если бы не этот недостаток. Ведь если я вас понял, то семейное гнездо, так сказать, очаг и другие атрибуты не входят в намерение противной стороны?

В а с и л и с а П е т р о в н а (*успокаиваясь*). Да. Моя доверительница...

З а й ч и к о в. Сударыня, здесь только благородные люди!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Ну я, это все равно. По некоторым семейным обстоятельствам, о которых позвольте мне умолчать, я просто нуждаюсь в положении. Конечно, я очень ценю семейные радости, но мои годы, мой возраст...

З а й ч и к о в. Сударыня, здесь я вижу клевету. Вы цветете, как роза, как бутон.

В а с и л и с а П е т р о в н а (*вздыхая*). Ах, голубчик, дело, наконец, не в годах, а в том, сколько человек пережил. А я, голубчик, столько пережила...

З а й ч и к о в. Изволите быть вдовою?

В а с и л и с а П е т р о в н а (*вздыхает*). Девица.

З а й ч и к о в. Невиннейший бутон! Но, сударыня, — зачем слова между умными и благородными людьми? О слова, слова! Я вас понял... простите, имя, отчество?

В а с и л и с а П е т р о в н а (*нерешительно*). Василиса Петровна.

З а й ч и к о в. Зачем слова, дорогая Василиса Петровна? Я вас понял, и вы меня понимаете. После бракосочетания князь, мой достойнейший друг, немедленно едет путешествовать... расстроенное здоровье, наследственные болезни, наконец усталость от шумной светской жизни... Ну, например, в Киссинген там или Кисловодск. И дальше — ни слова, о друг мой, ни вздоха! Ни вздоха! Так, Василиса Петровна.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Так-то так... ваше имя, отчество?

**Зайчиков.** Иван Алексеевич Зайчиков, бывший антрепренер.

**Василиса Петровна.** Так-то оно так, дорогой Иван Алексеевич. Но не слишком ли дорого это будет стоить. Хотя я имею вполне обеспеченные средства и, могу сказать с уверенностью, нисколько не уроню в грязь древнего имени де... де...

**Зайчиков.** Де-Бурбоньяк де-Лантенак. Древнейшее имя, сударыня.

**Василиса Петровна.** А документы есть?

**Зайчиков.** О святая недоверчивость! Ей недостаточно зреть этот древний отпрыск... нет, нет, я вполне понимаю вас. Наша честь при нас, как говорится, а документы все в полнейшей исправности. Можно хоть завтра под венец.

**Василиса Петровна.** Так вот, дорогой Иван Алексеевич, я очень, очень польщена честью, которую оказывает мне князь, но путешествие по нашим временам стоит так дорого, и вообще...

**Зайчиков** (*укоризненно*). Ах, Василиса Петровна!

**Василиса Петровна.** Но вы поймите...

**Зайчиков.** Ах, Василиса Петровна, за князя-то! Ах, Василиса Петровна!

**Василиса Петровна.** Да ведь он вон какой.

**Зайчиков.** Какой? Ах, Василиса Петровна, не ожидал я этого от вас. Ведь это же надо только посмотреть, — ведь это же надо понять! Боже мой, да разве мы пришли бы к вам, если бы не этот наш недостаток. Но пьет! Неудержимо пьет! Как плотина! Я ему говорю: «Князь, друг мой, неужели ты не можешь удержаться? Ведь пойми, что ты ставишь на карту?» Князь... — Нет, Жан, не могу. «Не можешь?» — Не могу, Жан... А что за ум, что за красота! Нет, позвольте, Василиса Петровна, позвольте взглянуть...

**Василиса Петровна.** Ну, что я его такого буду смотреть? Нет, нет, не надо.

**Зайчиков.** Да позвольте, Господи Боже ты мой. Ну, одним глазком!

Подводит слегка сопротивляющуюся Василису Петровну к дивану и зажигает лампочки над головой у мирно спящего князя.

Позвольте, я посвечу. (*Умиленно любуется.*) Нет, что же это такое! Какая мужественная красота, какое тонкое выражение, сколько благородства! Ах, князь, князь, спи спокойно, душа твоя не ведает греха, душа твоя не ведает о той низкой доле, в которую ты погрузился! Спи, князь.

**Василиса Петровна.** Да, так он недурен. Но не-

ужели он всегда пьян? — ведь это такое несчастье. Он еще молодой человек?

Возвращаются на прежнее место.

**Зайчиков.** Молодой? И вы спрашиваете, Василиса Петровна? Скажу не хвастаясь, Василиса Петровна: дурной я человек, очень дурной: много за мной всякой несправедливости, подкопов, лицемерных поступков — эх, недаром меня покарал Господь, недаром! И... виноват, лампочку забыл погасить. Спи, древний отпрыск! И много я видал людей, Василиса Петровна, — много их прошло перед моими глазами, и всякие там были — но лучше человека, чем князь, я даже вообразить не могу! Вот-с!

**Василиса Петровна.** Вы его любите. Это очень трогательно.

**Зайчиков.** Хм, люблю? Да как же я смею его любить? Уважаю! Почитаю, как святого, Василиса Петровна. Ведь нужно его знать, как я его знаю. И где мы только с ним не бывали, и на какие низы мы только не спускались, и сколько всякой мерзости мы не видали... когда я запиваю, я становлюсь ужасен, Василиса Петровна, недопустим, немыслим! Нетерпим в порядочном обществе!.. Но хоть когда-нибудь уронил себя князь? Никогда. Я вам сто тысяч дам — найдите вы мне человека, который слышал бы хоть единое грубое слово.

**Василиса Петровна.** Тогда это действительно очень жаль! Несчастный молодой человек.

**Зайчиков.** Нет. Он не несчастен. Мы несчастны, а он нет!

**Василиса Петровна.** Тише, Иван Алексеевич, вы очень громко.

**Зайчиков.** Извиняюсь, Василиса Петровна, но будь я камень, будь я кирпич, я еще громче кричал бы! А какого великодушия человек! Необъятного великодушия! Сколько раз давали ему денег — есть там какие-то родственники-наглецы! — одевали его как картинку, портмоне на карманные расходы, цветок в петлицу, геометрический проборик... — все отдаст! И портмоне, и одежду, и цветочек какой-нибудь девке-стерве, — извините — отдаст. Ведь я, бывало, плачу, его уговариваю: князь, нельзя же так, неблес облич, хоть костюмик-то поберегите, хоть цветочка-то не отдавайте! А он... улыбнется тихо — и отдаст! Да что: он бы кожу свою княжескую отдал, не будь бы она, к счастью, так крепко пришта.

**Василиса Петровна.** Мне это нравится, Иван

Алексеевич. И князь ваш мне очень нравится. Но, конечно, это не меняет условия...

Зайчиков (мрачно). Воля ваша.

Василиса Петровна. Не обижайтесь, Иван Алексеевич, я без умысла. Просто мое положение... Но неужели ни одна великодушная женщина не пробовала его спасти?

Зайчиков (все также мрачно). Не знаю великодушных женщин.

Василиса Петровна. Это неправда, Иван Алексеевич. Есть женщины с благородным сердцем, и если им объяснить, если они, наконец, поймут...

Зайчиков. Не знаю великодушных женщин. Но я, кажется, увлекся — простите мою искренность, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Я нахожу, что вы очень странно выражаетесь, Иван Алексеевич: нет великодушных женщин. Ну, а если нет — тогда вашего князя нужно просто запретить.

Зайчиков. Запретить? — Василиса Петровна!

Василиса Петровна. Да, и нечего стесняться: на ключ! На замок! Пусть сидит!

Зайчиков. На замок? Князя? Ах, Василиса Петровна, Василиса Петровна! Нет, прошу вас послушать, вы послушайте: пригласили к нему родственники, давно это было, знаменитого гипнотизера, знаменитейшего: звезда! орел! грудь в орденах от всех европейских дворов и даже от Менелика! Мог лошадь загипнотизировать!.. ну и что же? Заперли их в комнату, приходят через час, а гипнотизер... как стелька. Сам запил.

Василиса Петровна. Да что вы! Какой ужас!

Зайчиков. Да. Карьера погибла у человека, а вы говорите: замок! на ключ! Тут любовь нужна, а не замок, любовь-с... Но вы изволили говорить об условиях — я к вашим услугам.

Василиса Петровна. Да нет; я вижу, мы договоримся. Но не боитесь ли вы, Иван Алексеевич... я очень уважаю князя, но вы мне извините мои сомнения, мою женскую робость... Не думаете ли вы, Иван Алексеевич, что к венцу князь может явиться — ну не совсем нормальным?

Зайчиков. Ах, дорогая Василиса Петровна! Ну, как мне объяснить, как, наконец, растолковать! Вы изволили видеть, как сегодня князь вам поклонился — мы так с вами можем? Ведь это манеры, Василиса Петровна, настоящие манеры, которые в высшем свете. И такой человек, с такими манерами, что-нибудь себе позволит, да как же можно даже

мысленно допускать? Такая красота и вдруг — как же можно так говорить, Василиса Петровна.

Василиса Петровна. Да ведь пьяный.

Зайчиков. Что он будет пьян, в этом я ручаюсь — но, чтобы хоть слово, или какой-нибудь там неприличный жест или даже нетвердость в ногах — как можно! Скала! Обелиск, Василиса Петровна, вот это что!

Василиса Петровна. Ну да: а вдруг заснет?

Зайчиков (*вставая, с достоинством*). Если вы даже до таких сомнений доходите, достоуважаемая Василиса Петровна, то смею думать, нам с князем необходимо откланяться. Честь имею.

Василиса Петровна. Вы не обижайтесь: ведь спит же он сейчас.

Зайчиков. Спит, ибо кроток, как агнец! Спит, ибо я бодрствую! Но как же можно допустить, чтобы под венцом, в изящнейшем фраке, во всей красоте, достойной его высокого звания, держа под руку такой очаровательный бутон — он мог заснуть. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно!

Василиса Петровна. Вы ко мне завтра зайдите, без князя, мы поговорим... о подробностях. Кстати, мне надо кое-какие справки... Видите ли, мне передавали, вообще советовали... Я не имею права называть фамилий, но есть еще один князь...

Зайчиков. Василиса Петровна!

Василиса Петровна. Очень древний и вообще... Конечно, если ваши желания не превысят того, на что я сама рассчитываю, то, конечно... Вы не обижайтесь, Иван Алексеевич, я вовсе не хочу вас обидеть, но вы сами понимаете... Женщина я одинокая, богатая...

Зайчиков. Я не обижаюсь. Но мне странно, поистине странно слышать ваши соображения, Василиса Петровна! Древний князь, — а дальше, а дальше, позвольте вас спросить? У нас... в том месте, где мы обитаем, живем, если можно так выразиться... в Гранд-Отеле! — и сейчас я могу насчитать одного барона и двух князей. Но барон — десять раз женат... нет, нет, я не моралист и ничего против не имею, но он женат — законно! И все жены живы, и не могу же я рекомендовать Сибирь из-за какого-то сомнительного барона? Остаются князья, но — один уже без глаза, в драке выковыряли...

Василиса Петровна. Ну что вы!

Зайчиков. Ну да, — а скоро и второго лишится — так этого ли вы хотите? Мне, право, смешно, Василиса Пет-

ровна. Наконец, третий князь кавказский, а вы сами понимаете, что это не то: кавказский коньяк перед заграничными фирмами марка не та! Вкус не тот! Аромат! — если можно так выразиться. А это? Какая красота! Какой ум!.. Нет, Василиса Петровна, не могу: извольте еще раз взглянуть.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да нет, не надо, я уже смотрела...

З а й ч и к о в. Одним глазком?

В а с и л и с а П е т р о в н а. Нет, нет, я вам верю.

З а й ч и к о в. Душевно тронут. Но если...

В а с и л и с а П е т р о в н а. Нет, нет. Так вы завтра зайдете ко мне, и мне кажется, что мы с вами сговоримся. Часов так в двенадцать...

З а й ч и к о в. Весь к вашим услугам.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Вот и поговорим, обсудим...

З а й ч и к о в. Слушаю-с. Но, дорогая Василиса Петровна, отбросим хоть на минуту скучную прозу нашей жизни — я поэт, Василиса Петровна, — и когда мысленным взором я вижу эту очаровательную пару: вас, одаренную всеми дарами природы, великодушнейшего князя во всем блеске его неподдельной красоты, стоящих перед алтарем — в торжественную минуту, когда незримо... ах, дорогая моя, вы извините меня, что я плачу! Подлая наша жизнь, Василиса Петровна, преподлейший сюжет! Ведь и я был человеком когда-то.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Ну что, вы и теперь...

З а й ч и к о в. Нет уж, о моей жизни покончен вопрос. *(Наклоняясь к Василисе Петровне, говорит почти шепотом, стучая пальцами себя в грудь.)* Преподлейший аневризм в самой жестокой степени — и первый же настоящий запой положит конец этому брэнному существованию. Зачем жил человек? Но — долой грустную матерю в этот радостный миг слияния сердец. Вот мое утешение *(показывает пальцем на мирно спящего князя)*, вот единственный луч в моем темном царстве! Только тем и развлекаюсь иногда в мыслях, что, как умру — первым же словом заговорю там о князе. Как спит, как дышит тихо!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Надо будить. Мне, право, так жаль, Иван Алексеевич, но вы сами понимаете, что если б у меня была квартира...

З а й ч и к о в. Нам не нужно квартиры! Но как спит, но как дышит тихо! *(Любуется.)* Нет, вы видали когда-нибудь, чтобы так спал человек — положил головку как птичка и спит себе на ветке. Но стоит воззвать — и вот он пробудился — великодушнейший из людей, счастливейший между

князьями земли (*осторожно будит*). Князь, друг мой!.. Князь (*Василисе Петровне, тихо*). Вот посмотрите! — Князь, нам надо идти.

Князь открывает глаза и встает с таким видом, как будто он и не спал и не просыпался. Оправляет усы и стоит, слегка наклонив голову, в очень скромной и даже красивой позе. Только слегка, еле заметно, покачивается в коленях.

Князь, мой друг, как ты себя чувствуешь?

Князь. Мерси, хорошо.

Зайчиков. Князь, Василиса Петровна желает протиться с нами.

Василиса Петровна. Я очень польщена, князь, нашим знакомством. До свидания, дорогой князь.

Князь. Бонсуар, мадам.

Замирает в позе изящного поклона, Зайчиков лобуетя с блаженнейшей улыбкой на лице.

З а н а в е с

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Свадьба по первому разряду в ресторане второй руки. Все поставлено бывшим антрепренером Зайчиковым. На сцене второразрядная пышная ресторанный гостиная с искусственными пальмами в темных углах. В открытую дверь виден обеденный зал; посередине длинный стол, сервированный на 15—20 персон. Отдельно стол с закусками а-ля фуршет. На том и другом столе видимое и крайнее изобилие спиртных напитков. Лакеи в приличных фраках, но во вчерашних манишках; и не все бриты. Гости специальные, наняты Зайчиковым от пяти до пятнадцати рублей за вечер. Все одеты очень прилично и имеют такой вид, как будто они настоящие. Но стесняются; особенно смущает их то, что их так много. Некоторые, особенно дамы, стараются показать, что они действительно приглашены, а не наняты. Друг друга никто не знает. Всего их человек двенадцать. Гости первого плана: Б а р о н И к с — солидный седой господин представительного вида, бывший биржевой делец, ныне состоит под судом. К положению своему как нанятого гостя равнодушен; сосредоточенно думает о чем-то, покусывая перчатку; курит сигары. Отставной генерал Д з е т («Генерал на свадьбе») — пьяный, опустившийся, распухший человек, пришедший не столько ради денег, сколько для выпивки и компании. Коммерции-советник — И г р е к, стесняется, не знает, куда сесть, старается спрятать медаль, которую надел из добросовестности. Помещик Э н, — также смущенный, но веселый человек, которому постепенно становится все это смешно. Два студента со шпагами: больше похожи на молодых бритых актеров, не умеющих носить форму. Гости второго плана: — фигуры очертаний неопределенных. Три похожих друг на друга, но весьма солидных господина: как будто отставные чиновники — а может быть, и не чиновники. Молодой человек нагло скучающего вида: весь развинченный, расхлябанный, с истощенным, покрытым красными пятнами, серым лицом; часто смотрит на часы, презирает пальмы, ковер, Зайчикова. Думает о под-



ложном векселе, которому завтра срок. Четыре загадочные дамы, по-видимому, из общества; при двух дамах столь же загадочные декольтированные, но вполне приличные девицы. Кажется, одна из дам, пожилая, в наkolке, худая, с обвисшими щеками — актриса. Еще два, три смутных и почти неподвижных лица.

Зайчиков суетится и режиссирует. Сам он радостно взволнован, хотя пока еще трезв; не обращает внимания, что жилет у него короток и видна полоска белой рубашки. Изредка, с жестом мгновенного отчаяния хватается за голову — как режиссер, которому попалась трудная, не спешаяя труппа.

Ждут из церкви новобрачных.

Зайчиков. Господа, господа, не дымите же так безбожно! Кто хочет покурить, пожалуйста в маленькую гостиную! Ах, виноват, барон: гаванна? Какой аромат... удивительно!

Барон. Гаванна.

Зайчиков (студенту). А вы, голубчик, папиросочку бросьте. (Тихо.) Послушайте, как вас, вы рекомендуете себя талантливым актером, берете с меня пять рублей, как оперный певец, а не умеете держаться на сцене... в обществе!

Студент. Что же мне делать?

Зайчиков. Что? Дам занимайте... эх, видите, как все сидят! Надо было репетицию, но разве... (Помещику.) Так-то, дорогой Степан Григорьевич!..

Помещик. Николай Андреевич.

Зайчиков. Так-то, дорогой Николай Андреич. Живем? Ну, как посевы, озимые, яровые?

Помещик. Н-да, посевы.

Зайчиков. Золотое дно ваше... Отрадное. Какие леса, какие пажити и луга — дух замирает! Да, господа, что ни говори — а для всей Европы житница наша матушка Россия. Верно, ваше степенство?

Коммерции советник (растерянно). Не знаю.

Зайчиков. Как же не знать, помилуйте! Вот, генерал, наше третье сословие, говорит, что не знает — хитрый народ, а? До того хитрый, что... ваше мнение, генерал?

Генерал. Н-да, мое мнение. Послушайте, Иван Андреич...

Зайчиков. Иван Алексеевич Зайчиков.

Генерал. Послушайте, а они скоро будут от венца?

Зайчиков. Должны быть сию минуту. Да, что ни говори, а требования организма... не так ли, сударыня?

Генерал. С певчими?.. ну свадьба, я говорю, с певчими?

**Зайчиков.** Как же, как же! Князь де-Бурбоньяк, мой достойнейший друг, не может пожалеть там каких-то денег, раз дело идет о блеске древнего имени. Ах, господа, я вижу, вернее сказать, я знаю, что не все здесь присутствующие достаточно осведомлены о достоинствах князя, — но, господа, в такой торжественный день злые языки должны умолкнуть, мир и согласие да царствуют в умиленных сердцах. Не так ли, достоуважаемая Дарья Степановна? *(Тихо.)* Дарья Степановна, хоть ты поддержи меня, видишь, какие кикиморы, чтоб их черт побрал. Ну и трупочка, черт бы ее... Ври!

**Дарья Степановна.** Что ж я буду врать? Сам виноват, чего ж раньше не сказал толком.

**Зайчиков** *(свирепо)*. Что врать? Ух, старая лошадь, а соврать не умеешь? — Так-то, дорогой Андрей Иванович, живем? Ну, как посевы, пажити? *(Развинченному молодому человеку.)* Послушайте, но нельзя же так: там сидят очаровательные девицы, бутоны, если смею так выразиться, а вы... мировая скорбь, эх!

**Молодой человек.** Что такое?

**Зайчиков.** Дорогой! Я понимаю: мировая скорбь, Байрон, Шиллер, Сервантес, но ведь надо же и жизни! Жизнь для жизни нам дана.

**Молодой человек.** Это вы мне? Вы забываетесь, любезный.

**Зайчиков.** Что такое? Я забываюсь? Ну-н... хорошо, хорошо, потом поговорим. Скажите пожалуйста!.. Вам честь оказана, молодой человек, будь вы там маркиз или кто угодно, что князь де-Бурбоньяк пригласил вас. Скажите пожалуйста! *(Проходящему лакею.)* Послушай, эй ты, любезный, это что же у тебя: ты когда это воротничок надел? Ты не понимаешь, какой сегодня день, а?

**Лакей.** Хозяину скажите, Иван Алексеевич.

**Зайчиков.** Хозяину? А где он, этот мошенник, подать мне сюда этого мошенника! У, аршинники, самоварники... Быстро уходит вслед за лакеем. В гостиной неловкое и напряженное молчание, друг на друга стараются не глядеть.

**Дама** *(нерешительно)*. Как здесь душно. Вы не находите?

**Вторая дама.** Да. Очень теплая зима.

**Первая дама.** Да, удивительно теплая. Сегодня на Тверской уже показались на колесах. Вы на санях приехали?

**Вторая дама.** Да.

**Первая дама.** Подумайте, и я имела неосторожность

приказать заложить сани. Так ужасно скрипят полозья, что это невыносимо!

Помещик (*не выдерживая, генералу*). Вот врет! Вместе в трамвае приехали.

Генерал (*сердито*). Что-с?

Помещик. А то, ваше превосходительство, что надо же овладеть положением! Ужасно курьезный случай! Позвольте рекомендоваться — бывший уездный предводитель, помещик...

Генерал (*любезно*). Очень рад. Генерал в отставке...

Помещик. Очень приятно. А любопытный тип этот Зайчиков: он мне положительно нравится. Врет каналья, как артишоки ест, и хоть бы поморщился.

Генерал (*снова хмурясь*). Не обратил внимания. Но случай действительно курьезный, хотя мы можем утешаться, что общество в конце концов весьма, весьма приличное. Правда, кое-кто подозрителен, но... Скажите, вон тот господин с сигарой действительно барон?

Помещик. Не могу знать, ваше превосходительство, кто действительно, а кто недействительно. Вон там сидит — Зайчиков мне сказывал, — действительный статский советник, но поручиться, что он действительно действительный или недействительно действительный...

Оба смеются.

А вы, ваше превосходительство?

Генерал. Что-с?

Помещик. Нет... А какого вы вообще мнения о сем курьезном происшествии.

Генерал. Видите ли, иногда — и я вполне понимаю и одобряю эти чувства — меня, как почтенное лицо, приглашают на какую-нибудь, ну там мещанскую, разночинскую свадьбу... Конечно, им приятно, да и сам иногда входишь в положение... молодые люди, брак, вся жизнь впереди... Но здесь — что-то весьма странное, весьма странное. Здесь, по-видимому, не только я один...

Помещик. И я.

Генерал. Но и все остальные... Очень, очень курьезный случай. Я ничего не понимаю. Фантазмагория какая-то! И я даже жалею, что приехал.

Помещик. Что есть истина? — сказал один мудрец.

Генерал (*со вздохом*). Вы философ, Иван, Иван...

Помещик. Николай Андреевич, к вашим услугам. Эх, ваше превосходительство, чем только не станешь, когда

поживешь как следует. Но, кажется, едут. Простите, ваше превосходительство, я — посаженный отец!

Смеясь отходит. Почти одновременно вбегают с одной стороны два шафера — также нанятые, но опытные молодые люди — и с другой стороны несколько побледневший от волнения Зайчиков. Гости проявляют признаки некоторого оживления. Коммерции-советник переменяет ногу, на которой он все время стоял в невольной позе полковника. Шафера кричат: «Едут, едут! Где Иван Алексеевич?.. Едут».

**Зайчиков** (*взволнованно*). Я здесь, здесь. Господа, приготовьтесь! Кто посаженный отец?.. Посаженого отца!! Ах, виноват, Григорий Петрович, сюда, сюда. И вы, сударыня, рядышком, так. А, Господи, Боже мой. А где же зерно, пшеница, как там?

**Шафер** (*также озабоченно*). Вот, Иван Алексеевич, вот. Мальчик, ты здесь стань.

Разряженный мальчик с блюдом зерна становится возле посаженных отца и матери.

**Зайчиков**. Да, да, пожалуйста, господа: как только войдут молодые и станут на колени, вы их осыпайте хмелем, то есть зерном или как там!..

**Шафер**. Нет, Иван Алексеевич, не так. Так не делается. Раньше надо благословить, а потом уже зерном. Как же это возможно?

**Зайчиков**. Ну да, да, я и говорю. Господа посаженные отец и мать! Сперва благо... вот они.

Входят Василиса Петровна и князь. Она — в шелковом светло-сером подвенечном платье, в фате и с цветами на голове; он — в очень изящном, новом фраке, сдержан, держится спокойно и просто. За молодыми еще трое-четверо гостей и Яша-дворник с Маргаритой. Яков — в черной суконной поддевке и красной шелковой рубашке, Маргарита в скромном белом платье, на черных волосах цветы. Лакеи открывают шампанское, шум; молодые становятся на колени, их осыпают зерном. Шафера кричат — музыка! Невидимый оркестр в зале играет туш.

**Зайчиков** (*со слезами*). Дорогой мой, князюшка ты мой... Господа, поздравлять молодых! Василиса Петровна — дорогая — княгинюшка-матушка...

Гости разбирают шампанское, выбирая бокалы, где больше налито; некоторые тихо спорят с лакеем. Поздравляют.

**Зайчиков** (*целует руку Василисы Петровны, она целует его в лоб*). Дорогая моя, княгинюшка, дай вам Бог многие лета, в здоровье и благополучии. Деток наживите нам побольше, простите губияна! Князь!

Крепко и долго целует князя, утирает слезы.

Милый! Ну что мне тебе сказать?! Живи ты и украшай... да что, брат, и слов у меня нет. Шарманочные, брат, у меня слова. Поцелуй меня еще!

Ш а ф е р. Музыка.

Снова туш. Поздравляют. Мужчины сдержанно и серьезно целуют у Василысы Петровны руку; дамы нежно целуются. Одна почему-то плачет. Вообще все очень серьезно и похоже на настоящее.

Яков. Дозвольте и нам, Василиса Петровна...

Маргарита *(тихо)*. Княгиня, Яша.

Яков. Княгиня...

Василиса Петровна. Яшенька, голубчик мой! *(Целует его и утирает осторожно слезу.)* Голубчик ты мой, дай Бог и тебе всего, всего хорошего, самого большого счастья, какого ты хочешь... Маргариточка, милая, спасибо, я так рада... *(Барону.)* Мои протеже...

Зайчиков *(подсказывает)*. Барон.

Василиса Петровна. Мои протеже, барон. Покажись, Яша — вот видите какой. Он очень, очень милый молодой человек, барон! Я его так люблю... *(Треплет Якова по щеке.)* Ну иди себе, голубчик. Вы не находите, барон, что для человека... простого он очень мило держится... Ах, господа, фату пустите!

Ш а ф е р. Фату, фату!

Снова музыка, снова туш. Поздравляют. Помещик, которому, видимо, понравилась Василиса Петровна, вышел из своей роли посаженного отца и что-то любезно говорит ей. Вместе с генералом, который также повеселел, уговаривает ее еще выпить шампанского, но она решительно отказывается. Князь, отдыхая, стоит в стороне, вынимает серебряный портсигар с золотой монограммой, подарок Василысы Петровны, и закуривает. Трудно понять, пьян ли он или совершенно трезв. Подходит Зайчиков и молитвенно смотрит на него.

Зайчиков. Князь!

Князь. Что, дорогой?

Зайчиков. Князь! Ну доволен ли ты, скажи! Если ты не доволен, я руки на себя наложу, честное слово, брат, руки на себя наложу. Милый ты мой, великодушнейший друг мой — я перст перед тобою, пыль, дрянь, но я доволен! Но ты молчишь, но ты улыбаешься, но ты раздираешь мое сердце...

Князь. Да, я доволен. И не суетись так, дорогой, опять будешь задыхаться.

Зайчиков *(еосторженно)*. И задохнусь! От радости задохнусь! *(Умоляюще.)* Милый, благороднейший ты мой человек, а что, если нам с тобою — для такого великого дня — дать зарок, обет, так сказать, трезвости? Родители

бы твои покойные да и я бы... никому я не нужный человек, а все ж таки — человек я, князь!

Князь молчит, улыбаясь.

Зайчиков (*упавшим голосом*). Не можешь? Ну, ну, оставим. И правда, что это я — расслабился, старая баба. (*Тише.*) Ну, а как гости, хороши?

Князь. Недурны.

Зайчиков. Старался, брат! По пятнадцати рублей с рыла! А вот тому — видишь — расслабленный из Капернаума, черт его подери с его мировой скорбью, даже и не знаю кто он, черт его подери — двадцать пять рублей. Конечно, можно было у нас в бюро набрать, и дешевле бы стоило, но зато, брат, настоящие! Из нашей актерской братии только Дарья Степановна напросилась, старая лошадь... а музыка-то? Эх, голубчик, есть в этой музыке что-то разлагающее душу — ну что Гекуба? А вот плачу, старый актер... дурак!

Шафер (*подбегая*). Иван Алексеевич, я вас везде ищу. Надо к предварительной закуске просить. Помилуйте, что же это такое... Ах, виноват, князь!

Зайчиков. Сейчас, сейчас, голубчик. Дай отдохнуть. (*Треплет его по плечу.*) Ну как, доволен?

Шафер. Чудесная свадьба!

Зайчиков. А невеста?

Шафер на лету целует кончики пальцев и исчезает.

Зайчиков (*мечтательно*). Князь... а не можешь ты — вообразить? Ты скептик, я знаю — но ведь черт возьми! — воображаем же мы, актеры. Ну, вообрази. Вообрази, что это самое настоящее, какое только есть у Бога, и что ты, древний отпрыск, великодушнейший из людей, наконец вступаешь рука об руку с очаровательным бутонем в чертоги Мира и Красоты. Послушай, князь, как для тебя играет музыка, возвещающая, так сказать, всю чистоту твоей души, как на крыльях... (*упавшим голосом*). Не можешь? Ну ладно, не сердись — расслабился я, брат. (*Громко.*) Господа, прошу закусить! Господа шафера, прошу исполнять ваши обязанности.

Совместно с шаферами устраивает кавалеров и дам, суетится.

Князь (*кланяясь Василисе Петровне и предлагая ей руку*). Княгиня, позвольте вас просить.

Василиса Петровна. Ах нет, князь, я так устала, я потом. Закусывайте без меня, я приду...

Зайчиков. Княгинюшка-матушка, да как же можно? — без вас, как без солнца, вон и князь наш, как подсолнечник, головку повесил.

Василиса Петровна. Нет, нет, Иван Алексеевич, я здесь посижу. Я сейчас. Яша, а ты что же? Мой протеже, князь. Ну посиди со мной, Яшенька, поболтаем, посмеемся. Маргариточка, ты что же не идешь закусывать — иди, голубчик, иди. Я твоего Яшу не украду.

Маргарита. Мерси, ваше сиятельство.

Все уходят. В гостиной остаются только Василиса Петровна и Яков.

Василиса Петровна (*снисходительно*). Ты что же стоишь, Яков? Садись, голубчик. Ты был сегодня в церкви?

Яков. Был.

Василиса Петровна. Такая масса народу, любопытных, у меня так кружилась голова, что я никого не видала. Спасибо, голубчик, что не забыл старого друга. Помнишь еще?

Яков. Помню, Василиса Петровна. Как же можно забыть, я памятный. Но, конечно, если надо забыть, то и забыть могу — а вам как угодно, Василиса Петровна?

Василиса Петровна. Да. Для других княгиня, а для тебя, Яша, навсегда Василиса Петровна. Пожалуйста, так и зови меня. Нет, зачем же забывать — забывать не надо.

Яков. Да что только помнить?

Василиса Петровна. Вот именно, Яша. Я знаю, что ты очень умный и деликатный человек и не можешь не понимать разницы, которая, к сожалению, между нами. Ты, Яша, человек, низкого звания, раб, а я — благороднородная княгиня. Ты обратил внимание, какое у меня общество, какие достойные, всеми уважаемые люди оказали мне честь: ах, барон, он такой прекрасный человек!

Яков. Видал. Василиса Петровна, а князь-то ваш?..

Василиса Петровна. Что? Да, да, к несчастью, Яша, к несчастью. Но я не стану тебя обманывать, дружок, князь сегодня же, прямо от стола, уезжает путешествовать... в Киссинген там или Кисловодск, я не знаю. Не буду таиться, открою тебе мое сердце: князь, при его благородной внешности, при его чудесных манерах, при его, наконец, удивительной скромности, произвел на меня с первого же раза неотразимое впечатление. И кто знает, Яша, не здесь ли судьба готовила мне счастье? Но... невозможно, Яков, он неизлечим, к несчастью. Бедный князь!

Яков. Вы еще молоды, Василиса Петровна, еще кого другого по сердцу встретите. Мало ли на свете людей: так еще полюбите, что и князя своего забудете. Верно?

Василиса Петровна. Ах, нет, Яков, что ты говоришь! *(Улыбаясь.)* Как это можно, голубчик! Нет, я скажу тебе откровенно, для меня все радости кончены, и смотрю я на свою жизнь, как на подвиг. Мы, князья, нашей жизнью должны подавать пример, а не унижаться до поступков; пусть люди низкого звания поступают, а мы должны быть горды и неприкосновенны.

Яков. Так. Что ж, живите, а мы завидовать будем.

Василиса Петровна. Завидовать, Яша, не надо, грех. И, наконец, разве ты не можешь устроить себе вполне приличную жизнь? Вспомни мой совет: купи себе кусочек земли под городом и стань огородником, капусту сади, огурцы — это дело чистое, приятное и людям, и Богу. Ты был на родине, Яков?

Яков. Да нет, все собираюсь. Маргарита вот по монастырям все меня таскает, божьих людей ищет, да не находит. Она ищет — а мне что? Василиса Петровна, а нехорошо это.

Василиса Петровна. Что, голубчик, нехорошо?

Яков. Да все. Но только, отчего я не могу, например, почувствовать? Другой какой человек, если трезвый не может, так хоть пьяный напьется, до настоящей точки себя доведет, а я сколько, например, не пью — только на один глаз и пьян. На один пьян, а другим все подозреваю, как сквозь стекло. И так отчетливо вижу — ах ты, да скажи ты, до чего отчетливо! Или, например, случается мне кашу заварить: и — и, чего тут только не бывает, только, только земля не содрогается! — и все эту кашу хлебают, а у меня ложку черт украл. Вот я какой — удивительный!

Василиса Петровна *(прислушиваясь)*. Какая чудная музыка. Ты музыку любишь, Яков?

Яков. Я и песенки пою — отчего же? Люди плачут: стало быть, хорошо пою. Петь-то пою, да спеться ни с кем не могу: они в плач, а я вскачь — уж какая тут спевка!

Василиса Петровна. Ну песенки, это... Нет, зачем же так. Так не надо.

Яков. Или души у меня нет? Бывает иной раз: вот уж и к сердцу подошло, вот сейчас прозрею, вот сейчас удивлю, вот... и что ж такое? Куда все девалось? Ничего. Заключился я в себе, Василиса Петровна, а ключ-то, видно, потерявши. И был Яшка-дворник, а стал Яшка-затворник *(смеется)*.

Василиса Петровна. Да — я этого не понимаю,



голубчик. Но должна тебе заметить, что ты мне не совсем нравишься. Зачем эта гордость, Яков, даже презрительность? Откуда? Почему, наконец? Люди, мой друг...

В зале гремит туш. Дверь распаивается, и с бокалами в руках показываются шафер, Зайчиков и еще двое-трое из гостей. Веселы.

Шафер. Горько! Княгиня, горько!

Зайчиков. Княгиня, матушка! Требуют! Горько! Всеобщий бунт и восстание рабов!

Шафер. Горько!

Василиса Петровна. Хорошо, хорошо, скажите, сейчас иду. Иван Алексеевич, на одну минуту, простите, господа, что лишаю вас...

Гости уходят, Зайчиков приближается с блаженной улыбкой.

Зайчиков. Княгинюшка, как я бессмертно счастлив! Ныне отпускаешь...

Василиса Петровна. Да? Послушайте, Иван Алексеевич, вы очень милый, очень обязательный человек, и я от всей души... но что это такое? Послушайте, что это такое, где вы? Какое-то «горько» — что это, мещанская свадьба, пирушка?

Зайчиков (*опешив*). Княгиня?!

Василиса Петровна. Или вы никогда не видали, не знаете простой разницы между какой-то свадьбой в избе и бракосочетанием? Горько!.. Пора быть умней, Иван Алексеевич.

Зайчиков (*хлопает себя по лбу*). Верно! Умница! Тут княжеская свадьба, бонтон, а я: горько! Провалился! Пардон — и ручку, умница, виноват, — княгиня!

Василиса Петровна. Я не сержусь. Идите, идите, нечего ручку. Я за вами.

Зайчиков уходит. Яков смеется.

Яков. Как вы его щелкнули, даже вспотел барин.

Василиса Петровна. Нельзя же в самом деле допускать! Ты что-то говорил, Яков, я забыла... Ах да. Ты же помнишь, что у меня твои деньги?

Яков. Помню.

Василиса Петровна. Там накопились кое-какие проценты, но я думаю, что ты еще не нуждаешься... А я, знаешь ли, свои в банке устроила и некоторые бумаги купила, но только верные: ах, теперь так трудно с деньгами!..

В зале оркестр играет попури из Травиаты.

Нет, это надо послушать: какая прелесть — очаровательно! Мечтательно слушает. Яков внимательно и с любопытством рассматривает ее.

Яков. Василиса Петровна, а как насчет?.. Да нет...  
Василиса Петровна. Что, голубчик? Замечталась я. Надо идти.

Встает. Яков также.

Яков. Спросить хотел, да ничего. Пустяковый вопрос, не стоит и спрашивать. Значит, так, Василиса Петровна?

Василиса Петровна. Да, Яша. Ну иди, голубчик, к столу, я потом, а то вместе неловко. Ты, Яшенька, пожалуйста, без стеснения, кушай и пей, а иначе ты меня обидишь. Иди же.

Яков. Видал я нынче, руку они у вас целовали. Как это они делают?

Василиса Петровна (улыбаясь). А что, может быть, и ты хочешь?

Яков. Нет, куда мне, я не сумею. (Усмехаясь.) Нет, я так. Пошел я, значит.

Уходит; в зале его встречают веселым, видимо, уж пьяным криком. Там весело. Василиса Петровна встает, оправляется и медленно идет к столовой, на поддороге останавливается, оборачивается и думает. Глаза закрыты, как во сне.

Василиса Петровна. Княгиня!..

Занавес

#### ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Постоялый двор на глухом заброшенном тракте, на окраине небольшого бедного села. Состоит дом из двух половин, разделенных холодными сенцами, — чистой и грязной. Осень. Ночь. На сцене грязная половина дома — большая, темная, закопченная комната, с русской, небеленой, давно нетопленной печью. Простые лавки, стол, на котором остатки какой-то еды, два огурца, початая бутылка водки, стаканчик. Голо, бедно. В передней стене два маленьких слепых оконца, за ними — тьма осенней ночи. Над столом, на стене, жестяная лампочка, с отбитым краем стекла: светит скудно, бросает черные тени и углы оставляет в темноте. На лавке, в тени, сидит Маргарита, думает; на лоб напущен край большого, черного, теплого платка, в который она кутается. В первую минуту, когда поднимается занавес, ее не замечаешь. Где-то — потом, оказывается, на печке — храпит спящий Феофан, дышит тяжело, как больной, постанывает. А с чистой половины, где с девками и мужиками пьянствует Яков, глухо доносится визг нескольких гармоник, отрывки песен и непрерывный дробный стук каблуков. По-видимому, там пляшут, но топот настолько непрерывен, непонятен в своей непрерывности, что постепенно начинает

казаться чем-то угрожающим, зловещим, небезопасным. Либо изба сейчас развалится, либо это не танцуют, а делают что-то другое — дурное и жуткое. Может быть, убивают — или сейчас убьют — кого-то. Открывается дверь в сенцы и входит Нюша — востроносая девка-подросток, лет пятнадцати.

Нюша. Барышня, а барышня!

Маргарита (тихо). Чего тебе? Ступай.

Нюша. А вы тут, барышня? Идите к нам.

Маргарита. Зачем лезешь? Иди себе, иди.

Нюша. Сейчас. Сидит барышня на лавочке в платочек закутамши. Это Феофан храпит?

Маргарита. Феофан.

Нюша. Ишь как дышит-то, болен, должно. Это он водку пил? Он, кому же больше. Один стаканчик только и выпил. Огурцы.

Маргарита. Ну чего прилезла, говорю, иди.

Нюша. Сейчас. И как же вам тут не скучно, барышня?

И шли бы к нам, у нас весело, что ж вы тут сидите.

Маргарита. Нездорова.

Нюша. Нездорова?

Садится.

Маргарита. Нездорова.

Нюша. А то шли бы к нам, барышня, у нас весело мужики пляшут, весело. Пьянии все, и девки пьянии-распьянии. А вы ничего и не пьете, барышня, наливочки бы выпили.

Маргарита. А ты пила?

Нюша. И не единой капелки, и не притронулась даже, я молода еще. Меня Яков Иванович угощал, угощал, просил, просил, улещивал, улещивал, а я и не стала. Молода я еще.

Маргарита. И не надо. Тебя как звать?

Нюша. Нюша. А вас, барышня, я знаю, как зовут, да не помню.

Маргарита. Я не барышня, такая ж мужичка, как и ты.

Нюша. А ручки-то беленькие.

Маргарита. Не работаю, оттого и беленькие.

Нюша. А отчего же вы не работаете?

Маргарита. Любопытная ты.

Нюша. Любопытная я. Оттого, должно быть, и не работаете, что работы такой нет. А может, и не умеете ничего и делать-то. Ах ты, угодники-святители, как топочут-то, всюю избу завалют.

Маргарита. Это они пляшут? Как же это могут они без отдыха, я уж прислушиваюсь, прислушиваюсь. Не дерутся?

Н ю ш а. Нет, пляшут. И какая вы, барышня: отдыхать? Кто ж отдыхает, когда пляшет, и что вы такое говорите!

М а р г а р и т а. А ты плясала?

Н ю ш а. Молода я еще, затолкают. А отчего Феофан так храпит, мне даже страшно слушать?

М а р г а р и т а. Болен он.

Н ю ш а. Храпит, храпит, а потом и сдохнет. Это его домовой душит, зачем пришел, говорит, тут тебе, говорит, не место, говорит. Барышня, а много у Якова Иваныча денег?

М а р г а р и т а. Много.

Н ю ш а. Теперь не много, он на родине много роздал, родителям две тысячи дал, девкам подарки сделал, одной бабе так сразу полтора ста рублей и отвалил, не поперхнулся. Уж такой он щедрый.

М а р г а р и т а. А откуда ты знаешь?

Н ю ш а. Все говорят. Барышня, а зачем урядник с ним водку пьет, прохлаждается, и саблю снял?

М а р г а р и т а. Не знаю.

Н ю ш а. Попьет, попьет, а потом и в город поведет! ручки связамши.

М а р г а р и т а. Ну что ты мелешь, ну что ты мелешь. Иди-ка ты себе, иди.

Н ю ш а. Сейчас. Барышня, а вы очень любите Якова Иваныча?

М а р г а р и т а. Очень. Иди, тебе говорю.

Н ю ш а. Сейчас. Его и все любят, так уж любят, и ума лишились, так уж любят. Полюбят, полюбят, а потом и разлюбят... Барышня, а у нас Митрей удавился в бане, сняли, а он уж и застенел.

М а р г а р и т а. Когда?

Н ю ш а. Давно уж, летом еще. Так я пойду. А то пошли бы и вы, барышня, у нас весело. Барышня, а где ж ваши платья, не вижу я что-то.

М а р г а р и т а. Да пойдешь ты или нет? Иди, и Якову Иванычу скажи, чтобы пришел. Скажи, я зову.

Н ю ш а. Скажу. Прощайте, барышня.

М а р г а р и т а. Прощай.

Нюша уходит, посматривая на печку, где храпит Феофан. Минутная пауза.  
Топот пляшущих, песни.

Феофан (во сне). Ммм... О, Господи, Владыко жи.. Мм... батюшки...

Быстро входит Яков, сильно навеселе.

Яков. Что надо? Звала?

Маргарита. Ох, я больше не могу, Яков! Я рассудку лишусь. Что вы там делаете все?

Яков. Пляшем, что ж делаем.

Маргарита. Пляшете? Ох, а мне все кажется, что там убивают кого-то. Даже стоны я слышала, так и кричит, так и заливается. Яша, я рассудку лишусь! Поедем, Христа ради.

Яков. Куда ж на ночь ехать? Завтра и поедем. Легла бы ты.

Маргарита. Не могу.

Яков. Так в избу пойдем.

Маргарита. Не могу! Ничего не могу; землю под собой потеряла я. Скоро год мы с тобою мыкаемся, и все мы идем, и все мы едем...

Яков. А никуда не приезжаем? Верно.

Маргарита. И все мы едем, и все мы кружим; петлю на петлю нанизываем, слезу к слезе причитаем. А кому мои слезы солонь? — и не человек будто плачет, а ручеек-речечка шумит, и нет на этот шум внимания. А ты все пляшешь как иступленный — и что же это? И засыпаю — ты пляшешь, и проснулась я — а ты все пляшешь, каблучками постукиваешь...

Яков. Расплясался, значит.

Маргарита. А кругом оглянусь: Господи! — и стены пляшут, круги чертят. Сейчас легла я на лавку, платком с головой укрылась, забыться думала, — а пол так вот и дырчит: дыр-дыр-дыр. — Лишусь я рассудку, Яков, плохо тогда тебе будет.

Яков. Нет плохого, хуже хорошего.

Маргарита. Не усмехайся, Яков!

Яков. А отчего бы и не усмехаться?

Маргарита. Наплачешься!

Яков. Кому слезы, а мне все смех, Маргарита Ивановна. Эх, и посмотрю я на свои ноги: ну и что в них такого? Ноги как ноги — в сапожках. А вот пляшут, поди ты! — будто черт их ключом завел, так и скачут, так и перебирают. Отрубить бы их, а?

Маргарита. Что ж: будет конец?

Яков. Буудет! Ты мне начало покажешь, а тогда и я тебе конец покажу, за мной не пропадет. Эх, бабочка, милая, ты не скули, а плюнь да разотри! И разве я с тобой не согласен? — во всем согласен. Скажешь завтра: Яков, я желаю в монастырь — пожалуйста, как скоро, так сейчас. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу.

Феофан (*ворочается*). О, Господи, Владыко живота. Воды.

Маргарита. Сейчас проснется.

Яков. А чтоб его черт! — так я пойду, Маргарита.

Маргарита. Я его боюсь. Не ходи, Яков.

Яков. Пугала-то огородного? Надоел он мне. А скандалить будет — позови.

Феофан (*хрипит*). Воды. Испить бы мне.

Яков. Чего там бурлишь?

Феофан. Воды.

Яков. Где там вода? Дай ему, Маргарита. Что, хрипун, опился?

Маргарита подает воду.

Феофан. Опился! (*Пьет воду.*) Яшка!

Яков. Нету Яшки.

Выходит. В избе все тот же непрекращающийся топот, гармоника.

Маргарита. Он ушел.

Феофан. Ушел. А кто ж тут был?

Маргарита. Яков был. Ушел.

Феофан. А зачем ушел? Ну-ка, дай мне водки.

Маргарита. Не дам. И так опился, несчастный!

Феофан. Дура! Воды дай! (*Пьет.*) Желтая вода-то. О, Господи, Владыко живота моего, и здоров же я пить, настоящий мученик. Водки дай!

Маргарита. Сам возьмишь.

Феофан (*кряхтя подымается*). И возьму. Дура ты, ума у тебя нет. Как же ты можешь мне отвечать, когда у меня запой? Ты мне не дашь, а я тогда весь дом разворочу. Мученик я!

С трудом слезает с печи, садится у стола и долго не может отдышаться. Смотрит на водку.

Феофан. Вот она. А тронуть боюсь — рука не подымается. Смотрю — а рука-то не подымается. Вот тебе и клюква. Может быть, я мертвый? — ну и царствие небесное, со святыми вечный покой. Так я говорю? Так.

Наливает один за другим три стаканчика и пьет как воду. Берет огурец, рассматривает и кладет обратно.

Круглый. Ну и царствие небесное, вечный упокой (*поет ровным густым басом*). Во пиру ль я была во беседушке, я не мед пила, не наливочку... Фух ты, здорово! А который день я запил?

Маргарита. Пятый уж.

Феофан. А где мы?

Маргарита. Двор это постоянный. На тракту мы.

Феофан. Здорово. А куда тракт идет?

Маргарита. Не знаю.

Феофан. И того здоровее! А отчего земля содрогается?

Маргарита. Пляшут.

Феофан. Кто?

Маргарита. Мужики пляшут. Яков народ созвал: они и пляшут. Да отвяжись же ты от меня, несчастный, не могу я тебя слышать.

Феофан. Здорово. А Яшка где? Яшку-каторжника позови!

Маргарита. Да не ори же ты! Чего орешь?

Феофан. Яшку-каторжника позови, а то всю избу разворочу. Ну, зови! Пусть Яшка-каторжник попляшет, а я посмотрю.

Маргарита. Сам попляши.

Феофан. И сам попляшу (*притопывает ногой, сидя на месте*). Прунды бабка, прунды дед, хватились — хлеба нет... Отчего мне трудно дышать? Дыхну и нету, дыхну и нету.

Во время настоящего разговора и дальнейшего Феофан пьет не закусывая, постепенно хмелея.

Маргарита. Хоть бы ты, Феофан, бросил, — ах, да измучили вы меня все! Ах, да и мученица я! Ну, что ты пьешь? Ведь ты опух весь, как утопленник, вот-вот Богу душу отдашь.

Феофан. Как утопленник? Ишь ты, какой красавец. Ты не бойся, я не сдохну, я еще не все сказал. А вот как скажу, тогда и сдохну. Я уж скажу!

Маргарита. И отчего вы все такие — страшные вы все, как звери лесные. Яшка пляшет, а ты — ну что ты бурчишь? Ну что ты мычишь, как заблудившийся? Вот я же слушаю — ну раскрой же ты рот по-человечески, ну скажи ты мне хоть какое-нибудь слово...

Феофан. Слово? Я тебе скажу!

Маргарита. Ну хоть словечушко одно! Ведь я царица перед вами, — а кто чистоту мою почтил, хоть словечком уважил? Грозитесь, зубы скалите, как свиньи, над головою моей плясы пляшете, — а кто невинностью моей прельстился, душеньке моей преклонился? Жестокие! — Не человек я для вас, а тварь ничтожная. Ну что ты? Ну как ты смотришь? Ну ты же совсем как зверь.

Феофан. Ньюхаю.

Маргарита. Что нюхаешь?

Феофан. Чем пахнет, нюхаю. Дура, это у меня от водки глаза выперло, а я все понимаю. Видала?

Делает неопределенный жест над головой.

Маргарита. Что?

Феофан (*таинственно*). Небо опускается. Голова болит?

Маргарита. Болит.

Феофан. Ну то-то! Каменное оно. Ты можешь морду вверх поднять?

Маргарита. Могу.

Феофан (*таинственно*). А я нет. Кто тут был сейчас?

Маргарита. Никого. Яков.

Феофан. Ну, Яков. А еще кто?

Маргарита. Никого.

Феофан (*хитро*). Никого? Хм, потеха. А отчего ж дышать нечем, если никого, ну-ка, скажи-ка? А отчего ж ты трясешься, если тут никого не было? Был — был и опять придет.

Маргарита. Кто? Не пугай ты меня. Ну, кто?

Феофан (*таинственно*). Называемый никто. Молчи! Яшку-каторжника позови, пусть он нам попляшет, а мы посмотрим. Ну зови, зови же, а то избу разворочу: силы у меня, как у Самсона. Как двину — так сей храм филистимлянский и набекрень.

Маргарита. Ну, и пляшите с ним.

Выходит. Феофан один. Пьет и поет.

Феофан. Во пиру ль я была, во беседушке... А Яшка-каторжник! Встань предо мной, как лист перед травой.

Вошли Маргарита и Яков. Маргарита, закутавшись платком, садится в угол.

Яков. Что тебе? Зачем зовешь?

Феофан. Пляши.

Яков. За этим?

Феофан. Пляши, Яшка-каторжник! Вот тебе мой сказ: и будешь ты отныне и до века плясать, как плясовица Иродова. Нет тебе, сквернавцу, моего прощения,— лучше и не проси (*кривит рот*). Усмехаешься?

Яков. Усмехаюсь.

Маргарита (*из угла*). Наплачешься, Яков.

Феофан. Яшка! И вот тебе мой сказ: и будешь ты усмехаться отныне и до скончания века. Кто убил, говори.



Яков. Я.

Маргарита. Яков! Зачем болтаешь?

Яков. А что ж он орет? Я убил. Слышал? Чучело огородное.

Феофан (*протяжно*). Слышал! Очень даже слышал.

Яков. И еще убью, слышал? Молчи, Маргаритка, — чего он разорался тут? Какую волю взял, подумает. А откуда ты ее взял? Ну и грешники, ну и ад, ну и смола кипящая, — ну а еще что?

Феофан. Не боишься?

Яков. Тебя не боюсь и никого не боюсь, а себя боюсь. Да и себя не боюсь! — и кто я такой, Яшка-дворник, чтоб мне себя бояться? Надоешь ты мне окончательно — видишь нож (*берет нож*) — вот возьму и распорю тебе брюхо, дух и выпущу. Что ты будешь без духа? Падаль!

Маргарита. Яша, я рассудка лишусь. Ножом грозишься! И что это, и где это, я? Яшка, я головой биться начну.

Яков. Маргарита, не мешай — чего он тут орет, падаль! — Ты мне, Яшке-дворнику, не указ, падаль! — и никто мне не указ. Должен я тебе — так на — бери!

Выбрасывает из кармана поддевки смятые бумажки, мелочь. Любуется собою.

Вот он я какой — видал?

Феофан. Душегуб!

Яков. А где душа? А ты мне ее показал? Где душа? Ты мне ее покажи, ты мне ее обнаружь, ты мне ее на ладоночку положи — тогда, может быть, я тебя и помилую, всех помилую. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу, — а у нашего Яши из-за вас ноги отнялись, плясавши! Маргаритка, не мешай! Маргаритка, сиди тихо, пока я тебя не заметил! Ох, кого замечу — да и плохо ж тому будет. Вот я какой!

Маргарита. Ох, голубчики, да где же свет? Темно мне. Яшенька, милый, остановись — я сейчас головой биться начну!

Феофан. Яшка, стой, не уходи!

Яков. Я и стою — ослеп? Вот он — я.

В дверь из сенец проскальзывает Ньюша и в истоме любопытства нестерпимого замирает у порога. Вначале ее не замечают — только Яков мельком взглядывает на нее и отводит глаза. В избе все тот же непрерывный и злоеший топот пляшущих, дикие взвизги, отрывки песен.

Феофан. Яшка, стой, не уходи. Дай сказать, Яшка! О, Господи, смилуйся. Подаждь, Господи! Вразуми и

наставы! Я слово-то знаю. Я его так знаю, я тебе его так скажу... ну?

Яков. Ну? Не ты запрягал, чего нукаешь?

Феофан. Убил?

Яков. Убил.

Нюша (*быстро*). Убил, говорит. Ну?

Маргарита. Ты опять, Яков?.. (*Заметив Нюшу.*)

А ты зачем сюда? Кто тебя звал — опять прилезла. Пошла вон! Яша, прогони ее.

Яков (*равнодушно*). Пускай ее.

Маргарита. Еще мало нахвастал, еще мало наблаговестил? Ну хвастай, хвастун, не мне отвечать! Сам отвечать будешь.

Яков. Сам и отвечу, вы не беспокойтесь, Маргарита Ивановна.

Маргарита. Ступай вон, девчонка, слышишь?

Нюша. Сейчас. Деньги-то по полу рассыпаны, это Яков Иванович рассыпал. Он, кому же больше: так и сыпет денежки, так и сыпет.

Яков (*Феофану*). Что ж молчишь, долго мне ждать? Поживей, падаль, меня девки зовут.

Феофан. Я сейчас!.. Ты подожди!..

Яков. Потерял слово-то?

Феофан. Потерял, Яша.

Яков. Потерял, Яша! Ищи, падаль. Ты зачем меня тревожил? Ищи, а я папиросочку покурю.

Садится и закуривает папиросу, сплевывает, с небрежным видом закладывает нога за ногу, рассматривает отвернутую полу поддевки.

Дрянь сукнецо-то, Маргарита, настоящего цвету не имеет, надо другое взять. Нюшка, хорош я?

Нюша. Уж и так хорош, уж и так хорош! Спрашивает: Нюшка, хорош я?

Яков. Ну то-то.

Феофан. Ох, головушку мне всю раздавило — нет во мне воздыхания. О, Господи Владыко!.. Океаны — моря все тверди земные и небесные — ох, да и тяжело же мне... Яков, ты что мне сказал: и еще убью?

Яков. И еще убью. Н-ну?

Нюша (*как эхо*). Ну?

Феофан. Яшка! Не смей убивать!

Нюша (*тихо и быстро*). Яшка, не смей убивать.

Яков. А кто мне запретит? — Ты?

Феофан. Я.

Нюша. Я.

Яков. А ты кто?

Нюша. А ты кто?

Феофан. Да ведь нельзя же убивать — чудак! Не велено! Не велено! Яша, миленький, голубчик! Не велено!

Яков. А кто не велел? Ты?

Феофан. И я не велел. Яшка, подлец, душегуб — не смей убивать! Не смей, говорю! Смирись, Яшка!

Яков смеется. Встает, потягиваясь, бросает папироску и приглашает ее ногой.

Яков. А еще ничего не скажешь? А то мне поплясать захотелось. Нюшка!

Нюша. Что, Яков Иванович? Нюшка — я.

Яков. Нюшка, поди скажи, чтобы веселее играли: Яков Иванович идет.

Нюша. Сейчас. Яков Иванович, скажи, идет. А деньги кто подберет, Яков Иванович?

Яков. Подберут желающие, не бойся. Пошла!

Феофан. Яшка!

Нюша. Желающие, говорит, подберут, не бойся, Нюшка! *(Уходит.)*

Яков. Так я иду, Маргарита.

Маргарита. Иди.

Феофан. Яшка!

Яков. Борова этого постереги, как бы пожару не наделал с пьяных глаз. А ты не пойдешь?

Маргарита. Нет.

Яков делает шаг к двери, но останавливается и через плечо, презрительно смотрит на Феофана, страдательно выпучившего глаза на закутавшуюся Маргариту.

Яков. Как это говорится, вы не слышали: за душу мою, навеки погибшую, дай ей, Господи, отпущение греха. И кто это сказал — вот уж не помню, дай Бог память? Так, человек один. За душу, говорит, навеки погибшую, дай ей отпущение греха. — Молчите? — Ну и молчите, дьявол вас побери — тля вы разнесчастная! Тьфу.

Выходит, гневно распахнув не сразу поддавшуюся дверь.

Ты еще, проклятая!

Слышно в отворенную дверь, как он еще в сенях запеваёт: «Д-эх, погиб я, мальчишечка, да погиб я навсегда»... затем хаосом звуков врывается топот, смех, взвизги и гасит еще раз где-то высоко взметнувшуюся песню.

Маргарита встает, закрывает дверь, послушав минуту, и снова садится в угол; лица ее не видно.

**Феофан.** Яшка!.. Ушел, Яшка-каторжник, а кровь оставил. Кровь-то оставил, а? Ну и водка вся, всю я выпил. Водки дай, слышь ты, а то всю избу разворочу. Зверь я теперь, а не человек! У-ух!

С силой ударяет кулаком по столу.

**Мученик я!**

Вторично, но уже слабее ударяет по столу. Тупо смотрит на поваленную бутылку, пытается поставить ее, но бросает, не может.

**Феофан** (*плачушим голосом*). Эх, граде святой Ерусалиме! Ангелы небесные! Птички Божии, да возьмите вы меня на крылушки, да отнесите вы меня куда-нибудь... силушки во мне не стало. Ослаб я, как ребеночек махонький. Как ребеночек махонький, бестелесный... (*Плачет, потом бьет кулаком по столу.*) Не хочу, чтоб убивали! Нет моего приказа! Слышишь, Яшка!

Маргарита подходит, внимательно смотрит в лицо Феофана.

**Маргарита.** Феофан, голубчик!.. Ты понимаешь, что-нибудь — ну что ты так смотришь?

**Феофан.** Понимаю.

**Маргарита.** Слушай, я умереть хочу, ты можешь меня благословить? Благослови.

**Феофан.** А зачем благословить?

**Маргарита.** Отца у меня нет — ну? Страшно мне умирать, голубчик.

**Феофан.** А когда умереть?

**Маргарита.** Сегодня.

**Феофан.** Могу. (*Поет.*) Во пиру ль я была, во беседушке,— я не мед не пила...

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

На сцене будуар и опочивальня княгини де-Бурбоньяк. Обе комнаты представляют, в сущности, одно целое, отделены друг от друга только аркой и тяжелым бархатным занавесом. Будуар — небольшая, но высокая с лепным потолком, довольно просто и со вкусом обставленная комната. Мягкая мебель, ковры, на столике живые цветы в корзине. В момент открытия занавеса в будуаре темно, и только на ковер ложится мягкая полоса света из спальни.

В спальне горничная Мери — в черном платье, белом чепчике и переднике, приличная девушка — готовит постель для княгини. Постель пышная, высокая, торжественная, под балдахином; на последнем вышит

большой, бросающийся в глаза герб князей де-Бурбоньяк. Горит только одна лампочка над постелью. В тени туалетный стол; свет играет в факетах круглого туалетного зеркала. Разноцветными огнями, красными и зелеными, горят лампы у большого резного киота.

В будуар входит экономка княгини, Фанни Карловна.

Экономка. Мери! Княгиня идут. У вас все готово?

Горничная. Все. Только питье еще не поставила. Я сейчас, Фанни Карловна.

Экономка. Ах, да как же так, княгиня будет сердиться.

Горничная. Я сейчас.

Экономка. Постойте! (*Быстро осматривает все.*) Все на месте? Так, так. А пеньюар?

Горничная. Вот он.

Экономка. Ну разве можно так класть, сколько я вас учила, Мери! (*Поправляет.*) Ну, ну, теперь некогда уже. Идите. Постойте: зажгите свет в будуаре. Так.

Гасит свет в спальне; остаются только мерцающие лампы. Затем выходит в будуар, где горничная уже дала полный свет.

Экономка. Идут! Мери, дверь...

Горничная открывает дверь: входит Василиса Петровна, опираясь на руку воспитанницы Лели, хорошенькой девушки, бывшей институтки, дочери очень благородных, но бедных родителей.

Василиса Петровна. Это вы, Фанни Карловна?

Экономка. Я, ваше сиятельство.

Василиса Петровна. Лелечка, а мой платок?

Леля. Здесь, татап.

Василиса Петровна. А флакончик? Забыла?

Леля. Ах, душечка татап, забыла. Я сейчас. Он в гостиной на столике.

Василиса Петровна. Ну уж забыла, так нечего, Мери принесет. Мери, принесите флакончик — вы знаете?

Горничная. Знаю, ваше сиятельство.

Горничная выходит.

Экономка. Мне можно идти, ваше сиятельство?

Василиса Петровна. Нет, постойте. Впрочем... идите. Нет, постойте. На завтрашний день я все распоряжения сделала? Ах да: не забудьте же послать в монастырь карету за матерью Евгенией. Скажите кучеру, чтобы к концу обедни да чтоб лошадей не гнал.

Экономка. Я уж сказала, ваше сиятельство. Кучер знает.

Василиса Петровна. Ну, идите. Спокойной ночи, Фанни Карловна. Лелечка!

Экономка. Спокойной ночи, ваше сиятельство.

Василиса Петровна. Лелечка!.. это вы, Мери? Поставьте на столик в спальне или нет, дайте лучше сюда. Ступайте.

Горничная уходит. Василиса Петровна садится в кресло, закрывает глаза и нюхает из флакончика.

Леля. Вы устали, татап?

Василиса Петровна. Не знаю, милочка, так что-то... *(открывая глаза и утомленно обводя ими комнату.)* Ты не находишь, милочка, что здесь больше шел бы цвет сонно, нежели голубой?

Леля. Ах нет, татап, ну что вы! Хорошо как в раю, татап. А вы, татап, ангелочек, душечка, красавица! Ну что ж мы будем делать, спать еще так рано... хотите, я вам читаю, татап?

Василиса Петровна. Нет, я сегодня так много читала, даже глаза устали.

Леля. Ах, миленькие глазки, ну зачем же вы мучились? Миленькие глазки, хорошенькие глазки, любимые глазки, зачем вы сами читаете? Не надо! Я не хочу, чтобы вам было больно.

Становится на колени, берет руки Василисы Петровны и с восхищением смотрит на нее.

Василиса Петровна. Ну, ну, Лелечка, какая ты восторженная.

Леля. Татап, у вас решительно чудные глаза.

Василиса Петровна. Разве?

Леля. И вы еще спрашиваете, татап! Ах, если бы я была этот ваш противный князь, я бы всю жизнь стояла перед вами на коленях. Отчего он не стоит на коленях? У, какой противный!

Василиса Петровна. Ты глупая девочка, Леля. Встань. И нельзя быть такой наивной, ты уже не институтка.

Леля. Ну и встала. Вы на меня сердитесь, татап?

Василиса Петровна. Нет, душечка, я не сержусь, но нельзя так некрасиво выражаться о князе. Князь не может заниматься тем, чтобы стоять на коленях перед дамой, глупая девочка: у него и без нас забот много. Я уже говорила тебе, что он за границей при одном дворе и у него очень важная миссия. Я, право, не могу сказать тебе, какая миссия, мы, женщины, плохо разбираемся в государственных делах, но очень, очень важная. Что-то насчет войны.

Л е л я. Матап, я его боюсь. Он седой, страшный. И он так на нас смотрит — как победитель!

В а с и л и с а П е т р о в н а. И опять глупости, Леля. И вовсе не седой князь, а такой красавец, что ты бы, дуручка, ослепла.

Л е л я. А какие у него глаза, матап?

В а с и л и с а П е т р о в н а. Глаза? Карие.

Л е л я. Ах, какая прелесть!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Конечно, прелесть, но не в этом дело, душечка. Нам, женщинам, достаточно красивых глаз, а мужчина князь, совсем, совсем другое. Я иду в спальню, дай свет Леля.

Л е л я. Сейчас, матап.

Бежит в спальню и зажигает свет.

В а с и л и с а П е т р о в н а (*идя*). Князь должен быть мужествен и горд, он даже не имеет права спускаться до таких мелочей, как какие-то красивые глаза... Закрой свет в будуаре, Леля. (*Садится у зеркала и продолжает говорить, смотря на себя.*) Правда, есть и другие люди, высокого очень звания, которые ведут себя совсем иначе, но я этого не понимаю. Скажу хоть о себе — ты слушаешь, Лелечка?

Л е л я. Ах, матап, Бога ради говорите о себе! Я так люблю, когда вы говорите о себе, это так поэтично.

В а с и л и с а П е т р о в н а (*продолжая глядеть на себя*). Ты знаешь, что я хоть и благородного дворянского рода, но княгиня я только по мужу. И что же, Лелечка — этому даже трудно поверить, это совсем как сказка! Я и никогда не унижала себя, избави Бог, но когда моей головы коснулась княжеская корона, когда я так высоко поднялась над людьми, — только тут поняла я себя, Лелечка, только тут я себя оценила. Мне даже трудно представить, и я совсем не помню, какая я была раньше... какая-то странная... не помню.

Л е л я. А я знаю, какая: вы всегда были душечка, матап!

Снова в прежней позе становится на колени, берет руки Василисы Петровны и снизу вверх с обожанием смотрит на нее. Василиса Петровна продолжает, не сводя глаз с своего отражения в зеркале.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да, странная какая-то, не помню. Вероятно, тогда я очень редко смотрелась в зеркало: я и лица своего не помню... или я не так причесывалась?

Л е л я. Ах, матап, вы такая красавица, я вам завидую, матап. Ну говорите еще, говорите!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да. И как будто солнце, Лелечка, взошло над моей головою: понимаешь, такие ослепительные лучи...

Л е л я. Понимаю, татап, говорите!

В а с и л и с а П е т р о в н а. И как будто я взошла на высокую, высокую гору: понимаешь, Лелечка,— я вверху, а вся жизнь и все люди далеко, далеко внизу. И вдруг я все увидела и поняла: и зачем люди, и зачем слезы, и зачем людям нужен Бог — раньше я это не совсем понимала. Бог нужен, чтобы творить чудеса и чтобы не было слез,— это так ясно!

Л е л я. Я плачу, татап!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да. Вот когда-нибудь, к концу моей жизни, я пойду в монастырь, приму схиму — я уже сделала вклад, Лелечка, и тогда мне все станет еще яснее, еще понятнее. Как ни высока гора, Лелечка, на которой я сейчас по милости Божией,— а есть еще выше: и какой вид оттуда, какие необозримые дали!..

Л е л я. Я плачу, плачу, татап!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да. И тогда со мной свершится второе чудо, Лелечка. Я еще не совсем покорилась сейчас, я еще слишком горда моим званием, мою благородную кровью, но тогда... Тогда, как пыль, стряхну я с себя всю гордость владык земных — и покорюсь, ах, как сладостно я покорюсь! Что такое я, человек: вот иногда у меня болит сердце... не знаю, почему, но иногда у меня болит сердце, а тогда...

Л е л я. Матап, вы плачете?

В а с и л и с а П е т р о в н а. Я от счастья плачу.

Л е л я. И я тоже.

Обе плачут; Лелечка в ногах у княгини, та — продолжая смотреть на себя в зеркало.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Ну, ну, перестань, Лелечка. Обе мы с тобой глупые. Посмотрел бы кто на нас.

Л е л я. Я не могу перестать, татап! Я тоже пойду в монастырь! А отчего вы всегда в трауре, татап? Траур так не корреспондирует цвету вашего лица!

В а с и л и с а П е т р о в н а *(вставая)*. Ну хорошо, хорошо, милочка. В трауре? Разве я тебе не говорила, что у меня умер родственник, очень, очень почтенный человек... *(припоминает)* Да, уже скоро год. Вот на днях будет год, тогда и сниму, а сейчас... надо Богу молиться и спать. Где мой флакончик?

В дверь стучат.

Л е л я. Вот, татап. Тогда и в театр поедем?

В а с и л и с а П е т р о в н а *(прислушиваясь)*. Да постой же, Леля, не тараторь. Что это, кажется, стучат?



Л е л я. Да, тапан, стучат.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Постой, не тараторь... Да, странно. Кто там? Войдите...

Но там, очевидно, не слышали: стук продолжается.

Да что они там!.. Лелечка, открой и узнай.

Л е л я. Сию минуту, тапан.

Открывается дверь, пропуская горничную Мери. Горничная что-то быстро шепчет.

В а с и л и с а П е т р о в н а (*из спальни*). Ну что же вы там? Лелечка! Это вы, Мери? (*Входит в будуар*.)

Л е л я. Да, тапан, там...

В а с и л и с а П е т р о в н а. Что там? Как это глупо, Леля. Дай свет, пожалуйста, я ничего не вижу. Ну что вы, Мери, что вам надо?

Г о р н и ч н а я. Там, ваше сиятельство...

В а с и л и с а П е т р о в н а (*перебивая*). И сколько раз я вам говорила, Мери, чтобы меня не беспокоить в этот час. Если что-нибудь забыли или ваша Фанни Карловна напутала, то можете завтра, а не барабанить в дверь.

Г о р н и ч н а я. Там двое пришли, ваше сиятельство. Просят принять их.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Двое? Вы с ума сошли, Мери. Какие двое? Когда докладывают, то надо говорить фамилию, а не двое.

Л е л я. Мамочка, я боюсь сумасшедших! Это сумасшедшие?

В а с и л и с а П е т р о в н а. Оставь, Леля. Ну?

Г о р н и ч н а я. Я им говорила, что поздно, а они просили записку передать. Вот.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Какую еще записку? Дайте сюда. Где мой лорнет, Леля, подай, пожалуйста. Двое! Ну куда же вы, Мери, я вам еще ничего не ответила... Спасибо, душечка.

Продолжая укоризненно смотреть на горничную, разрывает конверт и читает. Но при первых же словах взволнованно откладывает лорнет и дальше читает так. Напряженно обдумывает.

Что такое? Да, да, вот что. Право, не знаю... Их двое, Мери?

Г о р н и ч н а я. Да, ваше сиятельство.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Вот уж и не знаю я... какие странные люди. Постойте, Мери. Это, Лелечка, наши дальние родственники, ты их не знаешь, из боковой ветви. Я их помню, очень, очень бедные люди, но скромны, и меня удивляет, как это вдруг ночью...

Л е л я. Днем им неловко, татап.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Ты думаешь? (*Рассматривает письмо.*) Да, да, они так и пишут, что днем они не решаются... и... Бедные люди! Но нельзя же их принимать в гостиной: они будут смущаться, и вообще... Лелечка, друг мой, я думаю, что это будет вполне прилично, если я приму их в будуаре?

Л е л я. Я думаю, татап!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Правда, мой будуар предназначен только для интимных друзей, но... Вы здесь, Мери? Да, так будет лучше всего. Послушайте, Мери, проводите их сюда... Да куда же вы? Сперва закройте свет в спальне и задерните занавес, а потом уже идите. И ты, Лелечка, иди, а то они будут стесняться, мой друг. Они такие... забытые!

Л е л я. Но я боюсь, татап! Все бедные такие злые.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Пожалуйста, без глупостей, Леля. Поцелуй меня и иди, душечка, они скоро уйдут. Иди. Целует Лелю, и та выходит вслед за горничной. Василиса Петровна одна. Тревожно, с нескрываемым страхом смотрит на дверь, затем — при входе неожиданных гостей — снова принимает выражение спокойствия и как бы некоторой надменности. А входят З а й ч и к о в и князь де-Бурбоньяк. Оба одеты плохо. Зайчиков, видимо, болен, опух, расползся и, войдя, без приглашений садится. Князь — как всегда.

К н я з ь. Бонсуар, madame.

В а с и л и с а П е т р о в н а. Бонсуар, мон пренс!

З а й ч и к о в (*отдышавшись*). Княгинюшка, матушка, простите великодушно. И что сел без разрешения, и что ночью, так сказать, во мраке осмелился... Но жребий брошен, княгиня, и мы у ваших ног. Князь, дай мне папиросу. Пермете?

В а с и л и с а П е т р о в н а. Да, признаюсь, я несколько удивлена, и вообще вы так странно выражаетесь: какой жребий? Князь, садитесь, прошу вас. А вы, господин, господин...

З а й ч и к о в. Бывший антрепренер Иван Алексеевич Зайчиков. Умираю, княгиня.

В а с и л и с а П е т р о в н а (*подозрительно*). Вы больны?

З а й ч и к о в. Умираю. Так сегодня схватило, знаете, что вот осмелился ночью, во мраке, так сказать, и привел. Возьмите, княгиня!.. Князь, — молчи, мой друг, не смеешь, князь! Возьмите его, а то — пропадет!

В а с и л и с а П е т р о в н а. Я не совсем понимаю вас. Вы были за границей?

З а й ч и к о в. За какой за границей?

В а с и л и с а П е т р о в н а (*настойчиво*). Ну да: вы были с князем за границей!

**Зайчиков** (*уныло*). Ну за границей так за границей. Не в том суть, дорогая, а в том, что занавес пора спускать. Умираю! Вот сейчас отдышался, а то... Да, княгиня, ваше сиятельство, так проходит слава мира сего. Был антрепренер Зайчиков, актеришка скверный, врал, лицемерил, подкопы делал, водку пикулями закусывал — а теперь и нет его. Роскошь, забавы, светлость корон, счастье и слава — все только сон! Эх, глупо! И это глупо. Изоврался я, как старая лошадь, и даже умереть прилично не умею. Глупо как.

**Князь**. Не волнуйся, дорогой.

**Зайчиков**. И это все глупо. Князь, достойнейший друг мой — отойди на минуту! Не мешай, я требую, наконец! Ну оглохни, ослепни, наконец — и не мешай.

**Князь**. Хорошо, мой дорогой.

В некотором замешательстве смотрит на княгиню, затем садится у дальнего столика с альбомом.

**Василиса Петровна**. Вы меня поразили, Иван Алексеевич. Правда, я совсем, кажется, забыла, и вдруг ваше неожиданное появление... — но ведь вы же собирались за границу, помню?

**Зайчиков**. Да, и за границу собирались.

**Василиса Петровна**. Так почему же вы здесь, Боже мой — как это дико! И ночью, я уже собиралась спать, как вдруг стучат, какая-то записка... (*Тихо.*) Но где же деньги, Иван Алексеевич, где же деньги?

**Зайчиков** (*громко*). Деньги? Раздали, пропили, потеряли, слона покупали — почему я знаю, куда девались эти деньги! Вначале я еще помню, что-то такое выходило, я уж начал трупку сбивать, летний театрик присмотрел, но — заскакал штандарт! Фантастика, феерия, сон в летнюю ночь, восторг и упоение, но — мертвые сраму не имут! Что я — вот моя заботушка, вот горе мое: ведь пропадет, княгиня! Заклюют, сожрут, унизят!

**Василиса Петровна**. Кого унизят? Честное слово, я не понимаю, что вы говорите: кого унизят?

**Зайчиков**. И не боюсь я смерти. Ну какой может быть суд над антрепренером Зайчиковым? Ступай, скажут, дурак, и больше не грехи: ты много возлюбила, старая блудница. Но он — невиннейший из людей, древний отпрыск. Смотрю на эту роскошь, на этот великолепнейший бонтон, на вас, княгиня, очаровательный цветок, — и где же, наконец, граница? Я вас спрашиваю, княгиня: где же, наконец, граница?

Плачет.

Василиса Петровна. Какая граница? Наконец, я просто не могу этого позволить, господин Зайчиков. И я не виновата, что вы хотите умирать, и какое, наконец, мне дело до вашей смерти? Это смешно! Я очень рада, что князь и, наконец, вы оказали мне честь своим посещением, но я не могу допустить таких странных разговоров. Князь, прошу вас, это виды Рима — не правда ли, как прекрасно? Вы не были в Риме, князь?

Зайчиков. Выгоняете, княгиня?

Василиса Петровна. Опять! Нет, вы действительно больны, дорогой Иван Алексеевич, вы просто бредите. Нет, я прошу вас, настойчиво прошу, умоляю, чтобы вы оставались: мы посидим, поболтаем... Князь, там есть еще альбом. Не хотите ли чаю, князь?

Князь. Мерси, мадам.

Василиса Петровна. Если вам нужно что-нибудь деловое, Иван Алексеевич, то можно завтра или вообще как-нибудь иначе, но здесь, мы в будуаре, где я принимаю только интимнейших друзей, и, право, я не могу позволить... Как вам нравится нынешний сезон, Иван Алексеевич?.. Мы завтра обсудим, что надо, и я все сделаю для вашего протеже, но сейчас... Как вам нравится нынешний сезон, Иван Алексеевич?

Зайчиков. Нынешний сезон? Да — чепуха, княгиня. Все какие-то, знаете, потуги, модерн... Так завтра, ваше сиятельство?

Василиса Петровна. Вот именно, вы совершенно правы: модерн. Ах да,— как же я забыла! Князь, я вам и не говорила, что я взяла воспитанницу: очаровательная девушка, Иван Алексеевич!

Зайчиков. Доброе дело, ваше сиятельство. Из хорошей семьи?

Василиса Петровна. Прекрасная семья, очень порядочные люди, но, знаете, бедность, отсутствие средств. Конечно, это все не могло не отразиться на характере милой девочки...

За дверью какой-то шум, впрочем, очень слабый, княгиня его не слышит.

Но я уверена, что мое влияние... Здесь, главное... Что такое, на что вы смотрите, князь?

Вслед за князем переводит глаза на дверь. Дверь открывается, и входит Яков: за ним испуганная и несколько возмущенная горничная, пытающаяся убедить его.

Яков (*горничной*). Ничего, ничего, барышня, я в ответе. (*Закрывает за собою дверь.*) Здравствуйте, ваше сиятельство.

Василиса Петровна (*пораженная*). Яков! Что это значит? Это ты, Яков?

Яков. Я — сразу-то не признали? Здравствуйте, ваше сиятельство.

Василиса Петровна. Но как ты попал сюда?

Яков. Извините, не рассчитал, что у вас гости. Но как вы изволили говорить, Василиса Петровна, чтоб я заходил когда, так вот осмелился побеспокоить — извините уж. Но, конечно, могу и уйти, если прикажете.

Василиса Петровна. Нет, оставайся, раз уж пришел. Меня удивляет только, что ты так поздно, почти уже ночь... Князь, это мой протеже, Яков; из деревни. Садись, Яков.

Яков (*не садясь*). Ночь — это справедливо. Да только я прямо с железной дороги, и как не имею в городе ночлега... Может быть, разрешите переночевать в дворницкой, Василиса Петровна?

Василиса Петровна (*несколько успокаиваясь*). Ну конечно, пожалуйста. Иван Алексеевич, вы знаете Якова?

Зайчиков. Как же, имел честь. (*Оживляясь.*) Помнишь, Яков, свадьбу, эх, и погуляли мы тогда! Умираю я, брат.

Яков (*вежливо*). Зачем же, поживите.

Зайчиков. Умираю. Вот князя-друга покидаю, видал? Эх, и погуляли мы тогда... Помнишь, Яша, ты под конец песенку какую-то спел нам, удивительная песенка, ты не помнишь, как это?

Яков (*усмехаясь*). Это, как говорится: эх, погиб я, мальчишечка, погиб я навсегда. Эта самая?

Зайчиков. Эта самая. Эх, и хорошо ты тогда пел! Разбойничьи пел! Рыдали все! И я сам рыдал. Вот, княгиня, талант! Как же, как же, помню, тогда еще тебе генерал снял золотые часы и подарил: на, говорит, Яков — носи.

Яков (*усмехаясь*). Нет, этого не было.

Зайчиков. Не было? Ну, значит, опять напутал, откуда-нибудь из другого места. Все это уж было когда-то, но только не помню, когда... Умираю я, Яков, князя-друга покидаю — видал?

Василиса Петровна (*волнуясь*). Извините, Иван Алексеевич, вы его задерживаете... Ты уже уходишь, Яков?

Ну спасибо, что навестил. А Маргариточка с тобою, отчего она не пришла? Славная девушка. До свидания, Яков.

Яков. Маргарита Ивановна умерли.

Василиса Петровна (*вздрыгнула*). Да? Ну — царствие ей небесное. Значит, ты один?

Яков. Один. А у вас хорошо, Василиса Петровна, посмотрел я. Дом большой, порядок и двор такой чистый. Кто у вас дворником, Василиса Петровна?

Василиса Петровна. Дворником? — право, не помню. Кажется, Ахмет.

Яков. Татарин?

Василиса Петровна. Татарин. Татаре очень честные люди.

Яков. Хорош дворик. (*Тихо.*) Василиса Петровна, нельзя этого барина убрать: действительно надо.

Василиса Петровна (*одним вздохом*). Что такое?

Яков. За мной полиция гонится, сейчас у вас будет (*громко*). Хорош дворик, чистый.

Василиса Петровна. Боже мой! Простите, господа, что я... Я сейчас... Ах, Яков, я тебе еще не показывала — там одно письмо... Я сейчас, поди сюда.

Хватает Якова за рукав и тащит его в спальню.

---

*В будуаре:*

Зайчиков сидит, положив голову на руки; на цыпочках подходит князь, наклоняется.

Князь. Тебе не дать воды, дорогой?

Зайчиков. Нет. Сядь.

Князь. Нам надо уходить.

Зайчиков. Сядь. Дай руку.

Оставаясь в том же положении, берет руку князя и прижимает к щеке. И есть в их позе нечто такое, что смутно и трогательно напоминает тоскующих в клетке, обнявшихся обезьян.

Некоторое время спустя: оба, Зайчиков и князь, испуганно прислушиваются к происходящему в спальне. Зайчиков привстал, князь положил ему руку на плечо: тише!

Что там? Молчат.

Князь. Не знаю. Что это?

В спальне горит только лампочка с красным абажуром на столике у кровати. Войдя, княгиня дышит тяжело, пытается говорить, но глотает слова. Продолжает держать Якова за руку.

Яков. Куда это вы меня? А! — Сейчас будут. Я к вам уж через забор перемахнул, за пятки хватали. Ну?

Василиса Петровна. Что?

Яков. Ну, говорю. Гонятся! Через забор я.

Василиса Петровна. Кто гонится? Кто через забор? Яша, ты что говоришь: гонятся — через забор — кто?

Яков. Ошалела бабочка! Ну, ну, не дрожи: может, сейчас, а может, и срок дадут — народ не быстрый. Эх! Ну, ну, не дрожи: деньги надо прибрать, деньги приברי. Да этих прогнать следует: расселись не вовремя, не до них. Ну?

Василиса Петровна. Каких этих? Какая бабочка? Пусти мою руку!

Яков. Да, это вы меня держите. Слушай, Маргаритка-то удавилась, а Феофан заблаговестил, теперь сам сидит: подлец! Ну, ну, поживей, говорю, чего киснешь. Суда бояться нечего, а деньги сохрани. Охрип я что-то, от водки, должно быть. Постель-то какая, и не видал таких. Ваша?

Василиса Петровна. Я не убивала.

Яков. Я и говорю — я убил. Теперь нечего размазывать, и без нас размажут. — Так-то накрасят, что и себя не узнаешь — мазины ничтожные! Ну?

Василиса Петровна. Кто идут? *(Падает на колени и жадно целует Яшину руку, быстро шепчет.)* Яшенька, голубчик, милый, спрячь меня, спрячь меня...

Яков. Эх, руки-то не надо, нечистые они. Оставь.

Василиса Петровна. Нет, надо, надо, надо. Руки, ноги тебе поцелую — рабой твоей буду — ох, спрячь меня, спрячь меня...

Яков *(слегка гладит ее по голове, наклоняясь)*. Да, милая ж ты моя, да не малодушествуй так! Ну и пострадаешь — так что из этого, пострадай, поплачь, утешься. Мне трудно, страдать я не умею, а тебе что! Ну? И Бога не бойся, перед Богом я за тебя заступник — а люди что! Ну? Что ж ты молчишь?

Слегка отстраняется от Василисы Петровны, и та бесшумно и вяло, как труп, валится на ковер.

Василиса Петровна!

Молчание.

Послушайте меня: Василиса Петровна!.. Так. Что ж мне с ней делать?

Молчание. Яков быстро оглядывает комнату, мебель, зеркало. Глядит на лежащую у его ног Василису Петровну и снова с некоторым любопытством озирается. Как будто слегка засвистал или сделал такое лицо. Делает шаг к занавесу.

Яков. *(негромко)*. Эй! Князь! Барин! — подите-ка сюда.

Зайчиков. Слышишь?

Оба входят в спальню, сразу ничего не понимают.

Где княгиня? Что такое?

Яков. Вот она — лежит.

Зайчиков. Умерла? Скончалась?

Яков. Да нет. Так. Сами посмотрите.

Василиса Петровна тихо стонет и приподымается на руках, садится на полу и молча с удивлением оглядывается.

Жива.

Зайчиков. Вам дурно, княгиня? Позвольте, я... Князь, помощи. Дай же руку. Княгинюшка, что с вами? Яков, ты не знаешь, что с ней?

Князь хочет подать руку, но Василиса Петровна вдруг отталкивает ее, встает быстро, кричит.

Василиса Петровна. Яков! Зачем он пришел? Не надо?! Яков! Это вы, князь, дайте мне руку. Нет, не надо, не надо руку! Ах, Боже мой, что я такое хотела? *(Как слепая суется по комнате, на мгновение задерживается у киота.)* Боже мой, что я такое хотела. Я не убивала, я не убивала. Что я такое?..

Зайчиков *(взволнованно)*. Надо же позвать людей! Князь!

Василиса Петровна *(кричит)*. Не надо! *(Громко.)* Зажечь, надо зажечь — ах, как же вы не понимаете: это... чтобы был свет. Это! Это!

Князь зажигает верхнюю лампочку, светло.

Яков. Василиса Петровна, мне надо идти. Я пойду.

Василиса Петровна *(кричит)*. Нет! *(Обычно.)* Я не убивала.

Яков. Кто говорит.

Василиса Петровна. Я не убивала. Князь! Иван Алексеевич! Как я рада, что вы здесь. Я не убивала, он лжет. Он пришел, вы видели, и он говорит, что я убила...

Зайчиков. Ах ты!..

Василиса Петровна. Иван Алексеевич, послушайте, Иван Алексеевич! — он схватил меня за руку, вот здесь, и говорит, что я убила. Кого? *(Кричит.)* Я никого не убивала! Это он убил. Я никого не держала. Он — он хочет с меня денег!

Зайчиков. А! Ты это что же, разбойник? Ты это что?



Яков. А ты что? Уходили бы вы подобру-поздорову, да и князя-друга прихватили бы (*оскаливаясь, в позе*). Тут, барин, не свадьба.

Зайчиков. А! Князь — звони! Надо людей! Звони!

Василиса Петровна. Да! Он хочет с меня денег! Он пришел и схватил меня за руку, вот здесь...

Яков. Она так — не звони, слышишь? Эх, раззвонились!

Василиса Петровна. Князь! Вы помните, Иван Алексеевич, вы помните? Вот это моя спальня. Вот это мои иконы, князь! Я никогда не позволяла себе неприличия — зачем же он говорит? Зачем он пришел?

На продолжительный звонок князя вбегают Лелечка, за ней экономка и горничная. Восклицают бессвязно.

Василиса Петровна. Лелечка!

Леля. Матап!

Василиса Петровна. Лелечка (*обнимает ее и плачет*). Он хотел с меня денег. Это он убил!

Лелечка. Кого, татап? Я боюсь.

Зайчиков (*горничной*). Дворника, дворника! Ах ты! Нет, вы скажите: ворваться ночью... Каторжник!

Василиса Петровна. Да, ночью. Пошел вон! Ты убил! Убийца!

Леля. Надо полицию.

Яков (*оскаливаясь*). Будет полиция, барышня, не хлопчите. А вы, Василиса Петровна — вас не спрашивают, вы бы ротик не открывали: уж очень вы его на Яшку разинули!

Зайчиков. Молчать, наглец! Князь!

Яков. А вы, барин, подальше: около меня горячо, пальчики можете обжечь, ваше сиятельство. Вас не трогают.

Василиса Петровна. Нет, что он говорит. Он сумасшедший! Кто идут — я спрашиваю, кто может идти, а он говорит: идут. Кто смеет идти, кто смеет переступить этот порог: я здесь — княгиня. (*Якову*.) Безумный, что ты говоришь! Зачем ты меня пугаешь, раб — мы, князь, даем ответ только Богу! Да как ты осмелился не только войти, холоп! — а только взглянуть на меня! Холоп! Холоп!

Яков. Так. Ну, вы тут Петрушку представляйте, а мне пора. (*Подмигивает Зайчикову*.) Верно, барин? Позвольте-ка пройти.

Входят горничная и дворник; экономка и Зайчиков радостно восклицают: дворник!

Зайчиков. Дворник, бери его! Вяжи!

Яков. Дорогу. Эй, Ахметка, поросячье ухо — ты это видал?

Вынимает револьвер; все, кроме князя и Василисы Петровны, шарахаются в сторону; горничная с криком выбегает. Яков прячет револьвер и беспрепятственно доходит до двери. Останапливается.

Так-то лучше! А в случае чего, как это говорится, вас тут свидетелей много: я убил Кулабухова старичка. Яшка-дворник меня зовут. Один убил — ну? Эх, чтоб вас, — и проститься-то не с кем. Эй, Ахметка, поросячье ухо: прощай, брат! Да двор почище мети — эй, Ахметка!..

Выходит.

Зайчиков. Дворник, держи! Каторжник!

Василиса Петровна. Ушел? *(Громко.)* Яша, вернись!

Горничная *(вбегая)*. Барыня... барыня... Там...

Задохнувшись, валится на стул. В дальних комнатах многочисленные глухие выстрелы. Один выстрел громче других. Все молча и с ужасом смотрят в открытую черную дверь.

Василиса Петровна *(ползая на коленях и целуя руки то князя, то дворника Ахмета, вскрикивая при выстрелах)*. Ай, спрячьте меня. Идут! Ну, миленькие, ну куда-нибудь, ну, миленькие... ай! Я убила, я убила. Спрячьте меня, я виновата, я не буду, я убила... ай! Идут! Ай!

Занавес



# КОММЕНТАРИИ



### СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Архив А. М. Горького* — Архив А. М. Горького. М., Гослитиздат. Т. IX, 1966.
- Блок* — Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1963, т. 7.
- ЛН* — Литературное наследство. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. М., Наука. Т. 72 — Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., Наука, 1965.
- ПССА* — Андреев Л. Н. Полное собрание сочинений. СПб., А. Ф. Маркс, 1913.
- Реквием* — Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., Федерация, 1930.
- СС* — Андреев Л. Н. Собрание сочинений: Т. 1—13 — Просвещение (СПб., 1911—1913); т. 14 — «Московское книгоиздательство» (1914); т. 15—17 — «Книгоиздательство писателей в Москве» (1915—1917).
- ИРЛИ* — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (Ленинград).
- ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
- ЦГАОР* — Центральный государственный архив Октябрьской Революции (Москва).

Начало 1910-х годов было непростым периодом даже в наполненной постоянными обретениями и потерями писательской судьбе Леонида Андреева. Это были годы, когда слава автора «Жизни Человека» и «Рассказа о семи повешенных», уже достигшая в России своего высшего предела, во многом оказалась на изломе, это

было время напряженных, подчас мучительных творческих поисков.

Газеты и журналы не только так или иначе комментировали практически все свежие андреевские публикации, но фиксировали в многочисленных интервью с ним само появление новых замыслов писателя. Светские хроникеры неукоснительно отмечали все более или менее заметные события его личной жизни, было ли это очередное заграничное путешествие или покупка им моторно-парусной яхты. Критические дебаты вокруг андреевских произведений подчас утрачивали собственно литературную основу и приобретали привкус чуть не политического скандала (таков, например, эпизод с борьбой двух «партий», развернувшейся вокруг нелицеприятных отзывов киевских критиков о неудачной постановке в Киеве «Профессора Сторицына»). И самым главным — несмотря на постоянно усиливающееся сетование критики на то, что Андреев «исписался», «повторяет самого себя» и «вышел из моды», — был безусловный успех у самого широкого читателя. Его «Полное собрание сочинений» издается в 1913 г. гигантским для того времени тиражом 225 тысяч экземпляров.

Однако писатель чувствовал и то, что пик славы во многом уже позади, что драматургические новации эпохи «Жизни Человека» и «Царя Голода» стремительно тиражируются эпигонами, а главное — чувствительнейший барометр российской социально-политической и культурной атмосферы — Андреев осознавал необходимость обновления в идеях и формах своего творчества. Не одни лишь чисто художественные поиски делали рубеж десятых годов рубежом нового этапа в его творчестве...

После пантрагедийной палитры, фатальной безысходности, как бы сфокусировавшейся в его произведениях 1906—1908 годов, в андреевских вещах нового десятилетия начинают появляться просветы, солнечные блики. Характеризуя его творческую эволюцию с позиций современной истории литературы, В. А. Келдыш считает, что «в творчестве Андреева 10-х годов происходит своеобразное «оправдание» бытия как такового, в конечной его субстанции, далеко уводящее от «Жизни Человека». Проблема отчужденного «я», важнейшая в творчестве писателя, в широком философском смысле, по существу, снимается. Но, как проблема текущего бытия, она продолжает сохранять для Андреева всю свою мучительность и трагичность. И беда не в том, что существует это различие (оно закономерно), а в том, что пути к его устранению писателю неясны. Философски обнадеживающая мысль — несомненное достояние позднего Андреева»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Келдыш В. А. Русский реализм начала XX века. М., Наука, 1975, с. 259—260.

Современников не могло не поразить это значительное смягчение андреевского виденья, еще недавно достигшего, казалось, предела отчаяния и беспросветности. «Почти трудно узнать трагический талант Андреева в этом мягком, нежном рассказе, похожем на идиллию и посвященном тихим, почти блаженным впечатлениям маленького ребенка, в призме взглядов которого преломляются впечатления радостного именинного дня его матери», — комментировал критик А. Измайлов появление в 1912 г. рассказа «Цветок под ногою»<sup>1</sup>. Этот тонкий психологический этюд интересен также отсутствием обязательной для прежнего Андреева «программности», непосредственной обращенности всего образного строя произведения к метафизическому плану, отсутствием того, что исследователь Андреева называет «алтебраизацией»<sup>2</sup>.

Андреев теперь нередко обманывает ожидания своих критиков, привыкших в психологии его героев вычитывать не «диалектику души», а отражение сущностных начал бытия (как это было даже в самых пластичных его вещах, подобных «Иуде Искариоту», «Вору», «Сыну человеческого»). Столь же «неандреевскими» оказываются для них, например, рассказы «Возврат» и «Он», ибо и там прямой апелляции к чему-либо, кроме парадоксов и причуд подсознания, нет.

Как некий поэтический автокомментарий к новому этапу андреевского творчества можно рассматривать своеобразный «диптих», который как бы составляют рассказы «Три ночи» и «Воскресение всех мертвых». Если в первом главная тональность — это *безысходность* земного существования личности, вместе с концом которой рушится целая вселенная, то во втором, как бы продолжающем эту тему, — высвечивается пронзительная *надежда* на спасение, на светлое преображение всего лика земли, на преодоление ужаса небытия.

Безусловно, новый Андреев в определенной степени теряет прежнюю стилевую терпкость, сгущенность мыслей и слов, жесткую сцепленность образного и событийного ряда. Но взамен в его произведениях появляется большая тематическая раскованность, шире становится его взгляд на мир и человека, менее однозначными и более гибкими оказываются оценки таких глобальных бытийных категорий, как жизнь и смерть, добро и зло.

Казалось бы, в своем рассказе «Правила добра» он вновь возвращается к одной из излюбленных своих тем — бессилие «голой», не оплодотворенной теплой душевностью мысли. Однако здесь

---

<sup>1</sup> Измайлов А. «Цветок под ногою» Леонида Андреева. — Новое слово, 1912, № 2, с. 126.

<sup>2</sup> Дрягин К. В. Экспрессионизм в России: Драматургия Леонида Андреева. Вятка, 1928, с. 20.

вместо прежней роковой и жесткой игры логическими посылками, приводящей, например, героя рассказа 1902 г. «Мысль» к полному духовному краху, мы неожиданно сталкиваемся с постоянно присутствующей авторской иронией, подчеркивающей условный, «артистический» характер этой притчи и привносящей с собой и какую-то примиренность с человеческими слабостями, и опять-таки надежду.

И совсем неожиданным для Андреева предыдущего десятилетия оказывается написанный во второй половине 1913 года рассказ «Полет», несущий в себе столь мощный — трагедийный, но утверждающий — пафос высокой предназначенности человека. Его программный, этапный характер был подчеркнут тем, что Андреев не только поместил рассказ первым в 16-м томе Собрания сочинений, но и вынес его название в заголовок всего этого тома.

Критик С. Борисов, противопоставляя высокую оценку Андреева «вольной критикой массового читателя» неприятию его «связанным всевозможными традициями профессиональным критиканством», говорит о важности для его поздней прозы того, что написано *под* текстом, о появлении в его произведениях каких-то дополнительных, не подвластных однозначному истолкованию, смысловых оттенков<sup>1</sup>. И это утверждение представляется верным именно при сопоставлении новых качеств андреевской прозы с прежней стилевой системой писателя, гораздо более «концептуализированной», более однозначно подчиняющей вереницу образов и мотивов «сверхидею» произведения.

С другой стороны, нельзя сказать, что в произведениях начала 1910-х годов Андреев отказывается от всего прежнего своего опыта прозаика и драматурга. Скорее его творения начинают приобретать новые качества на путях синтеза жизнеподобного и условного, традиционалистского и новаторского. Наиболее значительной попыткой подобного сплава в прозе является написанный и напечатанный в 1911 г. «Сашка Жегулев», который, к сожалению, крайне односторонне был прочитан и критиками и современниками-литераторами. Рассмотрение этого романтического предания в традиционном реалистическом ключе, анализ правдоподобия описываемых в нем событий и похожести заглавного героя на какого-либо реального предводителя одного из многочисленных в 1907—1908 гг. «партизанских» отрядов, — все это отнюдь не приближало читателя к пониманию романа<sup>2</sup>.

При всем этом упускалось главное — *дистанция*, которая была

---

<sup>1</sup> Борисов С. «Он» и мы (Андреев Л. Полн. собр. соч. Изд. А. Ф. Маркс. СПб.). — Новая жизнь, 1913, декабрь, с. 156—168.

<sup>2</sup> Обзор отзывов о «Сашке Жегулеве» см. ниже, в комментарии к тексту романа.

необходима писателю, чтобы осмыслить события первой русской революции, столь еще свежие в памяти современников, причем осмыслить «по-андреевски» — не как «аграрные волнения» в таком-то российском уезде, а как проявление глобальных тектонических сдвигов в глубинной толще русской истории. Характерно, что даже такой тонкий ценитель, как М. Кузмин, подходя к проблеме «достоверности» «Сашки Жегулева» (этой, по его мнению, «романтической, сжато (особенно в первой части) и сильно написанной повести»), был принужден в своей рецензии иронически констатировать: «Одно странно: если все описанное Андреевым с подлинным верно, то неужели мы так отошли от революции и смутных годов, что бывшее лет пять тому назад нам кажется былью Брынских лесов»<sup>1</sup>. И не менее характерно, что «Сашка Жегулев» оказался равно неприемлем ни для Горького, ни для консервативнейшего критика «Нового времени» В. Буренина. В который раз андреевские принципы мировиденья, создающие особые отношения между планами реальности и авторской фантазии, столкнулись со злободневными, «партийными» и «групповыми» интересами!

«Трогательность», «лубочность», «слащавость», старательно и ядовито высвечиваемые критиками в тексте романа, на самом деле оказываются проявлением особой природы этого произведения, во многом связанной со становлением так называемого «неомифологического» романа в русской прозе начала XX века. «Мифологический каркас» повествования в «Сашке Жегулеве» составляют свободно состыкованные друг с другом мифы древнейшего библейского и добиблейского происхождения и «мифы» позднейшие, навеянные темами и образами романтической, славянофильской и народнической литературы. Концентрация этих источников вне-временного, высокого и «надбытного» в исходном, вполне реальном, образе ученика выпускного класса гимназии происходит в зеркально повторяющихся, лирических «зачинах» двух частей романа: «Саша Погодин» и «Сашка Жегулев». Именно здесь читатель должен обрести своеобразный ключ к рассыпанному далее по всему тексту романа перебранным с Библией, житиями святых, народными песнями и лубочными рассказами о справедливых разбойниках<sup>2</sup>, шиллеро-байроновскими (включающими в себя и пушкинского «Дубровского») характерами и ситуациями, строками о народных слезах и мучениках за правое дело из Некрасова и Надсона. «Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда

---

<sup>1</sup> Аполлон, 1912, № 1, с. 67.

<sup>2</sup> Проницательный Кузмин в своей рецензии прямо называет андреевского героя «новым Чуркиным», отождествляя его с героем популярнейшего в конце XIX — начале XX в. в простонародной среде рассказа «Разбойник Чуркин» лубочного писателя Пастухова.



тоскует душа великого народа, — мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклание.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испыт он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Андреев в те годы не был одинок в своей попытке «прочитать» события недавней революции в «большом контексте» мировой и русской культуры, сопоставить ближний и далекий планы отечественной истории, слить в лирическом пафосе жизнь и литературу. Чуть раньше, в 1909 г., А. Белый пишет повесть «Серебряный голубь», герой которой, утонченный поэт и знаток античности Дарьяльский, под воздействием «вещих зовов» пламенеющей в революционном пожаре России также опрощается и уходит к простым людям (правда, чающим преобразования жизни на путях не вооруженного бунта, а религиозно-мистических исканий). И у Андреева и у Белого герои, очарованные призывом родной земли, гибнут, ибо, как и идея народного мщения, идея сектантского «духовного» противления так же в конце теряет всю свою одухотворенность и оказывается «темной бездной», воплощением самых низменных и кровожадных инстинктов. И для этих двух, весьма различающихся по своим образным и стилевым ориентирам произведений одинаково характерно стремление опереться на предшествующую литературную традицию и фольклор: у Андреева — более сдержанное, а у Белого — подчекнутое и нарочито откровенное в его следовании за стилевой манерой Гоголя и обширным введением сказа и стилизации.

«Сашка Жегулев» — произведение, в котором Андреев, пожалуй, впервые говорит о порочности бессмысленного *анархического бунта*, какими бы высокими целями он ни оправдывался. И показательно, что андреевский роман впервые был напечатан в шестнадцатом альманахе «Шиповника», рядом с пронзительным рассказом А. Ремизова «Петушок», повествующим о невинной и случайной жертве революции и осуждавшим любое насилие, с какой бы стороны оно ни приистекало.

Андреев возлагал на свой роман много надежд творческого и личного характера, в том числе и надежду на примирение с Горьким, разрыв с которым произошел в 1908 г., после публикации андреевского рассказа «Тьма» и осудившей Андреева статьи Горького «Разрушение личности». Еще в декабре 1910 г. Андреев, бу-

лучи в Италии, не посещает каприйского изгнанника. Но 12 августа 1911 г. Андреев прерывает почти трехлетнее молчание и отправляет Горькому письмо, в котором пытается разобраться в причинах взаимного отчуждения и восстановить отношения. Несмотря на холодноватый тон горьковского ответа, Андреев не теряет надежд на примирение и посылает адресату «Сашку Жегулева». Горький не принимает ни основную идею романа, ни выявившиеся в нем стилистические новшества: «Это написано плохо — скучно и пестро (<...>) хотя повесть и насыщена фактами русской действительности, — освещение и толкование фактов совершенно литературное, то есть искусственное, не живое» (ЛН, т. 72, с. 328)<sup>1</sup>.

Примирения не получилось, разрыв между двумя ранее очень близкими друзьями лишь еще резче обозначился после этого эпизода. Те новые черты в творчестве Андреева, о которых говорилось выше, лишь обострили существенные различия во взглядах на жизнь и искусство двух писателей. Характерна реакция Андреева на знаменитое письмо Горького «О карамазовщине», появившееся в газете «Русское слово» 22 сентября 1913 г. и осуждавшее как «политически несвоевременную» инсценировку в Художественном театре романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Андреев прямо не присоединился к многочисленным протестам представителей русской литературы и искусства против этого горьковского выступления, однако косвенно выразил свою позицию однозначно. В заметке «Леонид Андреев contra Горького», появившейся 26 сентября 1913 г. в газете «Утро России», говорилось: «Нам сообщают, что Л. Н. Андреев намерен выступить с защитой постановок Художественным театром Достоевского. По мнению Андреева, такие корифеи русской литературы, как Достоевский или Толстой, не могут быть рассматриваемы в узких пределах современного общественного движения. Их значение глубже и шире, и задачи, решаемые ими, не суть элементарные задачи сегодняшнего дня, но задачи мировые и общечеловеческие. Интерес к стихийным творениям Достоевского, в частности, может свидетельствовать лишь о зрелости общественной мысли, не боящейся соблазна реакционных взглядов Достоевского. Да и самые взгляды эти, по мнению писателя, могут иметь для нас глубокий психологический и исторический интерес».

Начало 1900-х годов становится новым этапом и для драматургии Андреева. В 1912 г. в третьем номере журнала «Маски» было опубликовано его первое «Письмо о театре», в котором писатель вплотную подступает к своей идее «театра панпсихизма» (полностью эта концепция развернута во втором «Письме о театре»,

---

<sup>1</sup> Подробнее о взаимоотношениях Горького и Андреева в этот период см. ЛН, т. 72, с. 40—46.

которое вместе с первым появилось в 22-й книге альманаха «Шиповник» в 1914 г. — см. наст. изд., т. 6).

В этих статьях он пишет о несущественности для современной драмы внешнего действия, предлагая отдать его кинематографу, о необходимости выражения на сцене внутренних, душевных и интеллектуальных движений. «Жизнь стала психологичнее, если так можно выразиться, в ряд с первичными страстями и «вечными» героями драмы: любовью и голодом — встал новый герой — интеллект. Не голод, не любовь, не честолюбие: мысль, человеческая мысль в ее страданиях, радостях и борьбе — вот кто истинный герой современной жизни, а стало быть, вот кому и первенство в драме»<sup>1</sup>.

Андреев отвергает традиционную реалистическую драму, называя ее «старой салопницей», «театром притворства», но одновременно не приемлет и крайностей символистского театра. В своем «театре правды», стремящемся выразить утончившуюся психику современного человека, ориентирующемся одновременно и на Чехова (по утверждению Андреева, родоначальника «театра панпсихизма»), и на Достоевского (который называется в «Письмах...» «новой высочайшей вершиной», на которую поднялся театр), он идет теми же путями синтеза реального и условного, что и в прозе этого периода.

Трагедия «Океан», написанная в конце 1910 г., хотя и является фактически пьесой прошлого этапа, близкой по своей стилистике к «Анатэме» и «Царю Голоду», вобрала в себя ту же волну романтических настроений, которыми пропитаны страницы «Сашки Жегулева». Критики, писавшие об «Океане», проводили параллели между образами андреевской трагедии и творчеством Байрона и Гюго. С романтической традицией связана и внешне «бытовая» драма «Профессор Сторицын» (1912).

Первой попыткой реализовать принципы «театра панпсихизма» сам Андреев считал законченную в начале 1912 г. пьесу «Екатерина Ивановна». Само сюжетное построение ее (она начиналась с того, чем традиционная драма должна заканчиваться, — «с выстрела», а последующее ее воздействие было сосредоточено на внутренних, душевных переживаниях заглавной героини) было явным, полемическим вызовом установкам старого реалистического театра.

Еще больший заряд полемичности заложен в пьесу «Не убий» (1913). В ней Андреев пытается парадоксальным образом соединить быт и метафизику, аксессуарно ощутимо-реального и материализующиеся тени подсознания, традиции Островского и театр гротеска.

---

<sup>1</sup> Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 22. СПб., 1914, с. 232.

Как это хорошо видно из следующего ниже комментария, новаторские поиски Андреева-драматурга наталкивались как на непонимание его критикой, так и на сопротивление со стороны господствовавшей в те годы сценической культуры. Постановки его пьес на сцене, как правило, приводили к упрощению заложенных в них идей и сводились к тем самым театральным традициям, против которых они были нацелены, что, разумеется, не приносило писателю удовлетворения. Постоянная боязнь того, что его замыслы в очередной раз не будут поняты, побуждала Андреева выступать в печати и своих письмах с многочисленными разъяснениями отдельных образов и общей атмосферы своих пьес.

ПОКОЙ  
(Стр. 7)

Впервые — Русское слово, 1911, 29 мая, № 122. Авторская дата — 23 апреля 1911 г.

ПРАВИЛА ДОБРА  
(Стр. 13)

Впервые — Русское слово, 1912, 1, 3 и 4 января, № 1, 2, 3. Авторская дата — 15 августа 1911 г.

Первое сообщение об этом, еще не опубликованном произведении (а также о рассказе «Ипатов») Андреев сделал в интервью, данном В. Базилевичу (В. В. Брусянину).— См.: Русское слово, 1911, № 218, 23 сентября.

В 1989 г. по мотивам рассказа был сделан мультипликационный фильм «Как стать человеком?» (Свердловская киностудия).

Рассказ переведен на болгарский язык (1912).

ИПАТОВ  
(Стр. 36)

Впервые — Русское слово, 1911, 2 октября, № 226 с посвящением: «Кн. А. Сумбатову». Рукопись датирована 16 августа.

Рассказ переведен на чешский язык (1923).

ЦВЕТОК ПОД НОГОЮ  
(Стр. 43)

Впервые — Новая жизнь, 1911, декабрь, № 13. Но еще раньше, в начале ноября того же года, рассказ был опубликован на французском языке (перевод с рукописи Е. Гальперина-Каминского) в парижской газете «Temps», 1911, № 18385, 18386, 18388. В газете «Утро России», (1911, 23 ноября) он был воспроизведен в обратном переводе с этой французской публикации.

Сообщение о содержании рассказа за полгода до его публикации появилось в «Русском слове» (1911, 19 мая, № 114).

Критик А. Измайлов, подчеркивая неожиданность для Андреева «рассказа, похожего на идиллию», сравнивал его со «Сном Обломова» (см.: Новое слово, 1912, № 2, с. 126).

Рассказ вошел в сборник произведений Л. Андреева «Цветок под ногою», который на английском языке вышел в Америке в 1916 г. Рецензент газеты «Нью-Йорк таймс» (1916, 19 ноября) также отмечал, что этот рассказ «по-новому освещает талант» писателя: «Острая и живая память Л. Андреева дает представление о тончайших оттенках детского воображения с юмором, яркостью, трогательно и необычно. Мы употребляем слово «память», имея в виду пронизательность...» (Цит. по кн.: А н д р е е в Л. Повести и рассказы в двух томах, т. 2. М., 1971, с. 421).

#### РАССКАЗ ЗМЕИ О ТОМ, КАК У НЕЕ ПОЯВИЛИСЬ ЯДОВИТЫЕ ЗУБЫ (Стр. 56)

Впервые — Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 14. СПб., 1911.

В конце февраля 1911 г. в письме И. А. Бунину Горький сообщал: «Леонид написал «Рассказ змеи о том, как у нее выросли ядовитые зубы» и забыл наградить змею присущей ей мудростью. Вышла не змея, а кологривская мешчанка. Написано плохо...» (Горьковские чтения, 1958—1959. М., 1961, с. 58—59).

Рассказ переведен на румынский язык (1918).

#### СКАЗОЧКИ НЕ СОВСЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ (Стр. 60)

Впервые опубликованы: «Земля» — Правда, 1913, 1 января, № 1; «Орешек», «Негодяй», «Фальшивый рубль и добрый дядя» — Речь, 1911, 25 декабря, № 354; «Храбрый волк» (с подзаголовком «Сказочка» и авторской датой — 26 августа 1907 г.) — Сборник первый. М.; Книгоиздательство для детей «Утро», 1909.

В 13 томе СС под заголовком «Сказочки не совсем для детей» напечатаны только три сказки: «Орешек», «Негодяй», «Фальшивый рубль и добрый дядя». В том же 1913 г. в цикл «Сказочек...», напечатанный в ПССА, т. 7, автор включил еще две — «Земля» и «Храбрый волк».

Посылая И. А. Белоусову для опубликования рукопись «Храброго волка», Андреев высказал пожелание: «Хорошо бы его иллюстрировать, но дать настоящему художнику» (ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 471, л. 10). В настоящее время рукопись «Храброго волка», иллюстрированная самим Андреевым, хранится в Гуверовском институте (Станфорд, США).

Впервые — в альманахе «Шиповник», кн. 16. СПб., 1911. Альманах поступил в продажу 6 декабря 1911 г. Для закрепления авторских прав Андреева за границей роман «Сашка Жегулев», без указания года, выпущен тогда же в Германии отдельной книгой издательством Verlagshaus Bong & Co на русском языке.

12/25 октября 1911 г. в письме к М. Горькому Андреев писал: «Сейчас я заканчиваю роман «Сашка Жегулев», и как только выйдет, пришлю тебе: эта вещь — я думаю — может способствовать окончательному выяснению наших писательских товарищеских отношений. Возможно, что ты примешь ее, и я буду очень рад; но возможно, что и отвергнешь — тогда и толковать не о чем» (ЛН, т. 72, с. 322). В тот же день первую часть романа Андреев из Ваммельсуу отправил в Петербург в издательство «Просвещение». На пограничной станции Белоостров вызвавшая подозрение рукопись была конфискована, после хлопот знакомых Андреева передана Петербургскому цензурному комитету и уж последним «за свой страх и риск» переправлена издательству «Просвещение» (см. «Обозрение театров», 1911, 14 октября, № 1543; Вечерняя газета, 1911, 16 октября, № 53). 22 октября 1911 г. на торжественном заседании в Москве по случаю столетия Общества любителей российской словесности был прочитан присланный Андреевым на имя председателя общества А. Е. Грузинского отрывок из еще не опубликованного романа (глава о гибели Сашки Жегулева). — См. Московская газета, 1911, 23 октября, № 140).

Подробный рассказ о замысле «Сашки Жегулева» мы находим у М. Б. Городецкого, опубликовавшего свою беседу с Андреевым. «Первый роман... — говорит Л. Н. — я весь целиком ушел в работу, почти не сплю... Пишу с величайшим интересом. Роман меня захватил и содержанием, и формой. Это для меня совершенно новая форма творчества, заманчивая по тому простору, который она дает. В особенности это чувствуется после драмы, в которой все должно быть сжато... Роман предъявляет новые запросы и чрезвычайно заинтересовал меня с чисто технической стороны (...). Что касается содержания, то его можно определить одним словом: «Россия». Мне уже давно хотелось написать о России... Я знал один из любопытнейших моментов русской истории: эпоху развала революции. Это была полоса, когда, с одной стороны, пробуждалась «черноземная Россия», шевельнулся народ, а с другой стороны — интеллигенция пребывала уже в полной деморализации. Расцвели всевозможные «лиги любви», бурной волной про-

<sup>1</sup> Комментарий к «Сашке Жегулеву» написан В. Н. Чуваковым.

несли экспроприации. И тут и там деятельное участие принимали подростки, гимназисты, которые бросали школу и шли в лес, чтобы организовать шайки экспроприаторов. Один из таких гимназистов даже нашумел на всю Россию. Имя его, если помните, — Савицкий. Одно время он был грозой для нескольких южных губерний. Вот этого Савицкого я и взял героем для своего романа. Говорю, «героем», в кавычках. Он в центре романа, но по соображениям чисто технического характера. В Савицком, который у меня назван Сашкой Жегулевым, только отражается вся русская действительность, — и город, и деревня. Сашка Жегулев, впрочем, псевдоним, который он взял в качестве атамана шайки. Настоящее имя его, по роману, — Саша Погодин. Пока Саша Погодин живет в своей семье, учится в гимназии, — роман дает картину «городской» жизни, жизни культурных слоев русского общества. Во второй части романа Саша Погодин превращается в Сашку Жегулева. Он бросает город, гимназию, уходит в лес, поля, луга... Здесь он приходит в общение с «черноземной Россией», с народом! В общем, получается синтез всей России. Это — главная тема моего романа, который будет называться «Сашка Жегулев». В том же интервью Андреев сказал: «...Русская литература искони разрабатывает лишь одну коренную тему. Эта тема — проблема совести» (Подпись: М. Г. — Солнце России, 1911, № 50, октябрь, с. 11).

В день выхода в свет альманаха «Шиповник» с «Сашкой Жегулевым» была напечатана небольшая статья о романе, принадлежащая Федору Фальковскому — литератору, драматургу, лицу весьма близкому к Андрееву, хорошо знающему о его творческих замыслах. «История Сашки Жегулева, — свидетельствует Ф. Фальковский, — история русской революции... Роман написан в реальных тонах сжатого повествования, но весь он символичен. Моментами чувствуется, что даже в выборе лиц автор имел в виду ту или иную крупную типичность, если можно так выразиться, в потрясенной стране. Не случайно взят и персонаж романа; несчастная мать Саши — та часть аристократической интеллигенции, которая радостно встретила реформы; губернатор — выбитая из колеи власть. Женя Эгмонт — молодежь — не боевая — растерявшая свои идеалы. Особенно рельефно взята вышедшая из берегов деревня. В дыму угара аграрных разрушений одиноко стоит на развалинах барских усадеб во весь рост мужичок, и в душе его и зверь, и человек, и ребенок» (Обозрение театров, 1911, 6 декабря, № 1596, с. 12—14). С нарочитой огрубленностью социологических характеристик персонажей романа, составляющих его фон, статья-комментарий Ф. Фальковского проводила ту мысль, что роман Андреева при его внешнем «реализме» описаний отображает реальную действительность не в ее конкретно-бытовом, но — *сущностном* содержании. Читатели «Сашки Жегулева» имели возмож-

ность сопоставить образ героя романа Саша Погодина — Сашки Жегулева с его прототипом. В декабре 1911 г. журнал «Исторический вестник» опубликовал статью А. А. Сигова «Похождение революционного экспроприатора Савицкого». Сама по себе эта статья, излагающая биографию Александра Савицкого (1886—1909), никак не могла повлиять на творческий замысел Андреева: его роман о «Сашке Жегулеве» к тому времени уже был написан. Желание Андреева дать «сущностный» образ А. Савицкого родилось раньше, когда Андреев увидел опубликованную газетами и иллюстрированными журналами фотографию А. Савицкого. Выданный крестьянином деревни Прудок Кабковым, А. Савицкий погиб в ночь на 29 апреля 1909 г. в перестрелке с посланными для его поимки стражниками. Случилось это в селе Красном, в десяти верстах от Гомеля Могилевской губернии (см. «Могилевские губернские ведомости», 1909, № 36, 9 мая). Неизвестный фотограф сделал снимок тела А. Савицкого, которое, якобы «для опознания», было привязано в рост к плетню, с маузером, вложенным в руку. Справа и слева от А. Савицкого были привязаны, тоже в рост, два участника его отряда, застреленные стражниками. Андреева особенно потрясло то, что у мертвого А. Савицкого на фотографии были широко открыты глаза. В газетных сообщениях о гибели «экспроприатора» Андреев прочитал, что среди личных вещей убитого был найден его «Рассказ о семи повешенных», который А. Савицкий носил с собою. Три привязанных к плетню тела ассоциировались с образом распятого Христа и казненных вместе с ним разбойников. По народному поверью, *добрая правда*, сказанная о человеке, умершем мучительной и насильственной смертью, приносит упокой его душе — закрывает ему мертвые глаза. «Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?» — вопрошает Андреев в зачине своего романа. Повествование о Сашке Жегулеве должно было ужасное и страшное «видимое» проецировать в идеальное, духовное, «сущностное». Создавая образ Саша Погодина — Сашки Жегулева, Андреев, пользуясь доступными ему художественными средствами, вдохновлялся высоким искусством иконописи. Проступающие иконописные черты в облике гимназиста Саша Погодина — это еще не разгаданные знаки уготовленной ему страшной и трагической судьбы мученика за веру. В результате «сущностный» герой романа Андреева оказался в разительном противоречии с реальным Александром Ивановичем Савицким — потомственным дворянином, сыном офицера, капитана в отставке, служившего акцизным контролером; мать торговала в казенной винной лавке. Детей в семье было семеро. В 1905 г. А. Савицкий за «буйство» и плохую успеваемость по французскому языку был исключен из Новозыбковского реального училища. Участвовал в митингах и забастовках рабочих в Брянске и Гомеле, основал «якобинский клуб»



в Чернигове и «местную революционно-социалистическую партию» в Вильно. Порвав с родными, возглавил состоявший из крестьян небольшой отряд «лесных братьев», совершавший нападения на помещичьи экономии, чинов полиции, волостные правления. В полицейских объявлениях о розыске А. Савицкого сообщались такие его приметы: «Высокий рост, сутуловатый, без бороды, лицо продолговатое, чистое, голос мягкий, смотрит исподлобья, усы, нет двух верхних зубов». В 1908—1909 гг. — время наибольшей активности А. Савицкого в Черниговской, Орловской и Могилевской губерниях — местные провинциальные газеты («Черниговское слово», «Минское эхо», «Гомельский вестник» и др.) поместили много заметок о его «похождениях», содержание которых, по-видимому, инспирировано им самим. Подписанные псевдонимами, они рисовали образ «благородного разбойника», русского Ринальдо Ринальдони. «Секрет его успехов,— писало о Савицком «Новое время»,— главным образом таится в том, что с простым людом он обращается ласково, помогает и раздает деньги бедным и несомненно пользуется большими симпатиями крестьянского и вообще сельского населения; вот почему после грабежей шайка Савицкого исчезает всегда бесследно» (Новое время, 1908, № 11733, 9 ноября).

Неоценимым источником при изучении творческой работы Андреева над «Сашкой Жегулевым» является хранящаяся ныне в Гуверовском институте (Станфорд, США) авторизованная машинопись романа, содержащая значительную авторскую правку, учтенную в печатном тексте произведения. Это вставки и замены текста, перестановки отдельных глав, ранее не имевших заглавий. Судя по густоте правки, можно заключить, что особенно много забот у Андреева вызывала вторая часть романа. Нужно отметить, что тенденция дать «сущностный» образ А. Савицкого была исходной, и в отвергнутых автором по разным причинам страницах романа отбор конкретного материала также всецело подчинен этой тенденции.

В ранней редакции «Сашки Жегулева» фамилия Колесникова была — Сазонов, отец Саши Погодина был полковником. Работая над рукописью, Андреев в первой части романа из главы 6 «Трудное время» исключает упоминание, что Саша Погодин читал вслух «Песню о Соколе» М. Горького. По-видимому, по цензурным соображениям во второй части, в 6-й главе «Жегулев», вычеркнуты слова песни «Вихри враждебные веют над нами», которую поет Сазонов. В публикациях романа, во второй части, в главе 2 «Накануне», отточием заменены слова Федота «В дубье их надо...» (см. наст. т., с. 152).

С редким единодушием осудили роман Андреева читатели, мнением которых он особенно дорожил. Так, А. Блок, которому Андреев прислал 6 декабря 1911 г. свой роман с дарственной надписью,

записал 18 декабря в дневнике: «Сегодня дочитал наконец этот скучный, анархический, не без самодовольства, хоть и с добрыми намереньями, плохим из рук вон языком написанный, роман Андреева. Только места об измене как-то правдивее, но все — такая неприятная неправда...» (Блок, т. 7, с. 103). Еще более резким и нелюбимым был отзыв М. Горького о романе в письме к Андрееву от марта 1912 г.: «Сашку» — читал. Это написано плохо — скучно и пестро. Удалась, на мой взгляд, только сестра Сашки, одну ее ты написал, не мудрствуя лукаво, и вышло славно. А сам Сашка — деревянная болванка, знакомая издавна; это все тот же изжеванный русской литературой «агнец» — то есть баран, — приносящий себя в жертву за «грехи мира», возлагающий на себя бремя неудобьносимое и охающий разногласно, но — всегда одинаково и в 80-х, и 10-х годах, — под игом своим, якобы добровольно взятым на рамена (...) В общем, ты стал слишком литературен — в том смысле, что вдохновения твои холодны и надуманны (...) , ибо хотя эта повесть и насыщена фактами русской действительности, — освещение и толкование фактов совершенно литературное, то есть искусственное, не живое» (ЛН, т. 72, с. 327—328). Впоследствии М. Горький отошел от такого безусловно негативного отношения к роману Андреева. В предисловии к американскому изданию «Сашки Жегулева» (1925) М. Горький отметил: «Роман написан с пафосом, быть может, несколько излишним, он перегружен «психологией», но совершенно точно воспроизводит фигуру одного из тех русских мечтателей, которые веруют, что зло жизни возможно победить тою же силой зла» (Т а м же, с. 404).

Если роман «Сашка Жегулев» в отличие от других произведений Андреева и не развел рецензентов по враждующим, полемизирующим друг с другом лагерям, то спектр отзывов был достаточно широк, и амплитуда от принятия романа до полного отрицания за ним каких-либо достоинств проявилась достаточно четко. «Сашка Жегулев» нравится Л. Войтоловскому. Он пишет: «Тайной грустью обвеяны все его страницы; скорбным желанием жизни, которой нет, но которая должна быть и уже вьется над нами чьей-то несбыточной героической грезой. Вечные страдания жизни здесь прикрыты неожиданными романтическими цветами задушевной поэзии (...) Но героем, как и всюду у Л. Андреева, здесь является рок. Рок наметил мальчика Сашу, избрал его средством своих предначертаний и сделал печальником страждущих и угнетенных (...) Роман захватывает своим общественным содержанием, где плещут и пенятся самые бурные волны современности, и уверенным способом изложения; и несмотря на вычурные обороты и рискованные афоризмы, которыми пересыпаны многие страницы, роман читается с неослабным вниманием до последней страницы. Этому

много способствуют прекрасные бытовые фигуры и отдельные интересные мысли, рассказанные языком красивым и выпуклым, как отшлифованный жемчуг. Чрезвычайно сильно и образно передано Андреевым в этом романе чувство фатальной неизбежности <...> С нежной и волнующей простотой изображает Андреев всю гамму женской любви: любовь невесты, сестры и матери; и эти три образа заставляют биться сердце с невыразимой печалью при чтении романа и потом остаются в памяти как родные». Неудачей Андреева критик считает в романе образ Колесникова: «Это Анатэма, разбавленный не то революционной мистикой Мережковского, не то старинным базаровским нигилизмом. Помесь героя с юродивым» (Киевская мысль, 1911, 11 декабря, № 342).

Писательница В. И. Дмитриева 22 декабря 1911 г. в письме публицисту И. П. Белоконскому спрашивала: «Читали ли «Сашку Жегулева»? Есть места очень красивые и сильные, но в общем что-то не вытанцовалось: уж очень накрутил он какого-то мистицизма и облек и своего Сашку, и его демона-искусителя Колесникова в мишуру и блески старого романтизма. Так что местами рассказ сбивается на заурядный фельетон. А жаль: тема-то огромная, и могло бы выйти нечто грандиозное». (ЦГАЛИ, ф. 86, оп. 2, ед. хр. 17, л. 11. Сообщено О. Г. Ласунским.)

В рецензии В. Голикова на роман «Сашка Жегулев» читаем: «С условно-красивых, но пугающе-холодных, жутко-загадочных высот «Анатэмы» и «Океана» Андреев спустился к волнующей красоте самой жизни, всем близкой и понятной, от мертвой правды — к живой,— и стал снова тем Андреевым, который привлекает сердце читателей даже и тогда, когда не удовлетворяет их разума. Новое его произведение, «Сашка Жегулев», должно быть поставлено ему в плюс <...> Жизненная и, по обыкновению Андреева, остро-интересная тема положена в основу романа». Сопоставляя «Сашку Жегулева» с рассказом Андреева «Тьма», В. Голиков продолжает: «С «Тьмою» «Сашка Жегулев» наиболее соприкасается общей проблемой душевной чистоты анархиста. Душевная чистота — вот базис, на котором укреплено право на анархическое дерзание <...> Интересно сопоставить «Жегулева» с «Преступлением и наказанием». Погодин — эволюция Раскольникова. И там и тут — преступление не перед человеческим законом (к нему равнодушны и Андреев и Достоевский), а перед законом Божеским — грех пролитой крови. Но Раскольников основой для своего преступления поставил самодержавие своей воли; отсюда — корысть, личная заинтересованность и подлинный грех. У Погодина в основе его стремлений — чистота воли, его воля бескорыстна, а в его деяниях — грех мнимый <...> Раскольников самовластно задумал и выполнил свое убийство, Погодин связал свою волю с душою народа. Не он сам, а разгневанный народ совершил его,

Погодина, руками убийство телеграфиста, распутного монаха и, может быть, другие. Здесь даже свою чистоту Саша Погодин принес в жертву народу» (Неделя Вестника знания, 1911, 31 декабря, № 52, с. 4—6).

Н. Геккер в обзоре «Литература в 1911 году» пишет о романе Андреева: «...апофеоз материнского горя, которое есть горе всей России, потерявшей многих своих молодых сынов, быть может, самых талантливых и, во всяком случае, наиболее вдохновенных любовью к своей родине, является в наше время сам по себе большой заслугой писателя, не остающегося глухим к вопиющим призывам времени. Но кроме этого, замечательна попытка художника представить смену настроений интеллигента, болеющего самыми тяжкими коллизиями своей совести, несущего свою жизнь на искупление наследственных и общественных грехов, в которых он не повинен, и вынесенного роковым стечением обстоятельств на арену борьбы, кончающейся разбоем, душегубством и каким-то ушкуйным сжиганием чужой и своей жизни. Представленная тут история этой необычайной интеллигентской метаморфозы (...) дает новые образцы оригинального творчества Л. Андреева, приближающего его к классическим памятникам реального художества, которым гордится русская литература» (Одесские новости, 1912, 1 января, № 8610).

Интересные мысли по поводу героя романа высказывает Н. Розанов: «Саша чувствует в себе наследственность отцовских черт. (...) И от мысли о наследственности он идет прямым путем к выводу, что именно это прошлое обрекает его на служение народу (...) Саша решает отдать себя народу. Как? Да только так, как он сам хочет: всё для народа и всё через народ. А в это время были аграрные беспорядки. Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, забирали себе хлеб, убивали управляющих и помещиков. Этим путем и пошел Саша Погодин, принявший себе имя Сашки Жегулева (...) Жегулев свою «правду» взял из глубин народного коллектива (...) Жегулев не хотел голой земли, а только лишь очищения ее от людской неправды!» (Терек, 1912, 6 марта, № 4259). Другой рецензент отмечает, что для Андреева-художника «проблема революции (...) — не программно-тактическая проблема общественности, внешних форм жизни, а прежде всего этико-психологическая проблема личности, духовных ценностей, полагаемых последней». Указав, что в романе социальная проблема опирается «на психологический анализ индивидуальных переживаний», рецензент пишет, что Саша Погодин своей жизнью искупает грех отца-генерала (Вадимов В.— Смоленский вестник, 1912, 27 января, № 22).

По мнению критика «Русского богатства» А. Е. Редько, «Сашка Жегулев» — «трудно делимый на составные части

сплав реалистического, мистики, романтизма и символизма» (Русское богатство, 1912, № 1, отд. 2, с. 144). По мнению критика Н. Кадмина, Андреев в «Сашке Жегулеве» — «дал именно то смешение реализма с символичкой, которое невольно режет глаз как какая-то художественная нестройность, как нарушение основных законов творчества» (Новая жизнь, 1912, № 1, с. 200).

«Знания жизни, изучения ее не ищите у Андреева, — декларирует К. И. Арабажин. — <...> А между тем Андреев не лишен общественной чуткости <...> Россия — эпоха развала, эпоха грабежей и убийств, с одной стороны, и скоропалительных казней — с другой, представляет собой интересные материалы для изучения и изображения. Но изучать — это не специальность Андреева, — продолжает развивать свою мысль К. И. Арабажин. — Он (Андреев. — В. Ч.) довольствуется двумя-тремя газетными заметками о Савицком, его смерти и разбоях, о лесных братьях, и — и на этом чуть-чуть намеченном социальном фоне строит психологическое здание <...> Андреев не дает нам картины тех общественных условий, которые могли создать Сашку Жегулеву, как искупителя грехов мира» (Южный край, 1912, утр. вып. 6 января, № 10 536). Пожалуй, еще более категоричен в своих суждениях В. Львов-Рогачевский: «В романе Леонида Андреева Савицкий явился не настоящим Савицким, а Савицким его *мечтаний*, и не земным, а абстрактным существом <...> Без знания жизни и не считаясь с жизнью, художник говорит о разбойниках, пишет по поводу их переживаний, превращает живое — в абстрактное, явное — в театральное. И получается вместо лесной глуши театральная декорация, вместо лесной жизни разбойников нарядная опера с солистами, хором, оркестром, даже балетом; и получается вместо Савицкого, с детства *игравшего* в разбойники, Сашка Жегулев, не сын мелкого чиновника и сиделицы винной лавки, а сын мучителя-генерала и мученицы-гречанки» (Современный мир, 1912, № 1, с. 270, 275). А. Крайний (Зинаида Гиппиус) заключает: «Надо предположить, что у автора были «мистические» задачи; мистикой все и должно объясняться <...> Я готов верить, что душа автора «Сашки» чувствует и глубину, и мистику; но, как писатель, Л. Андреев тут абсолютно нем; хуже — злоязычен <...> Как далек Андреев от всякого проникновения в психологию русской души, *далек от народа* в его мистике, а о ней-то он и хочет писать» (Русская мысль, 1912, кн. 1, отд. 3, с. 29, 30).

А. Измайлов посвятил «Сашке Жегулеву» две рецензии. В одной, озаглавленной «Окровавленный нимб», он писал: «...Андреев вовсе не знал Савицкого, но Савицкий в историческом облике своем есть оправдание, подтверждение, опора той невероятной психологии, которая разработана в романе». Как и другие критики, А. Измайлов не удовлетворен образом Колесникова, вместе с тем он отмечает большое значение этого персонажа в романе Андре-

ева: «...великолепен замысел Колесникова — человека, который обхаживает другого, забирая в свой плен, гипнотизируя идеей-фантомом, завлекая в дьявольский водоворот своей больной мысли. Эта задача в пору Достоевскому» (Русское слово, 1911, 10 декабря, № 284). В другом отзыве о «Сашке Жегулеве» А. Измайлов упрекает автора за психологическую однотонность романа: «Он почти не знает полутонов. Он откровенно играет на простых и легоньких контрастах ангельской чистоты Погодина и ужаса его призрачной идеи...» (Биржевые ведомости, 1911, веч. вып. 6 декабря, № 12 671). «...Саша не реальный человек, а лишь форма для Андреева (...) Он индивид в непрерывном состоянии геройства... Он не личность... Он не имеет личного, не может иметь его», — пишет Константин Цагарели в брошюре «Сашка Жегулев» Л. Андреева. Опыт философско-психологического разбора» (Харьков, 1912, с. 7, 11). Ю. Соболев согласен, что «главное внутреннее (...) содержание» произведения Андреева «вовсе не в биографичности», не в сходстве с реально действовавшими в жизни «лесными братьями» и Савицким. Критик разочарован второй частью романа: «Все так смутно, так сложно, так недоговорено (...) И главное, что составляет впечатление неудачи, — это в невозможности перебросить прочный мостик от Саши Погодина к Сашке Жегулеву...» (Путь, 1912, № 3, с. 77)».

Что же касается реакционной, охранительной критики, то отношение ее к роману Андреева было однозначным. В. Буренин (под псевдонимом гр. А. Жасминов) откликнулся на выход романа пародией «Стенька Кистень, или Гимназист-разбойник. Лубочно-красный роман в 2 ч.» (Новое время, 1912, 27 января, 3 и 7 февраля, № 12 887, 12 894, 12 907). «Возьмите роман Л. Андреева «Сашка Жегулев», — доносила газета «Нижегородский край», (1913, 4 января, № 38). — Разве это не проповедь разбоя? Разве не создан он с преступной целью познакомить общество с психологией героев ножа?» 27 декабря 1911 г. тамбовский губернатор Н. Муратов направил письмо на имя товарища министра внутренних дел, в котором обращал внимание на то, что в романе «Сашка Жегулев» Андреев — «поет хвалебный гимн убийствам, грабежам на революционной подкладке, поэтизирует личность реалиста Савицкого». Губернатор просил «в интересах ограждения молодежи от развращающих ее произведений» петербургские власти принять надлежащие меры. 19 февраля 1912 г. Главное управление по делам печати уведомило тамбовского губернатора: «С точки зрения педагогической, роман Андреева безусловно явление нежелательное, и можно только сожалеть, если это сочинение будет распространено среди молодых людей (...) Однако о восхвалении преступника и преступлений, или о возбуждении к ниспровержению существующего порядка, или о пропаганде вражды одного класса против

другого — в данном случае речи нет. Да и разбойнические выступления Жегулева производятся не на революционной почве и не во имя идей революционных, а суть просто результат воздействия на Жегулева бывшего террориста Колесникова, разочаровавшегося в революции и ищущего новых способов для удовлетворения своей жажды совершать действия и вести жизнь, соответствующую его нервному возбуждению и романтическому складу ума» (ЦГАОР, ф. 776, оп. 12, ед. хр. 96/95, л. 2 и об., 6 и 6 об.).

Роман Андреева «Сашка Жегулев» переводился на датский (1918 г.), чешский (1925 г.), английский (1925 г.) языки. С 1919 по 1955 г. он выдержал пять изданий на испанском языке.

Стр. 78. ...*история о патриархе Аврааме*...— Согласно Ветхому завету, Авраам был родоначальник еврейского народа (XX — XIX вв. до н. э.).

Стр. 81. ...*сажалка*...— здесь в значении: запруда, водоем для домашней водоплавающей птицы.

Стр. 83. ...*известие о гибели «Варяга»*...— Русский крейсер. В первый день русско-японской войны 27 января 1904 г. у Чемульпо (Корея) вступил в неравный бой с японской эскадрой, получил тяжелые повреждения и был затоплен командой, чтобы избежать плена и сдачи крейсера неприятелю.

Стр. 85. *Мильтиад* (ок. 550—439 г. до н. э.) — афинский полководец, одержал блестящую победу над персами при Марафоне.

*Байрон Джордж Гордон, лорд* (1788—1824) — английский поэт. В 1823 г. отправился в Грецию, чтобы принять личное участие в освободительной борьбе греческих патриотов против турецкого ига. Получил командование одним из отрядов, но вскоре умер от болезни. Смерть Байрона была отмечена в Греции национальным трауром.

Стр. 89. ...*до убийства министра*...— Имеется в виду Николай Павлович Боголепов (1847—1901) — с 1898 г. министр народного просвещения, реакционер, ярый монархист, сторонник крайних мер против студенческих волнений. 14 февраля 1901 г. был смертельно ранен студентом П. В. Карповичем.

«*Видение Валтасара*»...— В «Сашке Жегулеве» цитируются стихотворения Дж. Байрона из цикла «Еврейские мелодии» (1814—1815 гг.), написанные на библейские сюжеты. В первой части романа заголовком для 16-й главы «*Душа моя мрачна*» стало начало стихотворения «Еврейские мелодии (Из Байрона)» М. Ю. Лермонтова.

Стр. 109. ...*иди в монастырь, как Офелия*.— «Ступай в монастырь» — реплика Гамлета, обращенная к Офелии, из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт 3, сцена 1).

Стр. 110. ...*вся в слезах, как Ниобея*...— Из монолога Гамлета (акт 1, сцена 2).

*Кассандра* — в греческой мифологии дочь царя Трои Приама, получившая от Аполлона дар пророчества.

Стр. 180. «*На сопках Маньчжурии*». — Полное название этого популярного вальса: «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Музыка военного капельмейстера И. А. Шатрова. Первым изданием вышел в 1905 г. во Владивостоке, затем в Москве у О. Ф. Кнауца.

Стр. 217. «*Привет тебе, приют невинный*»... — Ария Фауста из оперы Ш. Гуно «*Фауст*» — репертуар Л. В. Собинова (*знаменитый тенор*).

## ОН (Стр. 259)

Впервые — Современный мир, 1913, № 1 и 3. Печатается по СС, т. 13. Рукопись в ИРЛИ.

Критика очень неровно оценивала это произведение. Например, А. Измайлов писал о сюжетной несостоятельности «оригинально задуманного рассказа», так как напряжение, нагнетенное по ходу действия, «разбивается в ту минуту, когда единственным объяснением и подозрений, и тайн, и призрака является одна фраза — «это был бред маньяка». Критик иронически характеризовал рассказ как «новую струю в творчестве Андреева», «переход от реальнейшего письма в область мистического рассказа», и делал вывод, что он интересен лишь тем, кто «хотел бы проанализировать тонкость письма автора, его знание психической болезни» (Измайлов в А. Поэзия больного ума и проза здорового человека («Он» Леонида Андреева). — Новое слово, 1913, № 6, с. 127—128).

С. Борисов, напротив, воспринял рассказ как органично вписывающийся в идейный контекст прежнего Андреева. Удачной деталью, высвечивающей метафизический смысл этого произведения, он считает слово-лейтмотив «танцирен», «жаждущее передать последний ужас земной ограниченности, заглушаемой веселым приглашением к танцу». За этим многократно повторяющимся заклинанием-призывом, по мнению критика, стоит «вся жизнь с ее тихим тоскованием по единому существу «смыслу», с ее случайным бунтом против всех временных гнетущих утверждений (...) вся жизнь исчезает в провале последнего отчаянного какого-то призыва и к смыслу, и к бунту, и к грядущему дню...» (Борисов в С. «Он» и мы. — Новая жизнь, 1913 (№ 3), декабрь, с. 162).

## ВОЗВРАТ (Стр. 295)

Впервые — Утро России, 1913, 25 декабря, № 296. Печатается по СС, т. 17.

О происхождении рассказа свидетельствует письмо Андреева



к знакомому литератору и художнику С. С. Голоушеву от 8 декабря 1913 г.: «Написал рассказ на тему твоего сна, назвал «Возврат», даю Аркашке Счастливецю (дружеское прозвище А. П. Алексеевского, редактора газеты «Утро России». — М. К.) для Рождества; мне нравится» (*Реквием*, с. 94).

ПОЛЕТ  
(Стр. 301)

Впервые (под заглавием «Надсмертное») — Современный мир, 1914, № 1. Печатается по СС, т. 16.

Прототипом Пушкарева является знакомый писателя, один из первых русских летчиков Лев Макарович Мациевич (1877—1910), который разбился в Крыму 25 сентября 1910 г., пытаясь установить рекорд высоты.

Сам Андреев считал этот рассказ одним из самых показательных для понимания его творчества. Так, в письме к С. С. Голоушеву от 15 декабря 1916 г. он писал: «...Ко мне есть ворота, откуда удобнее совершить обозрение. Это мой рассказ «Полет» или «Надсмертное» (...), в рассказе оном слова утвердительные и предвещательные: *на землю я больше не вернусь!*» (*Реквием*, с. 133).

Рассказ переведен на румынский язык (1914).

ТРИ НОЧИ, ВОСКРЕСЕНИЕ ВСЕХ МЕРТВЫХ  
(Стр. 317, 322)

Оба рассказа впервые — Заветы, 1914. № 1. Печатаются по СС, т. 16.

Второй рассказ тематически близок к лирической новелле 1900 г. «Прекрасна жизнь для воскресших» (см. наст. изд., т. 1, с. 192). Современниками рассказ был воспринят как знамение новых настроений в творчестве Андреева, появление в нем «радостного и светлого тона» (см.: Терек, 1913, № 4759, 16 ноября).

Стр. 326. *Панева* — старинная шерстяная юбка особого покроя, одежда замужних женщин на юге России и в Белоруссии.

*Рядина* — нарядная праздничная ткань.

ОКЕАН  
(Стр. 331)

Впервые отдельным изданием пьеса вышла в марте 1911 г. с рисунками Б. Анисфельда (СПб., Прометей, б. г.). Одновременно издательством И. П. Ладыжникова она была издана в Берлине.

Наброски к «Океану», по воспоминаниям Горького, были сделаны Андреевым еще в декабре 1906 — весной 1907 г. на Капри (ЛН, т. 72, с. 390). В сентябре 1910 г. писатель высылает законченную пьесу Вл. И. Немировичу-Данченко в надежде на постановку ее в МХТ, однако в октябре получает отказ, который был им воспринят крайне болезненно (см.: Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. Том второй. 1910—1943. М., Искусство, 1979, с. 562).

25 сентября 1910 г. на благотворительном вечере в издательстве «Шиповник», где присутствовали С. А. Венгеров, И. Е. Репин, И. А. Бунин, А. М. Ремизов и др., «Океан» был прочитан актером Александринского театра Н. Н. Ходотовым. После чтения выступил Л. Андреев, попытавшийся уточнить свое понимание пьесы: «То, что я хотел вложить в эту пьесу, ясно из тех лирических ремарок, о которых здесь говорилось мимоходом. Океан и берег, человек и стихия. Там вечная правда, правда неба и звезд, правда Океана, стихии, а на берегу человек с его маленькой правдой, с его жалостью, нравственностью, законами, и вечная борьба (...) Когда-нибудь человек победит космос, может быть, он сдвинет звезды с их мест, но пока, какие страшные сны снятся на этой земле» (Наш журнал, 1910, № 5, с. 28—29).

Присутствовавший на чтении М. Морозов отмечал в своем отзыве романтико-индивидуалистическую направленность пьесы: «Леонид Андреев весь в страстных поисках гармонии, душа его пламенно жаждет примирения, в трагическом конфликте его тянет к какой-то новой, еще неосознанной жизни, в которой властелин не океан, не хаос, а человек; жалость к срединным людям отнял от себя тут автор впервые. Не срединный человек и его судьба занимает автора теперь, а человек-наблюдатель, гордый властелин берега и моря... Мотив «Океана» старый; это все то же прославление первозданной хищной воли к жизни, о которой мы слышали в «Царе-Голоде» (...) С кем Леонид Андреев — с ищущим Хаггартом, у которого сердце ранено, или с Мариетой? Он сам не знает, с кем он... Пред нами трагедия поэта, бессильного оторваться от земного плена (...) В «Океане» раскрыт крах нищеанского сверхчеловека, загубленного человеческой жалостью. «Океан» — красивая симфония, отражающая разочарованность и в уюте и в борьбе. Это голос безвремения, плач пораженных, потерявших цель в стихийной борьбе и отвративших свое лицо от грезящего лишь о сытости берега» (Морозов М. Среди книг и журналов. «Океан» Леонида Андреева. — Всеобщий ежемесячник, 1911, апрель, № 4, с. 142—145).

Для В. Г. Богораза (Тана), также присутствовавшего на чтении «Океана», новая трагедия явилась еще одним вариантом той «единой пьесы», которую пишет Андреев «в разных формах; в новых изданиях это все та же «Жизнь Человека», Некто в сером, и Некто

у врат, и Некто у синего моря.— И вместо итога то же корыто, разбитое судьбою,— было ладьею и стало заплатанным гробом» (Тан В. «Океан» Леонида Андреева.— Новая жизнь, 1910, № 1, декабрь, с. 142). «Океан» становится поводом для критика, чтобы назвать Андреева выразителем целого поколения: «Из всех беллетристов он один отражает наши безумные мысли и зловещую логику, наши порывы и страсти, слепые и яркие, тяжелые и острые, злой туман, которым мы дышим, красный бред, которым мы страдаем (...) Кроме Андреева будущий историк литературы не найдет в нашей литературе ничего или почти ничего (...) Андреева можно ругать или хвалить, говорить об афишах и плакатах или об обезьяньих лапах, но без него мы были бы совсем нищие» (там же, с. 145, 146). Подчеркнув «байронический» колорит главного героя, Хаггарта, и связь его с образом Анатэмы, В. Тан говорит о метафизической коллизии новой андреевской пьесы — между «жизнью человека и жизнью человечества», об обращении в «Океане» к двум созидающим мир сущностям — «природе и человечеству»: «...здесь Океан — это участник трагедии, он постоянно на сцене или за сценой» (там же, с. 154).

Пьеса вызвала противоречивые критические толки. Одни рецензенты писали о том, что «...художественные достоинства ее громадны. Широкими, уверенными и мудро-экономичными штрихами набросаны характеры действующих лиц. Несмотря на отрешенность действия от времени и пространства, все герои драмы говорят вполне индивидуальным языком...» (Ежемесячный иллюстрированный всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни, 1911, № 5, апрель, с. 211). Другие утверждали, что «в «Океане» Андреев повторяет себя. В этой трагедии нет ни одной мысли, ни одного образа, которых нельзя было бы отыскать в прежних его произведениях. Все эти Хаггарты, Хорре, Мариеты, аббаты, рыбаки и пираты — это окончательно обескровленные призраки прежних созданий Андреева» (В. Л. Кр. (Кранихфельд). Леонид Андреев. «Океан». СПб., изд. «Прометей», 1911, 142 с.— Современный мир, 1911, № 4, с. 353).

В отзыве Евг. Маевского отразилось присущее многим рецензентам нежелание понять особую природу андреевской драматургии: «Горе Л. Андреева в том, что он хочет быть больше того, чем он есть, силится дать больше того, что он может дать, стремится перешагнуть рамки, положенные природой его таланту. Его космические задания противоречат его художественным силам. Этим, и только этим объясняется его уклон по линии наименьшего сопротивления: от живых образов в сторону мертвого схематического символизма» (Неделя Вестника знания, 1911, № 15, 17 апреля, с. 8).

Рецензент Л. Козловский вплотную подошел к пониманию «Океана» как романтической «пьесы для чтения», особенно отме-

чая в нем необычайно разросшиеся «ремарки» — «описательные страницы»: «Страницы эти посвящены Океану, и от них веет поэзией и правдой, которых нет в самой трагедии Л. Андреева, произведении надуманном, холодном, не заражающем читателя настроением, которым заражал Андреев в своих прежних произведениях» (Жизнь для всех, 1911, № 3—4, с. 459).

В отрицательной в целом рецензии Л. П. Гроссмана интересно развернутое сопоставление «Океана» с романом В. Гюго «Труженики моря» (Одесские новости, 1911, 14 апреля).

Публикация самого «Океана» и отрывка из него «Молитва аббата» (в харьковской газете «Утро», 1911, № 1284, 6 февраля) вызвали у цензуры обвинения автора в кошунстве над христианством. Несмотря на попытки Андреева отвести эти обвинения, «Океан» был запрещен к представлению на сцене (см.: ЛН, т. 72, с. 336). Лишь после революции, 30 ноября 1918 г., пьеса была поставлена в Москве, в Театре драмы и комедии режиссерами В. К. Татищевым, С. Д. Орловским и Ю. В. Соболевым.

«Океан» переведен в 1911 г. на латышский и немецкий языки, в 1921 г. — на испанский.

Стр. 349. ...*Взять лиселя... ложись на бейдевинд.* — Лисель (мор.) — прямоугольный боковой парус. Бейдевинд (мор.) — курс парусного судна при встречно-боковом ветре.

Стр. 353. *Кабельтов* — морская мера длины, равная 185,2 м.

Стр. 395. *Фалы* (мор.) — канаты для подъема паруса. *Кливер* (мор.) — косой треугольный парус.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

(Стр. 409)

Впервые — Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 19. СПб., 1913. Одновременно пьеса вышла в издательстве И. П. Ладыжникова в Берлине. В том же году вошла в ПССА. Печатается по СС, т. 15, с поправками по ПССА.

3 марта 1912 г. Андреев посылает законченную пьесу Вл. И. Немировичу-Данченко. Немировичу-Данченко драма понравилась, и он, несмотря на значительное сопротивление большинства мхатовцев, вначале ее не принявших, настоял на постановке ее в Художественном театре. В письме к Е. Н. Немирович-Данченко от 17 августа 1912 г., на следующий день после чтения пьесы в МХТ, он писал: «Пьеса будет волновать, беспокоить, раздражать, злить, возмущать (...) Тут до такой степени обнажаются язвы нашей жизни, и так беспощадно, без малейшего стремления смягчить, заглаживать, что дай бог только, чтоб публика не выцарапала друг другу глаза. Колючая пьеса...» (Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма, т. 2. 1910—1943. М., Искусство, 1979, с. 95). Режиссер предвидит, что ее постановка вызовет такой же общест-

венный резонанс, какой вызвала в свое время публикация андреевского рассказа «Бездна». Он считает, что главное в постановке — это чтобы удалась роль заглавной героини — «с подстреленным ангелом чистоты в душе! Ангела, правда, подстрелили и разбудили такие темные силы, которые и привели к «красному кошмару». Это поход против отношения мужчин к женщинам. Еще более это философия М и Ж (то есть мужчины и женщины), современных» (там же, с. 95—96).

Премьере «Екатерины Ивановны» в МХТ 17 декабря 1912 г. предшествует большая переписка между Немировичем-Данченко и Андреевым, в которой автор уточняет свое понимание образов пьесы. Так, в письме от 12 апреля 1912 г. Андреев, подчеркивая жизненность заглавной героини, пишет о ее прототипе, женщине, которую он «знал и видел близко»: «Это была... танцующая женщина, подчиненная какому-то внутреннему ритму (...) Переходя к драматической Катерине Ивановне, выскажу предположение, что самое начало драмы заключается именно в этом ее свойстве: в том, что она пришла танцевать в ту жизнь, в которой никто не танцует, зато все толкаются и действуют локтями. Оттого и сломалась она так на вид быстро, легко и как-то странно. И несчастье Екатерины Ивановны в том, что она даже не упала сразу, так легче было бы и подняться, а потеряла ритм, сошла с ноги, закружилась и кружится все быстрее» (Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому. — Вопросы театра. М., Искусство, 1966, с. 286, 287).

Мхатовская постановка «Екатерины Ивановны» в сезон 1912/1913 г. была встречена в основном недоброжелательными откликами критиков и непониманием публики. И хотя извещенный о неудаче Андреев телеграфировал Немировичу-Данченко, что это не провал пьесы, а «провал мещанской публики первого абонемент», режиссер в конце концов настоял на некоторых изменениях, особенно в последнем действии (переработанный, «мхатовский» вариант вошел в ПССА, т. 8). Но в 1915 г., при подготовке нового собрания сочинений (СС, т. 15), от этих поправок Андреев отказался.

Вскоре пьеса пошла в ряде провинциальных театров (Курск, Самара, Киев и др.), однако только постановка Н. Н. Синельникова в Харькове оказалась удачной благодаря блестящему исполнению заглавной роли актрисой Е. А. Полевицкой. Позже пьеса шла в Петроградском театре Незлобина (1917) и бывшем Александринском театре (1920).

В 1915 г. по сценарию Л. Андреева режиссером А. Н. Уральским был поставлен фильм «Екатерина Ивановна» («Жена-вакханка»).

Главной темой критических отзывов на постановки «Екатерины Ивановны» была оценка нравственного облика андреевской героини и художественных достоинств пьесы. Так, В. Голиков в

статье «Между Саломеей и кокоткой» подчеркивает связь между неясностью авторской позиции, композиционным несовершенством пьесы и неопределенностью морального статуса героини, которая «носится смутным призраком между Саломеей и кокоткой, между трагедией и пошлостью (...) драматург как будто сам не знает, какими глазами глядеть на свою героиню (...) в ярких, но бессвязных картинах растерял все концы и начала своей задачи, выкликнул несколько решений и умолк, смущенный, притворяясь, впрочем, что задача решена» (Вестник знания, 1913, № 4, с. 417). А. Койранский также считает, что «значительная и интересная задача», которую поставил автор в этой пьесе, «разрешена Андреевым неверно, и это произошло (...) оттого, что желание написать драму непременно оригинальную, непременно не такую, как все предыдущие, взяло у Андреева верх над (...) внутренней необходимостью — творить художественную правду» (Утро России, 1912, № 6666).

Для общего тона критики, упрекавшей героиню в безнравственности, характерна оценка пьесы Л. Гуревич, которая, отмечая умную и тонкую игру мхатовских актеров, говорит о все время нарастающем у зрителя чувстве фальши и недоверия, достигающем апогея в третьем акте, в сцене «появления Екатерины Ивановны, словно вдруг донага раскрывшейся перед нами и источающей из себя похоть, одну только безличную и, можно сказать, бесстрастную похоть» (Русская молва, 1913, 18 апреля, № 125). Французский театральный деятель Мишель Декин в своем интервью оценивает пьесу как «плохой кинематограф» и еще более резко осуждает ее: «...четыре акта мы присутствуем при неистовом разврате» (Русское слово, 1913, 9 августа, с. 5).

Один из немногих сторонников пьесы С. Глаголь (С. С. Голоушев), подчеркивая прекрасную постановку ее в Художественном театре, внутренне солидарен с телеграммой Андреева о «провале мещанской публики первого абонементы». То, что «Екатерина Ивановна» возбудила «прямо какую-то ненависть к себе в известной части публики», — свидетельство актуальности основной коллизии драмы и жизненности ее персонажей, подобная реакция зрителей — «лучше всякой похвалы». По его мнению, автор «задел публику за самое больное место» и поэтому она «не могла не оскорбиться» (Маски, 1913, № 3, с. 48, 52).

Большой общественный резонанс, вызванный появлением пьесы на столичной и провинциальной сцене, выразился не только в откликах прессы, но в своеобразных «судах» над андреевской героиней, которые устраивали участники различных литературно-художественных кружков. Так, например, «по приговору» Харьковского литературно-художественного кружка Екатерина Ивановна была признана сумасшедшей (Утро, 1913, 16 февраля, № 1881). По воспоминаниям А. Беклемишевой о Л. Андрееве,

«суды публики над героями его пьес (Анфиса, Екатерина Ивановна) и смешили и радовали его, как доказательства того, что читателей и зрителей волнуют затрагиваемые им темы» (*Реквием*, с. 242).

Известны переводы «Екатерины Ивановны» на немецкий (1914) английский (1923), испанский (1930) языки.

Стр. 422. ...*голова кружится и мальчики кровавые в глазах...*— из монолога Бориса Годунова в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

Стр. 427. *О чем жалеть, о чем грустить?..*— Измененная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Не рассуждай, не хлопочи!..» («Чего желать? О чем тужить?»).

Стр. 444. *Где ты, юность знойная...*— отрывок из популярной в те годы песни П.-Ж. Беранже «Бабушка» (перевод В. С. Курочкина).

Стр. 453. *Мессалина* — ставшее нарицательным для обозначения разнузданной, жестокой и сладострастной женщины имя жены римского императора Клавдия, казненной им в 48 г.

Стр. 458. *Магдалина* — евангельский персонаж, блудница, раскаявшаяся под влиянием проповеди Иисуса Христа.

Стр. 460. «*Саломея с головой пророка*». — Согласно евангельскому преданию, Саломея, дочь Иродиады, угодившая правителю Галилеи Ироду своими танцами, по совету своей матери, попросила в награду голову Иоанна Крестителя. Голова пророка была принесена Саломее на блюде (От Марка, 6, 22—28).

#### ПРОФЕССОР СТОРИЦЫН

(Стр. 474)

Отрывок из пьесы (III действие) был помещен в журнале «Маски», 1911/1912, № 1 под названием «Неподвижность». Впервые в сб. «Земля». Сб. 11. М., Московское кн-во, 1913. Отдельное издание — журнал «Театр и искусство» (СПб., 1912) и издательство Ладужникова (Берлин, 1912). Печатается по СС, т. 15.

Первоначальное название пьесы — «Нетленное» было оставлено в качестве подзаголовка в афишах ее постановок. 2 ноября 1912 г. состоялась первая постановка пьесы в киевском театре «Соловцов», которая вызвала крайне резкие отзывы местных критиков. Андреев был вынужден опубликовать открытое письмо киевским рецензентам В. Чаговцу, Н. Николаеву и Биману, в котором, в частности, писал: «В моей пьесе «Профессор Сторицын», трактующей тему о «неблагоденствии нашей русской жизни» и в лице некоего Саввича стремящейся дать тип хама-моралиста, мы нашли громадные преувеличения, фальшь, отрицание жизненной

правды, как она вам представляется. Казалось бы, что в пределах этих общелитературных суждений вы и должны были остаться, но, к сожалению, это не случилось... Вы до неузнаваемости исказили сцену Сторицына с сыном-гимназистом в вашей вольной передаче и эту искаженную передачу положили в основание ваших очень резких, но естественно несправедливых выводов. Не ограничиваясь этим, вы допустили по отношению ко мне такой тон, такое заглядывание в мои намерения и мою совесть, до какого не может, пожалуй, подняться даже фантазия драматурга. Приведу лишь некоторые отдельные выражения, свидетельствующие об общем характере ваших рецензий, но далеко не исчерпывающие всего.

«Андреев в пьесе... не уберег себя от влияния безгранично царящего на Руси хамства». «Пошлая, претенциозная и отвратительная андреевщина». «Сколько мне помнится, Андреев недавно дал клятву не писать ничего в течение трех лет! Неужели время так быстро бежит, а срок уже истек?..» «...Авторам — наплевать, авторы распродают свое творчество» и т. д. (В. Чаговец из «Киевской мысли»). «Дутый в своей славе Л. Андреев всегда страдал бредовыми идеями и, как у всякого маниака, так и у этого литературного маниака местами прорываются здоровые моменты и связные речи. Но такие места носят характер случайностей». «Рекламированное имя Андреева»... (г. Биман в «Новостях»). «Я лично никогда не был особенно высокого мнения о литературных талантах г. Л. Андреева. Его искусственно взвинченная репутация... так заметно отзывалась рекламой, что...» «Почти все его произведения усердно рекламируются дружески услужливыми...» «Человек с болезненно гипертрофированным воображением... он всегда и во всем доводит изображение до пределов явного неправдоподобия...» «Бредовый характер». «Он, словно разлагающийся труп, заражает своим ядом все, к чему прикасается». «Только самодовольная тупость писателя, органически лишенного чувства жизненной правды, все внимание которого без остатка занято побрякушками личного успеха...» и т. д. (Н. Николаев из «Киевлянина»).

Так пишете вы, г.г. рецензенты, упрекая меня в грубости, сгущенности красок и отсутствии жизненной правды. Но самые слова ваши не служат ли доказательством, что я, к несчастью, прав совершенно в оценке «неблагородства русской жизни» и что краски отнюдь не сгущены? Я не позволил бы себе утомлять внимание читателя беседой с вами, если бы самый факт не был изумительно характерен» (Новая студия, 1912, № 11, 17 ноября, с. 17).

На юге России постановки пьесы подчас проходили под знаком этого прецедента, в атмосфере скандала. По воспоминаниям А. Кипена, «в Одессе, в столь прославленном городском театре, сочли возможным выпустить на сцену актера, исполнявшего роль профессора Сторицына, в гриме, дававшем полное портретное сходст-



во с автором пьесы. И местная большая газета с полным одобрением отнеслась к такой постановке» (*Реквием*, с. 191).

Выступление Андреева с открытым письмом в свою очередь вызвало полемику в прессе по поводу того, следует ли литератору отвечать на оскорбительную критику. Одни из участников полемики (как, например, Н. Туркин в «Московской газете» от 17 ноября и А. Амфитеатров в «Дне» от 17 декабря) осуждали его за излишнюю обидчивость и резкость тона, другие признавали правомерность отпора, данного писателем (см.: *Театр и искусство*, 1912, № 47, 18 ноября, с. 925—926). Появилось даже сообщение о том, что группа литераторов готовит коллективный протест против вторжения в личную жизнь Андреева рецензентов южных газет, обсуждающих «Профессора Сторицына» (*Последние новости* (Киев), 1912, № 1915, 31 декабря).

14 декабря 1912 г. с успехом прошла премьера пьесы в Александринском театре, где главную роль с блеском сыграл актер Аполлонский. В ноябре и декабре этого же года пьеса была поставлена в Малом театре и во многих провинциальных русских городах (в Самаре, Саратове, Туле, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Екатеринодаре, Харькове и др.), вызывая всегда большой интерес публики и в основном положительные отзывы местной прессы.

«Большая» столичная критика отмечала неровный характер композиционного построения пьесы (наибольшее неудовольствие вызывало последнее, четвертое действие, по мнению большинства, излишне мелодраматичное), но главное свое внимание сосредоточила вокруг социальной значимости и актуальности образа профессора Сторицына. Так, всегда отрицательно оценивавшие творчество Андреева З. Гиппиус и Д. Мережковский считали его героя не поднимающимся над мещанским окружением глупым и слабовольным обывателем (*Новая жизнь*, 1913, № 1, с. 196—200; *Русское слово*, 1912, № 289, 15 декабря, с. 7).

К этой оценке близок и М. П. Арцыбашев, популярнейший в те годы писатель и лидер «неонатурализма», который в интервью по поводу пьесы указал на творческий разрыв замыслом «превосходно задуманной» пьесы и ее воплощением, «не оправдывающим то высокое назначение, которое подчеркнуто подзаголовком «Нетленное»: «Публика, пришедшая на зрелище трагической борьбы светлого духа с темными силами жизни, наткнулась на весьма плачевную историю некоего профессора, слабенького, безвольного и неумного человека, обиженного в конце мелкими жуликами, развратной старой бабой и неудачными детьми его. Отсюда понятно разочарование и даже озлобленное недоумение той части публики и критики, которая шла на «Нетленное», и успех пьесы у тех, которые смотрели Сторицына» (*Рампа и жизнь*, 1912, № 49, 2 декабря, с. 5—6).

Стоящий на традиционных народнических позициях А. Дерман пишет об индивидуалистической ограниченности борьбы Сторицына со злом и уродством жизни. «Этот уход от жизни, игнорирование жизни под знаменем служения красоте, это третирование жизни как сплошного палачества, есть своего рода творчество уродливости (...) Если бы профессор Сторицын был изображен в соответственной своей духовной сущности концепции, как губитель жизни, хотя и бессознательный, мнящий себя жрецом красоты, это была бы нужная и, я сказал бы, злободневная пьеса (...) Образ Сторицына — симптоматичен в творчестве Андреева. Отрешенность от жизни и схемы — вот враги этого замечательного писателя» (Дерман А. Тленное и нетленное (О «Профессоре Сторицыне» Л. Андреева).— Русское богатство, 1913, № 2, с. 409—410).

Статья театрального критика А. Кугеля в основном посвящена драматургическому строению пьесы. Он отмечает, что в ней «и тема хороша, и драматическое развитие намечено прекрасно, и кульминационные сцены драмы написаны ярко, сочно, талантливо и художественно театрально. Но вместе с тем... какая небрежность работы!» Критик солидарен с большинством рецензентов в отрицательной оценке четвертого акта, однако он усматривает большую художественную силу, «истинный талант» и «настоящую правду» в третьем акте, на котором, кстати, основывались наиболее тяжкие обвинения киевских рецензентов. Центральными недостатками андреевского творчества Кугель считает «неуравновешенный темперамент» («Темперамент упивается буйством своим, ум — хитростью плетений (...) Крайне редко достигается высшая гармония, соразмерность частей, законченность художественного плана») и отсутствие единого мировоззрения (Н о т о в о в с. Заметки.— Театр и искусство, 1912, № 52, 23 декабря, с. 1046—1048).

Иванов-Разумник дает интересную и очень своеобразную трактовку центральной коллизии драмы, утверждая, что «тленное» — это как раз все напыщенные речи героя о красоте, а главным в этой пьесе является трагическое, совершившееся перед самой смертью пробуждение Сторицына, вдруг осознавшего страшный разрыв между своими словами и окружающей его «грязной, растленной, низменной жизнью». «Теперь он понял весь ужас своей жизни, свою вечную подвластность тленному — тленной жизни и тленным словам; теперь он сам восклицает: «Сторицына нет, он призрак и обман!» И чтобы стать из призрака живым человеком, он должен родиться в духе — и рождение его, его разрыв со всем прошлым, его уход из дома и есть его трагедия, его рождение, его «нетленное». Ибо не слова нетленны, а душа человеческая, вечно способная к новому рождению» (С к и ф. Тленное и нетленное (О «Профессоре Сторицыне»).— Заветы, 1913, № 1, с. 156).

Стр. 474. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский публицист, историк и философ, пользовавшийся в России большой популярностью в начале века.

Стр. 482. *Je ne suis pas jalouse...* — Я не ревнива (фр.). *Un moment! Venez isi, Modeste!* — Одну минуту! Подойди сюда, Модест! (фр.)

Стр. 505. «*Скетинг-ринк*» (от англ. skating ring — ледяной каток) — название журнала.

*Под двуглавым орлом* — Австрийский марш И. Вагнера.

НЕ УБИЙ  
(Стр. 535)

Отрывок (второе действие) пьесы был напечатан в журнале «*Маски*» (1913/1914, № 1) («Не убий»).

Полностью впервые — Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», кн. 22. СПб., 1913 под названием «*Каинова печать (Не убий)*». Одновременно вышла в Берлине в издательстве Ладыжникова, а также отдельным изданием журнала «*Театр и искусство*» под названием «*Каинова печать (Не убий)*». Печатается по СС, т. 16 («Не убий»).

Указывая на источники драмы, писатель упоминал в интервью газете «*Биржевые ведомости*» о том, что в основу ее сюжета лег один из многочисленных судебных процессов, свидетелем которых он был, когда работал в молодости судебным репортером (*Биржевые ведомости*, 1913, 1 октября, веч. вып.).

В издании журнала «*Театр и искусство*» к тексту пьесы прилагаются «*Заметки о действующих лицах*»:

«*Старик Кулабухов*, которого убивают, — не скупец. Дом его разворовали, и к этому он равнодушен: если и было что для него интересное, так только сам процесс расхищения, процесс разговоров по этому поводу, крика, насмешек и угроз. Его самого как бы очаровывает та злая сила, что есть в больших, плохо лежащих деньгах, увлекает та странная игра, при которой он и его деньги являются целью преступных вождедений. Он и трусит отчаянно, до дрожи в коленях, до смертельного холода в сердце — он же и сам лезет в драку, настойчиво и долго раздражает, пытается. В этом какой-то символ его заброшенной, одинокой, оголтелой старости: возможно, что сам он пришел к своему богатству через преступление или чьи-то большие и горькие слезы. По виду это грязный, неряшливый, пахнущий псиной старик, издерганный, кривляющийся, облезлый; любит грозить указательным пальцем.

*Экономка Василиса Петровна* — женщина лет 40—43: настоящий возраст трудно разобрать, так как в зависимости от переживаний и положения лицо и манеры сильно меняются — то молода,

то стара. Лицо приятное, порой даже красивое. Всю жизнь с молодости служила в богатых домах, была хорошей, честной экономкой, насмотрелась на чужую роскошь, любит приличия и тишину. В юности имела короткий, но очень искренний, горячий роман. Были и другие связи, но мимолетные, входящие как бы в круг служебных обязанностей — но, во всяком случае, только с приличными господами. Получила некоторое образование, читала.

*Яков-дворник* — красивый молодец лет двадцати трех, по виду спокойный, очень вежливый, порою даже медлительный, но медлительность только наружная и нужна Якову для того, чтобы хоть несколько связать и задержать стремительность воли, дикий неугомон, почти вихрь, в котором напряженно трепещет его душа. Презрителен и горд до последней степени: отсюда та необыкновенная щедрость, с которой он расточает и ласку, и жизнь, и самую душу свою. Дарит от презрения, от невыносимой гордости, от единственного желанья воздвигнуть под собою высочайшую гору; один из тех немногих, что, завоевав Царство Сибирское, легким жестом и с усмешечкой бросают его к чьим-то ногам: а мне ничего не надо! Таким он раскрывается *постепенно*. Иногда любит стать в позу, откровенно любит себя — но по отношению к другим это самолюбование носит угрожающий характер. Речь свою, порою быструю до скороговорки или речитатива, отчетливо чеканит. Прислобие: «как это говорится», служит для чекана и щегольства. Мука и великое страдание его в том, что он — не знает муки, не знает дурмана дешевых грез и обольщений. Единственным судом над собою признает только Суд Божий, но и туда идет не без намерения показать себя.

*Феофан-странник* — нечто огромное и даже страшное по виду, носит что-то вроде подрясника, стянутого по животу широким кожаным поясом, таскает здоровенную палку, топает здоровенными сапожищами. Голос трубный, яростно-громкий в начале, к концу же фразы переходящий в сдержанный, мягкий и даже добродушный рокот. Носит в себе истинного пророка, но задавлен тяжестью тела и своей бессловесностью. Между пьяным и трезвым разница небольшая.

*Мargarита-горничная* — душа нежная и красивая, страстно нуждающаяся в признании. Чувствует себя цветком райским, благоухающим, а руки жизни грубы и тяжелы, тискают и мнут, ломают беспощадно. Обычный и будничный прием гостиных: целование дамской ручки мужчинами — для нее восторженная, наивная и несбыточная мечта о воскресении из мертвых.

Ничего специфического для дворника, горничной и экономки не должно быть в сценической характеристике означенных: просто люди.

*Князь де Бурбоньяк* — сравнительно молодой человек, лет 35-ти, изящный, скромный, с прекрасными манерами и воспитанием; росту высокого. Его мягкость и готовность имеют черты странного и даже загадочного непротивления злу, безмолвной, почти фаталистической покорности.

*Зайчиков* — беззаветно влюблен в князя, на этой любви построил последнюю жалкую храмину своей жизни. Любит Зайчикова и князь; и есть у них минуты интимные, часы сокровенные, когда прижимаются они друг к другу, как озябшие, и молчат, согласуя свою печаль. Внешне Зайчиков бурлив, порой актерски, а порой и искренне патетичен, и весь во власти сыгранных когда-то и виденных ролей — не только в манере речи, но и в переходах настроений.

При постановке режиссеру необходимо соблюсти следующее:

В сцене свадьбы выявить *странность* всей обстановки — то, что генерал на своем языке называет «фантаσμαгорией». Надо помнить, что жених нарочный, и все гости нарочные, и посаженный отец и мать нарочные; сочинив свадьбу и княжество, Василиса Петровна принимает их со всей серьезностью верующего, и для нее *одной* свадьба — нечто подлинное и настоящее. И разве только Зайчиков разделяет ее веру — когда в забвении чувств от любви к князю, от алкоголя, суеты и праздничной обстановки теряет границы между правдой и мечтою. Гости первого плана еще стараются играть настоящих гостей, но фигуры второго плана механичны, почти неподвижны, безмолвны и чужды.

В сцене ночлега на постоялом дворе необходимо дать непрерывный и ровный топот пляшущих. И только раз, перед вторым появлением Якова, врываясь в тоскующую речь Маргариты, слышится его поющий голос.

В последнем действии выстрелы за сценой должны быть довольно часты, но отнюдь не громки: стреляют далеко, в прихожей или даже на лестнице» (А н д р е е в Л. Каинова печать (Не убий). Драма в пяти действиях и картинах. Репертуар СПб. Императорского Александринского театра. Театральное издание журнала «Театр и искусство», б. г., с. 63—65).

«Не убий» Андреев писал во второй половине августа — в начале сентября 1913 г. В письме Немировичу-Данченко от 17 августа 1913 г. писатель говорит о своих планах засесть за драму в ближайшие дни, а 9 сентября уже высылает готовую пьесу адресату (Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому (1913—1917).— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 266. Тарту, 1971, с. 232, 233).

Уже в этом письме Андреев пытается объяснить своеобразие своей новой пьесы: «Не убий» примыкает к типу пьес «Савва» и «Дни нашей жизни», а в драматургической литературе вообще

идет следом за Островским, «Властью тьмы», горьковским «Дном», конечно, отличаясь резко от упомянутых самой трактовкою сюжета. Оставаясь противником чистого реализма, я сгустил краски, некоторые положения и характеры довел до крайности, почти до шаржа или карикатуры, ввел изрядное количество «рож» и даже черных масок: вообще на старой литературной квартире расположился по-своему (...) Пьесу «Не убий» я написал в две недели (некоторые акты написав по два и даже три раза)...» (там же, с. 233).

В письме, датированном серединой сентября 1913 г., Андреев в ответ на упреки Немировича-Данченко в неправдоподобии ряда персонажей и ситуаций продолжает уточнять особенности драматургического строения «Каиновой печати», убеждая своего адресата, что если большинство актов в ней «понимать как реальность, то они плоски: ну что такое эта дурацкая свадьба, и даже «с генералом»?.. Ведь на свадьбе все — *фантазмагория*, как говорит генерал... И это потому, что вся Василиса — а значит, и вся линия ее — в призрачной мечте, в несуществующем, в неистовом желании сотворить себе свой мир. То-то и страшно (...) на той свадьбе, что никакой свадьбы нет и не было, а все только сочинено Василисой (...) И разве не призрак, не фантом милейший Зайчиков, весь составленный из обрывков ролей, *абсолютно лишенный способности речи* и где-то в глубине, под внешним покровом пьянства, грязи и лжи живущий святой и печальной жизнью? А милый князь — разве он не святой из святых?

Скажу больше: свят и Яков, и все они святые — и это только обман зрения, что кажутся они пьяницами, ворами, убийцами. Это только *наряд* дьявола на них. И отсюда, повторяю, грубость красок, нарочитость шаржа, грим лиц и декораций ихней призрачной жизни. Нет тут реальности» (там же, с. 234—235).

Однако в письме от 13 сентября 1913 г. Немирович-Данченко дает Андрееву официальный отказ в постановке пьесы МХТом. Андреев передает пьесу московскому театру К. Н. Незлобина (премьера состоялась 20 декабря 1913 г.).

В Петербурге Андреев предназначал пьесу для постановки Александринскому театру (роль Яшки писалась для Н.Н. Ходотова). Предлагая роль Василисы Петровны актрисе Александринского театра М. Г. Савиной, автор уверял ее, что пьеса «написана в реальных тонах, близких к Островскому». Однако после прочтения «Не убий» Савина отказалась играть в ней (см.: Ш н е й д е р м а н И. Т. Мария Гавриловна Савина. Л.— М., Искусство, 1956, с. 302—304), и пьеса была снята с репертуара. В прессе появились заметки, что якобы истинной причиной снятия пьесы дирекцией казенных театров в Петербурге было то, что фигура Феофана будто бы напоминает Григория Распутина (Театр, 1913, № 1397).

В сезон 1913/1914 г. пьеса шла также в ряде провинциальных театров (в Одессе, Баку, Воронеже, Нижнем Новгороде и др.). В 1914 г. пьесу также собирався ставить в берлинском «Немецком театре» М. Рейнгардт, однако по ряду причин постановка «Не убий» здесь осуществилась лишь в 1924 г. В 1916 г. был сделан фильм «Не убий» (сценарий Л. Андреева и В. К. Висковского).

Сложная сценическая судьба пьесы сказалась на восприятии ее критикой. Постановка в театре Незлобина, в которой не был раскрыт достаточно сложный, соединяющий фантазмагорию и традиции Островского замысел Андреева, была большинством рецензентов признана неудачной. При этом существенная вина за неуспех возлагалась и на автора. «Автор справедливо уклонился от посещения премьеры своей пьесы: впечатление от нее сумбурное (...). После четвертого акта шиканье даже заглушило аплодисменты», — писал рецензент газеты «Театр» (1913, 21 декабря, № 1417, с. 9). По мнению другого критика, «многословие, высокопарность речи и претенциозность замыслов — эти обычные недостатки последних произведений Леонида Андреева легли всей тяжестью на «Каинову печать» (...). По содержанию же и даже по рисунку положений «Каинова печать» порою напоминает то Достоевского, то Толстого, то даже бульварные романы» (Туркин и Н. Московские письма. — Театр и искусство, 1914, № 2, 12 января, с. 33—34). С ним солидарен и С. Яблоновский, утверждавший, что «Каинова печать», как многие последние андреевские драмы, написана «очень неровно»: «...но только там, где раньше бывали яркие и оригинальные сцены, — теперь то Достоевский, то Щедрин, то Лев Толстой; все это, разумеется, опрошенное, разбавленное для всеобщего употребления, а там, где этого нет, начинается самый невероятный бульварный роман...» (Русское слово, 1913, 21 декабря, № 294).

В. Львов-Рогачевский, напротив, высоко оценивал именно сценические достоинства пьесы, указывал на яркость и театральную пластичность ее образов, подчеркивал органичность связи с классической традицией. Однако критика не устраивало то, что было в драме принципиальной авторской установкой — двойственность, фантазмагоричная окраска реальнейших на первый взгляд эпизодов. По его мнению, «два тона пьесы не слиты в одном аккорде. Стиль гротеска не выдержан, трагическая карикатура все время переходит в веселенький водевиль (...). Художественность принесится в жертву сценичности». А это, в свою очередь, ведет к неясности в развитии драматического действия: «Покончил с собой Яков оттого, что в нем совесть заговорила, или он не выдержал геройскую борьбу с нагрянувшей полицией (...). Пьеса в целом рождает мучительное недоумение...» (Львов-Рогачевский В.

Новая драма Леонида Андреева.— Современник, 1913, № 10, с. 245, 246).

Г. Чулков достаточно точно уловил синтез реального и метафизического начал в «страшной, жуткой и таинственной драме»: «Ужас Андреева совсем не священный ужас, он подлинный, а не выдуманный (...) Убийство не причина, а следствие всеобщего сумасшествия (...) Василису Петровну мучает не столько совесть, сколько страх,— тот самый страх, который присутствует в драме в первые мгновения диалога и до конца. Вообще страшно. Смерть страшна, а жизнь еще страшнее. Где-то раздаются глухие выстрелы, а мы смотрим в раскрытую черную дверь. Там, в черной глубине, что-то происходит ужасное, но что именно, мы не знаем» (Чулков Г. Глухие выстрелы.— Отклики, 1914, № 1. Цит. по кн.: Чулков Г. Наши спутники: Литературные очерки. М., Изд-во Н. В. Васильева, 1911, с. 51, 52).

Стр. 559. *Пермете?* (от фр. *permettez*).— Разрешите?

*Куррикулум вите* (от лат. *curriculum vite*) — описание жизни.

Стр. 560. *Киссинген* — курорт в Германии.

*...ми слова, о друг мой, ни вздохал!* — Строка из романа П. И. Чайковского «Молчание» на стихи А. Н. Плещеева.

Стр. 562. *Ноблес оближ* — (от фр. *noblesse oblige*) — происхождение обязывает.

Стр. 563. *Менелик* — император Абиссинии (1844—1913).

Стр. 564. *Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «А. О. Смирновой».

Стр. 566. *Бонсуар* (от фр. *bonsoir*) — добрый вечер.

Стр. 568. *Жизнь для жизни нам дана.* — Строка из стихотворения И. П. Ключникова «Жизнь» (1840).

*...расслабленный из Капернаума...* — Согласно евангельскому преданию, Иисус, будучи в городе Капернауме, исцелил больного (расслабленного) слугу сотника (От Матфея, 8, 5—13).

Стр. 582. *Самсон* — см. т. 5, примеч. к с. 180.

*Плясовица Иродова* — Саломея, см. примеч. к с. 460.

Стр. 588. *цвет зотоп* (фр.) — розово-желтый.

Стр. 593. *Роскошь, забавы, светлость корон, счастье и слава — все только сон!* — Измененная цитата из оды А. П. Сумарокова «На суету человека».

М. Козьменко





## СОДЕРЖАНИЕ

Покой . . . . .	7
Правила добра . . . . .	13
Ипатов . . . . .	36
Цветок под ногою . . . . .	43
Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы . . . . .	56
Сказочки не совсем для детей . . . . .	60
Орешек . . . . .	60
Негодяй . . . . .	61
Фальшивый рубль и добрый дядя . . . . .	62
Земля . . . . .	63
Храбрый волк . . . . .	67
Сашка Жегулев. <i>Роман в двух частях</i> . . . . .	73
Он. <i>Рассказ неизвестного</i> . . . . .	259
Возврат . . . . .	295
Полет . . . . .	301
Три ночи . . . . .	317
Воскресение всех мертвых . . . . .	322

## ПЬЕСЫ

Океан . . . . .	331
Екатерина Ивановна . . . . .	409
Профессор Сторицын . . . . .	474
Не убий . . . . .	535
<i>Комментарии</i> . . . . .	602

